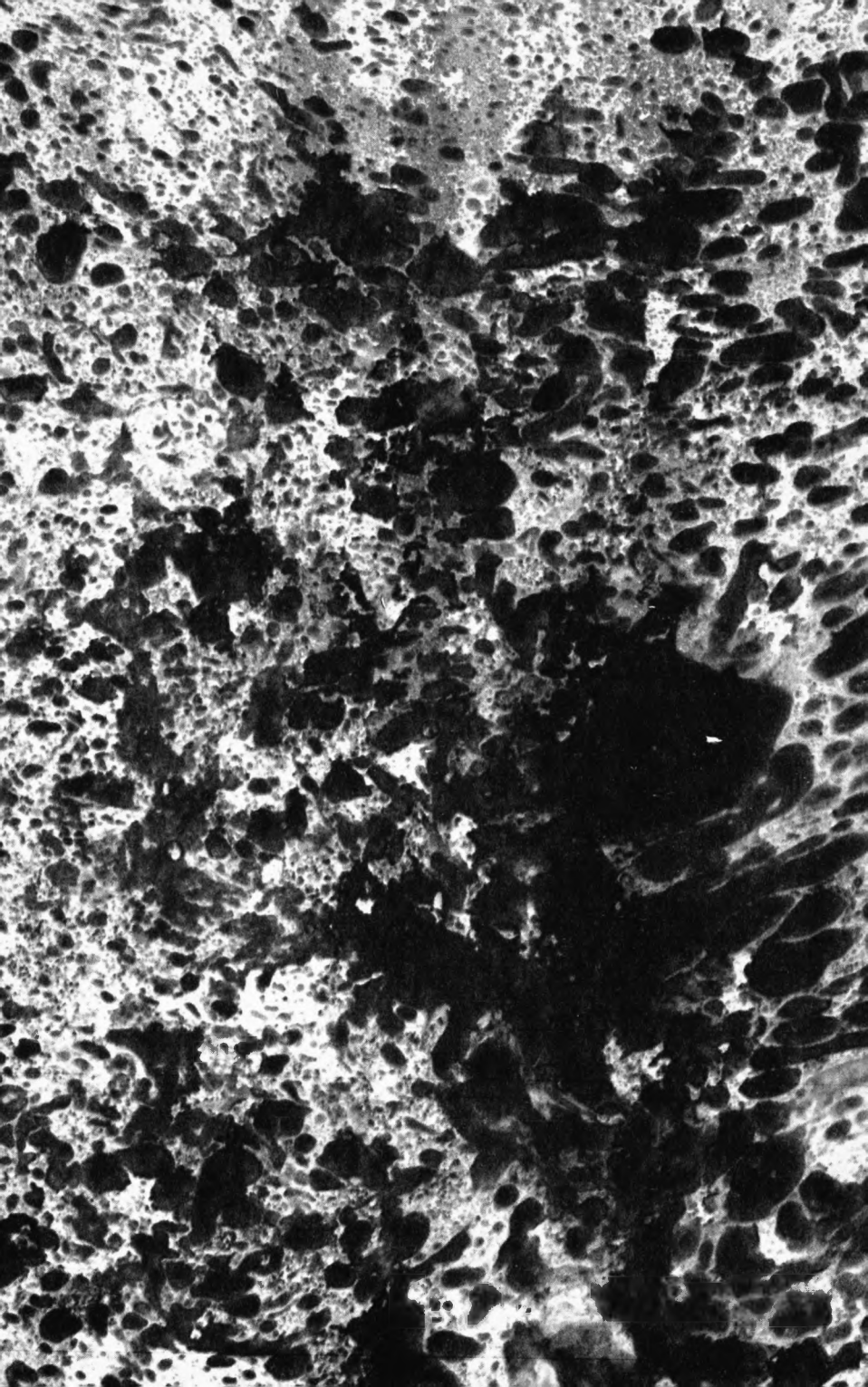


ДОЛГОЕ
БУДУЩЕЕ

Татьяна
Лещенко-Сухомлиная

ТАТЬЯНА
ЛЕЩЕНКО-СУХОМЛИНА

ДОЛГОЕ
БУДУЩЕЕ





ТАТЬЯНА
ЛЕЩЕНКО-СУХОМЛИНА

ДОЛГОЕ БУДУЩЕЕ

ДНЕВНИК-ВОСПОМИНАНИЯ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
1991

Использованные в книге фотографии взяты из личного архива
Татьяны Ивановны Лещенко-Сухомлиной.

Художник
АЛЕКСЕЙ ГАННУШКИН

Лещенко-Сухомлина Т.

Л 54 Долгое будущее: Воспоминания.— М.: Советский писатель, 1991.— 528 с.

ISBN 5—265—01765—8

Воспоминания известной исполнительницы старинных русских романсов и переводчицы Ж. Сименона Татьяны Ивановны Лещенко-Сухомлиной написаны в форме лирического дневника и охватывают большой исторический период с середины 30-х годов, когда она вернулась в СССР после долгих лет жизни за границей, до середины 60-х годов. Довольно часто в повествование вводятся фрагменты воспоминаний о годах, проведенных в США, Испании, Франции. Особое место отводится воспоминаниям о сталинских лагерях.

4702010201—096

Л ————— **71—91**

083(02) — 91

ББК 84 Р7

ВЕРА И НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ...

В наше сложное, беспокойное время бурных перемен, когда многие наконец осознали значение общечеловеческих ценностей, с особенным щемящим чувством грусти и радости встречаешь людей, которые пронесли через все испытания аромат той, к сожалению, безвозвратно ушедшей эпохи, того высокого духа, что был органически свойствен дореволюционной интеллигенции.

Как нам сейчас этого не хватает!

И, вероятно, этим можно объяснить феномен популярности Татьяны Ивановны Лещенко-Сухомлиной, которая вдруг стала нужна сразу всем, во всех своих ипостасях. И как удивительная певица, исполнительница старинных романсов, и как переводчик произведений Уилки Коллинза и Жоржа Сименона, и как автор негромких, проникновенных стихов, и, наконец, как автор Воспоминаний, с фрагментами которых мы уже познакомились в сборнике «Доднесь тяготее», составленном из воспоминаний узниц ГУЛАГа.

А ведь сколько лет она прожила и сейчас, слава Богу, живет рядом с нами, в Москве, а мы, ленивые и нелюбопытные, мало ею интересовались. И вот что удивительно: теперь Татьяна Ивановна оказалась более современной, чем многие из ее молодых поклонников и поклонниц. Многочисленные выступления по телевидению, радиосоветы «Как нравиться мужчинам?», пластинки фирмы «Мелодия», съемки в кино — роль французской королевы в фильме «Имя твое» ей очень к лицу! — гастроли в Киеве, Ленинграде, Париже... Телевизионную передачу о ней смотрели жители Франции, Англии, Скандинавии...

И везде, где бы она ни выступала,— неизменная доброжелательная улыбка, живые выразительные глаза, содержательная речь без словесных штампов и разговорных клише, с той особой интонацией и четким произношением, будь то русский, французский или английский язык; доброжелательное отношение ко всем без исключения, неугасающий интерес ко всему происходящему вокруг, не истребленная никакими сталинскими лагерями любовь ко всему живому.

«Сейчас,— пишет она,— самое счастливое время моей жизни, хотя оно и приходится на мою старость! Главное же состоит в том, что я дожила, дождалась, стала свидетелем того великого, того чудесного, что происходит теперь в моем Отечестве».

Может быть, этим приподнятым состоянием ее души и объясняется

тот особый, эмоциональный стиль ее прозы, которую трудно назвать Воспоминаниями или Дневником, хотя налицо все атрибуты этих жанров. Нет, «Долгое будущее», по-моему,— это добротная русская проза, сродни произведениям начала века, а также мемуарам ныне здравствующих ее современниц: Нины Берберовой, Ирины Одоевцевой¹, Анастасии Цветаевой...

Татьяна Ивановна много видела на своем веку. Америка, Франция, Испания... лагерь, ссылки, дружба со многими выдающимися деятелями культуры: скульптором Цаплиным, художником Фонвизиним, Борисом Прониным, Лилей Брик, Завадским, Натали Саррот. Конечно, в рамках одной книги мы не смогли поместить ее мемуары полностью... Но во всем этом чувствуешь нерасторжимую связь русской культуры с культурой других стран и народов. Конечно, на расстоянии лет многое видится ей теперь в ином свете. Тем или иным событиям она бы дала сейчас другую оценку. Но ценность этих воспоминаний как раз и состоит в том, что в них оставлено все без изменений. Так она думала, чувствовала, переживала в те годы. Поэтому дневник этот воспринимается как документ эпохи.

Сложный, порой мучительный путь прошли многие русские интеллигенты в двадцатом столетии. И помогли им выстоять, выжить те высокие нравственные и религиозные ценности, которые воспитывались в них с детства,— милосердие, доброта к ближнему, вечное стремление культурного человека к правде и справедливости и конечно же — надежда на лучшее будущее.

ВЛАДИСЛАВ МАТУСЕВИЧ

¹ К сожалению, пока готовилась эта книга, И. Одоевцева скончалась.

Октябрь 1935 года. Москва

Чувство невыносимого, беспощадного одиночества было одной из причин, почему я торопилась в Россию, зная, что более неудобного места для рождения и первых лет ребенка я не могла бы выбрать. И правда, хотя условия быта нашего здесь просто ужасны, я не одинока. И эта мука — тоска по Родине, которая грызла меня за границей,— оставила меня здесь.

Аленушка большая девочка. Ей четыре года. Она мой мир, мое единственное счастье. Она едет на Кавказ к моей матери. Я убедила Ирину — мою сестру — отправить туда и своего Юрочку. Ему пять лет. Дети будут вместе. Моя бедная сестра. Когда я увидела ее, я разрыдалась. Она — постаревшая, замученная, костлявая. Ей всего двадцать шесть лет сейчас. Мама сказала мне: «Ира выглядит старше тебя!..» Она, ее муж Борис Тисов и двое детей — Юрочка и маленькая, годовалая Наташа — живут в тесной, бедной комнате в так называемой коммунальной квартире, где кроме них живет еще много семей.

Бедны они ужасно, но Ира восторженно сказала мне: «Да, мы — навоз для расцвета будущих поколений! И мы счастливы этим сознанием». Ох...

Ира и ее дети одеты в то, что я им посылала, ибо заработка Бориса хватало лишь на еду, куда уж там покупать одежду. Он, бедняга, совсем оборванец, правда, все на нем чисто, но заштопано, залатано...

Как серо, как некрасиво выглядят мои соотечественники. И что за жизнь! Чтобы найти только одну комнату в Москве, надо затратить гигантские усилия. Чтобы купить что-либо, надо стоять в очереди. Часами. Чтобы поехать куда-то, надо ехать в трамвае, битком набитом людьми, которые кричат, ругаются, оскорбляют друг друга, дурно пахнут. Одежда, обувь так дороги, что недоступны «простым людям»... На меня смотрят. В трамваях. На улице. Я хожу в накидке, без шляпы. Вчера я была в зоопарке с Аленушкой. Рядом на скамейке сидел простой какой-то человек. Он долго смотрел на меня. Я наконец ему улыбнулась. Он сказал: «Вы меня простите, я на днях в музее был — вы как там итальянская Мадонна одна. Я таких женщин и не видел».

А женщина одна мне в трамвае сказала: «Вы не русская, верно.

У вас выражение лица не наше». Но я уже привыкла. И в Париже. И в Испании. И в Лондоне.

Помню, приехала я в Лондон с Аленушкой. Дмитрий Цаплин должен был еще некоторое время пробыть в Барселоне, скульптуры он морем отправлял и сам потом из Барселоны плыл в Лондон. Мы с Аленушкой на месяц его опередили. Я думала: «Отдохну от него. Буду всюду ходить: в театры, в кафе... Сидеть, смеяться и разговаривать с людьми, никто меня наказывать не будет. Ведь Дмитрия не будет целый месяц!» В Лондоне была Сюзанна, милая умница англичанка, журналистка и литературный критик. Она и ее муж Джон Симон жили одну зиму в Пуэрто-Польензе. Они влюбались в Майорку и поселились рядом, у сеньоры Сингала. Мы вечерами вместе пили коньяк, читали, пели, я играла на гитаре. Потом прочитали что-то про Тимбукту и решили ехать туда, собирались (но, конечно, не всерьез), спорили, какой дом возьмем, найдем. Джон был поэт. Он написал:

Поедем все мы в Тимбукту!
И будем весело стареть на солнце:
Поэт, англичанка, цыганка с гитарой
И гений в старой накидке.

Меня они звали цыганкой — за гитару, за смуглоту, за пенью, — а Дмитрия считали гением, чттили его, обожали его скульптуру. Джон, вернувшись в Англию, вскоре умер от заражения крови. Сюзанна осталась одна. Эту первую мою неделю в Лондоне нам с ней было так весело. Она сняла нам две комнаты неподалеку от своего домика, около Heath — огромного парка-леса в Лондоне. Вдоль парка на улице стояли ряды невысоких кирпичных домов с прелестными палисадниками. Был январь, но в палисадниках цвели тюльпаны, незабудки, колокольчики синие. И зелень была зеленая, мшистая. У нас было две комнаты в пансионе миссис Bliss. Чисто. Камин. Вкусная еда. Сюзанна водила меня по музеям. После единственным местом, где я всегда обретала душевный покой, была Национальная галерея. Итальянские примитивы. Из них на меня лились благодать и мир.

10 ноября

Мой сын Иван родился 18 октября, в канун моего дня рождения. В клинике Грауэрмана было прекрасно. Я рожала среди других рожаящих женщин. Они, наверно, следили за мной так же, как я следила за теми, кто стали матерями до меня. Иван весил четыре килограмма. Лоб и глаза отца. Я, хотя и знала, что это невозможно, как-то надеялась, что он будет с льяными волосами и голубыми глазами — маленький Дмитрий.

Вчера у меня был долгий разговор с Цаплиным. Он ведет себя как абсолютно чужой человек. Иногда я его по нескольку дней не вижу.

17 ноября

Дмитрий говорил с мужем Иры — Борисом. Дмитрий сказал, что хочет жить с Аленой отдельно, что он возьмет от меня Алену.

Я ответила через Бориса, что никогда Алену не отдам и хочу, чтобы у Алены были отец и мать. Что я считаю это возможным. Считаю, что мы можем жить вместе.

Все это время мы жили у Волинских. В маленькой тесной комнате, первобытные условия — ужас этой грязной уборной, этой кухни. После всего «того»... Найти квартиру нельзя, немыслимо трудно. Но я знала, что найдем. И мы наконец нашли. Эти люди сдали нам две комнаты на Патриарших прудах, они уезжают в заграничную командировку. Сказали, что на два года. У нее глаза глупые. Рядом в доме живет Доротея. Я рада, что она близко. Ведь мы с ней так давно знаем друг дружку. Ее муж — мой старый знакомый, инженер по автомобилям Артур Адамс, служащий на заводе АМО, приехал в родильный дом Грауэрмана, чтобы везти меня с Ванечкой обратно «домой» к Волинским. Он приехал с цветами, в чудном автомобиле.

Я не могу привыкнуть к уродству домов, улиц, людей! Самые некрасивые люди из всех, которых я видела, — это мои русские люди. Как некрасиво в их домах! Как грязно! Какая нищета! Москва такая суетливая, крикливая, все мечутся, все какие-то орущие и беспокойные. Ужасно несдержанны русские люди. Но в то же время и великодушны, как никто, пожалуй. Как Волинские были добры ко мне! Надежда везла меня на рассвете рожать к Грауэрману. Как Ирочка бережно-любовно отнеслась ко мне, моя бедная сестра. Она чувствует себя виноватой передо мной. Это ее письмо решило мой приезд окончательно. Ведь передо мной лежал весь мир! Но я рвалась на Родину, хоть и боялась немыслимых трудностей жизни здесь. Я их предчувствовала. А Ира писала без конца, что будет удобно, что можно, чтобы было удобно, сытно, спокойно, чисто... Я ничего ей не сказала, не упрекнула, но эта первая ночь на моей Родине... Я до утра не спала, предчувствуя все, что меня ждет. Всю ночь проплакала — не о себе — о детях. И я знаю, нас ждет Голгофа, особенно бытовая. Но я часть этой земли, физически. Я не вынесла бы тоски по Родине еще год.

Вот эта «тоска по Родине» — это страшно!.. Я дома. Я не одинока, это мои люди, моя земля. Дети вырастут в России. У них будет Родина.

5 июля 1936 года

Думаю, что я очень другая, чем та, что приехала почти год назад. В августе будет год...

Мы живем в квартире из двух комнат, ванная, кухня. Напротив — маленький парк. Все это до января. А дальше где?! Я толстая и чудно выгляжу. Дмитрий каменный и угрюмый, как был.

7 июля

В Париже начало марта 1931 года выдалось такое же дождливое, как и все прошлые пять месяцев. Начиная с октября в воздухе висело мокрое ситечко дождя. Дождь не лил, не падал, он висел в воздухе днем и ночью, не просыхая. А я была беременна, и будущему ребенку необходимо было солнце.

Я начала переводить с английского на русский нашумевший роман Д. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей», обрадовавший меня как пощечина лицемерию и ханжеству англосаксов. Поволоцкий, владелец большого русского книжного магазина на левом берегу Сены, рекомендовал мне как машинистку Михаила Петровича Волконского. Мы с Цаплиным и Михаилом Петровичем с его очаровательной невестой Кирой Петрункевич молниеносно подружились. Михаил Петрович быстро отстукал на машинке мой перевод. Я послала предложение в Москву Госиздату на издание «Любовника леди Чаттерлей». Мне любезно ответили, что план издательства заполнен на будущие пять лет, а Поволоцкий с восторгом взялся устроить издание романа в Лейпциге, издательстве «Петрополис».

Для пользы будущего дитяти я решила отплыть из Парижа за солнцем. Михаил Петрович, объездивший многие страны, посоветовал ехать на о. Майорку. Я знала только, что Жорж Санд с Шопеном провели там несколько месяцев.

«Поезжайте на Майорку,— сказал Михаил Петрович.— Сейчас там весна, солнце, теплынь, а к кофе подают самые вкусные булочки на свете — «энсеймадас»! Там носят чудесную легкую обувь на веревочной подошве — «эспадрильи» или «альпаргатас». Останьтесь в маленькой гостинице на рыночной площади. Там хозяин Балтазар — мой приятель, толстый, веселый добряк, он устроит вас в лучшую комнату, будет ставить вам на стол розы в глиняных кувшинах, а вы будете просыпаться на заре от шума и гама на рыночной площади. Люди там приветливые и счастливые, нет преступности, нет нищеты. А в соборе — лучший орган в Испании и по воскресным дням бывают великолепные концерты. Но самое главное — невероятная дешевизна. Все по карману — просто прелесть!»

И я поехала на Майорку.

Поезд приходил в Барселону в сияющий солнечный полдень. Я остановилась в гостинице в старинной части города, недалеко от пристани, где вечером уходил в город Пальму на Майорке небольшой пароход, похожий на белую яхту. От пристани в глубь города шел роскошный широкий бульвар Рамбла. По бокам вдоль бульвара стояли лавки с букетами цветов, с клетками, в которых пели

певчие птички; сновали мальчишки, продавая орехи и каштаны. Веселый весенний шум стоял в воздухе.

Целый день я бродила по городу, зашла пообедать в какой-то прекрасный ресторан, заказала себе самое испанское из блюд, похожее на наш плов.

Спускался темный вечер, когда я взошла на пароход, купив себе билет в каюту первого класса. Но я не осталась в каюте, а решила спать на широкой открытой палубе. Несколько других пассажиров последовали моему примеру. Нам поставили шезлонги, и мы, засыпая, видели перед собой огромное темное небо, усеянное яркими звездами. Мне выдали теплое одеяло. Я уснула, убаюканная мерным стуком движущегося парохода.

На заре мы подъехали к отвесному берегу Майорки, увенчанному высоким, огромным собором XII века. Солнце сияло, было очень тепло.

13 июля

Я думаю об Испании. Часто. Вдруг это находит на меня — будто жаркое знойное солнце, мир и покой и нежная бездумная радость. Мне хочется написать про Испанию для того, чтобы воскресить ее для себя. Я помню каждый миг тех трех лет в Испании, но, может быть, это скоро уйдет в прошлое... На Майорке — как часто я знала, что я счастливая, абсолютно счастливая от одной Майорки. Садись в автобус, чтобы ехать в Польензу. Знойный день, и залив как зеркало, синий-синий. Автобус наполняется добродушными ленивыми майоркинцами и двумя-тремя иностранцами. Все очень интересуются друг другом, платьем, внешностью, «любовными делами», детьми. Автобус мчится через поля и оливковые рощи — маленькие белые домики изредка; овцы пасутся, и колокольчики на них тихонько позвякивают; едет крестьянин на ослике; старая крестьянка работает в поле — в широкополой соломенной шляпе, стройная, спокойное, доброе лицо. Рощи делаются гуще, мы едем мимо очаровательного белого дома, сплошь увитого виноградными лозами и розами, потом скалы и горы — и монастырь «Пучь» на вершине высокой скалистой горы, у подножия которой лежит городок Польенза. Мимо ковровой фабрики, через мост мы въезжаем в спящий прохладный городок.

Улицы узкие, автобус чуть не царапает дома. Они белые, выкрашены известкой, через открытую дверь — полутемные прохладные широкие комнаты. Только дети и несколько молодых девушек. Мужчины, те, кто не работает (а днем в жару почти никто не работает), сидят в кафе. Автобус подъезжает к собору. Бакалейная лавка Франческо открыта. Так прохладно внутри, земляной пол полит водой — они поливают свои каменные или земляные полы весь день. Красные перцы и помидоры гирляндами свисают с потолка. Горы бананов и апельсинов. Груда лимонов в углу. Большущая бутылка с зеленым оливковым маслом, круглые сыры, красная

майоркинская колбаса, овощи, бутылки и банки консервов, вино и огромная, чуть не до потолка, бочка в углу с местной манзанильей.

Я иду за угол в лавку купить что-то на платице Аленушке, пуговицы, нитки. И потом — в мое кафе. Внутри сначала — после ослепительного солнца — очень темно и так прохладно. Несколько стариков сидят за столиками, потягивая кофе. Какие-то мужчины в углу чинно пьют вино и вполголоса о чем-то толкуют. Хозяин идет ко мне навстречу... Он всегда по-королевски любезен, с таким чувством собственного достоинства, а ведь он простой безграмотный майоркинский крестьянин. Как часто про себя я восторгалась их манерами, их изысканным умением держать себя, дружелюбной вежливостью, невозмутимым спокойствием, особенно когда рядом иностранцы, — как разителен бывал контраст. Часто эти богатые туристы вели себя и выглядели вульгарно, но майоркинец — никогда!

Я просила подать вермут, мне принесли его в рюмке — вкусный, ледяной, и на маленькой тарелочке несколько анчоусов. За дверями ослепительно белел угол собора, словно тая на солнце. Я сидела и думала: «О, счастье жить! О, счастье жить среди этой красоты, моря, скал, глянцевиной зелени апельсиновых деревьев, роз и песка. О, счастье этого покоя, этого благородства жизни, радостного легкого воздуха — он так вольно льется в грудь, дышать им — счастье. И солнце — сияющее, великолепное, будто весь мир лежит под ним — и оно согревает весь этот мир, растапливает в своих лучах все уродство, все горе, все болезни. О, солнце Испании — как счастье!»

И я сейчас думаю так, как думала тогда. Я чувствовала так.

14 июля

Дамоклов меч упал. Не подберу другого выражения. Люди, которые сдали нам квартиру на два года, вернутся через две недели. Мы прожили здесь полгода. Нам надо выезжать. Куда?! Нет, эту агонию может понять только тот, кто был в таком же положении. С детьми. Была бы я одна! Алена у мамы с папой на Кавказе. Она говорила только по-английски, когда мы приехали. Сейчас она почти все забыла. Я не могу говорить с ней по-английски. Я стараюсь, но не выходит. Пока что мы жили удобно. Торгсин закрылся, но меня предупредили об этом, я послала распоряжение в банк в Лондоне, мне прислали деньги. По размену советскому — 16 тысяч рублей. За эти деньги можно купить комнату. Но я не могу и не хочу жить в одной комнате. Немыслимо, невыносимо, если это будет одна комната в страшной общей квартире! Я даже и не думаю об этом — это не для меня и детей — и все! Нам дадут квартиру, пусть не пять комнат, как я хотела. Пусть четыре. Пусть даже три. Но я хочу квартиру в новом доме, чистую, с газом, в центре. И я ее дождусь. Дмитрию должны дать. К нему тут почет и уважение.

Но он ужасно груб с людьми. Невежлив, необщителен. Мне нра-

вятся наши художники. Я с Цаплиным хожу иногда в их Союз, это почти рядом. Я с этими людьми совершенно «своя». Но так это было и в Париже, и в Испании, и в Лондоне. Художники и скульпторы — это мой мир. А с актерами, певцами, даже музыкантами (когда, казалось бы, именно они «мои»), я чужая. Почему так — не знаю. Я в искусстве, наверное, ничего не понимаю. Но я инстинктом угадываю талантливость. Может быть, только оттого, что я так много видела и слышала. Могу сказать, что в этом смысле я получила блестящее образование: Метрополитен Музей в Нью-Йорке, музей в Мадриде Прадо, Национальная галерея в Лондоне, Лувр и бесчисленные выставки в Париже. Дмитрий всегда спрашивает мое мнение о своих скульптурах. Он так: притащит камень, взвалит его на пьедестал (он страшно сильный) и бродит вокруг, потом берет резец и молоток — и сыплется куски, сначала большие, потом все меньше. Он умеет так ударить, что именно такой кусок отскакивает, какой ему нужно. Это меня трогает и восхищает. В Париже он не мог работать, если я не сидела около. Я так и сидела. В сумерки он брал меня за руку и водил гулять на загородные укрепления, на огороды какие-то... Мне так хотелось в город! Париж ведь! В кафе, на люди, в рестораны! Иногда ужасно хотелось...

Я не люблю сейчас свою мать. Она бывала жестока со мной, когда я была девчонкой. Сейчас Алена с ней. Но Алenu она любит. Мама приезжала сюда. Она наговорила мне много страшных слов. За Ваню особенно. На него она смотреть не хотела. Сказала, что презирает и меня, и этот «плод». Как это безжалостно, глупо, и как мне больно...

Я не хотела, чтобы Алена ехала, но там воздух чистый, фрукты. Все не так с детьми, как я мечтала для них. Ванечка очень болел. Он сейчас такой худенький, скоро ему будет девять месяцев, а он еще не сидит... Проклятье! Жизнь здесь так трудна, так трудна! На малейший пустяк надо затрачивать такие усилия! Столько уходит сил! И зачем так это устроено? Ведь это глупо!

Мои бедные дети...

18 июля

Ванечке сегодня девять месяцев. Огромные черные глаза и длиннейшие загнутые ресницы.

Письмо от матери; пишет, что это все ее безудержный язык, что она не думала того, что говорила. Я ей простила, и мне стало радостней. Она интересный человек. Жаль, что она мне никогда не была «матерью». А вот чувство «бабушки» в ней очень сильно. Она хороша с Аленой. Надеюсь, она не очень избалует Алenu.

Квартира! Все деньги я вложу в нее. Ничего, обойдется.

Чем была для меня Испания? Переезжать границу в Порт-Бугвардия сивиль — гражданские жандармы — рослые молодцы в

смешных театральных шляпах и плащах. Воспитанность испанцев. Их врожденное чувство собственного достоинства. Простота, учтивость, спокойствие. Носильщики-французы и носильщики-испанцы — какая разница! Немедленно я чувствую себя женщиной. Нет «бесполого» в Испании. Море прохладное, сапфирное. Солнце жаркое и желтое. Песок оранжевый. Чернота туннеля — и мы в Испании. Барселона. Запах Барселоны. Она вся пахнет розами, и это удивительно. Бульвар Рамбла! Маленькие и большие кафе. И народу, народу! Испанские города всегда кажутся многолюдными, потому что люди все на улицах. Киоски с цветами на Рамбле, какое великолепие! Клетки с канарейками, дроздами, разными птицами. Черноголазые мальчишки-газетчики. Тихие женщины в черном. Горячие взгляды мужчин. Почему мне всегда становилось так весело, так радостно, как только я переезжала испанскую границу? Мне хотелось бы восстановить то ощущение — мне хотелось бы найти ему объяснение — что именно служило ему причиной?

Думаю, что одной из причин был ритм той жизни, который в точности совпадал с моим. Мы бились в такт — я и Испания. Я ленивая и радостная. Я ненавижу торопиться. Но я никогда не опаздывала. Прихожу вовремя. Когда-то бабушка мне сказала по-французски: «Точность — это вежливость королей». Звучание этой фразы мне очень понравилось.

Единственное место в Испании, которое я не любила, был Мадрид. Но даже Мадрид люблю теперь, когда его вспоминаю. Наши «апартаменты» на улице Клорид Коэлья — их иначе не назовешь. И Долорес! Она была невысокая, полная и пожилая. И прелестное ее лицо! Она могла бы быть королевой с ее манерами, приветливостью, но была простой кухаркой. Ее присутствие придавало солидность, организованность нашему «богемному» существованию. Да, оно, пожалуй, было «богемным», несмотря на то, что это была абсолютно уединенная, спокойная, трезвая жизнь. У нас было немного денег. У меня, вернее, ибо у Цаплина их вообще не было. Немного потому, что все шло на нашу роскошную квартиру. Мы ели очень просто. Мы почти никуда не ходили. И я не покупала тряпок, нет, я не тратила деньги на тряпки. Но Алену одевала прелестно. Дмитрий носил свой единственный костюм еще с Парижа.

Долорес делала нашу жизнь легкой и привольной. Она ухитрялась кормить нас на семь-восемь пезет в день. Но зато какая это была квартира, и какую мебель, серебро, белье сдала нам мисс Пальмер!

Она поставляла испанскую старину в музеи США. Ей было из чего выбирать. Когда к нам пришел директор Музео дель Арте Модерно (Музей современного искусства), он обомлел от этих стульев, от стола — помнишь, тот, с львиными лапами? А хрусталь? А посуда? А скатерти! И постельное белье. И эта широкая старинная кровать, спать на которой было блаженством.

Долорес готовила «потэ гальего» из белых бобов и разных испан-

ских колбас. Туда же клали ракушки, моллюски, зеленый горошек и пимьенто. О, запах «потэ гальего»! И она любила чеснок не меньше моего. И сельдерей (а тут сельдерей нет)...

Моя дорогая, прелестная Доролес. Мне до сих пор грустно, что я сумела дать ей только сто пезет, когда мы прощались. Я очень хотела, но не могла дать больше. Но она так удивилась и обрадовалась и так от души благодарила. Для Мадрида это была крупная сумма. Мне и Дмитрию очень хотелось купить испанские плащи, но они стоили дорого, по триста пезет и больше. Его был бы из коричневого сукна, подбитый алым и темно-коричневым бархатом. Мой — черный, подбитый лиловым и желтым, национальные цвета Испании. Я заглядывалась в окна магазинов на веера и серьги, на испанские шали и кружевные мантильи.

Долорес не спала в нашем доме, потому что у нее был муж и о нем надо было заботиться. Он ничего не делал. Он был «кабальеро». Иногда он заходил за ней вечерами, чтобы проводить ее домой. Он носил черный костюм и белый шелковый платок на шее. У него были королевские манеры. Я думаю, что она очень любила его и гордилась им. Раньше у них была овощная лавка, но дела шли все хуже, они продали лавку, чтобы уплатить долги, — и она стала работать. Может быть, он тоже собирался работать, но работы не было, что до некоторой степени было похоже на правду... Дела в Испании шли плохо.

Мы приехали в Мадрид и остановились в пансионе на девятом этаже, где жили Марго и Джон Фостер (писатель).

В тот первый вечер нашего приезда в Мадрид не успели уложить Аленушку спать — она уснула сразу, — как вдруг будто небо раскололось, девятиэтажное здание отеля вздрогнуло, грохот на мгновение оглушил нас. Внизу бросили бомбу в банк, рядом с нашим домом, через полчаса другую. И еще... Пять бомб в тот вечер! Было страшно видеть, как мертвенно бледнели от страха лица людей. Я тоже так боялась! А Дмитрий — как с гуся вода, он вообще ничего не боялся.

Я ненавидела это бросание бомб, эти взрывы, эту гадость страха, беспорядка, дисгармонии. Убитых и раненых не было. Анархисты, как сказала хозяйка отеля, бросали бомбы чаще всего по вечерам в пустые банки и учреждения. На стенах домов часто я видела написанные мелом огромные буквы: «Да здравствует Советский Союз!» Анархия!

Быть «советскими» в ту пору не котиривалось у богатых. У Дмитрия никто ничего не купил, хотя выставка и имела огромный успех. Газеты восхваляли Цаплина. Печатали его портреты. И даже меня с Аленой. Мы стали, очевидно, знаменитыми. Нас (ибо один Цаплин никуда не ходил и меня одну никуда не пускал) даже узнавали на улицах, в кафе. Миссис Бейн в нашу честь дала прием. Я помню, как мы пришли к ней. Это был не дом, а дворец — внутри сплошной музей. Она стояла наверху широкой лестницы в зеленом бархатном платье, высокий воротник венецианского круже-

ва, на фоне которого сияла ее белоснежная стриженная головка. Огромный зал — на стенах Веласкес, Тициан, автопортрет Эль Греко, Зурбаран и прочее. Красный бархат и золото. Дивные сундуки, кованные железом, XIV — XV века.

Она была интересная старуха. Говорили, что ей семьдесят восемь лет. Чудесная фигура, как у девушки, седые волосы отливали серебристо-сиреневым. Она изумительно одевалась. У нее был красивый, молодой — лет сорока — муж, миллионер, безличный, спокойный делец. Она была очень умная, очень ядовитая. Я ей нравилась, и она нравилась мне. Мы дружили. Она прожила в Мадриде пятьдесят лет, писала книги — исследования по испанскому искусству. И скупала испанскую старину, которую иногда продавала американским миллионерам. Мы однажды взяли ее к художнику Солана! Но весь Солана, его дом с заспиртованными младенцами в банках, с голыми проститутками или натурщицами, которые как птицы летали вокруг нас! И его великолепные картины! Он был знаменитым художником, этот Солана.

Дмитрий живет с нами — со мной и детьми, много работает в своей огромной мастерской. Он похорошел и помолодел. Он не знает этого сам, но он стал счастливее.

24 июля

Гражданская война бушует в Испании. Я пишу эти трафаретные слова, но вижу, вижу, как бушует эта война, сметая с земли красоту и благородство испанских городов, моих людей — простых испанцев, может быть, самых настоящих, самых «качественных», что еще живут в этом «страшном мире», который люди устроили себе на земле...

Кадиз бомбардировали. Бомбардируют Толедо — древние стены и мосты, собор, дом Эль Греко; кабачок на углу, где когда-то Сервантес писал «Дон Кихота». Я не люблю Эль Греко, — глазами и умом я признаю его великим художником, но сердцем я не люблю его интеллектуальную эмоциональность, его истерическую «отвлеченность», холодность и изысканность — не ту изысканность, которая сродни мне, но ту — от «аристократизма». От Эль Греко мне чуть-чуть противно, как было противно от Джо Фостера и от утонченных англо-американских «интеллектуалов». Мне трудно «думать» мозгом. Я не «думаю» про людей, про искусство — я чувствую их. Умные Дороти, Джулия Нейман считают меня глупой — я знаю. Но я только улыбаюсь про себя. Если б они знали, как я презираю их стиль «ума», презираю — не то слово: скорей, отношусь с юмором. Они обе до такой степени не артистичны!

Что я люблю в живописи? Итальянцев XV — XVI веков — больше всех и всего. В Лондоне я ходила в Национальную галерею, чтобы хоть час побыть счастливой и позабыть о Луи Фишере и о будущем. Луи — американец, знаменитый журналист и писатель, написал большую книгу о Ганди. Глубина и очарование этих «святых»

полотен давали мне силу жить дальше. Это правда. Я забывала, что я беременна, что Цаплин страшный, что Луи не любит, что в Астурии восстание, что Лондон уродлив и мрачен, что ребенок будет «незаконнорожденный» и, может быть, ему будет плохо от этого. Я сидела и смотрела на картины Джотто, Беноццо Гоццоли, и от них на меня нисходило счастье. Я никогда не думала, почему это так, — просто мне вправду от них делалось физически хорошо, и я переставала мучиться думами о будущем. В ту пору я очень мучилась душевно, а кроме того, меня от многого тошнило, особенно от джаза! Странно — вообще я джаз всегда любила, но в ту пору совершенно не могла его слушать. В Лондоне его всюду играли, особенно вечерами по радио. А вот в Национальной галерее, у примитивов этих, — действительно что-то будто из них лилось на меня — прекрасное, высокое!

Однажды Цаплин в Мадриде на целый день ушел в музей Прадо. Он вернулся наэлектризованным, не подберу другого слова, так как два-три раза за нашу с ним жизнь видела, как волосы у него стояли дыбом, а глаза горели, как два ярких фонаря. Вот таким он вернулся и сказал мне: «Ну, сегодня я видел самую прекрасную картину в мире. Писал ее неизвестный художник, XV — XVI века. Мадонна с ребенком». Я сказала: «А где она?» Мне было интересно, какую же картину Цаплин считает самой прекрасной в мире. Он сказал: «Пойди да найди. Угадай-ка мою картину». И я решила пойти и найти. Мне захотелось понять, знаю ли я Цаплина как художника. Назавтра я с утра пошла в Прадо. Там тысячи картин! Но старые мастера XV — XVI веков были внизу — зала за залой. И я знала, что искать надо среди них. Я не помню, долго ли я искала, по-моему, не очень долго. Я вошла в небольшую круглую залу и среди картин увидела, почувствовала, что одна из них — именно та, о которой Цаплин говорил. Небольшое, довольно темное полотно. Мадонна с ребенком. Мадонна смуглая, некрасивая, наверное, простая горожанка, но такое глубоко серьезное, задумчивое лицо женщины и такая нежность к ребенку. И такое все «без прикрас», без «красоты»... Да, Цаплин прав был, эта картина была воистину прекрасна. Я пришла домой, повела его в Прадо, к Мадонне. «Вот эта», — сказала я. «Да», — сказал он.

Мы с ним в искусстве — об искусстве — очень одинаково чувствовали. Но это он открыл мне ключ к живописи, он показал мне, в чем именно заключается «подлинное» в искусстве, и, раз приняв это — а я чувствовала, как он прав, — я уже во всем этот «ключ» видела или не видела.

У самого Цаплина были скульптуры — так сильно «то самое». Особенно его звери, рыбы, птицы. Нам с Цаплиным было хорошо вместе, когда мы бывали на выставках или в музеях. А в театре, на прогулках, на людях и вообще в повседневной жизни это было ужасно! Он меня ревновал, по-моему, даже к неодушевленным предметам... А подозрительность его и мрачность! И вечная динамичность — он весь как электрический аккумулятор!

Около Прадо был собор. Мы пошли туда с Марго и Джо Фостером в рождественскую ночь — в полночь была церковная служба. Величавая пышная служба, и все сияло золотом, бархатные темно-лиловые и пурпуровые одежды на священниках, народу множество, торжественно играли на органе хоралы — и вдруг! — в органный хорал ворвался голос, и все стихло, и голос пел, как поют арабы в пустыне — древний восточный напев, переливаясь, замирая, дико так, из глубины веков. Это было невероятно! Называется это «сайетас». И, по преданию, так пели волхвы у яслей младенца Иисуса, когда их привела к нему рождественская звезда.

Испания... Желтое, черное, лиловое... Коррида и Хуан Бельмонте. Лолита Гранадос в захудалом кабачке в Севилье, где среди посетителей разгуливали голые проститутки. Как она танцевала! Она плясала, и гремели овации... (Сеговия! А Кардоба — вся!) В кабачке сидел простой люд, и до нее выступали другие — голенькие красотки — на них обращали мало внимания. Мне стало так неловко, что мы поднялись уходить, но лакей остановил нас: «Сейчас будет танцевать Лолита Гранадос! Она понравится сеньорел!» И на сцену вышла в дивном андалузском платье с оборками талантливейшая танцовщица. И наступила тишина. Она танцевала, и разразилась овация! Ей кричали: «Браво, брависсимо!» Да, это был дивный танец! Так любят человека, как я любила Испанию. Идти по земле этой испанской и ощущать полное счастье, прочное, как почва под ногами, и воздушное, как небо. Идти и знать: как я счастлива! Какое было счастье иметь глаза, чтобы видеть красоту и благородство тогдашней Испании!

Вчера я была на Украинской выставке. Там был один — Хвеля по фамилии. Какой-то «большой человек». А платья на выставке — ну какие — красота! Их не разрешено продавать. Я к нему подошла и сказала, что хочу одно платье купить. Он говорит: «Хорошо. Для вас только. Завтра в четыре часа дня я буду здесь вас ждать». Но я не поеду. Уж очень он «так» смотрел, бог с ним, хоть и интересное у него лицо. Но платья! По белому вышито черным. И другие — черным с красным, и еще другие прелестной пестрой расцветки. Еще расписные печки мне понравились. И ковры! Ну что за прелесть! На них букеты — не яркие, а прямо Ренуар да и только. И смешная милая посуда. Хорошая выставка. Меркуров — плохой скульптор, я видела его скульптуры: глупые, хотя и огромные. Но человек он интересный, очень живой внутри. Цаплин с ним до хамства невежлив. Чую, что от зависти, а не потому, что тот плохой скульптор. Меркуров здесь богат и «знатен». А он к Цаплину с огромным восхищением относится.

Зато вместо украинских я купила четыре старинных русских костюма в комиссионном магазине на Таганке. Тамбовская губерния, Рязань и Мордва. Великолепие! Одно — черное: юбка и безрукавка, а по черному нашито красное сукно и золотой позумент

и маленькие блестяще-медные кружочки. И белое платье — с лапами из золота-серебра — ало-зелено-черного. Украинские вещи цветастые, прелестные, веселые. А в русских строгость, серьезность — фантастическое, дикое, даже мрачное что-то. Вот я — русская, а разве я знала, какое варварское великолепие костюмов носили русские крестьянки — мои сестры. Как они выглядели, должно быть, по воскресеньям! Недаром Цаплин говорил, что женщины из его деревни были самые красивые, каких он когда-либо видел.

28 июля

Дмитрий сейчас торгуется с Комитетом искусства. И готов им даже «Мандрилу» мою любимую продать, но только чтобы «большие деньги взять» (его выражение). А я бы ни за какие деньги ее не продала. Или уж подарила бы, даром. Ведь никакие деньги мое любимое от меня не купят. Но для Дмитрия деньги — главное. В них он видит почет, признание, которых он жаждет. Я скрываю, какой Дмитрий, от других. Все говорю: «Он чудак, но он благородный. Тонкий, с глубокой душой человек». Эх... А вот когда он однажды в Париже и потом раз на Майорке картины начал писать — то преобразился в легкого, милого художника и, по-моему, очень талантливого.

29 июля

Пальму, главный город Майорки, бомбили с воздуха... Проклятие! Меня мучает это. Я не могу никуда ходить, я не могу с людьми говорить, я заболела, кости болят, когда я думаю об Испании. Я хочу записать все, если б я могла вот так писать, как оно было! Хемингуэй иногда пишет так, что даже запах чувствуешь и видишь осязаемо... Мне почему-то последнее время часто Валенсия вспоминается. Ее всю хотелось целовать и гладить и радоваться на нее — такая она была. Помню, как мы пошли в Музей де Коррида. Этот музей был единственный в Испании — музей о Бое Быков. Мы пошли все трое — Аленка маленькая была, но как хорошо ходила! Иногда Цаплин брал ее на руки, чтобы отдохнула. Никогда она не капризничала, меня ничем не утомляла, я очень уважала ее во всем, эту трехлетнюю дочку нашу. Мы пошли на площадь — Плаза де Торос. Арена огромная. И подсобные домики кругом. Коррида — вещь сложная, при ней и часовня, и приемный покой, и загон для быков, и прочее. Старичок смотритель музея подошел к нам и учтиво спросил, что нам надо. Я объяснила, что мы «аффисионадос» — любители корриды. Он просиял и воскликнул: «Тогда вы должны посмотреть наш музей». И повел нас. Музей был небольшой. На стенах висели головы быков — знаменитых по корриде. Под каждым справка: история той корриды и быка. Портреты знаменитых матадоров, начиная с XVIII века. В стеклянных шкафах висели костюмы матадоров от самых старинных. Они не изменились и сейчас, только материи теперь другие, но костюм сам и сегодня та-

кой же, каким был двести лет назад. Из темного бархата, алого и черного, расшитые золотом и серебром. Как мне хотелось купить костюм матадора! «Где их можно достать?» — спросила я старика. «В Севилье. Все костюмы матадоров из Севильи, там несколько знаменитых портных их делают. Но они очень дороги. Они стоят от тысячи пезет и выше». А плащи! А маленькие черные треуголки!..

Мы ушли из музея, узнав о корриде все, что полагалось, и старик сказал нам, что сегодня через два часа будет смотр быков и что все настоящие любители смотрят на «деканкахон». Это когда быков, привезенных в деревянных закрытых клетках к предстоящей корриде, из этих клеток выпускают в загон, где они пасутся и отдыхают несколько дней. Конечно, мы трое пошли смотреть. Быков выпускали в четырехугольный дворик, обнесенный высокой каменной стеной, такой широкой, что оттуда сверху «аффисионадос», то есть любители, и смотрят вниз со стены, как быков выпускают из клеток. Внизу в стене две двери: к одной подвозят клетку с быком, а в другой, стоит, прячась, человек — он осматривает быка, какой бык по темпераменту и силе, какое у него зрение и прочее. Быки были огромные, ужасающие, свирепые. Они, как львы, бесновались, прыгали как тигры, яростно мычали! Мне страшно было. Люди кричали: «Оле, красавец!» Люди говорили о быках, спорили — хорошо ли будет «драться» этот бык или нет, — все страстно заинтересованные, серьезные. Все мужчины. Я была единственной женщиной. То были простые люди — рабочие, крестьяне, мелкие служащие, всецело погруженные в дело корриды! Некоторые быки выходили из клеток мрачные, подавленные, немногие — спокойные и гордые, большинство — свирепые, яростные. Но все они были уверенные. Уверенные, что будут жить, что будут вечно жить, как уверены мы, как уверена я, ибо я не представляю себе, что я умру.

Я любила Валенсию!

В девять часов утра повсюду еще тихо, одни лишь молочницы уже не спят, развозят молоко. Зато к вечеру, как только зайдет солнце, и всю ночь напролет — вся Валенсия на улицах. Идешь по темным улицам и слышишь гитары, поют; в кафе яблоку негде упасть; по улицам гулянье, полным-полно народу. Балконов на домах множество, они увиты розами, виноградом, жасмином. Валенсия — богатый город. Там нет и подобия севильских или мадридских нищих кварталов. За городом рощи апельсинов, рисовые поля. Про Валенсию так и говорили — «сад Валенсии».

Вся земля вокруг города прорезана акведуками, водная система осталась еще от арабов. И раз в месяц заседает Водный суд. Почтенные старики крестьяне, в черных блузах, собираются у фонтана на площади и разбирают, не отмахнул ли кто себе больше воды, чем полагается.

Под землей на главной площади, в центре города, — цветочный базар. Спускаешься вниз по лестницам, а там прохладно и море цветов, продают их румяные толстые женщины-блондинки! В Ва-

ленсии очень много блондинок, и таких толстых, розовых мыльных женщин я нигде не видела. Я тешусь воспоминаниями об Испании, я утешаюсь ими...

Весной 1934 года мы получили визы в Италию: Дмитрий хотел выставить две-три скульптуры в Советском павильоне на Международной выставке в Венеции. Но денег было негусто, и мы решили вернуться на Майорку, куда меня тянуло тогда гораздо больше, чем в Италию.

Мы сели в поезд в Мадриде с тем, чтобы через восемь часов по расписанию приехать в Валенсию, а оттуда через несколько дней плыть в Пальму. Но, как обычно, испанский поезд плелся двадцать часов, подолгу останавливался на каждой станции, и мы приехали в Валенсию поздно вечером. Мы не знали там ни души. На вокзале к нам подошел подозрительного вида человек и сказал, что знает хороший пансион, где есть комнаты, он нас проводит... Оставив чемоданы в камере хранения, мы отправились с ним. Было темно, фонари на улицах тускло горели, мы шли где-то по окраинам города, и народу встречалось мало. Аленушка выпалась в поезде и теперь была полна интереса к окружающему. В ту пору ее оживленность была всегда такой мирной и милой, она никогда не капризничала, никогда не была в тягость, не сердилась, не хмурилась, не так, как теперь в Москве... Подозрительный человек привел нас к невзрачному подозрительному дому. Хотя «пансион» помещался всего на третьем этаже, человек настоял, чтобы мы влезли в старый, заржавленный лифт. Медленно, со скрипом мы начали подниматься — стоп! Лифт застрял между этажами. Я ждала, что мы грохнемся вниз, но нет, лифт замер, словно размышляя, как надо бы поступить, а затем, кряхтя, спустился вниз. Валенсианец молил попробовать еще раз, и мы уступили его мольбам, казалось, дело идет о его чести! Старый лифт снова устало пополз вверх, но перед третьим этажом раздумал и быстро съехал вниз. На этот раз мы твердо вылезли из лифта, невзирая на горячие уверения человека, что уж теперь-то лифт не подведет! По стертým древним ступенькам крутой лестницы мы благополучно добрались до пансиона. Дверь нам открыл угрюмый хозяин — рыжий-ражий детина. В глубине души я уже с самого лифта решила, что мы попали в какой-то притон, но, зная, что, если дело дойдет до драки, могучий Цаплин сокрушит дюжину таких молодцов, я кротко молчала, прижимая к себе Аленушку. Хозяин показал нам ужасную каморку, мы сказали, что уйдем, поищем другой отель. Тогда он привел нас в большую красивую комнату с балконом и окнами от потолка до самого пола. Мы остались, хотя меня и огорчили тяжелые бархатные портьеры и кровать под балдахин. Но она была широченная, и простыни на ней из домотканого полотна сияли белизной, а Алене принесли маленькую белую кроватку, которая ей сразу понравилась. Хозяин сказал, что ужин ждет нас в столовой. Подозрительный человек получил от нас три пезеты и, осыпая нас учтивыми комплиментами, с благодарностью удалился. Угрюмый хозяин, добродушно

улыбаясь, сказал, что «малютка прелестна!», и принес нам горячей воды.

Мы почувствовали себя несравненно лучше, помылись, переоделись и втроем отправились в столовую. Что это была за прелесть! — большая, уютная. Столы накрыты домоткаными скатертями в красную клетку, все ослепительно чистое, а еда превкусная. Хозяин принес Алене молоко и ласково заговорил с ней — все испанцы любят детей. Мы вернулись к себе, я уложила Аленушку, Цаплин заснул, но мне было не до сна! Распахнув дверь на балкон, я долго стояла, глядя на темный, но отнюдь не спящий город. Было за полночь, но улицы были полны народу, откуда-то доносилась музыка, группа мужчин и женщин, громко смеясь, прошла под балконом. Было гораздо теплее, чем в Мадриде, воздух упительного-легкий, душистый. Я легла спать, зная, что Валенсия придется мне по сердцу, полная любопытства к тому, какой же она все-таки окажется наутро! Нет ничего приятнее, как узнавать незнакомый город, в особенности когда он прекрасен и каждый шаг по его улицам в радость, когда его обитатели красивые и веселые, а на дворе весна!

С утра мы отправились бродить по Валенсии. Она была полна неожиданностей! Вот площадь, а под ней, под землей, — цветочный рынок! Фонтан в центре, а вокруг на деревянных подставках террасами — груды, гирлянды, букеты роз, фиалок, тюльпанов — алых, голубых, белых, синих, розовых, разных цветов, а за прилавком стоят белокурые рослые красавицы, у них старинные высокие прически — волосы заколоты булавками с большими позолоченными шариками на концах, золотые серьги с изумрудами и висюльками-жемчужинами. Пусть серьги и поддельные, но это традиционные валенсианские серьги. Юбки из парчи, да, да, из разноцветной парчи, и белые легкие фартушки с кружевом — то самое — валенсианское кружево. Это рослые блондинки очень красивые. Какая-то особая порода испанок! Вот мы свернули в переулок — тихая маленькая площадь и на углу удивительный дом-дворец — затейливое рококо из серого мрамора с роскошными лепными украшениями. Спрашиваю у прохожего — что это? Он отвечает: «Это дом маркиза КАРАБАСА!» Тот самый маркиз Карабас из сказки! Как весь этот дом похож на сказку, так и ждешь, что появится ученый кот! Вот узкая улица, ряды лавок и мастерских — в этом окне гитары, в другом — попоны для лошадей — сетки из красной, зеленой, желтой шерсти с большими свисающими вниз помпонами. Дальше в окне черные кружевные мантильи из бархатных «мадроньяс», а вот на прилавке — чудесная глиняная облитая посуда, смешные кувшины, бутылки, кружки. Все это делается тут же, на этой улице, в глубине каждой из этих лавок.

Прохожие спешат на рынок, на службу, на работу. Но все как-то веселые, сытые, нарядные. Привольно жилось в ту пору в Валенсии, это была самая богатая провинция в Испании. За городом — фруктовые сады, рощи апельсинов и лимонов и даже плантации

риса. Вся цветущая долина Валенсии пронизана каналами, оставшимися еще от мавров. Эти каналы заботливо поддерживают, ведь они орошают всю эту плодородную местность. Пожалуй, больше всего в Валенсии меня поразил Водный суд. Мы пришли в небольшой сквер — посредине журчал фонтан, вокруг него сидели старики в черных валенсианских блузах и широких соломенных шляпах. Они сидели торжественно, важно и о чем-то строго рассуждали. Я спросила у какого-то прохожего, чем это они заняты? И мне пояснили, что сегодня четверг, а по четвергам в этом сквере собирается Водный суд. Происходит заседание старейшин: все каналы имеют шлюзы (каналы узенькие, но длинные-предлинные), и хозяева садовых участков не имеют права самовольно открывать шлюзы; если они взяли больше воды, чем следует, на них налагается штраф. Словом, в обязанность старейшин входит следить за распределением воды, за чистотой каналов и прочим. Это и есть Водный суд. Крестьяне сами выбирают старейшин из своей среды. Водный суд существует уже в течение многих столетий.

К полудню стало жарко. Мы сели за столик на тротуаре перед маленьким кафе, и гарсон, не спрашивая, чего мы хотим, поставил перед нами стаканы и кувшин, наполненный какой-то серовато-белой жидкостью, похожей на молоко. Через соломинки мы потянули эту «орчату» (прохладительный напиток) и обомлели от восторга! По-моему, «орчата де чуфас» — самый вкусный напиток на свете, Валенсия им славится. Чуфа — маленькие бобы, дают сок, похожий на молоко, в сок еще чего-то прибавляют, ставят на холод, а затем пьют. Мы с Аленой пили эту «орчату» с утра до вечера с неизменным наслаждением. Люди в Валенсии были какие-то добродушные и приветливые. К кому бы вы ни обратились, вам всегда отвечали любезно, предупредительно, не только объясняли, где что, а проводжали, усаживали в трамвай, в автобус, прощались с пожеланиями здоровья и счастья, особенно если узнавали, что вы русская — советская.

Большинство улиц узенькие, кривые, масса скверов, садов, большие тенистые бульвары, фасады домов усеяны балконами, увитыми вьющимися розами и виноградом; кафе на каждом углу; есть и обмелевшая речка, а море довольно далеко за городом, туда можно проехать на трамвае или на автобусе.

30 июля

На Майорке, да и вообще по всей Испании, сильно чувствовался кровавый испанский католицизм. Именно — кровавый. Последнее аутодафе происходило в Валенсии в 1825 году — там, на рыночной площади, сожгли живьем трех людей за ересь. Это произошло всего сто лет тому назад — и характер католической религии не изменился. Я видела в церквах распятия в человеческий рост. На голове Христа скальп с длинными женскими волосами, подно-

жие измазано человеческой кровью — так иступленные верующие приносили дань своей религии. И церковь поощряла это.

В 1931 году на Майорке в Пальме я видела процессию в Страстной четверг. В сумерках по улицам шли люди нескончаемой вереницей в длинных балахонах с головы до пят, в остроконечных капюшонах, на них были прорезы только для глаз. В руках они несли зажженные свечи, а над ними колыхалась Мадонна, она сверкала и переливалась, залитая золотом и драгоценными камнями; от нее словно исходил таинственный свет. Это было жутко. В Валенсии при главном соборе я видела знаменитую статую Мадонны — драгоценные украшения на ней исчисляются миллионами пезет, — она стоит отдельно в часовне. Часовня как крепость, в нее входишь из собора через вереницу предварительных комнат — десятки падре охраняют свое добро.

В 1934 году на Майорке мы были в знаменитом майоркинском монастыре Льюк. Был день какого-то святого. На внутренней площади монастыря собралась огромная толпа народу, и я услышала вдруг истерические вопли — мне показалось, что кто-то бьется в эпилепсии. К изумлению моему, когда мы протиснулись вперед, я увидела, что то был священник, говоривший с амвона. И сейчас я слышу его ужасный голос. «Эспанья, — вопил он, — спасайте страну от коммунистов, от безбожников!» Жутко было видеть, как этот больной фанатик своей истерией словно электризовал толпу. Сначала его слушали угрюмо, молча. Недоверчиво. А потом возбуждение передалось и толпе. В ответ священнику начали выкликать женщины. Заголосили старухи, мужчины начали злобно коситься на нас — мы были иностранцами и, кстати, в тот раз единственными в монастыре Льюк, который посещало много туристов, так как Льюк славится красотой и стариной. Мы почувствовали такую дикую растущую неприязнь, что поспешили уйти, быстро сели в автомобиль и уехали.

Испанский народ давно отошел от церкви, но многих она еще крепко держала в руках. Я вспоминаю картины знаменитого художника Солана, с которым познакомился в Мадриде. Мы с Цаплиным решили тогда, что его картины должны стоять в наших музеях, — так ярко отражался в них кровавый испанский католицизм!

Передо мной вереницей проходят воспоминания об Испании. Я вспоминаю одну испанскую женщину — Эстерльиту Кастро — знаменитую певицу, исполнительницу испанских народных песен. Мы слышали ее в Валенсии. Красавица, обаятельная, гордая женщина. Михаил Кольцов пишет в своей статье, что сейчас она поет свои песни на фронте. Я узнаю в ней испанских женщин, которые умеют быть такими мужественными и сильными когда надо.

Мы мало знаем Испанию — прошлой зимой я видела «Кармен» в театре Немировича-Данченко. Испанка не узнала бы себя в нашей разудалой Кармен. Я вспоминаю гитан, которых я видела в кабаках Севильи, в Триано, — испанки очень сдержанные, женственные, гордые — они никогда не бывают растрепанными. Испания —

суровая, строгая страна. Многострадальная. Я нигде и никогда не видела такой нищеты, какую позднее видела там близ Севильи. Живя в Испании, я чувствовала, что я родной человек для испанских людей именно потому, что я советский человек. Я чувствовала, что наша помощь была бы для них не только материальной, но и большой моральной помощью. Покидая Майорку, а с ней и Испанию, мы — Цаплин и я — оба плакали...

Зиму 1933/34 года мы провели в Мадриде, куда Цаплина пригласили сделать выставку в Музее современного искусства.

Мадрид, по-моему, был самый не испанский город во всей Испании. Волею короля Филиппа II Мадрид из маленькой деревушки стал в XVI столетии столицей Испании. Он вырос на сухом обнаженном плоскогории Кастильи. Вокруг Мадраса нет зелени, нет лесов. Мадрид лежит одиноко на много верст вокруг. Мадрид 1930 года — европейский город, я бы сказала, провинциальный Берлин. Но это так только на первый взгляд.

Чем дальше живешь в Мадриде, тем больше чувствуешь его своеобразие. Главные улицы — типичные улицы солидного европейского города. Огромные здания, роскошные магазины, масса автомобилей, асфальт, благоустройство, но в самом центре Мадрида лежит его испанское сердце, небольшая площадь Пуэрто дель Соль. Тут всегда масса народу — и, присмотревшись, видишь, что большинство просто стоит тут, ничего не делая, — глазект на прохожих, вступают в разговоры между собой, никуда не спешат. Вопят газетчики и снуют чистильщики сапог. Кругом кафе, и лавки, и фасад старинного здания Айунальментэ — муниципалитет. От Пуэрто дель Соль идут в разные стороны улицы, множество улиц — больших и маленьких. От вокзала в сторону от центра тянется великолепный бульвар Рамбла — излюбленное место для прогулок мадридцев. Я помню маскарадную процессию на масленицу, ехали автомобили, коляски, грузовики, засыпанные цветами, с прелестными разодетыми в национальные костюмы сеньоритами. Сыпались конфетти, шелестели серпантины — толпа народу мерно двигалась по бульвару, глазела, восхищалась. И помню утро Страстной пятницы. По бульвару парами прогуливались испанки — в черном, с черными мантильями на голове, с веерами в руках. А в Пасхальное Воскресенье на аллеях рядами были расставлены скамейки и стулья, и вы могли сидеть и вдосталь любоваться на мадридских красавиц, которые для этого дня надели свой исконный наряд — кружевные белые, а не черные мантильи и высокие гребни.

Одна из черт, которые отличают Мадрид от всех столиц, где мне довелось побывать, — изысканная вежливость людей, начиная от носильщиков на вокзале, кончая почтовыми чиновниками, кондукторами трамваев и т. д. Вульгарность и хамство — несуществующие понятия в Испании. Это чувствуется и в Мадриде. Вот европейский город, трамвай, автомобили, асфальт, казалось бы, город, как все, — и неожиданно эта вежливость, чинное спокойное изящество манер и органически им присущая воспитанность. Она не удивляет вас в

Кордобе, в Саламанке, в Сеговии. В Мадриде она вас поражает. И покоряет. Люди не спешат. Не кричат. Не жестикулируют. Но если вы спросите, где такая-то улица, вам не только объяснят, вас проводят туда. Если в лавке вы не умеете объяснить, что вам нужно, вас терпеливо выслушают, помогут, ободрят. В трамвае кондуктор подойдет и предупредит вас, что это ваша станция, а трамвай стоит, пока вы не сойдете. Автобус ждет, пока вы в него влезете. Банковский чиновник грустно улыбнется, объясняя вам, что стоимость пезеты поднялась и расчет для вас уже не так выгоден. И все это добродушно, с достоинством, с вниманием к вам, приветливо и спокойно. В кафе вам подадут чашечку с густым шоколадом и горячими «чулос» — длинные трубочки из теста, зажаренные в кипящем масле, — а также стакан воды с воздушными шариками из сахара, шарики тают во рту и удивительно освежают.

Недалеко от центра — огромный парк Ретиро с озером и зверинцем. Тенистые аллеи, гrotты, цветники. Чудесный парк и такой обширный, что в нем можно заблудиться. Зоологический сад — чуть игрушечный, небольшой, но звери хорошие, сытые, и чистота идеальная. Вообще в Испании чистота и порядок. В Мадриде особенно.

И музей Прадо. Замечательный музей. Из-за него одного в Мадриде надо побывать. Тут вы видите и понимаете, что такое Гойя, Веласкес, Эль Греко, Зурбаран и другие. Много великолепных картин Тициана, Тинторетто, изумительные итальянские и фламандские примитивы... Сам по себе музей прекрасен. Хорошо и разумно расположены его залы, умно развешаны картины. В самом низу несколько белоснежных зал, где развешаны огромные полотна Гойи, сделанные им для гобеленов. Какая это красота и радость! Наверху еще несколько зал заняты Гойей — его портретами и его странными последними картинами: расстрел революционеров и картины народной испанской войны с французами. От них делается страшно... Кто еще мог передать с такой изумительной остротой на полотне измученную человеческую душу?

Веласкес великолепно холоден, придворен. И все же как он человечен! Какой это мастер! Царь художников! Эль Греко с его утонченными святыми, его удивительной красочности палитра и его религиозный экстаз? Что-то в нем кастрированное, но какая красота. Какая страсть!

Я теперь часто, лежа по ночам в кровати, мечтаю, что у каждого из детей своя комната, и у Цаплина, и у меня; моя комната большая, окна выходят на Москву-реку. У меня книги, низкая широкая тахта, у стены рояль — простота, никаких «меблей», только самое нужное, рядом моя ванная комната, в квартире три ванных комнаты! Я артистка и тем зарабатываю на хлеб себе и детям, пою и пляшу, даю людям радость, радостный смех, который делает людей моложе и добрей. Смех. Как я люблю смеяться от всей души,

так, чтобы пальцы на ногах смеялись! А в Москве разлюбили смешное, не любят смех, не заботятся о нем, забыли его важность и необходимость.

3 августа

О бое быков

Мы с Дмитрием поехали в Пальму смотреть бой быков. Я говорила себе, что это не страшно, что быки будут жалкие, маленькие, и тому подобные глупости, которые меня не успокаивали. День сиял солнцем. Жара была страшная. Мы приехали в час дня. До корриды оставалось еще три часа, она начиналась ровно в четыре. Ах, драгоценные, любимые мои улицы Пальмы! Мы шли по Калье Гранде — узкая улочка, — где, несмотря на жару, было прохладно, лавки без конца, полутемные кафе... Отель, куда мы зашли, был идеально чистый, прохладный, темный. На Майорке повсюду мир, чистота, внешнее и внутреннее благородство. Мы пошли дальше покупать билеты в кафе на углу рынка. Нами заинтересовались: иностранцы хотят смотреть корриду! «Обязательно возьмите билет, где сказано «омбра» — тень, а то вы испечетесь на солнце. Правда, в тени дороже. Вот прекрасные места. Одиннадцать пезет с человека», — посоветовали нам. Мы купили билеты и пошли к центру.

Базар! На широких лотках груды зелени, горы апельсинов, гирлянды помидоров — маленьких, ярко-красных, груды разных рыб, крабов, ракушек, ветки бананов, кокосовые орехи. Амфоры с оливковым маслом. Круглые сыры. Майоркинские красные колбасы. Куры, утки. Тут же прилавки с пуговицами, чулками, нитками. Детские игрушки. Глиняная посуда. И цветы, цветы! Вот булочная со знаменитыми майорскими булочками «энсеймадасами». Есть ли что вкусней, чем эти воздушные, тающие во рту булочки к кофе?! Приветливые, красивые лица торговков. Чинные крестьяне. Народу множество. Поприехали из деревень, из городков со всей Майорки в Пальму. На корриду.

В три часа мы уже на площади у Плаза де Торос. Огромный круглый амфитеатр. Мы обходим его кругом. Вот пикадоры проезжают лошадей. Лошади старые, на высоких ногах, тощие, как Росинант Дон Кихота. Идем дальше. Вот за этой дверью быки... Ждут. Ждут смерти. Дальше часовня. Подле нее дверь, на которой красный крест: приемный покой. Заглядываем в щель: белоснежная больничная чистота, койка уже постланная, готовая принять раненого метадора; в комнате доктор в белом халате, он возится со склянками у столика. Сердце сжимается. Постепенно становится очень страшно и вполне серьезно. Тут не шутят. Тут бой быков — игра со смертью. Народу уже много, люди густым потоком без конца входят в ворота. Мы идем на свои места. Перед нами за двойным барьером круглая арена, посыпанная желтым песком. Мы в тени. Солнце заливает места напротив. Там сидит беднота, простонародье, все оделись в

лучшее, праздничное. Аквадоры-водолеи разносят воду в больших глиняных амфорах. Продаются какауэтки — маленькие орешки. Апельсины. Шумно, но как-то невесело.

В тени сидят богатые и иностранцы. Большая ложа в центре наполняется очаровательными, пышно разодетыми сеньоритами. Они вешают на барьер ложи свои роскошные испанские шали. Главная ложа еще пуста. Она предназначена для «президента корриды», по его знаку начнется коррида. Уже без одной минуты четыре часа. Все места заняты. Яблоку негде упасть. Я волнуюсь. Руки ледяные. Крики: «Эль президенте! Оле, оле!» Президент входит в ложу, взмахивает платком, и через главный вход на арену выезжает всадник в черном старинном костюме герольда на прекрасном вороном коне. Через всю арену он скачет к ложе президента. Тот бросает ему сверху ключ от клетки быка. Герольд ловит ключ в свою шляпу и уезжает. Играет музыка. Выходит процессия: матадоры со своей свитой бандерильо, пикадоров и слуг. Матадоров трое: Вильялта, Чикуэло, и не помню третьего имени, — в бархатных шитых золотом костюмах. Медленно обходят кругом всю арену. Их приветствуют: овация, крики! Сдержанно, с великолепным достоинством они отвечают на приветствия. Их яркие костюмы блещут золотом и серебром. Они в черных маленьких треуголках, из-под которых торчат сзади косички, на ногах лакированные открытые туфли. Лица у них серьезные, сосредоточенные, углубленные в себя. Они уходят. На арену выезжают одна за другой коляски с городскими красавицами — сеньориты в белых кружевных мантильях, накинутых на высокие гребни. Коляски буквально залиты цветами. Девушки, улыбаясь, бросают розы в гущу зрителей. Коляски уезжают. У двери, через которую на арену выйдет бык, появляется человек. Герольд снова выезжает на сцену и передает ему ключ. И вот тишина. Все замерло. Человек отпирает дверь и прячется за нею. А на арену выбегает бык. Он великолепен. Огромен. Шерсть лоснится. В нем такая мощь, такая жизнь! На арену выходит матадор с красной мулетой, и бык как вихрь мчится к нему. Но едва уловимым движением матадор отклоняется в сторону — бык миновал его на миллиметр, но снова поворачивается и, низко наклонив голову со свирепыми рогами, снова бросается на матадора. Опять игра... Цаплин в ярости! Он чуть не плачет от сострадания к быку. Он возненавидел корриду.

Мне так страшно, что меня тошнит. Я готова кричать от ужаса, но мне стыдно окружающих. Я хотела бы уйти, но уйти нельзя — разве что по головам людей! Матадор исчезает, и на сцену выходит бандерильо. Бык видит его и мчится к нему, но бандерильо сам мчится ему навстречу и на бегу втыкает в спину быка два длинных острых жезла, разукрашенных разноцветными лентами. Они впииваются в спину быка, он мотает шеей, делает скачок в сторону, чтобы сбросить эти пиявки, сердито мычит, но жезлы крепко впились ему в спину, и две тонкие алые струйки бегут по черной блестящей шерсти. Я зажимаю рот рукой, чтобы не закричать, у меня разорвет-

ся сердце! Быка отвлекают в сторону, и на арену выезжает пикадор с длинным копьём. Самая отвратительная часть корриды начинается. На тощей высоченной лошади сидит истуканом пикадор. Его ноги покрыты кожаным панцирем, на голове большая войлочная шляпа с широкими полями, в руках копьё. Пока быка отвлекают в сторону, пикадор подъезжает к барьеру и ставит лошадь вдоль него. Завидев его, разъяренный бык бросается на него и со всего размаху бьёт рогами в живот лошади. Живот перевязан подпругой, но бык пробивает ее и подымает лошадь на рога. Пикадор сидит в седле, он бьёт копьём в лопатку быка. Часто удар его настолько силен, что он падает с лошади и если может, то быстро прыгает через барьер. А то ползет на животе в сторону, надеясь на матадора и его свиту, которые в это время отвлекают быка в сторону. Их красные мулеты взлетают как бабочки перед самой мордой быка. Лошадь или тут же падает, околевшая, или, если она еще в силах идти, ее уводят. Оркестр играет пассо доблэ. И начинается последнее — игра матадора с быком и смерть быка.

Бык сейчас наиболее опасен. Он уже не мечется по арене в яростном недоумении, он уже чему-то научился, он бьёт без промаха на близком расстоянии. И эта игра человека со смертью — какое мастерство, какая безумная выдержка и отвага.

Но эта первая коррида, и Чикуэло и Вильялта хотя и очень крупные известные матадоры, но... Только увидев Хуана Бельмонте, я понял, что значит «великий матадор», как его называли.

Но эта первая наша коррида... Шесть раз повторялась игра. Тоска и ужас спустились на нас. Нам хотелось одного — уйти, уйти от этого невыносимого зрелища. Наконец все окончилось. Шесть прекрасных зверей убито. Несколько лошадей убито. Легко ранен один бандерильо. Толпа молча, угрюмо расходилась. Многие говорили: «Плохая коррида». «Разве бывает иначе?» — спросила я у соседа-испанца. «Да, — ответил он с энтузиазмом. — Это плохая коррида. А бывает!..» Но он не мог мне объяснить, почему именно эта была плохая.

Мы возвращались в Пуэрто подавленные. Жаркий душный день. Темно-алые пятна крови на желтом песке, перекошенное ужасом лицо пикадора, упавшего с лошади. Пышная, невыносимо грозная театральность, железная закономерность всего зрелища, красные бабочки мулет, красные возбужденные лица людей, черные треуголки матадоров с косичками и черное мохнатое ухо быка, преподнесенное одному из матадоров за особо верный удар, — все слилось вместе. Меня кошмарило. Душила липкая тоска.

Дмитрий никогда больше не ездил смотреть корриду. А я — да. И я видела Хуана Бельмонте. Через год после того, первого раза я снова поехала смотреть корриду. Это была особая коррида. В ней выступали лучшие эспады Испании — Эль Гальо, и Викториано де ля Серна, и сам великий матадор Хуан Бельмонте. И все было совсем, совсем иначе. Личность человека, его внутреннее содержание, нечто, что делает человека великим, — нигде и никогда значе-

ние этого не представляло передо мной с такой потрясающей ясностью, с такой обнаженностью, как когда Хуан Бельмонте выступал в Бое Быков.

Моя вторая коррида была для меня совсем иной еще и потому, что я сама всецело участвовала в ней, я ощущала себя одним из главных действующих лиц этого театра. Ибо, бесспорно, это самое театральное зрелище в мире. И вот я была тоже частью этого великолепного представления. В тот день для корриды я оделась, как подобало быть одетой на Бое Быков по старой традиции. Я ехала в Пальму в сопровождении Магдалены (моей молодой служанки) и ее жениха Матео (рыбака и контрабандиста из Польензы). На мне было строгое черное атласное платье, открытое. Поверх я надела болеро из мадроньев (сетка, усыпанная бархатными помпонами, которую специально для этого дня я заказала в Валенсии). Такие «болеро» по традиции испанки надевали на Бой Быков много лет тому назад. На голове — маленькая черная соломенная шляпка — я купила ее в Мадриде, на руках длинные черные ажурные перчатки и на ногах такие же чулки, черные лакированные туфельки и черный веер! А в левой руке букет белых роз. «Оле, ла бониссима!» — «Оле, красавица!» — кричали мне, когда мы вышли на Плаза де Торос. Магдалена и Матео упивались моим успехом, — на меня смотрели, щелкали «лейки» туристов-иностранцев, очевидно, они-то были уверены, что я истая, коренная испанка. А я чувствовала себя неотъемлемой частью корриды. Хуан Бельмонте представлял ее мужской элемент, а я — женский. Я была заодно с быком и с матадором, с желтым песком арены, с сияющим небом и с битвой не на жизнь, а на смерть. Никто не знал меня, и я никого не знала. От этого я чувствовала полную внутреннюю свободу и «публичное одиночество».

На этот раз мы сидели на солнце, на дешевых местах. И от этого мне было еще праздничнее. Кругом сидели крестьяне, рабочие, рыбаки — потные, напряженные, с шелковыми платками на шее, в кепках. Они улыбались мне и со всех сторон вопили мне комплименты.

Дальше мне трудно писать от первого лица. Буду писать, словно то была не я!

Черный веер дрожал и раскрывался в ее руках. Когда Хуан Бельмонте поравнялся с местом, где она сидела, она бросила самую красивую белую розу ему под ноги. Он приостановился, взглянул наверх в ее сияющее лицо, поднял розу и прижал ее к губам. Разразилась неслыханная овация, приветствуя его и ее!

Сейчас она была — возможно, в первый и последний раз в своей жизни — главной героиней, но лишь пролога. Вернее — прелюдии к первому акту. А когда началось главное театральное действие, она сошла со сцены, тут же всеми забытая, и смотрела на представление заодно с остальными. Эти остальные, однако, тоже были частью

корриды. Испанская толпа была как бы древнегреческим хором, отражая малейшее из того, что происходило на арене. Толпа, как единый человек, колыхалась, вздрагивала, вопила, задыхалась от страсти и восторга. Мимо зрителей по арене вдоль барьера спокойно и просто, с глубоким достоинством шел Хуан Бельмонте. В его руках была черная треуголка, и он помахивал ею, отвечая на приветственные крики толпы. Он был небольшого роста, очень смуглый, с выразительным цыганским лицом. Его алый бархатный костюм был весь заткан золотом. Хуан Бельмонте шел чуть прихрамывая, не улыбаясь. Его строгое лицо было глубоко серьезно. Эта коррида была его первой после десятилетнего перерыва. Тогда он ушел с арены в зените славы. Сегодня впервые выступал снова.

За ним шел Эль Гальо, знаменитый как своей отвагой, так и своей трусостью. Иногда — редко — в разгар корриды он вдруг пугался быка и, не стесняясь, удирал от него. И уже ничто не могло заставить Эль Гальо выйти на арену. Пожилой, с большой лысой головой, коренастый и крепкий, он был братом прославленного Хозелито, который погиб на рогах быка после трехлетней беспримерной карьеры. Говорят, когда хоронили Хозелито, стотысячная толпа провожала его на кладбище. Имя его помнят до сих пор.

За Эль Гальо шел Викториано де ла Серна. Молодой, стройный, очень красивый, в чудесном черном бархатном костюме, шитом серебром.

Только увидав Хуана Бельмонте, я понял, что значит «великий матадор», как его называли.

Что я помню о той корриде? Лицо Хуана Бельмонте, неподражаемую, непревзойденную грацию его движений. С безмерным достоинством и благородством, с храбростью, которая не кричит, ибо органична, с величественной простотой — он был воистину великим матадором. Все присутствующие непререкаемо знали, что он лучший из всех матадоров Испании! Он не делал особо острых трюков, он не был равнодушен к опасности, он играл с быком по всем традициям Боя Быков, не отступая от строгого ритуала и никогда не бравируя. От него передавалась зрителям глубокая убежденность, что сейчас он делает главное дело своей жизни, дело очень серьезное, очень важное. Может быть, это и является сутью подлинного искусства, в чем бы оно ни проявлялось.

Наконец Бой Быков закончился. И лавина аплодисментов обрушилась к ногам Хуана Бельмонте. Глубоко задумавшись о чем-то ему одному известном, он стоял посреди арены, словно кругом него тишина и он где-то далеко совсем один. Он не раскланивался, не улыбался, сосредоточенно глядя куда-то вдаль. Молодой красавец Викториано де ла Серна, великолепно исполнивший свою часть корриды, раскланивался, сияя улыбкой. Но героем дня, центром корриды являлся Хуан Бельмонте — долго еще толпа аплодировала и кричала его имя. Смеркалось. Зной спалал...

11 сентября

У нас были визы в Италию, но в Италии правил Муссолини, и, по рассказам побывавших недавно в Венеции Тибби и Мика Леофф, фашистские соглядатаи все время ходили за всеми иностранцами по пятам и ежеминутно могли подстроить каверзу. «Успеем, когда фашистов прогонят», — наивно решили мы с Цаплиным и очень обрадовались тому, что будем скоро вновь на нашем благословенном острове.

Мы отправились в порт Валенсии узнать о пароходах. Море казалось горячим, оно тихо подремывало под палящим солнцем. На пристани лежали горы апельсинов. Дюжина — на выбор — стояла всего одну-две песеты. Мы ели их беспрестанно, и таких вкусных, как в Валенсии, я уже никогда нигде не ела. Они прохладно таяли во рту.

Мы побродили по докам, пароход на Майорку отплывал через три дня. Близился полдень. Надо было удирать от жары и кормить Аленушку, чей распорядок дня был строжайше регламентирован. Как я любила ходить с ней по Валенсии! Она была мне такой милой спутницей, трехлетняя крошка, и даже спасительницей, ибо ограждала меня от приставаний мужчин. Валенсианцы были невероятно напористыми. Во всяком случае, очевидно, считали, что когда мужчина выглядит так, словно готов вот-вот на женщину наброситься, — это лучший для нее комплимент. В Валенсии воистину были в обиходе «испанские страсти».

Валенсия — весна — горы светло-оранжевых апельсинов на фоне горячего синего моря. Милое солнце на безоблачном небе; Алена как розовый цветок граната; лимонные рощи, кафе, рынок; старинное здание Льонхи, одно из самых прекрасных, которые я видела в Испании; лавки, люди... Боже мой, Валенсия!

Да, мы уезжали из этого прекрасного города слишком скоро, слишком скоро... Дмитрию не терпелось начать работать в уединении Польенза Пуэрто. Но судьба решила иначе. Мы шли к себе в гостиницу, и вдруг кто-то громко крикнул: «Цаплин!» И кто бы вы думали, как не сам Палладини, которого я прозвала «красивейшим шалопаем в Испании», бросился нам навстречу! Палладини, оказывается, жил теперь со своей женой Дафнэ в Валенсии. Мы непременно должны остаться, и Палладини организует здесь выставку цаплинских скульптур. «Да, да, завтра же! Я все могу, в моих руках весь город, я знаю всех, а меня знает вся Испания. Ведь я — Палладини!» Мы с Цаплиным согласились: это был шанс продать одну-две скульптуры в музей Валенсии.

Вечером мы были приглашены обедать к Палладини. Они жили на тенистом красивом бульваре Аламеда, и, к нашему великому удивлению, — в роскошном доме. Палладини приезжал в Пуэрто прошлым летом, явился к нам в Каза Сингала и, несмотря на свою элегантность, произвел на меня впечатление авантюриста без гроша в кармане, чем мне в некоторой мере и понравился. Цаплину

импонировало, что Палладини действительно знает искусство. Палладини говорил по-французски как истый парижанин, и Цаплин понимал его.

В тот вечер он познакомил нас со своей женой Дафнэ, которая оказалась очаровательной молоденькой датчанкой, единственной дочерью копенгагенского «короля пива», миллионера, того самого, который отвалил своему городу уйму денег для музея в Копенгагене. Красотка Дафнэ, только что из закрытого пансиона в Швейцарии, воспитанная в духе скромности, трезвой деловитости и хладнокровной сдержанности, вдруг, на свою беду (по-моему), случайно встретила с Палладини в Копенгагене. Тот мотался по всему свету как журналист. И вот в девятнадцать лет Дафнэ, наперекор всем и вся, два года назад вышла за него замуж и поселилась с ним в Валенсии. Десятимесячный их сын, которого она мне в тот вечер показала, был поразительно красивым малышом, от матери он взял золотистые волосы, а от отца большие темные глаза. У малыша была молоденькая бонна-немка, помимо испанской нянюшки, и свои отдельные апартаменты. Дафнэ не спускала глаз с Палладини, но он и в самом деле был чрезвычайно привлекательным, умным, затейливым и сложным человеком — лентяй и бродяга, «артист» и богема до мозга костей, влюбленный в себя, во всех красивых женщин, в искусство и, главное, в жизнь. Потомок древнего знатного рода из Астурии, он называл себя коммунистом и был яростным революционером на словах. С непередаваемым блеском он мог часами рассказывать нам об Испании.

В сумерках он заходил к нам в отель и лениво предлагал встретиться позднее, часов в десять, с ним и Дафнэ в каком-нибудь маленьком кафе. Мы переехали в другой пансион, очень респектабельный, где у сеньоры-хозяйки был маленький сынок, и она относилась очень по-матерински и к Аленушке. Уложив Аленушку спать, мы шли на свидание с Палладини. Как хорошо я помню все: темные улицы вдали от шумного центра, маленькое полупустое кафе со столиками на тротуаре, прохладную ароматную ночь — пахло розами и лимонами, а ветерок доносил соленый запах моря.

При виде нас Палладини вставал и приветствовал с грустным, скучающим видом, зато Дафнэ сияла улыбкой. Мы молча садились, Цаплин заказывал себе кружку пива, а я — чашечку кофе, и Палладини начинал говорить. Вскоре он преобразался — блеск остроумия, горечь, ирония, страстный пафос любви к великолепной Испании звучали в его речах с такой неподдельной искренностью, что это волновало не только его жену и нас, но часто и посетителей кафе, а гарсон подолгу застывал у нашего столика с салфеткой в руках. Палладини сыпал дерзкими насмешками по адресу начинавшегося движения фашистов (весна 1934 года), издевался над «монархическим» журналом «АВС», восхвалял социалиста Лларго Кабальера и коммунистов, рассказывал об Испании. К часу ночи мы шли домой, чета Палладини провожала нас, потом мы немного провожали их, потом они снова нас, и, наконец, у дверей нашего скром-

ного отеля Палладини напоследок произносил страстную речь — и мы расставались до завтра.

Выставка Цаплина открылась в клубе писателей и журналистов. Палладини раздобыл пьедесталы, Цаплин распаковал своих великолепных птиц и зверей. Мы сами с помощью Палладини и Дафнэ расставили скульптуры. Вначале мне было трудно заставить себя ходить в клуб, так как один из его членов, известный журналист, имел обыкновение сидеть у входа, а был он болен волчанкой... На лице у него вместо носа была кровавая каша, но он глядел во все глаза и говорил глухим, хриплым голосом. Его специальностью были статьи о Бое Быков. Он передвигался в кресле с помощью слуги и друзей. Меня до глубины души трогало всеобщее внимание, доброжелательность и сочувствие к этому несчастному человеку. Около него постоянно сидели один-два из его знакомых, никто его не сторонился, не боялся заразиться... Чудесный народ испанцы! Потом я «привыкла» к его ужасному лицу, и мы с Аленой всегда с ним здоровались. Бедняга...

В газетах появились портреты Цаплина и целые подвалы о его выставке. Палладини приволок прекрасного фотографа. И действительно, фотографии Цаплина и его скульптур, снятые в Валенсии, — это лучшие из всех его фотографий. Цаплина узнавали на улицах, выставка имела огромный успех, но он заломил такие цены за свои скульптуры, что городской музей отступился. Продать скульптуру для Цаплина было все равно что оторвать себе руку или ногу...

Палладини устроил в честь Цаплина роскошный званый обед, пригласил отцов города и разных знаменитостей — без жен. Еда была сверхвкусная, а сервировка соответствовала приданому дочери миллионера. Дафнэ, блистательная хозяйка дома, была хороша, как картинка, — идеальный цвет лица, большие серо-синие глаза, рот как розовый цветок, коротко остриженные золотые кудри, стройная фигурка, строгая элегантность. Но успокоиться на этом Палладини, конечно, не мог!

Как сейчас вижу эту большую столовую, Дафнэ с лилейными плечами, похожую на розовую маргаритку, дерзкого молодого красавца Палладини, торжественных пожилых валенсианцев (не помню ни одного из них в отдельности!), Цаплина в черной валенсианской блузе (из-за которой вышел страшный скандал, так как я пошла тайком купить ее для Цаплина). Себя — в сером, с черной розой на груди.

А с цаплинской блузой вышла чуть ли не трагедия. Такие блузы носили в Валенсии художники и старики крестьяне, которых я увидела на заседании Водного суда. Блузы эти мне так понравились, что я решила немедленно купить такие же Цаплину. Но сделать это надо было по секрету от него, а то он стал бы протестовать и ни за что этого не допустил бы и не стал бы их носить. Ему вообще было решительно все равно в чем ходить, и я насильно покупала ему верхние рубашки и обувь. На третий же день нашего

пребывания в Валенсии я, уложив Аленушку спать и оставив Цаплина с нею, удрала за блузами. Я так редко выходила одна, всегда вдвоем с Аленой или с ней и Цаплиным, что прямо-таки наслаждалась своими редко случавшимися одинокими вылазками! Блузы я купила быстро. Две черных, одну коричневую, и радостно вернулась в пансион. Цаплин набросился на меня как зверь, вернее, как грубый извозчик. «Где была?! — орал он. — Как смела уйти, не сказав мне?!» — и чуть не кинулся на меня с кулаками. А я его еще в Мадриде предупредила, что прощаю в последний раз. Я положила блузы на стол. Алена проснулась, я одела ее. Цаплину я не сказала ни слова. Я словно заледенела вся. Я повела Алену гулять и зашла по дороге в «Америкэн Экспресс» узнать, когда отплывает пароход в Нью-Йорк. Пароход, оказывается, уходил послезавтра вечером. Я заказала каюту первого класса, оставила задаток. Бен в каждом письме звал меня, писал, что будет Аленушке любящим отцом, писал, что я ему самый близкий и любимый человек, что, если я хочу, то большую часть времени буду жить в Европе: в Париже или Лондоне, в Риме или Швейцарии...

Если сам Цаплин вырисовывался мне все более тяжким человеком и моя любовь к нему сменялась холодным равнодушием и даже неприязнью, то образ жизни, который я вела с ним, был вполне по мне, так же как и принадлежность к кругу скульпторов и художников, вернее, к международному братству «артистов» вообще, включавшему и писателей и музыкантов. Среди этих людей я чувствовала себя на месте, хорошее выражение — «как рыба в воде», — именно так. А многие деловые знакомые Бена, сам Нью-Йорк, Соединенные Штаты вообще с их глубочайшим мещанством, бешеной погоней за долларами, надутой плутократией, отсутствием культуры и «артистизма» (за редким исключением) — все претило мне, было мне ненавистно, скучно. Душа моя восставала против их мироощущения и образа жизни. Я не вынесла и бежала из США, несмотря на нашу с Беном любовь, несмотря на все представленные мне comforts и разные «блага». Вот почему когда Бен умолял вернуться, когда Честер приехал в Париж за мной и шестимесячной Аленой (о милый, милый Честер...), я не уехала обратно в Америку. Достояние и, конечно, в тысячу раз интереснее было жить с Цаплиным в его голой мастерской, где мы сидели на ящиках и ели на ящиках, а единственной «мебелью» была колченогая широкая кровать под пурпурным бархатным балдахином времен Второй империи. А главное — Цаплин был русский, свой человек, и с ним мы вернемся домой, и Аленка наша вырастет у себя на Родине. Главным было это.

Но этот «свой» человек был все более явно человеком не по мне, ох нет... И на этот раз я твердо решила уехать.

Последующие в Валенсии дни мы с Цаплиным молчали. Он не пытался нарушить молчание, чувствуя, что это было бы бесполезно. В пятницу с утра я повела Алену гулять. Завтра мы отплывали, и можно с ночи вселиться в нашу каюту. Предстояло тайком выбрать-

ся вечером из отеля прямо на пароход, а до этого хоть кое-что уложить.

Мы сели на скамейке в скверике, Аленушка начала рыться в песке вместе с другими малышами, и вдруг передо мной вырос Цаплин. Он был бледен, лицо его дергалось. «Татьяна Ивановна, вы уезжать собираетесь? Так знайте, я повешусь, жить я не буду. Татьяна, прости, прости меня...» Крупные слезы катились по его щекам, он был жалок, он оставался в чужом городе, почти не зная языка, почти без денег, отец моего ребенка, и мне казалось, что без меня он совсем беспомощный, да еще действительно повесится с тоски! Вот уж этого я взять на душу никак не могла. «Станьте здесь при всех на колени передо мной и поклянитесь, что «такое» никогда больше не повторится; что вы будете отпускать меня из дома одну, орать и кидаться на меня никогда не станете! На колени!» И он опустил на колени, в песок, тут же на сквере, при всех, на глазах ошеломленных испанцев! «Слово даю! Честное слово, Татьяна!»

Я взяла его за руку, подозвала Аленушку, которая была так занята игрой, что и не заметила происходящего, и втроем мы вернулись в отель.

После званого обеда у Палладины союз художников и скульпторов города Валенсии устроил большой обед в честь Цаплина.

А сейчас революция бушует в Испании, фашисты хотят задавить испанский народ. И когда я думаю об Испании, какой угрюмой, неприглядной кажется мне Москва! Ничего не могу с собой поделывать, я все время вспоминаю Майорку, Кордобу и Гренаду, Валенсию... Кордобу бомбардировали!..

Но вернусь на минуту снова в Валенсию, о которой не могу вспоминать на минорный мотив. Мы с Цаплиным плыли обратно на нашу любимую Майорку на небольшом скромном пароходике, курсирующем между Валенсией, Барселоной и ближайшими к ним островами: Майорка, Минорка, Ибиса и т. д. Мы были на палубе, а на пристани стояли Дафнэ с Палладины, который накануне горячо уговаривал нас ехать на побережье неподалеку от Валенсии, где у них с Дафнэ вилла на самом берегу моря, дивный пляж, сад,— на всё готовое. Пароход издал длинный гудок и начал отплывать. Палладины и Дафнэ выглядели печальными. А сейчас я так тепло вспоминаю их!

Помню, как художники Валенсии дали обед в честь Цаплина. Нас повезли далеко за город на берег моря. Был серый прозрачный весенний день, и море казалось бесконечным... На песчаном пляже под большим навесом стояли в ряд длинные столы со скамьями, а еду готовили в саду при «Каза дель Маре» — «Дома у моря». Над жаровней стоял большой чан, в котором шипела арроз пазлья — рис с овощами и курицей, вкуснейшее блюдо, отдаленно

напоминавшее наш плов. Жены художников и еще какие-то женщины резали помидоры, салат и сбивали «сабайоне». Пиршество было роскошное. Мы пили манзанилью, чокались, произносили речи и выкрикивали тосты, но больше всего мне запомнился грустный женский голос... Пожилая испанка, вся в черном, удивительно пела простые, народные песни, особенно одна песня про бедного матадора тронула меня до глубины души.

Если моя мать умрет — куда я денусь?!
Пойду в матадоры...

Нас чествовали не только потому, что Цаплин был великим «артистом»-скульптором, но потому, что мы были люди Советской России. Среди присутствующих многие были коммунистами, почти все были социалистами, и для них наша Родина очень много значила... Сколько было выпито именно за Советский Союз, за его процветание и за добрую дружбу с ним! День был пасмурный, и у меня на сердце, несмотря на общее веселье, было тяжело... Сама не знаю отчего. После мы пошли в ближнюю апельсиновую рощу, а потом в дом к писателю Бласко Ибаньесу. Он давно умер... Было уже темно, когда мы вернулись в город. Этот праздник в честь Цаплина устроили в складчину художники Валенсии, и я никогда не забуду серенький день, берег моря и голос женщины... А главное — дружелюбие, душевность и простоту милых валенсианцев.

Про Эскуриал

В Мадриде после выставки Цаплина в Музее современного искусства к нам однажды пришел с визитом испанец. Не помню его фамилию. Он принес Цаплину подарок: книгу, которая называлась «Неизвестная Испания», — собрание великолепных фотографий. И сказал: «Сеньор Цаплинэ, ваше искусство великолепно. В знак моего уваженья к вам и признательности я хочу показать вам дворец Эскуриал — музей, где собраны замечательные картины, и в частности лучший Эль Греко: «Святой Маврикий благословляет полководца». Разрешите заехать за вами на моей машине в день, который вы назначите, и мы поедем туда». Цаплин назначил день.

Дул сильный ветер, погода стояла серая, холодная. Мы мчались по скалистому плоскогорью. Кругом высились скалы и бурые холмы, на которых клочками рос колючий кустарник. Все было коричнево-серого унылого цвета. Безлюдно и мрачно. Кастилья. И вдруг после крутого поворота на сороковом километре от Мадрида перед нами вырос на голой равнине одинокий дворец. Эскуриал. Огромное четырехугольное, скучное в своих пропорциях и величественное по масштабу здание из серого гранита. Удивительное впечатление от полного одиночества — неожиданность возникновения Эскуриала на голом, унылом плоскогорье! Сеньор начал стучать в ворота. После долгого ожидания ворота отпер монах. Наш испанец назвал себя. Несмотря на то, что Эскуриал был закрыт для посетителей, монах,

с врожденной испанской любезностью, очевидно, заранее условившись с нашим испанцем, согласился показать советскому скульптору, как он выразился, «сокровища Эскуриала». Мы вошли в мрачный внутренний дворик, похожий на каменный мешок. С погребальным звоном открылась кованная железом дверь Эскуриала. По бесконечным узким коридорам монах провел нас в залу, где висели картины. Меня поразило, как выл ветер, когда мы шли коридорами, — то как вопли умученных людей, то как тонкие печальные звуки флейты. Казалось, все здание пронизано безвыходной тоской, и ни души, кроме нас и монаха. Цаплин разочаровал испанца своим восторгом не перед огромным Эль Греко, а перед небольшой картиной Ван-дер-Вельде. Отдельно висел изумительный Тинторетто. Но Цаплин не обращал внимания ни на него, ни на Эль Греко, ни на Тициана, ни на Веласкеса — он был поглощен ван-дер-вельдовским полотном, на котором были изображены пятеро или шестеро фламандцев. Мы прошли в библиотеку, по стенам в шкафах и на дубовых столах стояли и лежали огромные фолианты — на постаментах высились большие глобусы — земные шары, удивительно и прекрасно разрисованные. Эта зала и та, где висели картины, показались мне светлыми островами в унылом огромном дворце — боже, какая скучная и мрачная душа создала Эскуриал и обитала в нем... Мы смотрели покои короля Филиппа II. Постель, обитая кожей, на которой он лежал, весь в язвах. Скребок, которым он скреб себе тело. Короля выносили в ложу, выходящую в собор Эскуриала, — черный, мрачный, с лиловой бархатной от потолка до полу завесой. А под полом собора склеп, где покоится тот самый король с чадами и домочадцами... Показал нам монах и знаменитое «Распятие» работы Бенвенуто Челлини — в человеческий рост тело Иисуса Христа, из слоновой кости на кресте черного дерева. Нам с Цаплиным было страшно смотреть на эту антитезу искусства, на страшное по натурализму бедное человеческое тело... Но кубки работы Челлини в отдельном шкафу у подножия «Распятия» переливались драгоценными камнями и перламутром и вопили о том, что сей великий разбойник был великим художником. Бесконечные скучные комнаты короля, покои его дочерей и жен, скудные, холодные. И унылый вой ветра! Пронизанные холодом серого камня, безысходным унынием дворца несчастного и страшного короля, мы вышли из Эскуриала измученные. И чуткий испанец быстро помчал нас в простой придорожный кабачок; там в камине трещали дрова, былолюдно и тесно, и за треногим столиком мы пили подогретую манзанилью и шоколад с сахарными палочками. И ели жирные, хрустящие «чуросы». На душе воцарялось тепло. Чудесный народ эти испанцы!

14 сентября

Сегодня позвала к Ване одного из лучших детских докторов — Соколова. Продала свое синее платье. Дмитрий торгуется с Комитетом, и мы сидим без копейки. Но я привыкла за годы жизни с ним к его скудости. Помню, старая англичанка сказала мне как-то в

Польенза Пуэрто: «Ваш муж похож на Иисуса Христа. У него лицо святого! Как бесконечно он добр, должно быть!..» Милая восторженная старушка.

Дмитрий страшно обидчив. У него была в детстве злая мачеха, она била и обижала его и заставляла нянчить народившихся от его отца своих собственных малышей. Ему было три года, когда мать его умерла. Он как-то сказал мне, что детство вспоминается ему как сплошное горе и унижение. Я спросила, любил ли отец мачеху. Дмитрий сказал: «Не до любви там было, в русской-то деревне!» Но отца и старшего брата Пантелея Цаплин любил, и помню, как плакал в Париже, получив письмо о смерти отца... Отца и брата Цаплин очень любил.

Долго ли Аленушка будет у моей матери? Я так о ней стосковалась!

Москва — странный город. Многие здания разваливаются, и их не ремонтируют. Новые дома удивительно безвкусные. Много кафе, в них всегда полным-полно, играет убогий джаз, подобие провинциальнейшего джаза начала века в США. Но радиопрограммы великолепные. Прекрасный оркестр. Прекрасные пианисты: Софроницкий, Николаев, Серебряков. Кроме того, много фольклорной музыки, которая для меня всегда интересна: песни туркмен, казахов, грузин...

Москвичи показались мне примитивнее, суетливее ленинградцев, но выглядят они более «упитанными» и одеты лучше. Дети розовые, здоровенькие. Но манеры москвичей, их страшная грубость, несдержанность! Думаю, что в этом они перещеголяли все нации на свете. Лишь военные — вежливые, сытые, почти холеные по сравнению с остальным людом... В женщинах полное отсутствие мягкости, женственности, изящества! Безвкусица одежды и претенциозность «дам», одетых лучше других! А главное — всеобщая неряшливость и неопрятность! Стопанная, уродливая, тяжелая, как копыта, обувь.

Мы были в гостях у Бориса Пильняка. Его жена прелестна. Молоденькая грузинка, сестра Наты Вачнадзе, киноактрисы. Он недавно снова женился!.. Неумные страсти! Но младенец-сын лежал в кроватке такой хорошенький, а стоящий рядом Пильняк пыжился от гордости. Кроме меня и Цаплина были еще Антонов-Овсеенко с женой Соней — хорошенькая веселая брюнетка, немножко «напористая». И еще какая-то пара. Ели, пили слишком много. Но разговоры были интереснейшие. Мы собрались было уходить, но Пильняк предложил нам поехать познакомиться с неким Гамарником — военный в больших чинах. Но было поздно, и я устала. Соня с мужем нас отвезли в своей машине до дому. Пильняк потолстел, поважнел, не такой «богема», как был. И вообще многие из тех, с кем мы встречаемся и знакомимся, поражают меня напыщенностью, важничанием, какой-то фальшивой торжественностью! Конечно, советской культуре всего восемнадцать лет! И в воздухе какое-то вранье...

20 сентября

Позвонил секретарь Керженцева по имени Марк Нейман из Комитета искусств. Просил приехать. Я поехала. Он вежливый молодой чиновник, старается показать, что понимает толк в искусстве. Просил меня помочь им сговориться с Цаплиным! Деньги за его скульптуры уже приготовлены, а он то соглашается на эту цену, то отказывается. Заломил столько, сколько они никогда никому еще не платили, неслыханную цену. Я старалась изо всех сил! Описала Дмитрия как могла лучше. Он-де безумец-гений, дитя природы, не от мира сего... (А он просто кулак. Мужик. Скупердяй.) Нейман жаловался, что Цаплин со всеми страшно грубит. (Вот за это я Цаплина и люблю — за то, что он не терпит чиновников!) Еще сказал, что они ценят талант Цаплина и стараются ничем Цапу — Цаплина — не «ущемить».

Вечером пришел Жуковецкий, пожилой, культурный журналист. Он долго уговаривал Цаплина не торговаться с государством. Но не тут-то было. Дмитрий упрям как дьявол. Ночью он кричал, стонал. Потом вскочил и крикнул: «Я докажу, что все они ослы! Все против меня! И все ослы!» Я успокаивала его как могла...

23 сентября

Страшно. Тяжко. Сплошная достоевщина. И в то же время обдуманное, преднамеренное убийство. Судебный процесс троцкистов.

Страшно. В суде все они рассказывают о своих преступлениях так откровенно, что это странно.. и очень страшно...

26 сентября

Я боюсь писать даже здесь, в своем дневнике. Мы все боимся говорить об этом друг с другом, даже с самыми близкими... Мы все делаем вид, что «это» идет стороной от нас, никак нас не касается... Я никого из них никогда не знала, но поверить я не могу. Мне жаль до крика несчастный народ наш, всю мою Родину! Но жизнь идет, и счастье есть на земле для кого-то, и есть любовь, и милые дети, и снова бывает весна...

В наше время редко кто читает Александра Блока. Стоят тяжелые дни, и, как ни странно, Блок принадлежит к ним. Я все вспоминаю его предисловие к «Возмездию», а он его написал в 1913 году:

Когда по городской пустыне
Я возвращаюсь домой...

28 сентября

Гитара, купленная мною сегодня, очень хороша! Маленькая, темная, глубокий «органный» звук, внутри наклейка: «Иван Краснощек, 1830 год». Сто лет ей. Пою с ней. Это все пойдет в дело.

29 сентября

Несколько дней назад говорила об Испании на митинге в Союзе скульпторов и художников. К собственному удивлению, мое выступление было очень удачным, хлопали мне без конца! Я просто рассказывала, какие хорошие люди испанцы. Вчера в газете «Советское искусство» (а также в «Красной звезде» еще раньше) напечатали мою статью про Мадрид. Приятно!

1. Я обязана — это мой нравственный долг! — посылать моей тетушке Марусе не меньше двухсот рублей в месяц. Я это и делаю. Но трудно...

2. Мне надо зарабатывать минимум пятьсот рублей в месяц на детей. Одежду и обувь покупать себе не буду. Ни за что. Можно чинить.

13 октября

На днях мне пришлось пережить весьма гнусные минуты по вине Наталии Столяровой. Она познакомила меня летом с неким Павлом Петровичем Масловым, профессором Финансового института. По словам Наташи, его отец знаменит спором с Лениным. Маслов черноволосый, плотный, глаза наглые, с монгольским разрезом. Мы несколько раз пили кофе с ним и его приятелем Колиным в кафе «Националь». И вот Наташа по телефону передала мне приглашение Маслова пожаловать к ним на обед завтра к семи часам. У него-де жена, актриса Театра Вахтангова, и маленькая дочь. Ладно. Я в Европе привыкла приходить в гости вовремя. Приветливо встречает меня жена. Дочка у бабушки. Появился Колин, а Наташи все нет. Обед вкуснейший, приличное вино. Вдруг жена собралась уходить — ей надо в театр ко второму или третьему действию. Маслов, Колин и я идем в кабинет Маслова, разговариваем о пустяках. Он снял со стены большое серебряное блюдо: «Вглядитесь, Татьяна Ивановна!» Вглядываюсь. Блюдо индийское с изображениями разных любовных сцен. И тут он сует мне еще фотографии: он и она в весьма откровенных позах! «Вы знаете, кто это? Это сестра Натальи Глан, директор Парка культуры и отдыха», — говорит Маслов. «Я вообще почти никого в Москве не знаю, впервые слышу эту фамилию». Встала, говорю, что мне пора домой. Вернулись в столовую, где в углу стоит большая тахта. Жду, когда мне пальто подадут, и вдруг Маслов бросается на меня, с силой валит на тахту, а Колин сует что-то под подушку тахты и исчезает. Я дерусь яростно, как дикий зверь, но кричать не могу, онемела! Маслов понял, что это будет либо убийство, либо ничего не будет. Так же внезапно, как набросился, он встал и невозмутимо сказал, нагло ухмыляясь: «Вы чуть не укусили меня!» — «Подать мне пальто!» — прохрипела я. Он вышел, а я приподняла подушку: фотоаппарат! Маленький фотоаппарат! Они намеревались меня скомпрометировать...

Маслов принес пальто. Колин торопливо, не своим голосом заявил: «Я доведу вас до дому!» — он приехал на своей машине. Я молча села в машину.

Доехали до дому. Боже мой, кинулась в детскую. Мои драгоценные Аленочка с Ванюшей так мирно, так тихо спали. Долго я мылась в ванной, все казалось, что омерзительные его руки ко мне прикасаются. Наутро позвонила я Наташе. Веселым тоном она сказала, что прийти не могла, впрочем, она уже раньше побывала у Маслова. Я ничего ей не рассказала. Зачем?! Она нашла бы все это «забавным». А эти двое гнусных негодяя, верно, не меня первую ловили. Не вышло, и ладно. «Работа» сорвалась.

19 ноября

Еду за Аленой к маме. И никогда, пока жива, с ней больше не расстанусь. Цаплин поехал в командировку на юг делать бюсты знаменитых летчиков Чкалова, Байдукова и Белякова, которые перелетели от нас в США через Северный полюс. Отец написал мне, что Цаплин пригласил его пожить с ним в Сочи и даже выслал ему на дорогу денег. Мой отец настолько же беззаботен и великодушен, насколько мама тяжелый человек. Ваню оставляю на неделю с домработницей Нюрой. Она его бешено любит, чистюля, но характер у нее злобный.

19 декабря

У меня воспаление легких, тяжелое, противное. Я привезла тогда Аленушку и была так счастлива, что оба ребятыныша со мной. Дубинские вернулись, стали грозить, что придет милиция и нас выкинут на улицу, хотя мы сразу переселились в одну комнату, оставив их царствовать в ихних двух!

Она особенно отвратительна, похожа на белую лягушку, вульгарная, злющая. Надо переселяться на дачу — в Москве ничего нельзя найти. Но на даче уборная во дворе и нет водопровода — воду берут в колодце. Нюра твердо заявила, что через неделю уходит от нас, — увидела, что нам плохо, и, как крыса, кинулась прочь с тонущего корабля. Мастерская Цаплина никак под жилье не приспособлена. Деньги за два года вперед Дубинские не отдали.

Дети, мои бедные дети!

2 января 1937 года

В легких чисто, но температура не падает. Такая слабость, что пальцем пошевелить я не в силах. Приехала мама, берет Ваню с собой в Орджоникидзе. Мы с Аленой пока будем у Ники Роецкой, моей старой институтской подруги. Их четверо, да нас двое — в двух комнатных. За большие деньги, ибо Ника почти нищая — муж

пьяница! Мальчишки еще учатся — Ника согласна пустить нас лишь оттого, что деньги ее выручают.

Последние два года были несказанно тяжелыми.

Сил нет.

Дмитрий получил огромную сумму за свои бюсты летчиков, но денег не дает. Продаю платье за платьем. Духи все давно канули в милое прошлое. Даже смешно и вспоминать о них!

Очень мне одиноко. Но есть золотые слова на свете: «Любовь позаботится о нас». И дальше: «Восстань против своей болезни. Не поддавайся ей!»

А у меня безумный страх, что у меня туберкулез. Ведь дети!

4 марта

Мы с Аленой живем под Москвой, в доме отдыха Комитета по делам искусств, а Цаплин приезжает к нам по пятницам до понедельника. Живем в большой комнате с террасой в Абрамцеве, бывшем имении Аксаковых, купленном затем Саввой Мамонтовым.

Не хочу вспоминать о наших квартирных мытарствах. Они еще предстоят. Пока что жизнь дала нам передышку.

Парк с вековыми липами, пруд, речка. В старом доме печи с образцами работы Врубеля. В парке несколько небольших дач, в одной из таких наша комната и в ней — о чудо! — стоит рояль, на котором я много играю. Народу мало. Живет некий молодой и бедный, но, по-моему, талантливый писатель Павел Нилин с женой Матильдой Юфит. У нее приятное лицо, умные глаза — она очень милая, совсем молоденькая. Он прихрамывает. Ужасно веселый! Поет: «Никогда я не был на Босфоре»... — и все!

У Цаплина появились свои друзья: некто профессор Зубакин. Милейший человек, поэт-импровизатор и философ. У него упоительно красивая жена Елена Михайловна, женственная, изящная блондинка, актриса Малого театра. Зубакин пришел в мастерскую к Цаплину и приволок с собой большого, выше себя — деревянного фавна, очевидно, работы крепостных. Изумительный фавн! Остановившись в дверях мастерской, Зубакин сымпровизировал в честь Цаплина целую поэму. Цаплин прослезился, обнял с благодарностью Зубакина — и они подружились. У Зубакина приятное русское лицо, большой аристократический нос, но он крошечного роста. Очень образован, культурен и обаятелен. Он искренно восхищается скульптурами Цаплина, приходит каждый вечер.

Фавна я поставила в углу, а перед ним в большой плошке цветы, а в чашечке рис. Я ему потихоньку молюсь. Но Цап, по-моему, увидел мое отношение. Злобно поглядел на фавна...

Цаплин страшно сильный — он ворочает свои огромные скульптуры, переваливает их с места на место. Он сейчас много работает. Пришла к нему в мастерскую — фавна нет! Говорит: «Я его убрал», а куда? — молчит! Неужели он его сжег?..

8 апреля

Начала снова петь. Услышали меня здесь живущие и хвалят! А я пою с упоением, погружаюсь в песни...

5 мая

Я влюблена в Абрамцево. Тут в парке стоят каменные бабы, есть и большой идол. И часовня, где похоронены Мамонтовы...

Народу стало больше, все «интеллигенты»: кинооператор Головня, радиорежиссерша Роза Иоффе, милый пожилой художник Александр Иванович Иванов, писатель Нилин с женой... Юрочка Завадский — ох и красавец же! Все дамы от него без ума. Он катал меня и Алену на лодке. Я хожу босая.

1 июня

Батюшков

Пока летит за нами
Бог времени седой
И губит луг с цветами
Безжалостной рукой,—
Мой друг, скорей за счастьем
В путь жизни полетим —
Упьемся сладострастьем
И смерть опередим.

Я пою это в стиле старого романа.

Это словно стихи об абрамцевской весне. Я забыла свои душевные раны и махнула рукой на постоянно повышенную температуру. Начала серьезно петь. Хочу из этого сделать себе профессию и заработок.

Фашисты громят Испанию.

С Цаплиным живем мирно. Алена растет как цветок, Ванечка пока что у мамы, ибо здесь не разрешают с маленькими детьми, нам только одну Алену разрешили. Господи, хоть бы к осени найти в Москве жилье! Изо всех сил ищут и хлопочу без конца об этом! Пишу заявления, прошу кого-то и прочее.

1 июля

Мы живем как на далеком острове, далеко от всех житейских бурь. А они бушуют вовсю. Здесь жил секретарь Бубнова — славный малый, молодой, красивый. И вдруг он словно почернел весь. А потом исчез. Уехал?.. Но мимо, мимо... Верховский и Екатерина Ивановна, по словам Надежды Волынской, тоже вынуждены... уехать... Гуля Верховский! Но мимо! Он друг Тухачевского...

Тут молодой композитор Тихон Хренников и жена Клара. У него лицо простого русского паренька.

Мы теперь наверху, а внизу под нашей комнатой поселились пианист Григорий Романович Гинзбург с женой Ревеккой Львовной и сыном, маленьким Левушкой. Аленка и Лева — закадычные друзья. Старая чудачка, прекрасная актриса В. О. Массалитинова. И еще масса интересного народу. Приезжал писатель Гайдар и случайно услышал, как я пою. Через два дня сказал мне: «Вы помогли мне закончить книгу!» Он мне больше всех понравился — умный и простой.

Вечерами в старом доме концерты. И еще часто приходят ко мне в гости мои новые знакомые, и мы по очереди читаем вслух стихи разных поэтов. Художник Александр Иванович Иванов — невзрачный, тихий человек, — оказывается, великолепно читает Тютчева и знает почти все его стихи наизусть. Игорь Аптекарев, пианист, очень некрасивый, но когда играет ноктюрны Шопена, бледнеет и делается красивым. Великолепный пианист!

Цаплин приволок огромные камни, сделал пьедесталы и рубит бюсты певца Доливо, у которого лицо — как морда большого умного пса, и старуху Массалитиху, похожую на бабушку из «Детства» Горького.

Пианистка Мария Соломоновна Неменова-Лунц предложила аккомпанировать мне и приготовить со мной концерт в Малом зале Консерватории. Только бы было где жить в Москве, а работы непочатый край!

Милая Полина Арго, некрасивая, но обаятельная жена красивого грузного блондина с окладистой бородой — поэта Арго, познакомила меня с профессоршей пения Ксенией Александровной Дорлиак. Я пела ей, у меня предел верхнее «соль» и «ля», но «ля» беру уже на пьяниссимо, на форте не пробовала и не хочу. Ненавижу, когда орут, а у нас почти все певцы и певицы именно орут, а не поют. Ксения Александровна сказала, что рада будет заниматься со мной и что нельзя во мне ничего нарушать. У нее дочь Нина, привлекательная, изящная, поет хорошо, старательно. В ней есть музыкальная культура и вкус. Однако во многом они провинциальны, и то, что лет тридцать как уже вошло «там», во Франции, в Англии, в быт, сюда еще не дошло. Главное, что «там» стало вдруг бесконечно, недоступно далеко. У меня иной раз сердце замирает от ужаса, что никогда больше...

Но мимо!

Еще кое-кто исчез... И все об этом молчат!

А человека как не было...

11 июля. Абрамцево

Страшно! Примчался Коля Волчанов, влюбленный в Наташу Столярову, с которой я часто виделась в последний год. Ее Цаплин знал по Парижу, и она как-то зашла в Москве в его мастерскую. Мы подружились. Она очень милая, умная, своеобразная. Она чуточку моложе меня, родилась в Генуе, но юность провела в Париже. Отец ее был

когда-то эсером. Она подала недавно бумаги на поездку в Париж. Коля сказал, что Наташа «исчезла», как перед этим, оказывается, исчез ее отец и вся его семья... Страшно...

«Утопим весело умы». Каждый вечер в Большом зале Абрамцева концерты. Все как ни в чем не бывало. Неужели и они притворяются, как я, что ничего особенного не происходит?!

В газетах было про профессора Плетнева... Он знаменитый сердечник. Что он изнасиловал девушку. А кто-то из здешних при мне сказал: «Вранье!» Как «вранье»?!

1 августа. Абрамцево

Вести дневник больше не буду.

Зубакин исчез. Говорят, и Елена тоже...

Мимо!..

О тех, о ком пишут в газетах, я ничего не знаю. Никого из них не знаю. И ни единая душа ни о ком из них мне ничего не говорит. Обо всем этом просто молчат. Как мне страшно! (Записи прервались.)

Пишу долго спустя.

Таня Волчанова была моей подругой в Екатерининском институте, где я, маленькая, училась. У ее отца, Семена Николаевича Волчанова, был дом и большой сад в Хасавюрте, там и жила семья Тани: отец и мать, сестра Наташа и младший брат Коля. Семен Николаевич был болгарин, садовод. Сад его славился своими грушами, персиками, сливами на всю округу. Он сам с женой ухаживал за садом денно и ночью, с любовью и знаниями. Фруктовые деревья платили им за это действительно дивными по красоте и вкусу плодами. Я помню, Тане осенью присылали ящики с персиками, с грушами «дюшес», которые таяли во рту! Весь наш класс — двадцать пять девочек — лакомился Таниными фруктами. Но грянула революция. В восемнадцатом году сад и дом реквизируют большевики, и Семен Николаевич, совершенно разоренный, приехал с семьей в Пятигорск к нам. Мои родители приняли их с глубоким сочувствием, и Волчановы стали жить вместе с нами. Доносились вести из Хасавюрта (теперь этот городок как-то иначе называется — это около Махачкалы), что сад заброшен, гибнет, а в доме жить нельзя, так как окна выбиты, а крыша течет. Семен Николаевич умер от горя, ведь саду своему он отдал всю жизнь...

Я уехала из Пятигорска в двадцать втором году в Москву. Танечка и Наташа вышли замуж. Мать их умерла. А Коля после войны с Гитлером погиб в метро — сам ли он или кто-то толкнул его, но он упал под поезд в сорок восьмом году... По матери двоюродной сестрой Тани была Ната Чавчавадзе, княжна, очаровательно красивая девочка. Я повидала ее, взрослую, в Париже, где она работала как манекенщица в одном из самых шикарных парижских ателье мод. Мы встретились радостно, но жизненные пути наши шли в слишком разных направлениях... Я еще повидаю сестру Тани — Наташу, обязательно. Я всех их очень любила, они были тихие, деликатные, бла-

городные духом люди. А с Таней мы были закадычными подружками.

Сад заглох, многие деревья повырублены, но место это до сих пор называется Волчановским садом.

Пишу 1 февраля 1939 года

22 декабря 1938 года мы с Цаплиным пошли за ордером на квартиру. Трехкомнатная квартира в центре. Мы шли торжественные, себе не верили от счастья; у меня все дрожало в душе. Я никогда не забуду, как я подписывалась под ордером, как нам подали его и ключ от дверей, как мы сделали вид, что мы разумные взрослые люди, а не ошалевшие, одуревшие дикари, которым хочется валяться от хохота, лопнуть от радости, орать, плясать! Мы подошли к новому дому, лифт поднял нас на седьмой этаж, мы отперли дверь. Вошли. Мы молчали. Улица Горького, дом 6, квартира 28.

Мне нравилось решительно все: и большие окна, и два балкона, и ванная, и кухонька. Но Цаплин хмурился, что три, а не четыре комнаты, и на другой же день отправился в Моссовет требовать четырехкомнатную квартиру! Но я даже не обратила на это внимания. Мебели у нас нет, мы сидим на раскладушках. Сегодня 1 февраля, и мы наконец-то ночуем у себя дома, а то Цаплин все не переезжал. Он привык к мастерской. Но там ведь я однажды проснулась оттого, что по моему лицу промахнуло что-то мохнатое! Я в ужасе разбудила Цаплина. «Крысы!» — пробормотал он равнодушно и завалился на другой бок. Прижавшись к его могучей спине, укрываясь за ней, как за монастырской стеной, я наконец успокоилась, заснула. Бр... Гнусно вспомнить! А здесь так чисто, так мило, тепло, светло! Горячая вода ночью и днем, и я поминутно купаюсь! Лезу в ванну, в настоящую ванну! Я не видала их с заграницы. Все баня да баня, хоть баня и хороша. Но ах, ванна лучше! А наслаждение готовить на настоящей плите! Еду на днях за детьми, скорей примчать их в наш, в ихний дом! Лучшая, самая большая комната — детская. Потом средняя — Цаплина, а моя — самая маленькая, но она будет чудесным гнездом. Мы купим рояль! Спасибо Григорию Васильевичу Гринштейну, он каждый день звонил мне и говорил: «Идите еще туда-то, и еще туда-то. Плачьте в кабинете у такого-то, падайте в обморок при таком-то. Требуйте, вымаливайте квартиру!» Если бы он не подталкивал меня, я, может быть, и пала бы духом, перестала бы ходить и ходить!.. Нет, понять все это может только тот, кто сам все это пережил! Все знакомые рады за нас, все поздравляют, а главное, интересно, что все делают вид, что так оно и следовало ожидать! А ведь сами все знают, что случилось с нами чудо. Ибо получить квартиру — это Чудо в нашей стране, да еще в Москве, да еще в центре, да еще трехкомнатную!

Я зашла от счастья, молчу, брожу, как тихая муха, и вылизываю пылинки.

От Наташи Столяровой я получила вдруг письмо из Казахстана. Я сразу же написала ей, о конечно! О бедная! Собираю ей посылку. Она в каком-то поселке Жанаарка. Письмо было непонятное...

11 февраля

Перенесла из мастерской к себе домой две мои старинные шкатулки, полные до краев собранными за все мои путешествия сережками, брошками, цепочками, браслетами. Тридцать две пары серег. Сделала перечень и озаглавила: «СУЕТА СУЕТ» (список моих старинных драгоценностей).

13 февраля. Вечер

У меня все украли, все мои драгоценности. Удивляюсь на самое себя. Мне как-то не очень грустно, не очень жаль. Жалковато, не больше. Словно дунул ветер и унес... А вора я встретила на лестнице... Леню все описывать! Но кое-что осталось, чуть-чуть, кое-что... Странно — ведь старик Эйснер сказал мне месяц назад: «Спрячьте, никому не показывайте! У вас похитят ваши сокровища!»

Напророчил.

Вечером написала об этом рассказ, чтобы утешиться: будто вор все вернул. Увидел меня, пленился — влюбился, и вернул! Очень удачно и лихо вышло у меня письмо вора ко мне.

1 мая

Дети давно с нами. Приехала племянница Цаплина — Дуняша. Худенькая некрасивая старая дева, но детям она понравилась, и у них лад. Дуняша ведет хозяйство. Я познакомилась с соседями: Евгения Александровна и Борис Александрович Балабаны с дочкой Славой. Она была балериной в студии у Брониславы Нижинской в Киеве. Высокая, стройная, очень элегантная, что у нас редкость. Редко встретишь хорошо одетую женщину, о мужчинах уж и не говорю. Обувь бешено дорога, а материи попросту нет. Очереди за всем, чуть ли не за пуговицами. Но еда есть, а конфеты, например, вкуснее зарубежных. Только всю зиму нет фруктов совсем. Делаем детям клюквенные кисели и компоты из сухих фруктов. Очень тоскую по зеленым салатам, по артишокам, ах... Спаржа!

Занимаюсь пением, вернее, голосом с Иосифом Абрамовичем Куниным — бородач и мудрец, знакомый Балабанов. Сам Балабан Борис Александрович, которого жена зовет Петей, что ему очень идет, — талантливый актер и остроумнейший рассказчик. Он небольшого роста, некрасивый, но обаятельный. Умный. Был в студии Курбаса в Киеве. Мне нравится лицо его жены, обрамленное светлыми волосами. Девчонка Слава — веселая, длинноногая. Она, к сожалению, старше моих детей.

У Кунина окладистая борода лопатой, он седой, не очень стар, но

очень мудр. Занимаясь со мной, он как бы глубокомысленно колдует! Дерет за уроки. Но человек он очень хороший, это чувствуется. Цаплин кормит меня и детей. Скупое, но мы сыты. Мебели у нас в обрез, но я никогда не любила вещи, они меня тяготят. По-моему, у нас красиво и уютно.

Главное — есть рояль! Занимаюсь и с актрисой Натальей Ивановной Любавиной; у нее внук Никита Подгорный, друг Аленушки. Наталья Ивановна готовит со мной репертуар. Надо сделать целую программу.

1 июня

Мамины друзья Держановские часто бывают у нас, а мы — у них. Милейшие старики. Она бывшая певица Копосова, их давнишний друг и ее поклонник композитор Мясковский каждый вечер пьет у них чай. В их доме разговоры только о музыке. Сам Держановский был когда-то влюблен в мою мать, он музыковед. Он говорит, что я «законченная артистка»!

О том, как наш интереснейший новый знакомый Борис Пронин, в прошлом создатель и хозяин «Бродячей собаки» в Петербурге (1909—1912), повел нас к Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду и Зинаиде Николаевне Райх и что было потом с М. и с Р., я напишу когда-нибудь потом... Потом!..

Пишу много лет спустя. Мне не забыть, как мы были в гостях у Мейерхольда. Он и Зинаида Николаевна Райх жили на улице Брюсова в новом доме. Повел нас к Мейерхольду в 1938 году близкий друг Всеволода Эмильевича — Борис Константинович Пронин. А дочь Мейерхольда — Ирина была подругой моей сестры Ирочки. Я познакомилась с ней в 1929 или 1930 году у Ирочки в Ленинграде, когда приезжала домой в Россию повидать своих. Еще раньше я видела в Москве в постановках Мейерхольда «Баню» Маяковского, «Рычи, Китай» Сергея Третьякова, «Лес» Островского, «Ревизора» Гоголя и собиралась посмотреть «Даму с камелиями». Поэтому я шла как бы в не совсем чужой для меня дом. Борис Пронин, который с самого начала нашего знакомства стал мне близким другом, предупредил нас с Цаплиным, что Зинаида Николаевна выйдет к нам, только если мы ей понравимся. «Она на вас в щелку посмотрит и решит», — сказал Борис.

На втором этаже мы позвонили в дверь — открыла старушка. «Это их няня», — шепнул нам Борис. Из передней мы вошли в большую комнату, где стоял рояль, а над широкой тахтой во всю стену висело роскошное азиатское сюзане — вышитый шелковый ковер, пестрый, яркий, удивительно гармоничный.

Всеволод Эмильевич встретил нас очень приветливо и познакомил с ранее пришедшими гостями: композитором Шебалиным, актером Малого театра Владимиром Афанасьевичем Подгорным и его

женой Анной Ивановной и сестрой Подгорного Елизаветой Афанасьевной, которую все называли Бубукой.

Мейерхольд был высокий, стройный, полуседые волосы гребнем стояли над высоким лбом. Глаза у него были яркие — серо-голубые. Он открыто и доброжелательно рассматривал Цаплина и меня. Движения были «крылатыми» — вообще он походил на орла. Вся его повадка была какая-то орлиная, полная силы и энергии. Он выглядел не молодым, но движения его и глаза были еще молодыми...

Начался общий разговор. Помню, Мейерхольд рассказывал о своей будущей постановке — о «Маскараде» Лермонтова в Ленинграде. Шебалин сел за рояль — играл свои пьесы, очень «модерн»-музыку, очень красивую. Мне страшно хотелось спеть Мейерхольду одну из моих любимых песен — французскую легенду XV века о св. Николае, воскресившем трех убитых маленьких детей; но я не посмела предложить это, а Цаплин молчал, погруженный в созерцание Мейерхольда. Для Цаплина и меня он был прославленным Великим Режиссером. Мы почитали его как гениального художника, а с ним, как с человеком, мы ведь в тот вечер впервые познакомились.

Вдруг я заметила, как тихо, именно всего лишь на щелку, бесшумно приотворилась дверь и через минуту-две закрылась. Мейерхольд тоже это заметил. Они с Борисом переглянулись. Через короткое время дверь распахнулась, и в гостиную вошла Зинаида Николаевна Райх, она приветливо улыбалась — небольшого роста, с карими глазами на милом лице, темные волосы облегли ее головку, вся она была плавная, «вальжная», очень русская. Мейерхольд нежно поцеловал ей руку — видно было, как он рад, что она вышла к гостям. Вскоре она пригласила всех нас в столовую, уютную комнату, где уже был накрыт большой стол, уставленный закусками и фруктами. Зинаида Николаевна внесла большую сковородку с яичницей с помидорами — вкуснейшей! А потом, предложив гостям повторить это блюдо, она снова угостила нас собственноручно ею приготовленной «глазуньей», где каждое яйцо было запечено в соусе из свежих помидоров. Мейерхольд улыбался и глядел на нее буквально с обожанием. С нами за столом сидели дети Зинаиды Николаевны от поэта Сергея Есенина: дочь Таня и сын Сережа — по-моему, так звали этого мальчика.

После ужина все снова перешли в гостиную, а Зинаида Николаевна, заинтересовавшись моими старинными украшениями (меня в ту пору Тихон Чурилин прозвал Шемаханской царицей — я любила увешиваться серебряными цепочками, серьги носила), предложила мне посмотреть и ее украшения. Она повела меня в свою красивую, нарядную спальню и стала вынимать из шкатулок одну за другой драгоценные старинные кольца, ожерелья, серьги... Мы обе любовались ими, надевали их, смотрелись в зеркало. Потом она все спрятала, и мы присоединились к гостям. Зинаида Николаевна осталась с нами, мы с ней как-то сразу «показались» друг другу. В ней было сильное мягкое обаяние, я до сих пор так живо помню ее прекрасное, милое лицо...

Долго сидели мы в ту ночь в гостях у четы Мейерхольдов, слушая великолепного рассказчика Бориса Пронина. Да и все принимали участие в общем разговоре, не упоминая вовсе о политике. Попрошались сердечно, условившись почаще видеться.

Цаплин по дороге домой (мы жили все еще в его мастерской у Красной площади) сказал мне, что хочет обязательно сделать бюст Мейерхольда. «Какое значительное, особенное у него лицо!» — говорил Цаплин.

И помню отчетливо то зимнее утро, когда к нам прибежала Мария Орестовна Тизенгаузен со страшной вестью, что убили Зинаиду Николаевну Райх. Мария Орестовна — близкий друг Бориса, хорошо знавшая всех его друзей, — была больничной сестрой в ближайшей к нам поликлинике на углу площади Моссовета — туда и привезли мертвую, всю израненную ножом Зинаиду Николаевну... Рассказывали потом, что ночью она страшно кричала, но соседи, и прежде знавшие, что с ней бывают истерические припадки, не поспешили на помощь...

Убийцы ограбили квартиру, похитили драгоценности. Следов никаких не оставили. Это преступление всех потрясло, ошеломило!.. И вот разнеслась весть об аресте в Ленинграде самого Мейерхольда. Возможно, его арестовали еще до убийства Зинаиды Николаевны... Все как бы замерли от ужаса. Растерялись. Помню, в те дни я в нашем дворе встретила тогда еще молодого Сережу Михалкова, и мы оба с горечью, с ужасом говорили о непонятном аресте Мейерхольда, о жестокой гибели Зинаиды Николаевны. Но тогда со всех сторон шли слухи об арестах как видных, знаменитых в любых сферах деятелей, так и совсем незаметных людей... И все боялись не то что говорить, а смотреть друг на друга боялись, цепенели в гипнозе страха, попрятались по своим углам... Мы с Цаплиным тогда очень мало с кем были знакомы... Может быть, это нас тогда спасло.

Но продолжаю. Когда в 1943 году я вернулась в Москву из эвакуации, юрист МОСХа (забыла его фамилию) сказал мне, что убийцу Зинаиды Николаевны нашли. Им оказался сын певца Большого театра Дмитрия Головина. Как-то в гостях Головин вынул из кармана золотой портсигар, и один из присутствующих узнал портсигар Зинаиды Николаевны, — она курила! Вот и оказалось, что беспутный сын Головина с кем-то еще убили ее с целью ограбления. Таким образом вся Москва узнала, что убил Зинаиду Николаевну молодой человек, его приговорили к расстрелу, но заменили десятью годами лагеря и отправили неизвестно куда. Дмитрия Головина — тоже.

Но на этом мое знакомство с историей убийства Зинаиды Николаевны не кончилось. Меня в 1948 году привезли в лагерь на Воркуту и взяли работать в театр. К величайшему своему удивлению, я узнала, что в театре на сцене играл сын Головина — тот самый — и что сидел он по статье 58—10, то есть за «антисоветскую агитацию», а вовсе не убийство. Ведь в Воркутинский театр не брали людей,

сидевших за убийство и ограбление. Но сына Головина я в театре не застала: его уже куда-то увезли...

Но и это еще не конец. Вдруг в наш театр взяли в рабочие сцены прибывшего откуда-то по этапу родного брата Дмитрия Головина. Это был старик, почти беззубый, жалкий, бесконечно несчастный. Он боялся разговаривать, тем более упоминать о брате или племяннике. Но мне он как-то раз шепнул, что всех Головиных и жен их арестовали и сослали. Об убийстве Зинаиды Николаевны никто из них понятия не имел! Но между собой они ругали Сталина с его прихвостнями, да и в Большом ругали его — это-таки правда. Бедный старик... Он потом тоже исчез... Мы ведь, заключенные, никогда не знали, куда по этапу увозят людей. Ложь стеной стояла вокруг нас. Мы чуяли сердцем эту ложь, а спрашивать боялись, страшись пуще всего вторичного «лагерного» срока. Что было в дальнейшем с несчастным молодым талантливым актером Головиным, которому приписали такое страшное убийство,— я пока не знаю. Пока... Ибо порой истина всплывает, как бы глубоко ее ни прятали. По пословице: «Бог правду видит, да не скоро скажет». Страшное то было время!..

10 октября 1938 г.

Приходит к нам художник Роберт Фальк — высокий, задумчивый. Молча садится за рояль, играет приятно, музыкально. Цаплин говорит: «Фальк — художник». В устах Цапа это наивысшая похвала. Вбегает иногда оживленный и милейший Артур Владимирович Фонвизин — акварелист и просит, чтобы я пела. И чтобы позировала ему. Мне так нравятся его акварели, что я согласилась; он быстро работает, и интересно на это смотреть. Прелестный мой портрет с гитарой он подарил мне, а второй мой портрет взял себе. Кажется, продал его в Третьяковку. Я на первом с гитарой, в белом платье, а главное — я поющая. Акварель его поет!

Сам Фонвизин ужасно милый и трогательно, хорошо ко мне относится. Познакомил меня со своей тихой женой Натальей Осиповой. Она умная и понимает искусство. В обоих — отсутствие затхлого московского провинциализма. Его акварели волшебные: тонкие, изящные. Чувство цвета изысканное. Рука мастера. Он подарил мне «Букет», сказав: «Дарю вам лучший из моих букетов!» И действительно, эта акварель изумительна!

Юрий Александрович Завадский после Абрамцева, где он порой возникал передо мной как тень и даже катал меня и Аленушку на лодке, очень красив! Он отлично читает Пушкина, чего другие не умеют, даже Качалов. Да... граф д'Альмавива красив... Но молчу... Молчу...

В Москве он читал мне «Евгения Онегина» наизусть — читает отлично, лучше Качалова. Пушкина надо читать п р о с т о, без ложного пафоса.

1940 год. Москва

Речь человеческая должна быть чистой,
твердой, тихой, плавной.

«Юности честное зерцало»

О Дельсарте писал Сергей Волконский:

«Это было в 1834 году. Благодаря плохой методы консерваторского преподавания он лишился внезапно голоса. Но, несмотря на это, он продолжал петь вне оперной сцены, и таково было его умение владеть природными данными, что самые недочеты его голоса превращались в новое средство выразительности.

Он пел все негромко и производил потрясающее впечатление. Он никогда не терял контроля над самим собой.

С невероятной легкостью переходил он от трагической и величественной арии Глюка к какому-нибудь чувствительному куплету. Главная прелесть его исполнения заключалась в том, чего нет ни в тексте, ни в нотах. Главные его средства были: свобода в ритме и неисчерпаемая шкала оттенков. Это было и пение и декламация.

Чем выше восходит разум — тем проще становится речь.

Мы должны выражением нашего лица дать зрителям предчувствовать то слово и ту мысль, которые последуют».

Читаю прекрасную книгу Станиславского «Работа актера над собой».

3 ноября

Я была на концерте Зои Лодий. Есть вещи, которые она поет — лучше нельзя! А Тамара Салтыкова, ее аккомпаниаторша, играет лучше Мирзоевой, лучше Ларисы Полонской. После концерта Кунин меня представил ей. На другой день я была у нее, я не собиралась ей петь, но... спела по ее просьбе. Зоя Петровна сказала мне: «Какая культура! Подлинное дарование. Приезжайте ко мне в Ленинград. Вы будете жить у меня. Я с вами буду заниматься каждый день. Сделаем программу и покажем вас самым большим эстрадникам. Ведь вы — масса денег. Я напишу вам, к какому дню я жду вас».

Я скептик. Я думаю: возможно, что она и не напишет. Но если это все правда — я еду. Это то, чего я хотела.

9 ноября, пять часов утра

Боже мой, как страшно! В мире что-то все качается, все непрочное. У меня давно такое предчувствие, и что же! Я проснулась от того, что входная дверь тряслась и стучала, проснулась, и вдруг мне показалось, что наш дом покачнулся. Себе не верю и вдруг вижу, что свет на

стене и на потолке — ответ откуда-то пляшет! А дверь все стучит. Вскиваю, бегу к Дмитрию — у него тоже свет на стенах пляшет, лампа на потолке качается. Он проснулся. Так продолжалось минуты две. Потом дверь затихла, лампа перестала качаться, и тени застыли. «Дмитрий, что, я сумасшедшая?» Он говорит: «Нет, я тоже заметил, что тени пляшут. Наверное, сотрясение почвы». Я когда-то пережила землетрясение в Пятигорске. У меня было такое же ощущение сейчас. Ох, как это страшно... Дети спали блаженным сном.

10 ноября

Что ж, оказывается, действительно это было землетрясение. Но, кроме меня, ни соседи у нас в доме, ни знакомые, которым я звонила, — никто ничего не заметил, все спали. В газетах написано, что землетрясение было в четыре балла.

14 ноября

Вчера звонила из Ленинграда Зоя Петровна Лодий. Сказала, чтобы я ехала, что она меня ждет. То, чего я так хотела, сбывается. Но я ночами не могу спать, ложусь под утро. Как лягу — все мне кажется, что дом качается...

Пою хорошо. Верхнее «ля» по-настоящему хорошо. Через несколько дней еду в Ленинград к Зое Лодий.

26 ноября

Зоя Петровна позвонила и попросила об одолжении: привезти ей двадцать пять тысяч рублей с ее сберкнижки, нужные ей, чтобы внести в жилищный кооператив. Деньги лежат в московской сберкассе. Переводить их почтой и даже телеграфом долго, деньги ей нужны теперь же, я ведь все равно еду к ней, поэтому лучше пусть я и привезу. Хоть и страшно, что украдут в поезде, ведь сумма колоссальная! Я согласилась. На другой день утром кто-то привез мне из Ленинграда сберкнижку Зою, а вечером того же дня я уезжала к ней. Купив небольшой чемоданчик, самый невзрачный, какой только был, я отправилась в Зоину сберкасса. Я волновалась, когда, озираясь кругом, быстро упикивала в чемодан пачки денег. Мне было страшно, что кто-нибудь увидит и тяпнет чемоданчик. Я сказала себе, что главное — я ни в коем случае не должна думать об этих деньгах, ни единой душе не сказать о них и в поезде относиться к чемоданчику как внешне, так и внутренне с полным хладнокровием, словно в нем лежит всего лишь зубная щетка да перемена белья.

В моем купе все полки были заняты, я положила оба своих чемодана (второй был побольше и понарядней) в сетку и погрузилась в мысли о том, что интересовало меня больше всего: что меня ждет у Зою Петровны. И как будет звучать мой голос, когда я буду петь «эстрадной комиссии». Меня до такой степени обуревают страстное желание петь и зарабатывать пением на детей и себя, что я постоян-

но думаю только об этом. Я без усилия, без всякого напряжения не обращала никакого внимания на чемоданчик с двадцатью пятью тысячами. Поэтому никому и в голову не пришло стащить его. Спала я прекрасно. Утром на вокзале я вручила чемодан Тамаре Салтыковой, которая меня встретила. По-моему, я ей чем-то не нравлюсь. Она ждала, что я буду гораздо больше взволнована Зоиним поручением, и не поняла моего равнодушия к чемоданчику.

Тамара Салтыкова похожа на царевича Алексея или на молодого послушника: гладкие волосы на прямой пробор висят до плеч по обе стороны худого строгого лица; пытливые серые глаза смотрят «прямо в душу», одевается подчеркнуто просто, в манере и походке что-то неуловимо мужское. Тон со всеми чуть ироничный, кроме как с Зоей Петровной, которую Тамара явно обожает, покорно и преданно. Аккомпанирует она тонко, умно, с отменным мастерством. Мне она очень нравится и оригинальностью своего облика, и музыкальностью.

Дом Зои Петровны: квартира из четырех огромных комнат ленинградских размеров — в тридцать и одна даже в сорок метров. По стенам рядами полки с книгами — у профессора Сергея Александровича Адрианова, мужа Зои Петровны, большая интересная библиотека. В каждой комнате по роялю, а в комнате Зои Петровны их даже два! Квартира, несмотря на свою непривычную по нынешним временам величину, уютная, удобная и очень «обжитая». Мебель старая, красного дерева, ничего роскошного, но у Зои Петровны стоит туалет екатерининских времен, сказочной красоты, и еще какие-то редкие мебели — все очень по-женски мягко и изящно.

Меня поселили в комнате, где в углу — белая кафельная печка, а у большого окна — рояль; по стенам — шкафы, набитые книгами дореволюционных изданий. Самые разнообразные книги. Я нашла среди них даже «Вторую Нину» Лидии Чарской! Кстати, Чарская умерла старушкой совсем недавно, и на ее могиле, кажется, на Смоленском кладбище постоянно свежие цветы.

В доме Зои Петровны живет черный пудель Джим, он выглядит как пуделя на картинках 900-х годов. Раза три-четыре в год его стрижет настоящий парикмахер, специалист, по собачьим стрижкам. Джим элегантен, деликатен и ко мне относится снисходительно, даже благосклонно. Профессор Адрианов — старый, худенький, изысканно любезен. По культуре и уму он в плане моего отца и вообще чем-то его напоминает, и потому мне с ним легче, чем с Тамарой и тем более с Зоей Петровной, ибо я чувствую себя чрезмерно обязанной ей этим счастьем жить здесь среди музыки и книг.

По утрам приходят ученицы Зои с уже готовыми романсами и песнями. Тамара им аккомпанирует, и певицы поют прелестно, особенно одна, похожая на средней руки портниху, — скромная блондинка лет тридцати — тридцати пяти. Блондинка поет бесхитростно и очень музыкально, чистым, легким сопрано. Слушать ее приятно, сладко, но без волнения. Приходит и колоратура Мариинского театра — Халилеева. Зоя довольна ею, но я не люблю колоратур-

ные голоса, разве уже такие, как у Галли-Курчи, которую я раза три слышала в Нью-Йорке. У той был голос как неземная флейта, он волновал до слез, хотя пела Галли-Курчи с бесстрастным лицом, стоя как вкопанная на сцене огромного зала Карнеги.

Халилеева очень уж проста, уж очень!

Иногда Зоя сама занимается с Тамарой, поет упражнения и песни. Звук ее голоса, по-моему, неприятен — как в дудочку, — но то, о чем она поет, то, что стоит за песней, — очень пленяет, покоряет.

Зоя Петровна Лодий небольшого роста, у нее горб, но это как-то не очень заметно, об этом и вовсе забываешь, особенно когда она оживлена, серебристо хохочет или когда она поет. У нее приятное, очень умное лицо и чудесные большие серые глаза. Она вечно плетет какие-то «дворцовые интриги» в консерватории и, мне кажется, ужасно любит это занятие.

Лукаво чуть-чуть улыбаясь, утром за завтраком — круглый стол, аромат кофе, снег за окнами, цветы в тоненькой хрустальной вазе, Зоина дивная голубая чашка — Зоя говорит: «Надо подвести интригу под...»

Но во всем этом нет злобного коварства, корысти или обмана. Зоя плетет интриги лукаво, это в ней как в сказках Гофмана или Перро. В ней очень сильно живет что-то от француженки — интересно, так ли это? Отец ее был знаменитым певцом Мариинского театра в старом Санкт-Петербурге. Зоя Петровна умеет быть настоящим другом, и это в ней, по-моему, самое ценное. Я глубочайше благодарна ей. В пении она подлинный художник, и, конечно, никто из наших певиц не передает с такой убедительностью подтекст каждой песни. Для меня волшебным прозвучал даже «Гондольер молодой» Варламова, не говоря уже о «Песне Офелии», слова Козлова, — Зоя Петровна поет это удивительно проникновенно.

Она пригласила в гости к себе слушать меня актрису Грановскую и Николая Павловича Акимова. Хвалили. Особенно нравится моя «Шарманка». Зоя просила дать ей петь «Шарманку», но я отказала. Ведь это мой репертуар.

ПЕВИЦЫН ПУТЬ

(Почти начало)

«Услышать и сейчас же забыть, кто читал, о чем, и что, и прислушаться к себе — вот то, что осталось как отзвук и определяет ценность этих стихов». Так и о людях...

Розанов. «О стихах»

11 декабря

Зоя Петровна сама повезла меня, и я пела в комиссии в Театре эстрады и миниатюр. После просмотра меня взяли на работу. Обещают хорошего гитариста. Знаю: если попаду в колею — все будет

в порядке. Но только бы мне дали остаться самой собой — иначе ничего не выйдет.

Каждый день тихо делаю кунинские упражнения, в которые верю.

Зоя Петровна героическая женщина: у нее иногда так болит спина, что она вся больна от боли, но она ежедневно ходит в консерваторию, упорно делает свое дело. Учит петь. Удивительный она человек.

Господи, урони с неба деньги к моим ногам. Отдала Ирке — милой сестре — пятьдесят рублей, зная, что это безвозвратно канет в вечность. Бедны они ужасно. Детишки на ночь пьют чай с одним хлебом. Наташка мила, а Юрка красив и умен, но температурит ежедневно. Ирка замучена нуждой... От папы телеграммы с мольбой о деньгах для Ванюши... Вообще: Господи, урони с неба деньги не к ногам моим, а прямо в руки. Надо снова продавать тряпки. Неужели я буду зарабатывать сама и зарабатывать пением?! Я сама готова последнее отдать, только бы мне дали петь!

27 декабря

Съехав от Зои Петровны, я сразу почувствовала себя человеком, а не приживалкой и «фавориткой». Живу у Ирочки. Морально-то легко и хорошо, душевно, но...

Одна убогая комната на всех, бедность безвыходная, живут впроголодь. И привыкли к этому, не ропщут, мои дорогие, бедные пенцы... Вернее, впряглись и молча тянут эту лямку, как и огромное большинство. Они лучшие из людей — честные, терпеливые, добрые — и трудятся без устали, — никогда еще они оба не отдохнули. Незаметные, незначительные люди бывают неизмеримо выше, талантливее, чем порой самые прославленные. Очень страшно мне и горько. А ведь Ира — красавица. Хороша, как врубелевский ангел. Но вечно вся какая-то поникшая от усталости. Борис старше ее на четыре года. Он инженер, работает на каком-то заводе. Они живут душа в душу. Я никогда не видела, чтобы они были неласковы друг к другу. Ира замечательная мать — дети так хорошо воспитаны.

Ванюша заболел. Старики в отчаянном положении. А я сумела занять тут только сто рублей, чтобы послать им.

Дела с пением обстоят так: отзывы хорошие, но все говорят, что «непрофессионально». Янковский мило что-то еще лопочет, но мне ясно, что петь в следующей программе Театра эстрады я не буду. Какой вывод из всего этого? Страшно и больно признаваться себе в этом, но, очевидно, нету во мне, нету вот того теста, из которого выходят настоящие артисты. Я не имею возможности спокойно учиться дальше. Ни по средствам, ни по времени. Очевидно, на пении моем — в смысле возможности заработка — следует поставить крест. Но я этого не сделаю. И, вопреки всем и вся, верю в какую-то будущую удачу.

Сию в Публичной библиотеке, переписываю чудесные песни, которых никто не знает и не поет.

Оказывается, в смысле наружности (для сцены) я «профессиональна». В этом смысле все в порядке. Но...

Что день грядущий мне готовит?

Мне интересны только песни. Но у нас нет жанра «дизёз» — у нас первое, что требуют от певца, это громкого голоса, чем громче, тем лучше.

23 января 1941 года

Ездил домой к детям. В Москве было чудесно. Сплошной счастливый день. Аленушка здоровенькая, веселенькая. Голос мой звучал как никогда. Пела я дома, как птица. Ничего не боялась. А во рту ощущение светлой радости.

Вернулась 10 января и до вчерашнего дня мучилась в поисках комнаты. Теснота в Ленинграде такая же, что и в Москве.

Бесприютное, утомительное, унижительное существование. Вчера переехала наконец в «свою» комнату. Рояль. Телефон. Но холодно. И по моим средствам катастрофически дорого...

Уроки с Александром Михайловичем Давыдовым повергают меня в отчаяние. Он требует громких открытых звуков. Белых звуков. Именно тех, которые я всю жизнь ненавидела. Постепенно все то, что было сделано Куниным, идет насмарку. Кроме того, из моих милых песен он старательно делает обычные романсы.

Кунин был единственный, кто действительно что-то знал о постановке голоса, а главное — обладал музыкальным ухом. Его критерий качества звука был непогрешимым. А Давыдов, да, знаменитый Александр Михайлович Давыдов, ничего в постановке голоса не понимает.

Но должна признать, что Александр Михайлович обаятельнейший человек. Каждый раз он мне что-нибудь рассказывает о своей жизни: «Приехал я с горя — что меня и послушать не хотят в Мариинском театре, ибо нигде я петь не учился, — в Киев к прославленному учителю пения итальянцу Эверарди. «Ну, спой что-нибудь!» — сказал мне старик. Я спел ему: «Но мое солнце еще светлей, и это солнце — ты, моя краса!..» — неаполитанскую песенку. Старик и говорит: «Иди себе домой, но всем говори, что два года проучился у Эверарди!» И я через год пел Германа в «Пиковой даме» в Императорском Мариинском театре в Петербурге!»

Помню еще один гениальный рассказ милого Александра Михайловича: «Мы с Федей Шаляпиным слушали Гитлера, когда он к власти рвался. Потрясающий человек! Он взял верхнее «си!» Эта высокая нота была единственным, что почерпнул Александр Михайлович из речи этого чудовища — Гитлера!»

А мне Александр Михайлович говорит: «Вы владеете голосом, как скрипкой Страдивариуса!» — и любит меня слушать. Мы очень с ним подружились.

Из письма к Иосифу Александровичу Кунину:

«Я последнее время во плю (не то что говорю!), что Вы мой Учитель.

После десяти уроков с милейшим Александром Михайловичем я вернулась к тому голосу, который был при Наталье Ивановне. У Александра Михайловича совершенно тот же метод преподавания: наполнить грудь дыханием, петь арпеджии, как можно шире открывать рот и, если высокие ноты не звучат, — петь фразу с этой высокой нотой изо всех сил раз десять подряд.

...Я чувствовала, что с Вашей помощью я владею тем небольшим голосом, который мне дал Господь Бог, делаю с ним что и как хочу и что он в моих руках. Теперь голос выбит из колеи. Зоя Петровна доитса в своей оценке. Говорит, что надо взять то, что Александр Михайлович может дать, что надо хитрить и молчать...

Я хочу, чтобы песни, которые я пою, уводили людей в мой «очарованный сад», были глубоко человеческими и простыми. Для меня пение мое не только средство для существования, а мое любимое, любимейшее дело в жизни.

Но я не отступлюсь от своих собственных музыкальных принципов даже за счастье петь со сцены и мочь этим зарабатывать!..»

26 января

Завтра — «наворот» — так называл Пронин праздничные вечера у друзей в честь Анатолия Доливо. Везу на бал и мою бедную сестру Ириночку. Она всем нравится. Душенька. Бедненькая моя! Как мало праздников у нее было в жизни. Она и сейчас хороша, как ангел! И характер ангельский. Но всегда остается в тени.

На «навороте» я должна петь. Повезу гитару. Петь буду: «Андалузскую ночь», «Лизу с птичками», «Терезу», «Обезьянку-шарманку», «Грушеньку», «Разлуку», «Умри, заглохни, страсть мятежная».

Борис Пронин — редчайшая из птиц. Абсолютная непосредственность. Мой закадычный друг. Диоген и Сократ. Светлый, легкий, очаровательнейший и бесподобный. Такого нет. И не будет. Неповторим. Как Зоя. Сейчас он маленький актер Пушкинского театра, а когда-то был хозяином «Бродячей собаки» — знаменитого кабака, где выступал юный Маяковский и частыми гостями были Ахматова, Гумилев, Михаил Кузмин и другие.

Но Борис, уходя куда-нибудь в гости на кутеж или пьянство, валит все на меня, говорит у себя дома: «Иду к Татьяне». Возвращается откуда-то на рассвете, под мухой. А ведь ему вырезали почку, пить нельзя. Он сам признался мне во всем и сказал, что теперь, к сожалению, никак не может познакомить меня со своей милейшей женой Марией Эмильевной, так как я для нее исчадие ада, и Борису почему-то ужасно нравится, что в ее глазах я исчадие ада. Он считает, что певице такая репутация помешать не может. «Душенька моя! — сказал он мне. — Имей в виду, я все валю на тебя!..»

Вчера был у меня Янковский. Предполагается, что 3—4 февраля я должна петь в театре со сцены, а он будет слушать. Снова просмотр... В театре будет холодно, полутемно, пусто, я буду не в концертном платье... Несчастливая, сомнительно-талантливая, бедная, одинокая дама-овечка. И буду что-то жалко изображать. Трогательная попытка стать «звездой». Воображаю, как я буду волноваться, дрожать, петь задавленным голосом с испуганными глазами.

Он, конечно, не спросил, сколько я плачу за комнату. Есть ли у меня деньги. У меня, кстати, нет ни копейки. Я не обедала уже неделю, то есть, кроме хлеба с чаем, — ничего. Можно привыкнуть — и есть почти не хочется. Нет, нет, это все страшно туманно, мимоходом, холостые выстрелы.

Пела на «навороте». Хорошо. Плакали. Анатолий Доливо рассыпался в похвалах.

Борис Пронин как рассказчик под статью лишь Давиду Бурлюку, чей рассказ в гостях у Маяковского в Нью-Йорке о землетрясении в Иокогаме я до сих пор помню.

Рассказ Бориса Пронина о «Саломее» в постановке Мейерхольда (по пьесе Оскара Уайльда).

Действующие лица:

1. Ида Рубинштейн — миллионерша, танцовщица.
2. Мейерхольд.
3. Иван — лакей, который при виде голой Иды разбил поднос.

Борис настоял, чтобы в декораторы взяли Леона Бакста, тоже одного из закадычайших друзей Бориса. Он сам возил Мейерхольда к Баксту, который жил в то время на даче под Петербургом.

Ида была красива, оригинальна, высокомерна и умна. Она быстро вошла в круг «богемы», но держалась особняком. Начались репетиции «Саломеи» на квартире у Иды. На репетиции никого не пускали. И вот однажды Мейерхольд повез Бориса к Иде, чтобы ему первому показать Саломею. Ида танцевала Саломею обнаженная, с узкой полосочкой на чреслах, что в ту пору было неслыханным новаторством и дерзостью.

«Я был в глубине души поражен, но виду не показал, — рассказывал Борис. — Это был не танец, а скорее чередование пластических поз. Тело у нее было удивительно красивое. У Иды Рубинштейн были черные волосы и изумрудно-синие глаза с египетским разрезом.

Во время репетиции вошел с шампанским и бокалом на подносе старый лакей Иван Иванович. При виде голой хозяйки старик уронил поднос, все разбилось. Ида отнеслась к этому с глубочайшим безразличием. Она велела принести новые бокалы и шампанское. Репетиция продолжалась. Мейерхольд был суров и строг с Идой».

Борис говорит, что Серов удивительно точно изобразил Иду на своем знаменитом портрете.

Борис сказал Мейерхольду, что, по его мнению, Саломея готова и что можно уже назначить приблизительную дату спектакля. Но святейший Синод запретил «Саломею», и Ида с горя уехала в Париж. Больше Борис ее никогда не видел. Ида стала танцевать в «Гранд опера» в Париже. А потом она стала женой Гинесса, «пивного короля» Франции, и собрала потрясающую коллекцию старинных картин.

Я грызу себе локти от досады, что не умею записывать его рассказы, надо бы сразу это делать, при нем же. Рассказчик он великолепный, видишь всех тех интереснейших людей, с которыми он дружил.

Говорить интересно можно о чем-то лишь тогда, когда ты абсолютно этот предмет знаешь. Когда тема увлекает тебя самого.

Борис о Сандро Моиси, с которым он был знаком. Борис о Сапунове, своем близком друге. Ведь Борис был тогда в лодке, когда она перевернулась на озере под Териаками. Все спаслись, один Сапунов утонул. Борис говорит, что Сапунов хотел утонуть из-за Беллы. Белла — сейчас жена поэта Григория Санникова, а тогда она была молоденькой девушкой удивительной красоты. И Сапунов был безумно влюблен в нее. Она не отвечала ему взаимностью. Эта грузинка Белла была красива и неприступна, как Данте Беатриче. Сапунов загрустил и запил. Борис убежден, что утонул Сапунов не случайно.

Ида Рубинштейн приехала из Одессы в Петербург, сняла роскошную квартиру в особняке на Английской набережной. У нее были большие средства.

Чрезвычайно честолюбивая, еще очень молодая и красивая, она хотела стать танцовщицей-артисткой и горячо верила в силу рекламы. И вот каждое утро она стала посылать самой себе корзины самых дорогих цветов и пустила слух, что у нее роман с одним из великих князей. О ней заговорили. Она сама поехала к Мейерхольду, и он решил сделать ее Саломеей. Это была совершенно необычная, дерзкая, блестящая пантомима, в которой Ида была неподражаема.

Борис преданно любил Мейерхольда, верил в его талант. Он плачет, когда упоминает о Мейерхольде. Жив ли несчастный Всеволод Эмильевич? За что его погубили? Никто не знает, и все мы молчим о нем. Только с глазу на глаз с Борисом Прониным — я и он — мы вспоминаем великого режиссера и несчастную Зинаиду Николаевну Райх... О, как все это страшно... На днях поздно ночью Борис поволок было меня к Анне Андреевне Ахматовой, чтобы я спела ей легенду о св. Николае, но я отказалась тревожить ее ночью. Он близкий ее друг. Она живет отшельницей в Фонтанном доме...

29 января

Боже, верни мне голос! Все-таки надо начать питаться. И гулять так ежедневно, как гуляла я вчера. Ленинград — нет, Петербург... Я шла через Лебяжью канавку. Инженерный замок — что может

быть выразительнее для царствования Павла I, чем это — темно-красное, с черным с золотом шпилем и страшными рыцарями (какой великолепный формализм). Через Марсово поле на набережную. Нева, через мост — словно там океан, безбрежное море во льдах. Мимо Дома ученых, словно какая-то Венеция, одно из прекраснейших зданий, именно Дворец Великого Князя — а никакой не Дом ученых (сейчас — музей Ленина). И, наконец, Адмиралтейство. Было чудесно идти по снегу, и то, что было безлюдно, и эта река, и ступени к ней...

Адмиралтейство причудливо в своей простоте.

Часто вспоминаю я Пятигорск и мою юность. После гибели моего любимейшего друга и защитника, моего брата-близнеца Юры я перешагнула из детства во взрослость... Что-то отчаянно-смелое, но и очень серьезное появилось во мне. Страстно захотелось узнать — что же ждет меня?! Неподалеку от нашей женской гимназии, превратившейся в 1921 году в советскую школу, в одном из домиков на «парадной» двери висело объявление: «Предсказываю будущее. От часа до четырех ежедневно, кроме понедельника. Плата три рубля за сеанс». Ну, конечно, все мои помыслы устремились к этому невзрачному одноэтажному домику. Сэкономив на школьных бутербродах, скопив три рубля, я с Лидой Анищенко отправилась после уроков к предсказательнице под страшным секретом от подруг и от домашних. Дверь открыла нам пожилая, грузная женщина с очень бледным лицом и равнодушными глазами. Она сухо сказала нам: «Подождите здесь», и мы сели на стулья, стоявшие в передней. Мы молчали и очень боялись. Царила тишина. Через какое-то время из соседней комнаты вышла молодая женщина. Не поглядев на нас, она ушла. Бледная женщина поманила к себе в комнату Лидочку. Та недолго побыла у нее. Потом настал мой черед. В небольшой комнате с завешенным окном, тускло освещенной двумя-тремя свечами, стоял круглый стол, накрытый черной бархатной скатертью, а в центре его лежал крупный стеклянный (или хрустальный) шар. В кресле неподвижно и холодно сидела бледная женщина. Она пристально поглядела на меня — взгляд ее был равнодушный, отчужденный. Ни удивления, ни симпатии к двум четырнадцатилетним девчонкам! Я положила на стол неловко, смущенно три рубля. Она спрятала их в карман. На ней была темноватая кофта и юбка до пят. «Ваше имя?» — спросила она. Голос был негромкий, спокойный. «Татьяна», — ответила я. И она стала сосредоточенно-пристально глядеть в стеклянный шар. «Уедете из родной страны. Много горя, но и любовь и радости будут. В конце жизни вижу я славу, ждет вас большая слава»... Она еще что-то говорила, но я запомнила только вот эти ее слова про славу. Как ни странно, я абсолютно верю в ее предсказание; ее я очень редко вспоминаю, а вот ее предсказание... Я словно сама знаю, что так будет! А как, почему — не знаю. Странно!

30 января

Решено, что именно петь: 1. «Глядя на луч» и т. д.

Только бы уберечься и не репетировать с Давыдовым. Ему запла-тили целую тысячу рублей за уроки со мной, а я голодаю! Ослабела. Не надо мучиться, моя бедная Татьяна. Все обо мне думают легко: легкомысленная, вечно уверенная в себе, никого, кроме себя, не любящая. Никто не увидит моих слез. Никому нельзя, чтоб увидели, какая на самом деле я беззащитная и робкая.

31 января

Вечерами я часто сижу дома одна и потому могу вспоминать и пи-сать. По нынешним временам, когда простым смертным у нас совер-шенно недоступно и немислимо поехать в заграничное путешествие (но, увы, масса народу ссылается на самые окраины СССР — против своей воли, в лагеря), — моя судьба, конечно, фантастична. Периоды моей жизни столь не похожи один на другой, что даже странно, как это я ухитрялась быть той же самой Татьяной на Майорке и в Москве, в Нью-Йорке, Мадриде или Провинстауне в США. И теперь в Ленинграде.

Мне кажется, я всюду была одинаковой, только внешне другая, смотря по возрасту и одежде. Я побаиваюсь рассказывать кому-либо о США, Франции, Испании. На всякие «заграницы» у нас косо смотрят, особенно если что похвалишь.

Еще маленькой девчонкой я могла часами просиживать перед огромной картой обоих полушарий и глазеть на них. Названия раз-ных городов, рек, гор, морей, океанов оказывали на меня магическое действие. Географию я знала назубок и больше всего из книг любила описания — даже сухие, даже научные — дальних стран... Кордиль-еры, Анды, Тимбукту, Даржилинг, Родос, Аделаида... Я могла твердить эти названия как стихи. И мечта моя была увидеть весь мир, объездить всю землю...

Мне так хотелось этого, что сила моего желания, очевидно, как магнит притягивала исполнение его, осуществление, воплощение, уж не знаю как это выразить. Уверена, что когда-нибудь это будет считаться научным, неоспоримым фактом.

Горячо мною любимая сестра моей матери Вера Николаевна Прохорова (Чебыш по мужу) была преподавательницей географии и истории в старших классах пятигорской женской гимназии. Воз-можно, ее любовь к своему предмету перешла ко мне и выразилась в моем страстном стремлении повидать землю. Удрал из дому (из Пятигорска, куда мы в 1917 году уехали из Москвы), я в 1922 году съездила в Ленинград к своему двоюродному дядюшке академику Стеклову Владимиру Андреевичу; он в ту пору был вице-президен-том Академии наук и хотя был математиком, но мог бы помочь мне поступить в Институт географии. Оказалось, что это было трудно, так как надо было держать приемные экзамены и что-то смыслить в

физике и химии, — увь, я никогда ничего не могла понять в сих научных сферах, а простая арифметика до сих пор для меня загадка...

Дня три я как замороженная бродила по Ленинграду. Стояла ранняя осень 1922 года. Желтые листья шуршали под ногами, солнце мягко золотило рыжую зелень Летнего сада. Город был пустынен и тих, казалось, его только что оставили после пышного празднества, правда, слегка пограбив и поразбив. Я даже зашла в какой-то особняк, похожий на дворец по великолепию лепных потолков и входной широкой мраморной лестницы... В залах попадалась кое-какая мебель, висела огромная картина в золоченой раме, на невысокой мраморной колонне стоял бюст Вольтера... И ни души! Я прошла анфиладу комнат в надежде кого-либо встретить, спросить, что это за замок из сказки Перро, а потом в страхе бежала... Так я и не знаю, кто там раньше жил, и даже не помню, где именно стоял этот особняк. Где-то на канале Грибоедова... Или на Мойке? Недалеко от «Новой Голландии».

Я вернулась тогда снова в Москву. Мой другой двоюродный дядя, Языков Александр Александрович, вернувшись из Канады, где он был представителем нашего послереволюционного правительства, привез с собой секретаршу-американку Полину Роуз и попросил меня заниматься с ней русским в обмен на уроки английского языка. Ей было года двадцать три, мне лет семнадцать-восемнадцать. Мы быстро подружились, и вскоре она предложила мне давать уроки русского языка еще двум американцам за великолепную по тем временам оплату плюс ежедневный обед! Я взялась за дело добросовестно. Одного из моих учеников звали Бенджамин Пеппер, ему было двадцать шесть лет, он кончил с золотым отличием «Фай Бета Капа» Корнеллский университет в США, а затем учился в Кембридже (Тринити Колледж) в Англии.

Невысокого роста, черноволосый, с милым умным лицом и красивыми мягкими карими глазами, он сразу понравился мне своей воспитанностью, серьезностью, скромностью, умом, сквозившим даже в ломаных русских фразах, которые он старательно заучивал. Он прекрасно говорил по-немецки, я знала немного этот язык, и мне странно сейчас, что у нас происходили долгие, интереснейшие разговоры по-немецки...

Сначала я была чопорно-сдержанной, молниеносно исчезала после уроков и в душе несла полную ответственность за всех женщин России. Я понимала, что эти двое американцев будут по мне судить, каковы они — наши женщины.

Мне и в голову не приходило, что мои ученики могут видеть во мне не только «учительницу», но и... девушку!

Впервые после детства, когда однажды папа взял меня с Юрой на концерт Рахманинова в Театр Злобина, — я была в Большом театре на «Лознгрине» с Собиновым и Неждановой. Бен брал ложу бенеуара и приглашал меня. Так ярко помню «Петрушку» Стравинского в декорациях Бенуа, мы были на «Корсаре» с Марией Рейзен и Жуковым, видели «Жизель» с Гельцер, слушали «Садко» с Неждано-

вой, «Град Китеж» и особенно концерт из произведений Скрябина...

И еще помню ярчайшее впечатление от вахтанговского «Гадibuка» в маленьком еврейском театре «Габима» в Кисловском переулке...

Приехал из Пятигорска мой отец. И в мае Бен сказал мне: «Я должен говорить с вашим отцом», — Бен сделал мне официальное предложение. Отец, да и вся моя семья были в ужасе: Америка! Таню уволакивают на край света!

Я молча, упрямо знала, что люблю этого человека, ничто меня не оторвет от него. Бен получил телеграмму от матери в ответ на свою о том, что он женится на русской: «Не прощу до самой смерти». Он плакал при мне, но телеграмму не показал. Но я нашла ее и прочитала... Ничего ему не сказала...

Я часто бывала в «Джойнте», где работал Бен — по образованию он был юристом. «Джойнт» помещался в Денежном переулке, в том особняке, где сейчас итальянское посольство. Потом они переехали в Гранатный переулок, где сейчас Дом архитектора. Бен познакомил меня в числе прочих и с Луи Фишером, уже тогда блестящим американским журналистом, сотрудничавшим в журнале «Нэшон» (Нация), и с молоденькой некрасивой самоуверенной Дороти Кин, которая была замужем за русским евреем инженером Артуром Адамсом.

Луи Фишер был тогда очень красив: молодой, блестящий, все с подчеркнутым уважением к нему относились, но что-то грубое, самодовольное сквозило в нем... Если б не моя любовь к Бену, я бы без памяти влюбилась тогда же в Луи Фишера. При виде его на меня словно смерч обрушивался. Я умышленно старалась его избегать.

Однажды мы большой компанией отправились в загородную прогулку, мы с ним случайно остались одни, и он, глядя на меня в упор черными пронзительными глазами, медленно сказал: «Вы совсем не понимаете, какая вы красивая! Вы всегда от меня убегаете. Из-за Бена, да?» — «Да», — сказала я и убежала.

В августе мы пошли с Беночкой в загс, а вечером праздновали свадьбу в «Джойнте» в Гранатном переулке... Дороти и Артур Адамсы уступили нам на несколько дней свою большую, удивительно красивую комнату в общежитии завода «Амо», где работал Артур. А потом мы поехали в Пятигорск к моим — к бабушке, к Верочке, к маме...

Бен был настолько явно хорошим человеком, что сразу же покорила всех. Моя драгоценная, чудесная бабушка сказала: «Мы спокойно отпускаем тебя с ним. Мы спокойны за тебя. Будь же счастлива!»

Мы обещали часто приезжать, и я не мыслила себе жизни вне Родины. Бен успокаивал меня, обещая устроиться работать в СССР. Как наивно было все это, но ведь оба мы были еще так молоды... Бен был юристом — специалистом по литературным плагиатам, и, естественно, мог работать лишь в своих США... Но разве думаешь об этом, когда ты замужем за любимым человеком, вся твоя жизнь вол-

шебно изменилась и впереди исполнение заветной мечты — повидать далекие страны?!

Бен непрестанно ошеломлял меня заботой обо мне, нежностью, он всячески берег меня — как это было непривычно!

Он спросил: «Как ты хочешь ехать? Через Японию? Европу?» Я сказала: «Через Константинополь! Хочу повидать Айя-Софию и мечети султана». Я очень любила стихи Мандельштама про Айя-Софию.

Мыплыли из Одессы...

Босфор! Нет, не мне его описывать — я жила буквально в сказке и от молчаливого восторга не могла, не умела и не хотела очнуться.

В жизни бывают впечатления такие острые, словно они озарены особенным волшебным светом. Словно ослепительная молния сверкнула над Константинополем: передо мной возник город под золотыми, голубыми куполами, с белыми минаретами, а на темно-зеленоватой воде, как огромные серебряные рыбыны, лежали миноносцы, канонерки, крейсера союзников. По берегам Босфора высились темные кипарисы и белели виллы-дворцы. Сияло солнце, орали, вопили люди, пахло смолой и морем. Нас спустили в шлюпку, потом мы сидели в таможне, и маленький мальчик вынимал из чемоданов наши вещи, а на диване лежал пожилой толстый турок, он курил кальян и молча кивал головой в ответ на вопросительные взгляды мальчишки, который снова укладывал все в чемоданы. Потом мы поехали в открытой коляске, запряженной парой лошадей, по узким улочкам в гору, мимо отеля «Пера Палас» и дальше к отелю «Токатлиан».

Чувство невыразимого веселого счастья. У меня открылись душа и глаза, и я насыщаюсь солнцем, городом, суетой, многоголосым говором, цоканьем копыт, видом бесчисленных лавчонок, наряду с роскошными витринами, красными фесками и черными силуэтами женщин в чадрах, скользящих как тени по узким улочкам.

Мы приехали за неделю до входа Кемаль-паши в Константинополь и поселились в отеле «Токатлиан», владельцем которого был грек. Из нашего номера мы спустились в ресторан, где сидело уже много народу, и метрдотель, похожий на лорда, в черном фраке с белой гвоздикой в петлице, подал мне меню... где было перечислено по-французски множество блюд,— я стала заказывать все подряд... на десятом блюде Бен тихо прервал меня и с самым серьезным видом отпустил метрдотеля... Бен все объяснил мне, он ни капли не подсадовал на меня ни в тот ни в последующие разы, когда я проявляла свое полнейшее незнание «света».

Я была девчонкой, пережившей революцию и голод, я вообще-то была в ресторане впервые в жизни, да еще в таком роскошном! Я была как во сне; еды, которой заставили наш стол, я не помню, да и ела ли я в тот раз... Но помню, как в залу вошла женщина, и всё как бы стихло, все стали смотреть на нее, за ней шли двое пожилых черных мужчин. Они сели за соседний столик. Глаз оторвать от нее я уже не могла: рыжая, с нежно-розовым лицом, на котором как черные бархатные бабочки темнели глаза... Она была в светло-сером

костюме, такая тоненькая, пленительная... Я увидела ее еще раз в Пера-Палас-Отеле, куда мы зашли купить какие-то газеты: она была в черном, и черные мужчины — как черные жуки — по-прежнему были с нею. И в третий раз я увидела ее гораздо позднее в Вене в Кафе «Ритц», где мы сидели в ложе. В соседнюю ложу вошла вдруг она в сопровождении тех же черных миллионеров (это было написано на их лицах, с моей точки зрения!) — она снова была вся в черном, но на этот раз сияла белизной открытых плеч, лица, рук, как бы заключенная в черную рамку платья. Бархатные глаза ее остановились на мне, и она кивнула мне с улыбкой — приветливо, как старой знакомой! Значит, и она заметила меня! А Бен почему-то нахмурился и заслонил меня спиной от нее и черных жуков...

Они вскоре ушли, мы попрощались с ней глазами, и больше никогда в жизни я ее не увидела. Кто была она? Я так ясно ее помню.

С утра до вечера мы бродили с Беном по Константинополю. Непоисуемый в ту пору это был город: между зданиями по сторонам узкой шумной улицы встречались кусочки старых кладбищ — несколько древних могил с каменными постаментами, замшелые, изъеденные временем... Вопили зазывно чистильщики сапог, в лавках на коврах, на полу молча сидели старики в красных фесках, покуривая кальян... Скользили женщины в черных чадрах, сновали мальчишки с круглыми блюдами на головах, а на блюдах — гора фруктов... Они по первому же знаку опускали блюдо к вашим ногам и начинали яростно торговаться... По булыжной мостовой грохоча проносились коляски, запряженные парой худых коней, и кучер цокал и щелкал бичом. Из ресторанчиков неслись запахи люля-кебаб, чеснока, разных специй. Непрерывный грохот и гул, и над всем этим сияющее сентябрьское солнце на ярко-синем небе.

Но лучше всего были мечети, особенно под вечер, когда городской шум как бы затихал и с минаретов звучно несло: «Алла иль-аллах...»

Помню мечеть Ахмед-султана, так ли она называлась? Та, что была как бы вся из бирюзы, голубая, неземной красоты... Мы вошли в полутьму и стояли, сняв башмаки и обувшись в чупяки, лежавшие у входа... Сверху проникали на середину мечети лучи заходящего солнца и золотили одинокую фигуру старика. Он лежал на полу и, очевидно, горячо молился, время от времени складывая ладони и вскидывая голову к небу... Стояла тишина, и мне самой захотелось пасть на колени и молиться всей этой красоте, всей этой удивительной жизни, которая плыла по Вселенной за стенами мечети...

А в заливе Босфор, как огромные серебряные рыбины, лежали на синей воде миноносцы и крейсера союзников...

Американский консул, которого Бен знал по Корнеллскому университету, пришел повидать Бена в «Токатлиане». Он пришел в восторг, что Бен женился на русской, «советской». Он пригласил нас на обед в один, как он выразился, очень шикарный ресторан, куда мы через день и отправились. Все столики были заняты, а наш стол

стоял в центре, великолепно сервированный, с букетом дивных роз в центре. Консул был с еще тремя молодыми мужчинами — они говорили кое-как по-французски, ибо я по-английски еще не говорила и плохо понимала. Нам стала подавать очень хорошенькая барышня. К моему изумлению, оказалось, что она русская! Ресторан был бело-эмигрантский!

К концу обеда разговор перешел на английский язык, и я смутно поняла, что говорят о России. Барышня принесла шампанское и фрукты, и мой сосед, надменный и чопорный молодой американец, что-то ей сказал — она вспыхнула, чуть не уронила вазу, и тогда он насмешливо процедил какую-то фразу сквозь зубы — все весело захохотали. Я вскочила, с грохотом отодвинула стул, ринулась к выходу! Я была вне себя от негодования: в моем присутствии — а я русская! — он позволил себе насмешку над русской, пусть и бело-эмигранткой. Вытерпеть этого я не могла. Не помня себя, я домчалась до отеля, куда вслед за мной прибежали Бен и консул. И вот тут Бен оказался на высоте! Он сразу же заявил, что полностью присоединяется ко мне и считает поведение молодого американца неприличным. Надо было видеть, как извинялся за своих приятелей сконфуженный консул! Когда он ушел, я обняла Бена и заплакала навзрыд — от тоски по Родине, от любви и жалости к ней, от любви и благодарности к Бену...

С той минуты он стал мне совсем своим человеком, каким остался и посейчас... Никогда за всю мою жизнь Бен не обидел меня. Он и сейчас мне друг и будет им до смерти, я знаю, хотя столько лет мы не виделись и увидимся ли когда... Он был очень умным, очень благородным человеком, и годы, прожитые с ним, никогда не омрачали ни злорадия, ни ложь, ни равнодушие ни с его, ни с моей стороны. А так беречь, так заботиться обо мне — никто уже никогда...

Но продолжаю про Константинополь.

По-моему, это было вечером в субботу в «Токатлиане» — мы спустились вниз по лестнице обедать, но, дойдя до середины, поняли, что происходит нечто из ряда вон выходящее. В огромном холле толпилось много народу — входная дверь была заперта, за зеркальными витринами на улице стояла густая толпа — люди орали, вопили, потрясая кулаками; а на широкой лестнице отеля, крытой красным ковром, возникла высокая фигура пожилого военного: он стоял бледный и невозмутимый. «Генерал Першинг!» — зашептали вокруг нас. Я с великим интересом во все глаза наблюдала за происходящим. И вот вдруг дверь отеля раскрылась, как узкая щель, в нее просунулся наружу один из служащих с большим ножом в руке — как обезьяна в одно мгновение он вскарабкался на каркас жалюзи, прикрывавшей от солнца зеркальные витрины, взмахнул ножом, и куски полосатого синего с белым холста полетели в толпу, которая с воплями хватала их и рвала в клочья... Так были уничтожены все жалюзи, и толпа стала постепенно таять, крики утихли, генерал со свитой удалился; в ресторан все же никто не пошел — огромные его окна выходили на улицу, — и еду нам лакеи разнесли по комнатам.

Бен объяснил мне, что синий с белым — это цвета греческого флага. «Токатлиан» хотели разгромить из-за того, что хозяин его грек, но в отеле жил генерал Першинг, командующий союзными армиями в Турции, и это сдерживало толпу...

На следующий день мы, прильнув в вестибюле к окнам, смотрели на процессию: впереди ехал Кемаль-паша в коляске, я помню только его суровое и серьезное лицо и за ним бесконечную вереницу людей.

...Через день мы уже ехали в Ориент-экспрессе в Вену через Белград, Софию и Бухарест. Поезд подолгу останавливался на этих станциях, но мне не хотелось выходить. У нас в двухместном купе первого класса международного вагона было уютно. Мое неуемное любопытство как-то стихло после великолепия Константинополя и впечатлений, втиснутых в те недели, что мы провели в этом сказочном, чудесном городе.

1 февраля

Как хорошо жить, несмотря ни на что.

Как жаль, что у нас теперь нет кабаков, вернее, что я не знаю, где они есть. Мне хочется посидеть среди людей, но именно среди чужих, незнакомых, чтобы мне это было по карману и чтобы никто не обращал на меня внимания. Вроде того припортового кабачка в Копенгагене. Ведь Ленинград — портовый город! Невеселый он какой-то! Словно задумался, притих, хотя на улицах всегда масса народу. Ленинград архитектурно так прекрасен, будто его целиком строил какой-то великий зодчий.

Гитаристы, к которым повел меня Борис Пронин:

Михаил Александрович Минин — милый, простой. Живет в огромной комнате в стиле 1860-х годов, красиво. Чудный Кустодиев на стене: портрет жены Минина, которую зовут Ольга Александровна.

Борис Яковлевич Крематат — постарше, он серьезный, прекрасный музыкант. Играют они великолепно. Пела им.

Заключение Крематата: «Чему вас мог учить Давыдов! В смысле исполнения это удивительно».

Сделан первый разумный шаг с тех пор, как я здесь. Спасибо Борису Пронину. Это он подумал о них и попросил их меня послушать и в случае, если это им сильно понравится, мне аккомпанировать. И вот они согласились! Им очень понравилось.

4 февраля

Пусть бы голос всегда так звучал, как звучит сегодня! Показ двадцатого. Не отменю ни за что. Надоело ждать.

Крематат любит, как я пою, это я чувствую. Минин менее музыкант, чем он. Вечером зашел ко мне Борис Пронин. Мы решили начать писать его мемуары. Он даже принес мне тетрадку для этого. Рассказывает он иногда замечательно и с такой массой деталей.

Борис мой земляк: родился тоже в Чернигове. Он учился там в гимназии и очень дружил с Ильей Сацем, будущим композитором МХАТа. Он рассказал: «Мы с Ильей интересовались лишь греческим и латынью, остальные предметы нас оставляли равнодушными, и мы их совсем не учили. Нас оставили на третий год в пятом классе и не выгнали только оттого, что мы знали греческий и латынь лучше всех в городе...»

Нам с Борисом всегда ужасно весело и интересно, я часами могу его слушать. Это он привел Илью Саца к Станиславскому.

Борис повел меня к меценатке Полине Исаевне — у нее старушка мать и тихий уют. А главное — питание. Я сегодня ничего не ела, поэтому и пошла. У них были еще актеры Александринки Мгебровы. Она — Виктория Чекан — чудесно читала два рассказа Мопассана, читала лучше всех наших чтецов. Жаль, что женщины стареют...

Было очень вкусно, я да и все мы — артисты — наелись досыта. Хозяева от моего пения, от рассказов Бориса и чтения стихов Виктории Чекан были в восторге. Занялась заря. И тут Шура Мгебров вдруг встрепенулся, кинулся к окну, выходящему на Невский, распахнул его и во всю мочь заорал гимн «Боже, царя храни!» и т. д. Мы отгаскивали его от окна и хохотали до слез. Хозяева замерли от ужаса и наконец постарались нас поскорее выпроводить. Мы расстались как лучшие друзья. Старушка на прощанье втиснула мне в руку тридцать рублей и кулек с яблоками и конфетами. Милейшая старушечка!

На другой день Борис сказал: «Немирович всю жизнь завидовал Станиславскому. Одну из глав своих мемуаров я назову «Моцарт и Сальери, или Станиславский и Немирович».

А книга будет озаглавлена «Воспоминания Бориса Пронина, рассказанные им самим. Записала Татьяна Лещенко».

Кстати, Борис провожал меня домой. Мы шли по неосвященной Фонтанке мимо дома, где жил Державин,— тускло-бело-темно, и словно воистину перед нами вставали тени прошлого...

Борис с глубокой серьезностью сказал мне, что для голоса необходимо есть! Кто этого не знает! Я хохотала до слез.

Написала заново про Клиффорда. И, по-моему, хорошо. Клиффорд был бы доволен, я знаю.

17 февраля

Звонила поэту Николаю Тихонову, в среду передам ему полученное мною письмо Тихона Чурилина об издании чурилинских стихов. Надо было сделать это раньше. Тихонов очень любезно откликнулся. Мы с ним ехали на пароходе «Сибирь» при капитане Сорокине из Лондона в Ленинград и тогда познакомились. Мы с Аленушкой сидели за капитанским столиком вместе с военно-морским министром Англии — мистером Александером. А Тихонов сидел за другим столом с остальными пассажирами, которых было немного. Он не понравился мне тогда, ибо вечно что-то громко и восторженно рассказы-

вал, весь какой-то возбужденный. Но ранние его стихи — очень хороши.

Тихон Чурилин оказался тем самым поэтом, который когда-то написал «Кикапу», а мы с Милкой Воынской в 1922—1923 годах твердили эти стихи беспрестанно.

Помыли Ки-ка-пу в последний раз,
Побрили Ки-ка-пу в последний раз,
С кровавою водою таз —
И волосы его куда-с?

Ведь вы — сестра,
Побудьте с ним хоть до утра,
Побудьте с ним вы обе,
Пока он не в гробе.
Но их уж нет,
И стерли след
Прохожие у двери.
Да, да, да, да, их нет, поэт,—
Елены¹, Ра² и Мэри³...
Помыли Ки-ка-пу в последний раз,
Побрили Ки-ка-пу в последний раз,
Возьмите же кровавый таз —
Ведь настезь обе двери!

Февраль 1941 года. Ленинград

Надпись Александра Блока на одной книге:

Люблю я страсти легкий пламень:
Средь наших мелочных забот
Он как в кольце бесценный камень,
Как древа жизни чудный плод.

Приехал коллекционер Григорий Васильевич Гринштейн. Привез денег и, передавая их, сказал: «Отдадите, когда сможете». Умолял взять. Я взяла, и теперь ем ежедневно.

Этот человек когда-то своими руками сделал в прошлом миллионы, и, когда грянула революция, он отдал все состояние большевикам. Он — знаток русской живописи. Но он опустил. У него нет профессии.

А ведь это я нашла ему картину Сапунова! Запишу сейчас, это любопытно.

Выхожу я как-то из метро в Москве в 1939 году, и ко мне подходит пожилая женщина. Приятное лицо, одета просто. «Гражданочка, не нужны ли вам туфли? Черные, недорого, тридцать седьмой номер». Я говорю: «Нужны. Я могу приехать к вам через час с деньгами

¹ Елена — это Бронислава Иосифовна Корвин-Круковская — жена Тихона Чурилина.

² Ра — бог Ра — это сам Тихон.

³ Мэри — это Марина Ивановна Цветаева, которая в ту пору совместной ранней их молодости очень была влюблена в Тихона. «Версты» посвящены ему — он в стихах о разбойнике.

и посмотреть». Она дала мне адрес. Через час я брожу по переулкам Остоженки, наконец нахожу дом, старый, заброшенный, мрачный. Звоню и боюсь — а вдруг они меня тут ограбят!

Дверь открывает она. Чистенькие комнаты, старомодно, бедно. Сажусь в кресло. На темной стене большая темная картина, свет на нее не падает, что на ней нарисовано, я не вижу. Туфли мне не подошли. Прощаюсь. Ухожу. И как толкнуло меня что-то — возвращаюсь, подхожу к картине и вижу: Сапунов, натюрморт — ваза, розы — чудесный! Говорю: «Это Сапунов у вас?» Она равнодушно: «Да». Я — небрежно: «А вы не продадите его?» Она: «Да мы давно хотим, он столько места занимает. Но он брата моего. Я сейчас позвоню брату, чтобы пришел, — он этажом ниже живет».

Я жду. Приходит старик, плохо одет, хитрые глаза. Говорю: «Продаете Сапунова?» Он: «Да, пятьсот рублей». Я: «А еще что-нибудь есть у вас?» Он: «Кое-что есть. Да пойдете, я вам покажу».

Спускаюсь в его квартиру на первый этаж. Первое, что вижу: дивный рисунок, масло, на куске дерева, в раме. Определяю мысленно: Врубель. Но оказывается — ранний Коненков. И еще «Голова фавна» — дерево, скульптура Коненкова. На стене больших размеров прекрасный Судейкин. Декорация к чему-то. Называется «В саду султанши». Картины Коровина. Рисунки Малявина. Врубель. И так далее. В общем, я на другой день привела туда Григория Васильевича. Старик заломил цену. Гринштейн, по обыкновению, дал вдвое меньше. На этом расстались. Через месяц-два мне звонят по телефону: «Это насчет Сапунова. Вы, кажется, хотели купить. Так вот, брат мой тяжело болен, продать хочет». Едем с Григорием Васильевичем. Продал он «нам» Сапунова и Судейкина — обе — за четыре тысячи. Сапунова Гринштейн тут же отвез к себе, я везти помогала! А Судейкина — в Театральный музей, где Григорий Васильевич получил за него девять тысяч рублей. Накануне он чуть не со слезами говорил мне, что «вся моя коллекция у ваших ног!». Он вообще любит высокопарный стиль.

А бедный старик умер через три дня. Фамилия его была Титов. Сын его художник, пишет офорты.

Пью витамин С. А завтра иду на Уланову и Сергеева, если сумею купить билет, — единственное, что я хочу видеть здесь из «театральных действий», — это «Ромео и Джульетта».

Была с Борисом Прониным у Натана Альтмана. У него интересное, некрасивое лицо, резко еврейский акцент, подлинная элегантность, какой-то еврейский герцог. Но неприятный снобизм. Борис сказал мне, что Альтман «садист». Я помню фразу Григория Васильевича о Натане. Однажды в Москве я шла по улице и вдруг вижу: стоит Альтман и пронзительно смотрит на меня. Мы молча раскланялись.

25 февраля

Чтобы уйти от самой себя, пошла вечером к Тихоновым. Кстати, он очень откликнулся на Чурилина. И подписался под письмом.

Надо печатать Чурилина. Он поэт. Но и жена Тихонова, с которой я теперь познакомилась,— интересный человек.

Мария Константиновна немолода, лицо смелое, умное, привлекательное не по-женски, а по-человечески. Делает кукол — интересно, но немного по-дилетантски. Молодость свою она провела в Мюнхене — и в ней осталось нечто от мюнхенской студентки. У нее в комнате уютно, интересно и приятно. Мы с ней очень подружились.

Некогда писать. Бегу на радиопробу. А вся усталая.

1 марта

Комната, которую я сняла за огромные деньги, напоминает жилье роскошной «дамы полусвета» конца прошлого века. Все, кого я знаю в Ленинграде, крайне старомодны: Давыдов, Зоя, даже Акимов... Кроме Бориса Пронина — он вне времени. Изредка меня мучительно манит современность, и я хожу в Эрмитаж поглядеть на французских импрессионистов, которые уже «вчерашний день» в Париже, но здесь вполне «сегодняшний». В Москве я просто знаю большое количество «современного» люда, из них настоящий художник — это Тышлер, кстати, не он один, есть еще бедняга Фальк, тоже, как и Цаплин, напрасно вернувшийся из-за границы. Он тоже «в загоне» за «формализм», хотя и совершенно реалистичен.

Трудно у нас художникам, их живопись, если она не в официально принятом натуралистическом стиле, никому не нужна. Но есть такие, которые пишут картины для собственного удовольствия, а зарабатывают другим способом. Например, инженер Шиловский. Его жена — сестра художника Ильи Машкова. Он живет в поселке Сокол — там кое-кто построил себе домики, кругом небольшие сады, весь поселок зеленый и уютный, но большинство его жителей поарестовали и выслали в 1937 году. Шиловский пока что уцелел. Пишет картины и собрал небольшую коллекцию художников группы «Мир искусств». Григорий Васильевич возил меня к нему. Я влюбилась там в картину Марка Шагала. Впервые в жизни мне захотелось иметь картину, чтобы она висела у меня в комнате и я бы радовалась на нее. Довольно большое полотно, по-моему, написано гуашью или цветными карандашами (висела высоко, я не разглядела точно) — коричнево-голубовато-сине-черная гамма. У окна сидит человек, это Поэт, а над ним под потолком витает ангел — или Муза? — неважно, — но картина дивная по цвету, по глубокому чувству и какой-то горькой мечтательности... Я даже спросила Шиловского: не продает ли и за сколько? Он назвал большую цену, три тысячи рублей — у меня таких денег нет, я бы ему и десять дала...

Григорий Васильевич понял, как сильно мне хочется иметь эту картину, и, конечно, посулил подарить ее мне. Но ведь это «обещатель»! Я давно знаю, что он часто врет, даже когда этого и не требуется... И обещает турусы на колесах!

10 марта

После просмотра Ирка слушала, что говорили «в публике»: своеобразно, оригинально, благородно, тонко. Янковский хвалил.

Для меня главное: оригинально.

Как мне нужно отдыха душе. Успокоиться на один день, на одну минуту. Вот уже четвертый месяц, как я жду.

Так мучить человека, как мучили меня в этом Театрике миниатюр,— ужасно. Никто никогда еще в жизни так не мучил меня: обещаниями и ожиданиями!..

14 марта

Мне снился страшный сон. Всю ночь я мучилась и тосковала.

Если этой мукой я плачу сейчас за то, что в будущем — и скоро, ибо мне надо торопиться,— я буду петь, буду самостоятельна, независима и сама сумею поставить на ноги детей и смогу помочь Ире, моей бедной замученной сестре,— если я за это плачу теперешней мукой, унижением, то да будет так. Но, Боже, если этого не будет, если все впустую... будь милостив!

Такая, как я сейчас, я не нужна ни детям, ни Ире. Дети устроены. Если я не смогу зарабатывать, Цаплин не возьмет Ванюшу домой, он не будет его содержать. Ваня, Ванечка, мальчик мой...

6 марта

«И постарайся завести врагов.
Враги доказывают нашу силу».

Оскар Уайльд

Была у Давыдовых. Софья Осиповна аккомпанировала мне чудесно. Я пела. Давыдов говорит: «У вас голос как скрипка Страдивариуса». О Господи. Зачем же он заставлял меня орать?

Все пустяки: любовь, деньги, «слава». Только одно на свете — хорошо петь! Петь так, как, наверно, пела Комиссаржевская, как пела Иветта Гильбер, как играла Казанова в Мадриде. Как танцевала Лолита Гранадос в Севилье.

Я слышала Иветту Гильбер в Париже в 1927 году. Она была немолода. Это было в Зале Гаво. Театр был полон. Я повела и Цаплина. Она вышла: прелестная, немолодая, в розовом пышном платье. Видение восьмидесятых годов прошлого века. Так и чудились кучера в цилиндрах с длинными хлыстами, страусовые перья, боа, муфты, цветочницы перед собором Мадлэн и Буа де Булонь тех лет. Пела она по-разному: печальные баллады XV—XVI веков и смешные эротические песни, а к концу какой-то вальс с польдекоковскими словами: «Мадам Артюр — такая дама, что...»

И эта «дама» вилась в воздухе... и плыла в коляске... и от нее пахло тончайшими духами...

Завтра я пою на радио: «Терезу», «В одной знакомой улице», и «Птички», и «Любви слова».

Казанова в Мадриде. Пришли к нам тогда в отель Тибби и Мик: «Татьяна, вы должны завтра быть в кино! — после фильма выступает Казанова.— Это гениально!..»

Кто, что? В общем, пошли мы с Цаплиным. Как угрюмо он тащился со мной куда-то... Я тащила его почти насильно. Но, если это было «гениально», хотелось, чтобы и он видел. После глупейшего фильма поднялся занавес: сидят на сцене человек двенадцать мужчин, в руках цитры, гитары, и выходит женщина, тоненькая, немолодая, некрасивая, одета и странно и пленительно: широченная черная юбка вся в звездочках и короткая облегающая черная кофточка — закрытая шея, рукава по локоть. В руках скрипка. Она становится перед своим оркестром, спиной к публике, и начинает играть под аккомпанемент гитар «Дунайские волны» — затасканный, набивший оскомину штраусовский вальс. Но как! Медленно, медленно: ла-ла-ла — ла — ла-ла-ла! И чуть двигается в ритм. И вальс сверкает, плывет, переливается, кружится, пьянит!..

Публика стонала от бешеного восторга. Она электризовала свой оркестр. Это было невероятно! А играли они все такое же «простое». И только когда один из гитаристов запел по-русски «Любовь прошла», я поняла, что они русские и что это не Казанова, а Казанова. Как жаль, что я не умею писать... Казанова была — сама музыка.

Про Лолиту Гранадос

Мы с Луи Фишером приехали в Севилью. Он примчался из США в Испанию, чтобы повидать меня. После Кордовы — прекраснейшего города в мире — Севилья несколько разочаровала меня, было «не то». В старом отеле на узенькой улочке мы сняли три чудесных комнаты. Вечером мы сказали хозяину, что хотим посмотреть андалузские танцы; он подумал и сказал, что Лолита Гранадос, правда, танцует сегодня, но... место это может и не понравиться сеньоре... Дал нам мальчишку-проводящего, и мы пошли. Большущее кафе. Внизу столики, впереди сцена. Мы заняли одну из боковых лож. Остальные ложи пустые, но столики внизу все заняты: только мужчины, простой люд — матросы, рабочие. Нам подали кофе. Оркестр запиликал что-то, и на сцену вышла женщина молодая, хорошенькая, в капоте! Я удивилась. Она начала петь и постепенно стала расстегивать свое одеяние, сбросила его... она была совершенно голенькая... Бантик на волосах ее лобка потряс меня... Я сидела ошеломленная, я никак не ожидала этого и не верила своим глазам! Она разделась догола при всех! Так свободно, просто и весело. И тем самым зарабатывала свой хлеб. За ней вышла другая, третья... Все были красивы, просто прелестны, особенно одна, молоденькая... Но их раздевание становилось уже монотонным. Мы поднялись ухо-

дить. Но слуга подошел ко мне и сказал: «Лолита Гранадос понравится сеньоре. Оставайтесь. Сейчас она будет танцевать».

Мы остались. И вышла Лолита Гранадос — в очаровательном андалузском платье: красное в белых горохах, с пышными оборками по подолу, в белой косыночке на шее. Она была очень красива, лет двадцать, не больше. Грянула музыка, и она защелкала костаньетами, заплясала. У меня мороз пошел по коже! Опять не умею описать этого... Это было чудесно! Знаменитая Аргентина ей в подметки не годилась. В Лолите Гранадос была и страсть, и грусть, и гордость, и радость, и свобода — в танцах ее жило целомудренное, вдохновеннейшее искусство. И люди, которые довольно равнодушно смотрели, как женщины оголялись перед ними, — словно проснулись, оживились, они восторженно аплодировали. Видно было, что Лолиту они обожают. Что они благодарны ей и глубоко чувствуют то прекрасное, что она олицетворяет, танцуя. Какой овацией они наградили ее под конец! Разве что Хуану Бельмонте после боя быков так аплодировали. Или Анне Павловой в Нью-Йорке!

У меня стояли слезы в глазах. Я кричала во все горло: «Браво!» Даже скептик Луи был растроган до глубины души. «Оле, Лолита!» — стонало кафе. В руках ее дрожали кастаньеты. Какой это был гордый, благородный облик!

Вот Анна Павлова. Но та была лучше всех. А Кальеха — гитарист. А Казальс. И Гизекинг. И Мария Юдина. Остальные не то. Даже Шаляпин был уже не тот, когда мне довелось его слышать, — стар. А то были вершины. Дальше — нельзя. Нет уже «дальше».

Но это — от Бога. Этому не научишься...

После моего выступления по радио (впервые в жизни!) — Зоя Петровна: «Вы блестяще пели! Софья Осиповна аккомпанирует вам следующий концерт. Я сама ее попрошу».

На радио (сухо и чиновничьи): «Звучало хорошо. Голос радиодиффоничен».

Ольга Александровна Минина: «Мы все вас поздравляем. Художник Снопков очень хвалил».

Борис Пронин: «Я сижу в компании двенадцати человек. Пьем за твое здоровье!»

12 марта

Я в Москве. Алена зарыдала от радости вместе со мной... Она такая розовая, толстенькая.

В общем, я не смею закрывать глаза на то, что я «строю карьеру» на разрушении своей семьи... И это сознание мучительно. Бедный Дмитрий. Бедная Алена. И счастлива ли я? Но не могу и н а ч е. Я вся с головы до ног — ногтями, каждым волосом, хочу превыше всего — хорошо петь! И этим зарабатывать — для детей!

Вчера же попала в театр на генеральную «Машеньки». Прекрасно играет Марецкая.

Были, как нарочно, почти все знакомые. «Знаем, знаем о ваших успехах» и прочее.

Не хочется писать о «пустяках». Но — дома, и Алена! — Ох...

15 марта

Опять в Ленинграде. Я как мумия, спеленутая с головы до ног. Пела для директора грамзаписи — взяли. Вот это страшно интересно. Только бы дожить! Только бы вправду!

Зоя как-то сказала: «Когда вы поете об апельсинах — вы видите перед собой только апельсины, а не весь мир». Она права. Вообще что касается песен,— Зоя знает.

В моем исполнении нет пространства, есть интимность...

Из всех людей, которых я знала, Цаплин — самый большой. В нем нет фальшивых нот. Он абсолютно искренен. Но, Боже мой, даже эти четыре дня под одной крышей с ним — тяжело! Задыхаюсь. Одна Алена с ним справляется. Цаплин вечно мучается жизнью, работой и всякими пустяками. Мудрости в нем нет ни на грош.

20 марта

Я предчувствую, что сегодня будет странный день. Он только что начался. Посмотрим. Отдохновение души — мемуары Казановы. Я привезла их из Москвы,— я слишком о нем соскучилась, о Казанове, которого я люблю. Конечно, я — романтик. Читая его жизнь, я живу вместе с ним. Все эти дилижансы, гостиницы, города, люди — все это «мое». И особенно про бауты — черные треуголки, плащи, флаконы с душистой эссенцией роз — о, этот запах! Принадлежит только королю Франции, а от него — подарки, и маркиза Помпадур посылает флакон маркизу де Берни, послу в Венеции, а тот дарит его мадам М... О, эти праздники, эти прелестнейшие женщины. Был ли кто очаровательнее Анриэты? И сам Казанова, которого я так любила когда-то...

Итак: Татьяна Ивановна, на сцену!

На сцене холодно. Кутаюсь в свою чернобурку. В партере сидят самые страшные: Капелянская, Райкин, Снопков, директора и прочие. И, конечно, Янковский — как черная, гладкая умная такса.

А мне оттого, что я на сцене,— приятно, однако никто не сидит близко, а если рассматривают издали, то я не обращаю на это внимания. Пою для всего мира, для самой себя, не боюсь и не думаю — понравится или нет. Думаю лишь о том, о чем пою: вот и темная лестница и занавесочка — и свеча догорает — и добрая няня, и Лиза, которой всего пятнадцать лет, и злые Амуры, и очаровательная душенька Тереза, и те далекие годы, «когда, душа, просилась ты: погибнуть или любить...».

Гитаристы аккомпанировали из рук вон плохо. Пошлый аккомпанемент, а они ведь лучшие здесь гитаристы...

Мы уходим со сцены. Минут через двадцать Янковский, небри-

тый, усталый: «Ну вот, режиссировать с вами будет Рубинштейн. Завтра режиссерская репетиция. С 1 апреля вы в программе».

Райкин — обаятельный, талант настоящий, сказал: «Хорошо. Мне очень нравится».

Но я знаю актеров: сегодня хвалят, завтра ругают...

23 марта

Вернулась от Тихоновых со Зверинской улицы, через мост Шмидта. Буду петь им скоро. Интересно, что Николай скажет. Она милая и умница. Моментами она делается такая, что около нее физически тепло, согреваешься. И он мне вчера очень понравился. Хорошо смеется и чудесно читает свои стихи, особенно про Грузию.

А вот Ольга Александровна Минина — что за унылый, «пустой» человек! Я ей чуть обрисовала схему своей жизни, а она все удивлялась!.. Несчастливая она... Жизнь прожита как-то пусто, позади всяческие «навороты» и в противовес им — смерть трех или четырех мужей, а теперь Минин — он хороший, но ведь скучноватый какой-то...

Меня что-то тошнит от всех людей, кроме таких, как Цаплин, Тихоновы (они цаплинского плана), Ира, Борис Пронин и Михаил Фабианович Гнесин. Остальные все тошнотворны. Пусть они хорошие, но мне от них тошно.

24 марта

От папы телеграмма: «У мамы воспаление легких».

Вечером 24-го

Рыщем с Иркой — ищем денег, чтобы послать матери. Так тяжело. Будто кто по голове стукнул. Ох.

ДЕНЬГИ!!!

Пела 2-й грамфабрике. Нейман. Культурный. Взяли. Завтра пою в Комитете по делам искусств.

Дай Бог, чтобы мама выздоровела. Если найдем сульфидин — встанет. Быстро. Говорят, чудодейственное средство.

25 марта

Оттого что я репетирую в театре, я счастлива. Мне все равно — почти, — сколько времени я буду там петь. Я все равно счастлива.

Достали триста рублей и послали маме. Продаю последнее.

Сегодня наступила весна. Настроение у меня замечательное, без причин к тому. Как будто та железная рука, что зажала меня, отпустила на минутку — подышать. И вот я дышу! И ни о чем не думаю.

27 марта

Знаю, что буду потом с наслаждением вспоминать это время. Я люблю жить одна. На последние гроши сегодня я купила себе хлеба, большую булищу в запас. И чего уж я так прихожу в отчаяние? Нет, в канавку я не брошусь. Я боюсь боли физической, но особенно душевной, боюсь потому, что уж очень больно я ее переживаю... Вот это ощущение боли — когда умереть легче, чем переносить эту боль... Но самую жизнь я так люблю!

28 марта

В этом городе много замечательных мест. Одно из них пронзило меня. Может быть, благодаря освещению. Я вышла на какую-то канавку вправо от Казанского собора — смотрю: мостик с рогатыми, золото с черным, крылатыми грифами. Или были то львы? И солнце прямо на них — а они рогатые, с золотыми крылами... Боже, какая прелесть! И легкий, крылатый мостик.

Иду в театр. Обещал прийти Михаил Фабианович Гнесин. Попрошу его записать мои песни.

Я сижу сама по себе и вспоминаю. Как жаль, что некому мне это рассказывать.

29 марта

Однажды у нас в 1932 году появились Шарль д'Арденн де Тизак с Диной. Стояла осень. В серый день перед «Каза Сингала» — наш одинокий дом на Майорке в Польенза Пуэрто — остановился элегантнейший синий «кадиллак», и из него вылезла Дина Синетти и выскользнул Тизак. Они часа два смотрели скульптуры Цаплина, а потом я пригласила их в «гостиную», где мы выпили коньяка с лимоном и поговорили. С этого дня началась наша дружба. Они влюбились в Майорку и в нас. Д'Арденн купил себе через несколько месяцев дом художника Титто Ситадинни — в Уэрте. Боже, что это были за дом и сад! Да и вся Уэрта-Польенза. Сплошной сад, изрытый канавками, розы, магнолии и апельсиновые рощи. Уэрта лежала в тихой долине — апельсиновые деревья не выносят ветра. Вся защищенная кругом горами, и высоко над ней — Пучь: гора над Польензой, а на вершине горы монастырь, где жили шесть францисканских монахов, могучие красавцы. Но о них после.

Так вот — д'Арденн и Дина. Двоюродный брат д'Арденна был создателем и хранителем Музея «Сернуш» в Париже — музей древнекитайского искусства. А д'Арденн коллекционировал современное. Он увез в Париж цаплинского тигра и свой бюст работы

Цаплина. Он оставил Цаплину фото этого бюста, написав на обороте: *A sculpteur Tsapline qui má proeuré une des plus belles émotions de ma vie*— «Господину Цаплину, доставившему мне одно из самых волнующих переживаний моей жизни».

Он страстно влюбился в скульптуры Цаплина и в самого Цаплина. Француз! Высокий, худой, потомок «Трех мушкетеров» — с тонким, умным лицом, чудесные руки и маленькие уши — порода! Ходил он, вернее, скользил, как кошка, всегда в белых эспадрильях. Осенью, когда в Уэрте были грязь и лужи, — эспадрильи оставались белоснежными. Он не был снобом — для этого он был слишком аристократичен и культурен, — но просто не любил людей и держался особняком от тех нескольких иностранцев, что жили в округе.

Дина его обожала, гордилась им, млела перед ним. А она была такая: еврейка с матовым лицом, профиль греческой статуи, маленькие груди, широкие бедра, томная, с мягкими черными глазами, но с железной волей. Рядом с изысканным д'Арденном она казалась плебейкой, но и в ней была элегантность, а главное — ум. И голос! Она была певицей в «Гранд опера» в Париже, но еще до встречи с д'Арденном потеряла голос. Перестала петь... Для нее это было трагедией. Она стала любовницей д'Арденна. Она любила автомобильные гонки и выиграла несколько призов. Любила играть в «девятку» и просаживала в игорном притоне почти все, что давал ей д'Арденн. Одевалась она очень просто, но ее белье! Спала на розовых атласных простынях — и в туалетной комнате ее стояли рядами кремы, духи, пудры и прочее.

Д'Арденн нанял лучшую повариху на Майорке. И время от времени устраивал для нас с Цаплиным обеды. Он знал, что я люблю покушать. На столе, накрытом домотканой майоркинской скатертью в красную или синюю клетку, стояли хрустальные бокалы и старинная майоркинская посуда. Даже серебро было какое-то особенное. А вина! А буйабесс — бульон цвета шафрана, прозрачный нектар — и отдельно на блюде все, что варилось в нем: огромные омары, устрицы, красные рыбы, ракушки, раки и прочее. А паштет из гусиной печенки — из собственного его имени в Арденнах — с трюфелями... А салаты! А главное — красота всей столовой, цветы, хрусталь, цвет вина в бокалах и живописность этих блюд. Д'Арденн умел жить, как умеют только французы...

Париж сейчас заняли немцы. Франции нет, все подышают с голоду. Прекрасная Франция почти не дышит уже...

В Пуэрто в то лето приехала из Парижа мадам Зак — у нее в Париже была картинная галерея. Толстая, пожилая, красивая русская еврейка. Муж ее был известный художник Зак. Мадам любила жизнь и была очень деловой и суеверной. Она гадала — изредка друзьям. И вот однажды мы сидели: Дина, д'Арденн, Цаплин, я и мадам Зак, которую мы познакомили с д'Арденном. Сидели в баре у Траута (это тоже был тип! О!) на берегу нашего залива. Солнце опускалось в море, вода была синяя и такая прозрачная, что все ракушки, медузы, даже водоросли, — все сквозило в воде. И мадам

Зак говорила: «Да, я погадала и узнала, что муж через год умрет. И ждала с отчаянием. Я его так любила. И вот через год он умер внезапно, не болел, ничего».

Дина вцепилась в мадам. Я тоже. Мадам взяла мою руку, пристально взглядываясь: «Нет, я вам не скажу ничего. Вижу тюрьму... Не хочу говорить». Дичь! Передо мной расстилалось сверкающее солнечными бликами море, мы все были нарядные, беззаботные... Дичь! Взяла руку Дины: «А вам скажу. Пойдемте». Они отошли в сторону. Когда они вернулись, Дина выглядела другим человеком. Она вся преобразилась, сияла. В нее словно влилась новая жизнь! Она села подле меня и шепнула: «Мадам Зак сказала мне, что голос вернется, что я снова буду петь! И скоро!»

Через несколько дней к нам приехали д'Арденн и Дина и упросили поехать кататься с нами, а потом ужинать у них. Время от времени д'Арденн выискивал какие-то особенно красивые дороги и места и считал обязательным показать их Цаплину и мне. Мы поехали. Потом ужинали у них. И поздно ночью они повезли нас обратно в Пуэрто. Но ночь была так прекрасна, сияла луна, ни души, вся Майорка спала, какое-то сладкое упоение разлито в воздухе — мы решили еще покататься. Я затинула песню. Запел и Цаплин. Автомобиль еле плелся, так медленно мы ехали; запел д'Арденн — он пел старые французские песни, народные песни арденнских гор. У него был слабый голос, но пел он чудесно, весело, причудливо. И вот Дина, которая не пела три года, — запела! Она запела по-французски романс Гречанинова «Степью иду я унылою...». И после первой же фразы я поняла, что передо мной великая артистка. Она пела одну вещь за другой, а мы все плакали.

Через несколько дней из Пальмы им привезли рояль. И когда через год, в 1934 году, я приехала к ним в Париж, куда они уехали на зиму, — на афишах «Гранд опера» стояло: «Лознгрин» — партию Элизы пела Дина — как была ее фамилия? Не помню...

Петь — это странная вещь... Это — гипноз. Это — психология.

Оттого что весна, все тает, зимы уже нет, увь, зима прошла, у меня на сердце Смерть и Отчаяние. Зима прошла. А я почти и не пела в театре, на публике... Один раз — не в счет.

30 марта

Прямо какая-то «Лебединая песня пропета».

Стараюсь не думать о театре и обо всем, что с ним связано. И от этого легче.

Пришел Улик, играл мне на рояле и читал свои стихи. Он летчик. Мне приятно, что он влюблен в меня.

31 марта

Конец марта, а почвы под ногами никакой. Совсем как когда я добывалась квартиры. Спасаясь иронией, как с горя человек начинает пить.

Я помню, как в Париже, уже перекочевав в мастерскую Цаплина из своей чудесной квартиры в доме № 10 на улице Дуанье близ парка Монсури, я как-то сидела в его голой мастерской, одна, заварила себе кофейку, налила маленькую рюмочку кюммеля, сижу кей-фую. Входит Цаплин, посмотрел на меня молча и с мрачной укоризной говорит: «Выпиваешь!..»

Сейчас придут репетировать гитаристы и слушать — Михаил Фабианович Гнесин. Это ему, сугубому формалисту, я буду петь мои простые песни. Думаю, что песни ему понравятся и что он их запишет. Пусть слушает. А завтра Улик обещал достать билет в концерт: Скрябин и еще кто-то. Так хочется музыки!

Вчера я провела день на островах, бродила по парку, набрела на чудесных львов — «Стрелка» и до горизонта расстилалась снежная пустыня — замерзшее море. И мне вспомнилось, как я плыла с Аленкой из Лондона... День сегодня упоительный, но острова в общем испоганены киосками и громкоговорителями. И все же было хорошо. Буду часто ездить туда. Надвигается мой бесславный отъезд в Москву. Я буду вспоминать зиму здесь с любовью и тоской. Жить одной хорошо!

Вечером 31-го

Был Гнесин. Ему очень понравилось все! Похвалили и гитаристов, кстати, они стали неплохо играть. Я шла от Зои Петровны Лодий из консерватории по каналу Грибоедова домой — и, оказывается, я дошла до моих золотых грифонов. Я так обрадовалась, что они на пути. Ими и кончился для меня канал Грибоедова.

А вечером я поняла, что я очнулась и снова начала жить. И что петь все равно буду!

1 апреля. Ленинград

Это ужасно, что время идет. А я стою на месте! И у меня опускаются руки. И будто не 1 апреля, а золотая осень с паутинками и полной душевной умиротворенностью. Плыву по течению. Не беспокоит ни репетиция для грамзаписи, ни «концерт» у Тихоновых... Просто хорошо от воздуха. Как будто нет у меня ни детей, ни войны в Европе, ни моего безденежья. Только вот песни — они есть. И, кстати, я теперь могу петь и мою ту уличную французскую песню, что пела Дамья. Она ее пела гениально. Да, это слово приложимо иногда к совсем «малозаметным» вещам. В исполнении Дамья: мелкий парижский дождичек, серый промозглый вечер, усталость, горькая усмешка, весь трагизм умирающего века.

Дамья — пожилая, некрасивая — выходила в простом глухом черном платье и охрипшим, усталым голосом напевала свои песни. Великая артистка. Правда, в своем очень узком жанре. То были песни парижского дождя, специфически парижской разочарованности, усталости. Но в ее устах это звучало так глубоко человечно и было

близко всем. Ох, как я не любила Париж, когда я жила в нем в 1930—1931 годах. Я в людях не люблю унылости, разочарованности, полной потери «иллюзий». А в Париже иллюзией были солнце, чистосердечный смех, идеализм, даже свежий воздух. Конечно, там было все это, но вкрапленное в общий фон тоски. Париж, в сущности, уже ничто не принимал всерьез. Конкретными были только деньги и то, что вы могли за них купить. И плакалось-то там с насмешкой над своими слезами.

Лондон был мрачнее, но целеустремленнее и наивнее. В отличие от Парижа, где все парижане — парижане, — в Лондоне жили две совершенно разные породы англичан. Конечно, и в других странах люди тоже делятся на породы, касты и прочее. Но в Лондоне это было резче, более явно. Бедные англичане были словно физически другой породы, чем богатые: низкорослые, беззубые, бледные, некрасивые тихие. Они жили в своих особых нищих кварталах и как будто даже и не показывались на других улицах.

Лондон без протеста делится на глухие отдельные провинции. Вспоминается: в Париже все-таки протестом была насмешка, а в Лондоне все крутилось равномерно, как колесики механизма. В Лондоне, казалось, было раз и навсегда кем-то сказано, что так будет до окончания века. Каждый добросовестно крутит свое колесико. Скучно было... И самым скучным днем был юбилей английского короля Георга V — 1 мая 1935 года. Не помню уж, сколько лет царствования Георга V исполнилось, но это было грандиозное «всенародное» празднество. Я увидела тогда, что англичане в массе не умеют веселиться. В тот день на улицах было столпотворение вавилонское, особенно вечером: орали, пели, старались веселиться изо всех сил — но всем было скучно, невесело. Не мне, а им. Странно, но почти каждый англичанин провинциален. И наивно убежден, что Англия — пуп земли и все вертится вокруг него. Когда американка, актриса Харriet Вейлер вернулась к концу мая 1935 года из Москвы, хозяин отеля спросил ее: «Как праздновали русские юбилей нашего короля?» Спросил совершенно серьезно!

Английский юмор был отменно хорош. Конечно, англичане были честными, трудолюбивыми, простодушными, вежливыми, хорошими и порядочными людьми, но, право, в них совершенно отсутствовала «пространственность». Упрямство — твердолобое — было. Вот эти качества они и воюют теперь. Да еще своей любовью к Англии за то, что она самая добродетельная и Господом Богом избранная, в чем уверены даже и эти низкорослые тихие голодные англичане-бедняки. Мне кажется, что и к Чемберлену они относились так: раз он англичанин, то ошибаться он не может. Бедняги... Их коммунисты (не все, наверное) были похожи на Армию Спасения, — что-то вроде борьбы со спиртными напитками. И большинство англичан были по-глупому высокомерны.

А сам город Лондон казался мне уродливым. Хорошо, что все это пишу для себя, а то это показалось бы рисовкой: но единственное место, где я отдыхала душой, был музей Национальная галерея. От

итальянских примитивов у меня светледа душа, только там мне бывало хорошо. Да потом у Питера и Билли в Кукам Дин. Лондон некрасив, но нет ничего милее и красивее английской деревни. А берега Темзы, и поля, и холмы, деревни, церкви! Вот там понимаешь, что такое слово «хом» — дом, домашний очаг. У Билли с Питером была усадьба, поместительный трехэтажный дом среди леса и холмов, перед домом зеленая бархатная лужайка и большой сад с фонтаном, с фруктовыми деревьями, дальше — огород и курятник. В саду — детский домик — там царствовали дети: Джон и Джин. Билли — жена Питера — была тоненькая, высокая, похожая на мальчишку; в жаркие дни она бегала в одних трусиках — женская грудь у нее отсутствовала, одни розовые соски. Ей было тридцать лет, но она выглядела совсем девчонкой. Курчавая белокурая головка и детские ярко-синие глаза. Веселая, энергичная, добрая, умная. Она была из Австралии. Из «пролетариев». А Питер был черноволосый, черноглазый, очень красивый, очень культурный, поэтичный, задумчивый. Мы с ним про себя обожали друг друга.

И Билли и Питер нас с Цаплиным окружили чудесной дружбой, вниманием, заботой и лаской; я и сейчас без умиления не могу вспомнить о них.

Алена жила у них четыре месяца, а мы приезжали лишь на конец недели — с пятницы до утра понедельника. В этой семье все было светлым и добрым. Вещи и мебель добродушно улыбались — честное слово! Кухарка — как ее звали? — Кэт — любила выпить, жизнь прожила бурную, чудачка была, остроумная; мы всегда брали ее с собой на прогулки и в кино. Были еще две приходящие воспитательницы, интеллигентные, немолодые, добродушные, но бесцветные. Бывало, за утренним завтраком, который подавался на кухне — но что за кухня! — просторная, сияющая чистотой и уютом, с цветами на окнах, — Билли с Питером весело переругивались, мы все по очереди рассказывали сны, дети тоже, вообще утро было веселым! И любила я наши «файф о'клок» в саду на лужайке. Каждый день — новый превкусный домашний торт к чаю в пять часов пополудни.

Но это была не праздная жизнь: дел по дому, саду, огороду, курятнику было по горло. Билли сама и-чистила, и убирала, и копала, и полола. Каждый имел много дел и исполнял их с английской добросовестностью.

Часто мы ездили кататься, дом не запирали, дети так любили эти прогулки — Питер правил машиной и брал всех троих детишек вперед, я сидела сзади, Дмитрий оставался дома — он работал в саду, где Питер устроил ему пьедестал и сам привез для него несколько огромных камней. Дмитрий сделал там свою лучшую птицу и несколько барельефов — один из них он подарил Билли и Питеру. После кошмара той лондонской зимы я у них расцвела, ожила. Я была беременна Ванюшей. И вот под сенью этой семьи я оттаяла... Билли согрела меня, она нашла слова, которые дали мне надежду, дали силу жить дальше... Нам с Цаплиным отвели лучшую комнату в доме — венецианское окно смотрело в сад.

И в комнате поставили старинную колыбельку; глядя на нее, я начала любить будущее дитя. Вместе с Билли я стала шить халатики и вязать кофтенки. Я даже петъ начала.

Питер был инженер и альпинист. Имел даже медаль за какое-то восхождение. Да, чудесные люди были эти молодые Райли. Да благословит их Бог! Живы ли они? И маленькие друзья Алены — Джон и Джин? У меня есть фото, где они все трое на солнце с упоением красят в саду забор. А сейчас, может быть, все они, и этот сад, и этот дом — все погребено под осколками бомб. Нет! Нет!

Странно мне и страшно, и невыносимым кажется, что вот то, что я видела своими глазами, — того уж нет на земле и не будет. Толедо разрушен. Кордова тоже. Париж притих как мертвый. В Лондоне — местами груды развалин, да и в Берлине тоже... И всему причиной тот страшный изувер и изверг, к которому я отнеслась с таким презрительным пренебрежением, когда раз услышала на Майорке по радио его истерические вопли, — Гитлер.

Около меня сидит трехлетняя очаровательная Мика, хозяйская внучка, смотрит, как я пишу, и бормочет себе под нос: «Ужас как пишет! Как много, ужас как пишет!» Она очень любит, как я пою. И мне ужасно приятно, что ей нравится. Она слушает, склонив набок голову, как птичка.

7 апреля

Чудный день. Я гуляла все утро, вернулась, поела, зашла в Александринку за моим милым дружкой Борисом Прониным, и мы опять гуляли долго. Там, где жил Пушкин. Стояли на мостике, где стоял он. Были в Летнем саду. Такая весна! И по Неве сегодня проплыл первый пароход.

Борис рассказывал мне о Вере Федоровне Комиссаржевской. Он говорит, что я чем-то похожа на нее. Как он гулял с ней по Ленинграду. И он говорит: «А мы не ценили ее, я говорил ей «Верочка» и хватал ее за плечо. И только когда она умерла, мы — близкие друзья — поняли, что мы потеряли. Чиж Подгорный написал на ее венке: «Благословенна ты в женах». За это Синод отлучил его от церкви. Она была страшно веселая, смеялась, как девчонка, вся была легкая, лучезарная и с таким огромным женским обаянием. И ум. И сердце. И голос! Вся она была как птица!»

Борис мудрый: я рассказала ему о моих обидах, и он сказал мне: «Не надо мелочного самолюбия. Не надо злобности. Будьте на сцене сами собой. Дайте себе полную свободу».

Подобные слова мне помогают.

Часто думаю о Цаплине. Странная была наша первая встреча: мы с Патти Лайт — Патти была женой Джимми Лайта — директора Провинстаунского театра; она была похожа на креолку, одевалась изумительно, всегда в черном, очень она была хороша, даже в

Париже, где ни на кого уже не смотрят, на нее заглядывались,— мы с Патти в солнечный летний день вышли на остановку автобуса у парка Монсури. И вижу — стоит человек; я подумала, швед: ясное лицо, необычное, высокий, блондин. Он увидел нас и, вместо того чтобы смотреть на Патти,— погрузился в созерцание меня. Это не был обычный взгляд фланера. Но его самого я почти и не разглядела. Мне было все равно — мало ли людей на меня смотрит! В автобусе он сел напротив нас. Мы с Патти говорили по-английски. И вдруг этот человек обратился ко мне со словами: «Вы русская? Я тоже русский. Я скульптор, фамилия моя Цаплин. Я хочу лепить вашу голову! Сейчас я выхожу. Где вы живете?» Я говорю: «У парка Монсури» — и думаю: вот чудак! Но не пошлый — нет. Он говорит: «Я сейчас должен выйти. Обещайте, что придете ко мне. Завтра. Вот моя карточка и адрес. Я вас прошу, приходите. Я должен лепить вашу голову».

Я взяла карточку, которую он совал мне в руки. «Может быть, спасибо!» Он попрощался и вышел. Патти что-то насмешливо сказала. И я забыла о нем. Совсем. Через два дня я мыла голову в нашей чудной квартирке на Рю де Дуанье. Улица наша была одной из милейших улиц Парижа. Маленькая улица влево от парка Монсури, застроенная очаровательными небольшими виллами. Напротив нас жил художник Андрэ Дерэн. Рядом был дом художника Жоржа Брака. На углу, в шафраново-желтом домике с чудным садом (а в саду висел фонарь из синего стекла — как на рождественской елке), жил японец художник Фужита. Я часто видела всех их. Андрэ Дерэн и его жена были самые милые — он толстый, красноватое лицо, крепкий, добродушный. Так вот, я сидела дома, мыла голову. Вдруг звонок: а на калитке были звонки и над ними наши визитные карточки. Я нажала кнопку — калитка открылась, и кто-то прошел через садик и постучал в нашу дверь. Я замотала голову полотенцем — и открыла. Передо мной стоял Цаплин! Я глазам не поверила. «Как вы нашли меня?!» Он вошел в комнату очень решительно и смело, но видно было, что он страшно смущается. «Я знал, что вы живете у парка. И чувствовал, что вы должны жить на этой улице. Я пошел сюда, обошел все дома и вот на калитке увидел: Татьяна Пеппер. Раз Татьяна — значит, это вы. И, значит, тут-то вы и живете. И я позвонил. И вот пришел».

Я угостила его завтраком и кофе. Я спросила его: «А вы не тоскуете по России?» Он отвечал: «Зачем тосковать? Ведь я — кусок моей родной земли. И живу я там, а здесь я в гостях, покуда хочу. Вот работаю, учусь, смотрю. Культура! Умный народ. Великолепные художники». Мы подружились. Он посидел часа два и ушел. Я обещала прийти посмотреть его скульптуры. Но не пошла. Через три дня он сам пришел — очень сердитый и глубоко обиженный. «Идемте сейчас ко мне! Я ждал вас. Одевайтесь». Так Цаплин ворвался в мою жизнь и похитил меня из моего благополучия и бесцельности.

Когда Патти и я пришли к нему, увидели его скульптуру,—

я поняла, что передо мной настоящий художник. Талант Божьей милости! Это были не пустяки, а настоящее искусство.

Сам Цаплин сразу завоевал мое уважение. Даже то, что он так нашел меня. То, что ему абсолютно не импонировало мое «блестящее окружение», изысканность быта, в котором я жила,— это все он отмел как пустяки; не знаю, заметил ли он это. А сам он был беден: в огромной мастерской, кроме скульптур и ящиков, на которых он ел и сидел, ничего не было. Была еще широченная старая постель. И ничего более. Но он этого не замечал, его не смущала «разница» — были только я, женщина, и он.

Через два месяца мы уехали вместе в Кассис-сюр-мер. Я никогда после не видела его таким, каким он был в Кассисе. Он сиял счастьем, он смеялся и пел. Он пел так изумительно! Весело, интересно! И песни были наши, русские, деревенские.

Утром мы уходили далеко на берег моря. Там он выбирал глыбу камня и работал ее, тут же, на берегу. Я лежала под солнцем на песке. Мы ели виноград, хлеб и сыр, запивали вином кьянти. Спали на земле, на его старой накидке. А на закате шли домой. Он тащил на плечах свой камень. Как мог он дотащить его? Ведь камни были тяжелейшие! Мы жили в доме над обрывом, внизу пенилось море. Вокруг был хвойный лес — и сад. О, это солнце на юге Франции! Синее небо, синее море! Знойные дни. Виноградники. Желтый песок. Скалы. И прохлада вечеров... И среди этого — русские народные песни Цаплина, они брали меня за горло, и я так нежно любила его за них.

Через полтора месяца он уехал обратно в Париж. А я осталась — мне хотелось подумать, решить: вернуться ли мне к нему или нет? И он чувствовал это. Я не забуду, как он рыдал, прощаясь со мной. Рыдал навзрыд... Бедный мой Цаплин... Я вернулась. Как он встретил меня. Возился со мной, как нянька. Ходил на базар. Сам готовил — и чудесно готовил. Стирал. Мастерская блистала чистотой... Я перевела книгу «Любовник леди Чаттерлей» Д. Лоренса. Я решила, что буду жить с Цаплиным и с ним вернусь в СССР. В ноябре открылась его выставка в галерее Слуден. Лучшие вещи он сделал в Кассисе. Пожалуй, эти звери и птицы и те, что позднее он сделал на Майорке,— это лучшее, что он вообще сделал...

Выставка прошла с таким успехом, что Цаплин сразу стал известным. Газеты писали: «Это не талант — это гений!»

Но за скульптуры Цаплин назначил такие цены — за зверей, за портреты,— что Слуден чуть не рвал на себе волосы. Полмиллиона франков за «Песню весны!» Цаплин не хотел продавать свои произведения. Расставаться со своей скульптурой для него было мукой. Он страдал, мучился — и не продавал. И я его понимала. Цаплин все хотел привезти на Родину и считал, что работает для Родины.

И вот в январе я поняла, что я беременна. И 27 августа 1931 года я родила Алену в Париже, в великолепном «Американ-госпи-

тале» в Нейи, а Бен приехал из Нью-Йорка, чтобы мне было не страшно, и был рядом, навещал меня каждый день, как и Цеплин...

9 апреля

Денег ни копейки. Вот уже три дня, как даже сахару нет. Слабею. Сегодня пойду к Канину. Он — Главрепертком. Вчера мне звонила Емельянова с радио. Просят петь 14-го. Что же, буду.

А вчера вечером звонил Янковский с неожиданностью: Тихонов и Янковский решили устроить мой вечер в Доме писателей. Морально все-таки этот вчерашний звонок и какие-то теплые слова меня поддержали.

В утро моего первого выступления перед публикой на сцене Театра эстрады и миниатюр меня поволокли-таки на просмотр к сухому злобному чиновнику Кисельману. Прослушав одну песню, он сказал, что у меня нет голоса, что номер наш неинтересен и что вечером он приедет в театр... Ничего хорошего мне это не сулило, однако я пела, и мне очень хлопали. Александр Михайлович Давыдов сиял, милый старик. Но меня вызвали к директору, и там Кисельман сказал мне, что он нас снимает. Конечно всё...

И отношение — неожиданно — Михаила Фабиановича Гнесина. Он был тогда в театре. Ему понравилось, как я пела. Он возмущен тем, что меня сняли. Пришел ко мне из театра и сам, без всякой моей просьбы, написал письмо Канину — начальнику Главреперткома.

Я обещала рассказать Аркадию Райкину и Полякову о Гроке — клоуне Гроке (оперетту, в которой поет Копелянская, написал В. Поляков). Грок — одно из ярчайших впечатлений моей жизни. На уровне Лолиты Гранадос. Но у него это было не вдохновение, а тончайшее мастерство! Как жаль, что я тогда не написала о нем! Я видела его несколько раз подряд и повела смотреть его моих друзей Мееровичей...

Грок выступал в цирке Мэдрано в Париже. Небольшой цирк. Он выступал в конце программы.

Конферансье объявлял: музыкальный эксцентрик Грок — и сразу же гремели аплодисменты. На арену выходил во фраке красивый молодой человек со скрипкой в руках. Под аккомпанемент оркестра он что-то прекрасно играл на скрипке, недолго. Внезапно вслед за ним появлялся высокий клоун в клоунском костюме в крупную клетку, в котелке на макушке, с огромным чемоданом в руках. Он делал нечто невыразимо смешное с чемоданом и вынимал наконец оттуда крошечную скрипку и начинал божевественно играть на ней. Потом следовал диалог с молодым человеком во фраке. Потом молодой человек играл на появившемся рояле, и вот Грок сам садился за рояль, брал аккорд — и у рояля отваливался хвост. На обесхвостенном рояле Грок снова замечательно играл. Дальше опять диалог — он говорил по-французски с прекомичным англий-

ским акцентом. Свет потухал, оставался только луч прожектора, Грок, сидя на спинке крошечного стула, вынимал из кармана концертину — круглую, небольшую — и лились звуки органа. Под самый конец он брал в руки нормальную скрипку; он готовился было играть на ней, но начинал играть со смычком, забавлялся... Он пытался, подбросив, поймать его за конец — у него ничего не получалось. Все это с неподражаемым комизмом. Он выходил из себя. Сердился, чуть не плакал... Вдруг ему это удавалось! Сияя улыбкой, он чудесно играл на скрипке. На каждом инструменте играл он виртуозно. Весь его номер длился четверть часа. Все было рассчитано. Он ни разу не отступил от четкого рисунка. Все по секундам — и все в точности, каждый раз одинаково. Но боже, до чего остро, до чего смешно! Цирк хохотал до слез, люди корчились от смеха.

Что-то было в этих артистах. Как только они появлялись — словно электрический ток проходил по толпе.

Вот и Анна Павлова только появилась — и уже мороз по коже. До чего она была прекрасна! Из нее — из пальцев рук ее — лилось невыразимое, как музыка, как счастье, слезы подступали к горлу. Я видела ее много раз и каждый раз думала, что вот вижу восьмое чудо света — вижу гения. Она выступала в самом большом переполненном концертном зале Нью-Йорка, и гремела овация.

А Гарольд Крейцберг — никогда не забуду его смешной танец, когда он выходил в белой тунике с лилией в руках! Не знаю, сколько минут это длилось. Публика хохотала до слез. Но когда он танцевал, танец Революции или Персидский танец на музыку Эрика Сати, многие плакали. Я даже мотив помню.

Итак, будем говорить прямо: шесть раз в театре и ВТО я пела на публике, считая просмотры, — и имела успех!

Но чего-то нет сейчас во мне самой. Огня! Да, очень много значит, что я сильно голодаю. Питание.

Скованность проходит с каждым разом. Но слабею все больше. А физическое отражается на духовном. Если бы все это было в феврале! Когда я была так заряжена. Я правильно сказала тогда Янковскому: «Я как лошадь, которая скакала к финишу, а его всё отодвигали, — и она издохла, не доскажав».

Во всяком случае я получу бумажки — квалификацию и ставку. Я — профессионал!

Нечего себе очки втирать: платье жалкое и держусь я беспомощно. Пою я тоже неважно, но утверждаю! — буду петь. Все лето ездить я должна в поездки, как рядовая, самая скромная певица, и брать уроки у режиссера, у Кунина и найти «своего» гитариста. Либо выходить одна с гитарой и сама себе аккомпанировать. Эх, кабы рядом сидел кто-то вроде Сорокина или Китаева, но гитариста первоклассного, в моем понимании, первого класса!

В сущности, Янковский виноват передо мной только в том, что он много обещал. Желая мне добра и чтобы я хотя бы получила нужные бумажки и несколько раз пропела в его театре. Он вставил

меня в конце месяца в программу театра, не затратив на этот номер ни копейки... кроме тысячи рублей Александру Михайловичу Давыдову...

14 апреля

Итак, вчера в последний раз я пела в театре. Всего я пела там три дня, то есть семь раз. Из-за этого я сидела здесь всю зиму, голодная, одинокая; ох, тяжело приходилось порой.

Ночью я написала Янковскому письмо и отослала сегодня утром.

Я вот думаю: Стеша пела. К ней приезжали, ездили «к цыганам». И Пушкин, и Аполлон Григорьев наслаждались ее пением. Что было бы со Стешей, если бы ее выволокли петь в Театр эстрады? А Анна Ильинична? Анна Ильинична Толстая, которая поет прелестно, ведь отказалась от эстрады. Со сцены она не поет. Она поет только у друзей.

В Париже: у Люсьенн Буайэ свое место, свой маленький эстрадный театр. У Дамья свой. Та, что пела в «Олимпии», тоже пела только там. И этим певицам не говорили, что они не смеют петь, так как у них «нет голоса»... Им давали петь, и постепенно они становились замечательными мастерами. Их не вырубали на корню, не дав созреть.

14 апреля

Вечером ко мне в гости пришел Гнесин. И был такой умный и остроумный! Я показала ему копию моего письма, посланного Янковскому. Он прочитал и сказал глубокомысленно: «Письмо певицы», — и я от души расхохоталась. Конечно, Янковский не позвонил мне. Хотя бы позвонил в ответ!..

Ночью

Звонила Зоя Лодий. Она ко мне сейчас трогательно добра. 13-го был ее концерт — так жаль мне, что я не была. Борис сказал: это было торжество искусства. Да, Зоя — истинный художник. И мне от ее звонка легче на душе.

Письмо из дома: слава Богу, мама опять совсем здорова.

22 апреля просят петь в Доме писателей. Я буду петь.

Была у Соколовского. Получу квалификацию и ставку. Ладно. Господи, дай мне денег, чтобы сшить себе чудесное платье для сцены!

В Москву пишу довольные письма: пусть они, мои дорогие, не знают, как мне тяжело.

Вот за что всю зиму здесь я голодала и холодала.

От Марецкой и Бабановой, Ренской и Кунина были поздравительные телеграммы, и от Алены с Дмитрием. Боже, Боже! Они поздравляли меня. Они считают, что я талантлива. А Кисельман меня убил...

1941 год. Весна

Надо изо всех сил, спрятав, изгнав всякое «самолюбие», постараться как можно дольше петь в Ленинграде. И пока держаться моих гитаристов.

Вечер

Мои гитаристы поволокли меня в ВТО на вечер для физкультурников. Там я пела, по-моему, очень хорошо, но успех был весьма средний. Я еще очень волнуясь на сцене — и пустая от этого внутри. Но уже лучше...

Мне сегодня опять сказали, что я «плету кружево». Если бы — несбыточная мечта! — две недели спокойно попеть со сцены в театре — я знаю, что я стала бы Артисткой настоящей.

Но что было острым ножом — так это новая программа в «моем» (хо-хо!) театре. Я была на генеральной. Копелянская замечательна. В ней столько «аллюра», правда, экстраразухабистого, так, «дива для матросов», но я люблю такое тоже, хотя я не матрос. Молодец она! Но оформление и ее костюм! Хорошо! В костюме очень зарыта собака. Это необходимо. Первое, что нужно, — это платье! И надо найти свой грим. А я (о, я оденусь!) — так плохо одета на сцене!..

Вчера в Госэстраде мне говорят: «О вас идут споры — одни говорят, что это изумительно, другие говорят, что это ничто». А один какой-то сказал мне: «Вы подлинное, как подлинным были звезды старой оперетты Нина Ивановна Тамара и Анастасия Вяльцева».

Я уже курю как черт. И на все махнула рукой.

17 мая

Новая пилюля: позвонил Минин. «Гатьяна Ивановна, лучше не выступать в Доме писателя, там такая придирчивая, искушенная публика! Ужас! Съедят! Там даже Райкина и Копелянскую провалили. Нет, там я играть не буду». На что я сухо сказала: «Я хочу там петь и петь там буду. А вы позвоните сами в Дом писателя и откажитесь. Как хотите». Буду сама себе аккомпанировать.

Отговаривать Минина аккомпанировать мне у писателей пришли именно из Театра эстрады.

Если бы можно было петь у себя — и чтобы за это мне платили.

Вот ездили бы, как ездили к Стеше!.. Как я сама ездила бы к Анне Ильиничне. Или к Татлину.

Когда я выходила на сцену в этом театре, из мрака на меня смотрели чьи-то холодные глаза — брр... Одно лицо этого мертвяка Кисельмана чего стоило! Или «личико» этого червяка в футляре Подкаминер! Ох и намучилась же я! Не буду больше так. Не желаю. Титул у меня есть: артистка эстрады, я профессионал. Хорошо! И пусть издохну от голода, но, как у Блока:

Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала:
Я верю — то Бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!

Была у Мининых. Ольга Александровна больна: порок сердца. Глаза измученной собаки. Она уверена, что умрет, ей нагадали когда-то, и у нее и вид такой — лежит и ждет смерти. Может, это все ей кажется только, а она не больна. А Минин считает своим долгом подробно рассказывать мне, как и кто меня ругал. Я вспоминаю, как живут знакомые мне певцы и певицы: Эрнестина от всего охраняет Анатолия Доливо. Тамара Сатлыкова и Сергей Александрович Андрианов давно уже устроили Зое Петровне Лодий хрустальный дворец. Всю жизнь она прожила в нем. Пошлая Людмила Геоли, от которой мне делается противно как от ресторанного супа,— и то охраняется, как цветок, своим жуликоватым мужем. А я! Одинокая, голодная, и все шишки каждый считает своим долгом запустить в меня!.. Минин говорит мне: «В Доме писателя нас освистают». Хорошенькое предупреждение перед концертом! Он глуп и посредственный гитарист, хоть и похож на Феликса Юсупова.

Мечтаю об Аленушке и Ванюше, о своем доме, о Дмитрии — даже о Дмитрии... ибо он не чиновник, а Артист!

Рыжая Паллада нагадала, что слава будет, что помру нескоро, что роковые имена для меня на М, А, П, что будет еще далекое путешествие. Вообще же ничего хорошего. Она похожа на старую рыжую обезьяну — со всем шармом мартышки. Вправду очень шармантна. Мармезетта! Она старая приятельница Бориса Пронина и чуть ли не незаконная дочь какого-то великого князя.

Хожу без билета, ибо нет денег, и втискиваюсь в зал Филармонии на разные концерты. Хорошо у нас играют. Иду так уверенно, что у меня на контроле билета не спрашивают; я не нарочно, а само по себе выходит так.

18 апреля

Ленинград. А мне порой так ярко вспоминается Майорка. Я хочу записать об одной ночи, но не от первого лица, а будто это рассказ, а не мое воспоминание.

Самое интересное это то, что все именно так и было. В Испании в 1933 году на острове Майорка, близ рыбацкого поселка Польенза-Пуэрто, у самого залива.

Стояла поздняя осень. На море бушевала буря. Рыбацкие лодки укрылись в заливе, но и там их сильно трепало и стучало о причал. Похолодало. Во всех комнатах пришлось затопить камин. В доме было четыре просторных комнаты по обеим сторонам большого зала. По коридору вы входили в кухню, рядом были кладовые и темный чулан, где водились скорпионы. К дому примыкала часовня, но обычно она стояла запертая. Сеньоры были иностранцы, им часовня не требовалась. А за часовней жил старый фермер Эстебан со старухой женой и собакой Сирио. Позади дома был огород и сад, где росли бобы, лук, артишоки, апельсины, мандарины, лимоны. А перед домом простиралось поле, по которому были как бы разбросаны оливковые и миндальные деревья. Дальше шел виноградник — и море. По самому берегу вилась дорога на Форmentor. Далеко за домом высились скалистые горы. Кругом ни жилья, ни людей. Рыбачий поселок лежал на довольно большом расстоянии.

В тот вечер сеньора впервые поняла, что кругом и в самом деле никого нет. Муж сеньоры уехал на выставку своих скульптур в Барселону. Дома оставались одна она со своей годовалой дочкой да молоденькая служанка Магдалена.

Дочку сеньора уложила спать рано. Потом легла и Магдалена. Но сеньора долго сидела у пылающего камина, подкладывала в огонь дрова, о чем-то задумывалась. Порой она чутко прислушивалась к ночным звукам. Буря утихла. Ночь была темная, черная, не видно ни зги. Ветер стал менее порывистым. Все дышало сонным покоем.

Дом был старинный. Окна от пола до потолка заделаны были узорными чугунными решетками. Ставни на окнах, дубовые, крепкие, обычно не запирали, а массивные входные, кованые железом двери запирались таким тяжелым стариннейшим ключом, что сеньора чувствовала себя как в крепости. Никакие бури были здесь не страшны.

На дворе было тихо. Сеньора подумала: «А где же Сирио? Не лает он что-то сегодня. Наверное, фермер оставил его в доме»... Было уже очень поздно. На небе ни звезды, на земле ни огонька... Издалека слышалось, как море глухо обрушивается на берег. Пора было ложиться спать.

Сеньора пошла к себе в спальню, распахнула настежь окно, потушила свет и начала раздеваться. Прохладный воздух лился свободно через чугунную решетку. Широкая кровать под голубым тюлевым пологом (от москитов) стояла посреди комнаты. Только сеньора легла, как ей послышались легкие шаги за окном. «Кто бы стал тут ходить? Это мне померещилось». И сеньора повернулась на левый бок. Но опять она явственно услышала шаги, и даже словно шел не один человек, а несколько. Шли тихо, осторожно.

Она встала в темноте и подошла к окну. Но на дворе ни зги не было видно. Шаги завернули за дом, где шел ров. Сеньора осторожно наглухо закрыла окно и ставни и зажгла свет. Нет, ей, наверное, показалось! Она прошла в другие комнаты. Все было тихо. Она осмотрела, всюду ли закрыты ставни. Да, болты были чугунные, массивные, и решетки такие, что не сломаешь. Но она зажгла свет повсюду и стала прислушиваться. Все тихо... «Мне померещилось! — подумала она с облегчением. — Ведь на острове этом о бандитах и не слыхали никогда!» И вдруг она услышала шаги, и много, тихо, осторожно, словно люди, крадучись, обходили дом. Сеньора вспомнила, что сбоку дома, со стороны рва, была незаметная дверь на лестницу, которая вела на чердак. Ей почудилось, что дверь эту ломают, высаживают. И через минуту — через массивнейшие стены — она явственно расслышала звук подымающихся по лестнице шагов. Какие-то люди шли на чердак!

Из своей комнаты вышла Магдалена, бледная, встревоженная.
— Что это, сеньора? Я слышу людей!

Сеньора схватила ее за руку:

— Тише! Слушай!

А люди были уже на чердаке. В зале был высоченный потолок, проложенный дубовыми балками. Чердак находился над залой. И сеньора с Магдаленой слышали, как там ходят люди!

Магдалена дрожала, слезы бежали по ее щекам.

— Не бойся, мы выдержим всю ночь. Ведь ставни-то наши, наши двери, замки, решетки!

— О сеньора! Моя бедная, несчастная сеньора! У нас на острове было однажды убийство: разбойники проникли через чердак. Они знают, что им не проломать двери и решетки на окнах. Они разобрали потолок!

Сеньора опустилась на стул. Только бы дочка не проснулась! Кричать и звать на помощь — бесполезно! И ребенок будет напуган на всю жизнь! Она быстро пошла посмотреть на дочку — та спала блаженным, мирным сном. Сеньора укрыла ее, тихонько поцеловала милый лобик, закрыла, заперла дверь в детскую.

В зале она заговорила громко, энергично, словно в телефон:

— Отель «Мирамар»? Пришлите к нам двух-трех слуг, да поскорее! Кто-то ходит вокруг дома и беспокоит нас! Да, у нас сегодня ночуют гости. Нас много, но все равно пришлите кого-нибудь. Поскорее! Я буду снова звонить!

Она почти кричала, лихорадочно думая о том, что все на острове знают, что у нее в Каза Сингала никакого телефона нет. Помощи ждать неоткуда.

Магдалена превратилась в жалкое, раздавленное страхом существо. Ломая руки, она тоненько повизгивала в углу. Сеньора строго прикрикнула на нее:

— Молчи! — Потом прижала к себе: — Тише, бог милостив!

Она без устали шагала по зале, снова и снова «звонила» по телефону, уверяла, что она не одна в доме, что у нее есть оружие,

говорила с воображаемыми гостями, грозилась, ругалась. А на чердаке перестали стесняться: там громко разговаривали, возились и несколько раз постучали в потолок. Ночь длилась бесконечно, и страх рос, не ослабевая ни на минуту, заполняя собою уже не только дом, но и весь сад, весь поселок, весь мир!

Только бы спасти ребенка, только бы не поддаться, только бы не рухнуть в углу на колени рядом с Магдаленой, только бы не сойти с ума!

Но что это?! Шаги снова. Вниз по лестнице. Мимо окон. Мимо дверей! И, проходя мимо двери, в нее постучали и крикнули что-то!.. Магдалена, с остановившимися от ужаса глазами, вдруг встрепенулась.

— Что, что они сказали? — спросила сеньора.

Магдалена сквозь слезы наконец смогла выговорить:

— Сеньора, они сказали, что уходят. Не надо было их бояться! Они контрабандисты, а не разбойники! Они прятались от пограничников! Они боялись вас, сеньора....

Светало... Вдали плавно шуршал прибой. Туман тихо плыл над виноградником... Все дышало миром. Дочка крепко спала в своей кроватке. Но с тех пор у сеньоры в волосах появилась седая прядь...

Ни она, ни Магдалена никому в поселке ничего не рассказали.

19 апреля

Сегодня суббота. Во вторник мой концерт в Доме писателя. Но я еще ничего точно о концерте не знаю. Мне никто не звонит. Мне нужно достать бумажки о квалификации и ставке и о том, что я действительно пела в театре. Для Москвы.

Роза Иоффе была права, когда сказала мне: «Вы беззащитны». Я не умею предохранять себя от боли.

Еду к Палладе, чтобы она наворожила снова. Она похожа на старую ведьму. И я абсолютно верю — не в нее, но в силу ворожбы.

Паллада снова гадала на картах: «Слава ждет вас в конце жизни. Но до этого далекое и не в радость путешествие. Но доживете до счастья. И в конце — четыре туза!»

Дома меня ждали пригласительные билеты на мой концерт у писателей. Все-таки — ура!

20 апреля

Я всю жизнь ненавидела состояние неизвестности впереди. Но мне так ясно, что всю жизнь мне мешал мой комплекс неполноценности и ощущение зыбкости под ногами. Когда Юра погиб, я навсегда потеряла почву под ногами. Он был моей половиной — мой брат-близнец. Конечно, это был необыкновенный мальчик: талантливый, глубокий, умный, блестящий человек. Благородный

человек. За месяц до смерти он как-то сказал мне: «Я чувствую, что скоро умру. И я спокоен,— я как будто уже прожил очень большую, долгую жизнь». А ему было всего четырнадцать лет. В двенадцать лет он играл Скрябина и Баха, писал остроумнейшие пародийные стихи, увлекался философией Локка и Канта. В четырнадцать лет Юра стал большевиком — он пошел в боевой отряд красной молодежи сражаться с белыми. И его зарубили... Много лет я не могла говорить о нем, о его гибели. Много месяцев я тогда в глубине души надеялась, что он жив, что он вернется. Одна Верочка видела его мертвым. На могиле его выросло дерево. Он погиб много лет тому назад. А для меня это было вчера. И будет так до моей смерти. И мне кажется, что всю свою жизнь в тех, кого я любила, я искала Юриной преданности, верности, опоры и любви. И Юру я любила больше всех.

Если бы Юра был жив... Мы горячо любили друг друга. И нам было интересно друг с другом. Мы были очень разные характерами и физически абсолютно не похожи: он блондин с карими глазами, я черненькая с серыми. Он был на голову выше, весь крупнее меня. У нас, у каждого в отдельности, были свои интересы, свои друзья, свои увлечения, но мы чувствовали, что перед миром и людьми мы — вместе. Это чувство — вместе — было незыблемой почвой под моими ногами. В детстве мы отчаянно дрались иногда, стали старше — ссорились, но это все было пустяками. Мальчишки иногда начинают дразнить или насмехаться над сестрами, особенно в присутствии других мальчиков. Юра — никогда. Наоборот, особенно перед другими, он был моим верным рыцарем. И мы оба знали, что этого «вместе» никогда и никто другой нам не заменит и у нас не отнимет. Со смертью Юры я осталась одна и беззащитна — и от этого так не уверена в себе. Если Юра — самое реальное, осязаемое — мог уйти и никогда не вернуться, значит, всё сон, иллюзия, «так». И мир — стал воображаемым мною миром, а не реальностью. А дальше — опять сон... Что же такое жизнь и почему?..

Вчера я, Борис Пронин и рыжая Паллада были у Тихоновых. Мария Константиновна умница, а Николай мил и занимателен. Перед отъездом пойду еще раз слушать его стихи. Мы просидели всю ночь, Борис чудесно рассказал о Блоке — как они ездили на острова, наскребли денег и за три рубля Борис нанял Блоку лихача, усадил в санки Блока и Наталью Волохову, и они покатали. А через три дня Блок сказал Борису: «Вот я стихи написал:

Вновь оснеженные колонны,
Елагин мост и храп коня,
И голос женщины влюбленной...»

Мы ушли от Тихоновых в четыре часа утра. Побрели пешком, а у моста остановили пустой автобус, и он бешено помчал нас через мост. Мы трое вспоминали гумилевский «Сумасшедший трамвай» —

над Невой занималась розовая заря — узкой полоской на горизонте, и все было голубым и звонким — чистым.

Но Паллада,— увы, не колдунья. Нет. Приворожить она не сумеет, не сможет.

Позвонила Канину, позвала к писателям. Сказал: «Постарайсь...» Сухо...

Последние мои дни в Ленинграде. Публичная библиотека и обязательно — очень ранняя, часа в четыре утра — прогулка по Ленинграду — через Неву — мне хочется еще раз увидеть эту голубизну.

А в Москве — все придется начинать сначала!.. Заниматься с Куниным. Найти гитариста. Опять пытаться на радио! И вообще биться дальше, не успев окрепнуть. Ах, если бы две недели попела в театре! Это была бы хорошая закваска... А то — так короток был этот тренаж...

22 апреля. День

Чиню единственную пару чулок для концерта. Заняла у Оли — домработницы — пять рублей, чтобы сделать маникюр.

Профессиональность — это привычка, уверенность. Волнуюсь, но не боюсь ни капли. Звонил Крематат — что-то опять «пугал», я сказала: «Не волнуйте и не тревожьте меня!» — и повесила трубку.

Сегодня весна, солнце, пыль даже. Не очень тепло — чувствуется тающий где-то лед. Я вспоминаю весну на Майорке — как драгоценное вино, как запах апельсиновых цветов, как счастье! Вина бывают разные, на Майорке в темном кафе в Польензе я любила вермут. Но на Майорке было и свое вино: густое, темно-красное, почти черное,— «Поло». Утро — проснешься и уже радуешься каждой кровинкой — и Алена, она цвела там как цветок! Идти пешком из Пуэрто в Польензу — миндальные рощи, как белые букеты, серебристо-оливковая зелень на оливковых деревьях и оранжевые апельсины на коренастых, с темно-зеленой гляцевитой листвой апельсиновых деревьях! А воздух, его прозрачность и чистота, и блаженный мир, как благословение на всем. Семь километров блаженства...

А как мы ездили в Льюкский монастырь с д'Арденном и Диной. Был ясный серый день, осень. С вершины Льюка из монастыря мы с Диной пошли пешком в долину Польензы, а Цаплин с д'Арденном поехали на автомобиле другой дорогой вниз. Мы шли в полном одиночестве, по дикой дороге, уступами. Перед нами далеко-да-

леко внизу расстиралось море, наш залив и рыбацкий поселок Польенза и даже Алькудия были видны на другом берегу. Мы долго шли одни, молча, и вдруг из кустов на дорогу вышел рыжий человек с большой собакой и долго шел вслед за нами. И так же неожиданно исчез.

А дорога в Форментор! Смертельно опасные повороты — внизу в бездне — море, над головой — скалы и ослепительная синева воды и воздуха. И эта изысканность людей и их жилья, это доброжелательство, спокойствие и благородство безграмотных майоркинцев.

А фиесты на рыночной площади в Польензе! А фиеста в Пуэрто!

Ночь. После концерта в Доме писателей

Ну вот, прошло и это. Гостиная битком набита людьми. На меня в лорнет смотрит сначала неодобрительно какая-то дама, потом лицо ее светлеет, она начинает улыбаться, а к концу растрогана и покорена. Янковский сказал обо мне лестное вступительное слово. Гитаристы мои ликуют! Страшно довольны и мною гордятся! Успех!!!

23 апреля

Звонила Мария Константиновна Тихонова. Она вчера была такая ко мне теплая. Она умеет быть другом. Сказала мне: «Таня, вы нравитесь Янковскому, но он осторожничает».

Искусствовед Джевержеев тронул меня. Он подошел, поклонился и как-то искренне благодарил.

В общем — лучше всех был писатель Лев Канторович. В антракте он помчался за розами — и привез мне огромный букет алых роз. И сам был такой молодой и красивый!

Отошло. Суета сует...

Вчера у меня было волнение, но не было страха ничуть. Нужно, чтобы вещь сама вокруг тебя виляла и пела. Как будто поет воздух, а ты — только передатчик, как радио.

О гитарист, который мне нужен, где ты?

Вечером звонил Янковский: «Я говорил уже с «Ленинградской правдой». Они поместят о вас маленькую рецензию». Я: «Маленькую?!» Он говорит: «Вы уже зазнались».

Я не могу заснуть. Мне грустно. Но это уже не отвращение к самой себе, как было после концерта в ВТО на юбилее Фонвизина в Москве в сороковом году. Тогда меня душил страх, когда я вышла на сцену. Мне говорили потом, что я была бледна как смерть.

Вчера я хорошо спела «Птичек», «Калитку» и «Терезу» с «Разносчиком». Лучше всего — «Калитку». Мне даже самой в одном месте понравилась пауза после «потихоньку».

Надо делать новые вещи. «Умри, заглохни» еще совсем в зачатке. «Ночь тиха» — хорошо, то, что нужно, но сама песня, бедняжка, уж очень затрепана. Утесов доконал ее джазом.

Я мучаюсь, ибо с гитаристами моими надо сидеть два месяца, репетируя с в о е. А испанскую они до сих пор играют как украинскую. Нет, они совсем не то, и это мучает меня. Тут аккомпанемент должен быть кружевным, воздушным и современным.

Оттого что я совсем одна эти два дня, и сижу дома, и буду сидеть завтра, — душа просветлела, утихла...

Пришел Борис Пронин. Принес две котлеты, хлеба и немножко сахару. Милый Борис... Хозяйке я должна за месяц. И она велела 27—28-го съезжать... Но я ни о чем не могу сейчас тревожиться. Мне так хорошо, мне так грустно сейчас. Блаженствую!..

Из ленинградских знакомых оставляю себе навсегда, конечно, Зою Петровну Лодий, Тихоновых, мою сестру Иру и ее мужа и Бориса Пронина. Остальные — бог с ними! А Борис Пронин пусть всегда носится вокруг, как воздух, как одуванчик или божья коровка. Он шедевр неповторимый. Я его приемлю всем сердцем. Но мне часто больно за него. А вообще мне от всех других — кроме тех, от которых только больно, — еще и тошно. Я хотела бы иметь мало денег себе, но посылать много отцу с матерью для Ванюшечки! Ведь у меня есть сын, а я его уже год не видела... И Аленку давно не видела, а ведь они — единственное, что я люблю по-настоящему из всех людей. Я плачу о Ване, от жалости к нему, от тоски по нем, ведь он не просто сын — он же сплошное очарование! Посылать им много денег, чтобы я была спокойна за него, посылать Аленке и давать уйму денег Ирке. А самой жить бы на набережной, чтобы перед глазами за окнами текла вода, чтобы в комнате было бело, чисто и пусто, на стене тот Марк Шагал с музой, да рояль, да полки для книг и нот. Вот в сущности все. И чтобы люди появлялись только для дела, а всего три-четыре человека — для души. И петь!

Пошла без билета, ибо нет денег на симфонический концерт в филармонию. Прошла беспрепятственно.

Хочу в лес, к зайцам, чтобы пахло прелью, талым снегом и еще не появившимися фиалками.

25 апреля

Я сказала Янковскому, что если в газете будет рецензия, то это будет «путевка в жизнь». Да будет ли? Я уверена, что уже какие-то люди ругают меня, говорят, что «безголосая», и прочая. Но не продамся никому — лучше голодать, продать последнее, чем брать эту рецензию, когда заранее знаешь, что подход коммерческий и придется платить. Не продам себя, нет. Даже за рецензию.

Когда я одна сама с собой — я погружаюсь в мир музыкальных галлюцинаций.

Устала. Брожу часами по дивному этому городу и как-то утихаю от его красоты и строгости. Он неправдоподобно прекрасен, и почему-то в воздухе над ним витают слова: «Петербург быть пусту...» Кто их сказал? Отчего они мне все время слышатся?

26 апреля

Я так рада! Тихоновы пригласили меня жить у них, начиная со вторника до следующего воскресенья! Мне хорошо с ними, как со своими родными людьми. Я люблю стихи Николая, особенно когда он их читает, что он делает замечательно. Мне нравятся и рассказы его, хотя и не все. Но рассказчик он прекрасный. Я смогу хоть немного отдохнуть, буду ходить в Публичную библиотеку всю неделю, буду под крылом, под защитой Марии Константиновны от собственных страстей. И буду питаться! Ужасно смешное слово! Но я не согласилась, меня это житье у них стесняло бы...

Клятвенарушительница Паллада сказала мне, что Мария Константиновна сказала ей: «Мы очень бережем Таню. Таню надо беречь». Я заплакала от этих слов. Спасибо Марии Константиновне за них. Как давно, как давно никто не считал, что меня нужно беречь! Один Бен берег меня. Только один Бен за всю мою жизнь.

В Москве буду гулять с Аленкой, поеду с ней на парходике по Москве-реке. И возьму ее с собой в Абрамцево. Надо туда съездить на богомолье к Идолу и Камень-бабе. А потом съезжу к Ванюшечке.

О, тихая безвлюбленная старость, когда, окруженная правнуками, я не буду соскакивать с кресел и на костыле ковылять в чьи-то миражные объятия! А тут — от одного этого города с его еще не белыми, но уже такими голубовато-розовыми ночами, от Невы, от этих золотых грифов над каналом — можно сойти с ума. Покоя сердце просит. А в Москве будет седовласый Кунин с бородой, с детскими глазами и глубокомысленными уроками. Это кого угодно приведет в равновесие.

«Умри, заглохни» — слова поэта середины прошлого века Губера. Я выдумала, что это любимая песня Аполлона Григорьева, уверенная, что это так и было или же абсолютно могло так быть. Музыка моя.

27 апреля. Утро

Ненавижу, когда утром меня будят. И на самом сладком месте: мне снилась черная такса, такая, какой был наш Фугас. Бесподобный умник, с гладкой шелковой шерсткой, умная морда, глаза, которые все понимали, гордая независимость характера и иезуит-

ская мудрость. В общем, я знаю, кто мне снился. Таксы умны, но им решительно все равно, кто их ласкает и кормит. Такса всегда сам себе хозяин. По крайней мере Фугас был таким. А помнишь д'арденновского кота? «Гато майор» — «Великий кот» — впрыгивал в окно — гордый, гладко-серый, прекрасный, огромный. Он давил кур безжалостно. Спал вне дома и никогда ни к кому не ласкался. Он признавал д'Арденна и Дину. Д'Арденна за то, что тот был тоже из кошачьей породы, а Дину, я уверена, за духи. На меня он смотрел благосклонно. На остальных он не то что фыркал, а шипел и презирал. Цаплина не выносил. Я уважаю кошек,— это вам не собаки! Кошки живут своей жизнью, и им до людей редко есть дело, они совершенно независимы.

Ночью

Во-первых, позвонил Канин и пригласил меня завтра на «Ромео и Джульетту» с Улановой.

Во-вторых, Янковский сказал мне, что рецензия написана. Поверю только своим глазам, когда увижу в газете.

В-третьих, Тихоновы позвонили, что у них будет Маршак. Поехала к ним. Пела. Маршаку страшно понравились мои английские. После Николай Семенович сказал, что Маршак был так расстроган, что чуть не плакал.

Маршак сказал мне самой, что я пою лучше Доливы, более подлинно, и сами песни настоящие, и я пою их так, что переносу в ту эпоху, и английские пою именно «балладно». Я довольна и весела, как котенок у печки. Мне нечем заплатить хозяйке, и завтра я буду сидеть на хлебе и воде — и вообще, что же дальше? Откуда деньги? Но все это абсолютно пустяки по сравнению с этим днем. Сейчас пойду продам свои нарядные туфельки.

28 апреля

Канин. Ромео и Джульетта. Прогулка по Ленинграду. Разговор у меня в комнате — все было хорошо.

Уланова и Сергеев на таком высоком уровне! Музыка Прокофьева живет только с ними. Когда их нет — нет и музыки, нет и декорации Вильямса, кстати, в последнем акте очень безвкусной. Но в целом этот балет — один из лучших театральных действий за всю мою жизнь.

А сами Ромео и Джульетта — какие они счастливицы! Взаимно любить с первого же взгляда. О, какое это счастье!

Я получила сегодня сто семьдесят семь рублей тридцать пять копеек за театр! Заплатила сто рублей хозяйке. На остальные пока ем сразу по три яйца. Это устроил Янковский.

Голос звучит хорошо! Даже верхнее си-бемоль. Пока в Москву не еду. Канин советует переменить фамилию на «Лещинскую», но мне что-то противно и даже стыдно! Но и стыдно, когда меня путают с Лещенко. Я помню, в Лондоне он пел: «Ты едешь бледная и очень пьяная», и от этой песни тошнило. Я не могу уехать, — ведь тут же будут белые ночи, и Н. Тихонов обещал, что будет ходить со мной по ночам по всем мостам и каналам.

«Нищую» Алябьева Зоя Лодий поет как обвинение всему человечеству. Она говорит, что очень помогает ходить, когда «делаешь» песню. В «Шали» во втором куплете — «но не пришла я» — да, она идет, цепляясь за что-то, почти падая от горя. Но «Калитка» — это духи, кружево. В «Лизе» есть припрыжка. А «Разносчик» — быт, и от человека — от, например, Василия Львовича Пушкина. Баллада «Три ворона» — от дали веков и этого далекого поля где-то в Шотландии. «Смутные тени» Дамья — туманный парижский дождь и человеческая разочарованность. А «Три мальчика» или «Легенда о св. Николае» — это вера в Бога. И так далее. «Мне не жаль» — это буржуазный вальс, а «Месяц» — мещанский вальс-душка. А вот «Они любили друг друга» — самая печальная песня... Нет, не всегда в песне есть походка. Нужно петь не «местно», а в пространстве. А этого у меня еще почти нет. Только в третьем куплете «Шарфа голубого» есть. Вообще «Шарф...», по-моему, у меня сделан чудесно. Им я довольна. Он действительно вьется!

Звонила композитору Асафьеву — как велел Гнесин. Но его жена сказала, что он две недели будет очень занят. А через две недели сказала позвонить. Хорошо. Подождем.

Анатолий Доливо приехал. Завтра иду на его концерт. Все-таки сейчас в СССР нет певцов в «мировом масштабе» — как, например, Цаплин — скульптор мирового значения. А мне бы их послушать! Но есть пианистка Мария Юдина. И есть Уланова плюс Сергеев. И есть Шостакович.

Знаю, что в Париже я бы «прошла». И очень прошла бы в Нью-Йорке. На своем месте, конечно. А тут — мне надо петь в тысячу раз лучше, чем я пою сейчас, чтобы «пройти». Главным же образом я должна петь тысячу раз лучше для самой себя. Мне хочется в смертный час погладить себя по головке и сказать: «Татьяна, ты неплохо пела, в этом было «высокое качество». А пока что я пою «пустяково».

Может, оттого, что я отвыкла есть, — мне плохо, когда я ем как следует. То есть обедаю с супом и прочая.

Погрузившись в песню, я почти не думаю о том страшном, что происходит в мире, и о том страшном и мне непонятном, что происходит у нас в стране. Боюсь думать об этом.

И мне тошно на душе и ужасно жаль, ужасно жаль Ольгу Александровну — у нее опухоль. И Минин высох от горя и жалости

к ней. Бедняга. Я и не знала, что он может быть таким добрым, таким трогательно-заботливым... И когда я подумаю, что бедная Ольга лежит одна в больнице — кругом чужие больные, и она не знает, что у нее опухоль... Ох! Несчастливая. А я-то думала, что она и не больна вовсе...

3 мая

Был концерт Анатолия. Пел он плохо. Пусто. Я много раз его слушала, всегда было хорошо. Сегодня плохо. Хотя хлопали, орали. Интересно, что даже такой артист, с таким опытом, а имеет провалы. Мне говорили, что даже у Шаляпина это бывало. Анатолий все делал хорошо, голос звучал, но не было чего-то главного. А я помню его концерт в Политехническом музее в Москве, когда он хрипел, кашлял, а пел бесподобно, как большой художник. В чем же дело? В отрешенности? Вот сегодня отрешенности не было. Думаю, что он утомлен поездкой в Среднюю Азию.

Завтра буду петь у Тихоновых — предчувствую, что плохо. Нельзя людям позволять опустошать свою душу.

А статьи-то, конечно, нет. Янковский — пошлый враль.

4 мая. Ночь

Ну вот. Пела у Тихоновых. Был Канин. Был Маршак. Говорили, что пела хорошо. По-моему, — плохо. Без «внутреннего». Голая техника... Был Гри — пригласила его Мария Константиновна, он ей очень нравится. Она выбрала его в мои няньки, велит ехать в Москву и позволить ему быть нянькой, не гнать его прочь.

Самое ужасное то, что я знаю, что этим, вчерашним у Тихоновых, вечером я кончила пение в Ленинграде. Отпела. Все.

Билась, билась, билась. И вот мыльный пузырь лопнул. Ничего нет. И статьи нет. Ни работы. **НИЧЕГО.**

5 мая. Ночь

Нет, оказывается, пела и сегодня. У меценатов за корм.

Все дело в психике, в полной свободе, в каком-то внутреннем «наплевательстве» на тех, кто слушает. Идеальное фа на пьяно. Были из своих Гри и Борис Пронин, остальные все «фармацевты». Но старушка мать прелестная. Для нее спела «Старушку», и она заплакала — крупная слеза ползла по щеке. Она подошла ко мне потом, обняла и тихо сказала: «Я никогда не забуду!» Чудесная старушечка. Была масса какого-то народу.

7 мая

Откуда у меня это презрение к людям? Вдруг! Ну пусть — «фармацевты», но они тоже люди. Нет, фармацевты не люди, это особая разновидность орангутанов, над которыми Павлов производил свои опыты, — а не диких...

Звонили с грамфабрики. Будут слушать и запишут. Хорошо. Но как хорошо жить одной, в одиночестве. Конечно, не в полном, а с людьми, которых я буду видеть, когда хочу. А спать, вставать, думать, учить песни — и кругом никого, никто не мешает. Это большое счастье. Но, как всегда, я хорохорюсь и делаю вид, что мне все нипочем.

Ольгу Александровну привезли из больницы умирать домой. Сейчас май. Я помню, в начале апреля — месяц тому назад! — я была у нее, провела с ней почти целый день и ушла с таким тяжелым, страшным чувством — сама не зная отчего. У них удивительно красивая, такая женственная комната. Подлинные шестидесятые годы прошлого века. И сама Ольга красивая. В тот день она рассказывала мне, как ей гадали: «Два человека мне предсказали, что я умру до сорока трех лет. Я в этом году должна умереть». В ней была не грусть, а хуже, страшнее — убежденность. Мне было так тяжело с ней. И вот — она в самом деле умирает. Она неделю тому назад и не подозревала об этом. Все говорила о сердце. Ей так и не сказали правды. Она сердится на доктора, что они ничего не понимают. А ее нельзя оперировать — уже поздно. Я не могу понять этого. Не может быть, чтобы ничего нельзя сделать! Бедный Минин!

8 мая

С Каниным была на пошлейшей пьесе Константина Финна «Сашка» в Театре Сергея Эрнестовича Радлова. К чести начальника Главреперткома Канина, он тут же пьесу «снял». Потом вместе пошли ко мне. И вот что он мне сказал: «Я пришел к заключению, что имя себе вы сделаете быстро. Русская старина у вас хороша, но ваш «Боевик» — это западные песни. Вчера я звонил Шостаковичу, с которым очень дружен. Я хотел бы, чтобы он аранжировал для вас две-три песни. Также я познакомлю вас с Соллертинским. Переводы вам должен сделать Тихонов, а одной-двух английских песен — Маршак. Надо и Асафьева, чтобы он сделал вам аранжировки для гитары. Если вы этих трех заинтересуете — дело сделано. И вы должны пройти через филармонию. Это сторона «внутренняя, для души». Есть еще и внешняя. Надо немедленно сделать себе туалет для сцены. Чтобы, если придется выступать, и внешне быть первым классом. Вы должны быть окружены блестящими именами и сами быть блестящей».

Завтра позвоню Маршаку, попрошу перевести «Три цыганки» и еще одну балладу. Николай Тихонов переведет «Три ворона» и тоже «Три цыганки» и обязательно песню Офелии. Обещал.

Но работы, то есть возможности петь,— нет. Минин на время выбыл. Надо обязательно изъять у него аранжировки моих песен.

Вчера Ирина Константиновна гадала мне на картах: успех! Исполнение всех желаний! Но сердечная тоска. Короли вокруг.

Не смеюсь над собой. И не смеюсь над тем, что мне так хочется поверить, что будет «исполнение желаний».

Голос плохо, не тянется, ноты стеклянные. Все невкусно. Вчера на экзамене пела З. Гроссман. Чудный голос, верхнее «си» она раздувает до фортиссимо, а потом съедает опять. Бездушна, как обрубок, но вокальная техника сама по себе волнует, пленяет! Мне бы!!!

10 мая

Поменялась кольцом с женой скульптора Будилова — Ириной Будиловой. Условились: если оно мне за неделю не принесет удачи — меняю обратно.

Этот город — как четвертое измерение. Это неестественно: белые ночи. И вообще всё. Тут как будто все время снятся сны. Он так красив, что кажется — он мираж.

У меня тоска о детях. Даже о Цаплине. И хочется «нормального». Надоел бред. Грипп мой, по-моему, лучше — 37,6.

Подвожу итоги зиме: было все — и вдруг все закрылось. И кончилось. Вот пережить это!

Ночью

Борис Пронин привел режиссера какого-то театра Николая Яковлевича Береснева — милый человек, по-настоящему знает живопись. Но ни к чему он мне.

Придется уезжать.

Борис — одуванчик. В нем совершенство божьей коровки! Но какой шарм! И рассказы его иногда потрясающе хороши. О Станиславском. «Он никогда не пил. Ел простоквашу. И был королевской породы!» Как нужно качество в людях, в искусстве! Как мне потребно оно. А все, кого я здесь знаю,— нет, это все не первое. Хотя и считаются из первых. А вот Борис — человек высокого качества, прелестнейшей душевной прелести.

Надо саму себя довести до первого, до настоящего качества... Но как? Как?! От грусти я душевно опустила. Этого никто не замечает, но я знаю.

11 мая

Я сама знаю, что у меня искушение заболеть, то есть забыться, уйти в болезнь.

Так плакать просто неприлично.

Ночью. После Тихоновых

Была у Марконстины (Марии Константиновны). Я люблю ее за обаятельность. Милая Мария Константиновна! Честное слово, при всей своей поэтической значительности Николай ей как человек в подметки не годится.

Несмотря на всю «ироничность» моей песни про Артамоныча, в ней не страх, а жуть. Жуть. В «Артамоныче» есть даже сладкий уют провинции с геранью и занавесочками: «В роще меж двумя прудами виден домик...», но к концу жутко...

13 мая

Голос звучит хорошо. *Соль* — пустяки, и *ля* беру само собой. С тех пор как профессор вокала Кича сказала: «Нет середины», середина стала хуже. По-моему, для того чтобы кончить консерваторию, надо быть бегемотом, то есть обладать толстой кожей и крепчайшими нервами. И вот я бываю там — все певицы какие-то ужасно некрасивые, толстые, «поношенные». Поют — если голос хорош — то все равно пусто, пусто! Нет «музыки» в песне. Их травмируют кто во что горазд.

14 мая

Сейчас пойду в Публичную библиотеку, хотя мне очень нездоровится. Кашляю как в бочку. Но надо собрать свой обширный репертуар.

16 мая

Завтра уезжаю. В Публичной кое-что нашла. Переписала один чудный и смешной романс, другие — печальные. К вечеру пришел Михаил Фабианович Гнесин. Он сумрачный, тихий, строгий — и вдруг сверкнет лукаво глазами, усмехнется, сделается сразу затейливым умником.

Вечером пошла к Тихоновым. Там была Надежда Павловна — поэтесса. Переведет для меня венгерские песни.

Мы с Марией Константиновной проговорили всю ночь до утра. В семь часов я пошла домой, солнце было уже довольно высоко. Я шла пешком по набережной — за мостом Лейтенанта Шмидта стояли военные корабли, как серые рыбыны. Вода как зеркало и синяя. А на небе — еще розовые, утренние облака. Это было ни на что не похоже. Я не вспоминала ни Нью-Йоркский порт, ни Испанию, ни Босфор. Впервые я ощутила чувство собственности: это была моя река, мой город, мои корабли. А там все было не моим. Но здесь я и гордилась тем, что вот мое так прекрасно! Более великолепного города я не видела, и, может, его и нет — такого. Нигде. Только один Петербург! Шла. По другую сторону Невы

спокойно глядели на мир сфинксы. Я выбрала дом, в котором я хотела бы жить: на верхнем этаже — как раз напротив сфинксов и чтобы были видны корабли через мост. Это ощущение моря, простора, дали! Через Зимнюю канавку вышла на Мойку. О, эти ступени к зеленым каналам! Эти мостики! Этот временем сглаженный и потускнелый гранит! И над городом безграничная тишина...

17 мая

Я уезжаю сегодня вечером. Билета нет, но иду доставать. Хорошо, что к концу моей петербургской эпопеи был балет «Ромео и Джульетта». Я благодарна Канину за его отношение ко мне и за «Ромео и Джульетту» и за то, что с ним между нами не было ни одной фальшивой ноты. Я уезжаю. Я пела. Я была счастлива и очень несчастна тут.

Главное — я стала артисткой!

18 мая. Москва

Возвращение. Я вижу себя в зеркале — постаревшую, тяжелую, такую печальную. Все было как сон, который мне приснился. И вот я проснулась: день серый, очень обычный, успокаивающий своей обычностью. Я даже довольна тем, что все так спокойно. Я устала, и я дома.

20 мая

У меня здесь много свободного времени. Надо бы написать еще много про Испанию... Про обитателей Польензы-Пуэрто: художника-итальянца Тито Ситтадини и прогулку с ним к маяку по краю бездны над морем — оно синело глубоко внизу... Ух! До сих пор немеют пальцы рук и ног при одном воспоминании... Про зловещего немца-уродца доктора Траутнера, про владельца кафе француза с премированной красавицей женой, про отель «Форmentor» и Ренату с ее белой собачкой... Лесбиянка-княжна Валя Гагарина, Тибби и Мик Леофф, американские коллекционеры... Посещение герцога д'Альба, визит Агаты Кристи с мужем-археологом, дружба с д'Арденном де Тизак и Диной. Горбун поэт Плаи-Бельтран; Дафнэ и Палладини. Все словно было тысячу лет назад... Альфред Пур. Честер! И Беночка!..

А за недавние русские годы: про жену скульптора Лаврова — прелестную француженку Мари... Про Верховских... Про знакомство с Тихоном Чурилыным — поэтом и его женой — женщиной удивительного благородства, горбатой Брониславой Иосифовной. Знакомство с Лилей Юрьевной и с Осипом Максимовичем Бриками и В. Катаняном, с Фонвизинными... Милое дремотное Абрамцево. И зловещие душные тучи, которые опускаются все ниже, обволаки-

вают, глушат все живое... И торчащее повсюду усатое лицо — коварное, жестокое...

Я уже написала о том, как Борис Пронин помчал Цаплина и меня к замечательнейшему человеку, великому артисту и режиссеру — Мейерхольду... Про его странную красивую жену Зинаиду Николаевну Райх... Про его дом с изумительным во всю стену паласом, на фоне которого художник Кончаловский писал его портрет. Мейерхольд и Зинаида Райх.

Мне так хотелось спеть для него «Легенду о святом Николае и воскрешении трех мальчиков», но я не посмела... Он был похож на орла. Пронзительные, яркие глаза! Он и жена его, несчастные, несчастные... Но мимо! Столько такого, о чем боюсь думать, говорить боюсь. По-моему, все мы в каком-то гипнозе ужаса. Как дьявольское наваждение. Лучше, что я ничего не понимаю.

23 мая

От грусти нет сил писать.

25 мая

Я все о себе, о песнях, а в Европе война, Гитлер совсем озверел. Меня не оставляет предчувствие страшной беды, как будто она совсем близка. Что это? Откуда это предчувствие? О чем?

Были у Татлина: Фонвизин, соседка Женя и я. Он пел с бандурой. Ах, как хорошо он поет! От его «думок» и старинных русских песен веет подлинно XVII веком! И бандура! Говорит, что сам ее сделал. Но она слишком настоящая, вот такую носили по базарам слепцы. Говорят, он с ними, со слепцами-то, в юности бродил по Украине. Этому я верю всецело. Так петь можно, только сжившись с их пением, с их великим искусством. Какая простота и в то же время затейливость. После него пела я. И сама знаю, даже если б слушатели и не подтверждали этого, что была не хуже. Есть и у меня «свое». Татлин, его невероятное лицо: белесое, пренекрасивое, зажмурит глаза, и одинокая скупая слеза тихо ползет по щеке. А звуки бандуры. Двадцать две струны. Вот это записать на пластинки! Не станет Татлина — и песни эти умрут с ним!

Дети удивительно очищают душу. На прогулки я беру с собой Алену. Ее рассказы о школе — своеобразный гиньоль. Мила, наивна, синие глазенки, очаровательная длинноноготь. И ощущение чистоты и несложности всей ее жизни. Душенька! Как я тоскую по Ване! Посылаю деньги папе с мамой за него. Им ведь трудно. Вяжу спицами кофты женам писателей за деньги — на заказ. Вере Михайловне Инбер связала красивую.

11 июня

Я прячусь от людей. Мне тяжело говорить с ними. Мне от всего тяжело. А день такой веселый, теплый. Солнышко.

Мы с Гри поехали на Сельскохозяйственную выставку. Я на часок обо всем забыла и отдохнула. Зеленое все — и даже вода. Мы сидели над прудом. Видели огромных лошадей-тяжеловозов. И чудные яблоки. И павильоны есть премилые. Гри был милый очень. Но он не очень-то «нянчится» со мной, этот тоже: всё для самого себя. Погода стоит чудесная, но у меня на сердце давящая тоска.

Была несколько раз с Аленой и с гитарой у милых Фонвизиных. У них уютно, душевно. Они любят, когда я пою, а я люблю им петь. Наталья Осиповна шармантна, очень культурна. Артур Владимирович считается с ее вкусом, спрашивает про свои акварели, а Наталья Осиповна подчас говорит ему: «Рука — не то». Или еще критику наводит. Она сама художница. У нее черные «говорящие» глаза, она маленького роста, мила очень. А он, когда пишет свои акварели, преобразается: становится строгим, собранным, глубоко серьезным — и хорошеет! Он написал уже два моих портрета, один из них подарил мне. Я повесила его на стенку.

Дмитрий одобрительно говорит: «Художник!» В его устах это высшая похвала. А я на портрете поющая. Но к своим портретам я отношусь как к чужим, о каких-то других они женщинах, не обо мне. А лучше всего сам Фонвизин, когда он мастерски орудует своей кистью. Я люблю племя художников, они мне «мои люди». Но не все — например, художник Борис Григорьев — жуткий хам и дурак. Как он кинулся на меня в Нью-Йорке. Противно вспомнить. Зато хорошо вспомнить старого изысканного русского театрального художника Анисфельда. Или Анри Дерэна в Париже!

13 июня

Ночью опять будут рвать дом напротив. Нас предупредили. Ненавижу эти взрывы под утро. Постоянная тревога! Как беспокойно, как тревожно у меня на сердце!..

22 июня

То, чего все ждали и боялись много лет, пришло: в о й н а. С Германией.

Война!..

С той минуты, как я услышала голос по радио — Молотов, конец его речи, — душевная тревога, которая не прекратится больше... Еще вчера, оказывается, мы были так счастливы. Как я гре-

шила перед жизнью, печалась, ноя. Ведь всё было такими пустяками.

Война... Сколько людей осуждены погибнуть.

23 июня

Пишу маме с папой:

«Дорогие мои, мои любимые, что сказать?! Оказывается, мы позавчера были еще так счастливы. Я даже не знаю, о чем писать. Сохраните мне Ванюшечку. Как я постараюсь сохранить Алену...»

Был Янковский. Он позавчера приехал в Москву и сразу же позвонил, узнал, что я лежу больная, и принес мне большой чудесный букет цветов: тюльпаны, розы... Целый сноп цветов. А вчера он пришел попрощаться: едет на фронт. Он показался мне даже молодым и красивым. Увижу ли я его опять?

Ира в Ленинграде... Ванюша!

Цаплин и Гри вчера в первый раз после двух лет встретились в моей комнате: дружелюбно говорили.

Прибежала соседка Евгения Александровна, и мы бросились, рыдая, друг к дружке. Слов нет.

24 июня (6 часов утра)

В 3 часа ночи голос по радио: «Внимание. Воздушная тревога!» — и вой сирен на улицах. Я вскочила, разбудила Цаплина, домработницу бабу Женю и Алену. Она, сонная, ничего не понимая, еле двигалась. Женя — соседка Евгения Александровна Стрелкова, художница, постучалась в дверь — через минуту Алена, я и Женька мчались вниз в бомбоубежище. Дмитрий с домработницей пришли через несколько минут. Там чисто, светло и ощущение спокойствия — впервые за все эти дни ожидания, — очевидно, самое мучительное из чувств прекратилось. Ждать было больше нечего. Оно наступило.

За шумом вентилятора ничего не было слышно. Ни одного панического лица. Все бледные, серьезные. Но дети болтают, смеются. Алена сразу сегодня выросла. Она успокаивала меня, ласкала. Дмитрий был неизменно сам собой — в берете, в накидке. Спокойный. Мы просидели там час двадцать минут. И вот в эти дни есть радость: возвращение домой, в неразрушенные дома. Когда по радио объявили, что война, первое, что сказал Дмитрий: «Что будет с моими скульптурами?!» — и кинулся в свою мастерскую у Красной площади...

А тут впереди не только бомбы, но, наверное, и химическая война. Человечество — как оголтелые, свирепые обезьяны с острыми бритвами, как говорил мне когда-то в Нью-Йорке доктор Ботезат. Гибнут народы, культуры. Гитлер олицетворяет злобную ненависть.

Недаром я всегда, еще много лет назад, чувствовала отвращение к его гнусной роже, ко всей его сути.

С Георгием Александровичем, профессором Де Ботезатом, я познакомилась в Нью-Йорке — он знал Бена и пришел к нам, узнав, что Бен привез из России русскую жену. Ему было около шестидесяти лет. Культурнейший, умнейший человек, знаток авиации, работавший в этой области в Петербурге. Он в восемнадцатом году был приглашен американцами в США, чтобы построить им галикаптер. Он был в ужасе от революции, принадлежал к молдавскому богатейшему дворянству и с удовольствием уехал. Но тоска по Родине, по Петербургу грызла его весьма неотступно. Он стал часто бывать у нас с Беном, любил пригласить меня позавтракать с ним в каком-нибудь из самых изысканных ресторанов в Нью-Йорке. Именно позавтракать днем, не осмеливаясь предложить мне отобедать с ним, ибо это было бы уже вечером. Умный и тактичный человек. Был специалистом по турбинам. Галикаптер он американцам построил и читал лекции американским летчикам. Английским он владел в совершенстве, по-французски говорил, как парижанин. Когда я стала в 1931 году жить в Париже, он посылал мне из Нью-Йорка книги, такие, как два тома Джулиана Хексли, или «Историю науки» Уэллса и т. д. Хороший человек и преданный друг.

7 июля

Село Козловка, Рязанской области

До сих пор всё как сон. Алену эвакуировали со школой. Куда — нам не сказали, ибо увозили и детей «высоких особ». Прощаясь с ней, я как бы прощалась навеки. Домой я шла, ничего не видя, и мне казалось, что я не шагаю, а ползу на карачках, — так было больно расставаться с ней. Через день я помчалась к ней, чудом узнав, где она. У меня была одна мысль: увидеть ее, быть около нее, а там будь что будет. Я уехала с тридцатью рублями в кармане. Вылезла на станции на рассвете 3 июля и стала ждать подводы в Козловку. Кругом ждали еще люди, какие-то дети, все сонные, вялые. В 6 часов вдруг голос по радио: «Сестры, братья!» — голос Сталина я сразу узнала. Все встрепенились, сгрудились вокруг репродуктора. Голос срывался, чувствовалось, что он страшно волнуется.

Пока что меня оставили работать при Алениной школе — за это питаюсь. Что дальше — не знаю. Она хорошо выглядит, веселая. Что она в восемь лет понимает?! Но о папе заплакала. У меня тоска о Ване, о Гри, о Дмитрие! От них еще ни слова. Война терзает людей, если не бомбами, то муками душевными. Природа кругом прекрасна. Леса, поля, пруд. Я делаю веселое, спокойное лицо — ведь я на детях. Гитара со мной. Вчера я по просьбе детей пела, но разрыдалась. Нет, нельзя петь! Бедные дети, родители

отправили их со школой, спасая их от налетов в Москве. Я вожусь с ними, как насадка, и занята ежеминутно. Здесь настоящая деревня, тихо, куры бродят, сонный пруд.

14 июля

Я работаю. Устаю. Не до песен, забыла о них. Последняя ночь дома, в Москве, для меня была счастливая. Я сидела в нашей очаровательной кухоньке и пила кофе и читала стихи Михаила Кузмина. Они мне нравятся именно за то, что так оторваны от нашей действительности. И знала в глубине души, что все это в последний раз.

Непрестанно думаю о Ванюше и стариках.

20 июля. 5 часов утра

Гри приехал сюда. Седые волосы развевались по ветру, рубашка на груди распахнута, руки в карманах — бродяга. Он пробыл здесь два дня для того, чтобы видеть меня по одному часу в день, то есть вечером, после того как дети легли. Вчера мы попрощались. И вот я не сплю всю ночь. Сейчас 5 часов утра, рассвело, я вышла на террасу — о, это блаженство одиночества, которого я абсолютно лишена, даже когда сплю, ибо в комнате нас спит шестнадцать человек. Работаю по пятнадцать часов в сутки. И все на людях, на детях.

Алена стала худенькая, как палочка. То, что она здесь, мое сокровище, моя любимая, — оправдание всего здесь.

Мы победим, это я знаю, предчувствую. Но долго... и сколько смертей...

Это было очень давно, но я и сегодня так ясно вижу, как Юра уходит вниз по дороге. Идет на смерть. И вот теперь...

25 июля

Под моим началом восемь ребятешек. Я читаю с ними, гуляю, стираю, убираю, а главное — рассказываю им сказки, чем держу их в руках. Леса тут прекрасные, много земляники, поля, всё поля кругом, пшеница в этом году уродилась выше человеческого роста. Урожай небывалый. Москву бомбят ежедневно.

30 июля

Отец зовет к себе в Орджоникидзе. Жду вестей от Гри. Дмитрий написал, что мастерская чудом уцелела при последней бомбежке. «Будет счастливая случайность, если увидимся!» Я последние два дня не думаю. Полная апатия... Нужно ехать к отцу, к Ванюше, но боюсь пути... Как брать с собой Алену? Ростов бомбят. Вокзалы завалены людьми, все мечутся в разные стороны. И как

добраться до моих? Аллочка ходит с нами работать в поле. Но глазки ее болят. Маленькая пичуженька моя. По-моему, Гри ждать бесполезно,— он за нами не приедет. Нужно самой что-то решать. Немцы наступают. Дала себе отдых от мыслей на день. Очень я устала. С 22 июня я ведь ни разу не спала так, по-настоящему. Хочется спать. Заснуть бы и проснуться, когда война будет кончена. О господи, мы песок, который крутит страшный самум. Пусть Судьба ведет меня. Я ничего не знаю...

Для того чтобы ни ребята, ни взрослые нашей школы не могли прочитать, буду писать по-английски. «На войне как на войне» — эта старая поговорка звучит и сейчас. Вся жизнь всех подчинена войне. Дальше пишу по-английски.

Перевод с английского:

Директор нашей группы школьников (школа 175-я), при которой состоят еще три воспитательницы и я,— учительница математики Елизавета Михайловна. Пожилая, с грубым, властным некрасивым лицом. Она истеричка и неспокойна все время. Дергает детей нелепыми приказаниями, невыполнимыми и подрывающими общую, вполне приличную, дисциплину. Со мной говорит лишь отрывистыми междометиями, непрестанно давая мне понять, что я полностью от нее завишу, то есть что она может «изгнать» меня обратно в Москву. А я сейчас не могу без Алены,— я сойду с ума от тревоги за нее, это то же самое, как вырвать из меня ногу или руку. За то, чтобы меня держали при школе, я работаю без усталости и смотрю за детьми в оба глаза. Мне дали самых маленьких, по-моему, они чудесные, хотя Елизаветиша и считает их «трудновоспитуемыми», как она меня предупредила. Единственное трудное — это то, что здесь три пруда, и моих питомцев тянет плавать в дырявой бочке! Я должна углядеть за ними, что я и делаю, пока успешно; я мою и чищу их — мальчишки, даже десятилетние, почему-то всегда грязнули,— занимаюсь русским языком и даже задачками (слава Богу, восьмилетний Миша Тенин хорошо считает и намного опережает меня с ответом!), а главное мое орудие — сказки, конечно, мною самой придуманные. Я, как Змей Горыныч, гипнотизирую их сказками, чтобы мои кролики под вечер не удрали на пруд.

Елизаветишу все школьники ненавидят, и мне лицемерно приходится говорить: «Нет, она хорошая». Она, конечно, страшная. У этой мужеподобной дамы низкий, почти мужской голос и три некрасивых жестких волоска торчат сбоку над верхней губой. Всегда мрачно-сердитая, «бдительная» и посему заранее подозревающая всех школьников во всевозможных «вредных выходках» (ее выражение); она своей суетливо-резкой властью наносит несправедливые обиды даже самым маленьким и тихим. Но с двумя-тремя детьми услужлива до подхалимства. Я спросила случайно их фамилии — лицо ее просияло, и она назвала фамилию довольно крупного «начальства». В Алениной 175-й школе учатся Светлана Сталина, Светлана Молотова, девочки Пешковы и многие «знатные». Елизаветиша была бы смешна, если б не была олицетворе-

нием хамства. Меня она, по-моему, ненавидит. Но сказала на днях с удивлением: «Вы прирожденный педагог», узнав, что Юра Н. перестал дразнить малышей и таскать у них из карманов разную мелочь. А я просто-напросто сказала ему как-то: «Юрочка, если это повторится, я не расскажу, что было дальше с мальчиком Пабло» (очередная сказка). Как ни удивительно, но на него это подействовало. Теперь он мой самый ревностный помощник по части прополки овощей и мытья ног всех малышей поголовно. Очень славный мальчик. Оказывается, в школе его считали воришкой. Пока что он ничего ни у кого не стащил, со мной он трогательно доверчив, делает все, что ни попрошу!

У Алены двое закадычных друзей: Миша Тенин и Наташечка. Я страстно хочу ехать с Аленой в Орджоникидзе. Но как? Гри пишет длинные письма и даже прислал денег. Фронт все ближе...

12 августа

Жизнь моя здесь ненормальна и тяжка, как жизнь всех во время войны. Я ненавижу эту гнусную кровавую нелепость — войну. А кругом тихие поля, где созрел хлеб и такая красивая капуста, — и леса, леса... Мы живем в одном из колхозов Рязанской области — «Козловка». Это небольшая деревня с хорошими избами, окруженными большими яблоневыми садами, но яблони стоят мертвые, почерневшие. «Мороз их побил в тридцать девятом году», — сказали мне. Колхозники прекрасно к нам относятся, и нас кормит правление, а школьники хорошо трудятся в поле и на огородах и действительно здорово выручили колхоз, ибо почти все мужчины уже ушли в армию.

Иногда к моей группе присоединяются и деревенские ребята, что я всегда приветствую — наперекор приказу Елизаветицы: «Не подпускать чужих (!) Заразу могут занести!» (Она рывкает, а не говорит.) Председателю правления она ежевечерне заказывает, какие продукты нужны на завтра для питания наших школьников. Говорит с ним гордо, пренебрежительно, отчеканивая: «Завтра Я (!!!) буду есть столько-то кило картофеля, яиц, молока и прочая». Я ушам своим не поверила, но, оказывается, «Я» она говорит, подразумевая всю группу! Впервые в жизни она, очевидно, почувствовала себя «начальством» и упивается возможностью «приказывать». Председатель колхоза молча слушает и иногда хитро блеснет глазом в мою сторону. Кажется, мы с ним понимаем друг друга.

Нас предупредили, что завтра взорвут старую церковь в центре деревни. Приказано взорвать все церкви — с какой-то деревенской колокольни в этой округе сигналили ночью немецкому летчику. Бедная старая церковь, как мирно она дождала до своего срока...

Мы работаем днем в поле, собственно, «мы» — это я и несколько старших, а маленькие просто радостно и деловито возятся вокруг нас. О, если бы среди них был мой Ванечка! Но какая красота

кругом, глубоко русская и глубоко мирная. А фашисты рвутся все ближе. Газеты и почту привозят раз в три-четыре дня. Кое-кого из детей родители увезли «в эвакуацию». Странное, новое слово.

Неужели возможно такое невероятное счастье — уцелеть и увидеть мир опять?! И чтобы дети, и Гри, и Дмитрий, и еще, и еще — чтобы мы все дожили. И дожили не искалеченные и еще не старые?!

Ира в Ленинграде с детьми. Пишет мне спокойные, бодрые письма.

Мне сегодня вспоминался «Кильдэр» и олени, и сосны, и та тишина. Я напишу об этом когда-нибудь. Это было так далеко — на границе Канады.

17 августа

Фронт ближе с каждым часом. От отца отчаянные письма, чтобы скорее ехала к ним. Я рвусь отсюда, именно рвусь. Видеть, как немцы надвигаются, — и сидеть на месте! Ведь Алена! Ее жизнь! А Гри приказал ждать его. Я жду. Жду! Сегодня я дежурю, впервые одна за все эти дни и ночи. Я устроила себе «легкий отдых и радости». Читаю стихи Кузмина, курю папиросы, а не окурки, набитые махоркой, и ни о чем не думаю. Почти все уже уехали — и взрослые и дети. Я жду приезда Гри. А у меня чешутся ноги, руки, мозг — уехать! Уехала Майя Бамдас, шестнадцатилетняя умница, единственная мне близкая среди окружающих. Женщины надоели невыносимо. Но детей я полюбила от души и вожусь с ними порой с огромным удовольствием. Это отдых всей душе — их мир. Смешные ужасно.

Есть Саша Левин — семи лет, ученый, уже немножко «Кунин»: глубокомысленные разговоры, любит быть один, серьезен и рассеянно-задумчив. Сегодня заревел: ему хотелось пойти в «большой лес», а мы пошли в «маленький». Любимое занятие — драка! Обожает мои сказки. Выражение его лица в трогательных или страшных местах! А Валя Ребарбар — крохотуля с личиком чертенка, забавнейшая и оригинальная рожица. Забияка — бегают «как птичка», то есть машет руками как «крылышками». Всё знает — и отчего Дантес убил Пушкина, и кто был Колумб. Мой рассказ о Бое Быков буквально приковал его к месту. Безумно любит страшное и сам выдумывает и рассказывает сказки, обязательно с «закавыкой». С большими (четырнадцати- и пятнадцатилетними) мальчиками он абсолютно на равной ноге. Одно время дружил с Аленой, вчера жестоко подрался с ней. Голос самый громкий из всех. А сам крохотный, семи лет, легкий как перышко. Смеется изумительно.

А Алена с Наташей! Обе совершенно в собственном мире: тайно от всех (посвятили только меня) построили себе шалашик. Собираются таскать туда хлеб. «Там совсем можно жить!» — сияя сказала мне сегодня Алена. Наташа всегда и везде последняя — бредет задумчиво, погружена в какие-то соображения, ужасно

мила и умна. А Верочка Монозон! Абсолютная аномалия: девочка прошлого века. Буквально. Тоненькая, очаровательное личико, золотые косы. Выдумывает сказки: Элиза и принцы, принцессы, колдуньи, короли. Но это не Андерсен, а свое. Пишет стихи. Обшивает малюсенькие розовые носовые платочки кружевцем. Вся деликатность и деликатес. А моя бедная «подзащитная», семилетняя Валя Агеева, дочь портнихи, непревзойденная глупышка, но акуратница. Каждый вечер она тихонько плачет о маме, а я ее утешаю. Она вся как маленькая и милая зверушка — любит есть, хототать, спать, гулять. Глупа поразительно. Саша Левин и Валя Ребарбар просто гении рядом с ней. Мне ужасно жаль ее, я ее добросовестно утешаю по вечерам и опекаю. Очень я их всех люблю. Бедные, бедные дети... Кто будет любить их, когда я уеду? В наши страшные дни... Я стала очень старая... Через десять дней Алене исполняется десять лет. Я нашла верный тон с ней: разговаривать и внешне относиться так, как я отношусь и разговариваю с этими, не родными мне детьми, то есть спокойно, не болея душой, что она не самая умная, не самая хорошая и прочая. Каждый день мимо нашей Козловки — поток беженцев! Идут по дороге. Молча. Мрачно идут с запада, гонят скот, у них прекрасные, еще сытые кони. Тучные коровы. Куда они идут?!

20 августа

Гри нет, все нет! Станут ли только страшным воспоминанием для меня последние дни, это «завтра», о котором я думаю с ужасом? Немцы бомбят Москву, летят над нами, и по ночам мы слышим характерный гул ихних самолетов. На горизонте ночью снопы от неба до земли то багровых, то каких-то зеленоватых огней. А вчера днем сквозь нашу деревню промчался мотоциклист — красавец, блондин, в нашей военной форме, но мне он показался типичным немцем... Кто знает — может, это ихний разведчик?!

От отца вопли телеграмм с мольбой ехать к ним! Чтобы успокоить его, я телеграфировала: «Выезжаем». Чтобы его успокоить. А уже даже до станции — эти пятнадцать километров — доехать почти нельзя, нет телег. Одна мысль сверлит голову: что если Гри еще до моих писем получил мою телеграмму: «18-го выезжаю отцу» — и, решив, что я выехала, сам уехал куда-то? И не приедет. Или он уже мертв, или... Объяснить его неприезд и сегодня — чем? Ведь он же знает. Он не может не торопиться в эти часы. И так, я опоздала ехать к отцу. На Ростов ехать вообще уже поздно. Сегодня уже поздно. А завтра я вообще должна уже поставить крест на отъезде отсюда. Сердце — как зажатое в чьих-то безжалостных лапах... не вздохнуть.

21 августа

Гри все нет. В Рязани тысячи людей ждут поездов. Говорят, что нас увезут отсюда куда-то, увы, — кажется, недалеко, всего двести километров. Боже, как хочется отдохнуть! Завтра два месяца

войны. Да, «молниеносная»! Отдохнуть, и мне страшно от собственного внутреннего ужаса. Тут отношение ко всему должно стать: лотерея. Или: пан или пропал. А я как-то мечусь все время, сердце устало от непрерывной тревоги. Думаю, завтра Гри должен приехать. Я чувствую, что завтра последний срок. Дежурю ночью. Над головой пролетел немецкий самолет. Узнаем их по прерывистому звуку. А погода стоит чудесная. Осень золотая и прозрачная — самое мое любимое время. Алена говорит сегодня: «Мне через шесть дней — десять лет. А вдруг мне не будет десять лет?» Она все тоскует и плачет об отце. А вот от Дмитрия ни слова, и Гри не пишет о нем ничего в последних письмах. Хочется молиться. Хочется крикнуть: «Аминь, аминь, рассыпья!» Хочется проснуться! Освободиться от этого страшного напряжения!

24 августа

Москва. В метро ночью

Гри приехал за нами. Школу отправили дальше, но из матерей с собой никого не брали. Ночью на телеге мы поехали на станцию. Лошадь сбилась с дороги, — тьма кромешная, только время от времени что-то на горизонте сверкало так, что все поле озарялось ярким светом. Гри говорил: «Зарница». Это были немецкие ракеты, но я была счастлива: ведь он приехал! Было счастьем обнять его, ощутить его теплоту. В поле было так страшно, и дождь, и тьма, что мы вернулись в школу. На рассвете двинулись снова. Нам повезло: у шоссе нас подобрал военный грузовик — до Москвы, до дома! Цаплин зарыдал, увидев нас. Он совсем развинтился, потерял себя. Москва, любимая, родная. «Почти» все на месте, но тут всюду: война! Побежала на эвакупункт. Я думала о Барнауле. Барнаул... Туда уехала Майя Бамдас — Барнаул... Хорошее слово. На эвакупункте мне сказали, что через Ростов можно еще проехать в Орджоникидзе, но очень трудно. Весь день прошел как в бреду. А вечером мы с Аленой пошли ночевать в метро, хотя бомбежки сегодня не было. И вот мы лежим на земле в туннеле, у рельс, на подстилке. Светло от электричества, милиционеры, радио нет, но мы поймем, что бомбежка, — если будут впускать и мужчин. Тихо. Спать, спать! Самое дикое впечатление во всей моей жизни — вот эта ночь в метро. Я привезла много писем от детей в Козловке и обзвонила всех родителей. Их благодарность такая неожиданная: ведь, оказывается, дети им писали про меня...

26 августа. На рассвете

Только что вернулись с Аленой из метро. Спали там на досках, в метро «Площадь Свердлова». Говорят, тут такая глубина, что никакая фугаска не пробьет. Тревоги не было. Это шестая ночь без бомбежки. Канин здесь, обещал, что поможет Цаплину с эва-

куационными бумагами. Но с билетами очень трудно. И вот утром пришел незнакомый за письмом от своего мальчика из школы и вдруг предложил взять для нас билеты без пересадки — через Омск! И даже дать мне письмо к эстрадникам там на предмет работы. Сам он эстрадник. Предложил концерт в одной воинской части — сто рублей.

Канин говорит: «Я вам устрою концерт у писателей — «Английские песни». Не уезжайте!» Эх... Вообще работа была бы, если бы я осталась здесь... Уезжать, боже, как не хочется! Но Алену нельзя не увезти, и надо увозить и Цаплина: он совсем болен, совсем перетрусил. Я, увы, не храбрая. Я ужасно боюсь всего. Но если бы у меня был выбор, я бы осталась. Но Аленушку я не могу оставить!.. Гри остается здесь, он клянется приехать через месяц и привезти Ванюшу. Думаю, что материально нам в Барнауле будет тяжело, особенно на первых порах. Что Ира? Где Борис Пронин? Зоя, Тихоновы?!

2 сентября

В дороге

Мы едем в Барнаул. Самые любимые ноты, книги и гитара со мной. Я не писала тогда, что в Козловке над деревней ночью летали немецкие самолеты. На горизонте снопами в небе неподвижно сияли прожекторы. Взвивались ракеты. Ночью во время воздушных тревог мы будили детей, одевали их, но в случае бомбежек нам некуда было бы прятаться... По дороге шли беженцы, гнали стада. Из школы почти все дети уехали. В Козловке было страшнее, чем в Москве. Москва была вся завалена мешками с песком, разрушений видно не было, так как их мгновенно прятали за тут же выстроенными заборами. За неделю, что мы были в Москве, была в ту пору лишь одна воздушная тревога: мы с Аленой спали в ту ночь в метро, и вдруг часа в два вереницей стали входить в туннель еще люди. Просидели мы в метро до утра. Накануне отъезда у меня был Самуил Яковлевич Маршак, я дала ему кое-какие ценные английские книги, условились писать друг другу. Была Хильда Ангарова, молодчина, она остается в Москве. «В последнюю минуту пешком уйду», — говорит. Гриша Гинзбург — Григорий Романович тоже оказался молодцом — дежурит на крышах, тушит зажигательные бомбы. Я думала, он способен только великолепно играть на рояле.

Приходил и Канин — дала ему подушки и одеяло, и книги. А он мне даже записочки не дал в Комитет по делам искусств в Барнауле. Вообще он какой-то мелкий... Последнюю ночь спали дома. Был Гри, Катерина Увира и этот незнакомец, что пришел за письмом из школы, по фамилии Фишман. Тревоги не было, но я все равно всю ночь не спала. Решила: если можно, устрою там Алену и Цаплина, а сама вернусь в Москву. Пойду на фронт. Если только Москву

не сдадут!.. Немцы уже заняли пол-России. Уже! Они под Ленинградом, под Москвой. С первого дня войны в наших газетах проводится сравнение с Отечественной войной 1812 года, с Наполеоном, взявшим Москву, но потом побежденным. Я думаю, что война будет долго и что, быть может, Москву мы и сдадим. Но я абсолютно всем существом чувствую, что наши раздавят Гитлера и фашизм. Но страшной ценой...

Мы едем. Стоим на маленьких станциях часами, идут эшелоны с беженцами, с ранеными. Уже побираются беспризорные дети... С нами едут люди, у которых ничего уже не осталось; города, где они жили, превращены в развалины, близких они растеряли. Гри обещал приехать и привезти Ванюшу — я ему не верю. Нет, не верю... Как быстро грянула война, я не успела, мы не успели опомниться... А уже эшелоны с ранеными... Очень страшно смотреть на эти поезда. А погода стоит сияющая... Дивная, теплая Золотая осень...

12 сентября

Описывать наш путь не стоит. Мы наконец в Барнауле. Город — глухая дыра, огромное село, разбросанное на огромном расстоянии. У Аленушки тяжелая корь, которую она подхватила где-то в дороге. Мы живем в малюсенькой комнатушке. Цаплин ноет, стонет, каркает, что мы сдохнем с голоду... Майя не в Барнауле, а в Казани. Все чужие. И Аленушка, моя розовая пичужка, покрыта коркой сыпи и горит в сорокаградусной температуре. Мои ноты, книги и гитара со мной. Но мои песни пока не нужны никому. С вокзала в санитарных машинах везут раненых, на вокзал уходят бесконечными рядами призывники на фронт. В доме — радио: «Говорит Москва!» Ехать было страшно тяжело! Фашисты бомбили Ленинград. И Москву. Я так устала, что сплю на ходу. На сердце такая тоска, что я не могу плакать. Боже, дай, чтобы этот страшный бред — война — для всех нас кончился поскорее. Скорее! Боже, сколько несчастных людей, сколько сирот, сколько горя! Когда я увижу Ванюшу? Аленушка перестает метаться в жару, затихает, только когда я ложусь с ней рядом и она своим тельцем чувствует мое тело, любимочка моя. У меня корь была в детстве. Я вообще совсем не боюсь заразы. Никакой. И никогда. Мама в годы гражданской войны тяжело болела сыпняком. Ох, сколько народу погибло тогда, страшно вспоминать... А здесь такой мир. Глухомань. Катя Увира приедет — я сказала Цаплину, пусть пошлет телеграмму ей, у нее старики родители и дети то ли ее брата, то ли еще кого, не погибать же им в Москве от бомбежек. Цаплин не очень-то охотно согласился. Кряхтел, но послал. Тут Заславские и Леля Грозденская — милая девочка. И Левины. Буду петь в КЭБе — Концертно-эстрадное бюро. По госпиталям и клубам. Уже ходила в этот КЭБ, и меня тут же взяли на работу. Питаемся вареной картошкой с постным маслом, купили целый мешок. У хозяйки —

строгой, немолодой женщины, но, по-моему, человечной. За комнату она взяла тридцать рублей, купили у нее кислую капусту. Хлеб здесь отличный. Завтра уже у меня концерты в госпиталях. Повезут на грузовике. Мельком я видела своих «сослуживцев»: есть и певица — крепкая, здоровая блондинка, и фокусник... Препротивный уродец возглавляет наш КЭБ — у него жена — «балерина», недурна, претенциозна, ужасающе провинциальна и таскает на руках малюсенькую презлющую собачонку, которая лает густым басом. Есть еще толстая юная дива — Раисо Гафт. Голосище громчайший. Ну, да там все видно будет, как и что будет...

15 сентября

Вчера я должна была говорить по телефону с Гри, с Москвой. Разговор не состоялся: сеть испорчена. Меня взяло такое отчаяние, что я шла домой, рыдая. У меня руки опустились. После нашего пути я поняла, что такое ехать в наше время. Везти Ванюшу в этот далекий путь — невысказано. Значит, он останется там, со стариками, за тысячу верст от меня... Мы не поехали к ним, так как билеты давали до Ростова только. В Ростове тысячи людей ждали поездов. Ростов совсем у линии фронта. Мы рисковали быть отрезанными и от них и от Москвы. С Гри мы уговорились, что он один доберется до Орджоникидзе и окружным путем мне Ванюшу привезет. Но ехать... я теперь знаю, как это трудно. Уже холодно, через полтора месяца зима. Ванюша!.. Что будет там с ним?! Как проживут старики с ним? Где Ира? Еще 30 августа Ира была с детьми в Ленинграде. Сейчас Ленинград отрезан. Еще 26-го немцы на сто двадцатом километре от города разбомбили эшелон с детьми и матерями. Пятнадцать вагонов погибли от немецких самолетов. В Новосибирске на вокзале я видела на минуту Бориса Пронина. Поразительный человек: ему семьдесят лет, но он выглядит моложе и лучше, чем в Ленинграде. Он приехал с Александринкой, то есть с Пушкинским театром. Они будут в Новосибирске на зиму. От Гри еще ни слова. Но я сердцем чувю, что Ванюшу я увижу, что Ванюша будет жив. И что я его увижу. Но когда?!

Мы живем в домике с садом. У нас очень маленькая комнатка, вся заставленная нашими вещами. Цаплин ушел искать работы. А я сижу на вещах на полу и вот пишу. Хозяйка пока добрая, у нее старушка мать и шестилетний сын, с которым Алена подружилась, — у него уже была корь. Мы получили карточки на хлеб и сахар. Цаплина я прописала, как полагается. В глубине души я лелею мысль, что, как только Алена совсем выздоровеет и Цаплин устроится, сама я вернусь в Москву, а потом на фронт в эстрадную бригаду. Я Москву люблю — кровью. Уезжая, я не прощалась с ней. Но мысленно целовала ее улицы, землю, на которой она стоит. Моя дорогая, моя Москва.

Если Ванюша сюда не может приехать и Гри не приедет, я возвращаюсь в Москву. Цаплин прокормит тут Алену. Алену я вы-

везла оттуда — это было моей задачей. А сама я должна быть там. Я написала, чтобы меня взяли на фронт, отослала в Москву. Но страшно!

17 сентября

И наконец вчера был первый тихий, «счастливый» день с начала войны. Я стирала с утра. Алена почти уже здорова. Хозяйка ушла на целый день. Погода — моя самая любимая: золотая, чудесная осень. В садике расцвели роскошные георгины. Картошку выкопали. Пахнет холодом, но от солнца еще тепло. Такой мир кругом, трудно поверить, что где-то война.

На улицах много приезжего люду, в лавках еще можно купить еду.

19 сентября

Не могу сидеть без работы — сидеть, ничего не делая для победы, — хотя бы петь раненым! Учу оборонные песни, не знаю, как они у меня получаются.

22 сентября

Но тут я все же отдыхаю. Впервые за всю прошлую зиму, весну и лето. Прошлая зима была и физически и морально очень тяжелая, хотя и великолепное то было время! Потом Козловка — я, еще вся больная, работала как вол. Там отдыха не было ни на минуту. И вот наконец в этой тесной убогой комнате я могу спать сколько хочу и даже пока ем досыта. Не беда, что сплю я на чемоданах и питание состоит главным образом из картошки и черного хлеба. Что нужды, что хозяйка — мрачный тип вроде Елизаветы Михайловны — уже всячески нас ущемляет. Главное — Аленка поправилась, я могу спать, сколько мне потребно, бомбежек тут нет, Цаплин успокоился, а погода — сплошное упоение. И милые, ласковые письма от Гри. И надежда, что он приедет и привезет Ванюшу... На фронте мы все еще отступаем...

23 сентября

От отца ответа нет на телеграммы. Ира неизвестно где. Киев взяли! Бомбили мой Ленинград. Что же это? Что дальше?! Мой чудесный, прекраснейший в мире город! Мои бедные ленинградцы — и дети, дети!

28 сентября

И вот ответ Гри: «Переезд Ванюши теперь зимой рискован. Лично буду конце октября решим все вопросы не нервничай».

Выражения Цаплина:

«Это все дешево».

«Человекула» (причем Цаплин говорит, что это от Грибоедова).

Делать маникюр — «обрабатывать ногти».

1 октября

Мне тошно жить в нашем столетии: гнусном, злобном, от которого разит трупом.

В начале моей жизни — русско-японская война, потом война с немцами в 1914 году, потом революция 1917 года. И вот теперь — да, воистину такой войны история не знает. Я только вспоминаю Аттилу, который гордился тем, что «там, где ступит копыто моего коня,— трава не вырастет». Так и Гитлер.

12 октября

Читаю «Войну и мир», и душа отдыхает. Уютная война человек, а сейчас: бой танков. Четыре тысячи танков бились друг с другом. Москву и города другие, от которых уже осталось порой только название, бомбят аэропланы: сидит человек и бросает вниз бомбы, не зная, куда они попадут, что уничтожат! В первый день в Москве они попали в два детских дома и в поликлинику для рожениц...

20 октября

В Киеве — чудеснейшем по красоте и древности городе — там и сям груды развалин. Да нет, что писать. Люди будущего, пожалейте нас, живших в двадцатом столетии. На наших глазах гибли не только люди, дети, — гибло все, во имя чего люди мыслили и жили: культура, искусство, музыка. Вековые законы справедливости стали глупым, бессмысленным звуком. Пророческими стали стихи Александра Блока:

И век последний, ужасней всех,
Увидим и вы и я.
Все небо скроет гнусный грех,
На всех устах застынет смех,
Тоска небытия...

28 октября

Сегодня я послала еще две телеграммы в Орджоникидзе отцу: «Умоляю ответить». Послала срочную. И другую в Ленинград Ире, вернее, на квартиру — тому, кто в ней остался: «Умоляю сообщить адрес Ирины». Умоляю!

1 ноября

Цаплин в Барнауле стал другим человеком: поправился, не ноет больше, хозяйничает, ходит на рынок и устроился на работу в качестве художника в местной газете «Алтайская правда». А главное, уже сделал скульптуру — бюст Ленина. Барнаул для него море, в котором он как рыба в воде — в сущности, «столицы» не для него. А здесь ему все родное: и рынок, и наша мрачная хозяйственная хозяйка, и наш маленький домик, и барнаульская глушь, именно это ощущение удаления от всего «столичного», то есть всего того, в чем я купалась как рыба в воде. И ему и Алене здесь хорошо. Пока что всем нам, эвакуированным, живется здесь вполне сносно в бытовом смысле.

6 ноября

Наконец, слава Богу, от отца телеграмма: «Здоровы нужны деньги целуем».

Я была на рынке и там разговорилась с одной женщиной.

«Уехать из Москвы можно только с Северного вокзала. Остальные закрыты. По Казанской дороге на пятьдесят шестом километре немцы разбили путь. Я не поняла сначала... Мы были у границы, гостили у моего отца. Думала, что наши маневры, — на небе масса самолетов, а потом дымки — и взрывы, страшные, земля гудела!.. И тогда мы поняли».

Я говорю: «Вот судьба спасла вас». Она долго молчала. Потом говорит: «Мать была у нас. Мы не хотели оттуда уезжать. Но потом я решила забыть о себе и спасти ребенка и мать. Вот приехали сюда... Я окаменела как-то». Мы тепло попрощались. И вечером я разговорилась с каким-то юношей. Он рассказал мне, что он ушел из Киева на третий день, после того как немцы заняли город. «Переплыл Днепр, из города почти все ушли, всех эвакуировали. Наши не сдали города, пока не вывезли людей. Но сколько немцев там погибло! Раз в пять больше, чем наших. Наши дрались буквально за каждый камень, за каждую улицу. Винтовки дымились в руках. Какие у нас бойцы! Герои. Но мы перед немцами как с голыми руками... У них машины. Горы ихних трупов лежат, там и раненые и живые еще, а он по ним на танках, давит и прет, прет дальше. Своих он не жалеет... Немцы заняли город — и сейчас же приказ: повязки одного цвета у евреев, другого — у украинцев и третьего — у русских. По национальностям. Если кто не наденет повязку — под расстрел. Они сытые, гладкие, и все у них на механизме строится. Мы отступили к Харькову. Из Харькова нас — я с ремесленным училищем — через Москву привезли сюда. Под Москвой мы были в ночь с третьего на четвертое и попали под немецкие бомбы. В ту ночь был страшный воздушный налет, они метили в завод «Шарикоподшипник», но не попали... зато кругом... Пятиэтажного дома как не бывало. В щепки. Земля гудела и дрожала.

Грохот такой, что вся голова как лопается. В наш эшелон они не попали. И четвертого днем мы уехали из Москвы. Я вывез из Киева мать и сестру с ребенком».

Прощаясь с ним, я горячо трясла его руку, мне хотелось сказать ему,— да что сказать?! Да, у немцев машины. Но мы победим, я верю, я это знаю.

Я после отчаянного письма Екатерины Борисовны к Цаплину заставила его послать ей еще телеграмму, чтобы она с семьей ехала сюда. Он неохотно послал, странный человек... А мне ее и всех людей вообще так жаль сейчас...

7 ноября

В Москве парад на Красной площади. Сталин выступал по радио.

Тут уже много госпиталей для раненых, и здешние артисты дают для них концерты. И я езжу с бригадой от Концертно-эстрадного бюро. В городе все больше разного люда. Отовсюду. Есть и ленинградцы. Говорят, там продовольственные склады разбомбили еще в августе.

Но как же в Ленинграде-то? Как Ира-то с семьей?!

25 ноября

И вот сегодня ленинградская моя эпопея так живо встала передо мной, когда я вошла в отдел искусства. Висит афиша: выступают мастера искусства Ленинграда. Копелянская! Конечно, я пошла вечером на концерт и повидала ее — я была искренно рада ей, сын с нею, они все в Новосибирске. Сам Театр эстрады и Райкин и Янковский в Ташкенте. Она говорит, что и Зоя Петровна должна быть там. Обязательно напишу Зое. Но думаю, она осталась в Ленинграде с Тамарой Салтыковой. Она из Ленинграда не уедет.

Пела Отделу искусства. Под рояль. Взяли. Понравилась. Обещают композитора-аккомпаниатора. Посмотрим. Во всяком случае, я взялась за ум и стала работать в КЭБе уже вполне официально.

В час пошла репетировать. Оказывается, опять просмотр: Генкин и Риттер — художественные руководители Концертно-эстрадного бюро. Пела, Петренко аккомпанировал. 1. «Старушка». 2. «Власовская роза». 3. «Локон». «Тереза» — по-французски — хорошо. Завтра подписываю договор — пятьсот рублей в месяц. Петь здесь, в Барнауле. Ушла, не помня себя от счастья. Буду петь! Буду иметь возможность на публике отшлифовываться, репетировать песни; вообще-то о чем я мечтала в прошлом году, исполнилось (то есть начало мечты), и еще буду за это деньги получать! И не гроши, а пятьсот рублей — сейчас это большая зарплата.

5 декабря

Вчера я пела в концерте под рояль. Хлопали, но не пению, а так.

После концерта

Нас было всего трое: я, чтица Желкевич и Липатова (русские сказки) — самые «задрипанные» в нашем КЭБе. Ехали автобусом. На вокзал в агитпункт. Сидят бедные, родные по несчастью люди. Красноармейцы. Беженцы. Матери с детьми. На дворе страшный мороз.

И все-таки должна отметить, что, оказывается, наши люди умеют, когда надо, быть организованными. Вот ведь госпитали, где нам приходится работать, — прекрасно оборудованы, все как будто есть — и медперсонал и прочее, раненых, по-видимому, кормят хорошо. Вместо того чтобы разваливаться, как, очевидно, надеялись гитлеровцы, мы, наоборот, сколачиваемся всё крепче вместе!

10 декабря

Ночью после концерта

Самое главное: я пела сегодня несравненно лучше. В душе не было ощущения полной пустоты от страха перед этим стоглазым чудовищем — публикой. Концерт был открытый для всей публики — платный. Были: Мария Михайловна Волкова. Несмотря на свои по-настоящему очаровательные платица и профессионализм — все же весьма посредственная каскадная дива московской оперетты. Она жена поэта Вадима Шершеневича. Он весьма изысканный, барственный, по-французски говорит как француз. Пригласил меня в гости. Заслуженный артист республики Васильчиков — хороший конферансье, добродушный пожилой дядя из Харькова. Заслуженный артист республики Риттер — красивый молодой человек с усталыми серыми глазами, все еще надломленный бомбежками — из симферопольской драмы. Неплохая сопрано Юрсова из Пермской оперы. Красивая балерина Ильинская из Львова — очень мила и хорошо работает (училась в школе при Мариинском театре в Ленинграде). Лихачева — ксилофонистка, лихо палочками откальвает. Красивая.

Завтра я пою опять. В госпитале. С гитарой. Посмотрим. Устаю, конечно, как собака. Трудно ездить в морозы. Трудно переодеваться в жалкий вечерний «туалет» в холодных комнатах. Трудно петь под рояль под халтурный аккомпанемент с листа, без репетиций, без «ансамбля» с аккомпаниатором. Трудно петь — с мучительной тоской в душе. Но сознание, что и я участвую в общем деле, что я работаю как умею, наряду со всеми, дает мне душевную зарядку.

Мы работаем бригадой главным образом в госпиталях для раненых и медперсонала. Иной раз из госпиталя в госпиталь — и пешком, и в розвальнях, и на грузовиках. Морозы уже стоят лютые. Сердце разрывается, глядя на раненых.

12 декабря

12 декабря в «Алтайской правде» перепечатка статьи из «Правды» — первый раз за все время войны бодрая статья. Да, мы начали бить немцев. Они замерзают на наших снежных равнинах, они надеялись, что «молниеносная война» молниеносно кончится...

13 декабря

Контрнаступление наше на всем фронте. Митинги по всему городу. У всех приподнятое настроение. Был концерт у призывников. Написала песню. С аккомпанементом будет трудно. Петренко мог бы, но он сейчас валяется в пучине страсти к ксилофонистке. И вне ее — отсутствует, поет водку, черт. Талантливый человек, а совершенно ни к чему. Бригада наша дружная.

16 декабря

Сегодня неожиданный сюрприз: обо мне есть в местной газете!

19 декабря

Сегодня был концерт в госпитале. Надо сказать, что после газетной заметки — отношение ко мне ухудшилось. «Ходу» мне не дают. Например, завтра большой концерт, в котором я не участвую... Меня посылают в деревню в бригаде с фокусником, баянистом и беднягой Желкевич. Эта культурная ленинградка почему-то давно, с 1935 года, живет в Барнауле. Она замученная и грустная. Ее двадцатидвухлетний сын на фронте, она постоянно вспоминает о нем. Моя ставка в КЭБе, оказывается, самая маленькая. Ну да ладно. Черт с ними. Терпение. Конечно, я уже несравненно свободнее чувствую себя. А главное — накапливаю стаж, опыт, мастерство. О, мастерство, моя синяя птица... Сегодня были: Морской — конферансье, трепло страшное, но очень смешной (пошляк), пожилой красномордый дядя, имеющий бурный успех. Прошел огонь и воду и медные трубы. Баянист — скромный, простой, почти безграмотный человек, лихо откалывающий на своем баяне. Желкевич — серая чтица, но очень культурна и миляга. Ваня — красивый мальчишка семнадцати-восемнадцати лет, из беспризорников, тихий, скромный, такой деревенский парень, неплохой жонглер. Юрсова — сопрано, голос хороший, умело им владеет, примадонна из Прьми. Я с ней в «дружбе». Она сплетница, суеверная, по-русски красивая: полная блондинка, с милой ску-

ластой мордой, женственная, мягкая — глухая провинция восьмидесятых годов, в смысле манеры держаться на сцене и исполнения. И я — которую рекомендуют как «оригинальную певицу». Ох...

Ехали за город на санях. Мороз тридцать — сорок градусов. Я с гитарой. Теплый, уютный какой-то госпиталь. Но давит сердце. Тяжело. Пели в коридоре. Масса людей в больничных халатах. Морской шепнул мне — половина из них глухонемые (от контузий и ран). Госпиталь орденосный, тут прекрасные хирурги и врачи. Принимали нас — каждого — тепло и радушно. После концерта затащили в палату, наделили папиросами. Записочками просили баяниста сыграть, одно, другое.

Один мне сказал: «Ничего, они поправятся. Я тоже молчал и ничего не слышал. Теперь выздоровел совсем». Один раненый рассказал Морскому (а тот потом нам), что у нас теперь есть пушка — по проекту Кострикова (Герой Социалистического Труда, изобретатель), она стреляет почти бесшумно, но уничтожает все на два квадратных километра в окружности. Пушка стоит на грузовике. Ее подвозят, она стреляет один раз, и потом ее мчат дальше. Немцы прислали, то есть бросили с аэроплана, нам письмо, в котором пишут, что если мы будем стрелять из «катюши», то они пустят в ход газы. Еще появились у нас «особо тяжелые» танки, которые давят десятками танки немцев, давят окопы, орудия и разрушают целиком дома. Как страшно, как страшно, что фантазия человека вся сейчас устремлена на разрушение... Мы продолжаем наступать, Москва стала дышать свободнее, немцы отступают. Но ужас войны будет еще долго, долго... Я предчувствую, что и с Японией предстоит нам воевать. Боже, когда этот страшный бред кончится!

20 декабря

Я получила зарплату за две недели и купила полкило красной икры (обожаю, Аленка тоже), каравай белого хлеба, кусище пирога с картошкой, кило сыра, кило ливерной колбасы. Запасла десять литров керосина для керосинки. Купила два кило картошки. Алена в восторге и уже сказала, что это надо оставить «на елку» для угощения гостей. Сама делает украшения для елки. Ужасно мила: о Цаплине почти не говорит и не хочет к нему идти. «Он думает, что мы голодаем, а у нас все есть!» — сказала она. А я ответила: «Да мне даже жаль, что мы не можем его угостить и с ним поделиться». Я изо всех сил старалась не ругать его при ней. Ведь она его любит!..

Гадала на картах с условием, что поверю и больше об этом спрашивать не буду. Ответы:

1. С Ванюшей и стариками все хорошо.
2. Ира с семьей — благополучно.
3. Счастья — мирной уютной жизни — не будет и в будущем году.

21 декабря

Ну, вчера была эпопейка! Меня с Юрусовой, Морским, Желкевич, жонглером и Абашидзе (грузин, танцует лезгинку, он же — администратор; маленький, худой, типично еврейский вид, он же — кинто, пьяница, но по-восточному все-таки «джентльмен». Всех женщин величает «мадам!») послали в Алтайскую. Я взяла с собой Аленку. Ехали поездом. Там два концерта. Кончили в час ночи — деваться некуда!.. На дворе мороз сорок — пятьдесят градусов. Упросили — и нас пустили в клуб, в ледяную комнату, но с диваном. Аленка спала у меня на руках. Просидели до четырех утра — без Морского и Абашидзе, — те смылись куда-то после концерта. В четыре утра они явились — пьяные. Морской приударил за мной, но быстро понял, что я (как он выразился) — «скучная дама», переменял направление к Юрусовой, где был принят вполне «весело». В шесть часов утра мы побрели на поезд. Сели все же: народу масса! Приехали. От вокзала перли пешком домой — это три километра. Мороз лютый. Алена весела, как птица, в восторге от жонглера! Пришли домой, было девять часов утра. А на сегодня мне назначено два (два!) концерта.

Но вчерашний гала-концерт в городе, в котором мне не дали петь, оказался скандальным, и слава Богу, что я в нем не участвовала. Петренко был пьян вдрызг (он уже разлюбил ксилофонистку), и его сегодня ВЫГНАЛИ совсем. Поэтому у меня один концерт вместо двух, только под гитару. Назначить два концерта — после двух концертов в Алтайской!.. можно, только чтобы специально доконать человека. Волкова встретила меня на улице, бросилась на шею и сказала, что надо поговорить «по душам» и что Генкин погубит наш КЭБ — и... (нецензурное слово, она их любит). Отношение ко мне явно самое хамское! Черт с ними. Мне важно ПЕТЬ ХОРОШО. Алена молодчина, с ней все неожиданно очень заботливы, особенно наш мальчишка-жонглер. Он весьма ловко ловит свои шарики и ножи. Аленка помогала тащить чемоданчик, не хныкала и упивалась фокусами жонглера. Держит себя со мной, словно она — мать, а я дочка...

Завтра и послезавтра у меня «декретные дни» — отдохну. Может быть, «выгон» протрезвит Петренко, — думаю, его все же возьмут обратно, талантливый человек. Дурак! Так не беречь, так расплевывать себя!

От отца открытка от 1 декабря! Ванюшечка здоров, но «страшно вспыльчив и временами необуздан». Господи, благодарю тебя, что он жив и здоров.

23 декабря

Петренко выгнали; скоро выгонят и меня. Сегодня меня вызвали к Генкину: «Вы поедете в колхоз?» Я: «Мне не с кем оставить ребенка. Я не могу ехать!» Он: «Да, я понимаю. Но в таком случае

не пеняйте на меня. Я постараюсь до третьего подумать»... Я сказала, что ждала «мужа» из Москвы, но он получил «большое назначение в Комитет по делам искусств (моя брехня, так, на всякий случай!) и пока что не сможет приехать». «А кто он?» — задумчиво спросил Генкин. «Театровед», — ответила я уклончиво, не сумела соврать. Эх, эх... Тяжко. Цаплин даже не появляется. Ему решительно все равно, что и как Алена. Так удобнее, забот никаких. Мы могли здесь уже сдохнуть с голоду — ему что?! Боже, как мы одиноки: я и Алена. Никого!

26 декабря

Ну, я сдрейфила: упала сегодня в обморок. Дело было так: вчера я нечаянно всадила себе в палец кусок стекла. К утру палец распух, посинел. Пошла в поликлинику, и там мне стали резать палец! Невыносимо больно — в пальце остался стеклянный кусок — я боюсь, что и сегодня стекло не вышло и будут резать еще раз. И вот после-то я и упала. Очевидно, на самом деле ослабела. Сильно устала. Выбилась из последних сил. Стараюсь есть побольше, но ведь еды у нас вообще мало. А главное, ведь никого нет! Помочь мне — никто не поможет. Милейшая семья Заславских — но ведь тут не в деньгах, а в чисто физической помощи (и в душевной) — дело. У меня сил не хватает, чтобы носить воду, колоть дрова, ходить на базар, стоять в очереди, мыть пол. Страшно мне стало сегодня: что, если я свалюсь?! Я совсем одна. Конечно, все же тогда Цаплин Алену возьмет и будет кормить. Если я сдохну. Боже, но как странно, что я действительно совсем одна. Что, кроме маленькой Аленушки, около меня никого нет!

27 декабря

Алена легла, но все чего-то хныкала, а потом и вовсе расплакалась. Я села к ней. Она прижалась ко мне: «Папочка!» Я говорю: «Если ты его любишь и тоскуешь по нему, то пойдешь к нему. Обязательно. Завтра же. Так и скажи ему, что любишь и скучаешь о нем и понять не можешь, отчего он не приходит». Она не хотела сначала, плакала горько, но я долго говорила с ней, сказала, что если б она его не любила — нечего идти, а если любишь, то пойти надо и нельзя этого стыдиться и ждать, пока он сам придет. Много я ей говорила, она умная, глубокая девочка. На том и порешили, что она к нему пойдет сама. Бедная птичка. Она настолько умнее его, настолько добрее, выше, благороднее... Я ей сказала: «Если б ты пошла из-за того, что тебе сахар нужен или еще что-то, это было бы стыдно, а ты ведь пойдешь оттого, что его хочешь видеть, о нем тоскуешь. И пойдешь обязательно». Она его ужасно любит. Она говорит: «Я хочу, чтобы мы жили вместе: ты, я, папа и Ванюшечка. Это моя заветная мечта». Моя чудная, милая девочка...

Сосед наш женился через четыре дня после того, как первая

жена съехала. Эта новая — очаровательна, и голос прелестный! Музыкальна, поет как птица. Я часто зову ее к себе — и она мне поет, а я плачу... На вид ей восемнадцать (но она старше), некрасивая, но живое, умное личико, талантливая девчонка. Я хочу помочь ей, она рождена артисткой и должна ею стать. Зина. Прелестно поет. Но желает стать художницей, в чем совсем бездарна... Вот как бывает на свете! Сюда приехал Утесов с оркестром — я собиралась ее к нему повести, чтобы она ему спела, но Зина ни за что. Желает стать художницей — и только!

28 декабря

Алена была у отца. «Мама, мы как только увидели друг друга, — так разревелись. Тетя Катя говорит, что я невоспитанная и что она меня перевоспитает. Совсем как мадам Тенардье, в «Отверженных» у Виктора Гюго, а я как будто Золушка. Mamочka, сделай папу счастливым! Он стал еще несчастнее! Сделай, чтоб он был веселым добрым. Ты сумеешь. Mamочka!» И я обещала.

Написала романс — про меня и про мое сердце, — который кончается так:

И пусть на могиле нашей напишут:
«Они ничего не умели.
Но счастлив тот, кто их песни слышал, —
Они хорошо пели».

1 января 1942 года

Да, у меня не было Нового года. Совсем. С пяти часов до часу ночи я работала, то есть отпела четыре концерта в разных местах: три госпиталя и прокуратура. К четвертому «концерту» я уже устала вдребезги. Надежды все-таки поспеть домой и встретить Новый год с Аленой рухнули. Третий концерт был далеко за Барнаулом — в госпитале, в бывшем доме отдыха. Мы ехали на открытом грузовике, нас, женщин, закутали в доху — ночь была белая от луны и снега. Ехали бором, горами — красота чудесная. С нами был новый для меня человек — Ковалевский, балалаечник, первоклассный мастер.

Цаплин пришел вчера днем. Угрюмо положил на стол триста граммов сахару, банку масла, сыр, колбасу, натаскал воды. Алены не было дома. Я говорю: «Вот стихи пишу — садись, прочитаю!» Он слушал, отвернувшись от меня, и плакал... Да и я плакала...

5 января

Концерт в госпитале. 27-я школа. Хорошо. Успех. С гитарой. Писатели предложили участвовать в «живой газете».

7 января

Боюсь, что сдохну. Стала просто страшна — одни кости. Последний месяц я голодаю по-настоящему. И мучительно сверлит забота о Ванюше и о несчастных стариках. Что, как послать им, когда я заработала всего триста пятьдесят рублей за декабрь? Из моих пятисот рублей вычли вычеты и «выходные» (которых я не имела!) — всего я получила триста пятьдесят рублей. Надо что-то продать. Что?! И сегодня Генкин сказал мне, что, так как я не еду в колхоз, значит, я с 10-го уволена!..

11 января

У Аленочки скарлатина. Сегодня ее увезли в больницу. Меня будто обухом по голове. Хожу как во сне. Птичка моя! Тридцать пять дней. Тридцать пять! Она будет лежать там. Без меня. Господи! Чтобы она скорее выздоровела! Господи!

14 января

Каждый день хожу в больницу на передачу. А деньги тают. Цаплин устроил мне пропуск в столовую, очевидно, испугавшись моего вида. Ем. Мне дали бюллетень до 18-го, но за эти восемь дней «отдыха» денег я не получу. Генкин груб. Хам хамом. Он маленький сморчок, умирающий от туберкулеза. И, думаю, поэтому такой злобный. Пишет доносы, третирует меня, злобствует. Но подхалим, где нужно. Его жена балерина в кавычках, Нина Дэлли, карикатурное существо, неряшливое, крашеное, — репетирует в грязно-розовом нитяном трико плюс белые с кружевцем грязные панталончики. Ходит с собачкой — крошечное жалкое собачье подобие под кличкой Муха. Воображаю выражение прищуренных глаз Гри, если б он ее увидел. Танцует бездарно, убого. Оба они такие жалкие. И атмосфера нашего КЭБа — неприличная, какая-то неряшливо-грубая.

Генкин, оказывается, не имел права меня выгнать. Пою дальше, восстановлена. Не обращаю на него никакого внимания — и он приутих!

16 января. Ночь

Аленочка уже почти здорова. Если не будет осложнений, Боже, только бы не было осложнения. Тут хорошая детская больница, чисто, тепло, и детей кормят, говорят, неплохо.

Сегодня вышла во двор нашего дома и смотрю, на лестнице стоит, сотрясаясь от рыданий, пожилая женщина. Похоронную получила. Сын...

20 января

Аленочка ничего, пока все благополучно.

После почти двухнедельного перерыва пела в госпитале. Сначала я и Ковалевский в пяти палатах для тяжелораненых. Один вдруг заплакал. Это было страшно. И я сейчас же из задушевности в песне перешла в ироничность. Но Боже, как страшен, как уродлив лик войны. Нет, словами этого не выразить...

22 января

Дом отдыха — пять километров чудной красоты, но очень страшной дороги: пропасти, горы, узкая дорожка, на грузовике, два концерта в двух разных палатах и одна палата — для тяжелораненых. С нее начали... Я и Ковалевский. Я, войдя, скользнула глазами по лицам — одно, изуродованное, смятое, смотрело на меня одним глазом. Я сначала не могла, а потом поборола себя, смотрела на него и пела ему. Он сказал: «Вы простите, мы не будем вам аплодировать! Нечем!..» (Без рук.) Как они слушают! Но поешь и думаешь: неужели их может занимать что-либо после всех ужасов? Но чувствуешь, что да, это дает им и радость и развлечение. А мне от этого легче жить.

1 февраля

В полдень было в нашем КЭБе производственное собрание. Комиссия из Москвы, главный — какой-то Марк Петрович Лифшиц — он говорил о каждом из нас. Генкин сидел такой злобной крыской, Гафт — как все три поросенка вместе, ксилофонистка — демонической красавицей, Липатова — премилой русской бабенкой, Нина Дэлли — как ее собачонка.

Лифшиц — седой, шарм, умен, осторожен. Тактичный человек. Сказал, что ставку мне увеличат. Потом был концерт в госпитале. Пела плохо — устала беспредельно. Потом пошла разговаривать с Лифшицем, долго сидели, подружились. Ночь была белая, как будто весь мир помазали сметаной.

Цаплин был на втором просмотре, сидел мрачный. Я думала, что я ему никак не нравлюсь. Но после концерта он мне говорит: «Молодец! Растешь, братец». И вот это главное. Да, конечно, расту. И начинаю понимать, что подразумевала певица Копелянская под словом «посыл». «Вот когда у вас будет «посыл» в публику... у вас еще нет «посыла».

Вчера был разговор среди нашего брата — артистов КЭБа. Один из них сказал про Гитлера: «Это гений, он уже победил и Францию, и Польшу, и пол-России». Я сказала: «Это бешеный дурак! Ему никогда не победить нас!» Остальные хмуро молчали... Одна Юсупова вместе со мной на этого мрачного дурака набросилась. У нее сын в армии...

4 февраля

У Аленочки осложнение на ушко... Опять это ужасное ощущение обуха по голове.

Я вешу пятьдесят два кило! Как скелет... Цаплин вчера приволок дров. Морозы лютые. Написала Маршаку — ответит ли? Получит ли? Мне важно это для работы. Мне предложено зарегистрировать мою песенку «О дружбе». Комитет по делам искусства предлагает издать ее массовым тиражом. Но я не хочу. Неловко. Не так уж она хороша. Отказалась. Пела в госпитале. К раненым чувство как к своим родным, близким. Только что была у Аленушки. Все прошло незаметно...

Лифшиц пришел ко мне в гости вчера поздно, когда я уже вернулась с концерта. Трогательно принес мне молока, масла, красной икры, сахару и хлеба. Как греет такая забота. Жаль, что он уезжает.

Мы все живем сейчас превыше всего тем, что делается на фронте. По-моему, нет человека, который бы не слушал напряженно утром и вечером радио. Страшно думать о Ленинграде...

6 февраля

Была на именинах у Шершеневичей. Пила, ела, какая-то сумасшедшая вдруг «влюбилась» в меня — лесбиянка, скучно... Тоска, тоска. Оттен говорит, что «Саша», слова Дельвига, — хорошо, хотя и жаль, что не «народная». Шершеневич вдруг говорит: «Я в этом году должен умереть, так как мне исполнилось сорок девять лет, а мой отец и старший брат в этом возрасте умирали. Вот и я умру». Сам он цветущий, румяный! Зачем говорить такое?

9 февраля

Сажу дома на бюллетене. Нездоровится. Морозы! Аленка — хорошо. Ужасно грущу, наверное, оттого, что Л. уехал. Янковский в Ташкенте. Я вспоминаю его тепло.

10 февраля

Тоска. Такая, что впору повеситься. Сегодня Надежда Львовна Гродзенская сказала мне, что Лев Канторович убит. Помню его сияющее лицо на моем концерте в Доме писателей и как после концерта он примчался с букетом алых роз. Такой красивый, молодой! И его очаровательная молоденькая жена!.. Я плачу. О нем. И о других, которых я не знала. В целом мире только снег и война... Мне так жаль всех, просто сил нет, такая тоска!

13 февраля

В комнате мороз. Я очень голодна эти последние дни. Суп на воде и хлеб. Это все. Не раздеваюсь вот уже пять ночей. Но это

пустяки. Главное — мы с Горышником сегодня сидели за роялем и чуть оба не плакали: пели вместе Рахманинова, Чайковского, Метнера. Давно я не получала такого «музыкального» наслаждения, как сегодня. Я пела — он аккомпанировал.

14 февраля

Слава Богу, тиски, что сжимали мое сердце, разжались. Говорила с доктором. Алену продержат в больнице еще неделю, у нее ушко уже не болит, температура нормальная. Я видела ее в окно — розовая...

20 февраля

Это случилось внезапно. У Алены подскочила температура. 18-го ей сделали операцию — трепанация черепа... Перед операцией меня пустили к ней. Она страшно боялась, личико воспаленное, у нее было 39,7 в тот день, днем. Я солгала ей, что ушко будут только промывать. Она успокоилась. Я дала знать Цаплину, и он тоже пришел. Я держала ее за руку и гладила. «Возьми меня домой!» — просила она.

Вечером делали — под местным наркозом. Мне не позволили остаться в больнице, но я не ушла и сидела в сторожке. Не знаю, сколько часов я ждала, время остановилось. Наконец профессор Фишман приехал, прошел мимо меня туда, к ней... Операцию вместе с ней делали и мне, только мне было больней и страшней... Вчера у нее температура была 38,5. Я дома. Я думаю, что у меня воспаление легких, на дворе буран. Я одна, никого. Цаплин зашел на минуту сказать, что звонил в больницу, что его уверяют, что самочувствие хорошее. Но ее температура держится.

25 февраля

Аленушке лучше, гораздо лучше. Выздоровливает.

Сделала каталог всех своих нот. С французскими триста восемьдесят штук. А у меня всего их в Москве было две тысячи — из них почти половина приходилась на не старше 60-х годов прошлого века. С тоской убедилась, что оставила дома массу хорошего. Но каталог составила. У меня есть-таки уникамы. Например, шесть романсов Голеевского (1850-е годы), его у нас никто (ни Доливо, ни Зоя Лодий, ни Гнесин, ни т. д.) не знает. А между тем эти простые романсы полны истинной музыкальной поэтичности, глубокого чувства. Полина Виардо (дома у меня было двенадцать ее романсов) — разве не шедевр ее музыка на слова Фета «Шепот, робкое дыханье»? А ее «Шумит, бежит Гвадалквивир» гораздо лучше Даргомыжского. А талантливые Вильбоа и Дютш? А смешной и наивный, но часто обаятельный Дюбюк? Их романсы и песни

почти не исполняются. Они забыты, несмотря на то что представляют собой большой исторический интерес. Пленяет их непосредственность — они действительно написаны от души, их простота (или изысканность?). Что лучше романа Дмитриева «Они любили друг друга» было написано после него? А ведь столько больших композиторов писали музыку на эти гениальные лермонтовские слова после Дмитриева. Но он написал лучше всех. А игнатьевский «Голубок»! А титовский «Шарф голубой»?

Мои прелестные, чудные песни. Да, жизнь дарила меня таким счастьем подчас. Искать и находить эти жемчужины! Я рылась у букинистов часами. И иногда из кучи навоза с бьющимся сердцем вытаскивала жемчужное зерно. Я уже по первому взгляду знала: это то. Помню, как в прошлом году в Ленинграде в книжной лавке я нашла «Песенник» издания 1820 года с 1040 песнями! Увы, без музыки. Но тысяча сорок песен. И с примечаниями: «Голос томный, негу выражающий». Или: «Голос с восклицанием». И прочее. Этот песенник — одна из моих драгоценностей. Я таскала его за собой даже в Козловку, берегла от немецких бомб. Я приходила в Публичную библиотеку в Ленинграде с утра и уходила, когда она закрывалась. Если не все, то во всяком случае я пересмотрела у них почти все. И массу песен переписала. «Лизу» с птичками-амурами я нашла там. Но у них не было и половины того, что было у меня.

Правда, мне необычайно повезло: в мои руки совершенно случайно попала часть коллекции Григория Фабиановича Гнесина. Он собирал ее годами. Большая ее часть попала ко мне. Я после узнала, что ведь он был арестован! И исчез... На ноты я тратила все свои деньги, которых у меня было мало. Правда, мне везло, ведь ноты стоили сорок, пятьдесят, семьдесят пять копеек штука, не больше. Из Ленинграда я привозила в Москву кипы нот. Далеко не все было хорошо. Но подчас я находила жемчужины! А как очаровательно их издавали в начале прошлого века! Мои сокровища, эти чудные песни! Я собиралась завещать их музею при Большом зале Консерватории. На обложках бывали прекрасные настоящие гравюры! У меня есть и «Северная Пчела» 1832 года с портретом Пушкина, с его малоизвестным портретом! Я прямо-таки пьянела от восторга, когда откапывала такую драгоценность.

27 февраля

Первый день, когда можно сказать, что Алена действительно поправляется. И что все прошло благополучно — эта страшная операция. Она будет в больнице еще неделю. Мне нездоровится по-прежнему, но на душе несравненно легче. Знаю, что больше она не заболит ничем.

Неотступное желание: в Москву! Если начать об этом снова хлопотать сейчас, то через месяц можно будет ехать. Через месяц

Алена уже настолько поправится, что ее можно будет оставить с Цаплиным. А я хочу быть в Москве, там работать. Поехать на фронт и там петь бойцам.

28 февраля

Завтра 1 марта. И оттого что весна в воздухе и на солнце уже тает, а война! — ужасно горько на сердце. И до того хочется петь на фронте, что сил нет.

На рынке хоть шаром покати. В столовых только суп да каша.

Впервые после долгого перерыва я пела от своего первоначального принципа — музыка! А не слова. К черту выразительность слова — труха, дешевка. Музыка, то есть то, что вьется от песни, то невесомое музыкальное! А не литературщина. К черту все ювелирные отделки. Глубже, чище, именно глубже. На полной простоте. Проще!

1 марта

Городская выставка к двадцатитрехлетию Красной Армии. Замечательный бюст Героя Советского Союза Азизова — здешняя работа Цаплина. Это именно Герой. Глубина, сила, сосредоточенность. Очень хорош цаплинский новый Ленин. Молодец Цаплин. Эх, какой это талант!.. На него самого я сегодня посмотрела — похудел он, бедняга... постарел. Алена хорошо. Скоро будет дома.

Сидела над романсами Рахманинова с Горышником. Нет, Рахманинова я не люблю. Уж очень красив, эффектен, литературен, сноб. Но есть несколько замечательных: лучше всего «Сей день я помню» на слова Тютчева. Рахманинов — идеал Ржецкой. Он как в живописи Бёклин, только лучше, конечно, страстнее, ибо он русский. Мы, кажется, победим немцев. Но терпение, терпение.

Всегда — пожалуй, даже в самые страшные мои минуты — я верю, что так лучше, и верю именно в звезду над собой, она ведет меня через все к тому, чтобы изумительно петь. Помешательство какое-то. Эта вера, что все это к совершенству. И Барнаул, и болезнь Алены, эта нищета, мой голод — будто это все к лучшему?! Нелепость. Болезнь Алены и страшная операция, ее ужас и боль... Война. И вот наперекор разуму — как моя безумная любовь к жизни, эта вера моя в мою звезду!

2 марта

Опять буран. Опять КЭБ... Конечно, «Как закалялась сталь» — книга замечательная не сама по себе, но как документ о несгибаемости человеческого духа. Постепенно мы начинаем узнавать страшные подробности ленинградской блокады. Оттуда приехала сюда горсточка ленинградцев, и каждый из них — чудом уцелевший... Немцы взорвали продовольственные склады еще в конце августа сорок первого, и с того дня город был обречен на голод...

5 марта

Первый раз сегодня я увидела наконец мою Аленушку после операции. Сидела с ней долго. Она все подробно рассказывала. Выглядит хорошо, чувствуется, что температура нормальная. Хорошенькая, как куколка! Но голос хриплый, как и раньше, даже больше. Почему это? Худенькая, вытянулась, болтает как сорока. О, счастье быть с ней, держать в руках ее худые ручки...

Татьяна, а что касается твоих дел — то ты становишься настоящей эстрадной крысой, злобной, завистливой. Смотри — это отразится и на твоих песнях! Надо привести себя — свою душу — в порядок.

Я забочусь о своей душе, как будто она — отдельная. Как «Ка» у египтян.

Аленушка действует на меня как озон. При ней — вокруг меня чистый воздух. Я очень опустила последнее время, комната заброшена, то, чем я «живу», — такое мелкое, ничтожное, генкинское. Я не живу этим, конечно нет, и все же — я уделяю этому слишком много места. Пора взять себя за шиворот и встряхнуть как следует.

Сделала свою музыку на «Жди меня». Так хочется петь эти слова, что пришлось написать музыку самой. Завтра покажу аккомпаниаторше Ржецкой — и буду петь. Стихотворение написал поэт Симонов, он нашел самые нужные для всех нас слова. Все его сейчас знают из-за «Жди меня». Замечательные слова, в которые так хочется верить...

10 марта

Завтра Аленочка будет дома, наверное. Завтра придет Майя (Козловская Майя!). Вчера провела день у Липатовой, она мне рассказывала о своем детстве. У нее была бабка, читала жития святых и советские газеты. Лечила травами и рассказывала сказки. Липатова сама прекрасно рассказывает сказки. Гадала мне: проживу долго, но к концу жизни достигну всего. «Достигнете и помрете — смерть у вас будет шикарная, то есть в зените славы помрете!» В сущности, рыжая Паллада нагадала то же самое. Но Липатова еще сказала: «Но дорога трудная у вас будет, не от удачи достигнете, а от упорства». Липатова веселая, и потому она мне нравится.

13 марта

Самый счастливый день за все время в Барнауле. Алена дома, ранка за ушком заживает. Я переехала в другую комнату: побольше, теплее, с загородкой, и выходит будто две комнаты — спальня и кухня. Я мучилась, что в той Алену продует, что там холодно. В этой теплее. Она сейчас спит. А у меня такое ощущение, будто есть все: и тепло, и еда, и деньги, и будто все будет.

24 марта

Сегодня написала в Москву в Комитет по делам искусств. Прошу послать меня в бригаду, обслуживающую фронт.

26 марта

Мне никогда не было скучно... А вот теперь — скучно. Мы все надеялись, что к 1 апреля немцев погонят уже к самой границе, а они еще так близко под Москвой и у самого Ленинграда... Война будет еще долго. Еще так много страшного и отвратительного и у нас... К Ванюше я, очевидно, не выберусь. От Иры — ни слова. Знаю только, что в Ленинграде голод и люди умирают без конца... Эта безумная нелепая не ЖИЗНЬ (ибо это не жизнь), а разгулье смерти — будет тянуться сколько еще времени?!

Скучно. Скучно от бессмысленной жестокости нашей эпохи, о которой я сознательно мало пишу, боюсь писать. Еще год тому назад — концерт в ленинградском Доме писателей. Кругом интересные люди, впереди, в сущности, карьера — иной она быть не могла, ибо я была полна электричества. А здесь голодные и усталые. Отвратительная еда — всегда напихиваешься чем попало, лишь бы не сдохнуть с голоду, ужасающее неудобство быта, весь этот отдаленный глухой городишко — и война! Скучно...

1 апреля

Сегодня я рассказывала у Заславских о знаменитой шансонетке Мистэнгэт в Париже — «Голос хриплый, пропитой, но лихость невероятная — что хочу, то и делаю!». А Илья Шлепянов говорит: «Вот это и есть высший артистизм». Так-то, Татьяна-матушка, а ты вечно «корректная». У!.. Вечно держу себя за шиворот! Во всем.

3 апреля

Сегодня концерт в клубе НКВД, а я, слава Богу, простуженная и голодная. Ох, нет, так работать нельзя. Думаю, что наперекор всему буду петь хорошо. Надо.

Ночью

Горышник должен был мне аккомпанировать. Он еще приполз на концерт, но боли стали невыносимыми — вызвали «скорую помощь»: ущемленная грыжа. Его отвезли в больницу и, кажется, сегодня же ночью будут оперировать. Жаль его, беднягу. Пришлось петь под ужасающий аккомпанемент Портновой. Я испытывала странное чувство полного отсутствия, голос сам по себе что-то пел, мне долго хлопали. Народу было масса. Бедняга Горышник! Я проводила домой его мать. Хотя бы только все обошлось с ним. У него старая и страдающая за него мать. Я как могла ее утешала.

4 апреля

Да, я еще жива, хотя и кашляю лошадиным воющим кашлем. И худа, как кость.

10 апреля

Год тому назад: Ленинград, канун моего концерта в Доме писателей, дивная весна в городе, который я любила, которым я упивалась. Не мне найти слова, чтобы передать хоть намеком, как был прекрасен и величествен этот город в ту весну сорок первого года. Люди будущего, поймете ли вы, что мы переживали не только смерти близких, убитых на войне, но и смерть любимых городов. Голод, когда умираешь постепенно, а сознание угасает последним. Смерть близких, все уродство смерти. Массовая смерть... И от этого не убежать никуда, нигде не спрятаться, как бы ты сам ни был далек от фронта, как бы ты сам ни ел, как бы ни любил свою работу. В работу уходишь как в последнее убежище — хотя бы на минуту забыты! И знаешь, что это еще будет долго и что никакая сила этого ужаса — войны — не остановит. Почему это так? Кто осудил всех нас на этот ужас?! Какие пятна на солнце повергли людей в это безумие?! А сейчас наступила весна, почки набухли, и воздух пахнет счастьем и миром... И так трогательно выглядят молодые березки у нашего домишки!

12 апреля

Вадим Шершеневич серьезно болен, встретила бедную Марию Михайловну Волкову, на ней лица нет; он в больнице, у него брюшной тиф, и она подле него, ей разрешили.

После страшного бурана с воем и грохотом, когда по городскому радио велели всем школьникам сидеть дома и рано утром меня зашли предупредить, что концерты отменяются, а на улицу нельзя выходить, ибо можно заблудиться и погибнуть: «Снег занесет, а сугроб лишь к весне растает», сегодня тихий день и чувствуется весна. Она не в радость, хотя я и думаю, что эта первая зима войны была самая страшная. Дальше в тылу будет лучше, мы все «приспособимся», кто как может. Но на фронте тяжелые бои... И я предчувствую, что это еще долго. Долго.

Что с Иррой? Хотя бы слово! Я пишу ей в Ленинград, пишу — как в прорубь. Наш убогий городок словно стал еще более нищим, чем был в разгар зимы... Все худые, строгие, все работают изо всех сил. И все верят в Победу. Я ни одного человека не знаю, кто бы в этом усомнился. Но происходят дикие вещи! Вчера у водяного крана на углу, из которого мы таскаем домой воду, поймали мальчишку с немецкими листовками! По-русски написаны! Он сказал, что ему «дядя дал и велел у водяного крана разбросать». Мальчишка стала бить какая-то женщина, но его отняли и отвели в НКВД. Он

ревел белугой и твердил, что «дядю» знать не знает, и это, наверное, правда. Значит, и сюда проникают немецкие шпионы — за тысячи верст от фронта! Голодно очень, почти все отдаю Алене,— ведь ей надо питаться, и то, что она поправляется, словно питает меня. Я стала коричневого цвета — странно... Как загорелая!

Надо жить дальше. Надо держаться на ногах. А мне... Мне даже петь — не хочется. Меня тошнит от всего, что происходит в мире. Будет еще хуже. Долго... От отца было письмо. Он пишет: «Мы получили письмо от Иры от 23 февраля 42-го года. Она писала из Москвы, из дома отдыха, куда на носилках привезли ее, Бориса и Наташу с Юрочкой. Писала, что они уже немного отдохнули и окрепли. «Ни бомбежки, ни обстрелы нам были не страшны»,— пишет Ирочка. Мы с мамой считали ее и семью уже погибшими — и вдруг письмо от нее. Они едут в Куйбышев. Она просит писать туда «до востребования». Адреса твоего она не знает. Я ей уже написал».

Я телеграфировала в Куйбышев. Ответа нет.

Не могу петь. Тоска как вата на душе. Делаю вид, что все хорошо, победоносно хожу в КЭБ. Генкина нет, есть Церлюк, рыжий плотный дядя, как будто порядочный человек. Готовлю концерт «Забывшие романсы». Аккомпанирует мать Горышника — хороший музыкант. Я репетирую. Но петь трудно и не хочется! Из Ленинграда приехали цыгане по фамилии Ильинские: муж, жена и дети. Выехали оттуда 8 марта. Старики родители, сестры, племянники — умерли с голоду. Минин жив, а Борис Яковлевич Крематат умер от голода. Борис Крематат, замечательный гитарист... Мне стыдно, что я тогда ворчала — слава Богу, только тайно, про себя,— на стиль его аккомпанемента. Я сегодня плакала о нем, как о дорогом, близком друге, каким он, в сущности, мне и был. А он играл ведь для Вари Паниной, для Дулькевича. Прекрасно играл!

Эти цыгане чудом уцелели и выехали. У нее до сих пор землистое лицо. Красивая. Оба славные, простые. Для меня они «свои люди», ибо они ленинградцы и цыгане, но в КЭБе смотрят на них свысока. Кроме меня, с ними никто не разговаривает, только Ваня-жонглер, Абашидзе и я. Абашидзе ужасно смешной.

20 апреля

Поездка из Бийска в Ойрот-Туру. Через Обь на плоту. Дивная дорога вдоль бурной реки Катунь по Чуйскому тракту. И неожиданно — красивый новый городок Ойрот-Тура. Меня особенно поразила глухой сосновый бор по обе стороны Чуйского тракта и зеленая мшистая горка, на склоне которой неожиданно возник городок. Здесь хороший театр, многолюдно и есть базарчик, где торгуют ягодами, чесноком и молоком. Еды маловато и тут. Странно видеть «цивилизацию» в таких далеких и первобытных краях.

22 апреля

Вчера обухом по голове: «На посевную»! И аккомпанировать будет фокусник, он же баянист, по фамилии Зубок. В бригаде едут он, я, балерина Дэлли и чтица Ида Хейфец, а может быть, Желкевич. С людьми я со всякими умею ужиться. Мои песни под баян! Нелепейшая безвкусица. Но, конечно, во мне еще бездна дамского снобизма. Глупо, и все же мне до слез жаль, что баян, а не гитара. Алену оставлю с Цаплиным. Она снова ходит в школу.

10 мая

Вернулась из «посевной». Сыта, окрепла. Мы ели яйца, пили молоко до отвала, подружались с Желкевич. Абашидзе ежедневно дрался с танцором Матвеем. Под Рубцовском мы все промокли до нитки и т. д. В общем, я за десять дней поправилась. И купила два кило топленого масла для Алены. В деревнях живут вполне сытно. В Ойрот-Туру ехали: Гринченко, Гафт, Липатова, Дравина, я и цыгане. В общем, поездки освежают мозг и подкрепляют тело. Желкевич вот уже полгода не имеет вестей от сына.

Гафт ужасна. На сцене она выглядит толстой, коротенькой сосиской. Голос свежий, сильный, приятный, но от нее скучно и пошло. Зато Гринченко — яркий талант, поет русские частушки — премило, смешно! Сама толстая, некрасивая, в жизни вульгарна и некультурна, деляга и проныра. Но на сцене — настоящая артистка. Имеет огромный успех. В Ойрот-Туре я пела под аккомпанемент Петровской — хорошая аккомпаниаторша. В Бийске хороший большой театр, акустика прекрасная. Последнее время я от усталости перестала верить в себя, опустошилась внутренне. И мне даже как-то все равно. А лицо, как на иконах, потемневшее.

15 мая

Было общее собрание — и на оном Дравина доложила, что и в Ойрот-Туре и в Бийске меня ругали. Да, моя старушка, ты и вправду стала неважно петь... Я так устала, что даже не рассердилась... Ужасно о Ванюше мучаюсь и не знаю, как быть, как?!

17 мая

Да, петь абсолютно не хочется и не можется. Вообще пребываю как бы в летаргическом сне. Как будто все во мне спит. Еле ноги таскаю, и то только ради Алены.

20 мая

Как это ни дико и ни странно, но вчера, когда Вадим Шершеневич умер, около его жены, Марии Михайловны Волковой, не

оказалось никого, кроме меня. И я вчера спала рядом с ней, и сегодня стояла у гроба с ней вместе, и вместе мы везли гроб. Около был еще славный человек, москвич, литературовед Николай Давыдович Оттен — а остальные были уже по ту сторону черты человеческого горя. Люди боятся чужого горя. И это нормально, конечно. Но я сочувствовала и понимала ее горе женщины, любящей и любимой. Бедная... — увидеть его в гробу, слышать, как забивают гвозди и опускают в могилу...

Вадим Шершеневич был интереснее как личность, чем как поэт и переводчик. Я помнила с юности его знаменитое: «Мы коробейники счастья, кустари задушевных строк», — но познакомиться довелось здесь. Он был высокий, красивый, румяный — еще четыре месяца тому назад. Его съел быстро и неумолимо разлитый туберкулез, по ошибке сначала принятый за брюшной тиф. Оба они были сытыми и счастливыми. И друг друга любили. И вот он умер в этом глухом Барнауле, и его зарыли в песках у самого бора — этого московского бонвиана и сибарита...

Все мертвые похожи друг на друга, и всякая смерть страшна, по-моему. Похороны — это стремление человека облагородить смерть. Чтобы было какое-то равновесие и чтобы отвлечь горющего. Похоронили Шершеневича торжественно и «прилично». Хорошо, что в Барнаул приехал Камерный театр, и он был все же окружен своими. Я видела Таирова, он седой и очень милый какой-то. Он вчера сказал такую хорошую, добрую речь о Шершеневиче.

Каким блестящим театром был Камерный театр в двадцатые годы, с молодой Алисой Коонен. Теперь ее и Таирова и весь театр перекрашивают под гребенку... Как это глупо, гнусно...

Аленка мудра удивительно. Надо видеть ее с маленьким Шурikom Заславским, с которым она взялась гулять и нянчиться. «Мама, мне так неприятно, когда он описается! Какая же я нянька! Недоглядела за маленьким!» Она трогательно возится с ним, таскает его на руках, а он ее обожает. Ему около двух лет, он очень беленький, веселый, смешной — поет и любит, когда я ему пою. Зовёт меня: «Таванна». Говорит мне: «Таванна! Спой!», «Милая, спой что-нибудь!» Отец Шурика на фронте.

22 мая

Я всегда меряю людей своей меркой. Мне казалось, что жена Шершеневича — Мария Михайловна Волкова — глубоко страдает. Ничего подобного: она уже отдохнула, повеселела, гадает на картах, кокетует с неким Борей — о Господи, ну и «женщина». Да так и легче, таким легче на свете. Она уверена в том, что она душка и что все видят, что она душка. В этом я почти такая же — но только не в горе и не в любви. Она поразила меня в день похорон тем, что была весьма озабочена своим туалетом. «Как я буду выглядеть?» Мерила шляпки и заботилась о том, чтобы быть элегантной. Марию Ми-

хайловну я жалею, но уж не очень. А его она все же любила, как умела.

Я с ужасом думаю о Японии. Неужели будет война и с ней?! Господи, когда это все кончится?!

23 мая

Сейчас вернулась с концерта: участвовали все наши, кроме меня... Делаю вид, что я в отпуске. Но мне бесконечно плохо и грустно. Наши довольно приличны, кроме Гафт, которая невыносимо пошла и вульгарна. Гринченко имеет огромный успех. Я лопаюсь от зависти, но внутренне перестала жаждать успеха. Я так устала, что мне все равно.

24 мая

Вдруг приехал Гри с чемоданом денег, с сахаром, бодрый, слегка похудевший, но веселый, а главное — живой! Как снег на голову свалился. Я от души рада ему и, попив чаю вдоволь с сахаром, сразу как бы окрепла. Купила Алене целую курицу и впервые за зиму была счастлива, глядя, как она уписывает за обе щеки крепкий бульон, уплетая белую булку. Сахар я весь поставила на стол — пусть моя маленькая ест сколько хочет. Гри с Аленкой нежен, и за это я почти люблю его. Но в глубине души никогда не прощу, что он лжет мне и обещает — на ветер. На ветер обещал привезти Ванюшу сюда... Правда, не мог; верю, что это было бы невысказанно трудно, но зачем так легко обещать что угодно, любое — на ветер? Говорит, что в Москве было страшно в октябре, немцы были совсем под Москвой... Велит ехать с ним в Новосибирск, обещая устроить концерты. А Аленку велит оставить пока что у Цаплина, покуда я не устроюсь там с работой и комнатой.

11 июня

Мы отчалили от Барнаула 4-го — плыли пароходом до Новосибирска. Река невероятная — широка, как пять Волг, и вся штопором — витиеватая. Каюта наша была угловая и вся как терраса — сплошное окно, — так что в общем хорошо. Я остановилась у Полины Арго — она похудела, притихла, стала какая-то мягкая. Комната у нее хорошая, ко мне она мила и добра. Город мне нравится: столичный, весь в акациях, тополях и жасминах, народу масса, и на каждом шагу знакомые. Чувствую себя как в Париже, и Барнаул вспоминаю с содроганием. Но там Алена, и милые Заславские, и мой Цаплин, которого я всегда начинаю неестественно любить на расстоянии. В общем, здесь пока (так как все еще «накануне») — мне очень хорошо. Григорий Васильевич старается.

Позавчера Полина Арго созвала гостей, и я пела. Народ был интересный, искушенный, я нарочно начала с предельной простоты: «В одной знакомой улице». Спела около тридцати вещей. Нельзя петь так много — утомляется голос и душа. Завтра петь Соллертинскому и Голубовскому и на днях, наверное, по радио. Могу похвалить себя за «Птички» — очень в стиле. Только бы были силы. И я и Гри очень голодны. Еды здесь множество на базаре, но цены гомерические. Я снова скелет. Только бы есть побольше. Но наслаждаюсь пребыванием здесь и как во сне плыву — куда? Сама не знаю... Как будто всецело отдалась волнам судьбы, и куда эти волны меня вынесут — и не жду и не загадываю. Не тревожусь ни о себе, ни о детях. Судьба знает, как нас вести, а я все равно ничего не знаю. Я даже о войне думаю сейчас мимоходом. Голова пустая. Чувствую только то, что есть в песнях. То, что Гри приехал за мной, очень меня согрело.

Седьмая симфония Шостаковича — о том, что вопит в сердце у каждого из нас. Слушать ее без слез невозможно. Шостакович похож на задумчивого, тихого мальчика, ему тридцать шесть лет, на вид он гораздо моложе. Симфония — национально-русская, трагична, я не чувствую в ней победоносности, о которой кричат и пишут. Это ужасающая катастрофа и трагедия войны. И передано это в звуках с огромной силой. В победу нашу мы все верим без тени сомнения.

Соллертинский — как толстый белый червяк. Ему говорил обо мне с восторгом Курт Зандерлинг — прелестный человек, умник, талантливый дирижер. Иван Иванович Соллертинский с Шостаковичем, как Аяксы, вместе — пьют вдрызг и прочее. Иван Иванович — один из интереснейших людей нашего времени. Ума — палата. Знает двадцать четыре языка. Любопытен как бес, страшный сплетник. Посмотрим. От него зависит, возьмут ли меня в здешнюю филармонию. Я совершенно одинока, хотя около меня Гри. Временами мне кажется, что я где-то в пустоте, не на земле. И единственный, кто порхает вокруг, близко около меня, — это мой дорогой дружок, милый мой Борис Пронин, который здесь с Пушкинским театром. А Ванюша с Аленой — единственные, кого я люблю. Еще иногда Дмитрия Филипповича и Ирочку — сестру. И отца с матерью. А все остальное — так!..

Слушала Седьмую симфонию еще раз. В целом, по-моему, Пятая симфония — более значительное произведение Шостаковича. Но, слушая Седьмую, плачу навзрыд... Григорий повторяет без конца, что «любит до безумия», а мне тоскливо от пошлой литературщины! Если б он молчал, а не клялся, он был бы мне в тысячу раз милее и дороже. Прячу от него дневник, ибо не хочу причинять ему обиду, ведь я ему по-настоящему благодарна.

25 июля

От папы ни слова. Немцы уже за Ростовом. Меня душит внутренний вопль. Хочется заорать от ужаса и горя на весь мир! Ванюша!

28 июля

Мы сдали Ростов. То, чего я боялась, сбывается, а я бессильна! Северный Кавказ будет отрезан и занят немцами. Не будет — только если случится чудо. Ванюша останется жив, и я увижу его, я знаю это.

Все так неважно — мои песни, предстоящие концерты (Иван Иванович Соллертинский сказал мне, что включил меня в свои лектории, и Полина говорит, что это «всё», что это то, о чем не смеют мечтать певицы! — а я даже не могу обрадоваться...) — я должна иметь силы пережить и жить дальше... Но сил этих так мало. Свой обед я приносила Грише, он не знал, что я сама не обедаю... От этого я ослабела. Я голодна уже очень давно. Сейчас Гри уехал — и я буду сама съедать этот маленький обед. На рынке есть все, много всего. Но денег у меня уже нет; Гри уехал, распорядившись, чтобы мне принесли денег, а их пока не несут. Если принесут — окрепну. Вот еда — это важно. Вчера Лида Рутенберг, приехавшая недавно из Ленинграда, рассказывала мне о Ленинграде и о смерти от голода... Мы подружились, часто видимся. Она очень умна. Я стала равнодушна — и давно — к людям. Но некоторых я все же люблю — не в личном, а в чисто объективном плане. Лидия Абрамовна Рутенберг мне мила умом и культурой, вся очень цельная, законченная. Меня радует, что здесь есть она, а не только «светская» Полина Арго.

29 июля

В «певческом» плане все складывается хорошо — Софья Осиповна Давыдова здесь и сама предложила мне аккомпанировать на просмотре в филармонии. С ней можно плыть как по тихому синему морю. Оказывается, то, что Соллертинский меня включил в свои лектории как исполнительницу, имеет большое значение морального веса. Все уже об этом знают. А то, что Давыдова сама предложила аккомпанировать, — это тоже немалая гирька на этих весах. Про Зою Петровну Лодий последняя новость: ее видели в Ленинграде в июле — она в консерватории спорила с Оссинским о том, что певица Вырланд неправильно трактует Шуберта. То, что Зоя об этом может думать в вымершем и умирающем Ленинграде, значит, что она не только жива, но осталась сама собой. Зоя — эта маленькая горбунья, которая всю жизнь прожила так удобно и мягко (в материальном смысле). Зоя — которая неделями от невыносимой боли в спине лежала неподвижно, и это случалось

почти ежегодно, Зоя, которая сказала мне однажды о своем доме: «В храме должно быть тихо!» Талантливая, затейливая, хитрая, беспощадно строгая и великодушная Зоя. Она выдержала год жизни войны в Ленинграде. Это поймет только тот, кто сам был в Ленинграде в ту пору. Я вижу этот страшный Ленинград так, будто я сама прожила в нем всю зиму.

Зоя жива, конечно, только благодаря Тамаре Салтыковой. Тамара говорила, что, когда Зоя перестанет петь, Тамара перестанет играть. Тамара при мне приносила Зое подарки: изысканнейший хрустальный туалет восемнадцатого века, редчайшие ноты, старинные кружева и цветы. Тамара вела хозяйство. Тамара отвергала или одобряла учеников и людей вообще. На каждом шагу Тамара давала всем чувствовать, что Зоя — священная личность, неоспоримая Королева. Тамара оставила для Зои Петровны семью, мужа. Она дышала Зоей. Ядовитая на язык, фантазерка и чудачка, прекрасный музыкант и делец. Замечательная пианистка, тонкий аккомпаниатор. Сергей Александрович, профессор Андрианов — муж Зои, — был старше Зои на тридцать лет. Профессор истории и литературы, редактор либеральных газет до революции, когда-то был очень богат. Всего себя, свою эрудицию, все свои чувства он посвятил Зое. А Зоя умела быть другом. Она умела биться за того, в кого верила. И было в Зое такое, за что вот эти двое так незыблемо ее любили. В концертах Зоя (а я слушала ее уже на самом ее закате) пела так: первые две-три — неинтересно, потом все лучше и лучше. А во втором отделении — две-три вещи к концу — бесподобно! Нельзя лучше!

Голос у нее был порой неприятный. Доливо говорил: «Зоя воет». Пусть. Но «Шарф голубой» и «Песню Офелии» я не забуду никогда. В ее исполнении была отреченность от всего «земного» и переключение полностью в четвертое измерение — в музыку. Зоя мне говорила, бывало, с некоторой досадой: «Татьяна, вы поете от женского обаяния, а надо петь от мозга. Я всегда пою от мозга». Да, но у нее это было вместе и от ума, и от большого сердца. Зоя подчас не была доброй, но была великодушной; она делала мне иногда очень больно, но в нужные минуты была активным, настоящему преданным другом.

Я помню, как Зоя позвала режиссера Акимова слушать меня. Боже, как я робела. Как страшно было мне петь в ее огромной комнате, устланной коврами (от которых «вянул» звук моего и без того небольшого голоса), — Акимов сидел со строгим лицом. Под конец лицо подобрело. Он мне не нравился. В нем (как и в Образцове) я отчего-то чувствовала слепое, «провинциальное» преклонение перед заграницей. Я почувствовала это, когда мы с ним говорили об американском театре. Чудаки... Все подлинное прекрасно. При чем тут Америка? В общем, я тогда Акимову не очень-то понравилась, и я уверена, что он быстро позабыл мои песни, а потому и не помог ни в чем, хоть и обещал это Зое Петровне. Милая, никогда не забуду ее!

5 августа

Сейчас вернулась от театроведа Лидии Абрамовны Рутенберг. К ней пришел актер Дудников. (Борис Пронин мне рассказывал о том, как Дудников гениально играл Гамлета. Борис двенадцать раз ходил его смотреть.) Дмитрий Михайлович читал нам Гамлета — и я впервые в жизни поняла и интригу и самого человека-Гамлета. Я читала пьесу много раз и видела в Нью-Йорке — играл Джон Барримор. Все его тогда очень хвалили, а мне не понравился этот изысканный, красивый датский принц. В Лондоне я видела Джона Гилгулда. Сегодня перед нами был Гамлетом актер Дудников — благороднейший, волею судьбы вовлеченный в какую-то мышеловку событий. Замечательно! И голос. И движения. Вкус Бориса Пронина безошибочен. Он с восторгом говорил о Дудникове. Борис уехал с театром в Нарым, и я очень о нем скучаю.

Мне часто, бывало, похочется, похочется и расхочется. Но так неотступно желать этой синей птицы — петь и зарабатывать этим, как делаю я в последние годы!.. Ведь на самом-то деле это так и есть!

А немцы уже под Майкопом. Уже так близко от Орджоникидзе. И ощущение — непоправимой катастрофы — наша земля, Родина! Ванюша.

8 августа

Вечером мы были у Образцовых. Он прелестный, талантливейший, и она мила. Он рассказывал про скульптора Солнцева так смешно, что у меня внутри что-то лопнуло от смеха. У меня «надпупочная грыжа». Оказывается, и смеяться-то нельзя, когда так отощаешь. Обидно! Потом мы пели: я ему, он мне — пели до усталости, до шепота. Ушли на рассвете. Я потащила к нему композитора Сидерера и Нонну Агапову с киношником Мишей Кауфманом.

13 августа

И вот оно настало: немцы взяли Минеральные Воды, они у Беслана. Они у Орджоникидзе — уже, может быть, там. А я живу, я надеюсь. Стоят чудесные осенние дни, но так тускло, так страшно мне еще никогда не было. Ванюша! Черненький сын мой! Я ползаю. Я не хожу. Я не могу ни петь, ни есть, ни спать. Ванюша! Я даже сказать никому не могу. Я онемела.

Я изо всех сил стараюсь не думать, забиваю свои часы людьми, они при мне разговаривают о чем-то о своем. Известий от отца нет! Они, конечно, выехали. Они едут, и какой это мучительно-страшный путь... Тут есть один мальчик — он маленький и не похож на Ванюшу, но я его так люблю, и он, видимо, это чувствует. Завидев меня издали, он бежит мне навстречу, простирая ручонки, и зовет: «Тетя, вот я!»

Гостиница наша переполнена. Живут директора заводов с семьями, актеры, музыканты, инженеры и военные. Все заняты, озабоченные, но еще никогда не были они такими энергичными, такими целеустремленными.

Все — для Победы!

Завтра у меня первый концерт на открытой сцене в Новосибирске. Большой концерт в кругу знаменитостей, с афишей и прочее. Против моего имени стоит: «Английские и советские оборонные песни».

Вокруг моего выступления ажиотаж всех знакомых. Но Образцов превзошел всех: он дал мне свою гитару. Гитара его — изысканная, маленькая, красавица, звук тихий, лютня. Он пришел ко мне сам, спросил деловито, что я буду петь и как буду одета. Предложил мне сам гитару и выбрал: английскую «Три цыганки», французскую «Тереза» и «Парень с Васильевского острова» — музыка Сидерера. И на бис — «Лизу» или «В одной знакомой улице».

Критически осмотрел костюм — черное платье, довольно закрытое, — «Сойдет». Вел себя как истинный товарищ. Ольга Александровна Образцова дала роскошные пояс и клипсы. Аня Гейман принесла платье и кучу клипсов. Нонна Агапова дала тонкие целые, не рваные чулки. И обещает еще «дивное» (?) платье. Татьяна Григорьевна Сонникова — режиссер ТЮЗа — тоже вроде ангела. Дай им Бог здоровья. Я устала. Не могу заснуть. Ночь. Как хороша образцовская гитара¹. Одна (кстати, препротивная) дама при скоплении народа (и Володи Шнейцера, кинорежиссера, среди других — похожего на мрачного индейца) сказала мне: «О вашем пении так много говорят, что в самом деле придется вас завтра послушать»... Да, уж если провалюсь, то не как-нибудь, а с треском. Образцову — спасибо огромное за гитару, а главное — за отношение доброе, за дружбу.

После концерта

Спела хорошо, имела успех... Устала.

¹ В 1966 году эту гитару, купленную мною у С. В. Образцова в 1945 году, работы Ивана Ан. Батова (как установила государственная экспертиза), я подарила Эрми-тажу в Ленинграде.

27 августа

Сегодня день рождения Аленочки. А я тут одна, как собака с поджатым хвостом, голодная, несчастная. Минутами меня как будто за горло хватает страшная тоска по Ванюше. Но наряду с этим — абсолютная уверенность, что он жив и будет жив. Наперекор своей тоске знаю: он и старики живы.

И давно... я, как из другого мира, смотрю на юдольную жизнь некой Татьяны, и она — эта певичка — меня интересует как один из персонажей огромной драмы, которую нам суждено видеть на земле всего один раз. Но когда я пою — когда я уже совсем погружаюсь в песню, — для меня наступает полное забвение и счастье. В пение я вкладываю все, что пережито и передумано этой — в сущности, малозначимой — Татьяной.

Нежданно визит: Генкин! Униженно просил помочь, жалкий, гнусенький. Я сделала вид, что барнаульское все забыто. КЭБ и Генкины — вполне мною на самом деле забыты. Я и помогла ему сейчас. Но как дико то, что я не с Аленой, а здесь, одна, как собака, будто у меня нет детей, нет семьи! И что несчастного Генкина, травившего меня в Барнауле, я сейчас вызволила!

4 сентября

Пела вчера по радио «Партизанку» — хорошую, Сидерера, песню. Волновалась чуть не до обморока, но с первой же фразой пришла в себя — и, говорят, спела неплохо. На «Исколотую прусскими штыками» у меня волосы зашевелились на голове, и «Россия» была кульминацией — как я и задумала. Последние две (идиотские) строки о том, что «песнею вся жизнь ее была», тоже хорошо, а это было самым трудным, так как смысла в этом нет — это фальшивые слова. «Забвения» не было, но был полный контроль. Во-вторых, был визит актрисы Рикоми, которая думает, что я «дама» и дура, — из чего я заключаю, что сама она, увы, не умна. Она мне сказала, что ей нужны мои песни, а кроме того, — что я не эстрада, а консерватория, что я пою «русские песни с цыганским (?) пошибом». И прочая. Я была мила и наивна, благодарила за «науку» и приглашала бывать. Мы обе хитрили, но друг другу понравились. И еще: вчера был от Дрейдена человек, приглашает быть в их коллективе — Гайдаров и Гзовская и еще кто-то из актеров, три тысячи рублей в месяц и прочая. Я уже три раза репетировала с Софьей Осиповой Давыдовой, и все лучше. Я ей ужасно благодарна. Конечно, я с восторгом иду работать в бригаде с Гзовской и Гайдаровым. Я хоть немного отъежусь... Очень я голодаю...

Плачу на улицах, глядя на детей. Я не могу писать сейчас о войне, о Ванюше, ибо то, что мы переживаем в с е, — слишком ужасно... Ванюшенька!

9 сентября

Сталин сказал весной в своей речи к Первому мая, что война кончится в сорок втором году. Немцы заняли сейчас Северный Кавказ, Крым, Украину, Белоруссию. Они подошли к Сталинграду. Они у Воронежа и у Ленинграда. Сегодня у меня был Крюгер, актер Пушкинского театра, — он рассказывал о новой пьесе Корнейчука «Фронт». Вчера в Александринке была читка этой великолепной пьесы. Она напечатана в «Правде», очевидно, по специальному заданию, ибо в ней говорится об измене... неких лиц из командного состава, в ней воздается похвала немцам за умение воевать и организованность, в ней высмеивается наш советский военный корреспондент, в ней намек на перераздачу орденов — и вообще много такого, что у нас, отвыкших думать о происходящем в стране и многое даже комментировать, считалось преступным. Волосы становятся дыбом!.. Говорят, будто Турция скоро вступит в войну, немцы будто бы предлагали нам мир. Между Германией и Японией неполадки. Второй фронт не открылся оттого, что профашистская партия — в Соединенных Штатах Америки и в Англии — очень сильно «подняла голову»...

На базарах в Новосибирске, да и всюду, цены колоссальные. Деньги обесценены. Языки развязались. Антисемитизм почти откровенный. Разговоры о том, когда же кончится война, не хотим больше, — все слышнее... Какой вывод? По-моему, дело идет к заключению мира... О люди! О несчастные дикие обезьяны, режущие друг друга! И мы — женщины, жены, матери! Те, кто погиб, те, у кого убили любимых, те, кто потерял детей, те, кто пережил зиму в Ленинграде, те, кто погибли там от голода... Разрушенные города, деревни, которых будто и не было, растоптанная танками земля, скрытые с лица земли леса. Обрубки человеков — без ног и без рук — в специальных госпиталях... Ванюшечка, что с тобой? Где ты? Жив? Так что же можно в жизни любить, кроме песен? И детей — они еще не стали дикими обезьянами...

Мой туберкулез разыгрывается. Но вот на что мне действительно наплевать. Пройдет, я уверена. Читаю про Джемса Кука. О нем, между прочим, сказано так: «В 1755 году Англия объявила войну Франции. Кука взяли на военную службу. Но война мало интересовала его». Замечательный человек! Комментарии излишни.

11 сентября

Сегодня пела на радио. Завтра пою на просмотре. На радио говорят, пела так хорошо, что народ стоял на площади и аплодировал. Думаю, что «аплоднули» человека два-три, а друзья раздули в «народ на площади». Легла рано, а вот ночью встала и пишу. Душит тоска о Ванюше. Что, если самое страшное случилось — старики, мать и отец, погибли — и он один, мой маленький мальчик! И я — мать — не с ним!..

«Сейчас приходил Виктор Гейман, он режиссер нашего «Сибирского гудка» — этого радиожурнала, в котором я пою. Высокий, худой как кость, с горящими впалыми черными глазами, он работает по двадцать четыре часа в сутки, я не знаю, когда он спит. Одерженный человек. Сумасшедший. Мне он неприятен. Его жена молоденькая и прехорошенькая. Хвалил, даже восхвалял! И сулил!..

Моя драгоценная Аленочка... Я опять не еду к ней, в Барнаул, так как Гришка едет в Пермь и велит не бросать комнату: ее займут, если я уеду. Господи, как я об Аленушке соскучилась, моя доченька... Как она живет там без меня. Ох, голова лопается от мыслей...

В филармонии на просмотре пела очень хорошо. Взяли. Работаю у них и на радио. Платят. И продуктовые карточки я получила.

23 сентября

От папы письмо от 3 августа. Спокойное — «гостей не было» (то есть немцы не бомбят!..). Но ни намек на то, что они, может быть, выедут, что они поедут ко мне! Нет, об этом ни звука — следует понять, что они не уедут ни при каких обстоятельствах. Наши сообщения говорят о боях под Моздоком. Вот уже две недели под Моздоком. Это очень близко. Но я почему-то сейчас более спокойна и верю, верю!

На радио мне предложили петь с Ф. Кришем, дирижером, — под оркестр. Гейман хочет, чтобы я пела только в «Сибирском гудке».

После этой пятницы я лопну, но в Барнаул съезжу. К Аленочке, моей драгоценной.

5 октября

Гри уже вернулся. А я еще не ездила в Барнаул. Сижу здесь из-за проклятого номера, из которого меня уже выселяют. Вообще до того! Все не так!.. От отца после 20 августа — ничего. Пою, работаю, но места себе не нахожу. Ко мне в комнату часто заходят знакомые — на людях легче...

Как только начинаю форсировать голос, так он исчезает — и петь нечем. Пела у Лидии Абрамовны ее Дудникову. У нее тепло, умно и уютно. А он наполняет воздух вокруг себя жизнью. Очень талантлив. Угрюм. Зол. Несчастен. Сегодня он встретил на улице Григория Васильевича и пел мне дифирамбы.

Шир во время чумы. Но я вся посыпалась пеплом. Внутри и снаружи. Как будто мне отдавили ноги, но я еще ползу. И мне вспомнилось сегодня мое заклинание «идти по остриям острейших ножей» — да, острее и больнее не выдумаешь.

19 октября

Сегодня день рождения Ванюши... И мой.

«Знаменательный» (в кавычках) день: мне стукнуло (хорошее слово — именно стукнуло!) столько-то лет... И вот я решила

вновь возродиться из пепла. Последние месяцы я не жила — я ползла по жизни, как собака с отдавленными ногами. Война, Ванюша, Аленушка, голод. Но нет, нет! Я не хочу умирать от тоски и тошноты и горя — за всех и за себя. Я должна, я хочу жить! Вгрызаться, вцепиться ногтями в кусок жизни, мне отмеренной, наперекор войне, горю, ужасам — всему, что происходит. Отказываюсь верить в реальность зла и ненависти. Ведь добро и любовь реальны тоже — и я с ними!

30 октября

Когда Аленушка услышала в Барнауле мой голос в дверях — она закричала и зарыдала: «Мама, мама!» Она сплошной комок нервов. Четыре месяца она не купалась. Постелька грязная. Кругом грязь и неустройство первобытное. Холод. Но питает ее Цаплин неплохо. Сам он вконец измученный, желтый, грязный, но быт его ему по плечу. «Мне спокойно. Я никогда не был так спокоен», — говорит он. Он вернулся к своему прежнему первобытному образу жизни, к своему уровню. У Аленушки нет даже уголка, где она могла бы готовить уроки. Она одичала, огрубела. Как она умоляла увезти ее! Но, возвращаясь обратно сюда, я даже не была уверена в том, что застану мой номер в гостинице незанятым. К счастью, номер не занят, он мой, но ведь до десятого ноября только. А в Барнауле жить мне негде. Я теперь бесконечно жалею, что с самого начала не взяла ее с собою. Моя девочка, я сделаю все, чтобы взять ее сюда, я ей нужна.

12 декабря

Я привезла сюда мою Алену. У нее сразу же появились друзья — дети живущих в нашей «Центральной» гостинице актеров, директоров заводов, летчиков и т. д. Алена чистенькая, прелестная, а главное — счастливая.

22 декабря

Последнее время, кроме газет, я ничего не читала. Изредка заходила в библиотеку посмотреть их каталог. Среди английских книг увидела «Женщину в белом» и решила прочитать. Три ночи я оторваться от книги не могла. Увлекательнейший роман! Любовь, смерть, преступление. И талантливо представлены действующие лица. Уилки Коллинз был другом, порой соратником Диккенса, которого я так люблю. В детстве нам бабушка вслух читала «Дэвида Копперфилда», «Крошку Доррит», «Пиквикский клуб» и т. д. Книжки были большие, в два столбца на одной странице, с великолепными иллюстрациями, некоторые из них я как сейчас помню. Мы обожали эти вечерние чтения перед сном, а нам было по шесть-семь лет. У бабушки в Кисловодске, когда папа с мамой

осенью уезжали за границу на зимние месяцы. Дико подумать, как легка и удобна была тогда жизнь. И какой блистательный был тогда Кисловодск... Но мимо, мимо. Не до воспоминаний идиллических мне. Но книгу эту — «Женщину в белом» — я когда-нибудь переведу на русский.

1 января 1943 года

Ванюша, отец и мать остались живы и здоровы. Немцев разбили «на подступах к городу». От отца — бодрые, спокойные письма. Они уцелели. За это я благодарю Жизнь. Дышать легче! Легче!

1 февраля

Все верят в победу. Дышать легче!

Новосибирск — большой город на Оби, но река довольно далека от центра. Тут огромный театр по образцу театра Палладио Вичченце в Италии. Даже дико, но у нас многое так... Здесь сейчас ленинградские: Александринка, то есть Пушкинский театр, филармония и ТЮЗ под режиссурой Зона. Прекрасные актеры, певцы, солисты, весь оркестр Ленинградской филармонии с дирижерами Мравинским и Зандерлингом. Но все мы ходим смотреть Минский еврейский театр, хоть и знать не знаем еврейского языка. Благодаря великолепной игре актеров все понятно. Дудников сказал, что у Треппеля и прочих следует учиться актерскому мастерству; думаю, что ходим мы просто для радости, какое уж там «учение»! Когда в «Колдунье» Треппель выходит на авансцену, одетый старухой, в темной кофте и юбке, и шепотом поет шансонетку — просто дрожь по телу от восторга! Аленка дружит с его дочкой Лилечкой, и девчушки вместе нянчат его крошечного Вовку Треппеля — братишку Лилечки. Все дети нашей «Центральной» гостиницы собираются у меня в номере — я рассказываю им сказки и даю жидкий горячий кофе, которого много в городе, так как очень мало кто его пьет. Вокруг меня много интересного народу, я пою опять от всей души! Голос льется, но, в сущности, я одинока, как араб в пустыне... Но когда Аленка с Лилечкой поют дуэтом «Катюшу», я радуюсь так, словно и Ванюша тут с нами, и старики, и Ира, моя дорогая Ирочка с семьей! Девочки так прелестно поют, с такой чистотой, и именно «расцветали яблони и груши». Мы устраиваем даже какие-то «спектакли», когда каждый из детей придумывает сюжет. Старшему из них десять лет. С ними душа моя отдыхает.

Очень дружу с Сергеем Владимировичем Образцовым. И с Нонной Агаповой — она киношница. Мгебровы тоже тут, живется им, по-моему, лучше, чем жилось прошлой зимой в Ленинграде, более упорядоченно, благодаря продовольственным карточкам.

Кругом интересные люди. И мне жаль, что я так мало рассказываю о них. Сейчас сюда на концерты приехал Анатолий Доливо. Для меня это праздник. Он очень постарел. Поет от литературы, от слова. Но какое искусство! Пение — это страшная вещь: ни в чем так не обнажается душа человека, его внутренний мир. Актер может быть и глупым и дурным — в конце концов его прикрывает то, во что, в кого он играет. А певец поет от самого себя... И вот Анатолий поет — и чувствуется сила мысли, идеализм, страстное желание гармонии. Если б мне заказали рассказать о нем — как бы я это сделала? Постараюсь.

Портрет Анатолия Доливо

Публики в зале много. Чужие, «непосвященные» — спокойны, «доливисты» волнуются за своего Доливо. Ибо он так своеобразен и так им самим не нравился вначале, что им страшно: а вдруг все эти чужие никак его не поймут, не оценят? Сцена ярко освещается. Выходит пожилой человек, некрасивый, хромой, опираясь на палку. Он ловко кладет палку на рояль и, чуть качнувшись, застывает у рояля. За роялем молоденькая пианистка. Во все глаза смотрит она на певца и ждет, когда он кивнет ей. Все чувствуют, что певец страшно волнуется. Слегка откашлявшись, он берет стакан с чаем, который стоит на крышке рояля, и отпивает глоток. Потирает руки. И подавленным манерным голосом говорит: «Музыка Верстовского, слова Пушкина, «Черная шаль». Непосвященные с любопытством, настороженно ждут. Им уже не нравится этот манерный голос, неестественность позы, скованность рук и волнение певца, которое ощущается всеми. У посвященных падает сердце. Спеть в наши дни «Черную шаль»! Это же безумно трудно. Но певец уже увидел эту черную шаль, он слегка приподнял руку — ему хочется отогнать ужасное, неотступное воспоминание. «Гляжу как безумный на черную шаль, и хладную душу терзает печаль» — и с первых же слов слушатели понимают глубокую серьезность того, что произошло с этой черной шалью и с тем, кто об этом им рассказывает. Уже на середине доливисты облегченно вздыхают. Доливо не подвел, он все тот же волшебник. Пусть «чужие» пока что кашляют в зале и кое-кто шепнул соседу: «Ведь голоса-то нет!» — все поймут к концу. Доливо кончил про «Черную шаль». Доливисты благодарно аплодируют, но чужие все еще чужие. И певец еще очень волнуется. Он поет «Птичку» Дюбюка — я ему подарила этот романс, — поет легко. Доливисты в восторге. Чужие уже чуть смягчились. После четвертой вещи доливисты окончательно успокаиваются и уже не аплодируют, это делают за них «чужие» — аплодируют исступленно, восторженно. И к концу концерта вся публика дружно устраивает овацию певцу Доливо. А он стоит у рояля, помолодевший, и некрасивое его лицо прекрасно.

Мне снился сон — я рыдала от счастья и печали, — проснулась в слезах: будто приехал оркестр гитаристов, и они оказались испанцами с Майорки. «Как поживаете, друзья?» — сказал мне дирижер оркестра, — мы держали друг друга за руки, и войны не было, и я со всеми здоровалась и плакала от радости.

В концерте пою четыре песни Сидрера.

Партизанка

(Чьи слова, не знаю)

Убили партизанку на рассвете,
Две ночи длились пытка и допрос.
Прощаясь, трогал подмосковный ветер
На лбу девическую прядь волос.

И т. д.

Эта песня замечательная. Если б я могла поднять ее на ту высоту и пространственность, которая мне в ней звучит. Но, Боже малых сил, как я мала!..

25 марта

Концерт сегодня. Настроение хорошее.

В гостинице адский холод. Я не могу расправить свои кости вот уже семь ночей. Охрипла. Согреться. Поесть бы!

После концерта. Пела хорошо, и голос звучал. Успех средний. Было в полной мере ощущение публичного одиночества. Но я была белой вороной, абсолютно непохожая на остальных певиц, какая-то сама по себе. Сидрер похвалил от души: сказал, что его желание я исполнила. После концерта все были ошеломлены: мне единственной принесли за кулисы большую корзину цветов! От Сергея Германовича Розенблюма. Он сразил меня этим. Я понять не могу, как зимой, во время войны, в глухом, голодном, заснеженном городе возникли живые цветы — благоуханные, нежные? Они как с неба упали к моим ногам. Все говорят не о концерте, а об этой неслыханной корзине. Я стала пользоваться бешеным успехом. Какой, однако, молодец, этот сухой ученый — «академик» Сергей Германович! Он металлург.

От папы хорошее, бодрое письмо.

29 марта

Вечерами ко мне заходит писатель Андрей Успенский. Он поет мне бандитские песни и, несмотря на то, что он сибарит, имеет прелестную жену, двоих детей и «положение», — Сидрер про него правильно сказал, что он «босьяк», но в высоком смысле этого слова. Он хорошо поет и говорит мне, что я очень талантлива, необычайна и прочее. Он ведь из Пятигорска. Я нежно отношусь к нему. У нас дружба. Он веселый и умный. Вчера мы с ним вспоминали Пятигорск девятнадцатого года и Вертинского. Вертинский пел песенки,

начал петь в четырнадцатом году в маленьких кабачках Москвы, в костюме Пьеро, с подведенными глазами. Пел «песенки Вертинского», названия которых говорят сами за себя: «Кокаинеточка», «Лиловый негр», «Ваши пальцы пахнут ладаном» и прочее. Песенки его стали необычайно популярными. Причем отношение к ним было странное: издевательское, насмешливое, но они все же нравились, в них была своеобразная «гнилая» прелесть. Даже моя мать — строгий академик в музыке — купила ноты, помню, несколько штук. Но в доме их петь запрещалось, папа презирал их как «дурацкую пошлость». Конечно, знали и пели их только буржуазно-интеллигентские круги. Но к девятнадцатому году Вертинский стал больше чем певцом «Кокаинеток» и «Мокрых бульваров Москвы», — он стал выразителем мироощущения гибнущей русской буржуазии в годы революции.

Страшная, жестокая пора порождала эти изысканные, цинично-печальные песенки. В девятнадцатом году, при белых, осенью, он приехал с концертом в Пятигорск. Тайком от своих я с компанией молодежи удрала на его концерт. Мы были очень молоды — четырнадцать-пятнадцать лет. Мы шли с заранее приготовленными (морально) гнилыми яблоками, чтоб забросать ими этого изнеженного, извращенного молодчика. Он вышел на эстраду — высокий, стройный, молодой, с приятным усталым лицом, блондин в черном фраке, сером жилете и с белой хризантемой в петлице. Он начал петь так просто, так искренне, так от всего сердца, что мы были покорены. Пел он уже не специфическую «Кокаинеточку». Пел разочарованность, осмеянную любовь, не боялся назвать себя в одной песенке «смешным скоморохом». Голос был небольшой, необычайно приятного тембра, и своеобразная манера выговаривать слова. В сущности, он пел говорком. Слова песенки фальшивые, слезливые и в большинстве просто глупые — в его устах делались чистыми и печальными. Пел человек с усталым и грустным сердцем, мечтающий о Любви и Красоте, но заранее скептически знающий, что «идеалов» нет. В одной-двух его песенках звучала даже гражданская нотка: например, знаменитая и глубоко трогавшая «На смерть юнкеров»:

Я не знаю, зачем и кому это нужно..
Кто послал их на смерть недожащей рукой!..

Конечно, Вертинский эмигрировал с белой армией за границу. Когда я в 1930—1932 годах была в Париже, он пел там с большим успехом. Не только русские белые эмигранты, но и французы ходили на его концерты. Он напел много пластинок, голос окреп, звучал лучше. В песенках его были уже «парижские» темы, но главным образом была тоска по России, и в одной из песенок он прямо признавался, что если б его только пустили, то он бы «целовал эту скудную русскую землю». Он писал тексты песенок сам. Во всяком случае, большинство его песен — слова и музыка — написано им самим. Интересно, что люди, которые бежали на его

концерты и упивались его пластинками, стыдились этого. В увлечении им, конечно, было для многих нечто порочное. И у нас сейчас говорить о том, что Вертинский — яркий талант, одиозно. И все-таки я скажу, что он был ярким талантом не только как певец, но как создатель своего особого жанра — жанра, абсолютно созвучного своей эпохе. Где-то сейчас Вертинский?

1 апреля

Вчера я была на отчетном докладе фронтовой бригады филармонии: квартет Глазунова, отец Пельман и певица Коган. Вайнкоп (Федаром я еще осенью, при первом знакомстве с ним, определила его как пошляка и идиота, хотя он и считался «музыковедом») рассказывал о поездке на фронт и кончил тем, как они ехали на машине по трупам немцев и итальянцев, ибо вся дорога была усыяна ими, и как при этом он испытывал удовольствие. Страшно. Страшно, до чего оживотнились, оскудели и пали бедные обезьяны, именуемые людьми!

Но концерт был великолепен. Коган поет под прекрасный аккомпанемент квартета, поет прелестно, очаровательный голос, артистична. И я понимаю восторг людей на фронте, людей, которые ежеминутно рискуют жизнью, глохнут от разрывов снарядов, и вдруг им открывается мир искусства, то есть именно того, что славит и утверждает жизнь.

11 апреля

От папы письмо: требует, просит, чтобы мы все переезжали на Кавказ. Мой прелестный отец. Я люблю Бориса Пронина за то, что в нем есть черты моего отца. Мой бедный, чудесный фантазер-отец! Старенький, слабый, но такой молодец!

Была на концерте «Песни Отечественной войны». Единственная приятная, настоящая, трогаящая душу песня — это «Последний рейд» и «Соловьи» Соловьева-Седова, но все остальное — кабак или пивная. Где ритм, не говорю уж — где пафос — наших дней, нашего времени?! Пошлость мелодий (все эпигонство, ни одной современной черты) и слов. Журавлева-дочь читала стихи Алигер о Зое Космодемьянской, слабые стихи... Но все равно глубоко трогательные.

12 апреля

Эту весну как весну, как время года, совершенно независимо от того, что война и прочее, — я переживаю так же остро, как когда-то в Пятигорске, когда мне было шестнадцать лет. Может быть, все пятигорские весны слились для меня в воспоминание про одну

и ту же весну... Поляны, сплошь покрытые благоухающими фиалками так, что казались лиловыми коврами среди леса; зеленые склоны Мащука, цветущая яблоня у Эоловой арфы... Я видела ее осыпанную бледно-розовыми цветами. Меня, как острое счастье, пронизывал ее запах. Мне казалось в ту весну в Пятигорске, что я, как чаша, «наполнена счастьем». И было страшно расплеснуть хоть каплю. Мы с Ирочкой, моей маленькой сестрой, уходили далеко за Провал собирать фиалки. Они были разные в разных местах. В лесу, где было темно и сыро, они были темно-лиловые, на коротких стеблях и сплошь покрывали землю. У Горячего Нарзана они были рассыпаны среди вылезавшей травки, голубовато-серые, очень крупные и на очень длинных стеблях. И запахи фиалок были тоже разные.

Здесь нет фиалок. Деревья еще серые, зимние. Грязь, и моросит не то дождик, не то мельчайший снег. Но я наполнена счастьем и тайно от всех наслаждаюсь весной. Здесь она северная, скупая, скрытая неизвестно где и в чем, но она победоносно звучит мне огромной симфонией, я слушаю ее, и мне хорошо, как было когда-то. С раннего утра душа начинает мурлыкать от предчувствия тепла и солнца, а к полудню я уже пою во весь голос от глубокой горячей веры в нашу Победу, в конец войны!

5 мая

С тех пор как Гри уехал и увез все, даже Аленины валенки, я как-то потеряла ощущение реального мира: где-то далеко война, голод, бомбежки... Оттого что здесь нет бомб и я все же ем, я ушла в весну, погрузилась в нее и ни о чем не думаю. В каком-то сне... Но ночью спать не хочется. Светает. На окне стоят розовые цветы, торчат веточки тополя в чайнике. Небо светло-голубое. Умильно чирикнула какая-то пичужка. Я — мягкая, как медуза. Воздух на дворе такой, будто режешь кусками и смакуешь какое-то чудесное мороженое. А заря все разгорается.

6 мая

Весь день под знаком песен и под аккомпанемент гитариста Владимира Александровича Сазонова. Талантливый человек, налет ресторана и бескультурность прошли бы очень скоро, если б он работал при мне. Купаюсь в гитарных звуках, радуюсь, что могу петь под гитару, ни о чем не думая. Решила предложить на радио свою программу. Завтра будут нас слушать. Весь вечер «делали» песни. Из них «Колокольчик» и «Две гитары» — хороши очень. «Две гитары» у меня совершенно неожиданные, полная противоположность канону удалства и разгула, привычных при исполнении этой песни на слова Аполлона Григорьева. У меня они от «с детства памятный напев» и «ночь такая лунная», а главное — что «две гитары, зазвенев, жалобно заныли». Борис Пронин забежал, пришел

в восторг от нашего ансамбля и помчался за Скоробогатовым. Но в Пушкинском театре заседал художественный совет, и тот прийти не мог. Борис кричал, что слушать нас должны бы Шаляпин, Доливо, Зоя Лодий, Шостакович, Завадский, Уланова, Образцов! А сидели только Борис, да еще пришел Сидрер. Но они понимают не меньше! Только жаль, что авторитета для других у них нет...

Я начала петь почти так, как я мечтала петь.

7 мая

Позвонила ленинградскому Канину — он здесь директором Пушкинского театра, — чтобы спеть ему, пока Сазонов здесь. Он пришел поздно, усталый и почему-то торжественный. Мне ценно, что Канин сказал, что я очень выросла за эти два года. Как будто тысяча лет прошло после той ленинградской моей зимы. Похвалил. Он изменился, он стал какой-то настороженный, жестокий и невеселый. Неужели оттого, что он «директор»?! Глупо.

Пою с Сазоновым: 1. «Не брани меня, родная». 2. «Вчера ожидала». 3. «Расставаясь». 4. «Колокольчики». 5. «Утро туманное». 6. «Калитка». 7. «Я помню вальса...». 8. «Милая». 9. «Две гитары».

8 мая

Были Константиновские, Саша и Наташа — милые люди. Он художник, она делает куклы. Очень талантливая. Он красивый и милый, но «средняк»-художник, хотя декорации театральные у него хороши. Мне с ним, как и с Сидрером, легко, как будто они мне родственники, люди одной породы — артисты. Очевидно, что-то в этом есть. Читали стихи: Блок, Манделштам и прочее. Даже Бодлера вспомнили. Завтра иду на выставку «Художники театра», которую мне уже показывал искусствовед Замошкин.

Это очень странно — про людей одной породы. Далеко не все «артисты» — артисты. Тут дело даже не в профессии артиста. Актер, художник, певец, поэт, писатель может быть не артистом, а есть доктора-артисты. Есть учёные-артисты.

Артистичность. Вот Борис Пронин, скромный статист Александринки, — абсолютный артист. А многие артисты, имеющие успех, — не артисты. Я даже не знаю, в чем этот признак заключается. Только безошибочно угадываю его в людях. Будто артисты говорят на особом, птичьем языке. А я — птица! И вот с Цаллиным в этом мы были одной породы. Но я — грек, я — скиф, а он — от допетровского «Домостроя». Боже, как хочется в Барнаул, взглянуть на Аленку.

А весна такая, что хочется плакать от счастья. Перед гостиницей — садик. Он стал зеленым на моих глазах. Так странно вспо-

нить, что совсем недавно сада не было, не замечались эти тоненькие серые палочки, которые теперь стали кустами сирени и акаций, — был снег. Сугробы. Мороз. А сейчас все теплое, нежное, такое трогательно-радостное. Оказывается, в городе есть целые аллеи, засаженные яблонями. И уже повывлезали букетиками малюсенькие розовые бутоны. Я просто со страхом предчувствую, как они станут цветами и будут пахнуть. Этот запах, как тогда в Пятигорске у Эоловой арфы... Недаром моя прабабка была гречанкой; где-то в далеких веках мои сестры славили Диониса. Скакали и били в тимпаны. Играли на свирели. И пели высокими пронзительными голосами.

17 мая

Ну вот, со всех сторон отзывы прекрасные, а тот, от кого мы зависим, — некий главрепертком Каплан заявил: «Пела очень неважно». Это он сказал Сидреру. И, конечно, другим. Э, да черт с ним. Главное — с Сазоновым я пою все лучше и лучше, мы делаем новые вещи: 1. «Ты почувствуй». 2. «Он говорил мне...». 3. «Не хочу». 4. «Моя отрада». 5. «Пара гнедых».

Но искусство в нашей стране в полной зависимости от людей вне искусства...

Вчера были у меня художник и кукольница Константиновские, артистка Белорусского театра Полло, Борис Пронин, москвичка Люба Фегельман. Пела им — как репетиция на людях. Борис вспомнил Веру Федоровну Комиссаржевскую, как она пела в «Бесприданнице» романс «Он говорил мне». А Комиссаржевскую он чтит как Бога. Он сказал: «Вера Федоровна была бы довольна».

Но Сазонов уедет!.. Останутся Капланы. Даже не каплуны... И это так горько! Я плачу сегодня как потерянная.

27 мая

Сазонов уехал, гитара молчит, висит на стенке — и весна кончилась. И я надолго замолчала. За это время я побывала в Барнауле у Алены. Она здорова и ходит работать на огород. У Цапина огород!

30 мая

Анатолий Доливо по дороге на концерты в Свердловск остановился у нас. Он сейчас погрузился в русские былины и... в Гомера! Молодец человек! Правильная жизнь: с головой в работе. Он пришел навестить меня. Мы сидели вдвоем, и он говорил — пел мне про «Скимен-зверя», про «Вольгу», про «Грозного царя» и двенадцатую песню Одиссея. В нем — высокий план, свобода! Легко мне дышится около таких!

8 июня

Война берет меня за горло. Насчет Ванюши чувствую, что там будет спокойно. Продала одно из двух моих концертных платьев. Послала старикам тысячу рублей. Послала деньги старым моим друзьям Волинским, ведь пришла Натка Волинская, здесь живущая. Просила помочь вызволить Надежду с матерью Софьей Ивановой, которые застряли где-то на Минеральных Водах. Конечно, я послала им денег на билеты, чтобы они могли сюда приехать к Натке. Продаю последние тряпки. Остаюсь «в чем была».

Пришли Мгебровы ко мне. Шура и Виктория Чекан — чета Мгебровых — выглядели почему-то торжественно и строго. Я пригласила их сесть, угостила кофе. И они рассказали мне, что с ними недавно случилось. Очевидно, для этого и пришли — рассказывать такое интересно!

Уезжая из Ленинграда в эвакуацию с Александринкой, то есть с актерами Пушкинского театра, Мгебровы взяли с собой младшую дочь (старшая уже работала в каком-то театре на Дальнем Востоке) и свою старушку тетушку. В Новосибирске тетушка заболела, ее увезли в больницу, где она и померла. Когда стали убирать ее кровать, то под матрацем увидели туго чем-то набитый старый чулок. Стали чулок вытряхивать, а из него посыпались брошки-сережки, бриллиантовые, рубиновые, с изумрудами, в золоте и т. д. Мгебровы оцепенели. Укрыть этот клад не сочли для себя приемлемым — они были люди чести, а ведь шла война! Они отнесли все куда следует — в ЧК или НКВД. На днях они все же получили какую-то крупную сумму — клад оценили в двести тысяч золотом. А Шуру Мгеброва пригласили на роль патриарха Никона в фильме Эйзенштейна «Иван Грозный» — роль эту он сыграл блистательно. Мгебровы — хорошие люди, и я рада за них. Но тетушка-то хороша! Ведь никому из семьи ни слова не сказала, а ведь внучка была больной девочкой, почки, и Мгебровы, как и все мы, были полуголодные, а в Новосибирске был Торгсин, в нем продукты на валюту продавали. Могла тетушка помочь родным, но скрыла свое богатство. А судьба на место все поставила.

Твердо решила привезти сюда Аленушку на июль и август. К 1 июля поставила себе целью накопить денег и картошки. Но как достать в столовую второй пропуск? Мне страшно опять не обедать, как в мае. Ослабею ведь, как кляча, опять... Ведь осенью я поеду с Аленкой к Ванюше. Написала, чтобы отец прислал вызов мне и Аленушке. Знаю, будет сложно, трудно, но это надо.

16 июня

Я жила последние дни бездумно в моей комнате, с цветами на окне, с картой Майорки — подарок миссис Стайхен. Изысканнейшая миссис Стайхен вышила мне в подарок эту карту в духе «примитива», а люди, которые здесь видят эту карту, думают,

что это ребячья вышивка, не понимая, что в этой простоте — изыск и что это нарочно. Была она разведенная жена знаменитого фотографа Стайхена в Нью-Йорке. Жила на берегу залива в Польенза-Пуэрто. Но все это так далеко, словно на другой планете. Так, пожалуй, и мы часто относимся к древнему искусству.

Всю весну я жила, сознавая всю оторванность моей комнаты, с ее атмосферой, от действительности сегодняшней. После ночей, наполненных стихами Пушкина, Блока и Пастернака, моими песнями, философствованиями моих друзей о чувствах, книгах, театрах и прочее — порой эта комната отделялась от гостиницы и Новосибирска и летала где-то в поднебесье. О пище, о картошке, о нашем военном житье-бытье тут не говорили. Я сознательно устроила себе полную отрешенность. Зная, что это быстро кончится. Я бегала на «барахолку» продавать вещи, но это было совсем не в счет.

Всю жизнь я любила базары, и даже этот новосибирский рынок был для меня не неприятной частью «быта», а приключением и развлечением. Приятно видеть, хотя бы и в платоническом плане, много молока, овощей, масла, кур! Я почти забыла вкус многих ед. Приятно видеть, что если б была возможность, т. е. деньги, то можно было бы иметь сахар. Приятно видеть упитанных торговков. Одно сознание, что все это есть, уже само по себе приятно. И, может быть, у очень многих, продающих вроде меня последние тряпки, такое же ощущение, несмотря на недоступность всей этой «роскоши». На рынке все оживлены. Заинтересованы. Царит атмосфера приключения. Но зато довоенной рыночной миролюбивости и добродушия в помине нет. Снуют оборванные, голодные, очень страшные мальчишки-воры. Инвалиды войны на костылях, безрукие, часто с изуродованными ранеными лицами, продают папиросы. Продается все: от папирос до изюма, по одной изюминке — редкость! — по баснословным ценам. И все же какие-то люди покупают. Это те же самые люди, которые продают, так как заработка не хватило бы и на четвертую часть этих цен.

Не хочу думать о войне.

К черту картошку, злобу, голод и тому подобные гадости.

Приходила бедная, исхудавшая, желтая от голода и горя чтица Желкевич. Я отдала ей все, что у меня было из денег и еды. Сын ее бесследно исчез... в плену? А она, оказывается, была выслана из Ленинграда после убийства Кирова в числе множества других... Я уверена, что она ни в чем не повинна... Мучительно жаль ее. Я молчу. Ни о чем ее не спрашиваю... Она сама мне рассказывает. Я дала ей все, что могла...

На рынке вчера какие-то два баяниста лихо грянули «Отраду», и я, как была — платье с юбкой для продажи через плечо, — запела на весь рынок «Отраду». Потом пела «В землянке», потом «Любимая» и «Синий платочек». «Вы наша, ленинградка?! Подождите, не уходите!» — говорили баянисты, но я умчалась. Кругом собралась толпа; на мне нелепо-очаровательная шляпа от Елтовской!



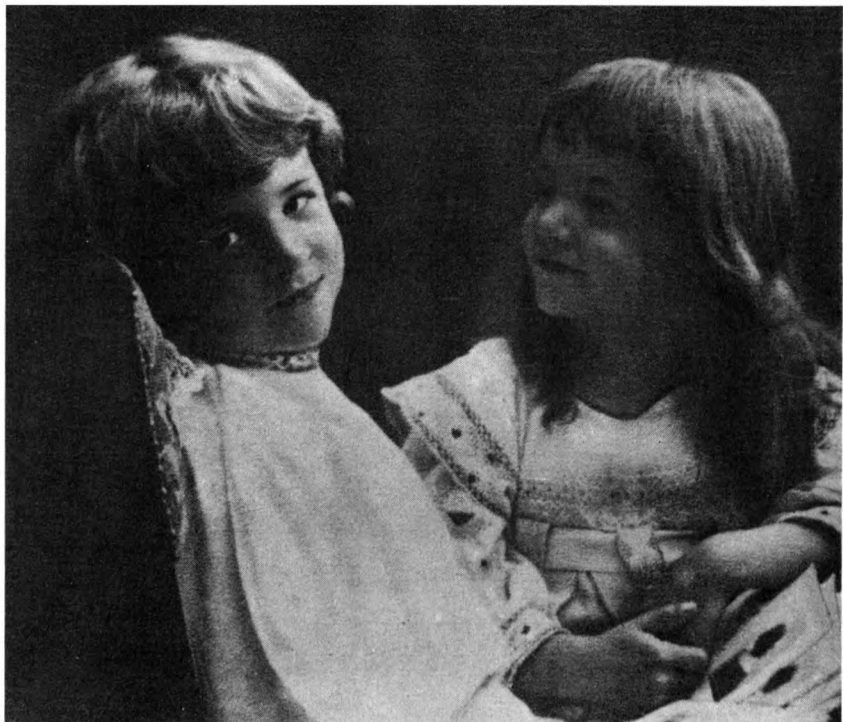
Елизавета Николаевна Лещенко с детьми, Таней и Борей. Кисловодск, 1905 г.



Я с братом Юрой. Кисловодск, 1910 г.



Плывем на пароходе «Великая княжна Ольга» по Каме из Перми. 1913 г.



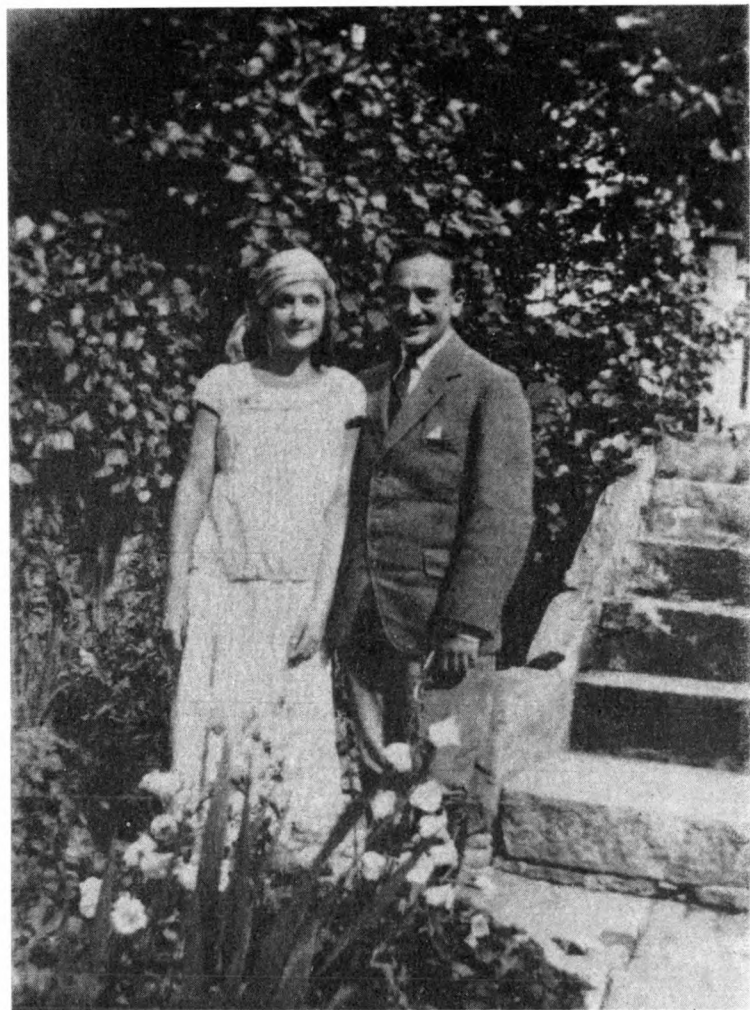
Я с братом Юрой. Этот снимок получил 1-й приз на конкурсе детской красоты журнала «Солнце-России».



Мама всегда с нами. Кисловодск, 1912 г.



Наша детская тройка в верхних Мулах Пермской губернии, 1908 г.



Я с мужем Беном. Лонг-Бинг, США, 1926 г.



*Я приехала из Нью-Йорка повидать семью. Пятигорск, 1927 г.
Крайний справа внизу — мой отец, Иван Васильевич Лещенко.*



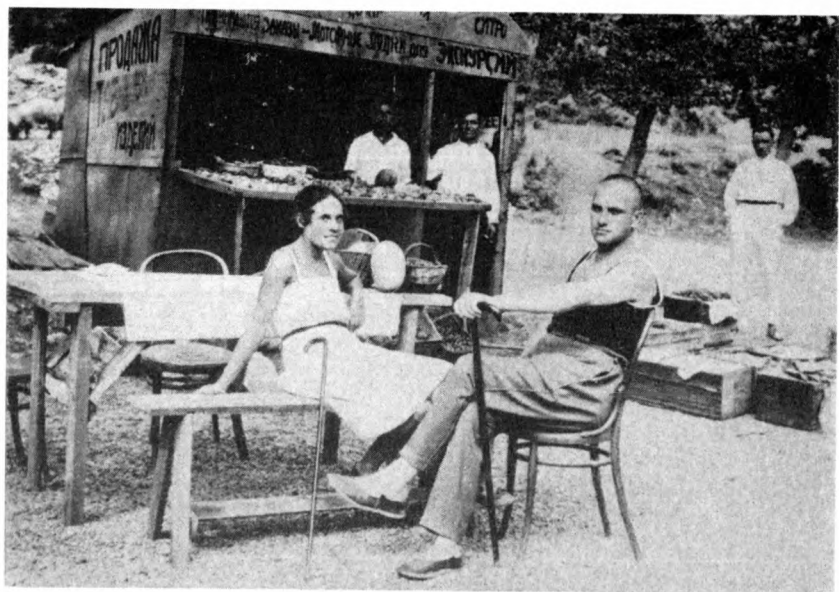
*С Борисом Сергеевичем Глаголиным
в окрестностях Нью-Йорка. 1929 г.*



*Майорка, Польшенза-Пуэрито, 1932 г.
Я с Дмитрием Цаплиным.*



Майорка, 1934 г. Я собираюсь ехать на бой быков в Пальму.



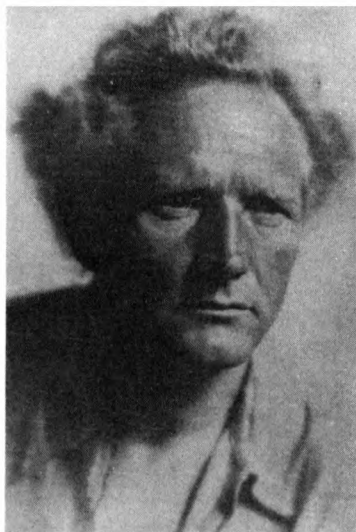
В. Маяковский и Лиля Брик в Ялте.



Пабло Пикассо. Париж, 1931 г.



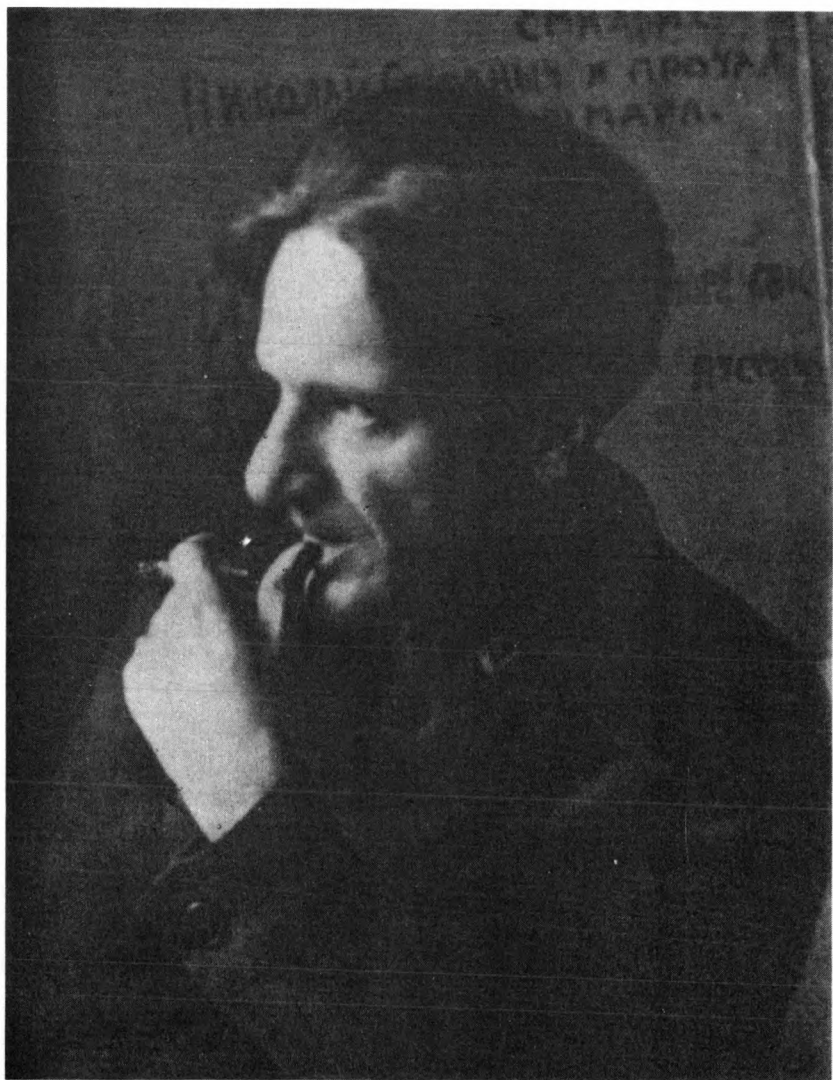
Борис Константинович Пронин.



*Дмитрий Филиппович Цаплин.
Валенсия, 1932 г.*



*Моя сестра — Ирина Ивановна
Леценко-Титова. Ленинград, 1927 г.*



Тихон Васильевич Чурилин. 1939 г.



Маруся Тихонова. Ленинград, 1939 г.

3
Ты же

и книга

такая же, как

Какие же

набому же

22/сент. 28

Борис Пронин



И. В. Лещенко с внуками. 1939 г.

Видик! Народу масса. Играли баянисты лихо, по-кабацки. Крепко тряхнув им руки, я удрала. И тут одна толстая гражданка, крайне неэлегантная, купила мое элегантнейшее парижское платьице, которое я носила в Абрамцево.

Грянула гроза, я вымокла до нитки, но чудесно было бежать босиком через пустынную площадь и купаться в ливне. Сейчас пью кофе, заедая его гоголь-моголем. Единственное мое подспорье — это кофе, который купила осенью предешево в магазине. Я запасла мешок, и он спасает меня и всех моих друзей. Увы, пью его без сахара.

25 июня

Перевела еще семьсот рублей Ванюше. Это за мое любимое шифоновое платье из Лондона. Скоро, скоро уже Аленушка будет со мной! Господи, дай мне никогда больше не расставаться с ней! Недолгий срок, который я дала себе на отдых, истек. Господи, дай мне сил. Вчера откашлянула — мокрота с кровью. Думаю, случайная кровь. Только бы сил хватило прокормить Алену и осенью доехать с ней до Ванюши. Худа я очень... Пою где придется, главным образом по госпиталям. Всех нас, актеров, раненые принимают замечательно, и обычно после концерта начальство приглашает нас выпить чайку со сгущенкой, а на тарелке лежит грудкой черный хлеб. Это самая вкусная еда, но, увы, далеко не каждодневная. Худые все. А на улицах подчас встречаешь просто скелеты. Но русские — двужилы!

Я любила цирк всегда и всюду. Но в Нью-Йорке цирк был ужасный. Действие происходило сразу на трех аренах! Бен быстро увел меня, так как я редела от негодования и начала скандалить. Все остальные цирки — светлое воспоминание. В Париже я пропала в Зимнем цирке и таскала за собой Цаплина. Знаменитого музыкального клоуна Грока я видела раз двенадцать. Но то был гений!

Сначала появлялся красивый молодой человек во фраке и прекрасно играл на скрипке (его партнер). Публика, думая, что это Грок, захлебывалась от восторга, и вдруг выходил высоченный, в сером костюме мешком, с маленькой головой, в котелке, клоун с огромным чемоданом. Он ставил чемодан на песок, с грохотом открывал его, вынимал оттуда малюсенькую скрипку и божественно играл на ней. Это был Грок. Так же великолепно он играл на рояле, на концертине, на губной гармонике. Между игрой — диалог с партнером, неподражаемый комизм интонаций и жестов. Цирк грохотал хохотом, люди смеялись так, что слезы текли по щекам. У меня рта не хватало для хохота, даже, казалось, пальцы ног смеялись. Хорошо, когда все тело может похохотать. Грок умел доставлять людям это удовольствие.

В новосибирском цирке нет Гроков. Толпа не поет в антракте какую-нибудь злободневную песенку, как это делали парижане в

1931 году. И в цирковых наших артистах нет той неподражаемой светской элегантности, которая была там. Зато, во-первых, уповательно уютный цирк-шапито. В щели брезента просунуты головы мальчишек, они жадно глазеют на все. Во-вторых, очень талантливый «Рыжий у ковра», а в-третьих, наш русский «всерьез» по поводу самых наивных и примитивных цирковых номеров. Например, выходит Красавец. Голый по пояс, в блестящих, ярких штанишках, с тиарой на голове. Сложен изумительно. Рожа русская, деревенская, недурен (но куда ему до восхитительного Моцардо, которого я видела в Орджоникидзевском цирке-шапито!). Под томные звуки «оркестра» он позирует, шевелит мускулами, изображает статуи. Становится на «пьедестал», и вдруг из пьедестала брызжет фонтанчик! Потом начинает швырять себе в голову тяжеленные гири. Успех колоссальный! Красавец действительно хорош. После него укротитель. Он же стреляет из ружья: правой и левой рукой, а под конец чуть ли не ногой он простреливает качающийся над головой жены блестящий шарик. Дальше: в клетке — четыре великолепных леопарда. Самый большой — свиреп, скалится, рычит и лезет на укротителя, бесстрашно вошедшего в клетку, стараясь цапнуть его огромной лапой. У укротителя всегонавсего хлыстик. У него бледное, утомленно-безразличное лицо. А за клеткой снаружи стоит человек с револьвером наготове, не спуская глаз с леопардов. Стоит и служитель со шлангом. В одном месте укрощения мне стало так жутко, что меня затошнило; я вышла, но у выхода остановилась и вернулась — уж очень любопытно! Стала рядом с мальчишкой-служителем, который стоял с водопроводной кишкой. Он рассказал мне, что самый большой леопард — Папа, самый маленький — Мама, у них есть дети — четверка леопардят, из которых один черный. Их кормят вареным мясом и уже готовят в цирковые артисты. Еще мальчишка сказал, что человек с револьвером — брат укротителя и как стрелок получше его. Еще сказал, что леопарды очень злы и все норовят разорвать укротителя, а он на репетициях беспощадно лупит их дубиной, а не хлыстиком. С мальчишкой я подружилась, зовут его Коля, и он обещал показать мне леопардят.

Люба Фегельман читает лекции о Маяковском. Хороший голос, сама красива. Но к иным людям «презлющая». У нее две маленькие дочки, я иной раз помогаю ей с ними. Люба талантливая, но в женской жизни неудачница. Пожалуй, в ней слишком сильна половая сторона, а это, как ни странно, отталкивает мужчин!..

1 июля

Болею. Еле ноги волоку. Пухнет голова от проблем. Любаша на днях едет в Барнаул, привезет мне Аленушку! Господи! Сама поехать не могу из-за номера в гостинице. Последние две недели выселяют, пристают. Вру, что Гри вернется скоро. Но комнату ни

на один день оставить нельзя, а то соберут вещи, вынесут и вселят других.

Была у меня одна мечта: обрести независимость, жить одной с детьми... Если б кто знал, какой острой, безжалостной булавкой пронзил мне Бог сердце. У всех у нас сейчас проколото сердце. Войной. Но есть и носороги, ходят неуязвимые.

4 июля

Если б я была Богом — я бы дала человеку возможность (по желанию) прожить две жизни: одну как ему полагается, а вторую — начиная с сознательного возраста и до конца, имея в наличии весь накопленный опыт. Заново. Снова. Так многое мы просто не знаем. Мы даже того не знаем, что следует верить своим предчувствиям. А мы говорим себе: «Нет, я ошибаюсь! Посмотрим, подождем. Это, наверное, не так!» И в конце концов выходит, что вначале мы не ошиблись... Но мимо, мимо...

Вспомнился мне Париж. Только один раз за всю мою жизнь я видела идеальную настоящую красавицу. Я жила тогда в скромном парижском отеле, как раз возле Люксембургского сада — Отель д'Одеон. И ходила на ближнюю станцию метро мимо одного фотографа. В витрине красовалось много портретов и в центре среди них — две или три большие фотографии женщины с изумительным лицом, восточным каким-то... Гладкие волосы, миндалевидные большие глаза, точеный нос, рот дивного рисунка — все упоительно, трогательно, прекрасно! Я всегда любовалась на фотографию и думала: да где же он такую нашел? Она была неправдоподобно красива. А уж если она вправду есть такая на свете, то, наверное, богата и живет в роскоши. Словом, как драгоценная картина в Лувре или редкой воды бриллиант — ей полагалось жить как уникуму.

И вот однажды в прекрасный солнечный день иду я мимо фотографа, и из его лавки выходит Она. Я остолбенела. Она была бедна! Это было совершенно очевидно по простенькому ее пальтишку и изношенным туфлям. Шляпы на ней, слава богу, не было. Она шла легко и просто, молоденькая, тоненькая и такая красавица, что люди глазели на нее, оглядываясь. Она шла в кольце пристального восхищенного внимания, шла как будто она одна идет по этой шумной, многолюдной парижской улице. И ясно было, что ни одному фланеру-французу в голову не придет приставать к ней. Она была слишком красива. Только какой-нибудь набоб мог разрешить себе приволокнуться за ней!

Попробую описать ее: темно-каштановые волосы, собранные в узел на затылке, прическа на прямой пробор. Смугловато-розовая кожа. Черные, большие, словно загнутые кверху у висков глаза с длиннющими ресницами — длинными стрелками. Тонкий, чуть с горбинкой нос. И розовый боттичеллинский рот. Идеальный овал лица. Тоненькая, не очень высокая, на вид лет двадцати пяти. Все

люди — как люди, красивее, хуже, лучше. Но в общем одной породы. А она была особой, другой породы. Ведь к разным породам принадлежат обезьяна и человек. Ее нужно было бы, следовало бы, показывать людям задаром или за деньги, уж не знаю, но чтоб люди могли смотреть и получать наслаждение. С ней не хотелось ни говорить, ни вместе есть или спать, а просто любоваться на нее — вот и все. И чтобы этим она существовала, а не какой-то работой или еще чем.

Я шла за ней. На нее так смотрели, что, очевидно, избегая этих взглядов и возгласов, она скользнула в метро. Там было пусто, на платформе стоял в одиночестве матрос, такой молоденький матросик. Он взглянул на нее и остолбенел. Это было очень смешно: он стоял, разинув рот, и смотрел на нее во все глаза. Она усмехнулась, подошла к нему и нахлобучила ему на глаза его матросскую шапочку. В эту минуту примчался поезд. Она вскочила в вагон и... больше я ее никогда не видела.

Ночь сегодня невыносимо прекрасна, и мне соответственно невыносимо грустно! Яростно хочется ласки, родного плеча, быть «вместе». Вот этого «вместе», которое я ишу всю жизнь «как пущена стрела из роковой пращи»...

10 июля

Еду за Аленушкой. Больше не расстанусь с ней. Как бы ни было трудно и голодно.

19 июля

Алена встретила меня словами: «Мама, я вчера папе сказала, что завтра ты приедешь! Я знала, что ты приедешь!» Да, я приехала вовремя. Цаплин очень болен сейчас. У него опухли ноги, он старый, серый, измученный старик. Творчество заброшено. Страшным признаком полного творческого оскудения стоит огромная начатая фигура «Бойца» в дереве — скудная, убогая, несмотря на свою величину. Цаплин вернулся к своему первобытному состоянию: он стал крестьянином. Ходит за несколько километров на «пашню», огромный огород — зачем такой? — с картофелем, капустой и тоннами помидор. Осенью задумал купить корову. Недоедал все это время, зато лежат мешки сухарей, есть мука, ящик с сахаром загадили мыши... Чемоданы с «добром» стоят ни разу не раскрытые. Шерстяные ткани, три пары валенок, пять пар великолепных меховых унтов увязаны в мешок. Кругом него вещи, за которые он мог бы прекрасно питаться и кормить досыта дочь. Но... У него вырвалась фраза: «Ох, как много я понял теперь! Я понял, как я был несправедлив, неправ, я готов пасть на колени, рыдать, ноги целовать и молить о прощении у моих близких!» Сказал это, глядя на меня. С мучительной тоской он произнес эти слова. Цаплин умирает. И дело не в картошке и не в скупости. Он уми-

рает от непризнания. От ощущения, что как художник он забыт, не нужен!

Часто мне кажется, что у нас слишком много талантливых людей именно в искусстве и потому их не ценят. Но нет, не ценят лишь потому, что во главе начальства по искусству стоят люди бескультурные, ничего не смыслящие в искусстве. Вот у Ворошилова дружок Сашка Герасимов (Александр Васильевич), и потому у бездарного художника Сашки есть сытое благополучие даже сейчас, а талантливейший акварелист Фонвизин с семьей живет впроголодь. Как и Цаплин.

8 августа

Пою где попало: по госпиталям и клубам, в городе и за городом. И в гостях. Летом работать несравненно легче, чем зимой, и голод чувствуешь гораздо меньше. Город именно утопает в зелени. Здесь любят цветы, особенно георгины и душистый горошек. Большинство деревянных домов окружены садиками. У одного старожилы (он доктор) пятьдесят пород георгинов! Разных по цвету и величине. Жить стало чуточку веселее, так как мы стали побеждать, ощутимо побеждать фашистов. По поводу каждого продвижения вперед все мы ликуем, до слез радуемся. Алenuшка со мной, помощница моя. В мою комнату приходит все детское население нашей «Центральной» гостиницы. Приходят отдохнуть с детской площадки за гостиницей, где они играют целыми днями. Я их оставляю часто одних — и в номере все в порядке, все вещи на месте. Лилечка Треппер таскает на руках своего крошечного братишку Вовочку, потом по очереди таскают его все дети, особенно моя Алена, которая обожает возиться с маленькими. В Барнауле она нянчится с Шуриком у Заславских. Кормиться дети уходят к себе, а потом или в садик, или в нашу комнату. Лиля и Алена поют вместе. Я впервые оценила всю прелесть «Катюши», когда эту песню пели мои девчушки — с серьезными лицами, старательно, тонкими голосами, — словно воочию видишь, как расцвели яблони там, где на берег выходила Катюша. Прелесть! Мы устроили целый детский концерт в коридоре, а мамы сидели на стульях и радовались на своих отпрысков. Надо было видеть, как пылко Миша Тенин читал стихи про смельчака — сына командира... забыла фамилию. Да все детишки милые и презабавные.

Я не писала про кражу, которая у меня случилась зимой. Случай был любопытный.

У меня привычка: уходя из дома, надевать кольцо, которое мне подарила мама, — платиновое, с чудесным сапфиром, окруженным бриллиантами. А приходя домой, снимать его и класть на письменный стол у мраморной чернильницы. Так и на этот раз: уходя за хлебом, хотела я надеть кольцо, а его и след простыл — нету! Все обыскала, обшарила — не нашла. Пошла к директорше гостиницы и заявила ей о пропаже. В ее комнату набилось много

народу — обслуга гостиницы. Не знаю, как догадались они, что я пришла сообщить о пропаже. «Кого же вы подозреваете?» — строго спросила меня директорша. «Никого не подозреваю, но из номера я утром уходила — в ванную, да в номер к Нонне Алексеевне, да еще куда-то. А от вас я иду к начальнику милиции». И я пошла в милицию... к начальнику длинная очередь, но меня знали по радиопередачам и пропустили вперед. Он выслушал меня, помолчал с минуту и сказал: «Кольцо ваше вернется. Не беспокойтесь! Идите к себе в номер. Поете вы очень хорошо — большое спасибо!» Мы с ним попрощались. В гостиницу я поднимаюсь к себе на второй этаж, смотрю — у дверей моего номера возится старушка горничная и вдруг подает мне кольцо. «Вот тут оно и валялось — вы его сами тут и обронили». Я надела кольцо на палец и тут же вернулась к начальнику милиции. «Прощу вас, объясните мне это чудо», — сказала я. «А я послал сказать, что, если кольцо не вернется, я голову всем оторву!» — ответил он. Был он серьезный человек с усталыми умными глазами.

Приехали с Кавказа Надя Волинская с Софьей Ивановной, которая совсем дряхлая, молчит все время, но, увидев меня, заплакала от радости. А на днях Надежда под страшным секретом рассказала, что в Нальчике боялась оставаться, так как при немцах работала в ихней больнице, куда собрали детей евреев: «Помажешь им под носиком — и все. Быстро!» — «Что быстро!» — «Умирала быстро, не мучились». — «И ты?!» — «А что было делать? Велят — и делаешь. Ведь у меня мама на руках была!» Заикнись бы я тогда или позже об ее злодеянии — Надежду расстреляли бы... Но она прекрасно знает, что я буду молчать. Она мне отвратительна, она убийца! Но я буду молчать...

А на днях случилось такое: я шла по улице — высоко в небе над головой пролетел самолет, и вдруг что-то в воздухе грохнуло, и на моих глазах самолет упал на землю. Это было за несколько домов от меня, на перекрестке. Собралась толпа, но я убежала оттуда. Говорят, он испытывал этот новый самолет. Оказывается, есть где-то неподалеку от города завод, где их делают. Несчастный.

12 августа

Грозили, грозили и наконец нас выселили из нашего номера. Собираюсь в Москву, ючусь у Нонны. Аленушка вернулась в Барнаул к отцу. Ее отвез физик Дима Стельмахович.

Очень беспокоюсь о ЦапLINE. Как он там, бедняга. Но Стельмахович, вернувшись, сказал, что Цаплин выздоровел, ожил, а тут еще Аленушка вернулась к нему. У меня на душе полегчало. Я написала председателю Комитета по делам искусств Храпченко письмо, чтобы ЦапLINE и Алине прислали вызов — ведь сейчас в Москву можно вернуться лишь по вызову. Храпченко, по-моему, человек порядочный и, кажется, что-то смыслит в искусстве. Он приходил в мастерскую Цапа, и хотя тот обозвал его в глаза

«искусствовредом», Храпченко был потрясен скульптурами. Вот мое письмо:

«Многоуважаемый т. Храпченко, мне хотелось бы, чтобы это письмо попало лично Вам в руки,— я на это надеюсь. Пишу Вам о скульпторе Д. Ф. Цаплине. Я была женой Д. Ф. Цаплина. О том, что я «была женой», пишу Вам для того, чтобы с самого начала Вам было ясно, что пишет совершенно незаинтересованное и объективное лицо — и что лично мне ничего не надо от Вас. Да и живем мы с Цаплиным в разных городах. Но я единственный близкий человек у Д. Ф., знаю его лучше, чем кто-либо, прожила с ним десять лет, имею от него дочку — все это дает мне право писать Вам сейчас так откровенно, как я это делаю. Я только что вернулась из Барнаула, где Цаплин сейчас живет. Не видела его месяца три — и прямо ужаснулась тому, как страшно он изменился. Тов. Храпченко! Цаплин умирает. Не от бытовых условий. Он умирает от ощущения, что его все забыли, что он не нужен как художник — и что все, что он сделал, никому не нужно. Я уже сказала Вам, что никто не знает его лучше, чем я: это человек, который поистине жил только искусством. Это аскет в жизни. Видит бог — я прожила с ним очень тяжелые годы. Но как художник, одержимый претворить в скульптуру то прекрасное, что он носил в себе, как тяжкий, непосильный камень,— он всегда внушал мне величайшее, ничем не омраченное восхищение и уважение. Что он угрюмый, мрачный, нелюдимый человек — это не в счет. Ему самому это было тяжелее во много крат, чем окружающим.

Кроме скульптуры и работы над очередным произведением, для него почти нет ничего другого. Он погружен в творчество. Он воистину этим живет. За границей он ничего не хотел продавать, а ведь за «Песню Весны» ему давали полмиллиона франков в Париже. Пароходная компания намеревалась ее купить для салона своего нового парохода «Иль де Франс». Цаплин категорически им отказал, хотя сильно нуждался. Он ничего не хотел продавать, считая, что все должен привезти на Родину, что для Родины он работает...» и т. д.

Дальше не помню. Я потеряла черновики своего письма, кроме первой страницы, писала сразу, от всей души и ничего не переделала, переписывая набело. Мне всегда кажется, что я несу какую-то ответственность за Цаплина. Но жить с ним, быть ему женой — я не в силах. Я не могу жить с кем-то хладнокровно, бездушно. Я их очень любила — Бена и Цаплина. А уж когда разлюблю, то все кончено. Жить с большим художником интересно, но невыносимо.

Как уютно и тихо бывает ночью!.. И некуда силы девать...

15 сентября

Послезавтра еду в Москву вызволять нашу квартиру. Моя жизнь здесь последнее время была похожа на бред. (Виду я не показывала и ради Алены была даже веселой.) С начала августа нас стали

выселить из номера. 11-го выселили. Нонна, ах, какая это прелесть! Душка. Добрая, радостная, быстроногая, поселила нас у себя. А 20 августа Цаплин позвонил по телефону: он получил вызов в Москву. 10 сентября и я получила вызов. Отправила Алену обратно к Цаплину: он и Алена поедут в Москву с Камерным театром 25 сентября, а сама еду теперь же. Цель — отвоевать до их приезда наше гнездо и встретить их дома, а не втроем очутиться на улице. Ведь нашу квартиру заселили, несмотря на так называемую охранную грамоту от Комитета по делам искусств. Вот что ужасно в нашей жизни: нет твердой законности. Могут сегодня так, а завтра эдак — по собственному усмотрению.

6 октября. Москва

Бред продолжается. У меня, безусловно, чахотка. Я горю, как на сковородке, — внутри. И оттого все как бред. А может, и не от чахотки, а всего только от голода...

В Москве живу у Нонны. Она ангел, и от этого меня начала мучить совесть. Муж ее Борис Агапов — писатель-очеркист, тоже ко мне ангел. Живу у них. Пью ихний кофе, сломала их замок, нечаянно чуть не оборвала портьеру. Предчуствую, что кокну какую-нибудь из тарелок. Но это мелочи: он деликатен, как умели быть Питер и Билли. В русских это редко. У него множество умных книг. Я его побаиваюсь, но храбрюсь. О Господи, из моего сердца кровь уже не каплет, а льется ручьями. Наш дом — не наш. В квартире, в моем гнезде, которое я так любила, живет румяный, сытый полковник. Его жена похожа на злую крысу, а дети на поросят, и я их всех ненавижу.

Но это еще ничто в сравнении с тем, что мастерская Цаплина занята «артелью художественной игрушки» и скульптур НЕТ. А когда я подумаю о Цаплине, как он придет, как войдет в мастерскую и ничего не увидит, мне жаль его так, что я просто не знаю, что, что же, как его спасти от этого горя?!

А Москва сейчас и отвратительна и прекрасна: серая, нищая, грязная, грозная, могучая, как никогда в мирное время. Улица Горького — строгая, малолюдная. Но стены Кремля — родные, невыразимо прекрасные. Москва как строгий полководец сейчас. И только Кремль по-прежнему прежний, вечный. Стоят и дремлют башни. Они столько видели и увидят...

А остальное все — военное, страшное. И я, как нищая, хожу по этим улицам. У меня, у моих детей нет дома. И у Цаплина НЕТ НИЧЕГО. Я НАЙДУ СКУЛЬПТУРЫ. И Я ЕЩЕ БУДУ ПЕТЬ.

А может, он их где-то спрятал? Зарыл?

25 октября

Война продлится еще долго...

Цаплин и Аленушка не приехали с Камерным театром. На Алену не было отдельного пропуска, и заведующий труппой, некий

Богатырев, не захотел ее брать, хотя ведь она маленькая девочка, а не призывник! По дороге ни у кого из эшелона не проверяли пропусков! Алена осталась там с Цаплиным. А ведь Таирову дали отдельный вагон!

Но это к лучшему: ведь где бы они сейчас поселились! Нет, сначала я должна вернуть нам квартиру.

Цаплин... Боюсь, что он не пережил бы того, что мастерская разорена. Я очень осторожно написала ему об этом. Где же все его скульптуры?

Комитет, за подписью Храпченко, и МОСХ дали мне письма к Астафьеву — председателю Моссовета, правителю московских жилищ. К нему пойдет адвокат МОСХа Россельс. Будет просить о возвращении квартиры «выдающемуся русскому скульптору Цаплину», как написано в обращениях МОСХа и Комитета искусств.

Оказывается, мое письмо к Храпченко о Цаплине произвело впечатление в Комитете по делам искусств, о чем мне рассказал тот же Россельс.

Вчера пришел гитарист В. Сазонов. Пели. А «четыре гитариста» маячат в моих мечтах всегда. Они со мной не только по ночам и в снах — я днем, идя по улицам, вижу их и слышу их аккомпанемент к «Шарфу голубому», к «Милой», «Терезе». Они спасают меня, утешают меня, мои суровые и великолепные четыре гитариста, мною выдуманые.

Война продолжается. Теперь мы наступаем. Это стоит нам миллионов убитых и раненых. Немцы, отступая, разрушают и сжигают наши города, села, людей, а других угоняют в Германию. Когда мы берем города — Москва салютует. Это изумительно красиво: грохочут залпы двухсот пушек и вылетают разноцветные хлопушки фейерверка. Но мне так грустно! Кровь и смерть сопровождают эти победы. И я вспоминаю фиесту на Майорке в раю Польезы — и тот фейерверк, и музыку! И танцы на рыночной площади, не оттого что военная победа, а оттого что ФИЕСТА — праздник!

Писатель Б. Н. Агапов — хороший человек. Мы часто подолгу разговариваем. Но наше общение для меня как по обе стороны непроницаемого и небьющегося стекла. Мы страшно чужие. В той же квартире живет К. Зелинский, критик с иезуитским лицом. В нем больше тонкости и, пожалуй, артистизма, чем в Агапове, но он нехороший человек. Циничен, лжив, бр... Что-то фальшивое, лицемерно-сладкое в лице и манерах.

27 октября

Сегодня встретила старого моего друга художника Артура Владимировича Фонвизина. Мы неловко от души расцеловались. Он постарел, похудел — этот замечательный аквалерист. Они

тоже уезжали из Москвы. Были в Казахстане, и он привез оттуда много акварелей. Все трое здоровы. Но старенькой мамы у Натальи Осиповны — уже нет...

29 октября

Несусь по течению с бешеной быстротой. Вчера была у Доливо. Анатолий с Вероникой Петровской репетировали в кабинете, а я с Эрнестиной грелись на кухне у газа. Холодно в московских квартирах. Вдруг Анатолий приходит на кухню: «Татьяна, пойдем, я хочу показать вам две ариетты Бетховена». Побежали с ним в гостиную. Он спел для меня и Бетховена, а потом Глинку, а потом Чайковского. Он пел вдохновенно в этой полутемной комнате — и он и Вероника действительно подарили мне высокую радость, ибо и Вероника становится большим художником, эта молоденькая пианистка, которую я в Барнауле сосватала в аккомпаниаторши Анатолию. Их искусство пронизано добром и высокими идеалами! Анатолий, который раньше в совершенстве владел в песне ощущениями горя, одиночества и безнадежности, теперь стал петь совсем по-другому. И когда он после «Простых слов» Чайковского сказал мне: «Доливо, который был и пел раньше, — сдох. Его нет. Родился другой Доливо!», я искренне подтвердила ему, что это так.

«Ночи безумные» Чайковского — которые я привыкла слушать в плане мучительных угарных страстей, — в его устах стали воспоминанием о юных, поэтических, счастливых и вдохновенно-безумных ночах! Серенада Дон Жуана — в ней возникли прозрачные лунные ночи Аль-бухарры и безмятежное счастье. В творчестве Доливы сейчас — утверждение добра, счастья, света! Наперекор войне, злобе и горю! В его пении вера в искусство, сиречь в источник высоких идеалов человечества, которые ничто не в силах разрушить. «Любовь сильнее смерти!» Анатолий, постаревший, с седыми висками, — в песнях молод, целомудренно не искушен скептицизмом. Он жизнеутверждающ, каким никогда не был раньше. Я-то знаю, что Бетховен, Глинка, Чайковский, наперекор своим печалям, тревоблениям и отчаянию, непоколебимо верили в ПОВЕДУ СИЛ ЛЮБВИ И ДОБРА.

2 ноября

Сейчас мне пришлось отказаться от просмотра в филармонии, так как Сазонов не появился. Он лежал дома после попойки! В филармонии меня ждали, были заинтересованы. Директор филармонии сейчас Вл. Власов, тот самый композитор Власов, с которым мы так упоительно танцевали в Абрамцеве. Мне пришлось отказаться от возможности стать с сегодняшнего дня артисткой

Московской филармонии — очень горько, очень мне больно... Надо искать постоянного гитариста. А я мечтаю о квартете гитаристов! Где силы, чтобы найти, увлечь своими песнями хотя бы одного!

Дело о возвращении нам квартиры ползет медленнее, чем черепаха. Алена с Цаплиным в Барнауле, за тридевять земель. От отца было письмо. Ванечка здоров, и мать с отцом тоже. Получила письмо от Тихона Васильевича Чурилина: он и Бронислава Иосифовна живы, устали, очень ждут меня к себе.

6 ноября. Москва. У Б. Н. Агапова

Я начинаю писать в новой тетрадке. И мне самой хотелось бы стать новой. Другой. Перестать быть несчастной, парализованной глупицей. Юрист МОСХа Россельс, договорившись с нами, что, если квартиру вернут, — он получит две тысячи рублей, почил на лаврах. Не делает ничего, чтобы ее вернули. Очевидно, не веря в реальность этих десяти тысяч, которые ему обещал уплатить Григорий Васильевич, который привычно врет.

Цаплин успокоен моими успокаивающими телеграммами. Алешка еженощно снится мне. А я топчусь на месте нелепо, как курица, которой отрезали голову. Даже вечерние, поздние наши разговоры — я, Агапов, Нонна — не радуют. Но, конечно, это удача, что я тут; оба они умные, хорошие, втроем нам интересно, а главное — они не знают и не догадываются, как мне плохо сейчас. Это помогает. Иногда сочувствие — ужасно занудная вещь.

Завтра 7 ноября. Праздник. Немцы все отступают. Мы чувствуем, что победили. Престиж Сталина огромен. Но умные еще не думают, что война скоро кончится. Я же, как и в первые дни войны, ощущаю ее только как сплошной ужас и бред.

Очень жутко в темноте ходить по московским улицам. Освещены слабо, да и то только главные улицы. На остальных так темно, что пробираешься ощупью, натыкаешься на прохожих. Я сижу вечерами дома, то есть у Агаповых. Они меня подкармливают, о добрые, спасибо им. Очень все мы голодные. Но военные ходят сытые, сильные. Это законно. Скорей бы Победа!

Холодно. А зимой как будет! Согреваешься только под утро в постели. Вчера пошла в баню. Стояла в очереди два часа. И в бане было весьма прохладно. Красивы русские женщины — голые. А оденется — и не увидишь, что у нее красивое тело, так все бедно и дурно одеты. Но в бане обнаружилось, к моему удивлению, что есть и толстые, упитанные женщины. Непонятно откуда. Я же тощая, как кость. Вешу пятьдесят кило. Однако ем в хорошей столовой Академии наук — Гри устроил. Но один обед — это, очевидно, мало на целый день. Вероятно, слабое питание способствует моей «бездеятельности». Голода я почти не ощущаю.

Привыкла. Но постоянная усталость угнетает. Через год что будет со мной? За страну мою я уже могу быть спокойна. Мы вылезли из бездны. Но масса людей гибнет и погибнет еще как результат этой катастрофы — войны!

11 ноября

Сегодня я подала бумаги в Моссовет о возвращении нам — Цаплину квартиры. Очаровательное здание, красный с белым старинный дом. Золотая пропорция лестниц и комнат. Потолки невысокие, теплый уют. Не знаю почему, уют так редко ощущается в новых зданиях. «Подала» я бумаги толстому молодому человеку по фамилии Резников. Просила, чтобы Пронин, председатель Моссовета, принял меня лично. 13-го велели прийти за ответом. Дальнейшее течение жизни зависит от того, вернут нам наше гнездо или нет... Завтра за кило меду, которое преподнесу домоуправше дома, где живут Доливы, получу справку, что Алена имеет в Москве постоянную жилплощадь и потому сможет получить пропуск. Я ничего не понимаю (и не пытаюсь понять) во всех этих советских правилах прописки... и в бюрократических изгибах... спиралях... заторах...

16 ноября

Алене послан пропуск. Толстый человек из Моссовета вместо Пронина велел идти к Белкиной — она председатель Свердловского райисполкома. Они гоняют меня от одного к другому. И я покорно бреду... как в бреду...

Звонили из филармонии. Опять предложили просмотр в субботу 20-го. Побежала за Вероникой, но Эрнестина ее не дала в аккомпаниаторши, хотя я молила, умоляла, уверяла, что это только на субботу. А ведь это я сосватала Веронику Анатолию... Злобная ревнивица Эрнестина!

17 ноября

Вчера мы хоронили Эсфиль Львовну Заславскую, жену журналиста Д. Заславского, «разбойника пера». В гробу она была такая же красивая, как в жизни. Барнаульская страшная зима. И теплое домовитое гнездо на улице Короленко у Заславских. Она была лучшей из всех. Я очень любила ее. Мудрая, седая, чуткая, в высшем смысле — добрая. Если б не тогдашняя тихая пристань у Заславских, я бы, наверное, потонула в неприятных волнах барнаульского Ледовитого океана. И отношение ее к Алене! Чудесная, красивый человек. Они осиротели, бедные. Старик Давид Осипович Заславский, ее муж, какой-то несимпатичный и, по-моему, неумный, хоть и знаменитый журналист. Это он написал про оперу «Катерина

Измайлова» про Пятую симфонию гениального Шостаковича, что это «сумбур вместо музыки».

18 ноября

Дело в нашей квартире в лапах у некоего Воронова. Если он искренен (ибо он «помогает»), то квартира вернется. Он бывший наш домоуправ. Сейчас он начальник Свердловского жилуправления. Я не знаю, как намекнуть ему, что я заплачу десять тысяч рублей тому, кто поможет. Мне так неловко, что я извиваюсь, как червь, а об этом не говорю. Вообще все эти мои хождения и разговоры о возвращении нам квартиры невыразимо мучительны.

Просмотр в субботу вновь отпадает!.. И к довершению всего я снова потеряла свое кольцо, которое подарила мне мама: сапфир в платине и в окружении брильянтов.

20 ноября

Воронов бегаёт от меня. Сердце мое болит, как болят зубы. Тоска и беспокойство за Алену и Цаплина. Вообще на этом фронте — плохо.

Вчера была на Восьмой симфонии Шостаковича в Большом зале Консерватории. Первый, на кого наткнулась, — Н. Я. Мясковский. Неожиданно похорошевший и повеселевший. У Держановских он был всегда гораздо мрачнее и молчаливее. А тут — стал открытее и выиграл в обаятельности. Поговорили. Я ему даже рассказала, что хочу петь только под гитары. Оказывается, он тоже любит гитару. Славный он и чуткий!

Зал консерватории еще чудеснее, чем был. Я так любила его всегда. Мы, уцелевшие, встречаемся радостно, как после кораблекрушения. На фронте — наша победа за победой.

Восьмая симфония безотраднa и иллюстративна, как музыка для кино. Но интересна!

Колечко нашлось! Шурик сунул его в ящик с игрушками.

Мы сдали Житомир. Но мне не страшно: конечно, немцы сейчас бешено бьются; все равно они проиграли.

Я нашла двух хороших гитаристов в аккомпаниаторы.

21 ноября

Сегодня была, наконец, у старика Агафошина. Это наш гитарный маэстро. Все наши русские гитаристы-шестиструнники — его ученики. Несмотря на то что старик исконно русский, в лице у него есть что-то испанское. В общем, мы с ним говорили на нашем «птичьем» языке. Он птица моей породы. И насчет гитар — мы пели в унисон. Когда я ему сказала о моей мечте, о гитарном квартете, он хитро улыбнулся и сказал: «Да, я такой квартет намечаю». Перед войной он был у меня с сыном. Про двух гитаристов

от филармонии сказал, что ничего, но грубоватые. «Я приду на репетицию и беру над вами шефство». Своим визитом к нему я очень довольна. И буду петь дальше только под гитары. Хороший старик Агафшин!

Была у моих друзей-пианистов Элли и Шуры Николаевых. У них уютно и семейно. Алеша вырос, прелестный мальчик, и, когда я смотрю на него, меня душат слезы об Аленушке и Ванюше... Нелепая я. Бездомная. Неделовая! И удачи нет. Господи, помолись тебе, помоги мне, дай мне снова создать гнездо! Дай мне успокоить бедного Цаплина! Чтоб дети мои были около меня и росли правильно, здорово, в семье. Чтоб были у меня четыре гитариста, и чтоб я пела, и чтобы сама кормила себя и детей и Цаплина. Это все, чего я хочу! Ведь не так уж это много! Почему другим дано и есть у них удачи? А у меня все трудно, неудачно. Господи, помоги мне! Господи, помоги людям! Прибавь им на долю счастья больше, чем было до сих пор!

Завтра с Поповым (председатель Московского художественного фонда) иду вызволять скульптуры Цаплина. Оказывается, они целы!

Завтра изловлю Воронова.

Наша соседка по дому из квартиры 26-й Евгения Александровна, или Женька Стрелкова, жена актера Балабана, с которым она разошлась еще до войны, сказала мне: «Живи у меня и прописывайся здесь». Я ей так благодарна! Она порою вздорная, вспыльчивая, но отходчивая. Она художница, с большим вкусом расписывает косынки — модели для фабрики, работает не покладая рук. У нее миленькая дочка Слава. Женю нельзя назвать красивой, но она привлекательна. Чистюля до педантизма, избави бог что-то не туда положить! Властная, но я ужасно ей благодарна. Агаповы меня, избави Бог, не гнали, но ведь самой понимать надо, что людям трудно. Я перекочевала к Женьке. Ючусь на кухне. Сплю на сундуке. Ничаво!

22 ноября

То, что война сделала Цаплину, — ужасно. Я еще надеюсь, что где-то он спрятал свои лучшие скульптуры! Неужели все, что он создал, погибло?! Вчера с Поповым — председателем Московского художественного фонда — мы были в сарае на Каляевской, где свалено ничтожное количество цаплинских наименее ценных скульптур. Когда мастерскую должны были занять, звонили в МОСХ, чтобы они заплатили те гроши, которые надо было внести за мастерскую. Они не заплатили. Погибли произведения, которых добывались лучшие музеи Европы. Цаплин их там, за границей, не продавал, вез к себе, для своей страны все лучшее, что сделал. И вот теперь нет его скульптур. Боюсь думать о том, что будет с ним,

когда он это узнает. Если я больна от этого, то что же будет с ним?! Вчера я пришла домой и свалилась. Заснула каким-то свинцовым сном. Мне так жаль Цаплина, будто ножом мне режут сердце. Мне жаль его скульптур! Он жил, работая. Он жил, высекая из камня и вырубая из дерева свои мысли и чувства. Он любил свои скульптуры больше, чем Алену, больше меня, больше всего на свете. И когда работал — он становился спокойным. Он ценил мое мнение (но с ним, конечно, не считался). Если я говорила: «Это хорошо», он был счастлив. И говорил: «Татьяне дано понимать». Когда я подумаю, что нет его «Мандриллы», нет его «Музыки», — мне делается скучно жить. То, что война уничтожает искусство, — это страшнее, чем то, что она уничтожает людей. Люди рождаются и умирают. Но искусство — неповторимо. Оно является выражением лица народа, его душой. Я считаю Цаплина самым интересным скульптором нашего времени в нашей стране. И вот то, что он создал, — погребло!.. Но надежда еще теплится во мне.

24 ноября

Была в филармонии, договорилась с Дителем и Челноковым. Дала им, чтобы аранжировали, «Шарф голубой», «Фонарики», «Разносчик» и вальс «Милая».

Видела Владимира Власова, композитора. Встретились в филармонии случайно, и он повел меня в свой роскошный кабинет. Он ведь директор филармонии. Кабинет действительно великолепный, голубой, просторнейший, с красивыми креслами, с огромными письменными столами. А Власов все такой же: молод, самовлюблен. Был «ласков» со мной. Мальчишка! А вечером у Жени Стрелковой, моей соседки, были разные люди и черный киноактер Вейланд Родд с Лоритой Марксити. Очаровательная пара! Я пела.

28 ноября

Вчера Лорита Марксити и Вейланд Родд пели у художницы Евгении Александровны Стрелковой. Но Б. Н. Агапов сказал о Лорите: «Это не искусство!» Женя говорит то же. Почему не искусство?! Я от души любовалась ею, слушая ее с радостью. У публики она имеет большой успех, что и понятно. Она молода, удивительно хорошеет, когда поет. Аккомпанирует она сама себе на концертине. Делает это отлично. Голосок маленький, высокий, чистый. Поет как птица. И за то, что вся она как птичка, я нежно ее люблю. А вот Вейланд — настоящий артист. Он очень некрасивый и очень негритянский негр — когда поет, становится прямо-таки красив. В песнях его есть мысль, чувство, артистизм. Они муж и жена, они вместе и в работе, и перед миром — это их счастье.

Мы подружились. Вейланд сказал: «Если вы там, в Нью-Йорке, бросили все — и богатство и удобство оттого, что любили эту землю и никакие деньги любовь эту не заменили, — вы настоящий

человек». Он-то понял. А вот мои «земляки» совсем не поняли, никто из них никогда так обо мне не сказал. Я и сама об этом никому не говорю. Ни к чему. Да, я, как зверь, любила свою землю, но, ох, трудно пришлось мне по возвращении, как и всем живущим на моей Родине. Трудная жизнь у русских людей. Но все мы помалкиваем, о многом молчим наглухо. Ох...

3 декабря

От Цаплина ни одного письма. Еще в октябре я послала телеграмму с просьбой продать патефон мой. От него ни копейки. Продаю Судейкина «Божью мать», которую я так любила. Все картины, что дарил мне Григорий Васильевич, я давно отвезла ему, на него обозлившись. Помню, позвала на подмогу соседку Женьку Стрелкову, и мы с ней погрузили на такси и «Портрет Петра Первого» Антропова, и пейзаж Сомова, и дивный букет Чехонина, и пейзаж Крымова, и еще две-три Бенуа и Борисова-Мусатова, но «Божью мать» он мне потом снова притащил. Дивная вещь! Ее написал Судейкин. «Божья мать» с младенцем, обрамленная пунцовыми розами, — одна из лучших его картин, хотя написана в непривычной ему манере.

Надо достать десять тысяч рублей и дать их Воронову. Познакомилась у Жени с некой адмиральшей, которая желает жить в Москве, обязательно в нашем доме. Обещала ей, если поможет с квартирой в смысле хлопот, дать на полгода третью нашу комнату. Она взялась помочь. Я познакомила ее с Вороновым. И она уже — молниеносно — имеет комнату в нашем доме — он устроил. Но с квартирой она мне не помогла. Стоит описать ее самое и ее «прием» Воронову, как некую иллюстрацию к нашим нравам.

Она — молоденькая, крашенная блондинка. Элегантна в дурном вкусе, но чувствуется шука большого плавания. Вечер начался с того, что она попросила меня прийти пораньше, дабы защитить ее от некоего казахского министра, визита которого она ожидала. Позже должен был явиться ОН, то есть Воронов. Казах (заместитель председателя казахского Совнаркома) пришел. Рябое косоглазое лицо. Ужасающе распущенные манеры. Ей нужно было получить от него какие-то небольшие блага. Она извивалась перед ним, хохотала, обольщала. Он загнал ее в ванную, откуда она довольно быстро вылезла растрепанная, в растерзанной кофточке, помятая и с подтеками губной помады на крупном ротике. Я позвала ее в уголок и сказала, что, если Воронов застанет ее во флирте с казахом, весь ее «prestиж» (ха-ха!) лопнет. Она живет в хорошем большом номере в гостинице «Москва». Всюду понатыканы фотографии ее мужа-адмирала. У него тонкое, умное лицо.

Воронов пришел, а казах исчез. На столе появилось вино и спирт. Селедка, сардины, картошка и даже сахар к чаю. Воронов держался просто и весьма прилично. Спирт пить не стал. Вина

выпил в меру. Мы сидели втроем — он разоткровенничался. Сказал, что он бывший беспризорник, вор, мимоходом и небрежно сказал: «На моей судьбе шестнадцать мокрых дел, то есть убийств». Мы с Наташей (так зовут Щучку) не уточняли. Врал он о себе интересно, улыбался, показывая гнилые зубы, которые неприятно удивляют на его свежем и молодом лице. Прошрое у него, по его словам, очень страшное, особенно оттого, что он и не считает его страшным или дурным. Наоборот, он им бравирует: вот, мол, я какой, а теперь вышел в люди и сижу с вами, милые дамы!

О квартире моей сказал, что дело трудное, подвигается неважно, квартир в Москве нет. Предложил сделать подлог с квитанциями, будто мы платили за квартиру. Я категорически отказалась, пояснив, что подлог и вранье в делах для нас с Цаплиным — дело непривычное и все равно мы его не сумеем «проверить». Он усмехнулся, и я почувствовала, что он окончательно понял, что я идиотка. Тут пришел новый гость: красавец моряк. На нем бриллиантовая звездочка и какая-то золотая нашивка. Спросила, что за нашивка. Оказывается, это вместо шести орденов. Он наш военно-морской атташе в Англии. Дипломат. Наташа в него влюблена. Моряк очень мил, воспитанный, умный и держит себя достойно. О себе — ни слова. К Наташе, по-моему, довольно равнодушен. Моряк тут же договорился с Вороновым о квартире для себя. Правда, у моряка всякие наркомовские письма к Пронину, да и шесть орденов — дело, конечно, солидное. Моряк вообще был единственно приличной нотой за весь вечер. Наталья старалась быть «дамой общества». Но ее скверно крашенные волосы, ее манеры и визгливый хохот ее выдают.

Принимая во внимание, что жены наших больших людей военного мира почти все крашенные блондинки, для Воронова она вполне «дама», хотя бы она тут же и отдалась ему самому под пьяную руку. Он просто счел бы это «благодарностью» за комнату. И очень возможно, между ними это уже согласовано. Или уже было.

А меня, когда я с такими, души тоска и скука. Непонятно, зачем я была там. Жаль времени, истраченного на фальшивые ноты. Вообще все это звучит как самая пошлая из всех песен Никиты Богословского.

Квартиры мне Воронов вернуть не поможет. И не может. Куда ему? Даже если я ему и сумею дать десять тысяч рублей. Чую недоброе. Всю ночь я сегодня кричала во сне и плакала. Алена и Ванюша!

6 декабря

Воронов врал мне. Оказывается, есть уже резолюция Пронина о том, чтобы полковнику предоставили другую квартиру, а нам отдали нашу. Чужало мое сердце, что что-то он не так не то говорит. Ладно. Делаю вид, что он лучший друг. И ищу управы на полковника, занявшего нашу квартиру.

8 декабря

На голову сыплются всякие потрясающие события: квартиру нам вернули! Формально, ибо полковник продолжает жить. А я должна вселяться. Я еще ничего не ощущаю. Знаю только, что еще предстоят всякие трудности. Денег ни гроша.

Вчера видела Янковского. Он был искренне рад. Я вспомнила, как он мучил меня просмотрами в Ленинграде, и все вместе с Театром миниатюр на улице Желябова вспомнилось — мучительно-сладко, как песня.

В первый раз вчера наконец я репетировала с гитаристами Дителем и Челноковым. Они славные парни. Играют неплохо, но пока грубо, деревенно: нет в них того неумовимого, что называется артистизмом. Мне кажется, что оный мог бы в них выработаться. Странно, что для русских людей сегодняшнего дня самый непосильный ритм — это ритм вальса. Они просто разучились его чувствовать. И мой «Шарф голубой» висит в воздухе как топор. Но зато «Фонарики-сударики» они играют хорошо, — такая удалая русская мещанская полька.

Господи, помоги, дай сил!

Сталин, Рузвельт и Черчилль имели свидание в Тегеране. И даже праздновали день рождения Черчилля и ели именинный пирог с 69 свечками. Декларация потрясла меня своим стилем: высокий план, мощь, а главное — простота и никаких сладких слов. Вечером у моего милого Бориса Николаевича с Нонной был неистовый кинорежиссер Пудовкин. Сидеть на месте он не способен. Все, конечно, говорили о Декларации, все были взволнованы. Пудовкин говорил, что все мы должны стать до конца честными, с чувством собственного достоинства и должны возлюбить и возгордиться (в самом хорошем смысле слова) тем, что в нас, русских, есть хорошего, высокого и благородного. Ибо мы вышли на мировую арену. Он очень понравился мне своей искренностью и своим неистовством, слегка наигранным. А я — пусть хоть под забором от голода-холода издохну — все равно буду верить в Добро и Правду. И дело вовсе не в «мировой арене».

11 декабря

Нет, Воронов не врал. Квартиру еще не вернули... А от Цаплина ни слова, мучаюсь тревогой за него и за Алену, места себе не нахожу. Как Цаплин не понимает, что мне нужна, необходима сейчас моральная поддержка!

Была на Двадцать четвертой симфонии Мясковского. Не сильно, но приятная искренняя музыка.

Упросила Изоуправление послать телеграмму в Комитет в Барнаул: «Как здоровье Цаплина, когда выезжает?» Дали слово, что пошлют. Это важно. Пусть Цаплин чувствует, что его помнят.

Москва в снегу. Уютная. На дворе тепло, всего минус один

мороза. Красиво. На фронте затишье. Мне снился сон, что немцы пустили какие-то страшные газы. Черный дым столбами поднимался к небу и врвался струйками в открытые форточки. Во сне мы стояли рядом с Агаповым, и я говорила ему: «Я не хочу умирать так. Нет! Я не хочу такой смерти!» И было так серо, так уныло и отвратительно-скучно. Но, слава Богу, Алена и Ванюша были далеко.

В воскресенье повидаю Канина, который здесь. Буду просить его помочь Цаплину, когда тот будет проезжать через Новосибирск. С тех пор как он стал директором Пушкинского театра, он разительно изменился, держится как надменный петух, и когда я сказала ему об этом, он ответил: «Положение обязывает». Иди-от!

Кроме обеда в столовке, ничего не ем. Плохо. Хоть бы поскорее просмотр в филармонии, хоть бы прошел благополучно. Поскорей бы мне зарабатывать! Продам судейкинскую «Божью мать» Людмиле Александровне Кузьминой...

12 декабря

Сегодня в нашем лифте встретила Василия Константиновича Новикова, соседа, актера МХАТа. Он посмотрел на меня и, очевидно, понял, как мне плохо. Ни слова не сказав, он зашел к себе, а потом поднялся к Жене, принес мне туда мешок картошки, свеклы и пачку печенья. Добрейший, интересный человек, но беда — пьяница! Вечером пришли Саша Тышлер и Цагарели. Тышлер — обаятельный, простой. Я очень люблю этого замечательного художника. Он рассказывал про актера Михоэлса, который позавчера прилетел из Нью-Йорка. На обратном пути, когда они летели над океаном, у них сломался мотор, потом второй, и если б не замечательный их пилот-американец, они бы погибли. Им пришлось сесть на какой-то пустынный остров. В Нью-Йорке Михоэлс говорил на митингах, где собиралось сорок — пятьдесят тысяч человек. Он носит орден Ленина — там этот орден люди целовали! И так чувствовали Михоэлса, что после одного митинга от наплыва восторженной толпы трибуна подломилась, и Михоэлс провалился и сломал себе ногу. Но ему быстро ее починили. Сталину американские евреи, рабочие-швейники, сшили шубу, шили ее тысячи рабочих — шить ее (каждый по стежку) было особым почетом. Это самая дорогая шуба в мире. Из Америки ее сейчас везут в Москву...

Хожу по людям. Была у Фонвизиных. У них всегда, несмотря на нужду и недостатки материальные, уютно, человечно. Оба они — настоящие люди! Он при мне писал чудесный натюрморт. Потом пошли с ним к художнику Осьмеркину. Большая студия и много картин. На десять — двадцать безвкусовых вдруг одна неожиданно хорошая. Пришел Саша Тышлер. Вот среди художников я чувствую себя совсем среди своих. И они ко мне как к своей. Я для них — «жена Цаплина». И удивительно! Они считают меня

замечательной женой, преданнейшим другом Цаплина. Хотя и все знают про Григория. Но для них я главным образом «жена Цаплина». Осьмеркин славный. Очевидно, вкус — это еще отдельный талант, и у Осьмеркина его нет. А вот в Фонвизине органический вкус. А самый талантливый — это Саша Тышлер. Он большой талант. И чудеснейший человек.

Продолжаю репетировать с гитаристами. Тогда как с Сазоновым мне пелось как птице, с ними мне трудно и невкусно. В Сазонове был талант, богом данный артистизм. Увы, я убедилась, что этому не научишь... А Дитель и Челноков — ремесленники, хоть и отличные гитаристы. Особенно Дима Челноков.

13 декабря

Сегодня я шла по улицам и плакала навзрыд... Нам, вероятно, не вернут квартиру. Понять, что это значит, может только тот, кто живет в наши дни в Москве. И поразительно: об этом, то есть о наших общих для всех жителей СССР мучительных трудностях с жильем, о тесноте, о неудобствах квартир, невероятных, немыслимых, не найдешь ни слова ни в одном романе, ни в одном рассказе наших писателей. Это поразительно, как они умеют обходить молчанием и эту, и другие животрепещущие проблемы нашего времени!.. Может быть, именно за это они живут гораздо удобнее других... Это плата за молчание...

Меня обманывают, обнадеживают и врут. Боже мой, как беззастенчиво все у нас врут!

Трудно себе представить количество тупых, бездарных чиновников, которые паразитируют на нашем государственном органе, особенно там, где дело касается искусства...

Мне стыдно говорить другим о своих горестях, ибо у многих горести гораздо большие, чем у меня,— потому изливаюсь в этой тетрадке. Она словно пухнет от моих жалких слез. Презираю себя за слабость.

15 декабря

На наших бумагах резолюция Пронина: «Т. Астафьев! Надо помочь скульптору Цаплину квартирой. Пронин». Теперь надо идти к Астафьеву. Зелинский знаком с ним. Я написала Корнелию письмо, ибо говорить, сиречь умолять, я уже не в силах. Не могу! Хотя мы и живем бок о бок. Писала кровью. Умоляла его позвонить, чтобы Астафьев меня принял! Астафьев, говорят, очень суровый человек!..

От Цаплина ни звука... Сегодня написала художнику Шмариннову, который стал крупным администратором, закончила: «Я очень прошу Вас, Вячеслав Алексеевич, принять решительные меры к тому, чтобы спасти хотя бы то малое, что осталось от скульптур Цаплина. А то я действительно хожу и хожу и прошу, а

остатки скульптур так и продолжают валяться в заброшенном старом сарае на Каляевской».

Корнелий обещал позвонить! Но сделает ли?!

20 декабря

Нет, Татьяна Ивановна, мать моя, не жди удач! Кузнецов, гитарист МХАТа, уезжает на месяц. Мой третий по счету гитарист в пару Дителю — это Челноков. Хоть и усталая от неудач, я все же упряма как дьявол. Буду петь только под две гитары. Только бы не содохнуть. Январь будет страшным. Обедать не будет.

Все уходит и изменяет в этой жизни, но одно никогда не изменяет человеку: его работа. Работа над чем угодно всегда дает плоды. И не в удачах дело. Это как Станиславский: в молодости на фотографиях лицо — как ни странно говорить это — даже чуть пошловатое и в общем обыкновенное, а к старости — какое у него стало лицо! Значительное, прекрасное. Господь Бог дает нам материал: самих себя. Хорошо сумеешь сделать из себя нечто ценное. Это может каждый, надо только работать упорно над тем, что мы любим, развивать то, что отпущено нам, хотя бы в небольшом количестве, работать над качеством этого количества. Это я до глубины души знаю. И я люблю работать, ухажу в это с головой. Я хочу, я требую от себя высокого качества!

25 декабря

Сегодня наконец меня принял Астафьев, председатель Моссовета, говорил со мной любезно, доброжелательно. «Придется покашлатиться с полковником. Он так просто не уедет». Обещал через четыре дня дать точный (?) ответ. Все выглядит уже лучше, веселее, чем было. Неужели я буду снова у себя?! Дома! Я так люблю нашу квартиру. Я вымою все стены, полы, я ее снова выхолю и уберу. И дети будут около! Дожить бы до этого поскорей!

У меня снова три гитариста: Дитель, Кузнецов и Вещицкий. Челнокова мы отклонили. Кузнецов — прекрасный музыкант. Вещицкий еще лучше. «Шарф» начинает голубеть и виться. Просмотр в первых числах января. Почему нужны эти дурацкие просмотры?!

1 января 1944 года

Встреча Нового года у Нонны. Борис Николаевич мил, Нонна замученная. Миша Цейтлин с новеллой о Коле Елизарове, сыне Чан Кайши. Будто бы Чан Кайши учился у нас и какая-то русская, с которой он жил, родила ему сына, которого назвали Николаем, а фамилию дали Елизаров. Вот о приключениях этого Коли и рассказал Миша, которого я вижу впервые, даже не знаю, кто он по профессии.

Подруги Нонны: Люся и Нина Дадидани — две женщины, как

из книги Хемингуэя. Нарядная елка в углу, как в детстве... Слезы подступают к горлу, душат — об Аленушке! О Ванюше. О доме, своем доме! О своей семье!..

Григорий Васильевич дал талоны на обед на весь январь. И подарил мне сегодня дивную акварель — фрагмент к Демону — Ангел, рисунок Врубеля. Спасибо ему за талон. Ангела я ему вернула.

Приехал... Вертинский!!! Вот так номер! Будет петь.

Мои гитаристы все лучше и лучше.

Просмотр 5 января. Челноков возник опять, он музыкален, Дитель трудолюбив. А я упряма как вол. Только бы успеть! «Столько дел — не успел, ан тебя зарыли»...

6 января

Просмотр предварительный прошел сегодня в филармонии, а основной будет 8-го. Слушали: Раиса Абрамовна Ширвинд, Власов, Софья Федоровна Шервацидзе, Аммосов (художественный руководитель) и еще какие-то. У меня от волнения тряслись ноги, но голос пел как всегда. У Аммосова было скучное лицо. Софья Федоровна на «Шарфе голубом» заплакала и сказала: «Большое мастерство». После Раиса исчезла — велела подождать, но я ушла, а потом позвонила ей. Она сказала: «Мне очень понравилось». Я говорю: «А другим?» Она: «С другими я еще не говорила». Этот ответ — плохой ответ. В общем, если я стану артисткой филармонии, я поверю в удачу. А вовсе не в «большое мастерство». Гитаристы ничего, артистизма в них мало. Но ничего.

От Цаплина ни слова. Я извожусь от беспокойства и тоски по Алене.

Обещали через пять дней освободить большую комнату, где рояль. Я стала совсем как одна из «Пары гнедых» — заезженная кляча...

9 января

Я шла вчера в филармонию как на битву за право называться Человеком. Просмотр происходил в пышном кабинете у Власова. Передо мной пели какие-то бас и певица. У певицы громоподобный голос. «Весна» Рахманинова пророкотала грохотом зимних льдов. Ей дали пропеть две вещи и сказали: «Достаточно». На басы Власов уныло рылся в бумагах и звякал ключами. Потом пела я. Сидели дамы, толстые в шубе и мехах, еще один толстяк (кто?) и еще какие-то, и еще худенький староватый интеллигент. Прекрасно играли мои гитаристы. Пела я сегодня гораздо лучше. «Шарф» начинает чуть виться. Нравится слушателям он чрезвычайно. Власов к концу глядел на меня с нежностью. Спела я, конечно, все пять приготовленных песен. Женечка, соседка моя, которую я взяла для храбрости, сидела в уголке. Мы кончили. Вышли. Нам

велели пройти наверх в канцелярию. В кабинете совещались. Толстяк вышел и, улыбаясь, подошел ко мне и сказал «спасибо», крепко тряхнул мне руку. «Готовьте сольный концерт — мы позволим слушать вас Сурина». В общем, с завтрашнего дня я — артистка Московской филармонии! «Достигла высшей чести я! И бантик у меня на шее!..» Я рада, как кошка, которая съела кусок печенки. Завинченная моя душа чуть-чуть развинулась. Гитаристы довольны.

11 января

Наши репетиции для меня наслаждение: гитаристы теперь лучше Минина и Крематата — в их аранжировках есть наивность и непосредственность. Есть та чистота, которая живет в моих песнях. А изящество и «артистизм» появятся, когда они по-настоящему влюбятся в эти песни, и появятся, конечно, от опыта, от самой работы. Вчера мы делали «Русских девушек» и «Разносчика». Найти таких аккомпаниаторов — большая удача! Мы советуемся о каждой вещи, радуемся удачному оформлению.

Я говорю им: это поется под лютневый аккомпанемент, а это надо сделать разудалой полькой, а вот это — сентиментальнейший томный вальс. Они меня слушаются. Оба музыкальны. А как люди — скромны, добродушны, очень русские. Сегодня несу в филармонию для утверждения в Главлите мой репертуар.

16 января

С квартирой меня уже пригвоздили к кресту: вчера опять была у Астафьева: этот проклятый сукин сын играет, что ли?! «Нет, мы квартиру вам не вернем», — сказал он. Почему можно сегодня так, а завтра эдак?! Почему можно врать людям? Но сегодня две радости: письма от Алены и Цапина — живой человек из Барнаула привез их — Виноградов, корреспондент «Комсомольской правды», он едет обратно послезавтра! Моя дочь, умница, написала большое, ласковое письмо. Стиль у нее своеобразный. Ласочка, радость моя, сокровище мое драгоценнейшее. И Цаплин ласков. Здоровы. Он пишет: «Алена здорова, как скала. Учится прекрасно». Сил у меня от ее письма прибавилось в миллион раз. Буду биться дальше. И второе: спела первый концерт в Москве, в МГУ. Были еще Галина Барина и прочие настоящие артисты. Но расскажу: я днем пошла посмотреть, где это будет. Сказали: анатомический кабинет в МГУ. Иду, день чудесный, вхожу в университетский двор: красное здание в глубине. Подхожу. На двери огромными буквами: морг. Вот тебе и первый концерт! Мне стало жутко... Плохо, что там первый мой концерт...

Пели мы в лекционном зале над моргом, в анатомическом театре... Хлопали солидно, не больше. Я пела легко, но пусто оттого, что меня не оставляла мысль о морге. То, что первый мой концерт из всех московских клубов и театров именно там,

показалось мне зловещим предзнаменованием... Но мужчины наши бегали «смотреть»!.. И возвращались бледные, притихшие. Молчали, слава Богу...

Нет, не было у меня контакта с публикой! Я не верю ей, публике, я боюсь ее, как опасного, непонятого зверя: а вдруг укусит?.. Во Всероссийском театральном обществе три года назад на выставке Артура Вл. Фонвизина, в самый первый раз на сцене, я вышла, и колени мои дрожали от страха, спазма душила горло. Но после четвертой вещи я спела еще две на бис. Я боялась безумно. Но я очень понравилась. И не потому, что я была моложе, красивее и прочее. Совсем не потому. В чем же дело?

Гитаристы мои очень хороши.

17 января

Успех так нужен мне! Ведь если мне не дадут хлебную карточку, я погибну от голода. Концерт будет завтра.

19 января

Боже, дай мне еды и сил. Вот моя молитва.

22 января

Власов в хлебной карточке отказал! Мне очень страшно, что мне придется погибнуть. Я одна. Обед на февраль у меня не будет. И, кажется, не будет и хлебной карточки. Что же делать? Как я уцеплюсь? Сил уже так мало. Главное — печаль давит сердце. Гнусная жизнь кругом. Все голодные и нищие. Мы побеждаем еще и оттого, что человеческая жизнь у нас недорого стоит. Да и русское долготерпение дольше всех земных терпений...

Моссовет — лавочка жуликов. Боюсь, что и документов я своих не увижу. После того как Астафьев — заместитель председателя Моссовета — обманул меня, могу ли я верить в свое гражданское право? В наши законы? И «выдающийся скульптор Цаплин» — кому нужно его искусство в нашей стране?!

Плохо. Все продажное и живое. Хожу в филармонию. Смертельно боюсь, что в концертах меня будут занимать редко, а для того, чтобы окрылиться и иметь успех, мне надо петь как можно чаще. До успеха надо тоже добираться шаг за шагом — он сразу не дается. Эх, Татьяна, никому не нужны ни твои песни, ни ты сама.

23 января

Сегодня я с Верочкой Марецкой была у Фонвизиных. Мы с ней добрые знакомые. Он подарил мне чудесную акварель: Шехерезада поет и играет на лютне, а кошка слушает. Я повесила

картину у Жени Стрелковой. А Марецкой он подарил акварель: цветы. Верочка Марецкая — простая и веселая, прекрасная актриса. Я люблю обоих Фонвизиных, но особенно их сына Сережу. Вот человек, на котором написано: «Как я счастлив, что меня родили! Как хорошо жить!» Ему семь лет. Он весел без всякой назойливости. Глаза как веселые черные жуки.

Вечером Фонвизины пришли к Жене. Пришли мои гитаристы. Пришел старик Агафошин. Мы пели. Фонвизины просто сияли от восторга. Артур Владимирович просит писать еще один — уже третий — мой портрет.

Карточки хлебную и продовольственную мне таки выдали в филармонии, ибо я подарила Раисе Ширвинд тот большой мамин аквамарин в золоте, в рамке брильянтов — кулон. Ширвинд удивилась, но вцепилась. Продажная душа. И выдала карточки, дай ей Бог здоровья!

25 января

Грустные мои именины.

27 января

Праздник! Огромный! Немцев отбили от Ленинграда, отбили кругом, и Ленинград сам салютовал победу. О как я люблю этот город! От радости я плакала навзрыд...

28 января

Этот ангел металлург Сергей Германович бросил с неба розу к моим ногам: неожиданно примчался с билетом на концерт Вертинского. Билет один, но я велела Жене ехать со мной, обещая, что мы прорвемся вдвоем на один билет. Так оно и вышло. Билетерши почему-то верят, что билеты у меня есть, и подруг своих я часто беру с собой. Вертинский — огромный мастер, или, лучше, — он просто Мастер своего дела. Руки его тоже поют. Жесты необыкновенно выразительны! Мастер!

Концерт был закрытый. В Доме ученых. Множество народу. Наконец занавес открылся. Посреди сцены — рояль. На эстраду, неловко сутулясь, вышел высокий худой человек в черном фраке. Он стоит на сцене строго и тихо. Из другой кулисы незаметно появился незаметный и некрасивый пианист, сел за рояль. Вертинский объявил: «В степях молдавских», запел, и мне стало ясно, что он очень волнуется. Высокие ноты хороши те, прежние, от прежнего Вертинского. Но он, увы, не прежний! Старое, обрюзгшее, неприятно по-бабьи старое лицо...

3 февраля

Нам вернули одну комнату. Когда я вселюсь в нее? Вернули всего одну. Это почти то же, что бездомье. Буду биться дальше за всю квартиру. Но, господи, когда я буду в этой своей комнате — я выплещусь. Это то, о чем я мечтаю неустанно. Хочется больше всего — спать. И чтобы дети спали около.

4 февраля

Вчера пришли к Женьке слушать меня и гитаристов Борис Николаевич Агапов с Нонной, Фонвизин, оба Арго и неистовый кинорежиссер Пудовкин с очаровательной юной красоткой по имени Таня. Я угощала песнями, а потом картошкой с капустой и кофе с молоком. Гитаристам я заплатила по сто пятьдесят рублей, сказав, будто заплатили мне. А то, боюсь, еще сбегут! Пели. Борис Николаевич радовался — он, по-моему, боялся вначале: привел Пудовкина, а я вдруг плохо пою?! Но Пудовкин был в восторге. Сулят привести синклит «величайших», чтобы те помогли карьере.

8 февраля

Война откатывается все дальше. Мы почти у прежних границ! Но конец войны, по-моему, еще далеко. Возня будет. Жизнь трудна. Мы все мечтаем о мире, еде, о чистоте и уюте домашнего очага, о твердой почве под ногами. Ибо землетрясение продолжается, а сколько разрушено, сколько убито...

В воскресенье Фонвизин писал мой портрет. Наталья Осиповна помогала советами (но и мешала ему немного). Вот настоящая жена художника.

9 февраля

Оказывается, все было напрасно. Оказывается, надо было обращаться в суд, а не в Моссовет! А Моссовет не отдает мне теперь ни одной бумаги... Опять меня обманули. Обманули с самого начала: обманул Григорий Васильевич, обещав платить за квартиру, обманула броня, обманул Моссовет. Куда приедут Цаплин с Аленой? Что будет с Цаплиным, когда он узнает о гибели скульптур?! Я, как страус в песок, прячусь в песни, ибо, если бы не было куда спрятаться, я умерла бы от горя и возмущения. От великого возмущения Обманом. Нас обманывают на каждом шагу! Я скрутила сердце, оно равнодушное и не плачет. Оно раскручивается только в песнях. В этом мире лжи я глупая, у меня нет оружия против такого мира. И творчество Цаплина НЕ НУЖНО в нашей стране. Те из художников, которые в своих картинах лгут о нашей жизни в нашей замученной стране,— они нужны. А такие, как Цаплин — лгать не умеющие,— не нужны. У кого острые зубы

и когти — живут, плывут, не от таланта своего, а от приспособленности, а Цаплены гибнут. Я ненавижу тех, кто обманывает!

12 февраля

Восьмой (всего!) концерт в Военно-воздушной академии. Молодежь. Театр нарядный, небольшой. Мы пели вальсы: «Шарф», «С Васильевского острова» На бис — «Фонарики». И вот проверено досконально: легкий звук громче «весомого» звука. Громче всего был «Шарф», который я пела совсем легко. Успех!

19 февраля

Я хожу униженной просительницей, как нищая, молю подать мне милостыню, вернуть нам наше же собственное жилье! Ведь наши чиновники, эти бездушные бюрократы, ведь они тоже наши русские люди, но лгут постоянно во всем, они привыкли лгать! А я не могу привыкнуть, все поражаюсь на них! Да и на многое, а ведь пора бы привыкнуть! И то, что Цаплин, этот замечательный скульптор, никому здесь не нужен, он, который свои лучшие произведения вез сюда, не продавая их за огромные деньги, вез их сюда, своей стране! И вот никому ни скульптуры, ни он — не нужны! А бездарности имеют всё — за подхалимство! А лжецы лгут и в ус не дуют. Какой-то гипноз... Но молчание. Молчи! Молчу...

22 февраля

Вчера мы пели (я уже постоянно говорю «мы пели», подразумевая и моих гитаристов) у Петра Спиридоновича Агафошина. Был некто Ларин. Оказывается, тот самый, о котором говорил букинист Старицын, что у него лучшее собрание нот для гитары в России. Ларин молод, скептичен, сух и неумен, но и сего крокодила мы растрогали. Сегодня вечером пели в клубе Наркоминдела. Публики много, сцена и сам зал маленькие. Первой я спела «Москву» — патриотичные стихи Каролины Павловой, поэтессы девятнадцатого века, а музыку сама написала, съездив для этого к Заславским — у них рояль. Конечно, о том, что музыка моя, я молчу. Стихи К. Павловой очень для нашего времени. Мелодию сделала в стиле сороковых годов прошлого века. Гитаристы молниеносно выучили ее наизусть.

24 февраля

Вчера пришел к Женьке в гости ко мне Моисей Осипович Янковский. Конечно, я велела гитаристам прийти, — мне необходимо было, чтобы он послушал. Ведь он слушал меня «на первых моих

шагах». И я никогда не забуду, как он сказал свое вступительное слово обо мне тогда, у писателей в Ленинграде. Янковский похудел, постарел, похож уже не на черную таксу, а на дворнягу. У меня к нему тихая нежность, хотя я и вижу его насквозь со всеми его «некачественностями». Но в нем живет искренняя любовь к прекрасному. Он принес мне рис, банищу мясных консервов и водку на мандаринных корочках. Я ведь не пью и не люблю, но запах люблю. Женя сделала дивный плов. Он рассказывал о Фергане, о корейцах, которых переселили в Узбекистан, где они живут как в Корее, разводят рис и рыбу. Потом мы пели. Он сказал: «Пойте только старый русский романс». Сулит повести нас к Асафьеву — метру-композитору, знатоку русского романса, и чтобы тот о нас написал в «Литературе и искусстве». Янковский уедет на месяц в Ленинград, вернется и устроит наши концерты в ВТО и у писателей. Ох, он тоже из породы обещателей.

Умер Иван Иванович Соллертинский. Умер в Новосибирске. Человек, который интеллектуально так интенсивно жил!.. Помню его лекции — он был способен говорить иногда четыре часа подряд, и это было не скучно! Наоборот: блеск остроумия и эрудиции! Помню балерину, за которой он ухаживал, с которой потом так откровенно жил. Она от этого расцвела, из неинтересной мешаночки стала красоткой, даже острое что-то появилось в ней, интересное. Я от всей души улыбалась ей, здороваясь,— уж очень все на нее шипели и сплетничали. Итак, он умер. Как человек он не нравился мне. Но мне ужасно жаль, что он умер! Он говорил о музыке с истинным знанием дела; у него был великолепный вкус, и в своих суждениях он был строг и неподкупен. Он всегда оставался преданным поклонником и другом Шостаковича.

25 февраля

Мы ждем налетов, бомбежек, газов, ракет?! Я уверена, что что-то страшное немцы еще выкинут. Я в глубине души даже боюсь теперь, после того как носом чую в воздухе смертельную опасность, звать их сюда. Может, это лучше, что она там, в Барнауле, с Цаплиным.

26 февраля

Телеграмма с дороги! Из Перми! Едут... Будут со дня на день! Я так счастлива, что я даже еще и не в ужасе, как же они, где же они жить будут?!

28 февраля

Они едут, а крова над головой еще нет. Я бегаю из Моссовета в Мосжилотдел, из ЦК в Комитет — бегаю, ног под собой не чую...

Старицын принес мне рукопись о гитаристах в России. Это переписанные неким Паниным статьи о гитаристах. И автобиографии знаменитого Иванова и Русанова. Поражает и умиляет их глубокая бескорыстная любовь к музыке и гитаре. Как эти люди наперекор обстоятельствам оставались верными своей любви, как они, почти все самоучки, становились, благодаря упорнейшей работе, настоящими музыкантами. Есть статьи и об Агафوشине и самого Агафوشина. Их бескорыстие. Чистые сердцем люди.

29 февраля

Я пела в госпитале. Мы обошли шесть палат с ранеными — вот работа, которой я отдаю все свое сердце. Слушают с благодарностью, с радостью, бедные... Меня и гитаристов угостили чаем с хлебом-сахаром и с немножко колбасой.

29 февраля

Гитаристы мои приехали поздно, усталые, я сама была замученная. Очень жаль, что они играют в оркестре народных инструментов на балалайках. У балалайки треньканье, а не звучанье! Челноков — гораздо более тонкий музыкант, чем Дитель. Аранжировки его отличаются строгим вкусом. Дитель как музыкант гораздо примитивнее, но добросовестен и старателен. Играют они хорошо, а надо бы в тысячу раз лучше. Во-первых: добиться абсолютной чистоты — ни одной фальшивой ноты во всем концерте в целом. И больше изящества, легкости, артистизма в игре. А мне бы просто хорошо питаться!

1 марта

Господи, дай дожждаться их! Умираю от голода; никто не знает, что мне ведь совсем нечего есть. А жаловаться ведь и некому, да и не хочется. Сегодня у меня даже туман какой-то в глазах... И все же я пою! Сегодня пришел слушать нас А. А. Николаев, тот веселый, миляга, остряк, Шура Николаев, который стал теперь большим чиновником по музыке, сухим и строгим. Но мы растрогали и его. Он сказал: «Не скрою — я был настроен критически и настороже. Но все хорошо! Я поговорю с Кабалевским. Он должен вас послушать. Вы должны петь по радио».

Мы, конечно, довольны. Его похвала важна для нас: он тонкий музыкант, строгий критик — декан фортепьянного факультета в Московской консерватории.

Господи, дай мне еды! Дай, чтобы мои Аленонька и Цаплин приехали скорее! Может, и квартиру тогда уже сразу отдадут и еда будет! Что я буду есть завтра?!

Аленушка и Цаплин здесь! И мы у себя в квартире! Правда, пока только в одной цаплинской комнате.

Второго с утра я как будто предчувствовала и решила весь день сидеть дома и ждать их. Вдруг зовут к телефону: звонит Цаплин: он и Алена сидят со всеми вещами на станции Лихоборы — это совсем близко, почти Москва. Задача найти грузовик, чтобы привезти их,— непосильная! Я заматалась, главное, ничего не ела — голова кружится! Тут как добрый ангел — Сергей Германович зашел навеситить меня и, испугавшись моего вида, моментально повел меня в кафе. Там очередь огромная, но мы прорвались — он заказал мне четыре порции еды сразу, я почти все съела, но пирожки захватила с собой для Алены и помчалась в Лихоборы. Ждать туда троллейбуса пришлось почти час, потом почти час ждала трамвая, и наконец уже в восемь часов вечера в темноте я шла к станции. Нашу встречу — ощущение полного исполнения желаний — я никогда не забуду. Ночь на скамейке с Аленой, рядом Цаплин — могучий — «жив-здоров». Это сплошное счастье, это как наконец наступивший сладкий покой! Мы просидели на станции в бесплодных поисках грузовика до утра. Комитет искусств должен был прислать за нами машину, а ее все не было, но наконец я остановила какой-то грузовище, солдатик-шофер сказал: «Ладно», Цаплин взвалил скульптуры и вещи, и мы помчались в Москву с непреклонной решимостью ехать прямо к себе домой. Что мы и сделали, свалившись как снег на голову полковнику и его довольно злобной жене. Она встала на дыбы, но я быстро раздела заплакавшую весьма кстати Алену, а Цаплин сразу поставил чемоданы в большую комнату, и, договорившись, что мы будем и дальше хлопотать о квартире, мы воцарились дома! Все это непонятно, дико всем людям на свете, кроме москвичей. Борьба за жилье, счастье «иметь квартиру!», да еще в доме, где есть газ, вода и электричество,— это понятно только нам. И, к сожалению, об этом в книгах о жизни в СССР не найдешь ни строчки! И вообще не найдешь правдивых строк о нашей тяжелой, суровой и нелепой жизни — ни у одного из наших писателей.

Цаплин по-прежнему неистовый. Чудак и талант. Алена им задавлена и даже запугана, но розовая и здоровенькая. Она во время нашего первого разговора «по душам» потупилась и тихо сказала: «Он хороший, но с ним трудно, мамочка». Да, я знаю это, ох как! Но люблю в нем удельный вес, талант, необычность и нечто в нем, родное мне. Кто знает, может быть, и за прожитые с ним тяжелые годы. За хоть и редкое, но «вместе» во времени и пространстве, быть может... Господи, дай мне сохранить в себе это чувство к нему! Оно скрасит, сгладит и смягчит наш совместный дальнейший путь. Ради Алены, ради СЕМЬИ для нее. Как она мечтала, как она хотела, «чтобы ты и папочка были вместе»!

Никогда не забуду, как мы ехали на огромнейшем грузовике.

На платформу без бортов Цаплин с помощью шофера взвалил скульптуры, и мы помчались. Цаплин на ходу ловил скульптуры, валившиеся с грузовика, я ловила Цаплина. Алена со страхом глядела на нас через стекло кабины — шофер посадил ее рядом с собой. Он человек военный и не боялся бешеной езды!

Что меня весьма заинтересовало сегодня, так это случайная фраза полковника Беседина, занявшего нашу квартиру: «На днях должен быть разрешен вопрос о местонахождении столицы, и нам, может быть, придется из Москвы уехать». Почему? Потому ли что немцы что-то готовят для Москвы? И безопаснее перевести столицу подальше?

Алена спит, выкупанная, переодетая в чистое, спит в тепле и под своей крышей. Господи, как это хорошо! Душа моя вся развинулась, обмякла от счастья. О, как я засну сейчас!!

5 марта

Утром просыпаюсь от голоса полковника. Он нарочито громким голосом говорит в телефон:

— Это пятидесятое отделение милиции? В мое отсутствие в мою квартиру ворвалась старая хозяйка и вселилась. Пришлите милиционеров выкинуть ее! Вы не можете? Тогда я вызову наряд моих красноармейцев!

Что я почувствовала — описать не сумею. Цаплин, к счастью, спал. Я не стала будить его. Ну, пусть приходят: я все-таки не у фашистов, я на Родине, и мы — советские граждане! И я заснула. В десять часов утра буря началась! Он снова куда-то позвонил, чтобы ему прислали трех хорошо вооруженных красноармейцев. Вошел к нам в комнату, назвал Цаплина нахалом и вообще явно желал подраться. В это время явился управдом. Очевидно, он сам его вызвал. Я объяснила управдому и показала бумаги, напомнила ему, что я уже имею постоянную прописку в этой квартире и прочее. Полковник почувствовал, что насчет вооруженных красноармейцев он поторопился. Управдом сказал полковнику, что лично он не уполномочен ни вселять, ни выселять. Пусть решит Моссовет. И с этим управдом ушел. В общем, мы живем, боясь пошевелинуться. Я боюсь полковника и полковничихи, я ведь страшная трусиха! А вместе с тем — я у себя! Что же будет?!

6 марта

В общем, что будет, то и будет. Беспокоиться не желаю. Мы как цыгане на бивуаке: в комнате хаос, стоят «мебели» полковника, он не желает выносить их, на стене висят какие-то гнусные картинки, вообще стиль ультрамещанский, даже странно как-то. Надоело! Цаплин бушует и ничего не может понять во всей этой бестолковщине. Но, оказывается, по счастью, лучшие скульптуры он действительно зарыл под мастерской и относительно спокоен по

поводу их. Он зарыл их под полом, с огромном подвале, который, оказывается, был под мастерской,— в царское время там находились склады... И Цаплин все эти годы молчал об этом, не сказал мне ничего! Будет отрывать их, когда будет куда их вывезти. Про эти два года эвакуации мы оба решили считать, будто их не было; было только что-то очень тяжелое. Про голодовку Цаплин сказал:

— Я дошел до собаки! Ел касторку с хлебом.

Сейчас он выглядит хорошо и полон сил.

8 марта

Полковник заходил извиняться! Ему быстро стало стыдно, вернее, его устыдили. Говорит, что уедет из квартиры, просил — он! — чувствовать себя как дома. У Астафьева обещали решить вопрос сегодня. А теперь я хотела бы переехать. Мне как-то опротивели эти стены. Кроме того, мечтаю уже о четырех комнатах. Тогда и у Алены и у Ванюши было бы по комнате. В корпусе «Е» есть четырехкомнатные квартиры, да и сами комнаты больше. А полковника устыдили, очевидно, там, где полагается. Правильно сделали. Цаплин кормит нас пока что. Хозяйствен он был всегда, хотя и по-крестьянски, скуп, как обычно. Держит продукты под спудом, велел Алене и мне «не лазить», но мы сыты и «не лазим». Привез четыре кило дивного меда. За мой проданный заграничный патефон отдал мне полторы тысячи. Послала сразу тысячу рублей Ванюше и телеграмму, чтобы они приезжали. Чувствую себя как утопленник, которого вытащили на травку,— зеленый и дохлый, он начинает понемножку приходить в себя.

9 марта

Сделала тысячу дел. Была в филармонии насчет сольного концерта: сказали, что сделают просмотр с Музыкальным управлением, композиторами и прочее, и обещали, что концерт будет в начале апреля. Очень хорошо. Потом зашла в школу Аленьки, уговорила взять ее — у них пятьдесят две девочки в четвертом классе. Согласились неожиданно быстро, но с условием, что будет заниматься дома с учительницей и что берут на испытательный срок. Но директоршу новую по фамилии Гроза — не видела. Ладно. Потом помчалась доставать Чукову (секретарь Астафьева) билеты на... Вертинского!!! Да, он жаждал его слушать, это был первый открытый концерт Вертинского, причем, интересно заметить, в рабочей аудитории на Красной Пресне. Чудом я билеты действительно достала и отнесла Чукову. Он просиял. Сказал, что вчера говорил с Астафьевым, тот настроен оппозиционно — желает оставить нас в одной комнате, но Пронин будто бы сказал: «Цаплин у нас один, а полковников много». В общем, вопрос пока не решен. А я сказала Чукову на всякий случай про корпус «Е», ведь у нас такой кавардак, что иной раз и чудеса случаются.

На улице встретила Образцова. Он сказал: «А мы часто вас вспоминаем. Звоните, очень прошу!» — и просится прийти на мой концерт. Позову, конечно. Он один из талантливейших людей, его Кукольный театр поистине удивительное создание его рук. Хожу по Москве уже не как по зыбкой трясине, а как по крепкому асфальту. И должна признаться, что ощущение себя женой Цаплина весьма способствует этому.

Скоро мы выгоним немцев совсем, уже почти у границы по всему фронту. Только бы они не выкинули какого-нибудь фортеля с газами и прочими ужасами! Ненавистное, злобное, тупое племя... Племя Гитлера. Но ведь были же у них Бетховен, Шуман, Гейне, Шуберт, Бах!

15 марта

Так как Цаплин говорит мне, что я все путаю и хлопотать не умею, я передала все дела ему. С радостью. Счастлива свалить эту гору на его плечи. Смотрю фотографии его скульптур — потрясающая сила и выразительность, особенно звери и птицы. Огромный талант. Перечитала — через столько лет! — рецензии на его выставки за границей — о нем писали как о гении. Да, уж мы бы жили спокойно в роскошном «у себя» где-нибудь в Нью-Йорке. Но не жалею!.. Люблю свою горькую землю русскую!

Дома он, конечно, невыносим. Аленка с ним груба, он с ней глуп. Вчера я имела долгий и внушительный разговор с ней: говорила о том, что мы с ней — единственные близкие ему люди и должны понимать его, прощать ему, жалеть и любить его. Она слушала вдумчиво и серьезно. И со мной согласилась и обещала. Но она и Цаплин похожи друг на друга характерами!

19 марта

Сегодня воскресенье. Полковник дома, и неизвестно, что он сегодня устроит. Но мне не страшно, ибо я чувствую, что Моссовет за нас. Любопытный факт: первое, что он делает, утром проснувшись, — это пьет водку! Еще любопытно: они делают страшную тайну из еды, чего-то тайком варят, жарят и, обедая, запираются. Но если полковник и старший его сын — толстые и розовощекие, то жена и младший сын — худые. Вещи свои они из нашей комнаты не берут, и мы живем как на вокзале.

Цаплин может жить так сколько угодно, не замечая ничего. Ему такое существование — обычное дело. Он может спать, не раздеваясь, в валенках, укрывшись пальто, и считать, что это вполне приемлемо. Никакие Европы не оказали на него влияния в смысле бытового «окультуривания». Он и во дворце оставался бы таким, каким был у себя в деревне Малый Мелик. Зато он оставался самим собой в человеческом смысле — тоже всюду и везде: я помню его на приеме у миссис Вайн в ее мадридском дворце,

где по воскресеньям она принимала весь «высший свет». Там бывали послы и знаменитости. Мне никогда и нигде не приходилось краснеть за Цаплина: он был прост и не кривлялся ни перед кем. Пикассо импонировал ему, а мультимиллионер Освальд Фальк в Лондоне — ни капельки. А с теткой Черчилля — старушкой миссис Лесли — он нежно дружил, так же как с голодной и бедной Брониславой Иосифовной Чурилиной. Внешнее не играло для него роли. Он и про дворец мог сказать: какое уродство — если это было так, — несмотря на пышные позолоты. В ЦапLINE изысканнейший вкус и «верный глаз», то есть то, что дается подлинной культурой, уживалось с абсолютной бытовой некультурностью и безвкусицей. Очевидно, это бывает у талантливых людей. Какие-то вещи органичны в них. Независимо от их происхождения и культурного уровня.

29 марта

Ну, в общем, матушка, такова твоя юдоль. Жаль мне тебя — ты веселая и пела недурно. Но роптать не вздумай, а не то боги разгневаются!

Мы потрясающе колотим немцев! Мы уже в Румынии! И салюты почти ежедневно! Эти фейерверки рассыпаются по ночному небу букетами огней. Но тревожная военная тоска не проходит.

1 апреля

Николай Семенович Тихонов просился прийти в следующую субботу, но я не верю, что он придет. Он становится все более важным, а может быть, все более занятым. Михаила Фабиановича тоже не было. Сегодня я довольна и голосом и духом. А гитаристы мои сегодня были мне настоящими друзьями.

5 апреля

Концерт в Белом зале Дома ученых если и будет, то без афиш... Что меня чрезвычайно огорчает. Вообще, конечно, концерт пройдет впустую, как бы я ни пела. Я пою впустую. Никто из тех, кто когда-то восхищался моими песнями, не написал обо мне ни строчки, а только это дало бы мне почву под ногами, уверенность, что меня не выгонят из филармонии, что дадут время стать настоящим мастером своего дела. А я перед этими чиновниками робею и немею.

6 апреля

Сегодня полковник пробовал орать на меня, и я, с великой радостью и к великому своему удивлению, наконец ему сказала: — Я вас не боюсь! Не боюсь совсем! Вон отсюда!

И от удивления он притих и ушел. Черт возьми, я даже сумасшедших в жизни своей не боялась, да и вообще не помню, чтобы я

хоть какого-нибудь человека боялась! Трепет я испытала только перед Маяковским. Бомб и пуль я боюсь, да, но не людей. Думаю, что, если б фашисты меня расстреливали, я нашла бы в себе силы не умолять их о пощаде. В общем, к черту полковника!

Маневич стал вялым и уже не старается вернуть квартиру. Завтра пою в сборном концерте. А мой сольный концерт — 23 апреля.

Мнение филармонии обо мне: культурно, музыкально, но нет темперамента. Нет, есть! Когда я на сцене перестану бояться, честное слово, я его «обнаружу». Особенно если буду хорошо питаться. Мяса бы досыта поесть!

Звонил Михаил Фабианович Гнесин, милый друг! Придет на концерт. Сегодня к Жене-соседке, во время моей репетиции с гитаристами, пришла Ольга Форш. Интересная старуха! Больше всего ей понравилась моя песня «Москва» на слова Каролины Павловой. Она старая, грузная, а темперамент дьявольский.

7 апреля

Вчера поздно вечером Цаплин был у Маневича, и тот сказал, что говорил с Астафьевым и что Астафьев сказал ему, что квартиру вернут полковнику, а не нам, а нам чего-то подыщут. Да. Вот так все время: из кулька да в рогожку! Эх, тяжело...

Сегодня был концерт в клубе Наркомата бумажной промышленности. Пела. Хлопали сильно и долго.

15 апреля

Последнюю неделю все было так плохо, что сегодня утром я плакала навзрыд. Как будто кто сердце зажал в тиски. Концерт срывается. Почти наверное его не будет... Мы готовились к нему с января, филармония сама предложила нам его готовить. Скучно описывать закулисные интрижки.

Вчера пришел Николай Семенович Тихонов, милейший, с красоткой, которую зовут Татьяна Ивановна Лагина. Блондинка.

Я пела. Он мне сказал:

— Я ваш крестный отец и буду вашим импресарио.

Но больше всех меня тронул Цаплин. Он плакал. Потом сказал:

— Да, вижу: стала ты настоящим мастером. Завтра достану тебе сахару.

Сидели долго. Николай Семенович замечательно рассказывал про дагестанского поэта Махмуда, которого никто у нас не знает. Он был такой же простой, как и раньше, может быть, ордена и звания его не испортили. Про мой перевод английской баллады «Русалка» сказал, что это гораздо лучше перевода Маршака. Сказал, что я сохраняю в переводе песню даже фонетически. Красотка Таня Лагина льнет к Николаю. Я нарочно при ней подчерк-

нута просила Николая передать мою любовь Марии Константиновне.

В общем, мне надоело, что меня хвалят. Ведь толку-то от этого нет! Вот если бы статья о нас (обо мне и моих гитаристах) в «Литературе и искусстве». — это бы да! Характерная черта русских: многословие, привычка к вранью, безответственность за данное слово!

Продолжаем жить бивуаком. Эта некрасивость и неопределенность гнетет меня ужасно.

18 апреля

Гнусные дни! Я так и не знала до сегодняшнего дня наверное, будет ли концерт. Афиши нет. Приглачительных билетов нет. Бесплатно. (Но гитаристам сама заплачу по пятьсот рублей каждому — ведь Людмила Александровна должна мне еще тысячу рублей за Судейкина.) Сейчас Раиса Ширвинд сообщила, что концерт будет. Ладно. Главное — хорошо спеть, смочь сосредоточиться.

Полковник вчера сказал, что ему предложили квартиру из четырех комнат и что он скоро уедет. Не поверю, пока это не случится!

19 апреля

А у нас новые осложнения: гитаристы 23-го заняты в своем Оркестре народных инструментов. Надо отпрашиваться у Осипова... Я так устала от этого. И вообще устала от всего... А ведь это мой первый сольный концерт...

Утром проснулась в слезах: мне снилось, что я хожу по улицам и кричу: «Вот я пою, я уже научилась!»

Оказывается, Власов не согласился, чтобы у меня был открытый концерт от филармонии. Это была бы слишком большая честь для меня. Поэтому концерт «закрытый», бесплатный и устраивается абы как.

Пригласила Власова письмецом, не лично, видеть его не могу, противно. Приглачительных билетов нет, не знаю, придут ли «мои» друзья. На словах-то их много... Цаплин сам артист, поэтому в нем я чувствую хоть молчаливое, но полное понимание моего состояния. В этом он понимает меня.

21 апреля

Не очень волнуюсь. Твердая уверенность, что петь буду хорошо, на подъеме. Вещи все сделаны, крепко продуманы, петы не раз. Зал маленький. Только бы поменьше народу. Цаплин сам ходил к Сурину — начальнику Музыкального управления, — звал на концерт. Тот сказал, что в воскресенье он занят, но чтоб в понедельник я при-

шла к нему — мне назначат просмотр в Комитете. Цаплин верит в меня — в артистку. Надену свое роскошное белое кружевное платье. И перчатки. Да, да. Белые лайковые перчатки. Руки у меня страшные, худые и дряхлые. Необходимо закрыть их. Пусть у нас никто перчаток не носит — я надену. Белые, до локтя.

Сделала Аленке костюмчик из моего шотландского платья. Ей ведь тоже приятно одеться на концерт!

Позавчера по дороге в Дом ученых вижу, идет навстречу мне толстый, розово-упитанный, в роскошном пальто, с палкой в руках Толька Миллер!.. Он теперь профессор. Был тихим, скрытным развратником в восемнадцать лет. Мне вспомнился Пятигорск, мальчишки, с которыми я целовалась тогда, я вспоминаю иных с нежностью, других вполне дружелюбно. Но этого — с отвращением. И еще встретила Тавочку Серебрякову! Пожилую, некрасивую и такую же противную, как когда ей было четырнадцать лет. Правда, жизнь стукнула ее: из «знатной» светской барыни она превратилась в бывшую ссыльную. Живет под Москвой, без права жить в Москве. О муже своем, хорошем человеке Скобелеве, вот уже семь лет ничего не знает с 1937 года... Но характер у нее тот же. Она сказала:

— Толя Миллер — известный профессор, лучший знаток Востока, и у него отдельная квартира. (Как будто это определяет качество человека!) А у Лены своя машина и дача. Напрасно ты не хочешь поддерживать с ними отношения,— и поджала губы...

Если Миллер подойдет когда-нибудь, заговорит со мной, скажу: «Не помню! Вас не помню, извините». Все-таки удивительно, как мало мы меняемся в продолжение всей жизни. Так логично, что из Тавочки вышла «дама» — в счастье или в несчастье, но кривляка и «дама». Она была такой же мещанкой и в свои двенадцать — четырнадцать лет! Из Шуры Гущина — довольно убогий искусствовед-психолог. Из Тольки Миллера — надутый «профессор» при МИДе, знаток Востока. А из меня — артистка.

22 апреля

Хочется даже и о песнях не думать, а лежать бы и вспоминать. Больше всего хочется вспоминать дюны и ту золотую осень в Провинстауне — второе мое лето там... Океан и песок, и осязаемая беспредельность мира.

Я жила в полном одиночестве в домике на сваях. Под домом в часы прилива плескалась вода. И казалось, что дом — корабль и что плывешь бог знает как далеко. Была тоска о России, о бабушке с Верочкой и наших; было особенно острое в ту осень упоение музыкой: я привезла туда патефон и свои любимые пластинки Баха, Генделя, Шумана, Концерт Грига — его так чудесно играла мама. И одинокие прогулки по дюнам. Иной раз с Честером. Он рассуждал очень зрело, несмотря на свои юные годы. Его отец был художником и жил в Провинстауне с большой семьей. Мать престел-

ная — милая и кроткая, и трое сестер. У Честера была столярная мастерская — просторный сарай на сваях над заливом: он делал там рамы для картин, мебель на заказ по собственным рисункам и прочая, работал полгода — весну, лето и осень. А зимами путешествовал. У него был сертификат (удостоверение) юнги: он нанимался юнгой на какой-нибудь пароход или шхуну — и плыл. В Южную Америку, в Канаду, в Англию, в Италию. Читал он мало, но упорно, уж если читал, то обглаживал книгу до корки, — больше научные книги и по мореплаванию, и путешествия.

Мы бродили с ним по Нью-Йорку, как и по дюнам Провинстауна. Сидели в полутемных подвальчиках итальянских кварталов, пили кьянти и ели овечьи головы, жаренные на вертеле. Плясали в негритянских дансингах в Гарлеме, бывали в Китайском театре в Чайна-Таун. Страстное любопытство к жизни было в нас одинаково сильным. Многие единило меня и Честера — мы очень одинаково воспринимали людей и любили искусство. В последнем письме своем ко мне — в 1936 году — он писал, что стал коммунистом и даже сидел несколько месяцев в тюрьме за «пропаганду». Что с ним теперь, где он? Как я хотела бы его увидеть! Он водил меня в Метрополитен-музей смотреть его любимую картину: во всю стену китайский пейзаж одиннадцатого-двенадцатого столетия — такой неяркий, как будто совсем простой, серый, но такой изысканно-прекрасный...

Была в Доме ученых. Смотрела Белый зал — небольшой, приятный. Белое платье с перчатками будут выглядеть в нем, пожалуй, слишком нарядно... Надеть ли черное? Голос охрип. Устала страшно... Пригласила на концерт Марию Федоровну Андрееву — директора Дома ученых, в прошлом замечательную актрису и жену Горького. Она коммунистка с незапамятных времен, друг Ленина. Удивительно приятная и красивая седая дама. Я никак не ожидала, что в старости можно быть красавицей. Обещала прийти послушать меня.

Придет Лиля Юрьевна Брик. Придет Анатолий Доливо.

23 апреля

Народу на концерте было много. Потом ко мне подошли Пудовкин и Лиля Брик. Пудовкин сказал:

— Пойте Пушкина, он у вас замечательный.

— Я хорошо спела «В альбом» и еще пушкинское «Что вы, восторги...».

Жаль, что не было Образцова. Я звонила ему, он дружески заинтересован и хотел быть, но у него в тот день шел «Король-Олень», и он не мог приехать.

Цаплин слушал нахмурившись, нахохлившись; в антракте и после концерта кормил меня конфетками! Алена и он со мной так ласковы, будто я их ребенок. Это приятно, как-то успокаивает и растворяет. Я благодарна за малейшую ласку.

Вот я сейчас лежу, пью лекарство, потом сплю, а как проснусь — начинаю вспоминать о прошлом. Есть из чего выбирать! Детство. Потом революция и гражданская война. Константинополь с Беном, Вена, Париж, Лондон, Кембридж. Нью-Йорк... СССР... Майорка... Выбираю только приятное, конечно. Например: «Кильдер». Вспоминать приятно с самого-самого начала. Итак, в июне 1929 года Руф Эрик сказала мне, что ее мать и она приглашают меня погостить в их имении на границе Канады — в «Кильдере». Я сказала, что поеду, если возьмут туда и Бориса Сергеевича Глаголина, старого русского актера, так как я начала репетировать с ним роль, которую недавно мне неожиданно предложили. В нашем «Нью Плэйрайтс Театре», где я работала, меня на сцене увидел крупный продюсер и предложил мне играть единственную женскую роль в пьесе Голсуорси «Лес» (The Forest). Я по пьесе — девушка-арабка, влюбленная в англичанина, возглавляющего экспедицию в глубь, в дебри Африки. Она идет с ними. В конце все, и она в том числе, погибают от рук дикарей. Героя должен был играть Арнольд Корпф (если я правильно помню его имя-фамилию) — знаменитый актер с Бродвея, в стиле Бёртона. Предложение было исключительно лестным. Контракт со мной подписали. Репетиции должны были начаться в сентябре, премьера предполагалась на Бродвее, в одном из лучших там театров, в конце ноября. Бен был очень доволен, и меня сразу же приняли в профсоюз актеров США — «Эквити Юнион» — что-то в этом роде. Это считалось весьма почетным — туда далеко не всех принимали. Я решила пройти предварительно эту роль с Глаголиным, не так давно приехавшим из Советской России в США и уже успевшим создать свою группу учеников из разных американских актеров. Русские были в почете после спектаклей МХАТа и балиевской «Летучей мыши». За Глаголиным тянулась репутация одного из лучших актеров дореволюционной России. Борис Сергеевич с радостью согласился поехать месяца на полтора в таинственный Кильдер на все готовое.

В дождливое мрачное утро Руф заехала за Глаголиным и мной на «Колумбия Хейте». Улица моя шла по берегу Ист Ривер, на противоположной стороне от Даун-Тауна. Внизу, под нашими домами, стоявшими на крутом берегу, тянулись небольшие и нешикарные пристани мелких пароходств: из Японии приходили парусники, из Финляндии — шхуны, с тихоокеанских островов — иной раз странные пароходные конструкции с четырехугольными рывими парусами. Страшно интересное место. Над ним висело огромное венецианское окно моей маленькой квартирки, куда я переехала с Банк-стрит. Здесь жили преимущественно художники, а рядом в доме жил писатель Джон Дос-Пассос. Мы были знакомы по нашему театру — он был одним из его директоров и часто бывал у меня. Отношения наши были сугубо платоническими! Он был долговязый, некрасивый, застенчивый, но темные его глаза были добрыми и

умными. Он был романтически предан Советскому Союзу, и в ту пору ему, как и мне, казалось почти идеальным социальное устройство СССР.

Дождь лил как из ведра, когда мы сели в небольшую машину Руф: я и она — впереди, с поднятым верхом, а сзади, в открытом кузове с сиденьем и помещением для чемоданов, сел Борис Сергеевич, раскрыв над головой огромный зонтик. Он отправился в путь в классическом клетчатом костюме путешественника: клетчатый пиджак, короткие штаны гольф, в руках «альпеншток», он же зонтик. Накануне я его постригла, предварительно объяснив ему, что это будет для меня, так сказать, «проба пера» — я еще никого не стригла. Он будет первый, что страшно почетно, а главное, экономно! Я посадила его на табуретку в ванну, укутала простыней, вооружилась гребенкой и крупными ножницами и начала с затылка. Бодро напевая, я принялась за дело. Время от времени он тихо вскрикивал. Покончив с затылком, я причесала на нем остаток волос — и от хохота упала на кафельные плиты ванной комнаты! Затылок был выстрижен лестницей, с проступающими полосами голлой кожи. Глядя на грустное, кроткое лицо бедного, добровольно принесшего себя в жертву дерзкой девчонке Глаголина, я еще пуще заливалась хохотом. Но Бог спас его от моих дальнейших попыток его «украсить». Он раскутался, вылез из ванной и молча долго стоял, глядя в венецианское окно... Решено было, что помимо тexasского сомбреро он возьмет с собой еще и берет, которым и будет прикрывать постыдное зрелище на затылке. Я умилительно просила прощения. Он стал хохотать — мы долго не могли уняться!

Итак, мы отправились в путь. Решено было ехать твердо по маршруту, но останавливаться где только хочется и питаться в разных тавернах, отелях, барах, кабачках... Руф была отпрыском чрезвычайно фешенебельной, добродетельной и богатейшей еврейской семьи, кроткая, тихая и воспитанная в одной из лучших школ Швейцарии, — она восторгалась и ужасалась моей непосредственностью и антиконформизмом. Но ее матушка и старшая сестра очень меня полюбили и с большим одобрением относились к нашей дружбе.

Дороги в США прекрасные, Руф отлично правила машиной. На ночевку мы остановились в прекрасной придорожной гостинице. Погода прояснилась, сияло солнце, было по-летнему тепло. Мы радовались как дети, Борис Сергеевич лопотал по-английски и вел себя почти как Робинзон Крузо. Руф захватила с собой еду, приборы для обедов и разные вкусности. Мы ехали через леса и, облюбовав красивую полянку, вылезали из машины перекусить. Наконец мы добрались до Торонто. Дальше дороги не было. Здесь Руф оставила машину в гараже и наняла на вокзале дрезину, которой надлежало доставить нас на полустанок «Кильдер» — станцию, специально устроенную для остановки в имение.

Мы мчались на дрезине с бешеной скоростью, и Борис Серге-

евич обеими руками вцепился в широкие поля своего сомбреро. Ветер плясал вокруг нас. Через полчаса дрезина остановилась у крытой платформы, где уже ждал нас вездеход-джип и двое служащих-гидов, которые должны были нас встретить и проводить в «Кильдер». Мы отправились по тряской дороге среди густого леса. Дорогу то и дело перебегали косули, олени, раз выскочил удивленный заяц. Воздух был упоительный, и в лесу было даже жарко. Наконец мы подъехали к обширному озеру, у которого стоял двухэтажный бревенчатый коттедж, а по берегу были разбросаны пять-шесть просторных палаток. За домом стояло несколько флигелей для гидов с семьями. Гидов было шестеро — каждый с аттестатом лесничего. Без них мы не имели права ходить в лес. В лесу можно было навсегда заблудиться, так как он был частью огромного заповедника в «Голубых горах», на границе с Канадой. На территории имения «Кильдер» помимо нескольких озер протекали еще три речки, где водились форели. Имение было далеко от всякого селения, и люди здесь жили своим миром. Обычно на лето приезжала семья старшей сестры Руф с детьми, гувернантками и проч. В доме жили кухарка и две горничные.

Мне предложили комнату на втором этаже и палатку, а Борис Сергеевич выбрал палатку, откуда сбежал на другой день в дом из-за москитов — как он объяснил, а по-моему, он просто струхнул ночью!.. После вкуснейшего обеда мы сидели вечером внизу в огромной гостиной. Почти во всю стену шел камин, куда совали не дрова, а большие бревна, которые роскошно и долго горели, наполняя воздух духом леса и смолы. Электричества не зажигали, вокруг камина сидели члены семьи, Руф и ее дядя — кряжистый пожилой мужчина с загорелым красным лицом — делец с Уолл-стрит и знаменитый охотник. В камине весело плясал огонь, трещали пылавшие бревна, за окнами было темно и опасно, а в доме тепло и уютно. Хотелось молчать и дремать... Меня полуспящую отвела в комнату Руф и помогла лечь в постель, потушив лампу, она широко распахнула окно... Утром сияло солнце, и озеро улыбнулось мне, когда я высунулась из окна. Вокруг озера темно-зеленой стеной стоял лес, чирикали весело птицы, внизу в столовой уже пил кофе благодухствующий Борис Сергеевич.

Потом мы пошли на речку, где он удил рыбу. Мы репетировали, читали друг другу стихи. Шли завтракать. Каждый был занят своими делами, и никто не мешал друг другу.

Помню, как мы поплыли ночью смотреть на водопой оленей. Гиды предупредили, что в лодках надо молчать; они гребли бесшумно, чтобы не спугнуть чутких оленей. Приплыли по протокам к дальнему небольшому озеру и стали ждать, соблюдая тишину. Но вот послышался треск валежника. Темное стадо вошло в озеро. Олени плескались, слышались их возгласы, и гиды зажгли свои яркие фонари, осветив оленей, которые ничуть не испугались, но, прядая ушами, удивленно косились на яркий сноп огня, продолжая пить и резвиться в воде — большие рогатые олени и маленькие прелест-

ные оленята. Мы долго любовались на них и потом бесшумно поплыли в темноте восвояси.

В конце июля мы с Борисом Сергеевичем вернулись в Нью-Йорк. Приехал повидать меня продюсер — большой, жизнерадостный, полный сил и оптимизма... Он застрелился — разоренный дотла, когда в ту раннюю осень 1929 года разразился знаменитый кризис на бирже в Нью-Йорке. Об этом сообщил мне потрясенный Бен...

Вскоре я плыла на пароходе линии «Юнайтед Фрут Лайн» в Россию через Гельсингфорс с остановками в Копенгагене и Гдинии. За мной увязался Честер, визу в СССР он испросил по приплытии в Гельсингфорс. Он никак не мог со мной расстаться. Все удары судьбы, которые на меня обрушивались, я принимала как фатальную неизбежность, без протеста...

Честер пробыл в СССР целый месяц. Зима была суровая, но он был в восторге от гостеприимства моей сестры Ирочки, ее мужа Бориса, их друзей — от всего, что он увидел тогда в полуголодной, нищей России двадцать девятого — тридцатого годов. Он уехал и стал коммунистом в США.

А я вскоре после его отъезда, в марте — апреле 1930 года, вняв мольбам моих родителей и Верочки с Марусей, решила вернуться в Европу. В СССР были лишеныцы, лишённые прав, и я рисковала попасть в их число. Чтобы помочь мне с заграничным паспортом, с визами и отъездом из Москвы, за мной из Нью-Йорка приехал Бен. Я заранее написала ему, что хочу жить не в США, а в Париже.

Бен, которому надо было торопиться обратно на работу в Нью-Йорк, повел меня к корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Юджину Лайонсу, и тот познакомил меня с мистером Хаммером. Оба жили в одном и том же доме в Козицком переулке, напротив театра, — второго МХАТа. Бен сделал все, чтобы я была, так сказать, «под крылом» его соотечественников — он очень заботился обо мне.

24 апреля

Лиля Юрьевна Брик позвала к себе. Пришла я вечером, у них дома — Европа и уют. Лиля так умеет его создать: кофе у нее изумительно вкусный, стол красиво накрыт, тарелочки, нарядная скатерть, красивые чашки — и у Лили такой вид, будто у нее три домработницы! Сидит элегантная, чудно причесанная. В. А. Катанян и Осип Брик обожают ее и уважают. Она очень умна и очень женщина, и всегда такой будет, хоть и в сто лет. В ней большой шарм. Она сказала:

— Вам надо доработать руки. Лицо абсолютно выразительно, тут ничего не надо трогать. Я сговорюсь с Кулешевым, чтобы он с вами позанялся. Потом — репертуар: вы его очень «охладили», надо петь такие вещи, как «Андалузская ночь» и какой-нибудь романс, за душу щиплющий. Не надо академизма. У вас есть темперамент, обаяние!..

Осип Максимович сидел и, по-моему, пристально в меня всматривался — у него умный, очень серьезный взгляд. Удивительно умеет он с людьми; вот Лиля Юрьевна бывает резкой — со мной никогда, но при мне с иными бывает нетерпимой, а он, мне кажется, мог бы с любым ладить.

Вчера Цаплин отнес в Кремль — в Троицкие ворота — письмо Сталину. А не то нас слопают жизнь... Ох, трудная она сейчас. С войной чего-то застопорило. Цаплин просил, чтобы нам, наконец, отдали всю нашу квартиру. Почему у нас так все построено, что все упирается в Сталина? Он же занят важными делами, ему не до «простых людей».

25 апреля

Была у Сурина, будет слушать либо 27-го, либо 28-го у себя в кабинете в девять часов вечера. Уверена, судя по его лицу, что я ему не понравлюсь. Звонила Лиля Юрьевна — Кулешов будет слушать тоже не сегодня завтра. Звонил Образцов — все ему рассказала. Он про Сурина сказал, что тот в прошлом трубач и всегда ненавидел гитары...

Счастливый Вертинский! Поет всю жизнь. Он сам сказал:

— Я пел и пел, сначала плохо, потом лучше, а через двадцать лет научился.

Вертинскому не ставили рогатки никакие комитеты, комиссии, Главрепертком. О наш подлый, бездарный, гнусный бюрократизм!

29 апреля

Противно оттого, что полковник царствует, самоутверждаясь все наглее. Пятого мая — суд (он — на нас). Нас — к выселению. Цаплин из экономии юриста брать не желает и в суд пойдет один.

Противно оттого, что я больна сейчас, температура 39° и не падает. Противно оттого, что кругом в комнате уродство.

Противно оттого, что бедная Аленушка не учится (он говорит, что ему нечем платить учительнице, и она остается на второй год. Не учится ни музыке, ни английскому — растет как трава). А моя мечта о самостоятельности, о материальной независимости все не сбывается!.. Я не умею «добиваться» — как ни стараюсь.

Жизнь наша нищая, грубая, дикая и злобная стала. Противно, что на фронте что-то не то! Никаких сообщений, давно не было салютов... Война продолжается, и это хуже всего.

Противно, что нет денег послать старикам и Ванюше и что долго я еще не смогу взять Ванюшу сюда.

Противно оттого, что я еле ползу...

2 мая

Наконец был доктор, ибо вчера я поняла, что больна всерьез, и уже не попросила, а потребовала доктора. И Цаплин позвал его наконец. У меня воспаление в правом легком. Доктор сказал, что надо хорошо питаться, принимать сульфидин, ставить банки и лежать. Категорически приказал не курить. Но 11-го мой концерт. И петь его я буду.

Сегодня вдруг явился... Сазонов! Не видела его с полгода! Похудел очень, все на фронтах. Взял мою гитару — и я снова заслушалась. В нем артистизм и органическая музыкальность. Я даже шепотом попела «Ты почувствуй», «Пару гнедых», «Колокольчики», «Милая...», только задыхалась. С ним мне всегда пелось удобно, как ни с кем. Он изумительно чуткий аккомпаниатор. Радостно было его повидать. Обещал приходить. И на концерт придет.

3 мая

По правде сказать, мне очень было неприятно от голода все это время морально. Сознание, что была бы еда — были бы силы! И пела бы вовсю!

Удобной жизни, то есть нормальной в смысле быта, у нас у всех не было с 22 июня 1941 года. Бивуак и бивуак. Могила?! Ты ли будешь мне первой удобной и СВОЕЙ постелью после всего этого?!

Открылись коммерческие магазины, и за деньги можно купить все. А тут, пожалуй, помрешь, а «столько дел не успел»!

ВДРУГ сегодня утром прибегает Женя-соседка — такой Красной Шапочкой, совсем как в сказке, — с сумочкой, из которой торчит бутылка сливок, потом дивная б е л а я булка, потом масло, сахару грамм двести, плитка шоколада и пять сосисок! — МНЕ. Это они с Полиной устроили — и купили что ПОПИТАТЕЛЬНЕЕ — две мои душеньки-подруженьки! Я ела сегодня и кормила Алену и всем своим существом ощущала, что мы едим «роскошно», чувствовала, КАК это вкусно, и понимала, что все это означает СИЛЫ. А главное, давно забытое ощущение «роскошной» жизни — да, да, пусть в иронических кавычках, но такое ощущение есть. Оно давно забыто всеми нами, но странно: как только я его ощутила, я поняла, что вот именно оно для меня нормально, то есть что «тот» быт естествен для меня, для всех нас, а теперешний — нищенский, голодный, мучительно-неудобный — это бред и неестественная фантазия какого-то злого идиота-колдуна и что этот бред должен развеяться! Но нас уверяют, что жить «роскошно» — это безнравственно...

Почему и за что всех нас осудили на такую жизнь в течение долгих лет и на теперешнюю страшную войну?!.. Нет, не один только сволочь Гитлер в этом виноват... Невольно вспоминается маркиз де Кюстин... и его мемуары...

4 мая

Гитаристам за концерт в Доме ученых заплатила я по пятьсот рублей. Концерт в ВТО — даром; платить гитаристам за него и на этот раз не смогу. Наконец ими сказано (правда, очень тактично и мягко):

— Татьяна Ивановна, мы очень заняты в оркестре народных инструментов; с вами мы работаем, ибо мы любим это и верим в это, — но впустую, ЗАДАРОМ работать не можем.

9 мая

11-го концерт в ВТО. В Малом зале. Администратор лениво сказал мне:

— Вряд ли ваш концерт соберет достаточно народу. Поэтому мы даем Малый зал, а не Большой.

Я не умею защищаться от ХАМСТВА.

Пригласительные билеты (более убогих и не выдумаешь!) мне прислали только сегодня — кому же я успею их переслать?! Чувствую себя СКУЧНО. Скучно от всех этих неудач... Был доктор: «фокус» в легких еще есть. Нехотя разрешил петь. Откладывать бессмысленно. Вырвать меня из этого заколдованного круга неудач могла бы только статья обо мне. Ни унижаться, ни продаваться я не могу. Не из гордости, а просто не могу — и все.

11 мая

Оттого что Господь Бог все же дал мне сил встать и снова петь — и температура нормальная, — я СЧАСТЛИВА. Волнуюсь приятно. Напялю на себя десять шкур, чтоб было теплее. Не курю уже девять дней. Спала без просыпу все последние дни. Ела как попало, только бы напихать тело питанием.

После концерта

Пела еще лучше, чем в Доме ученых. Народу набралось столько, что концерт пришлось перенести в Большой зал, к изумлению администратора. Бешено хлопали. Я довольна! Писатель Вишневский растаял, миляга, от французских песен, а от русских плакал! Конечно, ни одной собаки от филармонии опять не было. Образцовы были. Сергей Владимирович просит петь 14-го, на капутнике его театра. Ольга Александровна надела брошечку, которая заводится ключиком на сутки: павлин, у которого хвост распушается и крутится, переливаясь!

Больше всего мне запомнилось лицо Осипа Макс. Брика. Он слушал зажмурившись. Очень печальное, отрешенное было у него лицо, когда он слушал «Шарф голубой...». «Предсмертное» выражение лица было у него...

Публика была чужая, очень «критическая». А мне было все равно. «Шарф голубой» я пела о своей смерти — мне было и страшно и как-то приятно. Я всецело погрузилась в «очарованную даль».

13 мая

Чувствую себя мерзейше. Полковник уезжать не желает. Им удобно. Нашу жизнь они сделали совершенно невыносимой. Полковничиха маленькая, худая и серая. Я до сих пор не знаю, какое у нее лицо: оно какое-то не видное. Она злобная и мелочная. Кроме магазинов, ордеров и готовки на кухне, у нее нет интересов. На двоих своих детей она не обращает внимания. Старшему девять лет, он толстый, красный, приземистый и постоянно дразнит младшего, доводя того до слез. Маленького (семь лет) зовут Владлен (Владимир Ленин!). Он щуплый, бледненький, почти всегда плачет — то от брата, то от отца. Мне жаль малыша, он это чувствует и подчас украдкой улыбается мне. А я ему!

21 мая

«Фокус» в легких рассосался — ура! Погода дивная. Меня пригласили петь в Клубе писателей. Гитаристы уехали до 1 июня — поэтому я назначила концерт на 3 июня. В филармонии любезны со мной. Каждый день по часу играю на гитаре, но с аккомпаниатором мне поется легче. Свободнее, ибо тогда ни о чем, кроме песни, не надо думать.

Народ на улицах выглядит веселее. Тепло!

19 мая я, по просьбе Сергея Владимировича Образцова, пела в его театре. Одна, без гитаристов. Сергей Владимирович упросил приехать и петь под собственный аккомпанемент.

Меня у театра сторожили, встречали его актеры. В партере стояли узкие длинные столы, и за ними сидело много народу. Сергей Владимирович усадил меня рядом с собой. Был он невеселый какой-то, а ко мне обворожительно мил и любезен. Все мною интересовались и мне улыбались, ибо он в своем театре Царь, и сам это знает. Я опоздала к началу, попала на «Пародию на Крыши Берлина», которую играли не куклы, а сами актеры-кукольники. Я хохотала вся, с ног до головы. Мне стало весело, как только я вошла в зрительный зал: уютный, небольшой, хорошо освещенный. Ведь это главное. Из любой тоскливой дыры можно сделать феерию и наоборот, просто местоположением электрической лампочки и ее силой. Кроме приветливых пропорций зала и сцены мне еще очень приятен был и запах — пахло скипидаром и смолой. Ну а главное, конечно, сам Образцов, он для меня Человек-праздник. Мне нравится его лицо, белобрысые волосы, маленькие, красивые уши, а главное — голос.

Актеры его превесело сыграли свою пародию, потом все сели за столами, а он сказал:

— Ну, Татьяна Ивановна, я пойду скажу им о вас. — И пошел на сцену и сказал: — Я попросил Татьяну Ивановну Лещенко петь у нас сегодня, несмотря на то что ее гитаристы заняты. Слушать Татьяну Ивановну было мне радостью в Новосибирске, где было грустно. Я очень люблю песни Татьяны Ивановны. Я знаю, что они понравятся вам всем!

Я взошла на сцену — он мне конферировал, сидел на сцене у моих ног, свесив ноги с рампы. Я спела: 1. «В одной знакомой улице». 2. «Русские девушки». 3. Романс Грэттри, по-французски. 4. «Джонни». 5. «Андалузская ночь». 6. «Птички». 7. «Русалка» и т. д. — и имела бурный успех. Пела с абсолютной свободой, не боясь верхов, ощущая во рту физическую радость, а в душе задор и лихость. Хлопали мне, даже когда я спустилась уже в зрительный зал. Образцов сиял! Я тоже.

Сперанский (вот актер! вот блеск-то! Его Труффальдино в «Короле-Олене» — это так упоительно смешно!) сказал мне:

— Подразнили только!

А Сергей Владимирович говорит:

— Идем ко мне в кабинет — и будем петь еще!

И мы пошли наверх в его кабинет, где было совсем темно — и я даже не видела, кто еще, кроме Образцова и Сперанского, нас слушал. Вернее, меня слушали, так как сам он спел только: «Наглядитесь на меня, очи черные, ах, про запас...» — и мы с ним дуэтом спели «Две гитары» — он куплет, и я куплет, и т. д. и сами радовались.

Потом он проводил меня домой, и с нами шли еще какие-то. Я его люблю: весь он мне нравится. Он не добродушный, умный, он честолюбив, упрям, прост и непосредствен в обращении с людьми, никогда не кривляется и не важничает, как это делают другие наши «знатные». Он талантлив на каждом шагу. У него белобрысые, густые как пакля волосы, слегка выпуклые синие глаза, хороший крепкий нос, крупный рот, упрямый подбородок. Он небольшого роста, очень складный. Ему лет сорок пять, но он выглядит очень молодо. Голос его ни с каким другим не спутаешь, и манера петь своеобразная, НЕЛОГИЧНАЯ, НЕ от слова, а от Музыки. Он чрезвычайно талантливый человек.

Он предложил мне «работать» у него в театре. Зарплата хорошая, но занята я буду слишком много и часто. Как же Алена, и дом мой, и Цаплин?.. Я отказалась.

26 мая

Концерт у писателей отложен до 9-го, так как Н. С. Тихонов улетел в Ленинград и просил подождать, пока он вернется.

Приходил ко мне и Цаплину Михаил Фабианович Гнесин — душенька, миленький! Но, увы!.. — больной: грудная жаба. Они с Цаплиным дружат. Мы уютно и семейно посидели у нас вечер: М. Ф. с Галиной Маврикиевной, я, Цаплин, Алена.

6 июня

Записываю просто для летописи моих Голгоф. Боже мой, почему так усыпан мой путь неудачами, вне меня, не по моей вине — возникающими неуклонно и беспощадно?! Поистине это те «острия ножей», которых я сама себе пожелала когда-то в Ленинграде. Но я желала их в обмен на Славу. А где она, эта Синяя Птица? Слава и Деньги — синоним НЕЗАВИСИМОСТИ! Мочь самой ПЛАТИТЬ за еду свою и детей, за их одежду, за их учение. Но этого нет.

9-го мой концерт в Клубе писателей. Афиша висит, Приглашительные билеты уже разосланы, а мои гитаристы с 19-го ездят и сейчас, побыв в Москве два дня, уехали до 1 июля... Я не сдаюсь. Еще не отказалась от концерта. ПЕТЬ Я БУДУ, пусть без их аккомпанемента...

Кроме того, квартира все в том же положении. Крутится в бешеном потоке жалкая щепка — я и моя юдоль, а в мире грандиоз: второй фронт! Открылся в ночь с 5 на 6 июля. Масштабы вселенские: одиннадцать тысяч самолетов перелетели через Ла-Манш и бомбят фашизм! О, скоро ли конец войне?!

10 июня

Концерта у писателей (прелестные приглашительные билеты были уже разосланы...) не было. Я хочу писать о том, что я у б и т а — легко. Меня раздавили, как гусеницу. Мне невыносимо больно. **НО Я ПЕРЕТЕРПЛЮ И ЭТО. Я НЕ СДАМСЯ ДО СМЕРТИ.**

12 июня

На днях мне рассказали такую историю. Одна немолодая женщина возвращалась поздно вечером домой. Москва освещена только на главных улицах, а в переулках совсем темно. Она шла переулком. Когда она проходила мимо ворот какого-то дома, из них быстро вышел человек, обнял ее; она хотела закричать, но рот ее был уже покрыт ртом этого человека, он повалил ее назвничь. Она не успела опомниться (именно «опомниться», ибо она была больше всего п о р а ж е н а), как он уже отвалился и очень нежно погладил ее по волосам. Вдруг, взглядевшись, он с удивлением вскричал: «Я думал — это Валя!» Потом испугался и исчез, провалился в темноту. Она ошалело села на землю и заметила, что сидит она на шинели, которую он, очевидно, предусмотрительно разостлал у стены. Встала. Пошла домой. Она шла и думала о смерти той женщины, которая шла днем домой с работы и вдруг ей на голову упал карниз и убил. На другой день она в ужасе поехала к доктору. Тот успокоил ее относительно сифилиса. Она сказала себе, что должна забыть о том, что произошло, как о кошмаре, который ей приснился. Но через две недели ей стало ясно, что она беременна... А мужчина со смехом рассказывал и своей Вале, и своим товарищам: «Вот я раз ошибся!..»

Груз на моих плечах делается все более не под силу мне — я отламываюсь кусочками. Гораздо жальче, чем себя, — жаль мне Алену... Из нас троих уцелеет один Цаплин. Он самый сильный. Мы все время вместе. У Цаплина есть мастерская, но он прибегает домой по многу раз в день. Его беспокоит то, что мы чистим, а не с к р е б е м картошку. И приходит с к р е с т и ее. Его беспокоит, выучила ли Алена уроки, и своим беспокойством он уже внушил ей глубокое отвращение к учебе.

Для того чтобы смочь простить ему — ведь злоба разъедает сердце, — я вчера была в его мастерской. И я вновь, в который раз! — простила. Он сделал Птицу. О благородство и мощь, которые он воплощает в камень! Птица-Сокол — великолепно!

Песни мои были наполнены хотя бы м е ч т о й о счастье, но иссякла моя мечта о нем. Я вижу, как на глазах моих Алена, у которой нет своего угла, превращается в дезорганизованное, нервноболезное существо. Самум, именуемый Цаплин, не затихает.

— Мама, — говорит Алена, — каждое его слово меня дергает! Мама, он ж у ж ж и т все время!

Он мучается, как Христос на Голгофе, и мучает этим нас... Его разговоры по телефону, нелепые, многочасовые, его жалобы — сладострастие его мазохизма, глубоко оскорбительного для нас, ибо мы ему родные и нам жаль его, и нам горько, что он так унижает себя перед всеми! Его болезненная тревога о банке с консервами, которую мы будто бы съели! Он всегда мрачный, всегда «обиженный»! Я примирилась, ибо Птицы его прекрасны. Но Алена так хотела бы, чтоб папа был, как другие папы.

За что мне такой? А я — я сама дала Алене такого отца. Если б уметь предвидеть!.. И если б то, к а к о й он, было бы скрыто от других, нам было бы легче. Но он не скрывает себя от других.

Я никому не рассказываю о нем... Я вообще-то ужасно скрытная, ибо н е н а в и ж у, когда меня жалеют!.. Обо мне никто ничего не знает. Вот почему я пишу этот дневник. Чтобы было кому рассказать. О Бене. О дюнах. О Майорке. Скоро я начну и о детстве нашем писать. Мне все бабушка вспоминается. А Юра-брат всегда со мной.

Сажу на кухне. Четыре часа утра, светло. Дверь на балкон открыта. Чирикают птицы. Плывут темно-серые облака, и между ними блещут розовые полосы зари. Прохладно и тихо. И крыши домов такие спокойные. Они мирно и крепко лежат на домах. Война где-то очень далеко. А немцы стали пускать «радиобомбы». Но разве можно поверить в них, когда Такая Заря! А нам на этой чудесной земле в этой жизни, такой прекрасной, дано мучиться, горько биться. Как жаль!..

Я не могу поверить, что жизнь людская всегда была наполнена войнами и муками. Ведь были же мирные дни на земле. А тут: война 1914 года, потом революция, потом коллективизация, потом ежовщина — и все это время полунищее существование народа из-за

подготовки к будущей неизбежной войне, и вот она грянула, ВОЙНА.

Мир, конечно, обезумел. Часто я вспоминаю профессора Ботезата, который в двадцать шестом году в Нью-Йорке говорил мне:

— Человечество — это еще обезьяны в смысле духовного развития. Но они слишком много знают мозгом: это обезьяны с острыми бритвами. И они перережут друг другу горло.

Все духовные ценности, приобретенные человечеством, пограны и забыты. Можно все: как угодно издеваться, убивать, грабить, лгать. Святого нет. Очень страшно жить в сумасшедшем доме — в двадцатом веке. В романе «Братья Карамазовы» Достоевского Смердяков говорит: «Если Бога нет, значит, все позволено». Какая страшная ошибка — уничтожение религии!

3 июля

Гитаристы приехали.

Вчера мне снился ГИТАРИСТ. И у него были Золотые Руки.

Мы салуем каждый вечер: маршал Рокоссовский триумфально наступает на Белорусском фронте. Мы взяли уже Минск. Говорят, от Берлина остались одни развалины... Но немцы все еще бьются. Изобрели какие-то летательные снаряды — авиабомбы, каждая в одну тонну,— и сыпят их на мирных жителей в Англии...

7 июля

Гитаристы пришли репетировать, заявив, что завтра у них концерт с оркестром. Ни разу еще не было спокойно перед концертом!

Луна какая-то безумная эти дни. Как огромный электрический шар в небе. По всей Москве прошел слух, что от солнца оторвался кусок и падает на землю. А Луна так чудесно сияет в небе эти ночи!

Алена мне радость и утешение. Ей так хочется играть на рояле. Она часами может подбирать песни, у нее музыкальный слух лучше моего. Как я мечтала о ней еще до ее рождения, а когда она родилась, как я хотела ей всего лучшего в мире! Она росла как розовый цветок в раю на Майорке. Фонвизины о ней говорят: Боттичелли. И когда Алена ласковая — сама женственность, чистота и очарование. Порой грубит, но это редко.

8 июля

Только в два часа дня я твердо знала, что вечером мой концерт будет. А до двух часов я металась по телефону и мучилась, как червь на раскаленной сковородке.

На концерт к писателям ехала усталая, хрипая, отчаянно уста-

лая. Платье надела кружевное с белыми перчатками. Народу было много. Я была действительно очень красива.

Успех. Я как полковая лошадь: от трубы, от гитар вошла в себя и почувствовала, что ощущение счастья возможно для меня только в песнях, только в том, волшебном мире... И я пела от всей души.

Володька Луговской собирается писать обо мне статью в «Литературе и искусстве». Если б статья! Но врет, наверное... Он из породы «обещателей». Я давно его знаю, еще с тех пор, как он был женат на моей подруге Тамаре Груберт, от которой у него дочь Муха. Володя поет гораздо лучше, чем пишет стихи. Но в общем он славный.

Но неужели он не соврал и будет статья?

11 июля

Сегодня Луговской придет слушать для рецензии. Как будто он раньше не слушал!..

А снятся мне уже не четыре, а два гитариста: один — как Хуан Вельмонте, а второй — как Честер.

И я как бульдог, который вцепился во что-то горькое, — и рад бы разжать губы, а не может — мертвая хватка. Так я — и это «петь».

Вчера был у меня старик-бородач Кунин. Нам обоюдно сердечно и дружелюбно. Мы с ним навек друзья. Иосиф Александрович Кунин был мне всегда верным другом. Со своей седой бородицей он и торжественный, но и «бродяга». Что говорить — Артист!

Володя Луговской пришел, будет писать рецензию. Но я не верю. Опять как тогда в «Ленинградской правде» перед войной: тогда статья была написана Львом Канторовичем с Янковским и Тихоновым, но ее не поместили. Не успели.

Володя пришел с девушкой Еленой Леонидовной. Она принесла мне большой букет чудесных роз. Красивая! Очень русская! Из тех русских, из-за которых гусары и Мити Карамазовы стрелялись. А может, так мне показалось... Он называет ее почему-то Майа. Она очень хороша, но вся какая-то «театр для себя». Кривляка.

Володя рассказал, что в Праге наш полпред повел его однажды в одно блудное место. Это было большое заведение с огромным залом, танцами, напитками. Но особо посвященных допускали в маленький зал. Белые стены, круглые диваны и кресла, обитые красным сафьяном, деревянные некрашенные столики и в глубине невысокая сцена. Сбоку сидел аккомпаниатор: голова и лицо как череп, на правой руке нет двух пальцев, с военными орденами. Играл гениально. А она была немолодая, в черном глухом платье. И ей говорил зритель-испанец: «Спойте испанскую песню!» — и она пела. И зритель-канадец просил канадскую — и т. д. Слушая ее, люди плакали и приходили снова и снова. И Володя пошел второй раз, и третий, и четвертый, и полпред сказал ему: «Прекрати. Это засасывающая омут».

Мне нужно: во-первых, хорошо питаться и иметь постоянного

гитариста-аккомпаниатора; во-вторых, жить в своей комнате; в-третьих, быть спокойной за Алену, Ванюшу и Цаплина и, в-четвертых, как можно чаще петь на сцене перед публикой ЗА ДЕНЬГИ. И тогда из меня выйдет толк.

13 июля

Пела на конкурсе русской народной песни. Пела плохо. А Эрнестина Доливо позвонила и говорит: «Анатолий сказал, что от волнения пела ты неважно. А главное: ты ужасно заморенная, такая худая, что страшно смотреть! Зато платье у тебя потрясающее!» Я была в белом кружевном. Я от голода пела плохо.

Утешали меня после, за кулисами, знаменитая Русланова и Леночка Петкер...

16 июля

Глупо, я знаю, но часто вспоминается мне та гадалка, которая давным-давно сказала мне, что «удач долго-долго не будет... А перед смертью будет Слава!»

Весь мир сейчас переживает горе. Почти на каждые плечи свалилась непосильная тяжесть. Многих она задавила. Те, кто дожил до сегодня, выбиваются из сил. Но есть исключения. Есть люди, которым повезло. Есть сытые. Есть разбогатевшие. И такие, которых волна занесла высоко, на самый гребень.

17 июля

Утром в одиннадцать часов по Ленинградскому шоссе до Маяковского, а затем по Садовой до Курского вокзала сегодня через Москву провели пятьдесят семь тысяч пленных немцев. Мы узнали, что это произойдет, из утренних газет. И, конечно, Алена, Женя-соседка и я помчались смотреть. Пришли мы на ступени дома как раз на углу Белорусской площади минут за десять до одиннадцати часов. Народу шпалерами по улице было много, но не чрезмерно. Все стояли смирно, безмолвно. Наконец показалось шествие. Впереди ехал на прекрасном коне генерал НАШ, полный, коренастый, ехал торжественно и спокойно. Вид у него подлинного «генерала из народа». Ехали Мы — одним словом. Вокруг него гарцевали наши военные. И пешком за ними шли немецкие генералы и офицеры. Дальше бесконечная вереница немецких пленных солдат. Шли нагло. Не побежденными. А вынужденными сдать в силу обстоятельств, но не из-за слабости своей или нежелания убивать и терзать нашу землю. Красивые, высокие. Арийцы! И странная вещь: между ними и нами не было никакого человеческого контакта — ни жалости, ни негодования, ни ненависти. Шли чужие чужими. Иностранное тело. Шли с чувством собственного превосходства над нами — это в них чувствовалось! И еще удивляло, что они какие-то безмыслен-

ны е. Что вот генерал приказал им сдаться — и они сдались. А приказал бы драться — дрались бы. И хотя они были грязные, небритые и очень обшарпанные, они были не удрученные, не униженные. «Побежденный» в них не чувствовался. Но это не вызывало уважения. Какие-то странные нелюди... Я пишу о своем непосредственном впечатлении от общей массы этих пленных врагов. В них и врага-то не чувствовалось. И возможно, что они-то действительно считали нас за вшей, за нелюдей и шли на войну с нами не в о е в а т ь, а давить и уничтожать как в ш е й. И, к ихнему изумлению, эти вши победили их. Но для них вши так и остались вшами, а сами они — арийцами.

Сейчас, когда я вспоминаю отдельные лица, конечно, среди них были и хорошие по-человечески лица, но в массе — тяжелое, противное, бессмысленное Чужое.

19 июля

Гитаристы дали мне понять, что я в полной зависимости от них. Я ждала этого. Им нужны деньги, заработок. Я устала вдребезги. Чуда: во-первых, еды; во-вторых, возвращения квартиры, сиречь своего угла; в-третьих, гитаристов, так же, как я, страстно любящих это мое, наше дело, — НЕТ. Чуда не было. И не будет. И статьи, то есть «путевки в жизнь», НЕТ.

А статьи, конечно, не было и не будет... Володька Луговской только «трепался».

24 июля

Вчера со мной был какой-то позорный припадок: я вдруг начала рыдать. И кричала так, что Женя прибежала из соседней квартиры и привела меня в себя. Втиснула меня обратно. А я рыдала и билась... Слава Богу, Алены дома не было.

Устала. Нужны мне лишь Алена с Ванюшей, чтобы они в м е с т е были около меня...

26 июля

Давно забытое чувство покоя.

Была у Сергея Владимировича Образцова. Рассказала ему о «Голгофе», то есть и о конкурсе, и о ненапечатанной статье. Он сказал:

— Вам надо сейчас подождать, пусть все уладится и забудется. На конкурс ни в коем случае не надо было идти, ибо это был ва-банк, а это глупо. Вы должны быть пока что в плане Ираклия Андроникова или моем. Надо избегать всяких «травм». В «смешанных» концертах лучше не выступать — стараться как можно чаще петь целые концерты, ибо только в ваших сольных концертах ваш

успех обеспечен. Вообще, пока в ы ж д а т ь. Найти работу, которая не будет отнимать много времени.

Он прав. Биться дальше у меня сил нет.

В квартире его красиво, приятно, много интересных, затейливых вещей, коллекция старинных музыкальных шкатулок. Например: целый оркестр обезьянок, одетых как маркизы, со скрипочками в лапках,— и вдруг они все заиграли. Ну прелесть! А мне как-то легче на душе. Хотя денег нет ни копейки, а долгов много.

2 августа

А голос звучит, как давно не звучал,— полно и «сладко». Эх. Пою дома и у друзей.

Луговской сегодня пел у Ермолыча — мы с Женей случайно очутились у него в старом домике. Ермолыч угощал водкой на тархуне и кусочками омлета. Луговской пришел ненароком. И пел. «Заклинение ветров» — русская, четырнадцатый век. Еще пел «Тэгүал-Тэпэк» — мексиканскую. И «На серебряной реке» — поет он прекрасно! Голос великолепный, мощный, от природы поставленный, музыкальность, артистизм. Вообще это был бы певец в мировом масштабе. И красив «по-певчески». А темперамент и разворот — наши, русские, широкие. И странно слушать этого человека (который, бесспорно, был бы мировой знаменитостью, если б пел).

3 августа

Русские люди часто талантливы. Цаплин крупнее всех, кого я знаю, по таланту. И должна сказать, что в тот момент, когда мне было страшно больно, он сумел быть очень тонким и очень другом. Даже давал еду. Этого я не забуду! Он «артист» и ценит во мне артистку.

Поздний час. Я только что пришла от Образцовых — слушала пластинки: заграничный кабак, но прекрасные исполнители. У Образцовых изысканно и просто, и мне у них уютно. Он был очень невеселый. Пел. Пела и я. Хорошо пела. Но он поет лучше меня — и мне не жалко, что лучше, я не взяла бы у него ни одной песни, ибо уж очень они — именно в его исполнении — хороши, хотя он и предлагал мне «Очи» и про «Березку» и еще... За что его жену так не любят дамы и ругают за «безвкусицу» в одежде?! Она — одна из куколок Театра Образцова. Они подходят друг другу. Мне дома у них нравится, кроме собаки. Кора — злой пудель. А пудель должен быть не зол, а добр и с чувством собственного достоинства, чего в Коре нет.

Поступила я вязальщицей в артель при Музыкальном фонде Союза композиторов. Завтра меня пригласили на «Дракона» у Акимова и к Образцовым на открытие театра. Не пойду. Сил нет...

По улицам ходят плохо одетые, бедные, худые москвичи. Но военные — крепкие, сытые. Сегодня я видела у нас во дворе моло-

дого летчика, такого красавца, что я остолбенела... Сохрани его, Господи! Не дай ему погибнуть! Он мне говорит: «Что вы так на меня смотрите?» А я ответила: «Уж очень вы красивый — загляделась!» И удрала.

10 октября

Сегодня мать Улика звонила мне: «Улик убит...» Этот красавец мальчик, блестящий умник, такой юный, еще не живший! Она позвонила:

— Я хочу видеть вас, он говорил о вас, как вы поете, какая вы прелестная! Я все еще понять не могу, что вот моего Улика нет.

Я пойду к ней. Бедная мать. Ведь он только начал жить. Двадцать один год ему было. Летчик-штурман дальнего действия. Бедный Улик. Милый Улик!

Ночью мне бредилось такими словами (будто она полька; какая-то разбитая, разбомбленная Лодзь...):

Бреду одна. Бездомная...

Недавно Цаплин сделал бюст Хачатуряна, нашего лауреата-композитора. Хачатурян заявил Цаплину:

— Вы мало на меня смотрели, когда работали. Мне бюст не нравится.

А бюст великолепен, это одно из лучших произведений Цаплина...

24 октября

Тихоновым дали четырехкомнатную квартиру в Доме правительства. Им сейчас почет, пайки и прочее — все по праву заслужено ими обоими. Николай худой, лицо у него после ленинградской блокады стало гораздо благороднее, тоньше.

Ношу продавать какие-то свои тряпки, маленького Сапунова и монголов. Хотела было продать «Вход Господень в Иерусалим», ту древнюю икону, которую подарил мне Гри и которую Янковский молит, увидев ее, подарить ему. Ездил продать ее к... патриарху! Но тот, кто вышел ко мне, был не патриарх Алексей, и мне крайне не понравился. Особняк прекрасный, живут, очевидно, пребогато, все толстые. «Владыко» — роскошный мужчина, выхолотенный. Я сказала ему (повязалась платком) голосом бабы:

— Вот привезла богов продавать.

Икону не купили. Я вечером подарила ее Янковскому, зажав ее. Пусть принесет ему УДАЧУ. А теперь мне ее жаль...

Григорий Васильевич Гринштейн свистнул ее когда-то в Антирелигиозном музее, который помещался в Страстном монастыре на Страстной (теперь — Пушкинской) площади. И подарил мне. Икона шестнадцатого века. «Вход Господень в Иерусалим». Иисус Христос на белом осяти. Очень красивая икона. Но она утеряла

благодать, побывав в Антирелигиозном музее. Теперь этого музея нет. Отвратительное что-то было во всем этом: жгли иконы, рушили церкви, а ведь это, в сущности, НАРОДНОЕ ИСКУССТВО, искони русское... Достоевский давно заметил, что русские любят плюнуть себе в душу...

26 октября

Была у Тихоновых. Николай Семеныч вернулся поздно — Маруся в сумерки отпустила его к его красотке Тане Лагиной. Пришел еще Володя Луговской и еще какой-то генерал Гриша Соколов. Мой друг Тамара Груберт пришла еще раньше. С Марусей я выпила на брудершафт, послание мое понравилось ей очень. Николай Семеныч, вернувшись, читал свои финляндские стихи и про Грузию — читал прекрасно. Маруся правильно говорит:

— Он талант, а что я страдаю от него,— это пустяки. Мне дано хранить, и я храню.

Она умная. Мы с ней не будем ссориться, о нет! Потом я пела. Но мне тяжело было на душе. Пел и Володька Луговской, который, кажется, уже женился на Майе своей, но не приводит ее пока что к Тихоновым. Я радуюсь, когда он поет. Он поет несравненно лучше, чем пишет стихи.

27 октября

Вечером позвонила Эрнестина Доливо и радостно рассказала о разговоре Власова с Анатолием, при котором присутствовала и она. Первое, о чем Власов спросил: разошлась ли я с Цаплиным? И где мои дети? И Анатолий начал говорить обо мне в «творческом плане» (мне больно повторять здесь те высокие слова, которые он говорил,— и я верю Эрнестине, что Анатолий действительно говорил их).

Суязов, начальник Мосжилотдела, поклялся Цаплину выселить полковника к ноябрьским праздникам. Я все время живу, будто их совсем нет. И не нарочно. Это как-то само собой вышло: я ее, полковничиху, действительно не вижу, не замечаю. Но через воздух иной раз чувствую, что она меня у в а ж а е т. Да-да. За мою кротость, наверное. И за долготерпение. И за полнейшее к ней равнодушие.

Стала тихая как мышь
И как кошка кроткая.
Что не вяжешь, а сидишь?!
За «ненорму» — каторга!

11 ноября

Потрясающий день! Полковники уехали сегодня. И мы одни. Я сижу на кухне ошалелая. Вымыла стены, пол, плитку и все рву еще чего-то помыть и почистить. И еще не обрадовалась, а как-то не-

лепо хихикаю все время. Полковнику принесли ордер на куда-то в другое место еще пятого, но они категорически отказались выехать. Тогда я пошла, как меня надоумила М. А. Попова, мать Зинки, к его генералу, который почему-то сидит в роскошном кабинете в здании напротив ГУМа. Интендант, что ли? Фамилия, по-моему, Лапин. М. А. сама ему позвонила, и мне выписали пропуск. Я приделалась и, когда вошла к нему, сказала:

— В вашем лице я обращаюсь ко всей общественности Красной Армии.

Он — грузный, грозный — со мной был предупредительно вежлив, выслушал всё. Я просила о помощи. О чудо! Сегодня с утра они собрались и в четыре часа выехали, оставив грязь, три выбитых оконных стекла и вывинтив все электрические лампочки. Полковница, выходя за дверь, пришипела, что придумает, как мне отомстить. Бог с ней! Я забуду их, как скверный сон. Наконец мы дома. Как я люблю наш дом! Как я люблю Москву! Мы у себя, только Ванюшечки еще нет с нами.

Сегодняшняя ночь переключается с той последней перед эвакуацией ночью — в суровой, сосредоточенной, трагической Москве с выбитыми стеклами окон, с мешками песка у домов, малолюдной, угрюмой. Немцы были уже близко. А теперь — мы перешли границу Германии и идем на Берлин! Москва оживленная, снова сверкают окна магазинов, мешков с песком давно нет. Народу больше, чем до войны. Правда, все обтрепанные и страшно усталые, но бодрые, суетливые и суетные. В ту последнюю ночь перед эвакуацией я не ложилась спать, в смертельной тоске бродила по комнатам. И вот снова ночь, и я не сплю — но от счастья! Эту нашу квартиру я не обменяла бы ни на какой дворец или палаццо. Четыре года прошло с начала войны. Я очень устала. Но мы вновь у себя, мы ДОМА!

15 ноября

Я ночью просыпаюсь — встаю и хожу по квартире, ощупываю ее, люблюсь и радуюсь. До чего мила! Аленина комната — такая «девочкина» комнатка, чистенькая, веселая. В моей — только раскладушка. В цаплинской — хаос. Но боже, до чего хорошо! А я, как домовитая мышь, — хозяйственность родилась во мне впервые в жизни — я все время чего-то мою и тру. Идет горячая вода, и все мои подруги приходят купаться. А позавчера вдруг из Новосибирска приехал мой новосибирский приятель — физик Дима Стельмахович, проездом в Ленинград. И привез пол-индейки! Приехал веселый, переночевал и сгинул. Приятно было повидать его. Индейку я сегодня зажарила с картошкой, ели ее мы с Аленой, Тамарой Груберт и Женькой-соседкой. Цаплин принес бутылочку водки, и мы пировали, как цари. Кухня моя блеснит и переливается по-именинному. Как я хочу такой квартиры моей Ирочке, милым Фонвизиным, подруге Тамаре, всем, кто живет неуютно и не «у себя». А таких в Москве огромное большинство. Теснота ужасающая, неустроен-

ность, неудобства! Бедные люди... Бедность и «неблагоустройство» — страшные грехи, позор и безобразие! На те миллионы, которые человечество выбросило сейчас на взаимное убийство, смерть войну, можно было построить миллионы удобных жилищ, школ, лечить все болезни, накормить всех! У, идиоты проклятые...

Боже, как я счастлива, Боже, благодарю тебя! За ДОМ.

17 ноября

Когда я решила продать с себя последнее и вытащить на скупку мой американский кофр, чтобы заплатить Образцову две тысячи рублей за его старинную дивную гитару, Цаплин воспротестовал: «Я тебе дам деньги». Цаплин получил на днях двадцать тысяч рублей за Хачатуряна, а сейчас ему заказали бюст Завадского! Тоже за двадцать тысяч рублей, а он дал мне две тысячи. Очень я довольна. Гитара маленькая, нежная, дивной работы, «подарочная». Образцов однажды одолжил ее мне в концерт — и вот теперь сам предложил мне купить ее. Не помня себя от счастья, я купила ее. Теперь она висит на стене у меня в комнате и улыбается мне! У нее абрис как у гитары на картине Ватто. Алене и Цаплину она тоже нравится. Образцов сказал, что это — работа Краснощекова. Но я думаю, что ее делал мастер несравненно выше. Она дивная! Она вся выложена перламутром, гриф отделан черепахой и т. д.

Я продолжаю утопать в блаженстве. Вчера я выдумала и сшила такие две подушки на маленький диван (Ванюшечкин), что прямо задыхаюсь от восторга. Моя комната почти пустая, при этом очень уютная и спокойная, голубая, с юмором и нежностью. Она абсолютно моя. Кухня в тысячу раз лучше, чем была, — это просто будуар, а не кухня! Комната Цаплина удивительно похожа на него: угрюмая, на пьедестале стоит большой бронзовый Данте, похожий скорее на Савонаролу, и глядит в ад. Но Цаплину нравится, что я так счастлива, и он доволен, что мои комнаты — кухня, Аленина и моя — прелестны. Я почти не сплю, ночи напролет чищу, украшаю; забросила вязание для артели. Цаплин не пожелал платить женщине за помощь, и я сама с восторгом вымыла все двери, окна, стены и половину полов.

25 ноября

Задавлена грузом впечатлений. Устала от них и от людей.

Вчера пришла Рита Райт. Я познакомилась с ней и с мужем ее, подводником, капитаном, у Лили Брик. Рита Райт некрасивая, как обезьянка, умная, и есть обаяние. Ее перевод Голсуорси — первоклассная работа. Она принесла американский журнал «Нью-Йоркер» военных лет. У американцев будто войны и в помине нет: те же духи «Шанель № 5» и манто из шиншиллы и соболя, те же комфорта и выхоленные женщины. Противно и даже не завидно.

Потом мы с Ритой помчались на Вертинского, он потряс меня

на этот раз мастерством и артистизмом исполнения своих песенок, и после концерта мы пошли к нему за кулисы. Рита нас познакомила. Я села и во все глаза смотрела на него. Он был прост — усталый, уверенный в себе. На носу сбоку шрам. Глаза серо-карие. Внутри у него так и чувствовалось: «Эх, скучно в «нашей земной глуши», — но как поза. Он говорил о том, как любит дочь, ей год и три месяца, ее зовут Бэби, что он ждет второго ребенка, Жене двадцать два года.

— Да, я не знал, какое это счастье — дети! Я бы давно их имел, да вот не пришлось, а на старости лет довелось узнать, какое это счастье! Бэби такая куколка! Прелестная. И обожает меня. Родина меня хорошо встретила. Я хотел приехать, ибо в такое тяжелое время каждый русский хочет быть на Родине и чем может — помочь. Двадцать пять лет я покою. За это время можно же научиться. Великая практика. А для артиста самое главное — это выступать на публике. Как можно чаще.

Я говорю:

— А были у вас неудачи? Травмы?

— Вначале, ну года два, когда я начал, меня травили, а потом Дорошевич написал статью «Вертинский» — и травля кончилась. И дальше — один успех! Я, конечно, теперь совсем другой, чем был тогда. Но какая-то линия, та, начальная, — осталась.

В общем, в том, что он делает, он артист с головы до ног. Счастливец! Удачлив. И очень талантлив. Выразитель своей эпохи.

Голоса певческого у него нет, но есть предельная выразительность слова и жеста. Поет от мозга. Подоплека: горькая ирония. Это фон, на котором летают желтые ангелы, и скалят зубы человеко-обезьяны, и томятся похотью дамы в голубых пижамах. Очень хорошо он пел про матросов и стеклянную птицу.

А я пил горькое пиво,
Улыбаясь глубиной души...
Так редко поют красиво
В нашей земной глуши.

И еще запомнила:

Конечно, всяким кораблям
Необходима пристань:
Но только не таким, не нам,
Бродягам и артистам.

С Ритой и ее мужем, капитаном подводной лодки, пошли пить чай к нам домой. Он сидел такой тяжкой полумашинной, вроде того, будто одной ногой побывал уже на том свете, мертвый и грустный внутри. Рассказывал: «Мы, подводники, ведь все время ходим рядом со смертью». От него кухня стала такой... вроде крематория. Бедный человек! Страшно жить около такого. Глядя на него и Риту, я поняла, что мой брак с Цаплиным гораздо более счастливый.

А сегодня были стирающие подружки, купающиеся подружки, визирующие подружки (ибо идет горячая вода). Я очень понимаю их наболевшие нужды.

Вслед за ними пришел поэт Леонид Мартынов. Читал стихи. Хорошие стихи. Но у него только что умерла мать. Нет комнаты — живет по чужим углам. Поэтому от него грустно. Беден, бедняга! Если б у меня было — я бы отвалила ему массу денег! Неловкий, диковатый. Мне понравились его стихи о реке — «Тишине».

Не вяжу. Руки отламываются, болят. Но артель — это означает... хлебные карточки. И норму придется выполнить. Вязать необходимо.

Хочу в келью. Чтобы кругом тишина и только тихонько звякали бы песнями стеклянные птицы. А сама я так давно уже не пела, и мне кажется, что я не могу больше петь. Но сейчас я уверенно знаю, что все зреет во времени. И мое время придет.

3 декабря

Первого декабря открылась выставка акварелей Фонвизина. Среди портретов был и мой, тот, «русалочий». Цаплин в восторге именно от этого портрета. От акварелей Фонвизина веет чистотой души. В честь его в ЦДРИ (Центральный Дом работников искусств), где и была выставка, дали концерт: скрипач Буся Гольдштейн, актеры и актрисы Половикова, Михновский, Краузе и я. Я — по просьбе А. В. Фонвизина. С меня и начали. Я спела под собственный аккомпанемент на гитаре: «Матросскую» (про Билли), «Джонни», «Калитку», «Русские девушки» и на бис: «В одной знакомой улице», «Ах вы, кони» и «Разносчик».

Фонвизин сиял от радости. Я пела, чтобы ему и его жене было приятно. Я очень люблю их обоих — это чудные люди, и он изумительный художник.

Цаплину в мастерскую метростроевцы провели свет, ремонтируют печи и обещают привезти дров. Хорошие есть у нас люди!

Вчера Анатолий Доливо приехал ко мне читать свою книгу, и я — по его просьбе — позвала Марусю Тихонову. Книга его нужнее певцам, чем научные трактаты о пении. Называется «Певец и песня». Доливо очень нравится Марусе, а мне он сегодня позвонил и сказал, что мои «высказывания» ему ценнее, чем ее... Начинаю превращаться в МУДРУЮ МЫШЬ. Старею...

Сегодня пришла Доротея и пригласила нас с Цаплиным завтра в гости — у нее будут какие-то два американца или англичанина из важных журналистов. Доротея торжественно сказала: «Мне хотелось, чтобы они увидели советских интеллигентов из лучшего нашего общества».

Доротею я знаю давно. Муж ее Артур где-то далеко в Сибири, уже с тридцать седьмого... Но что?

Мы с Димитрием давно причислены к лику «лучшего общества», или элиты. Ха-ха. Посмотрим, что за аристократы эти американцы. Я рада, что увижу живых американцев. Я так давно (кроме Доротеи) их не видела. Подышу через ситечко, погляжу в щелку на мир. А вечером я и Алена были у Агаповых. Таткин день рождения,

ей семь лет. Было очень весело и вкусная еда. Был Пудовкин, кинорежиссер, и заговорил меня философствованиями до дрожи в мозгах. Он был в обычной раже и, сам того не замечая, бился затылком о телефонную трубку, которая висела на стене как раз за ним. Очаровательный человек, но молчавший сегодня Борис Николаевич Агапов разумнее. Зато Пудовкин, конечно, во много раз талантливее. Я с ним все больше дружусь. У бедных Агаповых тесно. Боже, как жаль мне всех тех, кто не имеет отдельные квартиры. Это нужно всем людям, особенно интеллигентам. Говорили о войне. Немцы грозят какими-то секретными орудиями. Кто-то сказал о расщеплении атомного ядра. Вопрос: кто скорее расщепит свое — мы или немцы. У нас над этим работает некий академик Капица.

Ох, как страшно! Расщепление или нерасщепление, но то, что немцы чего-то еще злобное выкинут, — я чувствую.

Господи, спаси и сохрани людей!

6 декабря

У Доротей были: она, Маржори (забыла фамилию), корреспондентка, англичанка, немолодая, седоватая, лондонский мягко жующий говор, приятная и чужая. Он — не то англичанин, не то еврей. Александр Верт. Лицо породистое, умное, взгляд циничный и холодный, по-русски говорит идеально, как петербуржец старой закалки, культурен и в искусстве собаку съел. Крокодилий тип. Интересный. Не совсем понятный. Говорил об искусстве. Они рассказали, как были у Герасимова Сашки, как к художнику они относятся к нему с презрением. Сашка Герасимов на вопрос, нравится ли ему Пикассо, пренебрежительно сказал им, что не считает его большим художником и не уважает его за то, что Пикассо так часто менял свои убеждения... (Чушь!!) Кстати, Пикассо только что вступил в коммунистическую партию. Англичане спрашивали меня, как это возможно, что такой дрянной художник, как Александр Герасимов, возглавляет Союз художников в СССР. Я ответила, что как художник он художникам не импонирует, а как человек он, возможно, не глуп, но лично я считаю его полной бездарностью.

Об Англии я вспомнила с искренней нежностью. Потом я пела и, кажется, им понравилась. Дороти держалась премилой хозяйкой, радушной и простой. Елена Ивановна, как всегда, испекла творожники к чаю, — превкусные.

На другой день Дороти сказала мне, что он — урожденный барон Верт и родился в Петербурге. Александр Верт. Похож на шпиона. Типичный агент Интеллидженс сервис. И потому, наверное, не агент, ибо им полагается быть неприметными.

Вчера позвонили из Клуба писателей — просят петь. Будут выступать Мазурук, Леонид Соболев, Антокольский, Тихон Хренников

и я. Приглашали так: «У нас такие очень закрытые вечера — понедельники — для писательской верхушки. И мы просим выступить вас». Что за стыд: «верхушка». Брр... «Наш красный бомонд!» Ужас.

У нас определенно наметилась тенденция дифференциации классов. Что это за «верхушки» такие?!

Ладно. Петь я буду.

Сегодня слушала опять Вертинского. Темы его песен близки каждому, ибо он поет про любовь и разочарование. И меня восхищает, что вот он, старый, непривлекательный, силой ТАЛАНТА трогает, волнует. Хлопают ему очень. Один какой-то орал потом в раздевалке: «Что Лемешев, Козловский! Доски! А тут — душа!» А одна девушка, бедно одетая, с голодным лицом, задумчиво сказала: «Какая красивая жизнь!»

Я была на концерте Вертинского с Нонной Агаповой и актером Голубенцевым. Им он никак не понравился. Они думают, что то, что он не нравится им, — это признак хорошего вкуса. Сколько лицемеров, и схоластов, и ханжей развелось у нас!

7 декабря

Пошла к Жоржу Крейтнеру, композитору, — ведь дала ж я ему четыре песни, из которых он «Сашу» уже продал ВГКО в своей обработке. Пошла просить, чтоб он аккомпанировал мне у писателей. Он отказался. Придется петь под свою гитару.

Мы пошли в его подвал с Женей-соседкой и застали его за бутылкой коньяка вместе с Ильиным-старшим и молоденькой, очень милой Люсей Чудновской, актрисой из ВГКО (Всероссийское гастрольно-концертное объединение). Ильин Павел Иванович — отец того Ильина, художественного руководителя ВГКО. Пожилой бельом, в хорошо сшитом костюме, воспитанный, прожженный делега, по-моему.

11 декабря. Ночью

Ну, пела в Клубе писателей. Борис Агапов сказал мне: «Великолепно!» Даже такие крокодилы, как братья Тур, были довольны. Очень хлопали и даже орали: «Бис!»

Тиша Хренников пел свои песенки к «Дон Кихоту». Поет хрипло, но очень обаятельно. Мазурук преинтересно, но слишком кратко рассказал о своем кругосветном перелете. Больше говорил об Америке. Ему понравились мои песни. Благодарил.

Сама себе я абсолютно не понравилась. Вероятно, потому что сама себе аккомпанировала. Я это терпеть не могу. Не понимаю, почему другие это не видят: насколько я хуже, чем когда пою под аккомпанемент гитаристов... Тогда я свободнее!

Оба Тихоновы тоже остались довольны.

12 декабря

Алена, Женя и я пошли к Фонвизиним. Сегодня вечером у них темно, стоят две коптилки, так как у них «срезали» за неуплату электричество. Но уютно. Тепло, мило, как всегда, даже лучше стало! Артур Владимирович упоительно смешной и милый! Лежал в берете на диване, накрытый пледом, велел Вале — дочери двадцати двух лет от первого брака — крутить блюдечко и вызывать духа. Валя крутила, вышло, что будет Артуру Владимировичу успех, и квартира в будущем году, и деньги. Он озабоченно, деловито обо всем спрашивал, потом заинтересовался, а чей же дух говорит? Оказалось, что дух Талейрана. Артур Владимирович воскликнул: «Талейран!» Перекрестился и, вздохнув облегченно, сказал: «Ну, слава Богу, что Талейран!» Мы хохотали до упаду! Почему так мил его сердцу именно Талейран?! Потом Наталья Осиповна угощала нас оладьями — у нее всегда все вкусно получается. Сережа не мешал никому — он очень воспитанный малыш. А когда он в своей белой пушистой шапке и такой же шубке, то похож на маленького эскимосика. У Артура Владимировича есть его портрет! В это время Алена, сидя около меня, стонала от ужаса, а Сережка весело вопил: «Вызови мою бабушку! Вызови бабушку!» Алена, тихая, испуганная, все вздрагивала, а потом развеселилась, но не очень. А мне дух сказал: «Успех, понимание — вас ждут. Пойте! Если славы нет сейчас — она придет». Женя-соседка с духом разговаривать не пожелала. А Наталья Осиповна спрашивала, абсолютно в это веря, про что-то домашнее и даже о том, включают ли снова электричество, на что дух неопределенно ответил: «Темно...»

Тут Валя-дочь взмолилась, что устала, и пришла соседка с вестью о том, что электричество будет через три дня. Тут же бегал фонвизинский огромный белый кролик и фыркал и тыкал мне в ногу. В общем, было очень уютно. Чудесная семья!

Видела случайно Сашу Тышлера, обещал прийти в гости в четверг. Очень все хвалят его декорации к «Капризной невесте» в Еврейском театре. Я его как художника очень люблю, пожалуй, больше всех у нас. И как человека тоже. Он весь круглый, черный, маленький и теплый, с чудесными карими глазами. И есть в нем тягучее обаяние, тоже теплое и легкое, как сам он.

20 декабря

Пробую, вернее стараюсь, заниматься с Аленкой музыкой и с печалью вижу, что ничего из этого не выходит, — я бездарная учительница. Я не люблю учить!

Лиля Брик повела меня к Яхонтову. Он тец знаменитый, имеет огромный успех на сцене. Я его еще никогда не слышала, но о нем слышала очень много. Он и его немолодая жена, Лиля Ефимовна Попова, похожая на китайского мальчика, живут в двух милых, причудливых комнатках с печкой — у них уютно и очень богемно. Я пе-

ла. Он сказал, что давно хотел сделать программу «Русский жестокий романс» и что не делал ее, так как не было подходящей исполнительницы, а теперь будет делать СО МНОЙ. Я ног под собой от радости не чуяла, но была тихая. (Как я Лилечке благодарна!) В глубине души я боялась поверить в такую удачу. Но вчера позвонила из филармонии Раиса Ширвинд. (Ох, скверная душа. Акварин-то мой, что я ни с того ни с сего ей подарила, носит, а мне ни разу с того момента, как гитаристы ушли, не позвонила, не вспомнила!) Раиса говорит: «У нас в филармонии был Яхонтов и заявил, что делает новую программу с вами. Мы вас в его концерты включили». Вот. Но я боюсь этому поверить. Володя Власов может еще, как директор филармонии, на это и не согласиться. Ладно. Но Яхонтов, оказывается, сделал официальную заявку про концерт свой с моим участием. Яхонтов сказал правду. Он не обманщик!

Яхонтов очень талантлив, у него приятное лицо. Слушая меня, он закрыл глаза и слушал «глубоко».

Его жена — его режиссер. Умная, видно. Милое, тонкое лицо.

Но петь я стала плохо. Голая техника. Надеюсь, что очень влюблюсь в Яхонтова — для пения, конечно. Если так случится, то со сцены эти незримые флюиды будут публикой остро ощущаться — и пение мое озарится живым, а не «выработанным», волнением, и, надеюсь, оно повысится от этого в качестве.

Война, говорят, еще долго будет...

Душа моя последнее время легкая и прохладная. И в песнях моих нет тепла. Появилась только «профессиональная» уверенность. Необходимо возвысить душу. Все дело в образе, и этот образ певец силой своего «видения» заставляет «видеть», ощутить и своего слушателя.

22 декабря

Завтра в пять часов я встречаюсь с Яхонтовым у Лили Брик, которая, я чувствую, хочет всей душой мне помочь. У нее такие маленькие беззащитные руки... Очень красивые, маленькие ноги, круглые теплые темно-карие глаза и рыжие волосы.

Доротей просила, чтобы завтра вечером я пела у Марецкой на вечере в честь американского драматурга Лилиан Хеллман. Приглашены: Эйзенштейн, Сережа Михалков с женой, Плятт, Абдулов, сама Доротей и еще кто-то. Дороти — негласная хозяйка вечера. Да, еще Юра Завадский, конечно. Жаль, что не будет Улановой — она уехала в Ленинград. Идея моего приглашения исходит от Доротеи. Я, конечно, довольна — мне ведь лишь бы петь. Только жаль, что нет моих гитаристов... Эх, жаль, что нет такого Тимофея Иваныча Росторгуева на свете для меня. Он бы играл, а я бы пьянела, как кошка от валерьянки, и пела бы, впадая в тот свой транс, который острее и выше всего на свете.

Вечер у Веры Марецкой удался. Лилиан Хеллман — некрасивая, острая американка — была довольна. Завадский был красив, плени-

телен и далек от всех, Верочка Марецкая обаятельна, как всегда. У нее приятное лукавое лицо. Эйзенштейн действительно выглядит гением — это человек, живущий, по-моему, только мозгом. Он, конечно, был несравненно интереснее всех присутствующих — я боялась его оценки, как никого еще не боялась, но он был внимателен и прост. Завадский вначале, я чувствовала, тревожился, как же я — абрамцевская Татьяна — буду петь. И был восхищен.

Мисс Хеллман все просила меня петь. Очень ей понравился «Васильевский остров» — я его ей подарю, пусть везет песню Миша Сидрер в Америку.

Видела на днях Яхонтова. Он кривлялся — мне с ним тяжело, он непонятный; чего кривляется — не пойму. Грустно мне было с ним. Или он скрывает какое-то страдание, или болен... Мне с ним душевно тяжело, хотя я высоко ценю его великолепное искусство. Но в нём чувствуется какая-то встревоженность. Он перестает думать о чем-то своем и весь обращается в слух, только когда я пою.

27 декабря

Только что ушла от меня Лиля Брик. Удивительно, сколько гадо-стей говорят о ней до сих пор, а ведь она уже немолода, пора бы и перестать. Я вполне понимаю, что Маяковский мог так любить ее и как Осип Максимыч до сих пор и навсегда ее любит. В ней есть высокого плана трезвость, несмотря на всех ее иногда и «низких» любовников. Как раз вчера писательница Люба Фогельман ругала ее яростно, ругала так, что мне стыдно было за Любу, но ведь ее не остановишь. Я все-таки сумела это сделать. Любу я видела впервые за много месяцев — она совсем спятила, бедняга. Мне жаль ее за ее тяжелую жизнь, за то, что так бессмысленно она родила этих бедных двух своих дочек, а главное за то, что она псих. Физиологический псих. Умна, глаза и лицо хорошие. Но безвкусна...

А Лиля Юрьевна умна, проста. Я рада, что она пригласила нас с Цаплиным встречать у них Новый год.

О счастье! Театральный музей купил у меня моего маленького Сапунова, и я послала Ванюше деньги.

1 января 1945 года

Встреча Нового года у Бриков была блистательной, другого слова не придумаешь. Я вошла в комнату и остолбенела. До того было в ней красиво, нарядно и весело! Народу было очень много, все тоже праздничные, еда была вкуснейшая, кофе душистый и крепкий. Яхонтов гениально читал «Шинель» Гоголя, сидя на полу, потом читал стихи. Читал свои рассказы и рассказы Зоценко. Он был удивительно красив и читал великолепно. Я пела, много... Мы были два бродячих певца среди меценатов. Яхонтов слушал меня, побледневший и углубленно ушедший в музыку.

Цаплин был милый какой-то, добрый — ему было хорошо. Но Лиля это умеет — она может покорить кого захочет, если захочет. Вообще блистательный был вечер.

Сегодня Яхонтов повел меня к одной больной актрисе МХАТа. Он читал, я пела. «Больного человека можно исцелить, хоть ненадолго, песней», — так сказал мне сам Яхонтов. Он хотел, чтобы она излечилась. Я загадала, чтобы она выздоровела, мне ее жаль. По-видимому, она наркоманка.

Я абсолютно не верю, что с Яхонтовым буду выступать в какой-то программе на сцене, перед публикой. Сегодня нам с ним было обоюдно хорошо и интересно. Но никак не вижу нас в месте.

У Бриков царит подлинная культура человеческих отношений. В них нет провинциализма, мелочности, фальши — никаких. Лиля Юревна умеет быть прелестной, умеет быть нежной, умной, мягкой женщиной, несмотря на то, что в ней есть беспощадность. Ей сейчас пятьдесят три (?) года, и она отнюдь не выглядит моложе, но о ее возрасте забываешь совсем. Она будет женщиной и в восемьдесят лет.

Маруся Тихонова и Лиля Брик — полная противоположность. Полярные существа. Маруся — вечная студентка, старушкой она тоже не будет. Но «женщиной» Маруся никогда не была. Она девственница через всю свою жизнь, несмотря на мужа и, возможно, бывших в жизни любовников. Лиля несравненно ближе мне, чем Маруся, — в каком-то плане. Но и Маруся близка мне в чем-то другом. Эти две женщины — самые «крупные» из тех, каких я знаю. Я люблю и уважаю их, но у меня с ними нет и не будет той близости, которая есть у меня с Тamarой. Но эти мои отношения с Марусей и Лилей мне, пожалуй, больше по душе, мне ближе по существу, чем близость с кем бы то ни было.

5 января

Днем позвонил актер Абдулов — просил вечером в гости с гитарой. Оказывается, он сегодня получил звание народного и будет праздновать. Были: Завадский с Улановой, Марецкая, Образцовы, Ливанов, пианистка Татьяна Гольдфарб, Гринберг из Радиокomiteта, полярник Кренкель и еще какие-то. Мне было неудобно, я вся усталая была, утром орала на Алёну, курила, гриппую, — пела плохо, знаю сама, хотя и хвалили. Спасибо Абдулову — ему хотелось, чтобы меня послушали на радио. Он добр ко мне, хороший человек и великолепный актер! Но в комнате было тесно, душно, и мне не хватало воздуха.

Война. Чувствуется ежедневно, ежечасно липкая душная кровь, которая льется реками далеко, под чужими Будапештами, Кенигсбергами и в прочих далеких местах...

Этих четырех лет войны НИЧТО НЕ ВЕРНЕТ — тут все по-прано...

22 марта

Умер Осип Брик. Возвращаясь домой, он упал на лестнице, не дойдя одного этажа до своей квартиры. Умный, настоящий Человек. Те дни я провела около Лили Юрьевны. Мы все за нее боялись. Она не плакала. Она была буквально убита горем.

Грустно. Не могу об этом.

А накануне, 25 января, были мои именины — веселые с «много народу»: оба Брики, Образцовы, Марецкая, Агаповы, Плятт, Маруся Тихонова. Цаплин выдал продукты. Я была счастлива, что ПРАЗДНУЮ. Впервые у нас были гости. И праздновать хотелось особенно оттого, что в январе стало совсем ясно, что немцев мы победили. И были наши победы, одна за другой: Варшава, Будапешт, Восточная Пруссия, Силезия...

А я после смерти Осипа Максимовича Брика сильно загрустила.

Старик Ильин не позвонил мне о концертах, как обещал. Я сама написала Ильину, мы встретились, и он начал «заниматься» со мной. Сказал, что приготовит меня к Всесоюзному конкурсу (лучшие номера будут отобраны для поездки в Нью-Йорк). Он культурный человек с тонким вкусом, это он создал Красноармейский ансамбль еще до Александрова.

Занимаюсь. Тренируюсь, как лошадь на корде. Он считает, что я должна петь, аккомпанируя себе с а м а на гитаре. Велел брать уроки у гитариста. Я знаю, что если я окрепну физически, то скачки выиграю. Мне, как и всем — увы, я не исключение, — нужно молоко, масло, фрукты и мясо. А главное — САХАР. Или все-таки МЯСО полезнее?

31 марта

Слушала сейчас во Всероссийском гастрольно-концертном объединении Петкер, которая последнее время «гремит», — поет прелестно, хороший голос, музыкальность, ни капли вульгарности. Это возведенная «в идеал» Вера Духовская. Но в ней нет чего-то неизъяснимого, что есть во мне, — я знаю.

1 апреля

Слушала сегодня Анатолия Доливо в Малом зале Консерватории — он пел Глинку. А я от восторга чуть не плакала. И думала о том, что Глинка и Пушкин были бы довольны. Он жевал слова, местами детонировал, но Боже, какое это настоящее, вдохновенное искусство — согретая сердцем и мыслью человека песня! Я пошла подышать высоким воздухом искусства подлинного — и надышалась им! Вероника Петровна прекрасно аккомпанировала. Он пел так, что душа замирала. Какой артист!

Встретилась на концерте с Лелей Петкер, и она заговорила со

мной. У нее приятное лицо. Она села рядом, настойчиво спрашивала, что мне понравилось в ее концерте во ВГКО. Я назвала ей «Колыбельную», про лес и про Мэри с коровами. Она очень искренне спрашивала меня о моей доле — я ей правдиво описала свою «юдоль». Она с Горышником в дружбе. Сказала, что он будет мне аккомпанировать, на что я ей сказала, что уверена, что он не будет, ибо он хоть и настоящий артист, но сноб, а я сейчас не только забыта, но и забита, уничтожена, — он не станет аккомпанировать мне. Если сама она и придет ко мне, то за песнями. Что ж, мне не жаль будет дать ей то, что я петь не буду, а у меня есть прекрасные романсы. На фоне наших пошлых и безвкусных певиц, конечно, она — яркое явление. Хотя бы уж одно то, что в ней органическая музыкальность и прелестный голос.

2 апреля

Баба Женя, или Евгения Яковлевна, наша пожилая домработница, которая жила у нас перед войной, снова у нас с сегодняшнего дня. Алена любит ее, баба Женя приветливая и тихая. Я довольна.

Пела маленьким балеринам в балетной театральной школе при Большом театре по просьбе профессора Александра Федоровича Гедике.

Потрясающее сообщение с Западного (союзного) фронта: сопротивление немцев сломлено, немцы бегут или тысячами сдаются в плен, наши союзники едут по Германии, не теряя ни одного человека!

Недаром Маруся сказала, что скоро Мир. Пять лет — пять лет тому назад они, красивые, наглые, самодовольные, мчались моторизованной лавиной по Бельгии, Франции, Польше, Чехословакии и, позднее, по Белоруссии, Украине... Кавказу. Сломались у Сталинграда, покатались назад и тащатся теперь по остаткам Германии. От Кельна, Берлина, Дрездена и еще от многого остались РУИ-НЫ... О, бедные дети всех раздавленных стран...

8 апреля

Сегодня я наконец (о, как я упрекаю себя за то, что не год тому назад!) поехала к Тихону Чурилину, взяв с собой Женю-соседку. Бронислава Иосифовна умерла два месяца тому назад. Бедная святая, любовью своей защищавшая его всю жизнь — от жизни. А Тихона Васильевича увезли в «психиатрическую клинику имени Ганнушкина». У него глубокая депрессия. Так мне сказали в Литфонде. Он сначала не верил, что жена умерла, и не давал никому притрагиваться к ней, говорил: «Она спит!», а когда понял, то перерезал себе вену на левой руке. Хотел умереть...

Мы долго ходили по корпусам этой унылой больницы. Я чувствовала, что Тихон — уже не Тихон. Я опасалась, что появление

мое вызовет у него шок. Наконец мы нашли палату, где он лежал. На дворе сияло солнце и расцветала весна, но в этих палатах не было ни времени, ни событий — желто-серое все, тяжкое, остановившееся. Я сразу узнала его, хотя он так страшно не похож на прежнего Тихона... И он сразу узнал меня. Я не могу описать этого взгляда его! Глаза — были его прежними глазами — умные, пронзительные. Во взгляде была печаль, мелькнул в них на мгновение упрек: «Где ты была раньше?», а потом и легкая нежность. Он, конечно, сознает свое несчастное состояние...

— Татьяна! Мне очень тяжело видеть вас сейчас...

— Тишенька, вы хотите, чтобы мы ушли?

— Да, уходите...

— Вы хотите, чтобы я пришла в следующее воскресенье?

— Не знаю. Я подумаю. Я дам вам знать через доктора.

Мы ушли. На этой неделе я повидаю его доктора.

Я знаю, что, если бы Тихона перевезти куда-то на природу, на воздух, напитать его глюкозой и витаминами, он поправился бы... Чья-то любовь еще согрела бы его, вернула к жизни... Мой бедный друг Тихон! Талантливый поэт! Несчастные, больные люди вокруг него — чужие люди, и уродливость этой палаты, и тяжелый, пропитанный мочой воздух, все серое, скучное и печальное вокруг — бедный друг мой! Убегать от жизни, чтобы убежать вот в это, более страшное, чем смерть...

— Он лежит, не вставая, молчит все время,— сказала мне сестра.

Он похож на дряхлого, заморенного в неволе кондора. Седой... Когда мы уходили, сестра спросила меня:

— Вы не дочь его?

— Нет,— ответила я.

— Вы очень похожи на него,— сказала она.

Мы вернулись оттуда домой как больные. Я свалилась в постель и спала до вечера. Все во мне болит от жалости к нему. Но Боже, Тихон, Тихон! Бедный Тихон! Несчастливая жизнь, удары, которые сыпались на него,— а ведь он поэт!.. И вот теперь: неужели из этого мрака он перейдет в небытие!..

Книга его стихов должна была выйти еще в 1940 году. Мы — я и его друзья — написали письмо о том, что стихи поэта Чурилина необходимо издать. Я возила это письмо в Ленинград, чтобы подписал и Николай Семенович Тихонов, что он охотно и немедленно сделал. Откликнулся всей душой и Пастернак... Этого хотела Лиля — и Василий Абгарыч Катанян помогал изданию, вышел сигнальный экземпляр, мы все так радовались. Но Жданов зарезал книгу за «формализм»!.. Бедный Тихон...

Люди, люди, берегите поэтов!

Я не могу спать, я боюсь спать! Лицо Тихона, его глаза все время передо мной... Я виновата перед ним, я виновата перед Ирочкой моей, я виновата перед стариками и Ванюшей. Даже их я забы-

ваю, не пишу им подолгу, живу вне их и трачу себя подчас на пустую, нестоящую чушь. Взять бы из больницы Тихона к нам! Я плачу и не могу остановиться... Ведь он поэт!

15 апреля

Мы заняли Вену. Я помню, как мы были там с Беном в октябре 1923 года. Это был наш третий месяц супружества. Мы были очень счастливы. Остановились в маленьком отеле около Стефан-кирхе. Вечерами ходили по кабакам, кабаре, кафе... А днем катались и гуляли по улицам, бульварам, а главное — Пратеру. В Вене я встретила свою пятигорскую подружку Ютту Экк. Жива ли теперь она? Милая умница.

Вена была уютная, нарядная, хотя и сильно обедневшая после первой мировой войны. А кабаки были упоительные.

Я никогда не забуду огромного кафе «Ритц», где над столиками была протянута сетка от стены к стене, а под потолком кувыркались разные дьяволы-гимнасты. А мы с Беном сидели в ложе, а в соседнюю ложу вдруг вошли та константинопольская рыжая красавица и ее черные жуки! И мне все было до того дико интересно, что казалось: я от жадного любопытства из кожи вылезаю, как Мюнхгаузен или его лиса. Знаменитый хирург, доктор Шницлер, брат писателя Артура Шницлера, должен был делать мне операцию аппендицита — аппендицит у меня воспалился там от разных коньяков, но в последнюю минуту я отказалась поехать в клинику: боялась. В Пратере — дивный парк! — деревья огромные и все дороги усыпаны золотыми осенними листьями. Бен купил мне платье и шубку темно-зеленую с обезьяньим мехом и к ней зеленую шапочку с пером. Элегант! Из Вены мы помчались Симплон-экспрессом через Швейцарию в Париж!

Я не могла в ту ночь оторваться от окна, так и просидела до рассвета, глядя на Швейцарию: мимо мчались ярко освещенные луной горы, снег синевато блестел на них, местами сиял как стекло, и города и городки казались призрачными. Хотелось очень долго мчаться так по миру в уютном купе международного вагона, рядом с Беном, которого я любила все сильнее. Каким он был ласковым, внимательным, веселым! Милый Бен! Друг мой, жив ли ты?

Рузвельт умер. Это очень жаль, это плохо для нас... Скоро мир! Все говорят, что скоро. Боюсь, что Гитлер со своими гитлеровцами уже бежит по аргентинским пампасам. Удрал... Недаром американцы нашли в соляных коях сто тонн золота и миллионы долларов и стерлингов. А немецкие солдаты еще гибнут. И наши! НАШИ!

Была в пятницу у Тихона Чурилина, его не видела, но говорила с докторшей. Она производит хорошее впечатление. Говорит, что

он болен больше от истощения, чем психически, и что хочет, чтобы в следующее воскресенье я приехала одна.

Борис Агапов получит лауреатство. Полина Арго хорошо сказала:

— Я бы дала ему лауреата за ЛИЧНОЕ ОБАЯНИЕ.

Но сам он говорит, что Бог ему не дал таланта. Нет, это мне Бог недодал. Если бы додал, то все было бы в порядке. А у меня НЕ ХВАТАЕТ!.. То ли сахара, то ли именно таланта. Сарра Бернар небось и без сахара...

16 апреля

Были у Крейтнеров (он женился на Люсе Чудновской) по поводу «О, Сюзанна!» — пьесы, которую перевела Рита Райт, моя недавняя подруга. Мы с Ритой музыку даем писать Крейтнеру, текст песенок пишу я, а Рита обрабатывает пьесу. Вчера был этот легавый щенок, Борис Филиппов. Он режиссер у Акимова в Театре комедий — требует «Сюзанну» для постановки.

Итак, я, прихватив с собой Женьку Стрелкову, которая готова бежать хвостом за мной, пошла к Крейтнерам. На дворе ранняя весна, холодная, со снегом. Луна освещала лужи, по небу рвались облака, и пахло скорым маем. Мы прозябли от сырости больше, чем мерзли зимой от морозов. В подвале было уютно. Крейтнеры затопили камин, мы пекли картошку, потягивали плохонькое вино и бурно веселились. Крейтнер сломал ветхий стул, подбросил, и камин запыхал жарко. Отчего-то было страшно смешно, и мы хохотали до упаду. Люся недавно вышла за Крейтнера замуж и сразу же стала обожающей и ревнивой супругой. Она хозяйничает и печется о нем. А он умиляется и уже избалован. Но они очень милы оба. Звезд он с неба не хватает, но я уверена, напишет премиальную музыку к «Сюзанне»!

Но странно, что наши русские женщины, как только выйдут замуж, сразу же делаются прислугами своих мужей, за редким исключением.

Что с войной? Скоро ли вправду МИР? На душе тоска, даже тревога...

22 апреля

Вернулась от Тихоновых. У них — тяжелая атмосфера. Маруся изменилась — худая, постаревшая, а Николай как лев, — здоров, красив, готов броситься на каждую женщину, очень попошел, опустевший и страстный. Маруся грустит, изводит его и себя. Сказала мне:

— Он мне все время говорит: «У меня нет дома!»...

Я говорю Марусе:

— А ты ему скажи: «У НАС ЕСТЬ ДОМ».

В общем, это плохо кончится. Его снимут с председателя. И председателем Союза писателей станет какой-нибудь Боря Агапов. Николай пьет, «загулял», окончательно растрепался.

Николай сказал, что мы — Жуков, Рокоссовский и Конев — окружили Берлин и наши уже бьются на Унтер-ден-Линден. Потсдам взят. Сталин приказал взять Берлин НАМ, чтобы не американцы. Те уже близко. Под Лейпцигом мы уже соединились с союзниками.

Была днем в больнице у Тихона Чурилина. Он был несравненно лучше сегодня. Сказал мне:

— Те же волшебные глаза у вас, Татьяна.— И еще сказал: — Мне тяжело, что вы видите меня таким. Я сейчас как животное — ем... Теперь, когда Броника умерла, я не могу ДУМАТЬ...

Я обещала ему, что сделаю все, чтобы ему было лучше. Он так худ, руки совсем прозрачные. Я хочу ему сказать, что он должен жить, чтобы рассказать — написать — людям о Брониславе Иосифовне, о ее великом подвиге — любви к нему. Если б только можно было — я бы взяла его к нам. Мне бесконечно жаль его. Я долго говорила с докторшей; она, по-видимому, добрая женщина. В той же палате, где лежит Тихон, лежат настоящие сумасшедшие, бормочут, тихо кричат — очень страшно. Бедный поэт...

23 апреля

Вечером мы шли по улице вниз — и вдруг голос по радио:

— «Приказ маршала Жукова! Наши армии ворвались в Берлин...»

Толпы народа, затаив дыхание, слушали этот голос. На небе сияла луна, меня душили слезы — от восторга и от горя за тех, кто не услышит этого приказа... Салют был величественный, победоносный. Нет, описать этого нельзя!

Позднее был салют маршалу Коневу — его войска ворвались в Берлин с противоположной стороны.

Москвичи стали добрей друг у другу, все как-то оживились, повеселели.

Сейчас ночь, а на улице непонятное: мимо нас по улице Горького идут полки; вот они встали напротив нашего дома, стоят красногвардейцы вольно — я не успела дописать, — сильный гул слышался уже давно — и вот мимо нас медленно поехали орудия, огромные, по четыре в ряд. И почему-то перед ними шли по одному красноармейцы в белом, в белых балахонах. Медленно прогремели эти пушки. Красноармейцы построились по взводам и ушли. А спустя десять минут промчались быстро две огромные, длинные пушки одна за другой. Я не отойду от окна. Наверное, пройдут и танки. Что это? К Первому мая? Репетиция демонстрации? Вряд ли... К взятию Берлина? Как великолепно все это в ночи, дружеское, свое, наша защита... И как страшно, когда это враждебно. Господи, спаси и сохрани тех, кто бьется сейчас в Берлине!

25 апреля

Открылась мирная конференция в Сан-Франциско. Конечно, менее торжественно, чем если б Рузвельт был жив. Я ничего не понимаю в политике, но так мне кажется.

Москва какая-то веселая стала, огней на улицах прибавилось! Все ждут снятия затемнения. Все радостные. А сегодня к нам пришел скульптор Жорж Лавров. Вчера он приехал из ссылки, был в Магадане, на Колыме... Из-за границы в Москву он вернулся тем же летом тридцать пятого года, что и мы. Он скульптор, неталантливый, но деловой. Тогда он привез с собой из Парижа жену-француженку и дочь ее Надю, которую удочерил. Бедная Мари умерла в эвакуации во время войны. А Лаврова в тридцать седьмом году, в период «ежовщины», сослали на Колыму. Он приехал из Магадана почти не постаревший, крепкий; привез с собой чертежи машины для увеличения скульптур, показал их нам с Аленой... Цаплина не было дома. Русский человек — Лавров. Этот нигде не пропадет.

Как только в 1935 году он вернулся из Парижа в СССР, он сделал скульптуру «Сталин с девочкой Мамлакат» и получил за нее колоссальные деньги. За что его посадили — непонятно. А скульптура эта понатыкана всюду и по сю пору.

Он сказал про ссылку:

— Конечно, тяжело было. Но главное — не потерять МОРАЛЬ... Работал.

Я ужасно обрадовалась ему. Мне вспомнился Париж и наше начало жизни с Цаплиным, и как Аленушка родилась, и все... В те времена я и познакомилась с Лавровым — он часто бывал в мастерской Цаплина. А когда мы уехали на Майорку — мы поселили там Лаврова — даром, конечно. За мастерскую платили деньги Бена, которые он мне посылал. Я от души рада за него, что он опять в Москве и с Надей. Бедная Мари не дождалась его, умерла в глухой русской деревушке. Парижанка! Любя его, поехала с ним в загадочную страну СССР... У нее голос был как музыка и задумчивое красивое лицо. Бедная Мари...

29 апреля

Мы переживаем великие дни. Наши войска соединились с союзниками. Гитлер предложил англичанам и американцам безоговорочную капитуляцию Германии. Те ответили, что разговаривать немцы должны с союзниками, то есть с Советским Союзом и ими. Наши дерутся уже в центре Берлина. На стене одного дома было написано фашистами: «Хайль Гитлер!» Эти огромные буквы были перечеркнуты мелом, и корявым почерком кто-то написал: «Я в Берлине. Сидоров». Муссолини взят в плен. Это сообщение напечатано в газетах мелким шрифтом.

И ЗАВТРА, ЗАВТРА СНИМАЮТ ЗАТЕМНЕНИЕ!

Дни стоят теплые, такое солнце, такая весна! Словно и природа радуется вместе со всеми нами! Какой праздник, о Боже! Какой праздник на сердце! Я помню дни начала войны, как будто они были вчера. Невыносимая смертная тоска зажала тогда сердце и не отпускала его долгие, долгие годы. Идет пятый год войны... Те, кто были убиты, те, кто умерли с голоду в блокаду в Ленинграде, погибли от бомбежек, при эвакуациях, и те — о, самые несчастные — в Майданеке, в Треблинках, в Освенцимах, — замученные, удушенные, сожженные... Господи, если и не было бы Рая, — создай и м Рай, сделай, чтоб тени их могли утешиться, УТИШИТЬСЯ (от слов «тишина», «мир»). А кучка безумцев, идиотов, изуверов — сиречь Гитлер и Муссолини, как синоним, — сдаются теперь в плен, играют в дурачки. Им не хватает даже на то, чтобы самим застрелиться...

Победили мы все, каждый из нас.

30 апреля

В домах горят огни. По улице Горького стоят великолепные столбы с новыми электрошарами. Я, баба Женя со своим внучком Жориком, Алена, Рита Райт с Киской вечером ходили на Красную площадь, смотрели с моста у Кремля салют Рокоссовскому — мост вздрагивал от грохота орудий, и тысячи разноцветных огоньков взлетали в небо и отражались в Москве-реке. А потом ночью, в половине второго, я пошла снова гулять, взяв Риту, которая с Киской у нас ночует. Ночью на башнях Кремля зажглись звезды, и флаг снова трепетал алым крылом по ветру над Кремлевским дворцом.

Рассвело. Я не могу спать. Оттого, что:
сняли затемнение,
от ПОБЕДЫ,
от СЧАСТЬЯ.

2 мая

Мы взяли Берлин. Салют был из трехсот двадцати орудий. Люди после каждого залпа орали: «УРА!» Я была у Полины Арго, я ушла в другую комнату и плакала от счастья. Как живой передо мной вставал Юрочка Арго, восемнадцатилетний славный мальчик, убитый еще в сорок первом году под Ленинградом. Арго тогда от горя сразу стал стариком. Сегодня радовался с нами, но глаза такие печальные...

СЛАВА ГЕРОЯМ, ЖИЗНИ СВОИ ПОЛОЖИВШИМ. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ИМ И ВЕЧНАЯ НАША БЛАГОГОВЕЙНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ...

Я шла от Арго поздно ночью, по освещенным улицам Москвы. Звезды над Кремлем неизбежно сияли снова, о, дай Бог, на многие лета.

4 мая

Вчера вечером я пошла к милой моей Наталье Ивановне Подгорной-Любавиной. Были только свои. Вдруг явилась очаровательная актриса, седая Верочка, с человеком, фамилия которого Барнет, зовут Борис Васильевич, он кинорежиссер. Он был очень пьян, но держался молодцом. Он запретил мне курить и отвез меня домой на машине. Поднялся со мной в лифте, и когда лифт остановился на седьмом этаже, Барнет топнул ногой и крикнул:

— Клянитесь прахом вашего отца, что вы не закурите больше! Я смертельно боялась, что лифт упадет, и поклялась (дай Бог моему отцу еще жить да жить!). Мы благополучно выбрались из лифта. Он вошел со мной в нашу квартиру. Все дома уже спали. Он просил меня петь. Я пела «Сашу», «Шарф голубой», «Умри — заглохни...» — у него сияли глаза! Он сказал: «Спасибо тебе!» — встал на колени и поцеловал мои ноги... А потом он ушел. Я плохо спала и написала песню, встала рано. Он позвонил по телефону — приказал не курить.

6 мая. Пасха

Вчера мы ходили к заутрене в церковь, что в Брюсовском переулке. В церкви так было тесно, что мы войти не могли, да мне и не хотелось, — стояли на улице. Народу великое множество. Пасмурно, но теплая ночь. Стояли люди со свечками, молились... И мне вспомнилось детство, когда по всем московским церквям звонили во все колокола и люди на улицах говорили друг другу: «Христос воскрес!» — и полагалось целоваться даже с незнакомыми. И все ходили праздничные, умиленные, подобрешие.

Сейчас была у Тихона Чурилина — отвезла ему кулич и молоко. Он обрадовался мне, бедный друг мой... Мы поговорили хорошо, на прощание он нежно поцеловал мне руку. И мне рвет душу несчастная судьба всей его жизни. Я не могу примириться с этим! Он сказал:

— Татьяна! Приезжайте еще! Только одна вы. Я больше никого не хочу видеть. ВедьBronка умерла...

8 мая

В одиннадцать часов вечера Германия расписалась в своей безоговорочной капитуляции перед нами.

9 мая

Описать все трудно. Я не спала со вчерашнего утра — сегодня утро девятого. Значит, еще позавчера днем Нонна Агапова позвонила мне о том, что будет заключен мир. И позвонила Маруся. Я тут же сказала всем, кого вспомнила. К вечеру вся Москва ждала,

томилась ожиданием. Были салюты — Дрезден и города в Чехословакии. Я пошла к Тихоновым, мы сидели и ждали. Ушла около часа ночи. Только собралась ложиться спать, как позвонила Маруся:

— Таня, слушай радио.

Я помчалась к Женьке-соседке будить ее, разбудив по дороге Алену и Цаплина: он, угрюмо ворча, все же встал. Собравшись у радиоприемника, мы ждали все — и все мы были живы! Мы слушали! Левитан торжественно, как заклинание, произносил слова, и передо мной вставал день объявления войны и все эти страшные годы... Я, конечно, рыдала навзрыд.

— «День Девятого мая объявляем ДНЕМ ВСЕНАРОДНОГО ТОРЖЕСТВА — ДНЕМ ПОБЕДЫ!»

Спать было немыслимо. Я рвалась на Красную площадь, к Кремлю! И за мной все помчались туда. Мы шли по ночным улицам — светало, мы оралы «ура!». Мы были почти ПЕРВЫМИ, но и другие люди тоже шли туда — с детьми. Все на Красной площади танцевали, и кричали, и махали руками — к Кремлю! Оттуда из окон на нас смотрели, кто-то махал в ответ. Люди смеялись, незнакомые целовались и говорили друг другу: «С победой!» Потом я помчалась на телеграф: отослать телеграммы Ванюше и Ире. А на телеграфе уже была огромная очередь.

Сейчас семь часов утра. Алена с Олечкой остались на площади — я разрешила ей провести этот день, как ей самой хочется. Цаплин, ворча на весь свет, сразу после объявления Мира лег спать. Все ждут речи Сталина. И лечь нельзя ни на минуту — немыслимо пропустить хоть миг! Сейчас опять побегу туда, к Кремлю. Сияющий день! Солнце на весь мир сияет от счастья!

С 9 мая на 10-е. Три часа ночи

Для меня это был День Счастья. В семь часов утра Алена, Слава Стрелкова и я снова помчались на Красную площадь. Она была полна народу, было великое веселье, а день чудесный — солнце, май и теплый ветер — ветер на весь свет. Оттуда мы пошли к Тамаре Груберт, потом забежали к Ермолычу — и снова на Красную площадь. Оттуда к Тихоновым, где я рассказала о ночи, — Николай был чудесный, в глазах у него были слезы. Он вынул снимки блокады Ленинграда — навсегда осталось это в прошлом... Потом я забежала к Боре и Нонне Агаповым и, наконец, домой, где немного соснула. По улицам шли толпы людей, все светлые, нарядные, ликующие. К девяти вечера мы уже опять было собрались идти к Тихоновым — Алена, Женя и Слава Стрелковы, Агаповы, Тамара Груберт и я, но ровно в девять часов Сталин стал говорить. Мы ринулись к Тихоновым после его речи — трудно было пройти по улице и мимо Кремля, столько было народу! Был объявлен салют из тысячи орудий тридцать раз!

Николай, Алена, Шура, Арнштам — все мы побежали смотреть салют на мост. Это было совершенно невероятно и потрясающе —

в небо ринулась тысяча разноцветных лучей, и, спущенные с аэростатов, сияли в вышине портреты Ленина и Сталина, и трепетали в небе алые флаги. Ярко-голубые, розовые, алые, лиловые тучи задвигались от земли до небес, пересекая темное весеннее небо, и грянули тысячи орудий, и за каждым залпом, как волны, перекатывалось людское «УРА!».

Букеты фейерверка взлетали и падали с неба вниз.

Шуршала вселенная.

Потом мы сидели за столом и пили — и я подняла первый тост: за Победу! За огромными окнами тихоновской квартиры Москва сияла огнями, победоносная, ликующая. Победило то, во что я верила всю жизнь и другие вместе со мной.

11 мая

Ночь с одиннадцатого была какая-то Вальпургиева. Я вся усталая, блаженная и смутная.

Вчера ко мне зашла Рита. Мы говорили об «О, Сюзанна» — пьесе, которую она перевела. О режиссере. Она вспомнила Барнета. Я сказала, что познакомилась с ним. И вдруг сам он приехал! Без звонка. Сказал: «Я рвался к вам!» Мы втроем сидели на кухне ночью. Пекли оладьи. Я пела...

15 мая

Вчера была на Новодевичьем кладбище. Могилы Гоголя, Аксакова, Чехова, Скрябина. Есть трогательные могилы, есть безобразные. Но одна из лучших — могила жены Сталина — Аллилуевой. Желтый песок, зеленый, как бархат, газон, серебряные ели; под ними белая простая скамья и памятник из белого мрамора: на высоком пьедестале голова женщины. На памятнике ее имя, годы и «От И. В. Сталина». От чего она умерла, бедная? Говорят, он часто (?) бывает на ее могиле. Мы так мало знаем о нем как о человеке. Как о Сталине — вожде народов — знаем более, чем нужно... Дошли до того, что и Солнце по его воле светит! Подхалимы!

17 мая

Вчера неожиданно пришел гитарист Дима Челноков. Я обрадовалась ему от всей души. Он был пьян, говорил, что постоянно вспоминает наши репетиции, наши песни, что это было самое «прекрасное время в его жизни»... Так оно и было... О Господи, если бы они снова аккомпанировали мне!

21 мая

Вчера была у Тихона Чурилина. Он поправляется. Он лучше выглядит, и милая докторша везет его на дачу — это именно то, что

ему нужно. Мы нежно попрощались, и он, как прежде, со всей своей врожденной «светскостью» — когда он того хочет, — поцеловал мне руку.

Так странно читать газеты! Сводки нет. Войны нет! Ванюшечка, увижу я тебя этим летом?

Вчера пришел Крейтнер. Он мне говорит:

— Скажи по душе: тебе нужны деньги?

Я никак не ожидала этого вопроса.

— Да!

— Сколько?

А у меня на душе до зарезу долг композиторше Тане С. за аранжировку, которую она, к стати, хорошо сделала.

— Пятьсот рублей.

Он вынул деньги.

— Возьми и забудь. Я в карты выиграл.

Я от всего сердца его поблагодарила. Вот это миляга человек! Правильный поступок — вот так и надо с деньгами: просто раздавать, когда есть лишние. Будет ли для меня возможным это приятнейшее из удовольствий? Я живу почти без копейки (в буквальном смысле этого слова) много месяцев, но Цаплин кормит меня и Алену. Главное — старикам с Ванюшей послать надо. Эх... И обтрепалась я. Все такое старое, полурваное, убогое. Весной хорошо бы новые перья, хотя бы в хвост, то есть на ноги. И так хочется одеть Аленку. У нее экзамены, и она нервничает. А Барнет уехал на Север снимать фильм...

23 мая

Грустно мне. Где ты, Тимофей Иванович Расторгуев? Я тебя выдумала. Ты играешь как дьявол и ты нечто среднее между Хуаном Бельмонте — знаменитейшим матадором Испании, и Дмитрием Михайловичем Дудниковым — русским актером. В паре с тобой — Алексей Николаевич Алехин, с л е п о й, молодой, похож на Честера, такой русский пастушок. Ох, как они играют!.. Я слышу во сне и иной раз на улице. Я их выдумала. Но ведь есть же они на свете где-то?!

Сейчас я и мои гитаристы, когда они появляются, — это «салонная конфетка», а ведь я совсем не салонная, я от улицы, от города, от городского, русского люда. «Барыни» во мне никогда не было и не будет. Я комфорта люблю, как кошка, потому что так удобнее, а по существу мне безразлично, как я одета и прочее. Я и за границей не отели любила, а рынки, ярмарки, кабаки. Я не «деревня» — деревню я терпеть не могу, не понимаю и ее опасуюсь. Я — «город», но не его «залоны», а тротуары, базары, площади, даже бани!

29 мая

Лиля Брик повела меня к Адуеву — эстраднему писателю, чтобы я пела и чтобы он чем-нибудь помог.

Пела. Понравилось. Адуев кому-то что-то скажет.

Нонна, почуяв во мне интерес к Барнету, стала рассказывать о нем. Пьет. Жаждет ордена. Талантлив. Но «не нашел себя». И бездельничает. Я молчала. Только голова вдруг заболела, как будто в нее воткнули вилку и там ковыряют.

4 июня

В среду у меня просмотр у Тонского в ВГКО (Ильина-сына и Преображенского сняли). Пою под гитары: «Русские девушки», «Разносчик», «Сашу», «С Васильевского острова», «Шарф голубой» и «Джонни». Это мне устроили Адуев и Крейтнер. Только бы не подвели мои гитаристы. Абсолютно не волнуюсь не оттого, что уверена в успехе, а от равнодушия. Мне так неинтересно петь этому очередному чиновнику от искусства. Вспомнился ленинградский Кисельман. Несмотря на то что моя дальнейшая певческая судьба зависит от этого Тонского, мне все равно неинтересно ему петь.

6 июня

Интересно — неинтересно, а петь пришлось и пришлось стараться, чтобы было интересно себе, ему и комиссии. Я понравилась, сказали, что меня взяли на постоянную работу. В среду будет тарификационная комиссия. Спасибо Павлу Ивановичу Ильину и Крейтнеру, и Адуеву. Главное же — Лиле Брик.

25 июня

Вчера, в День Победы, с утра шел дождь. Поэтому демонстрацию отменили, а народу собралось множество. Всем хотелось пройти перед Сталиным и маршалами. Вечером была изумительная иллюминация под морозящим туманом. А сегодня чудесный ясный день. Вечером был банкет в Кремле. Аленка с Зинкой Поповой попросились погулять. Я их отпустила на полчаса. Ушли они после десяти вечера. В полночь их еще не было. В общем, в час ночи мы с Марией Андреевной Поповой, матерью Зинки, бросились искать их. Конечно, первым делом пошли на Красную площадь. И нашли их в первом часу: они стояли у Спасских ворот и не могли оторваться от зрелища героев, которые сначала входили, а позднее уже выходили из Кремля. И действительно, это все было так интересно, так красиво и герои были такие, что я поняла и простила тут же. Наши дочки сияли, орали «ура» и били в ладоши. Алена говорит, что «встречавших» сначала было множество, потом стало меньше. Интересно все-таки, как «патриотичны» мы все стали. Я рада, что Алена

с Зинкой снова подружились. Зина — дочь Марии Андреевны Поповой, знаменитой пулеметчицы из Чапаевской дивизии. И в Зине есть какая-то хорошая удаля, своеобразие и то чисто ребячье, что есть в Алене, несмотря на то, что им по тринадцать лет. Я в тринадцать лет была другая...

26 июня

Были с Аленой у Маруси Тихоновой — похорошевшей, счастливой. Дом стал больше домом, чем был, — теплее, красивее. Николай «в доме», с красоткой Таней Лагиной покончено. Она уже с кем-то другим.

Были «новеллы». Рассказывала Маруся «Два кольца». Рассказывал Исай «Пепел безродной старухи» и «О девочке у Неждановой». Я рассказала «Козью голову» и вспомнила новосибирские «вечера новелл». Надо бы записать их.

Про «Пепел» рассказ ужасно порочный тем, что про смерть, но безумно смешной. Исай великолепно рассказывает.

А у меня тоска. За последний концерт мне не заплатили. Продала в скупке дивное белое суконное пальто, продала бездарно, задаром, но не могу, когда грызут долги. Гитаристам — шестьсот рублей, остальные долги — небольшие. Расплатилась. Тоска о Ванюше. Грызет. Хочу видеть его и стариков! Хочу снова денег им послать!

Дителю подбили глаз на пьянке его же дружки, завтра концерт из-за этого срывается...

Маруся читала стихи Юлии Друниной. Ей двадцать лет. Всю войну на фронте. Стихи такие, что хочется навзрыд плакать. Ничего нельзя с собой поделать. Я стихи послала Люсе, чтице Чудновской, жене Крейтнера. Она обварилась, бедняжечка, лежит в больнице. Так жаль ее! Но ожоги не опасные, скоро поправится. Пусть читает в концертах стихи Друниной. Езжу в больницу навещать Люсю, она под покрывшкой из марганцовки, ожоги уже стали заживать.

1 июля

Вчера я говорила с Тонским. Мне он сухо сказал, что ни о каких планах дальнейшей работы со мной говорить пока не будет, так как я для них эксперимент — они проверят меня в открытых концертах. Он не забыл мое пренебрежение к нему в Абрамцево! Мне хотелось сказать ему: «Сделайте-ка этот эксперимент как следует — дайте режиссера, оформите «номер»... Но говорить с ним ни к чему. Какое несчастье, что во главе наших «искусств» стоят б е з д а р н ы е, сухие люди. Я помню его пошлое «пение» в Абрамцево. А в газетах пишут: где же новые кадры?! А как им быть, когда вот такие «тон-

ские» допускают или не допускают. А я вся стала жалкая внутри: отсутствие денег и чулок, мука безденежья за Ванюшу. Цаплин, все более погружающийся в свой эгоцентризм, «пьет собственную мочу» (как выразилась Маруся Тихонова о поэте Мартынове). Во мне есть некое мужество. Я еще куражусь, о Господи, Господи...

Но внутренне — я мокрица, а не орлица.

О, Кармен, но еще не поздно!..

Сегодня утром я увидела, что Цаплина дома нет; ночью он не приходил. Побежала к нему в мастерскую. Он стоял — очки на кончике носа, в старой фетровой шляпе, в халате. Перед ним лежала ПРОСТЫНЯ бумаги, вся мелко исписанная его неправильным корявым почерком. Я разобрала только заглавие: «Коротко и сухо».

— Что это, кому? — спрашиваю.

— Ты их не знаешь и не твое дело — для кого, — мрачно ответил он и заорал: — Зачем пришла? Ты подрываешь меня!

Я быстро ушла. Бог с ним.

Я не думаю о смерти. Но когда думаю, то очень боюсь и все мое существо протестует, как против немецкой бомбы. Главное, что «столько дел — не успел. А тебя зарыли...».

Всё дожди и холодно. И рассвет сейчас пасмурный, скучный. И подчас так хочется на природу — до слез. Милая, бедная моя Аленушка... Она все просится «на дачу»...

Гитаристы все еще на бюллетене.

6 июля

Завтра Аленка едет в Абрамцево с детишками Людмилы Александровны. Сама Людмила Александровна — художница-оформитель — похудела, извелась, бедная, работой без отдыха. Пятый год без отдыха. Цаплин выдал нам крохи продуктов. Аленка вся в волнении и счастье. Ванюша!.. Гитаристы на бюллетене. А завтра нас должны были слушать на радио... Я рыщу по городу, охотясь за другими гитаристами. Есть, но все второсортные.

Нонна (такая очаровательная — прохладная вся и мягкая. Борис в Берлине, и она отдохнула) повела меня посмотреть фильм Райзмана «Берлин». Подписание капитуляции. Очень сильно и страшно. Если б маршал Жуков не был великолепным полководцем, он, конечно, был бы великолепным актером: обаяние, простота, непосредственность. Он ни секунды не п о з и р у е т перед аппаратом. И полная противоположность ему — Кейтель, немец, подписывающий капитуляцию Германии, — позер, чванливый, холодный, кривляка, взмахивающий, как стеклом, своим маршалским жезлом. В его позе самоуверенного «арийца» нет чувства собственного дос-

тоинства, нет человека — один футляр. Потому-то они все и лопнули, эти пузыри, эти «главковерхи» Германии.

Жарко. В воздухе прямо-таки «томительная нега». А около меня одни женщины. Они надоели мне, как плохие конфеты. Мы полуголодные, убого одетые, никем не обласканные, увядшие цветки. Женька-соседка извелась уже совсем, худа, дурна. Господи! Пошли ей поддержку и друга! И сколько других осиротевших, обездоленных моих сестер. Много голодных нищих, я им стараюсь, если нет ни куска хлеба, хоть что-то из одежды дать, хоть и старое. Стучат в двери и стоят иногда молча. Просят глазами, не словами...

16 июля

Вчера днем Яхонтов выбросился из окна (или в пролет лестницы?) — в смерть. Я помню, как он читал «Горе от ума». Мне всегда было скучно смотреть эту пьесу. Но впервые она прозвучала для меня интересной, умной, глубоко русской в ЧТЕНИИ ЯХОНТОВА. Он не был «чтец» — он был Яхонтов — своеобразный, замечательный жанр, неповторимый, конечно. Когда Яхонтов в цилиндре садился в кресло, набрасывая на ноги плед, и ехал, ехал в карете по миру искать, «где оскорбленному есть чувству уголок», — кругом стояла ночь, шел снег, и одинокий, печальный человек ехал в карете, и, покачиваясь, карета увозила его куда-то по русским просторам... А Яхонтов просто сидел на сцене в кресле. Голос у него тоже был особенный — звучный, душевный, на другие голоса непохожий. И благородство, с каким он двигался по сцене. Я помню, как мы шли от этой бедной наркоманки Людмилы Омельченко и говорили, как старые друзья, о любви, об Образцове, он о себе рассказывал. В тот раз мне с ним было легко и интересно. А иной раз от него шло что-то тяжелое, непонятное... Он странный был и не совсем «в себе». Образцов намного крепче, нормальнее, но и меньше масштабом в смысле АРТИСТИЧНОСТИ. Бедная осиротевшая Лиля Ефимовна Попова — жена Яхонтова. Она была его режиссером, как она осиротела, бедная... Такому артисту обязаны были дать полную волю делать и читать все, что и КАК он сам того хотел. А репертком запрещал и то и другое. И, конечно, это било его по сердцу. Как и моего Цаплина бьет и превращает в сумасшедшего... Почему считается, что ЧИНОВНИКИ имеют право «допускать» или «не допускать»?! Что они вправе диктовать ХУДОЖНИКАМ? Вот что ужасно: поэтому у нас и нет настоящего искусства. Да, его у нас нет — ни на сцене, ни в изобразительном искусстве, ни в литературе. Разве только в музыке, да изредка в какой-то мере в кино.

Большого артиста потеряли мы. Афиши с огромными буквами «ЯХОНТОВ» еще висят по городу. И наша с ним работа предстоящая... Ах! Мне жаль его ужасно. Ведь он дал заявку на концерт с моим участием! Вместе с ним мы выбрали, что я должна буду петь...

20 июля

От отца телеграмма, что нужны деньги. Мучаюсь, достаю. Послала Ванюше сахар — мой месячный паек.

Что бы я делала, если б у меня не было этого друга, моего дневника? Правда, когда уж очень плохо мне, я писать не могу неделями. Я чувствую, что я последние месяцы как-то изменилась, другая стала — возраст, нечего себе глаза закрывать. Когда я пою, мне хорошо, а когда не пою, то, как и все стареющие женщины, печалюсь о том, что вот — не успела оглянуться... и прочее. Ночью мне хорошо от пленительных снов. Днем бывает тошно. О песнях совсем не думаю. Они на отдыхе, я их не трогаю. Когда хожу по улице, думаю, что вот найду волшебное кольцо, оно будет древнее, с синими сапфирами, надену, поверну на пальце и начну «загадывать». Там есть и про гитаристов, и про новые зубы и про то, чтобы Алена не была близорукой, и Цаплин чтоб был добрым, и про деньги, и про Ванюшу. И про голос. А главное, чтоб никогда не было войн!

Говорят, многие стали самоубиваться — реакция после ВОЙНЫ. Скучно стало — страшно, что это так, но факт. Вот мучились, мчались — домчались и ослабели. Надо бы всем к морю, на теплый песочек, и чтоб прямо из земли росли бифштексы и сосиски, били молочные нарзаны и качались сахарные кустики. Еда дорого стоит, а есть хочется, чтобы вдоволь, на масле, со сливками. А этого нет. Кое у кого есть, наверное. Лично у меня и у тех, кого я знаю, еды очень мало. А немцев мы кормим — у них, говорят, совершенный голод. Одним словом, веселенькие годы двадцатого века.

23 июля

Вчера я шла от моей Тамары Груберт ночью, пахло липами, звезды такие яркие, жарко, ну просто юг, и мне от всего этого было до такой степени горько и больно, что я даже испугалась самой себя. Я шла и думала, что мне стало бы легче только от денег — или кто-то дал бы их мне, или я бы нашла их вот так на дороге, — я бы сейчас же помчалась на телеграф и перевела бы старикам и Ванюше СРАЗУ МНОГО.

31 июля

У меня на выбор три аккомпаниатора-пианиста. Ищите и обрящете. В пятницу просмотр под рояль. Аккомпанировать будет Евгений Михайлович Тимакин — молодой пианист, ученик Игуменова. Петь с ним легко, он очень музыкален. Как сделать, чтобы он стал моим аккомпаниатором надолго? Второй — Попов, Иннокентий Евгеньевич. Ему двадцать один год. Ученик консерватории. Мрачный, некрасивый, в очках, кудлатый. По-моему, талантлив, но не как аккомпаниатор. Хотя явно одержим музыкой. Мы подружи-

лись сразу, ибо когда он пришел, то в виде показа сыграл мне Баха. И я наорала на него:

— Как вы смеете так играть Баха?! Вы понимаете, КОГО вы играете?!

И вместо того чтобы обидеться, хлопнуть дверью и уйти,— он понял. Кротко сказал:

— Вы совершенно правы. Простите.

И вчера пришел опять. И так играл мне Баха, что я просто полубила этого смешного, кудлатого мальчишку.

А третья — Лиза Покрас — плохой аккомпаниатор.

На днях неожиданно явилась Доротея. Я редко вижу ее с тех пор, как она вдруг ни с того ни с сего попросила меня ничего об Артуре не спрашивать! Я уже тысячу лет о нем не спрашивала, забыла о нем и думать. Супруги Адамс — американо-еврейские коммунисты. Я давно их чуждаюсь, но Доротея время от времени вновь ко мне прилипает. Я жалею ее одиночество. Кроме угрюмой домработницы Елены Ивановны, да рыжего сеттера по кличке Зевчик, да последнее время развязного молодого военного по имени Анатолий, у нее никого из друзей нет, по-видимому. Нет, есть еще тоже не совсем понятная некая Роза Прокофьевна, худая как жердь и нервно-взвинченная некрасивая дева.

Доротея сказала, что можно бы, даже должно бы послать сейчас телеграмму с поздравлением по поводу общей нашей победы... Беночке в США! Ну конечно, я обрадовалась и, конечно, пошлю. Она мне даже адрес его откуда-то раздобыла. Милый Бен, он всегда был добрым ко мне, дорогой мой друг, мы с ним искренне друг друга любили, и я всегда вспоминаю его с нежностью. Я ему столько лет не писала! Воображаю, как он удивится и обрадуется моей телеграмме! Доротея даже денег на телеграмму дала! И я послала.

17 августа

Сейчас в Москву приехал Борис Прунин. После детей и моих близких я люблю его больше всех. И мне кажется, что я больше, чем кто бы то ни было, понимаю его, знаю его ценность.

25 августа

Слава Богу, продовольственную карточку на сентябрь я получила. За это время появилась АТОМНАЯ БОМБА. Американцы с англичанами расщепили-таки атом, для того чтобы единым махом грохнуть сразу к черту тысячи тысяч жизней. Японских. Люди — идиоты! И злодеи! Ужас! Кто мне докажет, что это правильно — вся эта чехарда со смертью?! Дикари, безусловно, нравственнее, чем мы, культурные. Ненавижу эти атомы и тех, кто их расщепил на горе человечеству.

Больше событий не было. Нет, были. Но по сравнению с атомом — все мелочь.

Я купила себе платье для сцены в антикварном магазине на Столешниковом. Ванюше и старикам еще до этого послала деньги, продав уйму книг. Платье старинное: юбка — шесть метров в ширину; зеленый штоф, на нем вытканы букетики лиловых гвоздик с темно-зелеными листиками. Диво! Платье все сшито руками. Оно сороковых годов прошлого века.

И вдруг позвонил Барнет:

— Я был в Заполярье, и единственное, что я помнил, — это ваш телефон.

Я рада, что он объявился, но... Бог с ним. Да, еще: Аленоньке двадцать седьмого — четырнадцать лет. Шью ей платьице из Верочкиного (платьею лет шестьдесят!) в подарок. Цаплин плачет по утрам, запирается на ключ. Но скульптуры две за это время сделал прекрасные! Я его жалею и, наверное, очень люблю...

12 сентября

Я получила радостное длинное письмо от Бена в ответ на мою телеграмму. У него есть сын, которого зовут Пип. У Бена собственная адвокатская контора на Пятой авеню в Нью-Йорке и загородная вилла. О жене своей — ни слова. Пишет, что часто думает о «золотых днях», когда мы были вместе, и что никогда не забудет, никогда не разлюбит меня. Я была так рада этому письму! Милый Бен... Он написал, что жизнь со мной у него осталась в памяти как сплошной солнечный день.

Гитаристы уехали на гастроли со своим оркестром народных инструментов.

Вяжу на спицах из шерсти вторую кофту на заказ для Веры Михайловны Инбер. Мне когда-то нравились ее стихи про Сороконожку. Я теперь вяжу кофты на заказ — беру за вязанье деньги, все знаменитые дамы заказывают — и платят хорошо. Я посылаю старикам и Ванюше, и ем сама, стало веселее.

Часто бываю у Тихоновых — у них всегда интересно.

Вчера вдруг приехал инженер Дима Стельмахович, веселый, славный. Он получил какую-то интересную работу на Севере и попросил меня устроить для него вечеринку: чтобы я позвала обязательно Доротейку (откуда он ее знает?), а он приведет с собой своих друзей-физиков. Питание и напитки поставляет он, а я кров и песни. Я рада возможности снова попеть на людях.

17 сентября

Дима еще днем притащил чемодан еды, и мы с Аленой с восторгом готовили бутерброды с настоящей колбасой, даже яйца были, и белый хлеб, и масло, и какие-то галеты, и кусочки твердого, как камень, горького шоколада. Восторг!

Доротейка обрадовалась, когда я ее позвала, хотя я честно предупредила, что будут незнакомые мне «физики». По правде сказать,

я ждала, что она откажется, не придет, но она пришла очень «элеганс», в чем-то заграничном, и превесело кокетничала. Друзей Димы зовут: Кирилл Кнорре (высокий, с тонким лицом), Володя Бродский (маленький, брюнет, умник), Веня... (не помню фамилию, очень мил) и пожилой, нервный, с замученными глазами человек (забыла, как зовут).

За ужином было оживленно и весело, физики оказались весьма остроумными, потом я по их просьбе взяла гитару, спела вещей пять, и вдруг Доротей (или то был Дима?) говорит:

— Таня, спойте свои переводы английских песен. Спойте «Русалку»! Обязательно «Русалку»!

Все хором закричали: «Да, да, «Русалку»!» И я запела, но на последнем куплете почувяла какое-то замешательство, когда спела: «Вот тогда-то мы, ребята, вместе с Билли утонули...» Взглянув на пожилого человека, который все время очень тихо, очень незаметно вел себя, поняла, что произошло что-то ужасное! Он сидел бледный как полотно, застывший. Стояла гробовая тишина. Вдруг он вскочил, дико улыбнулся, схватил меня за руку, бормоча как безумный:

— Нет, нет, вы не виноваты! — бросился к двери и исчез.

Мы онемели. А потом кто-то — уже не помню кто — сказал:

— Летом к нему из Америки возвращались —плыли — жена и дети, их пароход напоролся на мину. Все утонули.

У меня странное чувство, будто кто-то из присутствующих ненавидел этого бедного инженера и все это специально подстроил! Я не могу отделаться от этого чувства. Ничего не понимаю. Голова трещит. Мне бесконечно жаль его. Это ведь Доротей настойчиво требовала «Русалку». Почему? Зачем? Для чего?!

30 сентября

У Тихоновых снова встретила бедного поэта Леонида Мартынова. Он явно болен и голоден, вроде меня, и Маруся говорит с негодованием, что его не печатают. У нас чуть у кого «свое лицо» — так обязательно берут в штыки, пока не сравняют с остальными. Один Пастернак, как редчайшее исключение, всегда остается самим собою, и его, кажется, не слопали только потому, что сам Сталин, как говорят, звонил ему раз по телефону.

Этого достаточно, чтобы Пастернак был «персона грата».

Пастернак — лучший поэт России и благородный, чистый сердцем человек.

Леонид Мартынов — хороший поэт, он читал у Тихоновых свои стихи. Маруся к нему равнодушна. Но у нее ведь все «так», ее увлечения бестелесны. И это идет ей.

Мартынов, взвинченный от голода и непризнания, худой, обтрепанный, — для меня «свой» человек. Он как-то пришел ко мне в гости. Я познакомила его с Женей-соседкой, на мужчин она весьма падкая. У него, по-моему, с ней в полном разгаре «роман

до конца». Мне нравятся некоторые его стихи. Но это все не «высшее качество».

Я шла поздней ночью от Тихоновых через безлюдный Каменный мост и дальше по пустынным улицам, и у меня было странное ощущение, что где-то очень далеко решается моя судьба! Что где-то происходит нечто очень важное, близко меня касающееся. И что от этого изменится вся моя жизнь. Это было удивительное ощущение — словно мне в душу толкались чьи-то далекие, чужие мысли. Словно судьба моя должна теперь идти вне моей собственной воли...

9 октября

Изредка у меня бывает композитор Миша Сидрер, которого я знаю с Новосибирска, он прекрасно играет на рояле. На днях он вдруг привел мне... гитариста! Молодого человека с румяным, нагловатым лицом, с серыми глазами. Зовут его Моисеем Циммерманом, но он просил называть его Майкл. Гитара у него великолепная, концертная, он привез ее из Америки, где работал как переводчик в первые годы войны при нашем торгпредстве. Любит играть лишь джаз, то есть американские песенки (ну что ж, на них сейчас мода. Леля Петкер поет повсюду: «Зашел я нынче в кабачок...»). Играет он прекрасно, музыкален, абсолютный слух, сам делается похож на негра, а его манера петь и играть вполне негритянская. Просил разрешения я стать моим аккомпаниатором! Чудеса! Но мне придется научиться петь эти джазовые песни, которые я в жизни никогда не пела! Смогу ли? Под аккомпанемент этого Майкла невозможно петь мои чудесные русские... Но, пожалуй, если сделать с ним несколько вещей «того» плана, то в ВГКО ухватятся за нас. Что ж, попробую. Сидрер говорит, что встретил его случайно и при виде гитары разговорился и решил привести ко мне.

19 октября

Сегодня день рождения Ванечки и мой... Будущим летом, наверное, можно будет уже поехать к ним, а за зиму я скоплю (?) деньги. Возьму Аленочку с собой. Дружба моя с ней такая ласковая и крепкая. Нагловатый Майкл приходит играет мне на гитаре, и я начала кое-что смыслить, во всяком случае, отобрала и выучила те шесть-семь песен, с которыми мы сможем выступать. Днем он на работе во Внешторге, вечерами свободен и рад возможности подработать в концертах. К сожалению, его аккомпанемент для русских песен не годится, и он сам это понимает.

К величайшему моему удивлению, эти американские «шлягеры» стали у меня получаться. Вот уж чего не ожидала! Завтра или послезавтра просмотр в ВГКО. Отрабатывать и откладывать не к чему. Мы с Майклом разговариваем преимущественно по-английски, который он знает, как русский...

1 ноября

Нас (ибо половина моего успеха, конечно, приходится на долю Майкла) не только взяли, но песенки имеют бурный успех, главное, нас занимают в концертах почти каждый вечер. Правда, приходится ездить и по загородным клубам, но лишь бы Майкл не сбежал. Он ограниченный, но добродушный парень. А гитарист первоклассный. Уверена, что через месяц стану выдумывать в нем разные «чувства» и «благородства» духовные. (Как неприятно материалистична эпоха, в которой нам суждено жить!..) Алена хорошо к нему относится. Он быстро становится «своим» человеком в доме и даже притащил мне на днях кило пшена, которое получил на свою продуктовую карточку. Зима, первая послевоенная зима, будет, ох, по-прежнему голодная...

Проблема с костюмом для сцены: мои дивные белое и черное не годятся никак для американского джаза! Стараюсь смастерить какие-то жалкие «модные» юбки-кофточки. Радикально изменила прическу: вместо гладенькой классической на прямой пробор и с узлом на затылке ношу кукиш на макушке, но Алене и Майклу нравится. Я худющая, но это модно.

15 ноября

Не могу опомниться, не могу прийти в себя от изумления... Вечером, часов в девять, в дверь постучали. Думая, что пришел Майкл, я пошла открывать: в дверях стояла элегантнейшая заграничная дама, явная американка, из-за нее выглядывала темноволосяя женщина, явно наша.

— Вы Татьяна Пеппер? — спросила наша.

— Да, — растерянно сказала я и пригласила их войти.

Но женщина тут же попрощалась и быстро побежала вниз по лестнице, а американка, спокойно улыбаясь, протянула мне маленький пакетик со словами, что его просил передать мне Бен! Я пригласила ее зайти в комнату и, заикаясь от удивления и радости, стала расспрашивать про Беночку. Оказалось, она его лично не видела, но моя знакомая Дороти Лоуенгрунд — ее старая приятельница. Через нее-то Бен и передал мне в подарок чулки.

Американку зовут Элизабет Иган; она высокого роста, очень сдержанная, очень светская, говорит по-английски без намека на американский акцент, приятная, простая. Я делала вид, что я тоже богатая, светская... На мой вопрос, почему она в Москве, она сказала, что поставляет ВОКСу через музыковеда Шнеерсона американскую литературу и грампластинки (o!!) и почти год уже пробыла в СССР, а недавно летала в отпуск в США. Спросила, не знаю ли я кого из живущих в СССР американцев, ибо ей очень хотелось бы познакомиться с таковыми. Ей нравится Россия, она занимается с русской учительницей и находит, что у русских большое сходство с американцами. Я вспомнила про Доротею; Элизабет сказала: «По-

знакомьте меня с ней», но я ответила, что моя знакомая часто болеет, редко принимает гостей, но обещала спросить, хочет ли та познакомиться с Элизабет. По правде сказать, меня разочаровало, что она сама-то не видела Бена. Кроме того, мы так отвыкли от общения с иностранцами и так хорошо знаем, какими последствиями грозит знакомство с ними, что меня знобило от страха, а вместе с тем я сейчас просто дрожу от радости: в дверь ворвался свежий ветер, рухнула какая-то непроницаемая завеса, все собой от нас закрывшая. Внешний мир есть, он существует! Свет сошелся не только на Москве, не только на СССР. Благодаря визиту этой американки Европа, весь мир стал ближе — рукой подать! Я не в силах от него отказаться!

Уходя, она сказала:

— Как мне хотелось бы видиться с вами, пригласить вас в гости, проиграть вам пластинки Бенни Гудмана.

(Я понятия не имею о Бенни Гудмане, но Боже, это именно то, что мне необходимо для работы.) Я что-то мямлила в ответ. Тут ее дернуло прибавить:

— Но это, наверное, невозможно, вы, русские, боитесь общаться с нами или вам запрещают?

Ну, уж этого я не стерпела, мне стыдно за нас, я не позволю, чтобы американцы так думали. Я сказала, что с удовольствием поведу с ней и что ничего нам не запрещают. Она дала мне свой телефон и адрес, я ей — свой телефон; не знаю, встретимся ли мы снова, во всяком случае, мостик-жердочка между двумя полюсами перекинута.

Я сижу ошеломленная от радости... и от смутного страха!.. В пакетике шесть пар неописуемо дивных целых чулок — начисто забытое ощущение! Они из нейлона, и Элизабет сказала, что это новая синтетика необычайной прочности. Чулки мне были нужнее всего, и только Бен через океан был способен это угадать! Ангельский Беночка!

1 декабря

О неожиданном визите я рассказала, конечно, Доротее. Она сказала, что, судя по всему, эта Элизабет работает в посольстве.

— Я выясню и скажу вам, Таня. Послушайте моего совета: не общайтесь с ней. А впрочем, как хотите.— И стала подробно спрашивать меня о каждом слове американки.

Доротее не удивилась факту посылочки и сказала, что Бен одну меня любил за всю свою жизнь. И что, вероятно, он будет посылать мне посылки.

— Только странно, что она его самого не видела...— Это Доротее как будто больше всего удивило.

Не пойму я, что за жизнь у самой Доротеи! Дом — полная чаша по нынешним временам, она всегда меня вкусно кормит, одета прекрасно, но живет как сыч,— никуда неделями не ходит, никого

не видит, кроме своей мрачной домрабы Елены Ивановны. Дороти некрасивая, нет в ней элегантности, но очень умная. Гуляют они вдвоем вместе с рыжим сеттером Зевчиком. Доротея вечно озирается, я давно считаю ее не вполне уравновешенной. По-моему, у нее мания преследования. Да и немудрено... Особенно после тридцать седьмого года. Наверное, Артур сидит.

Рассказала про американку Майклу. Он вцепился в возможность послушать джазовые пластинки, сказал, что пойдет вместе со мной, если меня пригласят в гости, и возьмет с собой гитару. Потом мы оба признались друг другу, что отчаянно боимся, но отчаянно жаждем приглашения. Оно последовало. Надо было видеть, как мы с Майклом топтались в страхе и нерешительности у подъезда дома на Сивцевом Вражке, где квартира Элизабет и ее подруги. Мы даже ушли было, но устыдились, вернулись и, решительно поднявшись по лестнице, махнули на все рукой и позвонили. Искушение заглянуть в запертую комнату Синей Бороды было непреодолимо.

Дверь открыла сама Элизабет, бешено элегантная; подруга ее проще и, пожалуй, приятнее. Обе, конечно, принадлежат к «высшему свету», судя по полному отсутствию вульгарности и безупречному английскому говору, что так редко бывает у американцев. У них квартира из трех комнат, причем одна из них огромная. Раньше здесь жил Л. Фишер с семьей.

— Американец, известный журналист, он уехал в тридцать шестом — тридцать седьмом году обратно в США, — мимоходом сказала Элизабет.

Какое совпадение!.. Роковое совпадение!

У американок удивительно красиво, просторно, мебель ультра-современная, из светлого легкого дерева. Ужин подавала настоящая горничная в белом крахмальном фартуке и в наколке. Я забыла, что такие водятся на белом свете! Горничная, конечно, наша русская, приятный скромный вид, но глаза зоркие.

Мы пили тот, мой любимый итальянский вермут мартини, и росси, и еще что-то. Мы слушали пластинку за пластинкой; у них такой проигрыватель, словно оркестр играет тут же рядом. Бенни Гудман поет изумительно, особенно песенку про «Белое, или Снежное Рождество». Я ее дома молниеносно перевела, но ведь петь про рождество у нас цензура не даст!.. Мы ушли, нагруженные нотами и журналами. Я видела, что Майкл не прочь согласиться взять и пластинки, но я нахмурилась, и он удержался. Конечно, прощаясь, и она и мы понимали, что с этого раза будем видеться, к нашему обоюдному удовольствию. Да, этот визит к ним доставил мне небывалое, острое, высочайшее удовольствие. И жутко мне, ведь с иностранцами видеться опасно.

Затем Элизабет с подругой были в гостях у меня — я угощала всего лишь чаем и водкой. Потом я взяла гитару и спела им несколько русских песен. Я видела, что им нравится. Они просили помочь купить русские костюмы и вышивки, — я про себя подумала о своих... Может быть, и обменяю их на продукты или на одежду

или обувь. На ногах у меня старые туфли — вот-вот развалятся.

Была я еще у Элизабет, но уже без Майкла. Я предупредила ее, что ни с кем не хочу знакомиться, но за ужином был возлюбленный ее подруги: не слишком молодой красивый военный, он завтра улетает в США, и видно было, что бедная его любовница сильно огорчена. Элизабет шепнула мне, что в Штатах у него жена...

Вечер был еще более «изысканный», так как присутствие Майкла всегда вносит нотку вульгарности. Как это ни странно, но тогда как с французами, например, я всегда чувствовала недостаточность своей культуры и бывала скованной, с американцами я всегда чувствовала свое превосходство. Я бывала заранее уверена, что я культурнее, тоньше, умнее их. А вот с французами — наоборот. В Испании я чувствовала себя дома, абсолютно на месте, испанцы были для меня «своими». Англичане были очень близкими, понятными и приятными. А вот немцы — чужими совсем, как марсиане. Что-то в них мне всегда было чуждо и неприятно, и это было так до войны! Не странно ли?

Побывав у Элизабет, я чувствую, словно совершила далекое путешествие, словно увидела Таити или Бали. Воистину ее квартира — экзотический остров по своему комфорту, обилию еды: масла, кофе, дивных вин, одежд, пластинок и диковинных книг. Интересно! И как невыразимо грустно, что этого всего надо бояться, надо быть начеку, как бы не заговорили о политике... Наоборот! Мне так хотелось бы, захлебываясь от гордости и любви, говорить этим сытым американцам, какая великая и чудесная наша страна — СССР! Как тяжело досталась нашим людям победа, как бились наши люди, как талантливы, жизнеспособны, выносливы русские люди! О, я бы таким была агитатором! Но страх, гнусный страх сковывает мой русский патриотизм. Я так многого не могу, не умею понять в нашей жизни. Ну зачем, за что держат нас в страхе? Ведь мы выиграли эту войну! Ведь мы бились за Советскую власть! Мы ее защищали! Я говорю «Мы» с полным сознанием своего права на это. Да, и моя, пусть малая, малая доля, но я тоже билась за нашу Родину! А я должна бояться! Ну почему? Как будто я сама не знаю, как разговаривать и как себя вести! С кем бы то ни было! Ведь не ребенок же я, не дура же! А я должна бояться, как дура! Почему?!

16 декабря

Меня пригласили петь в санаторий «Узкое». Это устроил Георгий Федорович Кнорре. Я пела. Потом меня кормили чудным ужином, не отпустили на следующий день, дали милую комнату и все время кормили досыта. Чистота идеальная, тишина, красиво. Уехала я в субботу после обеда, в тоске: мне там все думалось о тех миллионах других, усталых, измученных, полуголодных наших людей, которые должны были бы жить вот так, ибо это нормальные, человеческие условия...

Приехала в Москву и сразу на концерт с гитарой Майкла —

он поехал. Пели в ремесленном училище и имели шумный успех. Нам орали: «Мало! Бис!» Но когда мы ехали на концерт, меня в метро чуть не задавили — такая масса была народу, и питание «Узкого» улетучилось. Дома очень голодно. Цаплин почти ничего не дает.

За месяц этот я заработала всего пятьсот рублей, а Ванюше надо послать тысячу! Послала пока четыреста рублей. Сто рублей — на себя.

В ВГКО главная администраторша Варвара Александровна сказала:

— О вас хорошие отзывы.

Но иногда я еще скованная на публике и в полной зависимости от Майкла.

29 декабря

В американских песенках есть сладостная пошлость, которая нравится публике. Милый Майкл — люблю его честность — сказал мне сегодня, что тот факт, что я старше его (ему тридцать лет), для него «барьер». Не во всем! К его удивлению, я искренне рассмеялась. Никак не ощущаю «трагичности» этого факта и моего возраста. Жаль иногда для песен, что я не моложе лет на десять. Но знаю, что если б меня кормили... Майкл пока, слава Богу, покорно аккомпанирует и таскает наш чемодан с костюмами для сцены.

1 января 1946 года

Вчера вечером у нас было два концерта. Сразу после них мы отправились к Тихоновым, куда я повела и Иветту, бедную маленькую балерину из ВГКО, которой некуда было идти встречать Новый год. Мы пришли около часа ночи, ибо в полночь мы с Майклом еще пели в концерте. У Тихоновых было много народу — Маруся позвала моих друзей-физиков и кое-кого из своих поэтов-писателей. Было весело, легко и просто, что редко у них бывает, ибо Николай не из «легких». Горела елка, пили водку и шампанское. Нонна Агапова веселилась, хохотала, Николай Семеныч был добродушный. Маруся, сначала злая, вскоре стала сама собой — остроумной и презабавной. Кирилл Кнорре был вчера очень красив, Нонночка старалась его увлечь. Евгения Федоровна Книпович сидела-молчала, похожая на свое прозвище «Готтентотская Венера». Николай читал свои стихи — читал хорошо, и стихи хорошие. Я не только у них не устала, но даже отдохнула. Домой вернулась только в семь часов утра и спала до обеда.

Днем мы обедали вместе: Алена, Цаплин, баба Женя и ее Жорик, к которому Алена относится вроде как к Ванюше. Цаплин выдал курицу и даже винишко, и даже по мандарину каждому! Алена была прелестная, такая тактичная, такая трогательная умница. Она хлопотала, накрывала сама на стол, так радовалась, что вот

новогодний обед и мы все вместе сидим за столом. Все вспоминали Ванюшу. Цаплин послал старикам и Ванюше поздравительную телеграмму и пятьсот рублей... Для меня это был лучший новогодний подарок. Потом все они ушли гулять, ко мне пришел Майкл и в подарок принес какую-то «куриную» колбасу — превкусную.

Завтра у нас концерт, и да пошлют нам боги успеха!

Давиду Гутману, старому режиссеру, которому так нравятся мои песни, послала хулиганскую телеграмму: «С Новым годом поздравляем — в ожиданье пребываем, состоится ль наш роман. Лещенко и Циммерман». Как он поймет это — посмотрим. Он собирался поставить нам «номер».

Вчера ночью у Тихоновых я торжественно провозгласила тост за «БЕССТРАШНЫХ ЛЮДЕЙ», которые не боятся воскресать, хотя они и были раздавлены, не боятся жить дальше, хотя у них нет никакого расчета на счастье!

Множество людей просто не верят, что можно прожить жизнь в высоком плане. Вот как тот секретарь Анатолия Франса, который написал «Анатоля Франса в халате», и все страшно обрадовались халату и тому, что можно Анатоля, изысканного мудреца, в этом потрепанном халате увидеть и послушать, как он ругается с кухаркой. Но халат-то халатом, а про аббата Куньяра написал п и с а т е л ь Франс. Он видел саламандр, он верил в Доброту. А секретарь увидел только халат и кухарку. И ни одной саламандры...

7 января

Были с Майклом у старика Агафошина. Он гитарист-шестиструнный. Мне уютно в этой бедной, беспорядочной квартире — старик любит меня за то, что я так люблю гитару, люблю под нее петь. Он мне сказал сегодня:

— Я хотел бы научиться аккомпанировать вам русские песни.

У Агафошина горела ярко печурка, он играл нам, мы ему попели, жена угостила нас какао с горячими бубликами. Мне было там больше по себе, чем у кого бы то ни было. Среди нашего «высшего общества» начинает попахивать чванством и провинциальнейшей торжественностью! Многие стали «выпендриваться» (новое словечко).

Агафшин ведет в Московской консерватории класс шестиструнной гитары. Также он гитарист Малого театра. Но болен он, оборван и прочее. Все-таки ужасная у нас общая для всех нищета.

15 января

Сегодня мы пели в клубе какого-то номерного завода. Нам хлопали и орали «бис». У рабочей аудитории мы всегда имеем верный успех. Сцена маленькая, с низким потолком, но уютная. В публике — молодежь, а в первом ряду мальчишки двенадцати-четырнадцати лет. Московские мальчишки — это особый народ. Их, по-

моему, во много раз больше, чем взрослого населения. Они деловитые, озабоченные. Независимые и невероятно энергичные. Славный народец!

От Бена — второе письмо: длинное, на четырех страницах. Он много пишет о своем шестилетнем сыне. Пишет снова, что годы (такие короткие!), прожитые со мной, ему кажутся сплошным солнечным днем. И что я прелестная была...

Милый друг мой, Беночка! Конечно, я отвечу, но порой меня охватывает странная тревога...

21 января

Я ничего толком не могу понять в нашем сложном мире: или я бестолковая, или вокруг нас бред... Когда какие надо бумажки брать, закреплять любой успех документами, подписями, а не то он улетучивается, его как бы не было.

Мне вспоминается (почему?), как Маруся Тихонова рассказывала про «обезьянью лапку».

«Старики и сын-инженер сидят вечером у камина. Уютно. Они говорят о том, как хорошо им живется, им почти нечего желать. Хорошо бы, впрочем, получить откуда-нибудь деньги, чтобы купить автомобиль. Вдруг мать говорит отцу:

— Что это лежит на камине? Я никогда не видала этого раньше.

— А это обезьянья лапка,— отвечает отец.— Мне привез ее в подарок один человек, с которым я служил в Индии. Он сказал странную вещь: будто лапка обладает свойством исполнить три желания. Надо только зажать ее в кулак и три раза вслух загадать желание. Но приятель мой почему-то хотел от нее избавиться и называл ее «дьявольской».

— Вот глупости! — говорит мать.— Я сейчас загадаю.— Она хватает обезьянью лапку и трижды произносит: — Хочу двести фунтов. Ай! — кричит мать, роняя обезьянью лапку на пол.— Она пошевелилась!

На другой день к вечеру старики ждут сына с работы. Его все нет. Вдруг в дверь стучат, входит человек в черном и говорит:

— Я должен сообщить вам о страшном несчастье: ваш сын погиб при катастрофе на нашем заводе. Вот деньги за его страховку,— и вручает старикам двести фунтов.

Через несколько дней старики сидят вечером у камина. Отец говорит матери:

— Примирись. Ты молчишь, не ешь, вот уже которую ночь ты не спишь. Наш мальчик погиб. Это ужасно, но не он один... Скажи хоть слово!

Мать говорит:

— Я не могу! Он ушел веселый. Живой! Я не видала его мертвым. Почему ты не показал его мне мертвым? Я должна его увидеть! — Она хватается с камина обезьянью лапку и произносит три

раза: — Хочу, чтоб мой мальчик вернулся ко мне! Ай! — кричит она.— Лапка пошевелилась!

Ночь. Тишина. И вдруг чьи-то шаги по пустынной улице. Все ближе. Тихий стук в дверь.

— Ты слышишь? — шепчет мать.

— Это ветер,— говорит отец.

Стук громче. Громче!

— Это мой мальчик. Я открою ему! Помоги мне снять засов! Мой мальчик вернулся! — Мать бежит к двери, силится снять тяжелый засов.

Отец хватается обезьянью лапку:

— Пусть тот, кто стучит в дверь, вернется туда, откуда пришел,— трижды кричит он.

Со страшным криком мать открывает засов и падает у распахнутой настежь двери.

Ночь. Луна. Пустынная улица. Звук удаляющихся шагов».

Не надо тшиться менять свою долю. Судьба знает, как нас вести.

25 января

Мои именины. В прошлом году были гости, был Осип Максимыч Брик, Яхонтовы звонили — жалели, что не могут прийти. Лиля Юрьевна. Верочка Марецкая. Осипа Максимыча и Яхонтова нет на свете.

У нас был концерт. На задворках Москвы. Люблю идти по незнакомым местам, темные улицы, новые, но уже облупленные дома. Маленький клуб при заводе, тесно, мальчишки почти на самой сцене...

30 января

Борис Пронин делит мир на артистов и фармацевтов.

Конечно, те, кто сейчас пугает меня тем, что Цаплин выселит меня из квартиры, подаст на меня в суд и прочее,— они фармацевты. Я не могу поверить им. Не могу поверить, что сам Цаплин — фармацевт. Поэтому к черту все их советы об «исполнительных листах», «собственных жировках» и прочее. Я сама ни за что не сделаю ни шагу против Цаплина. Пусть мы с ним говорим друг другу горькие истины, гневаемся и выплакиваемся на плече у близких друзей, но не дальше. По крайней мере, я — НЕТ. И будь что будет. Весьма любопытно будет, если действительно Цаплин начнет выселять меня из этого МОЕГО (о, какой он мой!) дома... Но чужь. Не верю.

Вспомни Париж, Татьяна! Да если б я тогда знала... Думаю, что когда Честер приехал за мной в Париж и умолял меня ехать с ним в

США, взяв Алену, должна была бы я ехать с ним? И с ним быть? Он был «моим» человеком больше всех других. Больше, чем даже Бен. Я не поехала: Цаплин был отцом Алены. А главной причиной была Россия. Честер был моложе меня, но через несколько лет он все равно женился на женщине, которая была еще старше, чем я, и у которой был уже ребенок...

Будущее каждого человека — это такая же определенная вещь, как и прошлое. И от человека оно не зависит.

1 февраля

Все, кто знает физику, подтверждает, что атомная энергия — это такая дьявольщина, что от нее случайно может взорваться весь наш земной шар. Люди шалят с огнем...

Нюрнбергский процесс. Бесчеловечность истребления несчастных в немецких лагерях смерти... Если бы мы читали об этом перед войной — это показалось бы бредом сумасшедшего. А ведь это было явью! А некоторые евреи, из числа моих друзей, говорили в начале войны, что нет, немцы-де — культурная нация, истребление евреев — это-де преувеличение, на самом деле этого нет и быть не может... А немцы оказались хуже диких зверей!

Да и вся ВОЙНА: и наша страна с ее страшной «непонятной» нищетой и стальными законами и — наперекор всему — идеализмом и самопожертвованием.

Но пенициллин чудодействен! Излечивает туберкулез в несколько дней!.. Поразительно!..

Я, наверное, очень больна. Худа как скелет. Элизабет иногда зовет обедать, кормит вкуснейше.

15 февраля

Алена стала бледненькая, очень вытянулась. Сутулится. Много читает. Иногда вечерами у нас разговоры «по душам». В прошлый раз она глубокомысленно мне сказала:

— Мама, в тебе много ребячливого...— И, помолчав, с сияющей улыбкой: — Но это прелестно в тебе, мама!

Она делает мне выговоры за то, что я не слежу, как она делает уроки.

Бегала в ломбард закладывать кольцо, чтобы заплатить зубному врачу — надо пятьсот пятьдесят рублей, а там давали триста. Пришла обратно понурая. Продаю последнее — не продается... в ВГКО получила десятого февраля гроши!.. Занять не у кого.

Вот пою песни — старые, русские. Эти песни умрут вместе со мной. Многие не записаны в нотах — я их слышала от бабушки, — а нот-то их нет. Их должно было бы записать на грамзаписи, их надо сохранить, они того стоят. Песня и ее словесные законы — совсем иное, чем стихи: иной раз стихотворно это никуда не годится, а в песне — глядишь! — вот как хорошо.

2 февраля

Сегодня у Тихоновых познакомилась с Николаем Заболоцким — поэт замечательный, его только что вернули из ссылки. Румяный, аккуратный, медленно говорит, похож на героя своей поэмы Лодейникова и на «быка с большими рогами» — вернее, похож на свои стихи о быке. «Устрашенный» какой-то. О нем мне еще Тихон Чурилин рассказывал. Николай Семенович Тихонов сейчас в Ленинграде. Он депутат.

Слава Богу, третьего и пятого у нас концерты, а в понедельник едем к Гутману. Он, оказывается, болен и лишь вчера позвонил, пригласил приехать.

8 февраля

Татьяна, помни «обезьянью лапку» и страшную ее мораль.

Пели сегодня в клубе за городом. Помещение вроде большого сарая.

Завтра концерт в хорошем зале, в центре Москвы. Дом инженера. В концерте заняты «знаменитые». Одна из «главных» в ВГКО — Грабина — сказала мне сегодня, что завтра специально идет слушать меня. После концерта Грабина заявила, что я — «явление».

Придя домой, я позвонила Элизабет, которая предлагала мне купить Майклу у нее новый смокинг. Я выменяла этот смокинг на замечательные мои русские вышивки. Майкл весьма доволен. Он добросовестно продолжает мне аккомпанировать.

13 февраля

Были у Давида Гутмана. Старик просил приехать к восьми. Он болен. Он делает все это даром, «ради прекрасных наших глаз». Гутман одобрил мое платье для сцены. Сказал мне:

— У вас печальные глаза и лицо трагической актрисы. Будете меня слушаться — думаю, что сделаем нечто интересное. Не будьте скромной. Вы все равно никогда не будете вульгарной.

Он создал когда-то Вертинского.

Мы интересно поработали. Все, что он показывает, — умно. И логически вытекает из песни. Он нездоров. Сидит такой Щелкунчик. Умница. И чудак.

15 мая

Нас пригласили петь в Бахрушинском музее для сотрудников. Большинство из них старые люди, остатки русской интеллигенции. Мне нравится, что они умеют по-детски радоваться песням. Музей у них прекрасный!

Тамара Груберт — моя институтская подруга — шарм, благо-

родство, внутренняя воспитанность, большое чувство собственного достоинства. Но постарела, вид замученный...

Музей — с иголки, есть прекрасные картины. Сапунова я люблю больше всех. Я была в черной шляпке с вуалью, по-моему, страшная, но все хвалили.

Вечером пришел Алеша Кузнецов. Была еще Татьяна Алексеевна Лебедева, художница. Она влюбилась в летчика Чухновского, который бывает у Тихоновых, просит помочь, настаивает, чтобы я позвала его в гости!

Майкл вдвоем с Алешей играли на гитарах дуэтом — замечательно! Я поджарила им картошку. Хорошо у меня в комнате. Балконная дверь открыта на ночные московские крыши, а синяя даль далека-далека... Когда поет Алеша, особенно про слепого, — ах! как это хорошо!

В жизни моей страны много страшного, даже и невероятного. Думаю, что редко люди жили так фантастически, как мы. И все это — прямое следствие русского характера, нашего двойного видения и двойственного ощущения реальности. Как никакая другая народность на земном шаре, мы умеем «жить в облаках». Мы всецело умеем утешить себя мечтой. Американцы — полная противоположность нам. Но в чем-то мы начинаем быть на них похожи. Мы стали гораздо хуже, чем были: злые, подозрительные!..

Я представила себе, как лет через сто мои дневники найдутся, — поймут ли люди все то, о чем я не написала, смогут ли они через призму очень личных моих «писаний» представить себе нашу жизнь и наш народ...

17 мая

Эту тетрадищу подарил мне Майкл. Был тихий вечер, дверь на балкон открыта, шел дождик, в моей комнате уютно и мирно. И родилась песня. Он сыграл мне ее на гитаре и сказал:

— Давайте ее петь... — закрыл глаза, помурлыкал.

Одним словом, написали мелодию, напишу слова. Я вся обрадованная, вся счастливая. И хочется загадать, чтобы вот эта тетрадка была счастливая. О, как я устала...

18 мая

Скоро уеду к Ванюше. Целый день я вчера шила на заказ. Может, вообще портнихой стать? Я умею из тряпки сделать «штучку». И люблю это. И это деньги. Я всю жизнь ненавидела рутину. Я не совсем понимаю это слово, но оно звучит как «паутина», которая держит человека в тисках. Пришел Майкл — загорелый, красивый, похожий на матроса. Хорошо, что лето и ТЕПЛО всему телу. И через открытую балконную дверь — московские дали, и крыши, и огни.

Я люблю Москву летом. Но люди наши летом уродуются. Кожа у всех плохая, и при солнечном свете так явно, как мы все замучены

и плохо одеты... Потом я, Майкл и Алена очень весело пили чай на кухне. Алена озабочена экзаменами, учится; Майкла она любит и хочет каждой его шутке. Он остроумный бывает, и они оба, как дети, хохочут, рты открыты, зубы белые, целые!..

20 мая

Майкл сегодня должен был работать с Борисом Агаповым — переводить ему про японцев.

Борис Агапов, Константин Симонов и еще несколько писателей-журналистов недавно ездили в Японию. Агапов привез роскошные халаты и аляповатые чашки, но самое интересное — это маска из театра «НО». Странная нация, удивительная. Благороднейший, высокий вкус в живописи, в строгом домашнем убранстве. И женщины их пленительные, как птицы или цветы.

Заходил Анатолий Доливо, я спросила, как с «холодной» войной, сказала, что чую что-то, но последние дни у меня как-то отлегло. Он сказал:

— Возможно, будет. Им — Америке!! — это сейчас наиболее выгодно. А мы уступать не хотим.

А днем я спала, и мне снилось, что меня увозят насильно из Москвы, от Алены. И это было так страшно, что я проснулась, увидела, что я у себя в комнате, в Москве, и заорала:

— Алена, пойди сюда, обними меня, поцелуй покрепче!

Она прибежала, моя душенька, утешила меня, но я ей про сон не рассказала. Она получила тройку за историю и огорчена страшно, говорит:

— Я хочу быть отличницей, чтобы верить в себя.

21 мая

На меня свалилась тысяча работ. Надо сделать партию голосов для прокофьевской «Здравицы». Деньги! Взятась шить платье Пэггинной племяннице. Деньги. Надо перешить Алене из старья два-три моих летних платья. Разговор в трамвае о войне и об атбомбе (мое слово — и верно: это — «ад-бомба»)... Это ужасно... вот так, когда все ждут новой войны! Весь ГОД, один только год прошел.

Но у меня опять такое ощущение ЖИЗНИ. Будто опять жива я. И это так хорошо!

От папы чудное письмо. Хорошие мои старики, какие молодцы! Зовут к себе с Аленкой на лето (Цаплин сказал: «Ни за что Алену не отпускаю»). Пишут: «Не унывай!»

23 мая

Мы с Майклом сидим вечерами как добрые товарищи и говорим. Он мне играет. Прелестную вещь для гитары он сочинил. Мы с Аленой сегодня были на рынке, купили незабудки и глиняный

кувшин, а то у меня только одна ваза — розовая, тоненькая, — мне когда-то подарил ее Бен. Нарциссы и два маленьких тюльпана стоят в ней. А бессмертники — они как маргаритки: белые, красные и розовые стоят в синем древнем молочнике — подарок Честера. Люблю цветы. Они как дети — невинные, беззащитные.

24 мая

Утром мне рвали зуб. Я не пикнула, глазом не моргнула, но потом вся ослабела, обмякла. Еле дотащилась домой и спала до вечера. Надо еще три... Я вот всегда: трушу, трушу, но когда надо или настоящая опасность — делаюсь хладнокровной.

С Анатолием Тарасовым, молодым офицером, знакомым Доротеи Адамс, у меня был разговор о Дороти. Он мне говорит:

— Я ее люблю, и она будет моей женой.

— Но ведь она старше вас!

— Да я никогда не думаю об этом! Я всегда чувствую себя старше ее во всех отношениях! И опытом и умом.

— Она седая!

— Я так люблю эту седину!

— Но неужели вам не нравятся молодые девушки?

— Да что вы, Татьяна Ивановна! Я и не вижу их, вернее, не смотрю на них.

— Но вот вы расстанетесь на месяц, на два, на три...

— Дело не в неделе или в месяцах. Я ее люблю, а других для меня нет.

Я Дороти об этом разговоре сказала. Сама она его как будто тоже любит. Каждый день мне звонит, интересуется, звонил ли он, был ли, что говорил. Но что-то непонятное есть и в Анатолии и в Дороте. Почему он стал фотографировать меня ни с того ни с сего? Почему упорно расспрашивает о наружности Артура Адамса и где сей Артур находится? Я ведь и понятия о нем не имею... Глупо!

Потом я и Майкл вместе пошли к Агаповым. Майкл переводил Борису книгу о философии дзен. Трудно. Интересно было. Уютно у Агаповых пить чай — семейно так.

А Алена мне сегодня сказала, что хочет на зиму остаться с дедушкой, бабушкой и с Ванюшей и чтобы я там осталась... Она груба с Цаплиным последнее время. (Он сказал ей, что незачем ехать к старикам. Денег он не даст. И сандалии не купит.) Сегодня я имела с ней серьезный разговор. Мы вечерами только и говорим о том, как поедем, как увидим их. Какое счастье — иметь детей! Аленка мне в такую радость.

И вдруг раздался стук в дверь — пришел Майкл и привел с собой Алешу Кузнецова, милейшего гитариста. Сказал, что шел ко мне и на улице увидел человека с гитарой и потащил ко мне. С Алешей я знакома давно, он друг Вещицкого.

А я хочу, чтоб когда я умру и буду мертвая лежать, пусть гитаристы придут и сыграют надо мной. Хоть «Две гитары». Если б

можно было завещание нотариально сделать, я бы так и завещала. И, Господи, пусть не жгут, а похоронят меня около Юры в Пятигорске. На его могиле Верочка с Жоржиком посадили маленькое деревцо, а когда я в тридцать девятом году заезжала в Пятигорск для того, чтобы пойти на могилу к Юре, деревцо было уже большим стройным деревом... Кладбище в Пятигорске — веселое, мирное. Я хочу лежать рядом с Юрой... А все-таки жаль, что надо умирать.

Майкл играл хорошо. Вечер спускался, прохладно... Сломался колонок, и мы пошли к Василию Андреевичу Климову, чтобы починил. У него маленькая комнатка около Трубной. Вход по шаткой лестнице, в полу щели, того и гляди, провалишься! И дивная кошка, которая сейчас же вскочила мне на колени и так и пролежала, пока мы там сидели. Майкл был веселый и очень интересно мне рассказывал вчера про собак своих и про глухарей в лесу, а у меня тоска.

28 мая

На Майкла произвело большое впечатление то, что во вторник у меня будет Сергей Тимофеевич Коненков с женой. Трепет обывателя при лицеизрении «знаменитости» мне до того чужд, я так не думаю о том, кто знаменит, а кто нет, и вообще о том, кто — ЧТО, что я как-то и не обратила внимания на трепет Майкла. Вечером он позвонил, что только что кончил переводить наркомому Микояну и придет, к сожалению, всего на полчаса. Я говорю: «Но вы устали! Не приходите!» Нет, он таки пришел, с гитарой.

29 мая

Я помню безработных в США, там их было много. Я до глубины души не мещанка. А у них все основано на мещанстве. Мы, русские, шире, веселее, внутренне свободнее. Они говорят, что у них свобода, все можно говорить, все можно писать, но почему же они сами такие зажатые, заторможенные, запредрассудочные (вот так словечко!): Вот идешь по улице: идут они, идем мы. У них походка какая-то нарочная, вихлеватая, как для показа, а у нас открытая, идем мы, как ноги идут.

Майкл сегодня на уроке у Агаповых, а я веселая: сегодня мне не надо притворяться «Гатьяной Ивановной». Завтра иду в Музгиз сдавать «Здравицу». Ох, если б еще работу дали! Работать я могу только запоем: сесть с раннего утра и до позднего вечера, в один присест сделать. А организованно, по несколько часов в день, работать не умею. Взяла шить платье и тоже хочу его сделать скорее, чтоб над душой не висело. Но то, что надо рвать еще три зуба; меня наполняет тоской... И надо деньги на зубы... К Ванюше! Все сделаю, чтобы стариков и Ванюшу увидеть. Лиличка Юрьевна мне вчера принесла сахару — целый полный мешочек. И кекс для

гостей. Она такая красивая, руки у нее прелестные и кольцо с двумя огромными бриллиантами, что ей Маяковский подарил, переливается, сверкает! Добрая она!

30 мая

Зуб болит до ужаса. Пошла в Музгиз. Заплатят тысячу рублей. Даже не удивилась! Счастлива. Там встретила Мишу Сидрера. Он рассказал мне две «мопассановские» истории из нашего быта. Женщины, очевидно, просто осатанели без мужчин, если бросаются даже на Мишу Сидрера, на этого маленького уродца!

Пилю чай с Аленочкой на кухне. Кухня без бабки стала чистенькой и милой, а Алена вообще умеет быть ужасно славной. Она свою комнату вчера так хорошо убрала, просто прелесть. Мы с ней вечерами теперь сидим вместе и пьем чай, она мне рассказывает или поет, уютно бывает. Майкл ушел, и пришла Ритка Райт, умная и талантливая. У нее муж как чугунные гири — подводник. Она убегает от него и Киски-дочки то ко мне, то к Пэгги Вешлин, с которой я ее подружила. Рита твердит, что она мой исповедник — падре Рита.

Алена ей вчера говорит:

— Мама — божья коровка, или нет — одуванчик. Но мама не легкомысленная!

Только не люблю, когда Рита начинает приставать с расспросами. Это она любит. Особенно про Артура. Я познакомила ее с Доротеей — в них есть что-то общее. Обе одинаково несчастны, бедняжки. Я чего-то в них не могу понять, словно обе они лгут мне.

31 мая

Чудесная погода, не жарко, а тепло и можно бегать голой по квартире, что я ужасно как люблю. Алена уехала с маленькой Светланой в Измайловский парк, и я одна блаженствовала. Но тут и поджидало меня огорчение: пропуска-то на поезда отменили, они больше не нужны, но проездные билеты зато стали четверо дороже. Надо массу денег на дорогу к Ванюше.

Вечером Майкл позвонил, что он у Бориса Агапова и чтоб я пришла туда. Борис Агапов сидит как царь, глубокомысленно и величественно. Все про дзен. И японцев. Так интересно!

1 июня

Днем я поехала к Екатерине Павловне Херсонской, — она старая, умная и любит меня еще с Абрамцева. Бедная, ей семьдесят лет, но она все еще работает, ведет хозяйство и внука растит. А Александр Иванович Иванов, муж ее, сам как дитя, малоталанливый, но милейший художник. Екатерина Павловна всю жизнь была революционеркой (как будто это исключает «женское»). Но, очевидно,

оно так и есть...). Они мне так рады были, напекли пышек, угощали. Екатерина Павловна, расспросив о моей юдольной жизни, острыми, умными глазами на меня посмотрела и сказала:

— Ничего. Время есть. Все зреет во времени. Я редко, за всю жизнь двум-трем это сказала, и вот вам говорю (я ведь вас слышала не раз): вы свое возьмете. Вы талант.

Мне было и приятно, но как-то безразлично, увы. Я уже выключилась из «карьеры». Совершенно о «карьере» не думаю. Просто пою — где придется, кому придется...

2 июня

Конечно, это только со мной может случиться: забыла сдать стандартную справку и потому не получила хлебную и продовольственную карточки. Получу завтра; но Цаплин, узнав об этом, осатанел, орал, рвал на себе волосы и отравил утро Алене и мне.

Цаплин во дворе подобрал старый, плохонький, полусломанный письменный столик и взял из моей комнаты единственный приличный стул.

А мы веселые, с голоду не гибнем, чистенькие даже в наших заштопанных платьишках. Заставить же, умолить Цаплина переодеться — невозможно.

Вечером пришел Майкл, мы долго говорили, он мне рассказывал. С женой он жил вместе только три дня! А «дома» у нее никогда не было. Рассказывал про отца, про своих девушек. Мне интересно было его слушать, какой другой его мир, чем мой... Я говорю:

— А вот уже после того, как вы разошлись с женой, вы встречали хорошую, преданную, умную девушку?..

Он перебил меня:

— Да нет таких сейчас. Им бы выйти замуж, устроиться и чтоб муж побольше зарабатывал.— Сказал это очень искренно.

Странно, вот и Кирилл говорил так. Но неправда это, конечно. Только жизнь очень трудная, мужчин мало, и поэтому женщины, даже молоденькие, так по-деловому охотятся на мужчин. Романтики мало... За мной ухаживали со стихами, цветами, по-рыцарски...

3 июня

Алена задумчивая. Хорошо рисует, любит маленьких детей. Она сказала мне как-то:

— Я их потому люблю, что у них все без зла и они никогда не несчастные, а веселые, даже когда несчастливые дома. И они добрые, и ни в чем не виноватые.

Нам хочется скорее к Ванюше! Какой он? Понравлюсь ли я ему? Завтра пошлю старикам телеграмму, что скоро приедем. Шью, шью на заказы: всякое детское и фартуки. Алена спрятала наши продукты, чтобы их отвезти Бабе с Дедой и Ваником.

Ночь. Дверь на балкон открыта. Ночные звуки: шаги во дворе; чей-то смех обрывком; гудок далекого паровоза; редкий крик автомобиля. На днях пойду гулять ночью. Одна. А жаль, что физически мне сейчас не двадцать лет. Но из памяти, из опыта, из того, что сейчас, — я не хотела бы ничего вычеркивать. Пусть остается все.

4 июня

У меня бывают справедливые моменты, когда я вижу людей объективно и пронизательно, без стеклышка в глазу. Оно сияет само по себе, переливаясь всеми цветами радуги, и я сознательно лелею это наивное, но прелестное стеклышко. Моя мать, человек строгий, с тоской и сожалением говорила обо мне:

— Таня поэтизирует жизнь... И людей!

Я люблю на людей любоваться.

5 июня

Николай Семеныч Тихонов лежит две недели — нога покалечилась в автомобильной катастрофе в Чехии. Такой мирный лев. Маруся худая и ко мне ласковая, но взвинченная до последней степени. Были у них Ираклий с Вивой Андрониковы, летчик Чухновский и похудевший Кирилл Кнорре. Ираклий — блестящий рассказчик, но слишком хвастлив в своем маленьком кругу. У Николая хоть вся Россия да в придачу Германия, Франция, Италия и дальше, а у Ираклия Москва, да немного Ленинграда, и еще поменьше — Тбилиси. И все. У Бориса Николаевича Агапова мир шире, хоть и не очень. Завтра иду на его лекцию об Японии. Он хорошо это делает.

Умер Михаил Иванович Калинин. Его хоронили сегодня, и, когда несли на Красную площадь, был перезвон колоколов! Народу прощаться шла масса! И почти все с цветами: букетами, букетиками... Хоронить у нас любят.

6 июня

Масса дел: шью. Переписала ноты для арфистки Эрдели — всего за тридцать рублей! Набрала уже тысячу триста рублей. Алена извела меня: «Ехать! Скорее!» Старикам послали телеграмму, что собираемся.

7 июня

Мне давно музыка не снилась, а сегодня ночью снилась целая симфония, будто я и вся наша семья, и бабушка с Верочкой, и мама с папой, и дети мои в каком-то бедном сарае ли, квартире ли. Плохонькое пианино посреди большой комнаты. И приходит Прокофьев. Он садится за рояль и играет три вещи: прелюдию,

потом нечто отвлеченное, как лунный свет в пустыне, и похоронный марш, на басах почти всё. Душераздирающее, величественное и великолепное. И я чувствую, как я счастлива, как я живу всем миром, всей вселенной. Мне чудятся и дикари где-то в лесах Амазонки — там болотно, жарко, пахнет гнилью; и китайские улочки в Пекине, с бочками, где копошатся креветки у маленьких лавчонок; и степи Новой Зеландии; и олени в полярной тундре — жуют мох и смотрят грустными глазами — будто всюду жила я, была Я.

Чтобы подышать «высоко», позвала вечером Шуру Николаева. Мы с ним редко видимся, но мне всегда (и сколько лет знакомы мы!) с ним легко и высоко. Когда-то тоненький, черненький, строгий мальчик Шура — теперь главный консультант по музыке в Консерватории. Думаю, что ему хорошо со мной потому, что только с Алешей и Элли дома, и со мной одной из всех знакомых он может не быть главным консультантом. У нас профессия ужасно всегда по пятам за человеком слоняется. Вернее — общественное положение человека. На всех мхатовцах написано, что они актеры Художественного театра. На писателях — что они ПИСАТЕЛИ. И прочее. Одни художники в себе не уверены и потому ярлыков чаще всего не носят. А лауреаты прямо-таки задушены своим лауреатством — такие важные, что им дышать нечем. Будто затянуты в тесные мундиры, хотя и ходят в чем попало. Не все, конечно, невыносимо заважничали, но большинство. Бедняги, они не так уж и сами в этом виноваты. Лауреатство обязывает большинство из них сверх их сил. Они сами в глубине понимают, что надо напыжиться, хоть ВИД показать. Внутри-то МАЛО. Допетровская Русь!!

А я сейчас выкупалась, губы покрасила, косу на лбу заплела, и в зеркале себе понравилась, как птица... Веселая я — и все выдумываю. А ведь все можно бы на самом деле! Даже такие пустяки, как серенада гитарная ночью у нас во дворе! Вот бы Майкл с Алешей для меня чего-нибудь ночью, часа этак в три, когда небо уже светлеет, сыграли там у нас во дворе. А я бы с балкона своего, на седьмом этаже, послушала. И приятно было б всему нашему огромному дому. Но у них духу на это не хватит!

Хочу поехать в Абрамцево с Майклом и возьму Алену со Светланой. Душевно хочу туда. Чудесная прогулка, и дети рады будут. Майкл нехотя согласился. Пускай. В последний раз. Чтобы в памяти осталось хоть что-то хорошее. Не нравится мне Майкл. Ужасен его друг Оков. Это же наипервейший пошляк. Он цензор. Одна профессия чего стоит.

В общем, сейчас Майкл позвонил, и я сказала, что Оков пошляк. На этом я повесила трубку. Бойтся его Майкл, что ли?

8 июня

Утро прелестное. Майкл не поедет с нами, но вообще-то появится — я в этом уверена. Никто ни ко мне, ни к миру моему его —

Майкла — не привязывал, не со мной одной он такой. Со всеми женщинами. Если какие-то вещи вокруг меня и во мне самой ему «импонировали», то любви, сердечности в нем ко мне не было. Правильно, что я вскоре расстанусь с ним. Дальше была бы одна мука. И сук а.

В Абрамцеве было как исполнение всех желаний: тенисто, зелено. Все на месте. Идолище (это и он и она вместе) стоит тысячетлетний, мудрый, равнодушный и всесильный. Девчонки мои бегали, собирали букеты, а я сидела долго против идола. Потом помолилась ему, будто я язычница. На всякий случай. Закопала подле него в ямку пачку папирос, восемь рублей денег — больше с собой не было — и спички. Положила сверху три синих цветка. Осветила над жертвоприношением мои бирюзовые четки. Приложилась. Позвала девчонок, и мы пошли обратно, на станцию. Вечером пришла Маруся Тихонова. (Удивительно красивая сегодня и похожая на цыганку. Один раз в прошлом году я ее такой видала, и такая она мне особенно по душе.) Пришли Миша Сидрер с композитором Фельцманом. Миша играл сонет Петрарки — хорошо! Потом явился Кирилл Кнорре. Все они вскоре ушли. Мы с Марусей вдвоем сидели долго. Она говорила. Я иногда жалею, что нельзя записать ее разговоры — интересно, умно, остро. Мучает ее старость, ибо очень она не изжила себя. Жалко, что вот пятьдесят четыре года, а она молода, как в двадцать пять лет. И нет в ней тихости, той примиренности, которая появляется и так хороша на закате. Она говорила все то, о чем я догадывалась. Как тяжело далась ей Москва. Как сейчас она выработала стиль «княгини Мягкой» (из «Войны и мира»), как в сущности она умерла внутри за время ленинградской блокады. А с Николаем как было все двадцать пять лет — его измены и увлечения и крепкая, нерушимая совместная творческая и дружеская связь — есть и будет, хоть Маруся и горюет подчас, когда он уж очень беспардонен. Все это я знала.

Майкл сказал мне про прежнюю жену:

— Сначала она мне просто нравилась, она очень была красивая, а потом я стал посылать ей деньги — она была очень бедная. Я уехал в Москву и издала привязался, полюбил; в мае 1941 года я написал ей, чтобы она приехала на праздники, и она согласилась. Я хотел жениться. Жили вместе три дня, и меня вдруг посылают в Америку! Я подумал: «А если у нее ребенок будет, как же она?..» Я ей сказал: «Ждать меня будешь?» Она ответила: «Да». Мы пошли в загс и зарегистрировались. Я уехал. Меня как переводчика командировали в Нью-Йорк. Да, там я ходил к проституткам. Но душевно я всегда был только с ней. Я хотел вернуться, я очень любил ее, тосковал о ней. Через два года срок командировки кончился, я поплыл обратно. Мы шли под конвоем английских миноносцев, но немецкая подводная лодка потопила нас. Это за сутки до Мурманска случилось. Часов шесть в ледяной воде, на мне костюм специальный резиновый был, нам всем выдали. Нас человек восемь из трехсот спасли. И в первый же день, как я приехал в

Москву, мне сказали, что она с другим и от него уже беременна. Я не поверил. Я позвонил ей в Ленинград. Из комнаты Коли Кузьминского. Было народу много, и я не верил им. Мне хотелось всем им сказать, что это неправда, что лгут они. Она сказала мне в телефон, что она с другим, что она беременна. Я сказал: «Ну если случилось такое дело, приезжай беременная!» Я бы ребенка любил. Она не захотела. Мне очень тяжело было. Я на женщин смотреть не мог долго. А потом их было очень много, одна за другой. Я иногда чувствовал, что я внутри мертвый, и было нехорошо. А вообще мне «э т о» как-то все равно. Я не придаю этому значения. И есть чувства гораздо лучшие, чем «любовь». Вот дружба, по-моему, всего дороже!

10 мая

Цаплин кричит в телефон:

— Я стою перед гибелью. Пусть ко мне придут и пусть скажут: бездельник я или я з а с л у ж и л. Они мне говорят: «Если хочешь — устраивай выставку». А я им говорю: «А вы хотите?» И они все молчат. Почему меня Александров — министр культуры — не принял? Не желаю в санаторий. Меня надо творчески наладить. Я привык к труду — это моя стихия. Удовольствия, роскошь — это для меня чепуха. Меркулов, Мухина — все они были у меня и молчат. Я считаю это позором с их стороны. Я забыт, мой труд заброшен. Никто обо мне строчки не написал! Скульптуры мои никому не нужны. А я их на родину вез, там не продавал даже за огромные деньги. Там обо мне писали: «Гений!», а здесь я никто... Если б те, кого слушают, сказали: «Это ценный и талантливый мастер» или «Это барахло» — а все молчат. Я одиннадцать лет все жду. Почему ко мне такое отношение? Я ставлю вопрос о творческом использовании меня! — Он долго кричал. Потом бросил телефон. — Александров негодяй! Прохвост! — Рыдает сейчас.

Боже, как жаль его. Он начал последнее время многие свои скульптуры переделывать и... портить.

Алена сказала:

— Мама, уедем скорее, или я убегу! И я не хочу сюда возвращаться! Бедный папа! Раньше он никогда не ругался... А в Барнауле, когда я украла у него сахару, он потом бил меня полотенцем. А потом я украла еще больше сахару, и он сказал, что повесит меня, взял ремень и бил меня пряжкой, а я лежала скрюченная; потом как-то вырвалась во двор и там орала, а он выбежал, белый весь, и тихо мне: «Алена, ведь ты меня позоришь!» И потом я заболела, ухо болело, и, наверное, было сорок градусов, а он доктора боялся звать. Так и не позвал. И ты, слава Богу, за мной приехала. Он говорил: «Ради Бога, не говори матери», — и страшно плакал. И мне так ужасно жаль его было. Мама, я хочу остаться у бабушки с дедушкой — с тобой. Я там буду учиться!

У меня сердце разрывается. Но я виду не показываю. Спокойно

слушала ее, что-то объясняла, что-то украшала, а она плакала тяжелыми слезами. Бедный Цаплин! Вот кому не следовало, нельзя было возвращаться сюда! Там, в Англии, во Франции, его ценили. А ведь здесь он действительно никому не нужен. Нашему Вождю с его присными нужна Власть, и к черту Искусство!

Днем я была у Лили Брик. На ней было все синее, на маленьких ножках изумительные туфельки из Парижа; умная она, и то, что она не врет себе! — я ценю и люблю. Мы поехали с ней на Новодевичье кладбище к Осипу Максимычу. День золотой, с ветерком, там тенисто и зелено, и трогательные анютины глазки на могилах. И еще цветы и цветы. Могилы на каждом шагу, тесно. В длинной стене с урнами стоит и урна «О. М. Брик». Я вспомнила его с сожалением, что знала его мало и издала. Мы побыли недолго. Лиля вытерла листья примулы, стенку.

22 июня

Я пошла сегодня на радио и видела Раю Кузьминскую. Я сказала: — Рая, вы знаете Майкла много лет, объясните мне его. Он стал мне непонятен. Последнее время мне с ним грустно, и все кажется, что есть какая-то ложь. Он говорит одно, а делает непонятное. Но мне не хочется зря его обижать, если он просто «псих».

Рая сказала:

— Зимой он бывал у нас с одной девушкой из своего отдела. Ее зовут Клава. Она толстая, скучная, ей двадцать три года. Он как-то сказал мне: пожалуй, хорошо бы на ней жениться. О вас ничего не говорил. Он псих, у него тяжелый характер. Завтра я позвоню вам.

Я пришла домой, написала ему: «Не приходите. И не звоните больше. Может быть, я позвоню вам насчет грамзаписи». (Алеша говорил, что может устроить нам запись, у меня хоть грампластинка осталась бы. Этого мне очень хотелось бы!) Взяла гитару Майкла, положила в футляр две его рубашки — он просил воротник перешить — и отнесла в гостиницу «Москва», где он сейчас живет, отдала дежурной по этажу для него. Мне грустно очень!

23 июня

Сегодня у меня было много народу. Так само собой вышло. Два красавца были: Кирилл Кнорре и Саша Козырев. Высокие, стройные. Был маленький Веня, дала ему восемьсот рублей на билеты на поезд: обещал достать на следующее воскресенье. Я осталась без копейки. Шью. Есть заказы. Алена с Цаплиным эти дни на даче. Была вечером переводчица Пэгги Ветлин с мужем Андреем Андреевичем Ефремовым. Он художественный руководитель Саратовского театра, умный и милый. Тамара Груберт пришла — друг мой, старый мой друг, подруга дорогая...

Майкл позвонил по телефону. Сказал, что женился, ее звать Клава. Я от души пожелала ему счастья.

Сейчас звонил Бруно Рахмалевич. Он теперь полковник. Я попросила его помочь с билетами в Орджоникидзе. Обещал помочь, он позвонит Вене.

— Таня,— сказал он,— ты помнишь весну в Пятигорске и фиалки, и как Ирочка убежала, и мы одни остались. Машук зеленый. И лунная тихая ночь. У калитки дачи Чебыщ. Это лучшее, что было в моей жизни.

Я ответила:

— Жаль, что ты такой скупой на чувства. Всю свою жизнь на «карьеру» растратил?!

У него красивое лицо, но он толстый и тупой, обижает свою бедную, несчастную жену.

Я помню еще про Бруно, какой он трус... Лгунишка... Юра тогда ушел в Боевой отряд молодежи один... А Бруно не пошел! Спрятался...

28 июня

Сегодня вечером я устроила «театр для себя», чтобы полегчало. Пришли Миша Сидрер, Кирилл Кнорре, Веня с капитаном Андреевым, Алеша Кузнецов с другом своим, каким-то Васей — оба с гитарами. И вечером позвонил вдруг Никита Богословский — позвала и его. Вдруг без приглашения Майкл пришел первый. Бледный и грустный. Я была ото всего оторванная, пустая... Только капитан Андреев был настоящий какой-то среди нас, «артистов»... Никита пришел таким шикарным в новеньком костюме с золотой цепочкой на груди и золотыми часами в карманчике. Буржуй! Он удивительно изменился наружностью, ведь юный он был похож на Есенина! А сейчас темноволос и тяжеловат...

Пели все по очереди, потом Никита играл на рояле и пел и спрашивал про свою музыку. Я ругала его при всех. Сказала:

— Семь лет тому назад я думала, вы нашим Куртом Вейли станете. Но у вас пошлятина! Что, вы сами этого разве не понимаете?!

А потом кто-то облил его — Никиту — чаем горячим, всю жилетку с золотой цепочкой вымочил! Никита покраснел как рак и ушел.

Вечер мой прощальный прошел как во сне... Пусто. Скорее, скорее уехать! А на гитарах они все же прекрасно играли! А Майкл играл лучше всех. Молчал весь вечер.

29 июня

Встала на заре. Цаплин уехал на дачу за Аленой, и я одна в квартире. Вчера, когда все ушли, — такая ночь! Я прибрала все, подмела. Я люблю, когда все чисто. У меня на столе розы. И еще в бутылки смешные лиловые колокольчики. Вьюн на балконе разросся. На улицах безлюдно. Небо на востоке ярко-розовое и маленькие

облака как хлопья ваты. Мы с Аленушкой погружены в предстоящий отъезд: все выстирали, починили и вчера ломали голову, как сделать так, чтобы хватило еще и на «подарочки». Едем!

5 июля

В дороге я так заболела, металась в жару, что боялась — меня снимут с поезда. Но доехала. В поезде вся «болезнь» моя перемешивалась с Майклом. Он неотступно сидел передо мной и, глядя на меня оловянными глазами, рассказывал о Клаве. А у меня горло болело, и тошнило меня, и трясло. Я встала, когда мы подъехали к вокзалу, — наконец разглядела: черненький мальчик, стройный, тоненький! И мама почти такая, как семь лет тому назад, только осевшая книзу, не такая высокая.

— Ванюша, — слабо заорала я.

Мама долго вглядывалась в меня с перрона.

— Нет, это не Таня! — бормотала она. Наконец поверила и зарыдала.

Ванюша смущенно улыбался, Аленушка плакала. У Ванюши лицо испанчонка какого-то. Ласковый, нежный, мне жаль, что немного женственный. На рояле играет хорошо, шахматист. Больше всего из школьных предметов любит арифметику. Стихи не очень. Пишет фантастические сочинения — не любит реальности.

Папа полон жизни, остроумен, весел. Мама — герой. В доме хаос! Вообще очень земной, живой, очень целомудренный мир в этом доме. Полная чаша в смысле еды. Мама делает три тысячи рублей в месяц уроками музыки. Папа пишет и тоже делает деньги (а ему семьдесят семь лет!). Ужасаются, глядя на меня. Аленка заболела сразу ангиной, но она так счастлива, что наконец здесь, что даже не очень капризничает. Мне тоже хорошо, и я почти поправилась, только ослабела сильно.

В день нашего отъезда из Москвы в девять часов утра Майкл постучал в дверь. Пришел помочь с вещами — сам, я не просила. Вошел веселый и совершенно тот, который пришел ко мне в первый раз, — развязный, самоуверенный, вульгарный, но славный парень. Он сказал:

— Я вам напишу. Я выучу новые песни к осени. Гитару я никогда не брошу — не думайте этого!

Проводил меня на вокзал, мы тепло попрощались. Но мой язык уже не хочет назвать его Майклом. Он — Моисей Генрихович Циммерман.

Мне здесь очень хорошо. Тихо.

22 июля

Бабушка своими приставаниями с едой добила того, что Ванюша почти ничего не ест (по-моему, из-за самоутверждения). В нем нет организованности и, конечно, н и к а к о й дисциплини-

рованности. Когда я сказала деду, что возьму Ванюшу в Москву, он завопил на меня!

— Я бы тебя на порог не пустил, если б думал, что ты за этим приехала! Я умру, если он уедет! Он не уедет!

Больше я говорить не стала. Дед его обожает! Сам Ванюша ехать хочет, но, конечно, просто по-детски, из любопытства к Москве. С Аленой они пока что чужие... Дед и бабка так по-разному относятся к ним, не скрывая этого, что бедная Аленка тут почти как Золушка. А Ванюша — Принц. Но не очень воспитан (манерами), а главное, говорит он, как все мальчишки тут, — с осетино-украинским акцентом. Товарищей близких у него нет. (Ведь бабушка вообще людей не очень-то жалует, тем более мальчишек.)

В октябре Ванюше будет 10 лет. Если я не возьму его с собой сейчас — то, значит, еще год он здесь. Станет еще более барчуком, еще более избалованным и еще более чужим мне и Алене. А ведь жить ему в дальнейшем придется с нами... Господи, неужели вся моя жизнь так и пройдет в муках безденежья и одиночестве — Ванюша тут, Алена там, и все не так... Ах, какая неустроенная, неудобная, трудная жизнь у нас, на родной нашей земле.

27 июля

Дед не хочет расстаться с внуком. Сказал, что если я возьму Ванюшу, то и он поедет с нами в Москву. Предложил, чтоб не разлучать Ваню с Аленой, оставить Алену у них. Ни я, ни Алена ни за что не согласны. Ваня спокойно собирается в Москву, он и не мыслит, что мама (я) опять уедет от него, без него. За последнюю неделю мы с ним крепко подружились. Бабушка... Люблю ли я свою мать? Не люблю ее мрачность, узорь, ограниченность, властность. Да простит мне Господь Бог. Для нее будет страшным ударом, если дед и Ваня уедут со мной. Она пилила отца всю жизнь, но она прожила с ним всю жизнь и очень к нему привязана... Почему все не так, как могло бы быть?! Мы бы приезжали к старикам на лето; они бы тихо жили здесь; дети были бы со мной в Москве... Дед очень старенький, слабенький. В Москве мне придется снова биться, работать, думать о деньгах, ухаживать за стареньким дедушкой, а многое в моей жизни ему будет не по нраву... Но если я детей оставляю здесь — они, бедные, будут несчастны и вырастут не людьми сегодняшнего дня, а с установками старого быта, ибо отец мой (он в меньшей степени) и мать абсолютно старорежимные люди. Ваню они избаловали до противности!..

Отец много рассказывает мне о немецком наступлении и как, например, наши из Орджоникидзе (который сейчас переименован в Дзауджикау, — говорят, потому что Сталин хоть и родился в Гори, но вовсе не грузин, а осетин, и фамилия его не Джугашвили, а как-то по-другому, и что он ненавидел Серго Орджоникидзе...) гнали через Кавказский хребет стада овец и племенных коров в Грузию... и уходили люди по тропам и по Военно-Грузинской

дороге... Немцы бомбили город и совсем рядом с домом, где живут отец с матерью, разрушили дом... Очень страшно было.

— Бабушка ужасная трусиха, но мы с дедушкой ничего не боялись и ходили за хлебом,— рассказывал Ваня.

Потом в один день всех ингушей посадили в эшелоны и вывезли в Казахстан за то будто бы, что какие-то из них были в горах проводниками у немцев...

А сейчас под вечер мы видели, как по улицам пленные немцы ездят с работы в грузовиках и поют во все горло немецкие песни. Они сытые, сильные и светятся счастьем, что остались в живых.

Дед очень старенький, но пленительно милый, добрый!

31 июля

Скоро уже и обратно. Я добросовестно ела, но прибавила всего два кило. Волосы так лезли, что я их остригла, мне это не идет, но все равно. От всего, что с этим связано,— большая тоска на сердце. Как-то сразу все кончилось: песни и женская жизнь. Остались дети. И борьба за хлеб. Еды бы! Сил бы!

Прелестный этот городок всегда действовал на меня угнетающе. У меня всегда тут мысли о смерти. Идешь на прогулку — и все мимо кладбищ. Смотрю на свою мать: какая она была красивая! и какая она сейчас грузная, совсем не похожая на себя прежнюю. Ничего не осталось от той женщины. А вот отец хоть и старенький, но по-прежнему обаятельный, в нем есть преемственность от всего прежнего. Неужели мы, женщины, все так?.. И зачем же мне суждено пережить самое себя?..

3 августа

Погода изумительная. Горы во всю ширь горизонта: близко, на носу. Из наших окон чудесный вид. Рано утром воздух так прозрачен, что на Казбеке видна чуть ли не каждая трещина. Снег лежит ослепительно белый. И далеко вширь еще горы и еще снежные вершины. Весь горизонт закрыт ими... В этом маленьком городке все события как на ладони, и все только страшные, или, вернее, только о страшных говорят. Утонули четыре девочки лет тринадцати-четырнадцати. Были в лагере, переходили вброд горную речушку, быструю, держась за руки. Первая поскользнулась, а за ней и остальные упали... Ужасно... Девять мальчиков напоролись в поле на мину. Все убиты... Кто-то из ревности вечером столкнул в Терек девушку и ее возлюбленного. Утонули. Действительно, кроме единственного нового, все мосты через Терек просто страшные! Перильца такие, что через них и в нормальном состоянии ничего не стоит перекинуться. Терек несется по камням шумно, яростно.

Ваня и Алена не дружат. Ревнуют меня друг к другу.

5 августа

Наша жизнь и быт делают нас необычайно выносливыми, вернее, «приспособленными».

Позавчера говорила по телефону с Цаплиным. Он мне сказал: — Оставайтесь там с Аленой!

Я говорю:

— Алена ни за что не хочет оставаться. (Алена на днях вечером плакала: «Папочка! Я о тебе соскучилась!»)

Он говорит:

— Ну, тогда Алену сюда отправь, а сама оставайся. Живи там со стариками и мальчиком. Тебе там лучше с питанием. Живи там!

Я говорю:

— Нет, я не останусь. Пришли денег на билет Алене. Надо успеть к школе.

Он говорит:

— У меня сейчас денег нет. Будут — пришло. Ты только не вздумай мальчика привозить.

Вот и весь наш разговор.

Конечно, ему несравненно удобнее сбросить всякую заботу об Алене с себя — на меня и стариков. Я себе представляю нашу квартиру сейчас, в какой она грязи. Он, наверное, и не проветривает. Если он денег не пришлет, что тогда?! Я тут пробовала искать переводы — ничего. Лето, учебные заведения закрыты. Билеты отсюда очень трудно достать. Так что, даже имея возможность заплатить за билеты вдвое, достать их весьма трудно. Я приеду в Москву, и у меня не будет ни копейки. Надо будет идти в ломбард или продать, а что еще из вещей у меня есть?.. На Украине и в центре России — страшная засуха. Неурожай. Значит, все будет дорого. Ваня. Его питание. ДЕНЬГИ. Я поправились здесь. Я делаю всю работу по дому, кроме готовки. Это мама делает сама чрезвычайно вкусно. Готовить она любит. Вечерами она по-прежнему дивно играет на рояле.

11 августа

От Цаплина телеграмма:

«Деньги вышло 12-го. Ванюше Москва вредна. Дед баба воспитывайте лучшего времени Ванюшу, оставьте Москву. Реши сама. Учти трудности прокормиться. Можно выезд неделю позже, успеете. Цаплин» (знаки препинания проставила я сама). А вчера у меня с Ванюшей был такой разговор (он два дня был задумчив и бледненький такой...):

— Мама (очень серьезно, с глазами, которые смотрели прямо в меня), дай мне честное слово, что возьмешь меня с собой в Москву.

Я говорю:

— Ванюша, но там тебе труднее будет, и есть придется не такое вкусное, я бедная.

— Мама, я буду есть все, я буду учиться на «отлично», я никогда не буду ссориться с Аленой, но, мама, я хочу с тобой быть. Я бабушку с дедушкой очень люблю, мне хорошо у них, но я с тобой хочу. Если уж кого оставлять, то Алену,— она все время с тобой была, а я нет. Я с тобой хочу. Дай мне честное слово!

Я говорю:

— Ванечка, а ведь бабушка с дедушкой очень огорчатся... как быть?

Он говорит:

— Я поговорю с бабушкой. Я знаю, что она будет плакать на вокзале, когда мы уедем... Я ее уже спрашивал, она говорит: «Не буду плакать»... Но я-то знаю... Дедушка на вокзал не пойдет. Я тоже о них тосковать буду. Но я хочу с тобой. Ты моя мама. А ведь можно мне папу «папой» звать? Я хочу его папой звать! Можно? (это про Цаплина).

Я говорю:

— Ты его спроси. Если ты будешь с ним ласковый и хороший — он очень будет тебя любить (я сама верю в это «чудо»).

— Мама, дай мне честное слово, что возьмешь меня с собой,— а сам смотрит так серьезно. Он такой мужчина, этот маленький мальчик!

Я сказала:

— Ванюша, даю тебе честное слово.

Он мне рассказывал про одного мальчика:

— У нас в классе есть такой мальчик — Витя. Он философ. Молчит. Сидит и молчит. В день только три слова скажет. Умный страшно! Я Вите говорю: «Ты много книг прочитал?» — «Да», — отвечает. Я ему говорю: «А сколько?» Он мне ответил: «Почти все!» Вот какой! Почти все книги прочитал! Умный страшно!

Мы вместе ходили к Тарнаградским, у них сын Вова, с которым Алена дружила в детстве. Алена и он почти однолетки. Вова умный, крепыш, уже пробиваются усы. Отец его — этнолог, профессор Тарнаградский, обаятельный умник. Дом их полон книг и затейливых прелестных вещей. Два вечера подряд напролет мы читали стихи. У него замечательное собрание поэтов. Вплоть до рукописных. Жена его, Мария Николаевна Оболенская, красивая, молодая; глядя на нее, мне вспоминается песенка Вертинского: «В пыльный маленький город, где вы жили ребенком, из Парижа весной вам пришел туалет...» Ей грустно жить в этом маленьком городишке, хочется в «столицу», нет интересного круга знакомых. Русская мадам Бовари. Профессор гораздо старше ее. Он маленького роста, похож на комарика, блестящий умник, интереснейший ученый и знает Северный Кавказ как свои пять пальцев. Ему пишут ученые всех стран мира!

16 августа

Вчера мы были в гостях, я пела, и на душе моей полегчало — ушла из меня горечь и грусть. Мама меня слушала сурово, но и ее прошибла слеза, когда я пела «Ах вы кони мои...». Я убираю дом, хожу на рынок — он обильный, пестрый, дешевый, веселый. Но оттого, что ни минуты я не одна, — устаю.

21 августа

Стоят сухие жаркие дни. Я вешу уже целых пятьдесят шесть кило. Голос звучит несравненно лучше. И сил как будто прибавилось. Папа уговорил остаться до 12 сентября, и я рада этому. Мы спокойно соберемся в дорогу. Будь что будет. Но я не могу снова расстаться с Ванюшей.

Бываю у Тарнаградских. Он умник, знает наизусть весь этот край, сам очаровательно переплетает и иллюстрирует книги, которые любит и без конца покупает. Вкусно готовит кофе. Приятно вспоминать вместе с ним Париж, где он учился в юности и долго жил.

В стране засуха. Из Ставропольской губернии и с Украины сюда переселяются люди, бегут от голода. За базаром, на толкучке, масса народу, все продают какое-то жалкое тряпье.

Мы втроем — я и дети — уходим далеко по Военно-Грузинской дороге навстречу горам, покрытым лесом, за которыми сияют снежные вершины Кавказского хребта. Погода дивная, мягкая.

Старики сберегли мне Ванюшу. Крепкие люди в жизни. Я помню бабушку мою (мать моей матери) — мы, дети, обожали ее, и взрослые обожали ее тоже. Она была такая добрая, приветливая, веселая... Жизнь тогда, конечно, была другая. А сейчас люди вообще все стали злобными, ух!!

24 августа

Я еще в прошлом году сказала Николаю Семенычу Тихонову, что «положение обязывает» и что многое неприлично делать на виду у всех (Танька Лагина, беспрестанное пьянство), что следует выбирать людей, которыми себя окружаешь, и прочее. Бедная Маруся знала, чем все это кончится. В нашей стране люди это должны понимать, особенно те, кто председатели. Сегодня в «Правде» от 21-го речь Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», о «пошлых» рассказах Зощенко и «салонно-чуждых нам стихах Ахматовой». Бедная старая поэтесса. Уж ее-то можно было не трогать. Ее стихи превосходны!

Угадать, чем не угодил Зощенко, не могу никак. Прочитала его рассказ про обезьяну. Ну и что?! За что же изничтожать писателя?! Противно, глупо и жестоко.

А от 22-го в «Правде» — постановление актива ленинградских писателей: «Актив считает необходимым просить Центральный Ко-

митет ВКП(б) поставить во главе Союза советских писателей более выдержанного руководителя, способного выправить работу Союза». Тихонова снимут. Николай Семеныч — талантливый поэт и очень интересный человек. Бедная Маруся — «на острие ножа» все последнее время. Сколько вокруг них было подхалимов, разных людей и шек. История с известной всей Москве «гуленой» Татьяной Лагиной. Ну, мог бы спать с ней втихомолку, а то ведь на виду у всех пьянство с ней и прочее. Приятельские поблажки бездарностям, равнодушие к «маленьким». Как часто глупеют люди, когда высоко вознесутся... Но мне жаль, что, наверное, им обоим сейчас очень неприятно. В ленинградскую страшную блокаду они вели себя достойно, с честью. А сейчас его отшлепали, как мальчишку. А Зощенко за что, собственно? Как стыдно, как неправильно это. Да многое!..

Везу в Москву Ванюшу. А там Цаплин... который даже родную свою дочь мучает криками, орет на нее ни за что ни про что. Но с сыном я не расстанусь. И сумею защитить его. А кроме того, у меня в глубине души есть один проект. Но о нем писать не буду. Он вьется еще далеко в тумане.

Послала открытку Тихоновым:

«Дорогой Николай Семеныч! Когда я смотрю на горы, которые отсюда как на ладони, и на мост,— я вспоминаю, как удивительно хорошо Вы читали Ваши прекрасные стихи о Кавказе, и мне хочется снова поблагодарить Вас за них. Обнимаю Вас и дорогую Марию Константиновну.

Искренно Вас любящая
Татьяна».

29 августа

Неужели я заболела? Чувствую себя ужасно. Полное бессилие. Температура 37,6 — только бы не воспаление легких! Двадцать седьмого был день рождения Алены, ей исполнилось четырнадцать лет. Бабушка пекла пироги и позвала гостей. Мне казалось, что годы, война, все пережитое смягчили, умудрили мою мать. Нет, она такая же, как была: властная, сумасбродная «барыня», но энергичная и воистину труженица. Она на ногах весь день: на базар, готовка, уборка, да еще уроки музыки. Ученики приходят к ней. Она считается лучшей преподавательницей музыки в этом городе. Она часто кричит на учеников, они ее боятся. К иным она очень нежна, и с ними она добрая и терпеливая.

Но под горячую руку нет удержу ее языку. Самое презрительное слово — это «нищий», — бедность она презирает, как некий гнусный порок. Те, кто не умеет зарабатывать деньги, — это лентяи и для нее не существуют. Но уважает она только зарабатывание интеллектуальным трудом. Она очень «трудовая интеллигентка». И в работе добросовестна, умна, эрудированна. Ее ученики прекрасно играют и любят ее.

С Ванюшей у нас за это время — душевный контакт.

Пела на день рождения Алены. Пела как-то у Тарнаградских, они даже гитару где-то достали для этого.

Скоро в Москву. Я стосковалась по дому. Только бы там все благополучно.

Поскорей, поскорей в Москву.

6 сентября

Интересно — долго ли я еще проживу? На рентгене оказалось, что у меня «интенсивные очажки» на правом легком и «фокус». С 1936 года, когда я впервые заболела воспалением легких, я стала уставать. Это единственное мое ощущение «болезни» — бесконечная усталость. Бессилие. Но очажки зарубцуются, и я опять буду СИЛЬНОЙ. Мы надеемся уехать в воскресенье. От Цаплина телеграмма: «Когда приедете. Так грустно. Очень соскучился». Трогательно. О, как мне хочется лечь на свою кровать в своей комнате, в своей Москве. Доехать бы!

Недаром в старых романах люди от несчастной любви заболевали чахоткой. Да нет, я давно больна, конечно... От всего.

14 сентября. Москва.

Мы приехали домой одиннадцатого. Дети уже ходят в школу. То, что оба они здесь около меня — дома! — наполняет меня счастьем. Цаплин встретил нас сурово, каждый день говорит об обузе: сказал, что выписал себе какую-то старуху из деревни, и, когда она приедет, «ты с мальчиком уезжай-ка к старикам»! Я не спорю с ним, чищу и мою и готовлю, сказала, что «все равно ведь домработница нужна — так вот я буду за домработницу». Отец и мать обещали помогать, да и я буду прирабатывать уроками, шитьем. Я Цаплина поняла, по-моему, наконец, правильно: он — истерик, он мне сказал такую фразу:

— Вот Петр Великий был, говорят, страшным человеком, а ведь умела Катерина чесать его за ухом. Ко мне надо правильно подойти — и я тогда на все соглашусь!

На «все» он не согласится — мания скупости при нем останется, он будет крохи выдавать, но «подходом» можно обеспечить себе и детям эти крохи. Зима будет очень трудная из-за засухи... Все будет дорого...

Народу в поезде ехало много. Ехали мы через Астрахань. Потом — астраханские степи. Это страшно. Два дня и две ночи — плоская, выжженная солнцем бесконечная сухая пустыня. Перезезжали черепашьям шагом мост через Волгу, наполовину деревянный и такой «хлипкий», что поезд буквально полз, затаив дыхание, а через щели и дыры моста, далеко внизу, виднелась вода — глубина... Очень страшно было.

Местами под откосом валялись разбитые вагоны, вдребезги

разбомбленные паровозы... Разбитые станции... Сожженные деревья... И сухие, сухие поля...

17 сентября

Температура у меня продолжается, но маленькая — 37,0. Пока что чувствую себя чудесно, в полном смысле этого слова, оттого что я дома, который обожаю, и дети оба тут, около меня. Сколько лет я чувствовала, как отсутствие ноги или руки собственной, — отсутствие Ванюши... А Цаплин каждый день говорит мне: «Уезжай с мальчиком. Мне вас кормить не на что». Шесть лет за границей он жил на деньги, что Бен посылал мне, — мы ездили в Испанию, жили там, потом в Англию — на деньги, которые посылал мне Бен. Я платила за его мастерскую в Париже и т. д. Никогда я ни словом ни жестом не намекнула ему за те шесть лет, что он должен бы сам зарабатывать, что надо бы, чтобы он продал хоть одну свою скульптуру. У меня были деньги. Для меня естественно было ими делиться с отцом моего ребенка, с человеком, который со мной живет... Условия жизни нашего Союза не для меня были. Я сама все-таки была тогда, пожалуй, «предметом роскоши», цветком оранжерейным, увы... Я не была выносливой кобылой... С тех пор как мы вернулись в Союз, я билась как рыба об лед, я особенно последние годы билась, голодала, из последних сил выбивалась...

Отнесла в комиссионный кое-что для продажи. За молоко и хлеб я буду платить сама. Деньги пойдут только на детское питание. Буду давать уроки, шить, переводить.

Майкл забежал на минуту. Не похож он на счастливого молодого человека, бледный, похудевший какой-то. Сказал, что на минуту, ибо внизу его ждут! Действительно, его жена ждала его внизу. Сказал, что счастлив с ней. Я ее звала подняться к нам!

Как пели мы вместе... Как он играл на гитаре...

19 сентября

Ванюша сказал мне на днях:

— Мама Люля! Ты мне нужна как собаке четвертая нога. Ведь она не может без четвертой ноги! Так и ты мне нужна.

— А в чем?

— Во всем нужна и всегда.

Он пишет письма деду и бабе, пресмешные, очень остроумные, но не тоскует о них. Ему хорошо здесь. И когда они оба идут в школу — Аленка высокая, светлая, такая северная, русская, а он смуглый, с огромными темными глазами, — я не могу не радоваться. Цаплин носит в дом грибы, картошку, масло топленое. Ворчит. Хочет покапризничать, «волю свою показать» — и пусть. Я, не насилая себя, искренне кротка и мила с ним, ибо мне хорошо на душе.

Ванюша вчера подошел к Цаплину и, глядя на него снизу вверх, сказал:

— Можно, я буду называть вас «папа»? — Умоляющий взгляд. Цаплин резко ответил:

— Нет!

Ваня как-то весь сник!.. Я молчала.

25 сентября. Среда

Леночка Елкина заставила меня пойти на рентген еще раз. Прекрасный доктор-рентгенолог смотрел меня. С легкими сейчас благополучно. Но нехорошо с сердцем. «Дистрофия сердца. Расширение узлов». Велено питаться. Не курить. (Не могу не курить!..) Оттого что в легких благополучно, я стала счастливой, так как то единственное, что меня мучило, — возможность заразить детей, — отпало. Чувствую себя хорошо, гораздо лучше, чем в Дзауджи-кау.

3 октября

Осень такая же, с теми же желтыми листьями под ногами, с тем же слякотным промозглым воздухом, как всегда. Но как не похожа она на ту, прошлогоднюю. Казалось мне тогда, что все впереди и что я выйду «победительницей» с песнями... А сейчас тихо-тихо. Я как мышь в доме — вожусь, чищу, украшаю, с наивной радостью люблюсь на детей, на дом.

Вернулась из Ташкента (с весны 1937 года была в ссылке) Наташа Столярова. Очень я рада была ей! Она живет у меня, конечно, без прописки, бедная, раздетая, сильная, здоровая, мрачно-жизнерадостная. Вспоминаем, как десять лет назад мы втроем: я, она, Алеша Сеземан, который и сейчас красив, как лорд Грей, сживали в мастерской Цаплина, хохотали, спорили. Рассказы Наташи об этих десяти годах в лагерях не буду записывать, нельзя... Она еще молода, у нее впереди много. Дай и ей Бог счастья! Я все делаю, чтобы ей у меня было хорошо, тепло.

Неожиданно явилась Элизабет Иган с матерью! Чрезвычайно благообразная старушка. Элизабет принесла мне в подарок платье, которое я назавтра же продала Нонне.

Необычайная чуткость поведения Ванюши с Цаплиным: он безукоризненно вежлив с ним всегда, но замкнут, серьезен и не зовет его больше «папа». Сам. Ни одного дурного слова о Цаплине ни от меня, ни от Алены он не слышал. И не услышит. Но Ваня такой, что сам все поймет... Легкий он какой-то, крылатый, и сколько в этом десятилетнем мальчике чувства собственного достоинства. Молодец. Я горжусь им.

21 октября

Шагает мрачно жизнь. Людям очень трудно, с едой гораздо хуже, чем было в прошлом году.

1 ноября

Чудо! Как снег на голову: от Беночки сразу три огромные посылки из Америки! Чудесные одежды мне и Алене, ибо она может носить все мое, но Ванюше ничего нет, и это меня огорчает. Десять очаровательных платьев, костюм, два пальто демисезонных и одно легкое летнее пальтишко, чудный сарафанчик Аленке, юбка, дивная блузка! Я была бы элегантна на несколько лет, но буду все продавать для еды. Боже, спасибо Бену, о, какое спасибо!

От наших стариков — хорошие письма, и мама такие ласковые пишет. А дед болеет, карточки добавочной ему не дали, литер отняли. И у них стало несравненно голоднее. Зима эта будет труднейшая. Я взялась делать обувные заготовки в артель, надомницей, чтобы иметь хлебную карточку. Спасибо за посылку Беночке, какое спасибо! Меня ошеломило, я даже и не очень обрадовалась. Но в посылке мало что пригодно в нашей жизни, особенно моей, — слишком все роскошно. Мне бы шубу, а то моя очень рваная. Да два бы платья — черных с длинными рукавами. А эти все с короткими. Но прелестные! Очень изящные. Хорошо, что на весну есть пальто: одно — мне, другое — Алене. Летом мы с ней будем очень «элегантные». Но зима занимает центральное место в русской жизни. Надо выглядеть приличной зимой. Целых полгода холода и снега. Моя из черной дивной каракульчи была роскошной, а теперь это — заезженная кляча. Аленина, та, что Цаплин купил в прошлом году, такая бабья, не «девочкина». Ну, ничего. Добредем до весны и в этих. Только бы еда.

Молотов на Ассамблее в Нью-Йорке сказал, что атомную бомбу нужно объявить вне закона, а атомную энергию употреблять с мирными целями. Господи, да, да!

Доротейки нет с весны, она под Москвой в «санатории». С самого начала просила ни о чем не спрашивать. Я и не спрашиваю. Она звонила часто по телефону, теперь все реже и реже. Она уверенно ждала Артура весной. Но его нет. За что ей выпала на долю такая странная жизнь?

4 ноября

Была на панихиде по Давиду Гутману в Доме актера. Народу много. Умер старый Щелкунчик, умник, веселый озорник, блестяще знавший эстраду. А замены ему нет. Выдумщик он был острый, любил бескорыстно все талантливое. Я плакала о нем и о себе... Кончился мой путь артистки, Голгофа моя, где я испытала самое большое для себя счастье, самые высокие и счастливые минуты моей жизни. Давид Григорьевич был одним из тех считанных двух-трех человек, которые искренно и бескорыстно помогли мне, любя и ценя то «мое», что было мне дано. Путь мой — «певицын путь» — был на редкость мучительный, до смешного на каждом шагу неудачи, препятствия, а сил физических было мало. Но и до сих пор петь — для меня наслаждение.

10 ноября

Страна переживает очень тяжелое время. Денег нет ни у кого. Еды мало. Все дорого. Сахару нет совсем опять. Люди только и говорят, где бы что достать. Мы с Алешей Сеземаном пошли под праздник в коктейль-холл, сидели за столиком с двумя незнакомыми, молодые, оба были на фронте. Один из них сказал мне, когда мы уходили:

— Мы все стали как деревянные болванчики — нас давно отучили думать самостоятельно: живем по команде сверху. Думали, после войны будет легче дышать. Нет, еще крепче окрутили нас.

Что будет? Я бьюсь как рыба об лед, продаю платье за платьем. Шью за хлеб. Мне платят хлебом, а не деньгами. Цаплин не дает НИЧЕГО. Я последние пять рублей отдала сегодня Надежде Волынской: ей не на что было выкупить хлеб!

21 ноября

Мне хотелось спасти в себе ту Татьяну. Я знала, что рабочей лошадью я могу быть, я ею была, когда это было необходимо. Я и стала ею теперь, и ем сама и кормлю детей. Но мне хотелось спасти ту лучшую в себе, ту птицу. В ней была своеобразная ценность и прелесть — я и дралась за ту, и обломала зубы. Теперь я сапожник. Дети сыты. И все мною довольны. Наконец эта птица смирилась, замолкла. Только никто никогда не скажет и не посмеет сказать, что пела я плохо, что не имела я права на песни. О, пережить все это и стать сапожником и весело шить и жить дальше... Сильная я, двужильная я. Бедная та Татьяна! Я похоронила ее, я плачу над ее могилой, моя бедная прелестная птица. А эта, которую гладят по головке, — «молодец!» — скучная, никакая, «мертвенная». Когда остаюсь сама с собой — я так горько жалею, что кончился «песенный» путь. Я очень люблю детей моих, они мне в радость. Теперь во мне и осталась жить только мать, а Птица умерла. И я стала удивительно равнодушная ко всему, кроме Алены и Ванюши.

Умер Борис Пронин, мой брат-птица. Царство ему небесное. Если рай есть, то, конечно, он там, как и Маяковский, как Яхонтов. Яхонтова я мысленно часто вижу, встречаю на улицах, и в комнату он входит. Он «живет» очень: а Борис в раю, он не выходит оттуда — он устал от Земли, он все исполнил на ней. Сидит и греется на райском солнышке и устраивает «навороты» небесным жителям, милый мой, птичка моя, дружок. Хорошо гуляли мы с ним по Ленинграду.

6 декабря

Уехала обратно в Нью-Йорк Элизабет. Перед ней весь мир. Она уехала и увезла с собой «весь мир». Когда она бывала у меня, мне казалось, что через щель в высокой каменной стене я вижу

«весь мир». Теперь и щели нет. С Элизабет уехали для меня и книги английские, и журналы, и память о той моей жизни — Бен, Честер, дюны и океан. И больше: с ней уехали Париж и Майорка. Я, усталая, бьюсь каждодневно за кусок хлеба, и к отъезду ее я отнеслась равнодушно. Только как-то тошнит душевно. Очень тяжело живется людям — от нужды, от страха. Все друг друга боятся, боятся говорить о чем бы то ни было, кроме самого житейского, боятся мнение свое высказать, даже об искусстве, не говоря уж — куда там! — о политике. Нет, нет, нельзя, а не то!..

Как бесконечно устали все от войны! Ведь такую войну вынести! И люди думали хоть немного отдышаться, а не тут-то было. Засуха схватила нас за горло. И как бич над головой у каждого — страх. Потихоньку, шепотом, озираясь вокруг, мне вчера рассказали анекдот: «Почему у русских засуха?» — «Потому что все население — двести миллионов — набрали в рот воды».

А я знаю, что очень важно: кусок хлеба. Любовь, творчество, силы — все от него. Недаром во время войны в Новосибирске нашу столовую звали «Столовая пэпэжэ» (то есть «прощай половая жизнь») — иными словами, прощай все в жизни, ибо когда человек голоден изо дня в день в течение долгого времени, он делается ко всему равнодушным, малосильным, и толку от него мало. Он ничего не может — ни петь, ни любить, ни мыслить (у меня мозги именно «усохли», я сама чувствую, как я поглупела).

Муза Павловна — поэт и переводчик, через которую мне заказывают заготовки для босоножек, — вот уже неделю как не может найти материал для них, шить их не из чего! И я сижу... что-то продаю, бегаю с губной помадой по каким-то домам... За американскую губную помадку — сто рублей. Элизабет оставила мне три! Это и мясо и картошка... Мне надо три тысячи рублей в месяц, чтобы питать детей и себя. У Алены сильное малокровие: 50% гемоглобина... Бедная моя девочка... Она крупная, ей много еды надо. Три тысячи рублей в месяц... Как мираж. И я понимаю, что мне их не заработать. Скучно. А чудес, по видимому, не бывает.

10 декабря

И когда-то Майорка...
Польенза-Пуерто...

Если б я могла (а могла бы, если бы жила сейчас одна где-нибудь в Уертговской тишине, только чтобы было не страшно по ночам), больше всего я хотела бы написать книгу о Бабушке и о нас — о Юре и обо мне — в детстве. Помню смутно Одессу, 1907 год. Мы с бабушкой в кино — там страшная картина: казаки стреляют в революционеров. Бабушка хватает нас за руки, вылетает из зала, набрасывается на хозяина — скандал страшный! Бабушка выхватыв-

вает меня из моря, когда я тону. Бабушка спасает от погрома в Одессе еврейского мальчика. Бабушка и Кисловодск. Помню даже дядю Колю с котятками. Скала в саду. Боярышник. Широкий стол под виноградными лозами, где мы пили чай с молоком. Балкон и на нем ветхое кресло — о, это кресло, уют, тихая пристань — большое, низкое, старое-престарое, вылезает щетина, обивка рвется. Но как мы с Юрой любим раскидываться на нем!

Бабушка едет с кисловодского баснословного базара на линейке, окруженная арбузами, помидорами, виноградом, разными овощами, маслом, мясом, торгуется с извозчиком-дрогалем. Бабушка в старом, «допотопном», но когда-то «элегант» костюме. Светлый в клеточку, на голове самодельная шляпа. Соседи называют ее Косячиха, ибо фамилия Бабушкиной сестры Косякина. Побаиваются, Бабушка слегка насмешничает — она оригиналка. Бабушка и бедняга Арина, с пятью детьми, муж пьяница. И Бабушка вечно им помогает. Бабушкина кладовка, такая же очаровательно чистая, как и остальной дом, — там, в сундуке, преинтереснейшие вещи, например — о, восторг! — Бабушкин костюм амазонки (она чудесно ездила верхом) из зеленого сукна с тончайшей талией и какие-то прелестные старые легкие платья на тоненькую, молоденькую, изящную Сашеньку, нашу теперешнюю хлопотунью, хозяйку, кухарку, мастера на все руки — Бабушку. Бабушка читает нам Диккенса: «Крошку Доррит», «Дэвида Копперфилда», «Домби и сын». Это самое приятное, что есть на свете, — слушать, как Бабушка читает, а еще как она рассказывает о том, как была маленькая, или о своих детях, когда они были маленькие, о нашей проказнице-маме, как принесла в фартучке ядовитого скорпиона, и о лошадях, которых Бабушка горячо любит. Бабушка сердится — тогда она молчит, не разговаривает с нами. «Сегодня я не буду рассказывать.. Не буду читать»... — строго, серьезно, грустно. Злейшее наказание... Мы в тоске слоняемся по комнатам. Бабушка прощает, счастье вновь водворяется в нашу жизнь.

Никогда Бабушка не сердилась, не кричала. Негодовала — да. Не за себя, за людей. На политику. На несправедливость. Я не помню, чтобы Бабушка повысила голос, но взглядом она умела «устыжать» людей. Она отправилась сестрой милосердия на русско-турецкую войну (1877—1878 годов). Я храню теперь ее Георгиевский крест. Апышкоа (архитектор) рассказывал мне, как она жила в землянке, подбирала под пулями раненых, как любили ее солдаты. Она умела быть блестящей светской дамой, утонченной умницей и в то же время сама справлялась со своим большим хозяйством: куры, поросенок, кухня, сад, огород — все сама, своими руками! Она принципиально не держала прислуги. «Я — толстовка». А Бабушкины розы! Таких прекрасных я больше не видела! Яблони, которые она своими руками окапывала каждую весну. Как она успевала все делать?! Летом всегда гостили у нее мой дядюшка-математик, академик Владимир Андреевич Стеклов с женой, Апышков — архитектор. «Я отдыхаю душой подле Александры Евгеньев-

ны», — говорил Стеклов. Чистота в доме, белизна стен (сама белила), ослепительные полы (сама мыла!), а вкус приготовленных ею затейливых кавказских блюд! «Грузинская кухня — моя любимая». Сама делала кефир, шербеты и сушила травы.

— Никто столько добра не сделал, как ваша бабушка, только она тайно добро-то делает, — сказала мне как-то эта бедная Арина...

Бабушка умела смеяться! Как любила музыку! Пела, иной раз плясала: «Ах вы, сени мои, сени!» — помахивая беленьким платочком.

13 декабря

В Клубе писателей вчера справляли пятидесятилетний юбилей Николая Семеновича Тихонова. Маруся мне позвонила, позвала. Я редко теперь бываю у Тихоновых. Меня разлюбили в этом доме. Да и я разлюбила этот вполне сытый дом. Цаплин делает сейчас бжост Тихонова и про меня бог знает что им рассказал. В клубе было много народу. Николай, искренне тронутый хвалебными речами, был милый, простой. Атмосфера была теплая, дружеская и оживленная. Сережа Михалков преподнес Николаю трубку от секции поэтов. Выступали Федин (хорошо), Субботский (умно), Антокольский (посредственно), Долматовский (глупо), Инбер (кокетливо). Хвалили стихи и человека, поэта и воина. Стихи Николая читали Журавлев и Царев, а Э. Каминка — прозу. И наконец сам Николай прекрасно читал свои стихи. Я получила искреннее удовольствие от всего. Маруся похудевшая, но милая и радостная. Приятный был вечер в силу искренности своей. Это так редко бывает — искренность на теперешних наших сборищах. Людям так трудно живется, всем хочется ругаться и ныть, а этого, избави Бог, нельзя. Поэтому все затаенные, неискренние стали.

Аленочка никак не поправится после ангины своей. С сердцем плохо и малокровие. Моя птичка! Высокая, стала выше меня. Ванечка — солнечный луч в нашем доме. Он ездил в гости к Лиле Брик. Потребовал, чтобы купили ей цветы, и мы купили букетик. Ездил один. После визита приехал и сказал:

— Знаешь, я Лиле Юрьевне очень понравился!

6 января 1947 года

Я как акробат под куполом цирка кувыркаюсь: с трапеции перелетаю на другую, казалось бы, вот-вот вдребезги, ан жива — и ничего! Продала свое белое кружевное платье, дивное, такое душистое, женственное. Старинную кружевную шаль мне подарил Бен; я венчалась, закутанная в эти кружева. Много лет спустя, в Новосибирске, знаменитая театральная портниха ленинградка Манэ сделала мне из нее замечательное концертное платье. Я пела в нем всего три раза! Оно было волшебно-красиво и очень мне шло... Купила его у меня за две тысячи рублей некая Мария Аб-

рамовна Еланская, узнавшая о платье в ВГКО, где я всем его показывала, решив продать последнее, что осталось... Она красивая женщина, с белыми, как кипень, зубами. Она сказала мне:

— Почему у вас нет денег?! Вы не смеете голодать! Я устрою вам деньги — большие, в два счета. Идет?

Я сказала:

— Я не согласна только на предательство (то есть стукачкой не стану). На все остальное я согласна. Мне надо кормить детей, и я не хочу сдыхать. Идет.

В субботу она была у меня в гостях с двумя мужчинами: «эlegantные», в кавычках, циничные внутри, это ощущается. Одного из них зовут А. И. Орьев. Они привезли десятка три пирожных, гору мандаринов, прекрасное вино — забытые яства в моем доме. Я пела. В четверг меня запишут на грамзаписи — это обещала Мария Абрамовна. Интересно, что еще она мне устроит?!

Жду посылки от Бена; он написал, что pošлет продукты к Рождеству и одежду Ванюшечке. Ангел. Мама с папой пишут ласковые, трогательные письма, прислали фасоли, лапши, яблок. Ангелы.

Зима теплая, снежок валит легкий, пухлый. Люди чуточку веселее стали — новой войны как будто и вправду не будет, и вот уже январь, а на рынке продукты подорожали совсем ненамного.

20 января

О, родное плечо тетради моей, плечо, на котором не стыдно «выплакаться»... Денег опять уже нет. Последние рубли дала я Марии Орестовне Тизенгаузен — ведь Наталья Ивановна Подгорная (Любавина) умирает. Мама нежно и преданно неотступно при ней. Все продает... Я взяла у нее колечко как память о Наталье Ивановне, и дала ей все, что у меня было из еды и денег. Приходила друг Бориса Пронина — Эмилия Васильевна Боровая, старушка, в прошлом поразительная красавица. У нее внук, одиннадцатилетний мальчик, утонул в эвакуации, и она с тех пор немного «не в себе». Нуждается страшно, о бедная! Дала ей немного. И еще Цаплин попросил у меня денег! Перед Новым годом сказал, что нет ни копейки! И я дала ему... Он обещал отдать. Пока не отдал. С заготовками, которые я шью, перерыв опять. Нет материи, не из чего шить... А детей надо кормить ведь каждый день. Они так быстро худеют и бледнеют, птенцы мои. Еще одно очередное огорчение: сегодня меня должны были записывать на грамзаписи, звонили, что откладываются. Все с завтра на послезавтра — вот уже две недели...

Я познакомила Пэгги с Ритой Райт — они теперь подруги. Я не люблю плохо говорить о людях. Не оттого, что я не вижу, какие они, а оттого, что мне приятнее говорить о людях хорошо, — вот я и доставляю себе это удовольствие.

Мне вчера снился сон, будто я цепляюсь за крышу, она пока-тая, передо мной личики Алены с Ваней, а внизу в бездне — море,

и вот наступает тот миг, когда я чувствую, что не могу уже удержаться, и падаю вниз. Это ощущение, что все кончено, глубоко мною осознано, не «по-сонному», а совершенно реально. Испуг, и тоска, и странное чувство облегчения, что я отдохну. Смерть. Но я падаю на песок, вода заливает ноги, под ногами каменные плиты, они ведут к маленькому маяку, кругом море-океан, серый день, безграничное пространство воды и чувство широкого простора и покоя. Я иду к маяку. Оттуда навстречу мне выходит женщина — вся в белом... Я проснулась, сознавая, что я не погибла! Спаси меня и моих детей, Господи. Ты спасаешь меня каждый день, ведь я перелетаю с трапедии на трапедии под самым куполом, в этом цирке жизни. Дай мне отдохнуть на какое-то время. Порадоваться на детей спокойно, что вот каждый день они накормлены досыта. Может, тогда я набралась бы сил и смогла, сумела бы заработать! Если б только отдохнуть!

24 января

Я все вспоминаю Бабушку. Вчера мне звонила еще одна из моих любимых старушек. Я всю жизнь относилась к старушкам с нежностью. Моя Бабушка была чудесной, обаятельной старушкой! Хотя я не вспоминаю ее как «старушку», а вот ту, кисловодскую Бабушку, высокую, стройную, не седую (она поседела уже к восьми-десяти годам). Она выращивала особые кусты роз: с одной стороны лепесток бледно-желтый, с другой — розовый, или крупные белоснежные розы, или розы лимонного цвета с божественным запахом... и мои любимые маленькие чайные розы. Домик Бабушки в Кисловодске белый, с большой застекленной верандой, а с другой стороны балкон; за домом сад, где скалы и дремучие заросли яблонь. Весной цвели все эти яблони, вишни, груши, боярышник... Мы с Юрой обожали Бабушку и Верочку. Куры были белоснежные, несли большие розовые яйца. Бабушка разговаривала с курами, и мы видели, что они понимают Бабушку и по-своему тоже разговаривают с ней. А церемониал с выводкой цыплят! Корзинка с желтенькими крохотулями, принакрытая теплой шалью. Бабушкина нежность ко всему живому, к зверям, цветам, ее участие и помощь обездоленным, несчастным. Бедная Арина с пятью детьми иногда заходила «наведаться», и Бабушка откладывала в сторону то курточку, из которой немного вырос Юра, то платице мое, то банку варенья, то курицу — «это Арине, ведь пятеро у нее». Сиротка чувашская девочка, руками Бабушки омытая, одетая, наученная грамоте и определенная в школу. Она долго жила у Бабушки. Отставной солдат — безногий старик на деревянной «ковьялке» — он тоже жил у Бабушки. Горький пьяница. Бабушка жалела его и кормила, он жил у нее внизу, в нижней кухне. «Работать бедный, не может, отвоевался, а что пьет, так это не порок, а мучительная болезнь», — строго говорила Бабушка. А Иван Иванович, капитан в отставке, старик, Бабушкин поклонник в дни юности и преданней-

ший друг на всю жизнь. Он с благоговением говорил о ней нам, детям, и рассказывал, как она спасала раненых в турецкую войну. У Бабушки был за ту войну Георгиевский крест, лежал он в красного дерева шкатулочке. Я берегу этот орден и повязку с красным крестом. Она по-церковному религиозна не была, но была религиозна по-своему. Часто перечитывала Ренана. Двоюродным братом Бабушке приходился поэт Языков. Она сама в молодости писала стихи. Страстно любила лошадей и наездницей была замечательной. Помню, ее амазонка из зеленого тонкого сукна хранилась в сундуке как память о далеких днях молодости. Делала сама все. Не только по дому и саду, но мостовую перед домом сама чинила, и дом снаружи сама красила, и крышу чинила. Только печь не умела ремонтировать. «На это надо особый нюх иметь», — говорила она. А как она готовила! Грузинские блюда с травками, с шафраном, с мускатным орехом. Разные крошечные пирожки, кулебяки с вязигой и цыплятами, торты, куличи, наливки!.. И ослепительная чистота и уют ее домика. Вечерами она читала нам Диккенса, Гоголя, Немировича-Данченко. Читала замечательно и вместе с нами переживала драмы книжных героев. Мы были отчаянные шалуны, но «наказывала» Бабушка только злые поступки. «Не делай зла никому и никогда» — вот был ее девиз. Любила у себя гостей принять. Но сама в гости ходила редко. Гордая была, ух! Королева по осанке, когда, бывало, мы шли с ней в кисловодский парк или еще куда. Так живо вспоминается мне все, связанное с ней. Друзья многих лет, преданные, нежно любившие ее: архитектор Апышков, академик Владимир Андреевич Стеклов, физик-математик, женатый на Бабушкиной племяннице Ольге Косякиной. Доктор Житков, капитан Иван Иванович... Доктор Житков играл Шопена так, как я не слышала уже больше. Играл Шопена и молодого, новатора тогда — Скрябина. «Лунная» музыка, «неземная». А мама играла по-земному: от яблонь, от сада, от красоты своей, тогда роскошной; она сама была как розовая роза, элегантная, шелестящая, душистая. Вечера над Кисловодском, темное небо, сиявшее звездами, далекая музыка из курзала, дремотно-ночной аромат табака, вербены. Верочка больше всего любила запах вербены... Верочка, моя тетка, добрая и мудрая, старшая дочь Бабушки, самая моя любимая. Верочка и Бабушка. Я не знаю, кто из них был лучше и кого я больше любила. Но я любила их обеих гораздо больше, чем свою мать.

Я начала писать о той старушке, Екатерине Васильевне Копосовой, что звонила мне вчера, но отвлеклась воспоминаниями о Бабушке... с которой эта старушка тоже связана. Ее муж, Владимир Владимирович Держановский, музыкальный критик, был поклонником мамы, ее пения, ее игры на рояле. Екатерина Васильевна Копосова в прошлом замечательная певица. Она пела недолго в опере Мамонтова. С Шаляпиным, с Забелой-Врубель. На стене ее комнаты среди других фотографий и портретов висел ее собственный портрет — она в роли Травиаты. Молоденькая, с живыми чер-

ными глазами, очень изящная, своеобразная. Композитор Мясковский Николай Яковлевич, который всю жизнь бывал у них по четвергам и воскресеньям и сейчас бывает, говорил мне как-то о ней: «Такого голоса и точного слуха, такой тонкости исполнения я никогда уже больше не слышал. Она пела то, чего никто не пел ни до нее, ни после,— труднейшие романсы Дебюсси, Стравинского, юного Прокофьева. И как пела!» Но пела она очень недолго. Почему она перестала петь в расцвете сил, молодости, таланта? Не знаю. И, кроме нее самой, не знает, по-моему, никто. Сережу Прокофьева «вывел в люди» Владимир Владимирович Держановский. Я помню Держановского уже старичком с длинной бородой, с острыми глазами и злым языком. Ко мне они оба относились с нежностью, после того как я им пела в Абрамцеве, хотя этим искусственным знатокам я пела простые мои песни. Екатерина Васильевна постоянно мне твердила: «Не надо вам учиться! Идите прямо на сцену. Вас сцена научит всему, что вам нужно. А будете у учителей учиться — только испортят голос». Так оно и случилось... Я не послушалась ее. Цаплин говорил мрачно: «Учиться надо! Нельзя так». Я и стала «учиться». И никогда уже то, что я умела бессознательно делать, не вернулось — то дивное пианиссимо на верхнем *соль* и выше... и любимая нота моя — *ре* среднего регистра. После четырех месяцев занятий с некой Зинаидой Вацлавной Афанасьевой я перестала петь совсем, я не могла даже этого любимого прежде *ре* взять! Только с помощью Кунина вернулось что-то. Кунин помог. Милый, одержимый вокалом старик.

Екатерина Васильевна Копосова-Держановская старая стала. Бедная как мышь. Умер Владимир Владимирович еще в первый год войны от недоедания. Она живет тем, что продает последнее, переписывает на заказ ноты, помогают ей, как могут, Прокофьев и Мясковский. У Сергея Прокофьева новая жена Мира. Екатерина Васильевна о ней очень хорошо отзывается. Он разошелся с Линой Ивановной, которую многие считают вздорной. У нее двое сыновей от него, красивые, хорошие мальчики.

Плохо старым в нашей стране. И слабым. Пожалуй, особенно в этом послевоенном году...

14 января

Вернулась с рынка. Вымолила у Цаплина отдать мне хоть пятьдесят рублей. Он говорит, что у него нет денег. Возможно, что и действительно нет. Швырнул мне все-таки эту пятидесятирублевку. Я потащилась на рынок. Слабая стала. Я ведь сейчас хлеба не получаю, так как мне не дали хлебной карточки. Дети получают по триста граммов, им все время хочется хлеба! Погода угрюмая, снежная, мерзлая крупа падает с неба, как ледяные слезы, ветер. На рынке народу мало, злые все. Только молочницы, мясники и огородники толстые, сытые. А мы, городские, дохлые. Стонут люди: картошка сегодня вдруг подскочила — пятнадцать рублей кило!

Я купила кости — на тридцать рублей (пятьдесят рублей кило...), пачку папирос за четыре рубля (покуришь — и не так голодно...) и пять кусков сахара по рублю за кусок. Осталось одиннадцать рублей, мечтала о хлебе, но даже маленькие куски дороже. Так и ушла, эти одиннадцать рублей — на завтра... Рядом со мной покупала мясо дама, хорошо одетая, и еще женщина простая, в платке. Одна другой сказала:

— Не доживем до весны, ох, подождем... Заработка ведь и на неделю не хватает. А продали с себя уже все...

Люди торгуют парой сухарей, кусочками сахара, горстями крупы. Зеленые все под этим серым небом, лиловые и злые! Каждый день голодные ободранные дети стучат в мою дверь — нищие.

— Тетенька, подайте, ради Бога.

И я ухитряюсь что-то дать! Не хлеба, нет. Но какую-то кашу оставшуюся, тарелку супа или что-либо из одежды старой. Я не могу не дать, как будто нарочно, вот нарочно хоть я одна дам, коли никто другой не дает. Именно наперекор этому «страшному миру». И слова говорю участливые, ибо по себе знаю, что теплое слово — это тоже помощь.

Была поздно вечером у Нонны Агаповой. Она всей душой хочет помочь мне, но, Господи, ну кто может помочь? Пришел Борис Агапов, обещал позвонить завтра Кеменову насчет работы в ВОКСе. Мария Абрамовна Еланская звонила, зовет после грамзаписи ночевать у нее, чтобы «поговорить о делах». Я согласилась. Какая кривая вывезет меня? Мне даже и неинтересно, в общем. Устала. А эта красивая Мария Абрамовна похожа на щуку — у нее хищное лицо и великолепные, но злобные зубы. Все твердит мне про каких-то «генералов»!

С этой Марией Абрамовной и двумя ее знакомыми поехали к ней. У нее маленькая, но чистая и даже изящная комната. Она моментально накрыла на стол — прекрасная посуда, серебро, хрусталь, скатерть. Я поразилась обилию еды. Ей хорошо живется, а «сытый голодного не понимает». Как я объясню ей, что мне ничего не интересно, кроме еды для детей. Вчера эта Мария Абрамовна звонила, звала опять, но я не пошла, даже возможность поесть у нее меня не прельстила. Во всяком случае, думаю, она скоро сама поймет, что я «скучная дама». И отстанет. Пошлость в ней отталкивающая. И лживая она вся. Скучно мне. Сделала всего четыре заготовки. Спать хочется... Борис Николаевич, наверное, опять «забыл» позвонить Кеменову.

21 января

Нет, Борис Агапов звонил Кеменову, но тот сказал, что они сокращают штат и не принимают новых сотрудников... И это не вышло.

Кажется, чудо произошло. Вчера мне звонила Лиля Юрьевна.
— Ну как вы?

Я правдиво ответила, что мне плохо, что я поняла, что мне не вытянуть, что Алену я отправлю на поправку к бабушке с бабушкой, а если что случится со мной, то и Ванюшу туда отправят. А меня, конечно, отвезут весной на погост, ибо я окончательно устала, а главное — поняла, что не вытяну, и потому даже уже и примирилась с концом, отношусь к нему без пафоса. Лиля тихо ужаснулась. Я действительно стала равнодушной от усталости. Что касается Марии Абрамовны с ее предложениями разных генералов-любовников, то меня все дни от этого тошнило. И не от морали вовсе, а вот будто цвет какой-то вокруг стал мутно-говяжий. Бр... Через десять минут Лилечка позвонила снова:

— У меня сидит композитор Майзель с женой-художницей Алисой Порет. Им до зарезу нужна комната. Сдайте им детскую, Алена уедет, а Ванюшу вы возьмите к себе в свою комнату. Это выход: тысяча рублей в месяц. У Майзелей остается хлеб — они будут вам его отдавать. И масса продуктов — композиторов хорошо снабжают. Они очень хорошо зарабатывают. Сейчас они у меня. Если вы согласны, я передаю ему трубку.

Я сказала:

— Да, согласна.

С Майзелем условились, что они придут сегодня в пять часов посмотреть комнату и договориться. Они пришли сегодня. Берут комнату. Прописывать их не нужно. Сказали, что через день (кроме тысячи рублей в месяц) будут давать по полбуханке хлеба, и картошки много у них остается. Мяса у них по восемнадцать кило в месяц — дадут и мяса. Мы будем сыты. Я отдохну. Они хотят переехать 1 февраля. Во всяком случае, я не сдохну с голоду — к чему я была уже готова... Только бы Цаплин не встал на дыбы! Надо суметь с ним согласовать. Они мне понравились. Она немножко слишком говорлива. А он тихий, его отец физик Майзели. Интересно, какой он музыкант, этот композитор? У них есть радио — слушают весь мир. Попросили разрешения принимать гостей — я разрешила. Разрешила пользоваться роялем. Он его настроит. И, может быть, он сделает аранжировку моих песен... Господь Бог сотворил чудо. И Лиля — один из его сподручных архангелов. Лилечка дорогая! Она без сентиментов, без лишних слов — спасает по-земному. Именно вот так, по-земному, она, наверное, и Маяковского не раз спасала. А «по-душевному» и говорить нечего.

Вечером пришел Майкл. Принес большой белый багон! Сказал:

— Татьяна Ивановна, если б у меня было три миллиона, я бы один миллион отдал вам.

— Почему?

— Так ведь нас трое: вы, я и Клава.

Сидели мы долго, он мне много о себе рассказывал.

— Я вам рассказываю то, что никому в жизни не говорил и Клавде никогда не расскажу. Только вам.

В общем, он славный человек.

24 января

Забегала Мария Абрамовна Еланская. В ней лихость и жизнелюбие. Она чувствует, что я человек другого мира и, по ее понятию, мира «высокого». Сама-то прошла огонь, и воду, и медные трубы. Вульгарна и цинична. Но она еврейка, а в евреях сильнее, чем в других, живет любовь и уважение ко всему прекрасному и высокому, какие бы они сами ни были. Она сидела у меня, выхоленная, сытая, нарядная. В ней ни намек на артистичность. Она очень некультурна, хотя и повидала мир, рассказывает, что жила в Нью-Йорке. Когда она говорит о муже, которого сослали в тридцать седьмом году, у нее на глазах слезы, она их быстро вытирает, хохочет. Две ее девочки теперь живут у бабушки. А Мария Абрамовна добывает деньги. И ясно — как! Телом. В ней что-то темное, неприятное, непонятное... Когда в мою комнату вбежал Ванюша и бросился ко мне, она вдруг заплакала и сквозь слезы говорит:

— Но у меня ведь тоже дети! Чего не сделаешь для них! Вы простите меня, простите!

Майзелю еще не переехали. Сегодня встретила одного ленинградского пианиста, который сказал, что Борис Майзель — милейший человек и талантливый композитор. Там видно будет. Мне они понравились. И для меня их переезд — спасение.

Утром в восемь часов умерла моя чудесная Наталья Ивановна Подгорная. Она не страдала, умерла во сне. Бедная Мария Орестовна! Как она осиротела... Завтра Наталью Ивановну будут хоронить. Но я не поеду, я не хочу видеть ее мертвой, на себя непохожей. Она останется для меня красивой величественной старой дамой — актрисой. В ней была жизнерадостность, мудрая доброта, непреклонность. Высокая культура тех прошлых лет, которая создавала вот таких людей, как она. Красивым и счастливым человеком была она. В «Саломее» Оскара Уайльда в Камерном театре она играла Иродиаду...

26 января

Цаплин сказал, что он не желает, чтобы Майзели жили у нас. Звонил Лиле Юрьевне и отказал им. Я так замучена, что молчу. Будь что будет. Алена молит, чтоб ее отправили к бабушке с дедушкой.

Провела гнуснейший вечер у Марии Абрамовны, из коего вышла неопалимой. Было как в зоопарке. Уныло-наглые, скучные

«генераль». Больше в этот зоопарк я не пойду. Лучше помру с чистым сердцем, чем эта грязь. Бр... Она убеждала меня принимать иностранцев. По неуловимым признакам я поняла, что никогда в США она не была.

Майзели не сдаются. Сегодня ходили в мастерскую к Цаплину умолять, чтоб он разрешил им переехать. Цаплин сказал:

— Нет! Она (я) должна научиться работать! Пусть мальчика отвезет обратно. А Алена сыта — я ее кормлю. А она (я) пусть работать научиться!

Они говорили, что у них безвыходное положение, что им негде жить, а у меня тоже безвыходное, но Цаплин ни за что. Лиля сказала, что повлияет на него.

А Ваник написал «Лунный камень» — рассказ. Ваня решил писать стихи, вчера написал (восторг вдохновения! глаза сияли!): «Баллада об усталом машинисте» и сказал мне сегодня: «Посвящается Киске», — так и написал на первой странице, а потом пришел на кухню и торжественно и взволнованно спросил меня:

— Мама, теперь я настоящий любовник!!!

Я бровью не моргнула и сказала спокойно:

— Ну конечно. Это было очень любезно с твоей стороны.

Киска по телефону сказала ему недавно, что влюблена в него, о чем он мне спокойно, мимоходом сказал:

— Знаешь, я пойду в футбол играть; звонила Киска, что Рита заболела, и Киска еще сказала, что влюблена в меня. Мамочка, ты Люля, ни за что не надену калоши — ни за что!

Сам Цаплин все стонет, хватается за голову:

— О, хаос, хаос! — Кричит вдруг: — Стыдно вам, Татьяна Ивановна, меня обвинять!

А я молчу. Я же знаю, что никакие слова не помогут. На днях он страшно напугал Алену и нас, сказал, что умирает, лег, потребовал термометр, температура оказалась нормальная, он встал и пошел в мастерскую. На другой день пошел к доктору, тот прописал валерьяновые капли с ландышевыми. Цаплин их старательно пьет. Сам мучается...

Майзели сказали, что скульптуры его замечательные. Да, он очень талантлив. Зверей его я очень любила, птицы, рыбы у него прекрасны. И мандрилл, и голова тигра. Но я все не могу сообразить, как это случилось, что я и он — вместе. Все эти годы никак не могу сообразить. Странно бывает в жизни. Не чувствую, что мое «умирание» трагично. Только я ошиблась, мне все казалось, что я умру после очень счастливого, очень блестящего чего-то. А этого так и не было. Пишу наивные стихи, обожаю детей своих и за них мучительно страдаю; молчу с Цаплиным — от равнодушия к нему и к тому, что он все равно сильнее меня; и шью заготовки для дамских босоножек. Очень многие мои «друзья», как крысы с корабля, от меня ушли. Но жизнь, но Бог — каждый день; нет — увы, увы, — не каждый! Но порой кидает мне мостик через пропасть. Крыша еще не совсем ускользнула из-под рук моих, как тогда, во

сне. Но «работать» в том смысле, которого Цаплин требует от меня, — я действительно не могу. Не то что не хочу, а не могу. Я это всегда понимала в других, таких, например, как Тихон Чурилин, Бронислава Иосифовна и, думаю, Лиля Брик, — она тоже не смогла бы. А люди остальные ужасно на таких сердятся, просто ненавидят их и презирают. Тихон Чурилин мог только писать стихи, Борис Пронин мог только блестяще рассказывать и душевно согревать людей, Лиля может быть неповторимой Лилей Брик, и какое счастье, как ей повезло, что она имеет возможность питаться и одеваться. Но «работать» — иными словами, делать что-то нелюбимое, — они не могут. Не потому что они ленивы, наоборот, это абсолютно неленивые люди, они страстно живые и вовсе не «баре». Просто если они не могут существовать тем, к чему они всецело приспособлены (писать стихи, как, например, Тихон), они умирают. Не пойму, за что же на них сердятся?! Ведь они даже и не жалуются и никому не надоедают. А их ненавидят за это. Я, когда встретила Цаплина и он так беден был, — ведь не сказала ему, чтобы он перестал быть скульптором (ибо этим он не делал деньги), а стал бы сапожником, чтобы зарабатывать. Я просто поделилась с ним всем, что имела, он свободно вздохнул и сделал свои лучшие скульптуры именно в Кассис сюр-мере и на Майорке. А ели и жили мы на мои деньги, то есть на деньги, которые посылал мне Бен. А Бен считал, что это его счастье — мочь присылать мне деньги и этим помогать. И действительно, для него горем было бы, если б я отказала ему, не взяла бы у него денег. Так что все правильно.

29 января

Ванюша сказал:

— Ну, посиди около! Я без тебя не могу, мне так весело, когда ты около. В школе мне грустно, что тебя там нет. Я без тебя совсем не могу обойтись.

Он, конечно, преувеличил, но ужасно они оба со мной нежны, маленькие мои. Алена умоляет уехать:

— Если я останусь около папы, мама, мне капут...

Нет, конечно, если ей лучше — пусть едет, моя птичка любимая. Но мы будем тосковать друг о друге. Все разбито. Я не могу собраться с силами и «воскреснуть» внутренне. Наглухо запертый комод Цаплина битком набит продуктами...

2 февраля

Вчера вдруг неожиданно пришла Мария Дмитриевна Бродская — мать физика Володи, принесла немного перловой крупы. Так тронула меня, милая. Она пережила ленинградскую блокаду и понимает. Сегодня прибежала Нонна, сунула мне сорок рублей — так просто! Пришла Пэгги, принесла несколько картошек. Вечером пришли Майзели с Риной Зеленой и мужем ее — архитектором

Котэ, принесли хлеба, шоколад и конфетки. На душе сразу теплее, спасибо им всем. Майкл неожиданно днем забежал — принес хлеба и английскую книгу почитать. Он стал бедный какой-то. И зубы не сверкают, как в прошлом году. Майзели потребовали от меня петь. Полный восторг. Хвалили. Я стала как мощи. Но петь — это жить.

11 февраля

Неописуемая неделя. Забота, чем завтра накормить Ванюшу. Алена решила ехать к старикам, умоляла дать ей тысячу рублей на поездку, Цаплин — ни за что, кинулся на нее, чуть не избил...

Она прячет для нас свой сахар.

И вдруг в меня влили живой воды. Майзели это сделали: есть предложение показаться на радио и грамзапись. Миша Сидрер — «цыганский брат» (он ведь жил с цыганами) пошел к цыганам, и на грамзаписи будут аккомпанировать мне Поляков и Ром-Лебедев из Цыганского театра. Володя Сазонов сейчас в Челябинске, не то я, конечно, пела бы с ним. Говорят, Поляков замечательный гитарист. Это будет как с Мининым и Кремататом, наверное. Еще репетиции не было. Но я уже от этой вести ожила! Вчера пела у Никитиных. Кормили. Там была Нина Дорлиак, мила и изящна. Говорила мне восхищенные слова.

21 февраля

Я так ослабела от голода, что еле-еле ноги волочила, спала поминутно. Ванечка похудел, побледнел. А я и есть уже не могла — хоть маленький, да ему кусочек сунуть! Самое страшное — это все-таки голод.

Это стихи Надежды Павлович. Маруся Тихонова прочитала их словно обо мне в 1941 году, апрель — май в Ленинграде. Прекрасные!

Узнаешь ты, нехотя, горькую цену
Последней копейке, сырому полену,
Изорванным платьям твоим.
Но в комнате пыльной, как птицы ручные,
Останутся песни, а счеты земные,
Что счеты докучные им!
Но хлебом немилым не кормит чужбина,
Взойдешь ты без брата, без мужа, без сына,
В чужие и злые дома.
Чужою и дикой пройдешь меж чужими,
И кличкой покажется прежнее имя.
Ты смерти запросишь сама.
Не будешь богатой. Не будешь счастливой.
Но будешь любима ты музой ревнивой.
Соперниц не терпит она.

22 февраля

Два дня как едим, удалось продать еще платье, сшила кое-что. И купила опять полкило костей — до 1 марта по косточке на день. Украла у Цаплина полстакана риса и стакан муки. Купила пять стаканов гречневой крупы. Наташа Столярова неожиданно приехала из Кустаная и принесла мне пять кило картошки! С цыганами-гитаристами репетировала вяло, но подружилась с Ром-Лебедевым. Он красивый и очень приятно поет под гитару.

Вдруг как снег на голову пришли новоприехавшие друзья Элизабет — Артур Янсен и Барбара, элегантнейшие, сытнейшие. Я предложила выменять мою икону, ту старинную, из мамонтовой кости — на сахар, масло и овсянку. Между ними чуть не ссора вышла — каждый себе тянул мою икону, она им бешено понравилась. Обещали принести всяческое питание во вторник, двадцать пятого. Интересно, сколько они принесут. Умоляли выменять на еду мои испанские серьги, те, что с аметистами. Он — из голландского посольства, она — американка. У него в манерах и глазах, несмотря на блестящую внешность, есть что-то от жулика. Она красива, как цветок, как темно-лиловая бархатная фиалка. Они до такой степени из «другого мира», что показались мне марсианами. Обещали массу еды!

25 февраля

Мы репетировали с Ром-Лебедевым. Музыковеды Л. Лебединский и В. Гиппиус должны слушать нас на предмет грамзаписи (в фольклорной секции при Академии наук). Были гитаристы: Ром, Мелешко и Русанов. Пришли Майзели и была Наташа Столярова. Я знаю, что многие дорого бы дали, чтобы быть вот на таком «балу». Мелешко с Русановым великолепно играли гитарные дуэты, хроматично и футуристично. Ром — цыганский король — лениво и невозмутимо полулежал на диване с крохотной гитарой в руках. В нем естественность, простота и меланхоличность. Поет очень музыкально, и, когда поет, лицо его делается строгим и печальным. Аккомпанирует мне он чутко.

Художница-ленинградка Алиса Порет нарисовала меня в своей книжке: я в зеленом (от Бена) платье, с гитарой в руках, за столиком, на котором бутылка вермута и мои допетровские зеленые бокалы. Я стала любить алкоголь... Мне делается тепло и весело. В старости я, наверное, буду «выпивать»... Мы вчера с Ром-Лебедевым попробовали петь дуэтом «Снова слышу» — хорошо получается. Хорошо бы сделать два-три дуэта, но просить его об этом я не буду. Чудо уже в том, что он приходит, и сам хочет аккомпанировать, и сам звонит чуть не ежедневно мне. Ведь я за репетиции ничем не плачу, а наличная польза от грамзаписи весьма проблематична. Я люблю гитаристов за гитару и как человек. Оче-

видно, они это чувствуют. Гости мои приносят с собой хлеб, сахар, иной раз винишко или что-то еще...

Вечером пришел Майкл с гитарой, мрачно посмотрел на гитару Рома, которая висит у меня на стенке,— там три гитары подряд висят: мои две и ромовская. Играл мне. Конечно, он играет лучше всех. У него темная, бархатная игра, глуховатая и звучная, именно гитарная.

Марсиане, взяв жадными руками икону, замечательную, уникальную, обещали вернуться, и я все время думала, что они принесут. Они пришли снова вдвоем. Тяжелейший чемодан! Из него мы — я, Ваня, Алена — вынули груды еды! Три кило масла, пачки сахара, мясо в консервах, шоколад, крупы и даже банка меду, как нектар, — мед из цветов апельсина... Бог кинул мне с неба не мостик, а солидный прочный мост! Они были какие-то скованные, им было неловко. А мне нет: я искренно сияла. Они скоро ушли, сказав:

— Это не все. Мы придем в следующий вторник.

Дети не спали (я их понимаю), и, когда те ушли, мы вместе, «триом» (так Ванюша написал в своих стихах: «Мы жили триом: я, сестра и дорогая наша мать»), начали рассматривать и есть, испытывая счастье. Пришла поздно Наташа Столярова, мы и ее накормили тоже. Легли все спать радостные, сытые. Нет, моя жизнь — фантастика!.. Еще они принесли бутылку коньяку и вермут. Икону он взял себе, но серьги подарил ей.

Я спросила, у кого ж из них икона, и он самодовольно ответил:

— Икона, конечно, моя.

А она потупилась грустно. Они люди из другого мира: от сытости какая у них кожа! Как они одеты! Икону мне подарила Маруся Тихонова — дивная старая поморская икона... А серьгам двести лет... Испания. Если б не дети, не отдала бы ничего этим «марсианам».

27 февраля

Всего два с половиной дня как мы едим, а Ваня уже стал розовым, Алена успокоилась, а я блаженно обленилась. Не шью, не вяжу, а чищу квартиру и ищу в своих нотах дуэты. Рука нужды, что держала меня за горло, отпустила на срок.

Была у певицы Екатерины Васильевны Держановской (по сцене — Копосовой). Старость иногда уродует женщин. Она вся высохшая, морщинистая, только глаза живут. Много интересного рассказывала о Сереже Прокофьеве и о Николае Яковлевиче Мясковском. Прокофьев сейчас счастлив с новой женой Мирой — она умная, хорошая, любит его. Лина Ивановна живет отдельно, он дает ей пять тысяч рублей в месяц, она ни за что никогда не даст ему развода. Лина вздорная, но была красавицей и певицей. Сыновей Прокофьев не видит, Лина запретила. Мясковский стал совсем «человеком в футляре» (по-моему, он всю жизнь им был, и,

возможно прав Сидрер, что «музыка его елейна и скучна»). Держановская сказала о Цаплине:

— Он очень талантлив, но попал в неудачное время. Именно оттого, что он был таким ярким, вокруг него выросла глухая стена, которую ничто не может пробить. А наше теперешнее время, Таня,— против вас, оно вообще против всякого искусства!..

По дороге к ней я думала о том, как много у нас талантливейших людей, которые гибнут зазря. Страна у нас большая...

Ром не пришел, вечером позвонил, что боится надоест — поэтому не пришел. Люди — чудаки. Как грустно, что никто со мной не совпадает. Мне именно сегодня так хотелось, чтобы он пришел, и мы поехали бы. Мне нравится, как он лениво поет и вдруг на какой-то ноте весь встрепенется. Придет завтра. Счастье — досыта кормить детей. Глядеть, как они едят вкусное, полезное, витаминное. Это наслаждение и духовное и физическое. Наташу Столярову я кормила тоже, испытывая огромное удовольствие! Она уехала сейчас опять, моя бедная... Понеслась в Нальчик. «Хочу быть в красоте, пусть хоть и голодно и одиноко, но в красоте!» Я ее понимаю. Десять лет ни за что ни про что пробыла в ссылке в Караганде. Мне хорошо с ней вместе. Вот жила б она у меня, работала бы, помогала бы мне по дому. Но нет, ей запрещено жить в Москве. Дети очень ее полюбили. Ну, почему вот так ей жить нельзя?! Ведь она же ни в чем не виновата!

2 марта

Апрель меня пугает. Даю уроки английского языка. Учю Рома английскому за пятнадцать рублей за урок. Держусь с ним в тисках полного публичного одиночества. Ему сорок три года, но выглядит он моложе. Прелестно пел мне сегодня, выразительно, томно глядя на меня цыганскими своими глазами.

6 апреля

От масла и всяческой еды, которую снова принес мне «марсианин», знакомый Элизабет, я стала наливаться гормонами. Оживаю.

Майзели взяли да и переехали ко мне. Сказали Цаплину, что на несколько дней, umasлив Цаплина деньгами.

Вчера, по выражению Алисы, был «балик», но народу было слишком много: театральный художник Володя Дмитриев со своей возлюбленной Мусей Малаховской, Иван Иваныч Ром-Лебедев, Майкл, Ритка Райт и Кирилл Кнорре. Муся такая красивая, что на нее радостно смотреть. Она и Володя Дмитриев бешено друг в друга влюблены. Очень мил этот Володя и талантлив. Муся — сестра Ирины Щеголевой, что замужем за Натаном Альтманом. Обе сестры — красавицы, только Муся мягче, светлее. Ее му-

жем был художник Малаховский, но его, бедного, сослали еще в тридцать седьмом году... Главное — гитара. Опять эти глухие звуки...

20 апреля

Цаплин перестал грозить мне, что себе оставит Алену, а меня с Ванюшей прогонит из дому. Вчера он открыл щель в дверях своей комнаты, когда я пела, и слушал... Мне было приятно, и я пела всем существом своим от счастья, что Майзели и Лиля спасли меня, а главное, детей, и что Цап примирился с присутствием Майзелей. Они живут в моей комнате. Я сплю на раскладушке на кухне, которая ночами похожа на «будуар»... Я шью что-то Алене. Дети повеселели, учатся отлично. На днях Ванюша сказал, что в школу приехал кинорежиссер и велел передать мне, что просит Ваню на съемку кинофильма «Красный галстук». Его единственного в школе выбрали на роль главного героя, но еще будут его «пробовать». Вот адрес и телефон. Я позвонила режиссеру, и Ваня назавтра поехал сам в киностудию. А через день-два я тоже поехала туда для разговора с главным. Мне показали альбом с фотографиями многих мальчиков. Когда я добралась до фото Вани, я обомлела — до того он красив! Ваню и выбрали окончательно на отрицательную главную роль, а положительный герой — русский славный мальчишка! Первый — избалованный, капризный и дерзкий отпрыск «интеллигентов», а второй — неизбалованный, уравновешенный, сын сапожника. Но Ваня не хочет играть в кино, а требует ехать на лето к бабушке с дедом. «Ведь я обещал им!» — заявил он мне, и ни в какую. А условия предлагают блестящие, берут и меня! Но я, конечно, покорила Ванюше.

Я пошла в Цыганский театр смотреть «Грушеньку» — ничего не сказав Рому. Он играет князя. Когда князь стремительно вышел на сцену, это был не ленивый Ром, полулежащий на диване. Красавец. Князь! Интонации, жесты, ни одной фальшивой ноты ни в чем. А как Грушенька хороша, играет ее молодая цыганка Михайлова: угловатые движения, страстный голос, волосы! — как воронье крыло, блестящие, гладкие! А как поет! «Море воеет, море стонет, и во мраке одинок...» Она трогательно искренна. Я сидела и радовалась. Гитар много. Старые цыганки поют, как прежде пели, — чудесно. А главное — спектакль волнует. А у нас это до такой степени изгнано из всех других театров. Всюду скучно, поэтому я так редко бываю и обычно ухожу после первого акта, — жаль минут, зря потраченных. Но вчера на «Грушеньке» я сидела и радовалась. Красавица Натали Разумовская — подруга Алисы — была со мной и побежала за кулисы к Рому. Я не пошла. Но когда вернулась домой — он позвонил. Я сказала, что все хорошо, только зачем скрипки в конце, перед гибелью Грушеньки?! О чем думает их режиссер? Тут же гитары должны! Гитары, а вовсе не скрипки. Он согласился. Вчера он смешал вино в наших бокалах. Он сказал:

— Есть цыганская примета: смешаешь вино — мысли смешаются.— Мы чокнулись, и он сказал:— Мэк! — что по-цыгански значит «пусть» или «пусть будет».

Но пусть мы будем лишь петь дуэты, ибо песни и детей я вправду люблю больше всего на свете.

12 апреля

У нас живут Майзели. Они кормят меня и Ванюшу. Борис пишет оперу «Маяковский». Играет по вечерам на рояле. Миляга. Алиса — Фея ремонта, починила мне шубу, добра ко мне. Ее не любят за острый язык, она над всем насмехается, но никогда надо мной. Я считаю рассказы ее талантливым, своеобразным творчеством. И мне очень нравятся ее натюрморты. Мне уютно с ней. Дети ее полюбили. Аленка учится изо всех сил. Ваник худенький, но учится отлично; оба так нежны со мной. Люди спасли меня. Если б не люди зимой этой, я бы уже умирала от безденежья и голода. Господи, благодарю тебя — за последний месяц я отдохнула, посиленела от еды, от ласкового участия. Я пою снова. Часто. И у меня на стене снова висят три гитары.

Один говорил: «Это блюз, негритянское» —
И зубы сверкали нагло и весело.
Другой говорил: «Это молитва цыганская» —
И молился Богу цыганской песнею...

И т. д.

14 мая

Ром-Лебедев сказал:

— Больше всего на свете я люблю удить рыбу.— И еще сказал: — Подарите мне эту коробочку — для червяков.

А 18 мая — день его рожденья. И сегодня утром, поскольку мысли наши смешались и я думаю о нем, я написала ему стишки и послала, но он, к моему величайшему удивлению и огорчению, обиделся!

22 мая

Он страшно обиделся на стихи. Он совсем не понял их. Я просто не знаю, что ему показалось. Он оскорбился!

Пришла его сестра Сантина. Сказала:

— Он на Нине женился из жалости: она заболела от любви к нему, ей было шестнадцать лет, хотела руки на себя наложить. Он без конца изменял ей, а раньше жил с Лялей Черной, с которой крепко дружен по сию пору.

Сантина умна, как сатана, она говорит старым русским языком, и это удивительно приятно.

1 июля

Пятигорская Оля, бедная, страдает запоем. Отец ее был алкоголиком. А ведь на вид такая красивая и молодая... На днях вызвала меня к себе, лежала в постели как умирающая, умолила сбежать за водкой, что я и сделала. После первого же глотка словно воскресла. Сказала мне странную вещь, думаю, под влиянием винных паров:

— Таня, всех, кто был за границей, будут брать! Сажать! Мне муж сказал, он военный.

Сначала я даже не поняла, о чем она говорит. Какая чепуха!

Хожу по улицам с ощущением, что меня вот-вот переедет машина. Препротивное чувство.

4 июля

Лето проходит как-то смутно. Пою — хорошо и часто у Тихоновых. У них всегда много интересных людей. Из комплиментов, которые на меня сыплются, можно возвести высокую гору, а толку нет. Ни статьи, ни пластинки нет... Ванюша уехал к бабушке с дедом и пишет мне очаровательнейшие письма. «Мама, Люля моя!» и т. д. Дружба у нас с ним крепкая. Аленка часто гостит на даче у знакомых, Цаплин выдает ей еду.

Я питаюсь в основном чаем с хлебом, а в гостях, и особенно у любимых моих Маруси с Николаем Семенычем, подкрепляюсь всем, что подают... Огороды сейчас есть у многих, и даже Агаповы что-то посадили и ездят «вскапывать»!

А в мире творится нехорошее для нас: все страны нас не любят, хоть и признают нашу силу и военные подвиги. А мы — все такие оборванные и голодные. И все притихшие...

28 августа

Цаплин изобрел какую-то смесь, очень крепкую — «искусственный камень», из которого можно отливать, когда он еще мягкий, копии скульптур, небольших, конечно. Эта смесь застывает и превращается в камень. Цвет серый, приятно зеленовато-серый. Он рассказал об этом Марусе Тихоновой и показал ей; она ходила к нему в мастерскую, говорит, что это «открытие». А Цаплин, слава Богу, стал тише, и хоть недоволен всем на свете, но перестал дергать меня замечаниями: что и пол я не так вытираю, и окна вымыла не так, как надо! Ведь для него любимое дело — поучать.

Аленушка после своей тяжелой ангины должна была вылежать, сердечко-то ослабело, но он поволок ее на озеро Селигер. Они шли пешком со станции до дома отдыха. Она очень устала. Алена страшно стесняется мальчишек, особенно одного славного мальчишка у нас во дворе. Он умный, интересный мальчик — Олег. К нам и к ней с Ванюшей часто приходят дети с нашего двора, и я рассказываю веселые вещи и пою их чаем...

Я жалею Цаплина и чувствую всю трагичность его судьбы в

нашей стране, где искусство не нужно, здесь нужно лишь славословие, восхваление и штамп. Недаром в нищете пребывают и Фонвизин, и Фальк, и Кузнецов, и т. д.

Фонвизиных, слава Богу, вернули из Казахстана, где они чуть не погибли от нужды... Фальк, которого обожают его жены (их пять или шесть, но главная — это милейшая Ангелина, или Геля), ходит понурый, в землю глядит... Я часто хожу к художнице Лидии Максимовне Бродской. Она перевела с итальянского книгу Вентури о художниках и подарила мне. У нее портрет Марины Цветаевой. Я очень люблю Лидию Максимовну, она умная, бескорыстная и ко мне добрая душевно. Алешка Сеземан с какой-то новой красоткой. Норовит мне ее показать, а мне абсолютно неинтересно.

Снует вокруг меня Костя Лапшин — премьер оперетты. Поет и играет Марко в «Вольном ветре», но цветы он носит мне. Недавно мы были в ресторане «Москва» вечером, и он о тамошних подавальщиках сказал с величайшим презрением: «Холуй. Все они холуй!» Пошляк. Я перестала его пускать в дом. Он сказал, что был любовником Элизабеты Иган. Ну что ж, возможно. Американки цинично относятся к любви, как к хорошо или плохо приготовленному блюду. Они редко любят своих партнеров. Этот Костя совершенно под стать Марии Абрамовне, или Маре Еланской — два сапога пара. Похожи! Ее я тоже уже не пускаю. Сидрер как-то рассказал мне, что в четырнадцать лет он начал «работать» (?) в Чека. Ну и ну!.. Этот хилый уродец мне вдруг показался страшным.

Я очень одинока последнее время. Хотя приходят Ритка Райт и Пегги Ветлин (Ефремова). Обе липнут ко мне, а не любят. А мне одиноко и невесело! Боюсь думать о зиме. Но Ритка принесла мне перевод — надо с английского на русский. Оказалось, я очень легко справилась, — и работы непочатый край. Буду переводить. Платят хорошо.

1 сентября

Цапа вижу редко. На ночь дверь запираю, как советовал профессор-психиатр Платонов. Но на душе смутно. Пудовкин включил меня в свой фильм о Жуковском, воздухоплатателе. Пою там четыре романса. Черкасов играет Жуковского, и Пудовкин намерен его привести ко мне. Я рада, очень рада петь в фильме.

Пою я сейчас, «погружаясь» в музыку, в звучание, но не в слова, хотя вернее было бы сказать: в музыкально-смысловое звучание романса или песни. Но я косноязычна, когда дело касается «интеллектуальности», — я не умею выразить словами то, что чувствую.

Смешно. Пудовкин со сценаристом по дороге ко мне уверяли друг друга, что они знают певицу, которая так поет, как никто не поет, и вдруг выяснилось, что зовут ее Татьяной Ивановной, она жена скульптора Цаплина! Речь шла обо мне, о чем они с хохотом, придя ко мне, рассказали.

А на душе как-то смутно. Темно. Все не то и не так... Алена

ночью стала часто приходиться в мою комнату, стоит молча в дверях, я просыпаюсь — светает, а Алена ко мне:

— Мамочка, я хочу около тебя полежать, мне все кажется, что тебя нет, и мне страшно! Пусти меня к себе!

И я иногда пускаю — с досадой, а иногда с досадой говорю:

— Иди, иди к себе! — И она, бедненькая, понуро уходит в свою комнату, Цаплин спит в большой комнате.

Как-то смутно и страшно на душе, сама не знаю отчего...

Сестра Ивана Ивановича Ром-Лебедева — Сантина не блещет красотой, но у нее смуглое по-цыгански, приятное лицо, умные глаза, черные волосы как лакированная шапочка облегают круглую голову, довольно плотная фигура. Неожиданно сегодня сказала мне:

— Если я захочу, ни один мужчина передо мной не устоит. Я любого в себя влюблю. Я наш секрет цыганский знаю!

И она мне его открыла. Но я считаю, что пользоваться им нечестно — вообще, с моей точки зрения, заставлять людей что-либо делать или чувствовать — скверно и пусто... Я была бы разочарована, если б в меня влюблялись благодаря этому цыганскому способу! Слава Богу, влюбляются в меня и без этого. Подчас я сама не рада их «влюбленности». Но сам факт, бесспорно, интересен. Сантина взяла с меня слово, что способ этот я никому не открою. Цыгане, их обычаи, их образ жизни всегда были мне интересны и близки. У меня с ними «братство». Цыгане и негры музыкальнее других народов, и в них есть что-то пленительно-таинственное. Мне кажется, что Иван Иваныч тоже пользуется каким-то «способом». Иногда от него исходит некая влекущая к нему сила... Он приходит петь мне... Сердиться он перестал. Алиса хочет писать мой большой портрет.

ТО, О ЧЕМ Я НИКОГДА НИКОМУ НЕ РАССКАЗЫВАЮ

Июль 1956 года. Москва

11 сентября 1948 года меня увозили в неизвестном направлении из Лефортовской тюрьмы после года тюремного заключения, из которых шесть месяцев я просидела в одиночке. В два приема — по три месяца каждый.

В день осенний — сияющий, прекрасный, именно такой, какие я всегда любила, нас — меня и двадцать пять мужчин — везли в «черном вороне» до вокзала (по-моему, Ярославского). Меня посадили в машину сзади, отдельно, в мучительно узкую, темную как ночь кабину, но на полпути конвойный отомкнул дверь и приоткрыл ее — через щель я увидела обожаемые мои московские улицы, залитые солнцем, такие веселые, такие оживленные!

Помню, во мне шевельнулась почти радость. Лучше куда угодно, но больше не тюрьма! По сравнению с Лефортовской — тюрьма МГБ на Лубянке была тихой пристанью, с кроватями, а не нарами,

с паркетом, а не каменным полом, как во второе мое сидение в Лефортове в одиночке на нижнем этаже. Там было тяжело... Мрачно. Полутемно всегда, а главное — в одиночке, где ты ничем не занят, книги прочитаны, перечитаны, выучены наизусть, время физически ощутимо, как тяжелейшая тяжесть, давит, душит, наваливаясь на плечи. Думаешь, Господи, хоть что-то делать! Камни ворочать и то легче. Я исхитрилась, как-то в супе выловила рыбью кость, оторвала кусок простыни и повытаскивала синие нитки из каймы мохнатого полотенца. Стала вышивать. У меня еще есть где-то платочек носовой, их сделала я штук шесть, но после раздарила на Кировской пересылке.

Конвойные, вернее надзиратели, не мучили меня больше в тюрьме последнее время. Собственно, меня мучил лишь один: довольно молодой, с мерзким лицом психически больного изверга. Он часами смотрел на меня в глазок, часто отпирал дверь и входил в камеру, а в коридоре гнусно за дверью ругался. Особенно любил он смотреть, когда я садилась на стульчак, который стоял в углу, удобный, спускалась вода. Он мог меня видеть и следить за каждым движением. После одной особенно неприличной его выходки я сказала об этом следователю Полянскому, который сам ругался в тысячу раз хуже. Больше этого мерзавца-надзирателя я не видела, он исчез. А один солдатик, добрая душа, часто давал мне ножницы и иголку с нитками, под любым предлогом. А ведь это было таким развлечением! Я просилась и к докторам и к зубному врачу — меня водили к ним и после выдавали лекарства — это тоже было развлечением. А уже когда приносили книги — вот была радость! И еще передачи, но всего этого у меня так долго не было... Я только потом узнала, что мне много месяцев не разрешали ни книги, ни передачи... Есть котелось ужасно... Особенно сахар. Я не могла удержаться: утром два своих кусочка съедала разом с чаем. А хлеб — «пайку» — делила (ниткой резала) на кусочки и ела постепенно, а потом все крошки до единой. Кормили каждый день тем же самым: суп и каша со скудным постным маслом, и чай. В Лефортове в одиночке было вкуснее, чем на Лубянке. Иногда (особенно после допросов, если пропускала обед) надзиратели давали прибавку — ох, как благодарна я бывала. Сами предлагали и накладывали помногу и масла лили побольше. Я в этом чувствовала, что они меня жалеют... На прогулку водили на двадцать минут — я ни разу не пропустила. На нижнем этаже было очень страшно из-за криков — откуда-то. Однажды страшно кричала, как от боли, какая-то женщина. Били ее... За моей камерой была еще камера, а потом за углом вниз по коридору мимо трех карцеров меня водили в баню. И вот раз в карцере кричал мужчина, умолял выпустить. Днем часто кричал сумасшедший немец, кричал по-немецки, дико, исступленно. Изредка глухо доносились чьи-то вопли, рыдания, перемежаясь с музыкой! Наверно, там нарочно ставили грамзаписи, чтобы заглушить крики... По ночам следователи так ругались и орали на допросах, что это тоже доносилось, их кабинеты были через двор напротив.

А когда я в первый раз сидела наверху, на четвертом этаже, там было гораздо лучше, спокойнее как-то и пол был не холодный, каменный, а паркетный. А книги мне тогда давали чаще. А главное, разве можно было сравнить допросы капитана Пантелеева с допросами подполковника Полянского?! Но об этом я сегодня не могу, не хочу вспоминать... Сегодня о том, как меня увозили из тюрьмы. За неделю до этого меня вдруг перевели в камеру на втором этаже, где сидели еще две женщины: старушка и молоденькая девушка. Старушка говорила только о своей дочери Фриде. Она совсем не понимала и не знала, за что ее арестовали. А молоденькая рассказала, что за ней ухаживал абиссинский принц, негр, он влюбился, сделал ей предложение, но она отказала, ее родители потребовали, чтобы она перестала с ним встречаться, но ей нравилось бывать с ним в театре и особенно танцевать с ним, ибо он был замечательно красив, хоть и черен.

В Абиссинию ей не хотелось, и замуж она собиралась за русского. Она училась в Институте иностранных языков на английском факультете. Вдруг ее арестовали, и она просидела на Лубянке пять месяцев. Нас вместе в тот день вызвали из камеры, повели вниз в «бокс», а потом по одной стали вызывать в соседний кабинет. Первая вернулась старушка, вся помертвевшая.

— Десять лет! — выговорила она, ломая руки.

Вызвали меня. Человек с каменным лицом — меня удивило, что у него лицо совсем неподвижное, вот как в книгах пишут, а он был молодой, в штатском — прочитал мне что-то по бумажке.

— Простите, я не понимаю. Пожалуйста, прочитайте еще раз, — сказала я. Я действительно ничего не поняла, там были какие-то странные слова.

Он прочитал слова:

— ...восемь лет в исправительно-трудовых лагерях за антисоветскую агитацию. По приговору ОСО.

— За агитацию?! — переспросила я. Он кивнул. Я сказала задумчиво: — Какая грустная у вас работа...

Он молча взглянул на меня. Лицо его было неподвижное, невеселое.

— Вы поняли, что я прочитал вам? — спросил он, помолчав.

Я сказала:

— Восемь лет... это мне восемь лет в... как называется?

— Исправительно-трудовых лагерях, — отозвался он.

Я молчала. Он снова поглядел на меня, закаменевший, невеселый. Как будто был за тысячу земель. Конвойный отвел меня обратно в бокс. Я ничего не чувствовала. Перед этим мне приснился сон, и я рассказала его своим сокамерницам. Я видела людей за столом, они спорили: восемь или пять. И думала, что мне дадут пять лет.

Последней из кабинета вернулась молоденькая, она гневно плакала и возмущалась:

— Два года вольной ссылки на Колыму!! Но ведь я больная, я туберкулезная! Это безобразие! За что?

Тут я навзрыд заплакала, застонала, поняла... Но еще больше, чем себя, мне жаль было несчастную старуху... Мне легче было бы, если бы я была одна несчастна... И часто потом я вспоминала это ощущение, это страдание от того, что кругом такое бесконечное нестерпимое количество человеческого горя! Особенно когда лет пять спустя начали давать двадцать лет каторги за уход или побег из вольной ссылки. Двадцать лет каторжных работ только за это... И на пересылку, где я жила тогда, стали привозить женщин, старых и молодых, раздавленных, убитых горем... Двадцать лет разлуки с детьми, мужьями, с семьей...

Когда мы вернулись в камеру, нам стало легче, мы плакали, утешали друг друга как могли, говорили, что это «так», потом снизят срок, простят, освободят, вернут!

И вот через несколько дней одну за другой нас вызвали на отправку. Я обняла рыдавшую старуху. И никогда с ней больше не встретилась. Увидела ли она свою Фриду? Я поцеловала молоденькую, сказав:

— Стыдно вам убиваться, у вас вольная ссылка, да еще всего на два года. Не смейте болеть!

Ее я тоже больше никогда не увидела.

Меня вызвали последнюю. Я собрала вещи — крохотный узелок в мохнатом полотенце. Черное пальтишко. Черные туфли на высоченных каблуках. На голове ничего.

— Счастливо! — сказал мне начальник тюрьмы, наблюдавший за отправкой.

— Спасибо! — откликнулась я.

О, какой сияющий день на улице осенил меня, обнял теплыми сентябрьскими руками. Тюрьма наконец позади!

Нас выпустили из «черного ворона» далеко на путях за Северным вокзалом. Параллельно поезду с вагонами «ЗАК» стоял на другом пути голубой экспресс... На одного из мужчин сразу надели наручники, он усмехнулся, приземистый, коренастый, черно-волосый, с небритой бородой, с блестящими, как угли, узкими глазами, немолодой, сильный весь, какой-то крепкий. После на Кировской пересылке нас вызывали по фамилиям, и, когда дело дошло до него, назвали несколько фамилий — «он же — Потемкин». Этот «он же — Потемкин» потом вел себя как хозяин на «вокзале» — общая огромная комната, где мы, все новоприбывшие заключенные, пробыли вместе часа два-три... Кто-то шепнул про него, что у него пятьдесят девятая. Мне тогда невдомек было, какая это статья. Потом-то я все статьи, по крайней мере самые «серьезные», знала. Пятьдесят девятая — это «вооруженный бандитизм с убийством». А он был «неоднократно судим».

Нас посадили в вагон «ЗАК», в купе за железными решетками, выходящими в коридор, на окнах которого тоже были решетки. В купе под потолком были маленькие окошечки, тоже за решетка-

ми. Я попала в купе, где сидело человек семь молоденьких девочек и молодая женщина. При виде девочек я разрыдалась, бросилась к ним, целовала, ласкала их, мне все Аленка виделась, у меня будто кровь хлынула из рук, ног, сердца, я осознала, что меня увозят от нее, от дома, от Вани, от отца с матерью на долгих восемь бесконечных лет... Навеки, быть может, если я умру там. Только не умереть, только вновь их увидеть! Дожить до встречи!

Девочки — им было лет по четырнадцать-пятнадцать — сначала будто поразились, а потом сами ко мне кинулись, обнимали, одна даже руку мою схватила поцеловать, я отняла, плача прижала ее к себе. Молодая женщина молчала и как-то злобно на них поглядывала. Когда я успокоилась и села подле нее — она шепнула мне:

— Они же воровки, проститутки! Они страшные! Вот вы услышите, как они ругаются!

— Мы при ней не станем ругаться! Она нам мать! — сказала старшая из них. Я впервые услышала это выражение.

Потом за мой лагерный срок я еще раз по отношению к себе услышала эту фразу от Наташи Лапиной, страшной Наташи. Но до нее пройдет еще четыре года...

Молодая женщина получила пять лет. Она рассказала следующее:

— Я родилась и училась в Одессе. У меня был жених, но мы с ним разошлись. Я уехала в Москву, кончила медучилище, вышла замуж и работала хирургической сестрой в Институте Склифосовского, у профессора Юдина. Говорят, его тоже посадили. Меня много о нем допрашивали. Вот вдруг однажды вечером звонит мне какой-то мужчина, передает привет от того, кто моим женихом был, — а лет двенадцать уже прошло, как мы расстались, — и просит разрешения зайти. Я говорю: «Пожалуйста!» Он пришел, мой муж дома был. Мы с гостем долго говорили об Одессе, потом он попросил разрешения переночевать, так как ему не удалось устроиться в гостинице. Муж недоволен был, да и мне не понравилось, что он сначала об этом ничего не сказал. Оставили его переночевать. Утром он ушел и как в воду канул. Не позвонил больше, ничего. А месяца через полтора вдруг к нам с обыском, и меня арестовали. Мужа — нет, не арестовали. Меня в тюрьме держали месяца четыре и дали пять лет за то, что я не донесла, что тот человек был у нас. Он шпионом оказался. А откуда мне было знать? Да и не верю я этому — не похож он был на шпиона. Боже мой, за что такое несчастье! Я же ведь не знала, что мне донести надо было о нем!... Но она не плакала, держалась спокойно. — Вас куда направили? — спросила она.

— Не знаю. А вас?

— Меня под Киров. Я там медсестрой буду работать. — сказала женщина.

— Мамаша, а вы у конвойного спросите! — вменялись маленькие воровки. — Они конверты наши везут. На каждого из нас у них конверт с фамилией, сроком, по какой статье и куда направ-

ляют. Только потихоньку спросите. Он при всех не скажет. Вы, когда будут спрашивать, кто пол возьмется мыть, — скажите, что вы будете. Они вас из купе выпустят. Вот вы тогда и спросите. Этот конвой хороший, ребята молодые, видать, не злые. Иной раз такие зверюги попадаются...

— А вы не первый раз? — спросила я с удивлением.

— Да вот, эти в первый, а мы с Надей бывалые! Нас всех в колонию для малолетних, за Горький везут. У нас в колонии хорошо, весело, и ничуть не жалко, что опять попалась. Небось ничего, посылки получать буду, я ведь никого не назвала. Я наводчица. Меня Соней звать. Мне шестнадцать, но я малорослая, меня потому наводчицей и поставили. Я легко в форточку пролезаю!

— Ну, уж это ты врешь! Небось только сторожила на улице, чтоб шайку вашу не застукали! А то — «наводчица»! — и девочки дружно захохотали.

Я их ласково вспоминаю, они меня согрели как-то, «анормалили» все, а то мне тюрьма казалась сумасшедшим домом и все происшедшее со мной — бредом. Я забыла сказать, что, когда меня повели к вагону, я быстро нагнулась и схватила горсть земли — горсточку московской земли — и все держала ее, зажатую в левом кулаке. Тут я ее разжала и пересыпала землю в один из своих тюремных носовых платков.

Действительно, вскоре подошел солдат и спросил, кто будет пол мыть. Вызвались я и одна из девочек, она и мыла пол, мне не дала.

— Не надо, не надо. Я сама управлюсь, а вы только вид делайте, вон венником метите коридор.

Один из конвоиров был, по-видимому, старший, уже немолодой человек с серьезным, спокойным лицом. Он мне сказал:

— Давайте я вас сюда впущу — поспите на нарах, устали, видно. А то у вас там компания шумная. Дерзкие девки, малолетки эти.

— Хорошо, я посплю. А потом опять меня к ним. Мне ночью страшно будет одной. Куда меня везут? Прошу вас — скажите, куда?

Он отпер решетку пустого купе. Запирая за мной, негромко спросил:

— Ваша как фамилия?

Я сказала. Он ушел. А я заснула как убитая. Поезд все стоял на путях. Часа через два он отпер дверь и вошел в купе с конвертом. Переспросил фамилию.

— На Воркуту вас. В Заполярье, значит.

— В Заполярье? — ужаснулась я. — Но как же...

— Да всюду люди живут. Конечно, тяжело там, климат... Кислороду мало.

— Как кислороду мало?

— Не хватает. Но вы не убивайтесь. Там народу много. Мы вас лишь до Кирова везем, а там уже другой конвой, до Воркуты, значит. Я там не был, люди сказывали. Чаю дать? — И он, спасибо

ему, принес мне чаю, то есть кипятку с «заваркой», и сунул большой ломоть черного хлеба. Дверь он не запер.

Я вышла в коридор и подошла к окну. Поезд тронулся, но минут через десять опять встал. К решетке быстро подбежал человек.

— Где мы стоим? — громким шепотом, прижавшись к окну, спросила я.

Он что-то крикнул, потом еще громче:

— За Казанским. Бобыля позови!

Я не поняла. Он замахал руками и побежал вдоль вагонов. Подошел солдат. Я вернулась в «свое» купе. Девочки грызли сухари, которые я дала им, и делили меж собой соленую рыбу из пайки. Я спросила про Воркуту, само название ужасало меня. Но никто не знал, что это за место.

Ночью я проснулась: за решеткой стоял молодой солдат, а одна из «малолеток» кокетливо и грубо уговаривала его выпустить ее в коридор «погулять»!

— Пусти, дяденька!.. — дальше следовало нечто столь нецензурное, что солдат вдруг весь побагровел, ухмыльнулся, потом крепко выругался и ушел.

Девчонка хихикала — остальные крепко спали, и лица у них были совсем детские, мирные детские лица...

Я сделала вид, что сплю, в мозгу стучало: «Воркута»... Колеса выстукивали.

Весело, весело, весело!

Щелкайте громче зубами!

Одного убили, другого повесили,

Третьего — сами,—

так говорила когда-то Милка Волынская, моя подруга по Екатерининскому институту, а ее сестра, Надежда Волынская, донесла на меня.

На другой день «малолеток» увели, мы вдвоем с женщиной доехали до Кирова. Там на вокзале я впервые разглядела мужчин, которых везли тем же вагоном. Да, забыла сказать, что на какой-то станции, по-моему, несколько часов езды от Москвы, поезд остановился, и мимо нашего купе по коридору под конвоем гуськом прошло человек шесть мужчин, немолодых, что называется, солидных на вид, с очень интеллигентными лицами. Последним шел очень маленький пожилой японец в роскошной шубе с собольим воротником, в шапке с соболиной опушкой, строгий, весьма важный, полный собственного достоинства — как сам японский император. Но что меня поразило: конвойный тащил за ним огромный кофр!

Самое страшное — тюрьма, допросы — было позади. Меня начал обуревать жадный интерес к окружающему, к совершенно новой жизни, лежащей передо мной, к людям и природе, где придется мне жить, но в то же время мучительная боль сверлила душу:

разлука с детьми, с отцом и матерью, с сестрой, со всем тем. Дети! Дети!.. Прошлое мое кануло в бездну.

В Кирове на пересылке я познакомилась еще с москвичкой Евгенией Спиридоновной Шмидт — молодая женщина решила повеситься, но я ей сказала:

— Да ведь за мильон рублей вы не смогли бы купить билет на это тюремное зрелище. Это же интересно! Да еще кормят даром в придачу!..

Она не повесилась. В первую же ночь в бараке (или на вторую ночь?) на Воркуте мне пришлось петь — я пела со счастьем в душе оттого, что я могу снова петь, и уголовники (женщины) объявили после моего пения, что я теперь «в законе!». Они плакали от моих песен и очень восхищались. Но я была такая хилая, что меня сразу же на два месяца положили в стационар — в больничный барак, и я спала там без просыпу.

Потом мне устроили просмотр в Воркутинском театре и зачислили в труппу. Это было большой удачей: работа в теплом помещении, — ну, да не буду перечислять все преимущества этого... Потом, в 1952 году, всех уже до единой заключенной из театра удалили. Из Воркуты отправили меня немного южнее — на Сивую Маску, в совхоз «Горняк». А в 1953 году, осенью, отвезли по этапу с другими инвалидами в Астрахань... По дороге я чуть не померла, но Бог спас... Освободилась 2 апреля 1954 года (так как заработала полтора года «зачетов» от назначенного мне срока) из Астрахани с правом жить у мамы в Орджоникидзе.

15 августа 1956 года. Москва

От мамы я переехала в Москву. Живу у Крыжевских. Перевод «Женщины в белом» закончила в полгода. О лагере на Воркуте напишу потом... Главное — вернулась живой. Я жива и на воле. Это счастье!

Николай Тихонов дал мне великолепную рекомендацию, и теперь у меня договор с Детиздатом. Ем я впроголодь, но одета: Ира — сестра и Рива Смоленская кое во что меня одели. Детиздат выдал мне аванс. Лиля Юрьевна сама ко мне бросилась, узнав, что я в Москве, и при виде меня первое, что сказала:

— Зубы мы сделаем!

И действительно «сделала», то есть устроила меня к прекрасному дантисту и все сама оплатила. Словом, московские друзья меня тоже встретили замечательно. Но мне как-то все не в радость... Радоваться не могу. Словно тело и душа мои забыли, что такое радость, как это такое — счастье. И это очень жаль! Ведь я на воле! Ведь дети живы, мама жива... Но папы нет... А я все не могу воскреснуть...

Работала над «Женщиной в белом» не покладая рук у мамы в Орджоникидзе, решив, что я должна сразу заработать много денег. Ибо за душой ни гроша. Книгу эту я очень люблю и потому переводила на чистом вдохновении! Мама была сурова, но кормила меня

и труд мой уважала. Ваня радости не доставлял, зато из своей стипендии давал малую толику мне на расходы — он учился в Орджоникидзе в Институте цветных металлов. Мамины друзья ко мне были замечательно добры, дай им Бог здоровья и радости!

Я в Москву приехала в марте. На жилье у Инки Крыжевской я устроила и Наташу Столярову. Живем наиболеемнейшей жизнью. Реабилитации еще нет у меня, я еще не подавала заявление — боюсь «их» до сих пор.

Правлю в последний раз мою «Женщину в белом». Наташа работает секретарем у Эренбурга — ей дали реабилитацию! Я живу без прописки. Если меня «поймают» — могут еще вклеить срок... Вообще — грусты!

Под квартирой Крыжевской, этажом ниже, квартира Гремяцких. Михаил Антонович Гремяцкий, когда-то мой учитель в Пятигорске, теперь профессор-палеонтолог, сталинский лауреат, заведующий кафедрой антропологии МГУ. Милейший человек, такой же скромный, как был. Мария Евгеньевна, его жена, тоже мало изменилась за те тридцать лет, что я их не видела! Та же «вечная студентка», но с тяжелым характером. С ней особенно трудно, ибо у нее буквально «недержание речи» — она может без передышки говорить часа три подряд... Ужас! Сын Гремяцких, Юра, убит на войне... А дочь их, Женя, — это болотный цветок, хрупкий неньюфар, очень неглупая, очень порочная... Уверяет меня, что чудесно ко мне относится, устроила меня жить у Инны, которая красивая, сексапилистая, развеселая девица. Но почему Женя это сделала?! Написала мне в Орджоникидзе, чтобы я ехала в Москву, к ним. Понять не могу. А ведь призналась, что сама работает «там»... Думаю, что именно в связи с этим она и поселила меня у Инны... Ну, да ладно. Я боюсь нос на улицу высунуть... Мне вдруг стал часто сниться Луи Фишер. Странно.

27 августа

Сегодня Алене исполняется двадцать с чем-то лет.

Сегодня двадцать один год с тех пор, как я, беременная Ванюшей, с маленькой Аленушкой, вернулась к себе на любимую, свою милую Родину.

У меня за границей, бывало, часто пелись строки Бальмонта и тоской сжималось сердце, и желала я одного — вернуться!

Я был в России. Грачи кричали.
Весна дышала в мое лицо...

Завтра исполняется девять лет с того дня, когда 28 августа 1948 года я, после одиннадцатимесячного пребывания в тюрьме, получила срок восемь лет по статье 58—10, часть первая.

Я, беременная, в 1935 году на свою милую Родину везла мою

Аленушку, ибо не только тосковала по России, как зверь, как растение, пересаженное не на свою почву, но хотела детям счастья. Я так верила в счастье для детей на своей Родине, «в социалистическом разумном краю».

Жизнь моя смята. Я стараюсь расправиться, я на воле, я хожу, когда стемнеет, по московским улицам, дети мои живы, у меня интересная работа — я запоем погружаюсь в нее, стараюсь не думать, не подводить итоги, я жду... Но я не могу, я разучилась радоваться. И, пожалуй, это самое тяжкое.

Жадный интерес к жизни, ненасытное жизнелюбие все же живет во мне. Но мне горько, что я такая усталая... Меня охватывает равнодушие. Остается лишь любовь к небу, деревьям, милым хрупким бранным вещам, но не к людям...

Так долго лгала мне за картою карта...

Но мне жаль людей нестерпимой едкой неутолимой жалостью!

Аленушка — моя белая облачная барашка, дочка, которой так страстно хотела я счастья, как упрямая, глухая, слепая мать! Ей двадцать два года, она очень мила, высокая, в очках, много цаплинского в характере, тяжелого для себя и окружающих, травмированная, скованная, но для меня подчас трогательная по-прежнему.

Ванюша... Где тот яркий, сияющий счастьем, неустрашимый, весь открытый всему и всем мальчик, от которого меня оторвали, когда ему исполнялось одиннадцать лет?! На его месте — тонкий, как струнка, капризный юноша с трагическими глазами, недоверчивый скептик, нервный, почти до нервных припадков, невеселый, вялый, скрытный. Но с тех пор, как я вернулась, он стал лучше учиться и чуть-чуть повеселел.

Бедные дети мои, которым так хотела я счастья, больше, чем себе!

Писать от всей души — нельзя. Я никогда, ни на минуту, ни с кем не забываю, что говорить от всей души, бездумно — нельзя, ибо слова твои, при времени, могут быть истолкованы во вред тебе — будь ты самым не виноватым ни в чем человеком. Еще я боюсь ездить на лифте: на лифте меня возили на допросы. Еще я боюсь почти всех людей, боюсь и подозреваю в предательстве. Но это все на самом дне сердца, в самом глухом его углу. Заглядываю я туда очень редко.

Написала просьбу о реабилитации...

Наташа Столярова сказала, что приехал Луи Фишер из США. Она секретарь Эренбурга. Предлагает познакомить меня с неким Сухомлиным, другом ее матери! Он какой-то известный журналист французский, сам он русский. Я — ни за что! Отказалась. А Луи, я знаю, приехал увидеть меня. Но нет!

Писать буду о людях. О Лиле Брик, которая кинулась повидаться со мной. Очень медленно, восхитительно медленно, но она стареет, уходит... Руки стали как пожелтевшие осенние лепестки, горячие карие глаза чуть подернуты мутью, золотисто-рыжие во-

лосы давно подкрашены, но Лиля — проста и изысканна, глубоко человечна, женственнейшая женщина с трезвым рассудком и искренним равнодушием к «суете сует». В то же время она сибарит с головы до прелестных маленьких ног.

29 августа

Сегодня я иду за ответом. Если отказ — не знаю, соберу ли я достаточно душевных сил, чтобы снова просить, требовать, добиваться, доказывать.

У меня непреодолимое желание поставить наконец кое-какие точки над «и». Я повидала Тамару Груберт, мою старую детскую подругу — она стала старушкой. Милая умница! Я написала Доротею и Артуру.

Вечером

В прокуратуре мне сказали:

— Дело ваше направлено в Военную коллегия — через месяц-полтора-два вы получите справку о реабилитации.

Это значит, что у меня не было «состава преступления» — как я и знала, знала тогда, когда мне все казалось сумасшедшим домом!

Со мной в прокуратуру пошли Аленушка с Наташей, с моей племянницей — Ириной дочкой. Конечно, я не могла удержаться от слез. Наконец этот бред рассеялся.

О, если б обрадоваться от всей души!..

Помню: вечером 30 сентября 1947 года я пришла домой от старушки Хенкиной Елизаветы Алексеевны. Я читала ей мои стихи, она рассказывала мне о своей молодости. На другой день мы с Маляшей должны были куда-то пойти насчет интересной работы. Ванюшечка был еще в Орджоникидзе. Но я ждала его со дня на день. Аленка с первого сентября начала ходить в школу. Мы с ней обожали друг друга. Ей тогда исполнилось пятнадцать лет. В ту пору в меня был влюблен Иван Иванович Ром-Лебедев. Он приходил и пел, аккомпанируя себе на гитаре, и глядел на меня томными цыганскими глазами. Он нравился мне молчаливостью, ленью, талантливостью. Жизнь вокруг меня и во мне была ключом. Я пела уже как настоящий мастер. Передо мной лежала роль в фильме Пудовкина. Но странно, мне все казалось, что я вот-вот умру: то ли машина меня раздавит, то ли еще что, но мысль о смерти ходила за мной по пятам. Я чувствовала страшную надвигающуюся катастрофу... Только не знала ЧТО.

Поздно вечером я возвращалась домой от Елизаветы Алексеевны, шел мелкий дождь, но было тепло, и сквозь ситечко моросящего дождя фонари дрожали зыбко и зябко. Аленка уже спала; я села на кухне, выпила кофейку и начала раскладывать пасьянс, заранее приготовив постель на моей широкой тахте в милой, оча-

ровательной моей комнате. Я так любила нашу квартиру! Так выли- зывала ее, украшала!

Было за полночь. Вдруг раздался стук в дверь. Я пошла открыв- ать, думая, что соседке Жене надо позвонить по телефону. Рас- пахнулась дверь — пять человек! Трое в военном, молодая женщи- на (как оказалось, наша дворничиха в качестве понятой) и какой-то эlegantный и красивый молодой человек, по-моему, это был сын Берия. Я молча отступила... и первой моей мыслью было: «Банди- ты!» Они вошли в мою комнату.

— Ваш паспорт.

Я сказала, улыбаясь:

— Слава Богу, а я думала, вы бандиты. Проверяете паспорта? Пожалуйста,— и я дала им паспорт.

Они посмотрели его, и тогда старший военный вынул из карма- на бумагу с печатью и подал мне. Ордер на арест. Все в мире при- тихло, стало пусто, и гораздо ярче горел свет. Я молча опустила- сь на стул. Царила глубокая тишина, и я смотрела на кружевной бабушкин абажур без мыслей, без чувств.

— Что же вы? Собирайтесь!

— Надолго? — спросила я.

— Не знаю. Может быть, недели на две.

Я взяла мохнатое полотенце, зубную щетку, мыло, смену белья, пару нейлоновых чулок, переделась в самое прелестное мое черное платье, надела пальто.

— Пойдемте! — сказал военный.

— Можно дочку поцеловать?

— Хорошо, только скорей!

Я пошла к Аленке, он за мной. Она спала, я поцеловала ее — она застонала и проснулась:

— Мама! Куда ты?!

Я сказала:

— Мне надо уйти. Я, наверное, скоро вернусь. Береги Ваню- шу! — и ушла.

Про Цаплина, который был у себя в комнате,— я забыла! У подъ- езда нашего дома мы сели в машину.

Улицы были пустынными, тихими. Подъехали к Лубянке, к тому страшному дому, мимо которого я так часто, так бездумно ходила! Военный позвонил. Дверь захлопнулась за нами. Меня ввели в кро- шечное помещение без окон. Ярко горела под потолком электри- ческая лампочка. Замок защелкнулся. Там был стул. С этой ми- нуты начался долгий, нелепый, тяжкий бред.

Самыми страшными были звуки в гробовом безмолвии тюрьмы. Конвойные не разговаривали: они как-то цокали языком, сига- лизируя друг другу. Кто-то страшно кричал вдруг — но этот вопль быстро стихал. Говорят, что, когда людей отрывают внезапно от наркотиков, они так кричат.

Не знаю, через сколько времени меня повезли наверх на лифте — я отвыкла от времени. Горело электричество, а никакого окна,

ни отверстия в этой коробке (бокс), куда меня посадили, не было. Станные пустые коридоры, лестницы, окутанные проволочными сетками (чтоб люди не могли броситься вниз), нас очень берегли от самоубийства... Нет, я не могу описать всего этого...

13 сентября

Я живу благодаря Гремяцким у подруги Женьки Гремяцкой — у Инны Крыжевской. Отец ее — прокурор, а мать, Ольга Николаевна, — добрая душа. Инна как будто хорошая...

Лето было дождливым и холодным. Осень холодная и пасмурная. Мы все мерзнем, а топить будут не скоро.

На концерте Бостонского симфонического оркестра — билеты принесла мне Инка — кто-то неожиданно обнял меня сзади за плечи. Оборачиваюсь — Доротея! А Артур рядом с ней.

— Мы получили ваше письмо. О, Таня, мы так хотим, чтобы вы пришли к нам! Дайте ваш телефон. Вы должны прийти! С Ванюшей, с Аленой...

Я дала телефон. Через день звонок: Артур просит прийти к обеду. Я пошла, чтобы поставить точку над «и».

Доротея, постаревшая, нервно-суетливая. Артур... думаю, что он очень умный человек. После обеда мы сели на тахту, и она начала рассказывать об Елене Ивановне, их домработнице, «которая сошла с ума, ее пришлось отправить в сумасшедший дом, ибо она плела какой-то бред про Артура».

Я сказала:

— Я думала, что Артур с 1937 по 1938 год был в ссылке, ибо вы просили меня тогда о нем не спрашивать и сами ничего о нем не говорили.

Дороти рассмеялась и сказала:

— О нет, наоборот, он был тогда на очень важной работе. У него орден Ленина. И знакомство с нами, Таня, говорит только в вашу пользу.

Потом она стала рассказывать мне о каких-то людях, мне неизвестных, уверяя меня, что она не виновата в том, что их расстреляли в 1948—1951 годах (расстреляли невинных). Потом сокрушенно говорила, что Надежда Волынская всегда любила меня и жалела. Надежда рассказала ей, что меня посадили за мои дневники. Я сказала:

— Это ложь. Дневники мои мне вернули, как не относящиеся к делу. Их и не читали, верно!

Когда я уходила, Доротея вдруг сказала:

— Вы должны извиниться передо мной, что так долго не появлялись у нас!

Здорово?!

Я сказала:

— О нет! — И ушла.

НИКОГДА я их больше не увижу. Они непонятны мне, от них

обоих исходит нечто темное и запутанное. Я была у них в понедельник, сегодня четверг, и мне до сих пор тошно от порции лжи, которой Доротея меня угощала. Точка над «и» поставлена.

В 1947 году в тюрьме МГБ на Лубянке я сидела месяц. (У меня был молодой следователь капитан Пантелеев, о нем я вспоминаю спокойно...) Затем на три месяца отвезли в одиночку в Лефортово. Камера была на девять шагов в длину и на четыре в ширину. Но она была на четвертом этаже, и из маленького окошечка, закрытого решеткой, мне был виден кусочек неба и как пролетали птицы. Потом — опять Лубянка, общая камера. На месте Пантелеева очутился подполковник Полянский — маленькая, злая, рыжая, сумасшедшая крыса. Он был садист и эротоман. Он ругался так, как не ругались самые страшные бандиты, которых мне потом довелось видеть и слышать в лагере. Однажды ночью, к рассвету, после многих суток без сна, я сказала ему:

— А теперь я знаю, на кого вы похожи, — на рысь! И по цвету тоже.

По правде сказать, я была так измучена, что не думала его оскорбить, но он рассвирепел, подскочил ко мне, ударил меня сапогом по ноге и завопил:

— Теперь я понял, что ты ШПИОНКА!..

Что было дальше — не помню...

Месяца через два (Пантелеев опять был на месте Полянского) меня вызвали на прокурорский допрос. Это означало, что «дело» мое подходит к концу. Допрос был чрезвычайно мягким, и, к удивлению моему, все мои ответы записывались неискаженно (как делалось на предыдущих допросах). Вероятно, мне дали бы максимум пять лет. Но в ту пору я еще оставалась наивной дурой и верила в справедливость. Я сказала, что меня принудили подписать признание в том, что Надежда Волынская показала на меня правду, а теперь я требую очной ставки с ней. И что я приношу жалобу на следователя Полянского, который ударил меня и следствие вел недозволенным образом.

Я увидела, как Пантелеев побледнел. Когда меня уводили, он как бы случайно оказался рядом и тихо сказал мне:

— Если бы вы только понимали, что вы надделали!

Надо заметить, что я интуитивно знала, что Пантелеев, несмотря на жесткие допросы, меня жалеет и, пожалуй, даже хотел бы смягчить мою участь. Он был еще молод. Зато Полянский был закоренелым циником и злым негодяем.

Через неделю, ночью, меня вызвали на допрос. Я вошла в полутемный большой кабинет. Из-за письменного стола навстречу мне поднялся Полянский. Потирая руки, он со злобной усмешкой подошел ко мне:

— Ну а теперь я сам займусь вами. Рысь с вами поработает! Вздумали прокурору на меня жаловаться. Я ж вам покажу, как на следователя жаловаться, нарушать тайну следствия!

Тут же, ночью, меня отвезли опять в Лефортово, в полуподвальный этаж, на этот раз в страшную одиночную камеру.

И потянулись месяцы жестокого, нелепого бреда. Полянский издевался надо мной как хотел. Он хлестал меня по лицу, в клочья рвал на мне блузку, яростно орал и грозил, что меня расстреляют.

— Я добьюсь экзекуции для вас! — орал он.

Вот это было самое страшное!

Кроме того, конвоиров и надзирателей я никого не видела в течение долгих-долгих дней...

— Шпионка! Кто завербовал?..

А однажды, глубокой ночью, он долго молча смотрел на меня и сказал потом глухим голосом:

— С каким удовольствием я... бы вас, а потом бы за ножки да об угол!..

Я запомнила это на всю жизнь... Но он не тронул меня в «том» смысле. Нет. Я понимала только одно: я в сумасшедшем доме и он — маньяк! Часто слышала я вопли избиваемых, стоны, откуда-то снизу доносились чьи-то крики, мольбы...

— Я твоя судьба! — орал мне Полянский.

Я чувствовала, что та избалованная, душистая-пушистая, прелестно певшая Татьяна — умерла, и мне было легче, что не она, а заледеневшая старуха, в которую я превратилась, переживает все это.

...Не помню, на какой день через решетку вагона «ЗАК» в коридоре я увидела бесконечные, до горизонта, рыжие кочки болота — был темный угрюмый день. Тундра.

Шесть лет тундры... А через несколько лет — Астрахань. В Астрахани я заставила себя жить. Через полгода я должна была выйти на свободу, а у меня было двустороннее крупозное воспаление легких. И я вышла из ссылок — живая. А сколько их умерло... «Ушел в тундру» — так о них говорили. Сколько повесилось... Сколько исчезло «с концами»... Ни в чем не виноватые люди!

Мне хочется забыть обо всем этом, но иногда оно всплывает. Пожалуй, я вставлю здесь то, что я написала гораздо позднее, по просьбе Григория Марковича Литинского.

Март 1971 года. Москва

Дорогой Григорий Маркович¹.

Вы сказали, что собираетесь писать о Воркутинском театре и о его создателе Мордвинове, которого я, к сожалению, не застала, и просили написать Вам, что я о театре помню.

В конце 1948 года, после года тюрьмы на Лубянке и в одиночке

¹ Литинский Григорий Маркович до ареста в 1937 году был сотрудником газеты «Известия». Отбыв срок наказания в Воркутинских лагерях, был «прикреплен» к Воркуте и работал в городском театре помощником директора театра и заведующим литературной частью.

тюрьмы в Лефортове, меня отправили на Воркуту, присудив мне восемь лет по статье 58-10. Я шла по делу одна. Прямо с Воркутинской пересылки меня взяли в театр. Директором был в ту пору Мармонтов. Мне устроили прослушивание, которое помню смутно... Я была убита всем, что случилось, и сразу же по принятии в театр меня положили на два месяца в стационар. Помню, на моем просмотре были Вы, Мармонтов, Николай Иванович Быков и Саша Стояно. Не помню, был ли еще кто.

Считалось, что попасть в театр — великое счастье. Так оно, несомненно, и было. Работать в театре значило работать в тепле, в закрытом помещении, в «человеческих условиях», при культурном с нами обращении и даже некоторых лагерных привилегиях по сравнению с другими заключенными, ибо ведь актерам надлежало развлекать начальство и вольных.

В театре ставили оперы, оперетты, пьесы. Помимо заключенных работало еще и несколько вольных актеров. Я делала все, что угодно: играла в драме, комедии, оперетте, аккомпанировала хору и певцам, транспонировала оркестровки, переписывала клавиры, при случае могла написать вставную песню или стихи в какую-либо пьесу. И на моем попечении была помимо нотной еще и передвижная библиотека. Последние два года моего пребывания в театре я получала зачеты день за день.

Никогда не забуду: однажды, когда нас вели в театр, бушевала грозная пурга. Конвой утром повел в театр из женщин только портниху Елизавету Михайловну и меня, остальных оставили «в зоне». Я еле доплелась, мучимая жестоким фурункулезом, с высокой температурой, понимая, что если пурга не утихнет, то ночью обратно — около семи километров по тундре — до лагеря мне не дойти. К ночи пурга стала еще свирепее. Из зрителей на спектакль не пришел никто. По театру слонялись мои притихшие братья-заключенные, с ужасом предчувствующие пытку возвращения в лагерь по пустынной тундре. Я пошла в кабинет к Григорию Марковичу, попросила: пусть оставят нас в театре, нам не дойти обратно, мне не дойти — я больна — просите! Пусть оставят нас на ночь в театре!

Беспрецедентная просьба, конечно.

Он молча посмотрел на меня, снял телефонную трубку и сумел уговорить начальство. Через несколько минут по театру раздался его громкий голос:

— Приказ начальника лагеря: людей обратно в зону не выводить — оставить в театре!

Конвойные тоже обрадовались, уж не говоря о нас...

Помню ту блаженную ночь в крохотной комнатухе рядом с осветительной будкой; я проспала до утра на длинном сундуке с клавирами, укрывшись ватником, понимая, что Григорий Маркович спас нам жизнь.

И еще воспоминание. Когда всех нас, заключенных, удалили из театра и меня отправляли на этап, один из вольных — муж

Анны Моисеевны, костюмерши театра,— вошел в наш барак в лагере, отыскал меня, сунул мне в руки узелок и ушел, шепнув на ходу:

— От нас и Литинских.

С женой Литинского — Ольгой Владимировной — мы только два раза глазами друг с другом «поговорили», ни разу не поговорив словами.

В узелке были сокровища: шесть апельсинов, новая рубашка, теплые шерстяные носки и еще что-то столь же нужное, заботливое, драгоценное. А главное: память людей, их сочувствие, поданный ими знак, что тебя не забыли! И я никогда не забуду. Даже этап предстал мне с той минуты в другом свете, не как окончательная гибель...

Помню, Литинский — румяный, плотный, с копной темных с проседью волос, озабоченно носился по театру. «Стин!» — гулко отдавалось во всех углах. «Стин!» Откуда-то медлительно, лениво появлялся Игорь Афанасьевич Стин, завхоз театра, тоже из заключенных — немолодой сероглазый человек с тонким лицом и безукоризненными манерами. Иногда во время спектакля он поднимался в осветительную будку, входил в мою «каюту» и молча подолгу сидел на сундуке, разглядывая свои действительно на редкость красивые руки. Однажды, к моему великому удивлению, он сказал мне:

— У вас глаза как серые розы.

У него был роман с Тамарой Васильевной Юнгфер, из вольных, пианисткой нашего театра. Она окончила Московскую консерваторию, была молода, недурна и любила выпить. Опынев, она была способна на дикие выходки: ругалась, кусалась, но заключенным, по-видимому, особого зла не причинила, хотя, будучи замужем за офицером из оперативного отдела, легко могла «списать» из театра любого из нас. Гораздо позднее я поняла, что Юнгфер ревновала меня к бедняге Стину, с которым я и двух слов не сказала. На второй же месяц моей работы в театре наша старая пианистка, на этот раз из заключенных, — Евгения Михайловна Добромылова — сказала мне, что Тамара Юнгфер пустила обо мне слух, будто я «пишу характеристики» на наших бедных актеров... Впрочем, так говорили о многих. Я стала всех сторониться.

С Евгенией Михайловной Добромыловой, пожилой интеллигенткой, взятой из Ленинграда, возможно, всего лишь за «происхождение», мне было приятнее и легче в театре, чем с другими. Она прекрасно играла на рояле. Она, как и я, жаждала свободы, страстно и наивно верила разным слухам, что всех вдруг освободят, и ждала, умная, прекрасный человек... Она вскоре умерла от случайного отравления. В осенний вечер мы в одной с ней паре возвращались из театра в лагерь, и она жаловалась на сильную боль; ночью фельдшер предложил ей промывание желудка, но она отказалась; я сидела подле нее, пока под утро ее не взяли в стационар (лазарет), а через сутки ее не стало... И страшная Женька Белоусова — актриса театра и певица из заключенных, — захлебываясь от

А возбуждения и блестя голубыми глазами, рассказывала всем желающим, как присутствовала на вскрытии ее тела. Евгения Михайловна терпеть Женьку не могла и знала, что та стукачка, о чем предупредила и меня. Но только гораздо позднее мы поняли, что Женька еще и ворюжка.

Помню, как-то я написала Евгении Михайловне стихи, утешая ее, что она вернется на волю и что мы с ней

Забудем вышек странные кресты
И я и ты...

Она обрадовалась моим стихам как доброму предсказанию, бедная, бедная, ни в чем не повинная...

Ярко выделялась среди нас талантливая московская балерина Лола Добржанская, косоглазая и прелестная, жена актёра Мартинсона, который продолжал благоденствовать в Москве. Лола до ареста жила в свое удовольствие, но на беду влюбилась в красивого иностранца, к тому же еще из голландского посольства! Умница, острая на язык и обаятельная, она хотела умереть и постоянно об этом говорила. Умирая от полярной желтухи, она поручила мне, если я уцелею, повидать в Москве ее сына Сашу, передать ему привет от матери... что я позднее и исполнила, когда уже освободилась. После смерти Евгении Михайловны Лола стала мне ближе других. Блатные обожали Лолу, и все в театре ее любили. Она была лихой гусар, бесстрашно одним прыжком прыгала вниз с большой высоты на сцену, и на лету ее подхватывал тоже один из заключенных — москвич танцовщик Ванечка Богданов. Это было в «Холодке». Гусары кутили, и Лола плясала цыганскую пляску. Хоронили Лолу, желтую как шафран, в гробу, обитом серебряной бумагой, который сделали для нее в театре. За гробом, как надлежало, не шел никто, кроме одного конвойного...

Вышеупомянутая Женька Белоусова, ныне заслуженная опереточная дива провинциальной оперетты, в ту пору молоденькая талантливая красотка с тяжелой нижней челюстью и сильным голосом, стала сразу же одной из ведущих актрис Воркутинского театра. Это была циничная, прошедшая огонь, воду и медные трубы девка при немцах в Пскове. Она выдала псковских партизан, потом перекочевала с каким-то немецким генералом в Ригу, где ее и взяли после войны советские власти. Вначале приговорили к смерти, но ввиду ее молодости смертную казнь заменили пятнадцатью годами каторги. Она не замедлила стать любовницей некоего начальника лагерей, по ее словам, генерала Деревянко, и ей заменили каторгу десятью годами исправительно-трудовых лагерей. При его содействии она попала в Воркутинский театр и пользовалась успехом, но нравственное чувство в ней абсолютно отсутствовало. Впрочем, пусть о ней пишут другие. Мне неприятно писать на этих страницах о ней. Перечень неприглядных ее поступков в театре и в лагере обилён.

Была у нас еще яркая «дива» Лиана Кинисманова из Польши.

Она чаровала меня своим пением. Репертуар был у нее советский. Когда она пела про «Одинокую гармонию» или «Я тоскую по Родине», хотелось плакать. Она и внешне была по-своему привлекательна, несмотря на полноту, а главное сексапильна, чем широко пользовалась. Вскоре за очередной скандал ее «списали» из театра. Срок у нее был небольшой, с нашей тогдашней точки зрения: всего-то пять лет!

Коля Сорока попал на войне в плен и бежал из немецкого лагеря в Италию, где партизанил, а после войны вернулся на родину. Тут его сцапали и препроводили на «вольную высылку» в Воркуту. Он играл на скрипке, а когда умер хормейстер Георгий Иванович Жильцов, Сорока стал нашим хормейстером. Он однажды принес мне мешочек сырой картошки, когда у меня началась цинга, и всегда по-доброму ко мне относился. Он был влюблен в красавицу Алмазу Балта из Баку — танцовщицу. Он повесился в один январский день в 1951 году. Мир праху его...

Костя Иванов тоже был в плену и бежал и так же попал на Воркуту, но уже сразу в лагерь. Красивый, высокоодаренный актер, хороший человек, интеллигент, ленинградец. Он повесился с тоски на чердаке Воркутинского театра в 1950 году. О, как печально... Так ясно встал он сейчас передо мной... Как он шел тогда по коридору мимо меня с черным лицом, и мне хотелось броситься к нему, что-то хорошее сказать! Но я не осмелилась... Когда пришло время уводить всех в лагерь, его хватились, хотели уже объявить побег... Упокой, Господи, душу его.

С искренней симпатией вспоминаю хороших людей, старика Харламова, Валентину Георгиевну Токарскую, Рафаила Моисеевича Холодова и многих других. Это были люди культурные, достойные уважения и талантливые артисты. Токарская умная, элегантная, умела блестяще исполнять любую роль, любую песенку.

Но талантливее всех был Изя Вершков (Израиль Львович Вершков).

Когда его арестовали, ему было двадцать три года и он учился на третьем курсе ГИТИСа в Москве, где был «сталинским стипендиатом». Дали ему восемь лет лагерей по статье 58-10 и сослали в Воркуту. Талантливый, красивый, с правом на блестящее будущее, ни в чем перед Родиной не виноватый... «Сыграем Ромео», — говорил ему в ГИТИСе Завадский... Родители Изи — жители Киева: отец портной, простая еврейская семья. Когда его привезли на пересылку, доктор Нимбург, заключенный, работавший в нашей лагерной больнице, вызвал туда меня, познакомил с Изей и просил уговорить Мармонтова взять Изю в театр. Я пошла к Мармонтову. Должна сказать, что у меня безошибочное чутье на талантливых людей. Я убедила Мармонтова. Изю Вершкова взяли в театр, где он сразу же стал играть первые роли. Все в театре и в городе полюбили его. Мать его приехала на Воркуту и тайно повидалась с сыном — молодая красавица чисто украинского типа. Однажды вечером за кулисами после спектакля — шла оперетта «Акулина»,

в которой он играл главного героя — Берестова, Изя стоял печальный и, увидев меня, сказал:

— Так хочу поговорить с вами, Татьяна Ивановна. Я завтра зайду к вам в библиотечку, можно?

Наутро он попал под грузовик, когда из лагеря они все шли в театр,— Изя бросился помогать вытаскивать грузовик из снега. Вольные и все мы оплакивали его гибель. Ему только что исполнилось двадцать пять лет. Его, как и миллионы лучших людей России, раздавила сталинская зловещая эпоха. В июне, когда стаяли снега, приехала его мать. Из молодой красавицы она превратилась в старуху. Она упала около лестницы в театре и ползла по ступенькам, обливаясь слезами:

— Вот здесь его ноженьки проходили...

Мне было бы легче, если б я одна испытывала горе или если бы нас было немного, но кругом было несметное количество таких же несчастных... Горы людского горя!

Я работала каждый миг, чтобы не думать, не вспоминать. Больше всего я боялась заработать новый срок — «лагерный» (о чем на первых же порах предупредила меня хористка театра Вера Владимировна Флекель, пожилая, но милого вида крымчанка, попавшая на Воркуту после немецкой оккупации из Ялты,— с голодухи она сожительствовала с каким-то немцем).

Я избегала в лагере и театре общения и разговоров. Единственное, чего мне хотелось,— это остаться незаметной, незамеченной. Я никому ничего о себе не рассказывала и всех сторонилась. Позднее, уже после театра, в лагере «Горняк» на Сивой Маске, я подружилась с Женей Шмидт и Леной Ильзен, которые и по сию пору остались мне близкими подругами.

Отводила в театре я душу за роялем в часы перерыва, когда всех уводили в зону, а мне подчас удавалось остаться под предлогом, что надо отрепетировать аккомпанемент или переписать ноты. Музыка, неведомо как, утишала горе, не исцеляя его... И еще писала стихи — вернее, они писались сами, запевались во мне, как песни. От них тоже становилось как-то легче...

Театр был небольшой — на четыреста тридцать два места, но уютный, и в нем всегда было тепло, и мы все были глубоко ему преданы. Воркутяне с большой охотой его посещали, и у театра даже было прозвище — «Жемчужина Заполярья».

В первых рядах сидело начальство, конечно. Спектакли шли слаженно, старательно отрепетированные, актеры действительно «отдавали себя сцене», и атмосфера была отменно творческой. Эти спектакли доставляли истинное удовольствие даже искушенным театрам — людям, избалованным лучшими московскими постановками. В театр отбирали людей талантливых. А мы все не только любили наш театр, но и были так ему благодарны: ведь он был не только прибежищем, но и давал возможность соприкосновения с искусством. Не хлебом единым...

Передо мной вереницей проходят актеры, хористы, оркестранты,

рабочие сцены... Две юные красавицы — Маргарита и Адочка Резвих, особенно Маргарита, такая красивая, что глаз нельзя было оторвать. Она пела, а Адочка танцевала. Их отец был немецкого происхождения, и всю семью отправили в начале войны на Воркуту, на так называемое «вольное поселение». Девушки жили с матерью, русской оперной певицей Новоборской, не в лагере, а в городе Воркуте на квартире. Обе были талантливые и очень милые. Юноша из Минска Володя Светлов пел и в опере и в оперетте, но роли у него были не из главных. Были еще две удивительно хорошенькие девушки — Римма Романова и Таня Палагина, блондинка с глазами как фиалки. Но я со всеми держалась особняком. В лицо я помню многих, но как их звали — забыла.

Помощник режиссера Леша Горячев, молодой ленинградец, интеллигент, болельщик за каждую постановку. Он воевал и попал в плен, а после очутился на Воркуте.

Красивая костюмерша Зоя Павловна из Усть-Цильмы, куда она звала меня приехать на жительство после моего освобождения. У нее был небольшой срок. Вся она была какая-то плавная, очень русская, мне до сих пор хочется ее навестить.

Георгий Иванович Жильцов, хормейстер Воркутинского театра, в прошлом учитель из Читинской области, в 1937 году был сослан в Воркуту как троцкист и, отсидев десятилетний срок, был прикреплен к оной навечно. Он никогда троцкистом не был.

Строгий, даже грубый старик, в работе взыскательный и придирчивый, в свободные минуты балагур и насмешник, он сильно пил и в пятидесятом году спился вконец. И помер — царство ему небесное, если таковое есть, ибо на земле ему жилось крайне горестно...

Шел 1949 год, прошло около двух месяцев, как меня взяли в театр, и за это время успел уже повеситься бедный Саша Стояно, дай ему рая, о Господи, хотя бы за то, что у него была такая короткая, но такая несчастная жизнь. И еще за то, что он послал «по воле» мою первую после ареста телеграмму домой, и еще за то, что он великолепно играл на рояле, а главное, помогал, как мог, всем, кому попало, буквально делясь последним куском. Был он артистичен, работал в театре не за страх, а за совесть. Он был тоже «на вольном поселении» и жил одиноко — небрежный в одежде, лохматый, с интересным, умным лицом. Бедный Саша Стояно...

Георгий Иванович с самого начала угрюмо приглядывался ко мне, подошел однажды и сказал:

— Мне говорили, вы на рояле умеете играть. Пойдемте-ка, посмотрю, как вы с листа разбираете.— После чего он предложил мне аккомпанировать хору, строго сказав: — Иначе вас спишут, и придется вам работать на общих работах, а ведь на них вы быстренько загнетесь. Будете здесь хору аккомпанировать, на сцене иногда играть и библиотеку вести. Кое-какие клавиры надо переписать, оркестровки будут в вашем ведении.— Он продолжал: — Надо партию виолончели, просил Микоша, переложить для скрипки, и много

всякого такого. Работы хватает, но это работа в театре, в закрытом помещении, в тепле, не в пургу среди блатных... Смотрю я на вас, пока что вы себя соблюдаете, но я вам говорю: через год вы уже станете с кем-то жить, а потом по рукам пойдете; я много вашей сестры перевидал, ни одна не уцелела, вы меня не уверяйте, я через годик на вас посмотрю.

Через год Георгий Иванович стал относиться ко мне с подчеркнутым уважением, доверил мне всю «библиотеку» — так называлась маленькая комнатка наверху, слева от осветительной будки. Я прозвала ее «каютой». Там находились ноты, клавиры, пьесы и книги, которые нам выдавала по списку городская библиотека. Список составляла я, выписывая главным образом все, что относилось к древней истории, особенно к Египту. Наш Воркутинский театр странным образом представлялся мне египетской пирамидой... Георгий Иванович редко заходил «проверить» инвентарь, он полностью полагался на мою аккуратность. Он пил все сильнее. О себе рассказывал скупно, но как-то упомянул, что во время войны, не то в сорок втором, не то в сорок первом, уцелел чудом:

— Всех «каэрде» — «контрреволюционных деятелей» — вывели за зону и расстреляли. Просто так. На всякий случай. Я в ту пору в стационаре лежал, болел, про меня забыли, что ли...

Все в театре относились к нему с симпатией и большим уважением.

В библиотечке стоял большой сундук, где хранились клавиры, еще стоял столик со стулом, а по стене шли полки, на которых располагалось вверенное мне имущество.

Окно было двойное, восьмиугольное, небольшое и закрывалось плотным деревянным щитом — в окне и щите было отверстие, из которого в «каюту» торчала длинная жестяная труба, конец ее можно было открывать и закрывать при помощи железной нащепки. Во время пурги ветер в трубе завывал на все голоса, но в спокойную погоду, когда от мороза щит даже изнутри покрывался снежным налетом, я держала трубу открытой, так как в комнатике было невыносимо жарко и от отопления, и от осветительных фонарей, которые стояли близко и освещали сцену. Электрики научили меня работать с ними, и в нужные минуты я электрикам помогала. Я поставила себе табуретку под фонарями и смотрела оттуда все спектакли, в которых была не занята. Занимали меня редко на сцене, так как Георгий Иванович считал, что отрывать меня от основной работы нельзя. Один электрик, дай Бог ему здоровья, сделал мне «жулик»-грелку, и я кипятила себе чай в большой банке и даже умудрялась варить картошку, которую мне принес в мешочке добряк Коля Сорока, когда у меня началась отчаянная цинга. Он советовал мне тонко нарезать ее сырую и жевать подолгу. Действительно, нарывы во рту прошли недели через две, рот перестал мучительно ныть.

В углу моей «каюты» вдруг появился на жите большой черный паук. Я очень его полюбила и старательно кормила хлебными

крошками и водичку ему ставила в блюдечке — ведь мух-то не было! Еще жили в моей «каюте» крысы — в театре их вообще было много. Один маленький черный крысенок бесстрашно появлялся на стеллажах с нотами. Он совсем меня не боялся, но и ничем мне не мешал: миленький крысенок!

Иногда кое-кто из вольных актрис — таких у нас было четыре-пять человек — приносил кому-нибудь из нас то кусок пирога, то котлету. Однажды молодая уборщица нашего театра, с которой я очень редко общалась, через неделю после своего освобождения принесла мне в судках целый обед: настоящий борщ!.. Не забыть мне этого, а имени ее не помню. Дай ей Бог счастья! Каждое малейшее проявление человеческой доброты радовало, как неожиданное чудо, и облегчало наш путь.

Но тесным кольцом окружало нас зло, душило, ужасало. Внезапно вспышки необузданного гнева, доводящие до убийства... Но этому я была свидетельницей в лагере, а в театре у нас такого не бывало.

Когда позднее мне пришлось, как и всем нам, заключенным, распрощаться с театром, я, зная, что Юнгфер поедет вскоре, как всегда, в отпуск в Москву, просила ее отвезти Аленушке, моей дочери, тетрадь моих стихов да письма ко мне детей и моего отца, умершего той осенью. Юнгфер, безусловно, могла отказать мне, но, проглядев при мне содержимое пакетика, она охотно согласилась и твердо обещала передать. Но слова своего не сдержала и никогда этого не сделала. Пакетик канул в Лету...

Несколько лет тому назад мы с ней в Москве случайно встретились на концерте в Зале Чайковского. Юнгфер растерялась при виде меня и на мой вопрос, что случилось с пакетиком, сбивчиво сказала, что оставила его в театре, где он и сгорел во время пожара. Но наш Воркутинский театр сгорел уже много лет спустя после ее обещания?.. Сколько же времени дождался мой бесприютный и лишь для меня одной драгоценный пакетик своей горькой участи... Очевидно, соврала мне Юнгфер, а просто оставила мои стихи себе.

В театре относились ко мне хорошо, включая и строгого человека — директора театра Мармонтова. В нем было чувство справедливости, в чем мы все неоднократно убеждались. Он был с нами сух, но всегда корректен, да и вообще необходимо сказать, что в театре не было места хамству, подсиживанию... Даже доносительство, по-видимому, не очень-то процветало. Очевидно, дирекция театра сии пороки не поощряла...

Декорации к спектаклям рисовал и оформлял отличный театральный художник из Москвы Бендель, ему помогали рабочие сцены, все они заключенные. Дирижером было двое! Виельгорский из Киева и Владимир Владимирович Микоша из Москвы. Заключенные. Оба были консерваторцы, профессиональные музыканты, хорошие люди. Главным режиссером был Николай Иванович Быков — вольный, актер Камерного театра в Москве, интеллигент, хороший режиссер. У него были добрые, все понимающие

глаза, но он, естественно, в близкие отношения ни с кем из нас не вступал. Репетировали утром, а вечером давали спектакли почти ежедневно. Работали помногу, в полную силу. Шли оперы: «Евгений Онегин», «Паяцы», сцены из «Князя Игоря»... Оперетты: «Холопка», «Вольный ветер», «Сильва», «Веселая вдова», «Свадьба в Малиновке»... Пьесы советские и классика, перечень столь длинный, что всех не упомяну. Обширный репертуар. Из заключенных прекрасно пела Валя Ищенко, молодая, миловидная киевлянка. Из вольных главными были Наталья Ивановна Глебова и Вера Макаровна... фамилии не помню, обе приятные внешне, хорошие актрисы. Талантливая, блестящая актриса Московского театра сатиры Валентина Георгиевна Токарская, заключенная, нравилась мне больше всех.

Мрачный город Воркута... Пурга, как будто вся земля кричит и воеет от невыносимого, безысходного горя — кипит метель, ветер рвет и хлещет, и ты бредешь, грудью проламывая себе дорогу в этом хаосе, ибо знаешь: остановишься — и конец... смерть, — и идешь, задыхаясь, падая, вставая вновь, инстинктивно угадывая дорогу, всеми фибрами своими цепляясь за жизнь.

Раз как-то глубокой ночью я возвращалась из Воркутинского театра на ОЛП (особый лагерный пункт), идти далеко, через реку, с горы на гору, кругом тьма кромешная, ни души, только электрическая станция — ТЭЦ — сияет огнями, возвышаясь над городом и рекой, как корабль, уплывающий в Вечность. Снопы огней где-то далеко.

К этому времени я была «расконвоированная»; в театре оставили только двух из заключенных женщин — меня и портниху. Я должна была идти без конвоя в полном одиночестве по установленному маршруту из лагеря в театр и ночью обратно в лагерь. Как я боялась! Семь километров в жестокий мороз, в пургу... Иной раз над головой в ночном небе свивалось и таяло зеленое полярное сияние... Ни разу ночью мне никто не повстречался, а в театре один из заключенных мужчин мне сказал:

— Вы не бойтесь — вас никто никогда не тронет. Идите смело. Легко сказать...

Помню, раз в пургу я упала на дороге и завывала в голос ветру, умирая от горя, страха и усталости. Изнывая от мысли, что не хватит сил подняться и я тут замерзну, пурга занесет сугробом...

Мысль о детях моих, упрямая воля дожить заставили встать, довели до лагеря...

На вахте дежурный надзиратель сказал мне:

— А мы уж думали...

И вот сейчас, когда я сижу в тепле, в красоте и уюте моей маленькой московской квартиры, в памяти моей так явственно возникает темное небо, а на нем полыхают, сливаются, тают бледно-зеленые лучи — и вдруг весь купол небесный озаряется фосфоресцирующим светом и розовеет, и алеет, и бледнеет, угасая... Долго длится эта тихая небесная игра. Я гляжу, запрокинув голову. А кру-

гом бескрайние снежные просторы... Мороз, как кипятик, захлебываешься, задыхаешься от холода, тяжело дается ходьба...

И еще помню. Мы ночью идем парами все вместе из театра в лагерь. Вдруг окрик конвоя: велят нам отойти к обочине дороги, и мимо нас шагают ряды мужчин — понурых, горестных — темная масса; кругом конвоиры с автоматами и конвоиры с собаками на ремнях, собаки яростно лают и бросаются на людей, а те бредут медленно, тяжело, свесив головы, опустив глаза долу, руки назад... да многое вспоминается.

Всех заключенных удалили из театра в 1952 году. Наконец последних — портниху Елизавету Михайловну и меня — тоже списали. Оставили в театре лишь «вольных» да тех, кто уже освобожден.

В феврале 1952 года стояла лютая стужа, этап отправлялся за семьдесят пять километров или немногим больше на Сивую Маску, в совхоз «Горняк». Невыносимо грустно было покидать театр... Впереди меня ждала полная неизвестность. Но в момент отправки, помню, до глубины души я осознала с облегчением, что дорога на Сивую Маску лежит к югу! И что вместо тундры там будут уже карликовые березки и ели... Как сильно тосковала я еще и по деревьям!

Спасибо вам, дорогие Григорий Маркович и Ольга Владимировна, за Доброту.

Еще о Воркуте.

В 1950 году, помню, в Сочельник, я шла на ОЛП с веточкой ели — я заботливо подобрала ее в театре, там устраивали елку для вольных. Несла ее, чтобы украсить и порадовать ею весь наш огромный первородный по хаосу и составу женский барак по ту сторону реки Воркуты. Ночью в барак врвались мужики, насилуя женщин, дрались между собой блатные воровки и убийцы. Нас, «58-х», в этом бараке было немного; состав менялся, я и портниха Елизавета Михайловна постоянно жили в нем и ходили на работу в театр по пропуску. Остальной состав менялся — это была пересылка. В ту ночь я вошла — и меня поразили тишина и чистота. На полу на коленях стояли женщины и молились. Дня за два привезли группу западных украинок — «58-х», и вот они устроили Сочельник. На коленях стояли все, а украинки пели молитвы. Поют они вообще замечательно, поют без нот «а капелла», изумительно вторят по слуху на четыре голоса. Нет, этого мне никогда не забыть! Они пели, а мы слушали; даже самые страшные — «беспредельщина» — притихли, стали на минуту «как все». Потом столы поставили в ряд, накрыли их белыми простынями, и каждый из нас дал все, что имел, «на угощение». Елочку мою вставили в бутылку, повесили на нее конфеты, даже мандарин у кого-то нашелся, и даже кусочек восковой свечи прикрепили сверху и зажгли. Мы сели за стол, все вели себя чинно, тихо, всем подали чай в кружках,

всех угостили... В эту ночь мужики прийти не посмели, «посовестились», как сказала старшая блатная.

А я, когда мужчины врывались в барак, бывало, заколочусь от ужаса у себя на нарах, с головой укрывшись одеялом, ведь ничто не спасет, а потом, махнув на все рукой, — все равно ведь — как судьба! — засну крепко-накрепко, и мне снятся блаженные сны... Никто никогда пальцем меня не тронул. Утром однажды проснулась, а из-под моей койки вылезает молодчик (судился за многократные убийства, срок вечный, ох и страшный!), ухмыльнулся:

— Простите, мамаша, пришлось под вами притулиться.

Я спокойно ответила:

— Всяко бывает, молодой человек.

Я всегда и со всеми была вежлива, но строга, не допускала с блатными ни малейшей фамильярности. Ни с женщинами, ни с мужчинами. Они уважали меня... Подчас от неприязни, злобной сплетни, одного слова зависела не только судьба, но сама жизнь человека... Никогда ни при каких обстоятельствах я не предала никого.

Помню, вечером вдруг «особая» переключка. Обычно нас считали вечером и утром, а тут по формулярам. Я стояла рядом с Надеждой Александровной — пожилой женщиной с приятным, строгим лицом — знаменитой воровкой. Много раз сидевшая, совершившая несколько побегов, она была похожа на почтенную учительницу. Ее боялись все блатные — мужчины и женщины. Ко мне она относилась с исключительным, подчеркнутым уважением, и ей, возможно, я обязана жизнью... Вызывал по формулярам старший нарядчик Тимоша, в прошлом Герой Советского Союза, человек жестокий, красивый, высокого роста, при мне и со мной всегда вежливый. Вызвал меня — я ответила. Вызвал Надежду Александровну — она ответила тихо.

— Громче! — заорал он и грубо что-то прибавил.

— Такая-то, — ответила она и еле слышно сказала: — Я тебе попомню, как вежливым быть!

Это было часов в девять вечера. А на рассвете Тимошу зарубили топором. Надежда Александровна, услышав об этом, бровью не повела. Но когда я утром уходила на работу в театр, она молча посмотрела на меня долгим успокаивающим взглядом...

По дороге на вахту на узкой тропинке за глубокими сугробами я столкнулась с молодым красавцем. Ну и красив же он был! В белоснежной заячьей шапке, а глаза как голубые молнии, право! Он пронзительно посмотрел на меня, я на него сурово, — страха я не почувствовала, хоть и поняла... Он посторонился, и я прошла, спиной ощущая, что он стоит, смотрит мне вслед и держит за пазухой нож, но понял, что на вахте я НЕ ДОНЕСУ.

Вечером, когда я вернулась, Надежда Александровна спросила меня:

— Утром вы никого не встретили? А то ведь я сказать велела, что вы «в законе»...

Этот красавчик в белой шапке по приказу Надежды Александровны на глазах у всех зарубил Тимошу. После днем его посадили в Бур в кандалы, но ночью он уже был у нас в бараке и «праздновал».

Надзиратели боялись таких «беспредельников». Да и что можно сделать с такими?

Много повидала я убийц — и женщин и мужчин. И, пожалуй, отличу их по глазам. У них есть что-то неподвижное во взгляде. Страшные это люди, и исправить их ничего не может, ибо они больные, их лечить нужно.

Помню, когда у меня еще не было пропуска и в театр мы ходили целой группой, к нам на пересылку привезли около тысячи человек самых страшных бандитов. Их посадили в огромный барак и наглухо заперли, предварительно обыскав, раздев догола, отобрав все ножи и прочее. Наутро из этих барაკов они сами повыбрасывали за дверь несколько мертвецов — задушили ночью; как пауки в банке, они пожирали друг друга.

Нас в тот день, как всегда, увели в театр, а на крышах барაკов поставили солдат с пулеметами на тот случай, если б блатные взбунтовались и взломали барაკи. Вечером, возвращаясь на пересылку, мы слышали пулеметные очереди и отдельные залпы. Нас долго держали на вахте, наконец впустили во двор. Наши барაკи были за мужской зоной. И вот видим: во дворе много начальства, стоят тесной группой, а перед барაკами рядами стоят на коленях бандиты. Прямо в снегу. При малейшем признаке неповиновения пулеметы застрочат... Перед этим стреляли «для морали».

Мы шли как бы сквозь стену страстей, готовых разразиться шквалом. Эти мужчины так давно не видели женщин... В ту ночь их погрузили в вагоны и увезли в лагеря смертников на Землю Франца-Иосифа. Возможно, среди них были и политические.

А женщины-бандитки, которые топорами отрубали головы у своих же! Так зарубили они Китайку — красивую молодую воровку.

Я рзучилась писать. Чтобы передать все, что я видела, — нужны другие слова, какие — не знаю, не умею найти их.

Мне там было бы легче, если б я была одна или нас было бы немного. Но видеть тысячи людей по 58-й статье, не виноватых ни в чем, ощущать их огромное горе! Видеть слезы и БЕЗНАДЕЖНОЕ ОТЧАЯНЬЕ несчастных, которые на наших глазах превращались из красивых — в уродов, из молодых — в стариков. Нет, описать этого я не умею. Я старалась не думать, не видеть, не слышать. Я сама была самой неслышной, самой невидной, старой, изможденной, ледяной. Работала каждый миг. Чтоб не истекать кровью от разлуки с детьми, с жизнью, с прелестью жизни.

Не помню, чтобы хоть раз я засмеялась в те годы. Я застыла. Я не вспоминала. А только страдала, непрерывно, безысходно.

Даже и то самое страшное, что случилось со мной в первые воркутинские дни, не выделялось уже ничем от непрерывного, однотонного, гнетущего горя...

Я очень тосковала также — смешно сказать! — о розах. О свежих розах! Вот подержать их в руках, вдохнуть их аромат, увидеть воочию, что они есть на свете. И тосковала по деревьям, которых не было начисто в течение бесконечно долгих лет...

24 декабря

Кажется, будет Чудо...

Кажется, моя — через всю жизнь — Мечта о «вместе», о любви, о верности до гроба, о нежности, как в той балладе Шопена, кажется, это Чудо, это Счастье — воплотится. Когда как будто всему полагалось бы быть позади, как полагалось бы и мне быть старой... Но недаром «упрямый огонь где-то на дне» не сдавался, никак не мог угаснуть, несмотря ни на что. Никого в жизни не любила я с такой нежностью, так от всей души, так до слез умиления, так без всякого «театра для себя», как люблю сейчас моего седого чудесного Василия Васильевича Сухомлина.

У меня с Воркутой связано очень страшное, невыносимое воспоминание, выпавшее мне тогда на долю... Многие годы я была ледяной, мертвой. Нет, я не сделала себе кумира из того воспоминания, я не ношу в себе ни озлобления, ни чувства позора; ни даже печали уже не осталось — что такое могло произойти с той нежной певчей птицей Татьяной, которой я была... Оно было как итог всей нестерпимой гнусности тюрьмы, следователя Полянского... всего того, о чем написать у меня нет слов.

Для меня Чудо и Счастье, что не «то» было концом моей женской жизни. Нет, все-таки победила я, а не все то. Та точка стала многоточием, а не точкой в конце. Меня сейчас любят, гладят мои перышки, радуются на меня; но не только в этом дело, а что это вот ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК, такой, как Василий Васильевич. Господи, я не знаю, может, я завтра умру, но благодарю тебя, жизнь, за то, что ты ниспослала мне под конец жизни такое светлое счастье — встречу с Василием Васильевичем! Значит, вся моя жизнь была в итоге — счастливой!

2 января 1957 года

День свадьбы мы считаем 31 декабря 1956 года. Василий — веселый и нежный ангел, нам счастливо вместе. С тридцать первого декабря мы поселились на квартире, которую он получил.

20 марта

Да, я люблю его. Лиля Юрьевна спросила меня сегодня:
— Вы еще не ссорились?

Я рассмеялась в ответ. Нам интересно вместе и весело. Только бы он был здоров, только бы это длилось долго! У меня новый

паспорт теперь. Я — Сухомлина. И могу сказать старомодными словами: «Я горжусь тем, что ношу его имя».

У нас была свадьба — около сорока человек гостей. Все мои подружки и знакомые явились с подарками. Очень весело и запросто было. Потом, очевидно от «перетрясения», я заболела воспалением легких. Вася так испугался, бедный. И тут приехал Ванюша, очень помог, готовил еду, хозяйничал, убирал. Худощий, высокий, милый. Ване очень понравился Василий Васильевич. Сейчас я поправилась и страшно растолстела, даже противно. Но еда есть все время, и вкусная. У Василия Васильевича есть двоюродная сестра — Наташа Резникова в Париже. Она по просьбе Васи напisyсала мне чудесных одежд и духи! И я, кажется, буду к весне вполне душистая и пушистая. Это очень приятно!

Недавно мы ездили в Рузу, в Дом творчества композиторов. Нас пригласили туда Майзели. Он — композитор, она — художница. В огромном парке — в лесу, на берегу Москвы-реки, разбросаны уютные домики, по три комнаты, удобно, тепло, рояль, приятная мебель, чистота, уборщица убирает, истопник топит печки. Воздух душист от огромных сосен, много разных птиц: синицы, сойки, воробушки, сороки, галки — утром рано начинается чириканье. Иногда по утрам приходилось «откапываться» — так много снегу выпало за ночь. Мы ходили в большую столовую, еда обильная и очень вкусная; в столовой же смотрели телевизор, кто хотел, играл в шахматы, пинг-понг, катался на лыжах. Все дали валенки, они ему очень шли, и ему было тепло.

Вечером Виктор Белый и Андрей Волконский блистательно играли в четыре руки. Оба — великолепные пианисты. Андрей по-настоящему талантлив. Еще в Париже я знала его родителей: Михаил Петрович Волконский печатал на машинке мой первый в жизни перевод — «Любовник леди Чаттерлей» Лоренса. В ту пору Михаил Петрович только что женился на Кире Георгиевне, она была хорошенькая, молоденькая. Работала манекенщицей в Доме мод у Шанель. Андрей внешне ничего не взял ни от отца, ни от матери. Ему двадцать три года, он близорукий, в очках. Некрасив, но красивы маленькие уши. Со мной он мил и воспитан, но бывает груб и нетерпим с другими. Иногда он впадает в глубокую депрессию. Был недавно в лечебнице для нервных больных. Ушел из консерватории, не захотел учиться у Шапорина, ссорился с преподавателями, дрался с товарищами. В Рузе он часами играет в пинг-понг и ходит на лыжах. В музыке увлечен декафонизмом. Талантлив, его сочинения интересны, своеобразны. Что-то будет с ним дальше? Когда мы у Майзелей познакомились, он сказал мне:

— Так вы та самая Татьяна Ивановна, о которой мне так много рассказывали в детстве мама с папой?..

Михаилу Петровичу я навсегда благодарна за Майорку. Помню, в Париже с сентября месяца беспрерывно шел дождь. Ежедневно в воздухе висело мокрое серое ситечко дождевых капель.

А я была беременна Аленочкой, и мне до боли физической хотелось солнца! Разговор с М. П. произошел в марте:

— Куда поехать, чтобы была красота, чистота и недорого? — спросила я Михаила Петровича, который объездил полмира.

— На Майорку, — сказал он. — Это рай, а кроме того, там к кофе подают самые вкусные булочки на свете — энсеймадас!

И я тут же отправилась на Майорку. Был март 1931 года.

Слова его оправдались. Давно это было, но, как сейчас, вижу я тот благословенный остров. В воздухе был разлит мир, дружелюбие, блаженный покой; зрели апельсины и лимоны, цвели гранатовые деревья, абрикосы, яблони... Я жила сначала в гостинице у базара, а потом над морем — обширная терраса, на которую открывалась дверь моей комнаты, стояла на сваях в море, и мне казалось, что я все куда-то плыву. Счастье все время пело во мне... Это было в Пальме, в Кас-Катала... Случайно я познакомилась там с американцем, геологом Джо Холлистером. Он был племянник знаменитого журналиста Линкольна Стеффенса. Джо рассказывал о жене Кэй и дочурке, они должны были приехать в Париж. Джо мечтал, что мы все подружимся. Стеффенс ездил в Советскую Россию и в нее влюбился, как и Джо — в меня...

Итак, теперь — Старая Руза... Места кругом исторические, Бородино неподалеку, и в парке композиторов курганы, где зарыты французы, солдаты наполеоновских войск... А по дороге — памятники нашим бойцам, погибшим в боях немецкого наступления сорок первого года... Здесь был знаменитый рейд генерала Доватора. Признаюсь, мне было печально в Рузе, — я не могла уйти от мысли, что вся земля полита кровью. Сколько их полегло, юных, веселых, возможно, талантливых, лучших, имеющих такое абсолютное право на Жизнь...

Композиторы могут жить и работать в Доме творчества два с половиной месяца в году — даром и на всем готовом. Дом содержится на отчисления от Фонда композиторов. Поистине это великолепно! И мы наслаждаемся концертами!

Аленка часто бывает у нас. Я всегда стараюсь ее вкусно накормить. Бедняженька, ей одиноко у себя в доме. Грустная жизнь быть около Цаплина, сумасбродного, скупого. Конечно, он очень талантливый скульптор. Великолепен бюст Ленина, который он вдохновенно сделал еще в 1926 году! Цаплин, действительно, всего себя отдал искусству.

29 марта

Открылся съезд композиторов. Мы были на концерте: Шостакович — Пятая симфония и Скрипичный концерт. Дирижировал Курт Зандерлинг. Он мало изменился как дирижер. Пятая звучала вяло... Ойстрах — не понимаю, почему его считают таким хорошим скрипачом. Скрипач вполне приличный, но не больше. Музыка сама по себе — великолепная. Хлопали. Шостакович выходил, неловко кланялся, похожий на мальчика в очках. Много было знакомых.

Андрей Волконский — как птенец, вывалившийся из гнезда.

Василий выглядел истым академиком. Президентом!

Кажется, будет договор на книгу Д'Астье «Лету нет конца» с журналом «Иностранная литература». Книга хорошая. Д'Астье был у нас в гостях — интересный человек, настоящий француз из «Трех мушкетеров». С французами, и только с ними одними, я чувствую, насколько они культурнее, тоньше, чем я. «Последние из могикиан» в европейско-американском глухом нынешнем средневековье. Страшный век, в котором мы живем, а жизнь, воздух, солнце, деревья, дети — так прекрасны, милы мне, дороги, нежно любимы... И все это — от водородных и прочих бомб, выдуманных взрослыми, будь они прокляты, — может взорваться, лопнуть, обуглиться...

На Воркуте сгинула моя тетрадь со стихами. Помню начало одного из стихотворений, остальное начисто забыла:

Я мчусь на экспрессе, жестоком, мгновенном.
Мне жаль не себя, но других под откосом.
А кто-то сказал, что радость нетленна,
Ее не убить беспощадным колесам...

По памяти я многие мои стихи восстановила!

22 июля

Приехала из Нью-Йорка Оля, двоюродная сестра Василия, она жена Вадима Андреева — сына Леонида Андреева. Она приехала со своим сыном Сашей, двадцати лет — красивый мальчик, вылитый дед. Оля говорит:

— Тanya, если бы вы знали, как любили Васю женщины! И какие!

Ей хочется меня уязвить. Ее недаром прозвали кошкой. Она сказала:

— В советских женщинах нет огня!

А мне все нипочем. Я знаю, что он никого так не любил, как меня.

Вообще следовало бы ежедневно вести дневник. Противновато, когда вспомню, как его читали на Лубянке все, кому не лень. И если «проклятые» американцы снова будут затевать что-нибудь, вероятно, всех тех, кто бывал в США, снова посадят — так, на всякий случай. И снова будут читать их дневники...

ЗаклЮчила договор на «Трильби» с Гослитиздатом.

«Женщина в белом» в типографии. Отзывы о моем переводе — хорошие.

Был Ванюша проездом на практику на Урал. Худой, красивый, приехал злой и мрачный, уехал веселый.

Бабушка душил его своим обожанием.

Аленка стала хорошо одеваться. Но мужчин мало, замуж не

за кого выходить. Об этом говорят многие девушки у нас. Мужчин перебили на войне.

Приехали и Ариадна Сосинская с сыном Сережей; ждет мужа и второго сына Алешу, который хочет поступить в МГУ на математический. Они кузины Василия, милые, особенно Оля, и мне с ними легко. Сверхинтеллигентны и прожили жизнь в Италии, Франции и США. Но остались русскими. Вадим Андреев — элегантный, пишет стихи, написал прекрасную книгу об отце — «Детство». Они хотят остаться жить здесь. Да, без Родины я себе не мыслю жизни. Я не могла бы. Я не смогла. Конечно, налет американизма в них сильный, особенно в Саше Андрееве. Он — студент Колумбийского университета, отлично учится, спортсмен. Но уже немножко сноб и самоуверен, как и его отец. Ваня ему очень понравился, а также Юра Хетагуров, который приехал тоже и ходит за Ваней по пятам, как жеребенок за конем.

На днях открывается Шестой Всемирный молодежный фестиваль, и Москва украсилась плакатами, лентами, голубями. Саша помогает Василию с корреспонденциями. Василий устроил так, что Сашу аккредитовали при отделе печати, у него значок «Пресса» и карточка корреспондента «Либерасьон», — Сашка горд ужасно! Но чем-то он мне неприятен... Они все ужасно самоуверенные и не скрывают, что считают «советских», то есть всех нас или почти всех, бескультурными. Дикарями!

25 июля

Вчера нежданно-негаданно приехал Киска Резников — сын парижской Наташи, двоюродной сестры Василия. Их три сестры: близнецы Наташа и Оля, дочери художника Митрофана Федорова, и младшая Ариадна, дочь Виктора Чернова. Они дочери Ольги Елисеевны, тетки Василия. Вот этот мальчик мне понравился. Ему девятнадцать лет, но он умнее и взрослее Саши Андреева. Бледное сильное лицо и темные глаза. Он учится в Сорбонне на физико-математическом и приехал на фестиваль как делегат от студентов-коммунистов Франции. Кроме того, он композитор. Интересно, как ли он талантлив, как обещает его лицо. Он красив, но импонирует вовсе не его красота, а одухотворенность. Он веселый. Сашка и Киса ночевали у нас и проговорили всю ночь — спали на кухне, на полу. Мне горько жаль, что нет Ванюши, ему так надо было бы знать таких вот, с такими общаться... По сравнению с ними Ваня дикарь, примитив. Посмотрим, что за третий племянник — Алеша Сосинский, двадцати лет, медалист Нью-Йоркского университета, математик. Он должен сегодня приехать из Нью-Йорка через Прагу самостоятельно. Как жаль, что все трое на пять лет младше Алены. Саши она дичится, так как он из Америки, хотя и русский по рождению. Я сама боялась встречаться с ними, — опять иностранцы! Но это было неизбежно. Было бы дико и неестественно из-за своей травмы и страха — арест и Воркута —

не увидеть их, когда они Васины родные! И им это показалось бы ужасным и нелепым. Они ничего не знают обо мне. Они — энтузиасты, все им здесь нравится, они умиляются на все и почему зря ругают Соединенные Штаты.

О себе и о своем прошлом никогда я с ними не говорю, и они не спрашивают, по-моему, им и в голову это не приходит. Привезли мне кое-что из одежды и шубку из нейлона. Я одета теперь, но сами они не отличаются вкусом и элегантностью, а просто хорошо одеты. Милые, культурные женщины, мне с ними легко и просто. Адя Сосинская с семьей в будущем году совсем переезжает сюда из США, они собираются построить дачу. Адя скромная некрасивая женщина. Оля Андреева — обаятельна, артистична, но коготки у нее чувствуются. Она очень обамериканена.

27 июля

Вчера я и Андреевы ездили на дачу к Тихоновым. Маруся их очаровала. Потом зашли к Чуковскому. Он говорил о книгах:

— Читаю сейчас книгу Луи Фишера о Ганди. Замечательно написано. Ганди — великолепная личность, Фишер — крупный писатель. Один из лучших мировых журналистов. В прошлом году он приезжал в СССР и был у меня. Большой человек, умный, добрый. Он когда-то жил у нас в Союзе, его выслали из Москвы в 1936 году. В свое время он способствовал признанию Советского Союза Соединенными Штатами Америки. Время от времени он присылает мне книги. Талантливый, хороший человек.

Я глазом не моргнула. Я молчала...

Утром я не могла встать, вся какая-то разбитая, переволнованная. Но потом выпалась — и ничего. Главное — рядом Василий.

Завтра открытие фестиваля. У Васи масса работы. Молодежь всех стран поет на улицах, танцует, флиртует, обменивается сувенирами и всячески приветствует друг друга. Вряд ли какой другой город во всем мире слышал сразу столько разных языков, видел столько разных лиц: желтых, черных, коричневых, белых. Шумно, весело.

28 июля

И вот сегодня — это после Воркуты! — неопишуемый праздник. Я сижу у радио и слушаю и представляю себе, как это все выглядит, и ужасно завидую Ваське — он там с раннего утра. Вместе с Сашей они разъезжают в автомобиле с двумя француженками, которые прикатили прямо из Франции от газеты «Либерасьон» снимать фильм о фестивале. Радиокомментатор (на фоне гула, песен, возгласов, оваций) называет тех, кто идет со знаменами: делегации Сальвадора, Кении, Монако, США, Новой Зеландии, Польши, Антильских островов — господи, весь мир тут! Аленка, наверное, прорвалась на стадион, звоню ей, никто не подходит к

телефону. Киска Андреев тоже там. А Алеша Сосинский не приехал — ни слуху ни духу, бедная Ада Сосинская — его мать — извелась от беспокойства. А мой Ваня на Урале, на практике... Как жаль, что он не тут!

Идут суданцы, тунисцы, исландцы, тонны цветов, знамен, полотнищ, флагов. День, пасмурный с утра, сейчас сияет солнцем. Сорок тысяч голубей взлетят в небо. А китайцы пустили в небо тысячу воздушных шаров с лентами. Замечательно красива музыка цейлонцев. Но как, наверное, устал Васик...

Сейчас выступает Ворошилов. Овация!

Двадцать тысяч голубей взвились в небо! Овация, грохот, гул, свист! Все поют Гимн молодежи — это звучит поистине грандиозно! И в такт хлопают в ладоши! Потом — крики «У Р А...» С трибун взлетают все новые стаи голубей, и звучит чудесная музыка!

Люблю праздники!

10 сентября

Дивная осень, воистину золотая! Тепло, солнышко и мирная, какая-то округлая красота. Мы на даче в Старой Рузе вместе с Майзелями. Ванюша после уральских шахт, где он был на практике, теперь с нами. Я испытываю полное счастье, когда он и Василий вместе. Вася всю жизнь хотел сына, но с Ваней он робок и чуть-чуть его стесняется, а ему очень хочется с ним поговорить и душевно подружиться. К сожалению, в Ванюше есть одна черта, которой у него совершенно не было в детстве, — болезненная мнительность. Это бабушкино воспитание. Бабушка так всегда над ним дрожала и малейший насморк превращала в событие, и Ване все время кажется, что он болен, и он считает себя «скелетом», хотя на самом деле он сильный, в прекрасной спортивной форме, он красавец лицом и отлично сложен. У него тонкая, стройная фигура, как и подобает юноше, а он мучается, что слишком худ! Приехал на один день Алеша Сосинский, они вчера вместе с Ваней играли в теннис и пинг-понг у композиторов. Я зашла с ними к Кларе Хренниковой. Ведь ее и Тихона я знаю еще с Абрамцева, они были тогда молодоженами, славными, простыми. Клара в восторге от Вани.

Мне только глубоко жаль, что у Ванюши нет истинного призвания в жизни, а значит, и нет никакого настоящего таланта. Иначе он к чему-то стремился бы, интересовался. А он и геолог-то какой-то — спустя рукава. Ваня пишет милые письма, с юмором, иногда пресмешные. Но этим его «литературное дарование» ограничивается. Возможно, он еще «не нашел себя». Посмотрим. Я его очень люблю и, как всегда, счастлива по-настоящему только тогда, когда он и Алена подле меня. Аленка уехала в Гагры с моей солагерницей Женей Шмидт, которая мне стала близка, — ведь сколько соли мы съели вместе. Лену Ильзен тоже вижу часто. Но о Воркуте мы почти не вспоминаем, даже странно. Воркута словно исчезла!

Супруги Алиса Порет и Буся Майзель — преприятные наши соседи. Волконские живут через два дома. Крейтнеры — на горе, в даче с изумительным видом. Компания наша, или, как Алиса говорит, «наша колония», очень славная, добродушно-веселая. Вместе едим грибы и пироги, катаемся на лодках, стираем на речке, купаемся, гуляем в лесу. Я взяла сюда «Трильби» Жоржа дю Морье и много перевела. Питание нам носят из Дома композиторов. С досадой думаю, что скоро надо в Москву — и готовить, и убирать, и прочая, а мне хочется и необходимо работать над «Трильби». Но для Васи я готова ежедневно выщипывать рябчиков, вымачивать в уксусе глухарей, жарить шашлыки и делать галушки, которые он обожает!

Правлю верстку «Женщины в белом». Перевод, который казался мне отличным в машинописи, в книге мне не нравится. Иллюстрации некоего Высоцкого бездарны.

Кажется, получу много денег и первое, что сделаю, куплю Васису шубу, а потом одену Ванюшу. Для себя у меня все уже есть, кроме шапочки на зиму. Наташа Резникова, двоюродная сестра Васи, прислала мне на деньги Васика из Парижа всякую одежду, и у меня шубка из светлого нейлона — прелестная! Словом, мне ничего не надо больше. Но хочется, чтобы Василий был сверхэлегантен, это в его стиле, и он к этому привык.

10 октября

Мы запустили в небо четвертого октября спутник. Однако хочу, чтобы это было к миру! Американцы сначала сконфузились, потом начали хвастать, что они тоже запустят. Но на бирже ихней их акции резко упали...

Ваня пробыл с нами месяц. Я ему сказала, что любовь любовью, но как человек он мне не нравится. Вот что сделало из него страшное бабушкино баловство. И хотя он мне не нравится, я люблю его всем сердцем... Когда он хочет, он очень обаятелен. О нем говорят: «Красавец!» А по-моему, он бывает красив, когда глубоко задумается и не «позирует». В нем убито что-то. Неужели не воскреснет?! Какой это был чудесный мальчик! Таким помнят его и те, другие, которые его знали тогда... Как сильно он изменился! У многих дети психически покалечены арестом или расстрелом родителей... Искалечено целое поколение...

Декабрь 1957 года

Старик Смирнов — главный помощник академика Кржижановского по ГОЭЛРО, рассказывал нам с Васей зимой 1957 года:

— Я с Енукидзе очень дружил. В 1934 году Сталин послал Енукидзе в Берлин договариваться с Гитлером. И еще он один раз к Гитлеру ездил как доверенное лицо Сталина, а как вернулся, тут его и ухлопали, чтобы свидетелей не было.

Рассказ Евгении Семеновны (служила в милиции при начальнике Вуль, ее посадили в 1937 году — отгрохала двадцать лет на Колыме):

— У Сталина была личная своя охрана и совет: Берия, Дангулов, Меркулов, Абакумов, Ежов и еще четверо, фамилий не помню. Ел он только «из рук» своей экономки Маруси Виноградовой. Он никому не верил, у него была патологическая мания преследования. Жена его Надежда Сергеевна Аллилуева (от нее дочь Светлана и сын Василий) была красивой, молодой, очень скромной женщиной. Она никогда не называла себя по фамилии Сталина. Хорошая была женщина! Я стояла в карауле охраны у ее гроба: на голове у нее была черная повязка, а на виске кровоподтек немного виднелся из-под повязки. Ее хоронили на Новодевичьем, народу тьма-тьмушая. Сталин всю дорогу за гробом шел, понурый, мрачный. Нам каждому по пути следования по два дома дали, чтобы окна были закрыты, на балкон никто не выходил, и фортки не открывал, и в окна не смотрел. Накануне и снова утром все квартиры были проверены. Говорили, что она сама застрелилась от обиды, говорили, что он ее убил в припадке ярости, и еще говорили, что он ее нечаянно застрелил. Он с собой всегда револьвер носил; будто вошел в кабинет, а она за шторой в окно смотрела, штора зашевелилась, когда она к нему выйти хотела, а он и пальнул, испугавшись, не зная, что это она. После он иногда ездил к ней на могилу, где стоит на пьедестале ее бюст работы Шадра или Мухиной; кругом серебристые ели, а внизу на доске, где ее имя, — мраморная роза. Он потом жил со Шпиллер из Большого театра и с какой-то племянницей Кагановича. Он всех друг с другом ссорил и стравливал, никто не знал, когда и за что будет расстрелян! Ежов был маленький, тщедушный, необычайно сухой, каменный человек... В угоду Сталину он был готов убить кого угодно, родную жену расстрелял... А сам Сталин потом всех родных жены своей Аллилуевой сослал и изничтожил... Это ведь он Кирова убить велел. А у Орджоникидзе обыск сделали — архив Енукидзе искали (который бесследно пропал). У него, у Орджоникидзе, старейшего большевика, друга Ленина, героя гражданской войны! Так вот после этого обыска Орджоникидзе выпил бутылку нитроглицерина и умер от паралича сердца. Семью его «прижали к ногтю», так сказать. Сталин ненавидел Орджоникидзе за то, что тот его не боялся. Покушений на Сталина никогда не было. Но в 1946—1947 годах была арестована группа молодежи, мальчишки и девчонки по четырнадцати-пятнадцати лет, а старшему из них было восемнадцать лет; это была группа под названием «За дело Ленина» — им пришили террористический заговор и несколько человек расстреляли... Остальных сослали.

Я как-то спросила Сашу Стерника:

— Вот вы почти год сидели в тюрьме на Лубянке в 1947 году. Кто был самым замечательным, ярким человеком из всех, кого вы там видели?

Саша Стерник помолчал и потом сказал:

— Это был один юноша — восемнадцати лет. Фамилию его не помню... Ваня... Он возглавлял группу «За дело Ленина». Необыкновенно умный, глубокий, мужественный человек. Во всем облике его было что-то героическое. Его расстреляли...

Рассказ «близко стоящего» человека:

— Ягода, довольно мягкий по сравнению с Ежовым, хотел слопать Берия, но тот укрылся у Сталина и сам слопал Ягоду. Ежов был всегда отвратительным человеком, маленький, почти карлик, телом и душой преданный Сталину, воистину собака! Он получал указания от «отца родного» и замучил, изничтожил, сгноил и сослал миллионы лучших русских людей. Потомок Малюты Скуратова... Затем, когда он взял силу, Берия напечатал Сталину, тот Ежова отстранил, но за особые услуги не убил, а отправил начальником кадров при одном из заводов в Тулу. Не знаю, правда ли это, но ходили слухи, что через месяц после смерти Сталина Берия, всегда видевший в нем соперника и будущего диктатора, расстрелял Ежова. А еще через три месяца был, наконец, сам расстрелян.

У корреспондента «Юманите» Энджеса как-то вечером мы застали одного красивого, довольно молодого англичанина. Он сильно пил, и жена Энджеса сказала, что его фамилия Бэрджесс, — алкоголик, вечно пьян. Когда мы ушли, Василий сказал мне, что несколько лет тому назад об этом человеке (и о втором англичанине, его товарище) шумели газеты всего мира. Он исчез из Англии, где был блестящим дипломатом. Очутился у нас. Живет уединенно. Бэрджесс спросил Василия, знаком ли он с Мирой Бутберг, и с восторгом говорил о ней. У этой Миры Бутберг любопытная судьба.

Очень молоденькой она, урожденная Закревская, вышла замуж за племянника Бенкендорфа. В 1919 году она будто бы стала любовницей Брюса Локхарта, известного английского разведчика (он был тогда в России). Ее арестовали в то самое время, когда этот Брюс Локхарт подал прошение о том, что просит принять его в наше советское подданство. Он собирался остаться в России, очевидно, по поручению «Интеллидженс сервис». Узнав, что Мира арестована, он бросился в Чека. И его самого арестовали, показав ему документы, из которых явствовало, что она немецкая шпионка (по рассказу Лациса, начальника Чека в ту пору) и с ним, Брюсом, сошлась, так сказать, для дела. Брюс Локхарт, как мне рассказывали, очень ее любил. Его выпустили. Он уехал, вымолив свободу и ей. В Риге она вышла замуж за барона Бутберга, который вскоре помер. Она жила с Горьким на Капри до его возвращения в СССР. После она стала женой Герберта Уэллса и его секретарем. Она приезжала на похороны Горького в Москву в 1936 году и уехала обратно в Лондон. Уэллс умер, она его вдова, живет теперь в Лондоне, очень просоветская дама, у нее открытый дом, она сильно пьет. Бэрджесс говорил о ней с восторгом. Сказал, что она не была красива, но очень обаятельна умом. Мне о ней первый рассказал Николай Семенович Тихонов. Василий хорошо ее знает. Он очень дружен с Екатериной

Павловной Пешковой и познакомил меня с ней. Она замечательная и такая милая!

Андрей Волконский женился на Гале Арбузовой (падчерице Паустовского). С Кирой (его матерью) мы дружим и бегаем в театр вместе, ибо у Михаила Петровича сильно болят ноги, а Васик ленится. Я обожаю моего Василия с каждым днем все больше!

26 марта 1958 года

Были вместе на «Отелло» с Чабукиани. (Грузинская декада — очень интересна.) Он — великолепен, и очень хороши декорации Вирсаладзе. Все остальное уже рангом ниже. В ложе сидела бельгийская королева Елизавета, приехавшая на конкурс скрипачей и пианистов. Народу масса. Элита!

У меня флюс, но я пошла. Чабукиани — изумительный танцор. Запомнился особенно он и «Черный с золотом бал». Музыка отвратительная.

28 марта

Мы были у Тани Шапино, жены Евгения Львовича Штейнберга, — Вася, я и Аленка. Они очень просили, и я взяла к ним гитару. У них лучшая квартира в Москве из всех квартир, что я знаю: четыре большущих комнаты. Масса книг, уютно. Пахнет «домом», — они живут там много лет, и, очевидно, живут дружно и душевно, ибо это всегда чувствуется в атмосфере.

Было много гостей, среди них старый мой знакомый по Абрамцеву Осип Прут — драматург, хороший человек, а главное — веселый и божьей милостью актер. Он и хозяин дома так смешно разыгрывали всякие сценки, что я чуть с дивана не упала от хохота. Люблю смеяться! А потом я пела и впервые, спустя десять лет, пела со счастьем в душе и со сладостью во рту, а от этого голос звучал, лился, гнулся, где надо. Вернулось ощущение «публичного одиночества» и забытого чувства: «Я делаю, что сама хочу!» — (казалось, навеки утерянное)...

Вася сидел в кресле и улыбался, и мил был удивительно. Хвалили, конечно, напропалую. Надо петь с поднятым небом (на «улыбке») и с физическим наслаждением от самого процесса «петь» — это для голоса. А чувствуя свободу звука, можно уже полностью уходить в «публичное одиночество» и видеть и ощущать то, что поешь, а главное — слышать музыку внутри, все время чувствуя ритм, музыкальный рисунок всей песни в целом. Вот и все. Очень приятно поется, когда песня как бы сама тебя несет.

Впервые на людях спела «Не будите меня молоду» — выносила-таки, лет пятнадцать хочу ее петь, а она только сейчас понастоящему оформилась. А казалось бы, самая что ни на есть простая песня. Вот простые-то песни и трудней всего...

10 апреля

Живу с бешеной интенсивностью: кончила «Трильби». Мне прислала эту книгу сестра Лили Брик — Эльза Триоле. Лиля Юрьевна прочитала и позвонила мне: «Татьяна Ивановна, не потому, что хорошо отношусь к вам, а совершенно объективно: я давно не читала такого хорошего перевода!»

Ну, Господи, конечно, я очень довольна: слышать это от Лилечки! Над главой о концерте Трильби я проделала воистину ювелирную работу, у меня было по многу вариантов, чуть ли не на каждое слово. Боже, так петь, как Трильби пела!

Работала, как всегда, запоем. Договора еще нет, но Емельяников — заведующий иностранным отделом Гослитиздата — обещал. Мне как-то и все равно, главное — я ее перевела. Успех она, если выйдет, будет иметь, и круг читателей будет «на самом высоком уровне»; она понравится как «изыск», я уверена. Но я старалась сделать язык наиболее простым и легким. Посмотрим.

Работаю ночью, а днем погружена с головой в Международный конкурс пианистов. Изумительные пианисты! Лев Власенко играет прекрасно. Японец Мацуура играет так, что уже не думаешь, как он играет, а только слушаешь дивную музыку... А вчера французенка Эвлин Кротэ, которая не вышла в третий тур, играла Равеля, и рояль звучал совершенно по-новому, таинственно, словно доселе небывалый инструмент.

Сколько я переслушала гениальных пианистов на своем веку, но эта молодежь (от восемнадцати до двадцати пяти лет) не ниже их. На третий тур оставили девять человек, вместо восьми. Я обязана Василию тем, что уверовала в себя. Обязана ему и всякими житейскими благами, и даже билетами на эти концерты, ибо достать их невозможно.

Конкурс вылился в событие. Толпа!!! У входа пришлось поставить милицию. Большой зал набит битком. Волнение царит небывалое. Я считаю, что вместо одной первой премии надо выдать несколько первых премий, ибо сказать, кто из них играет лучше, — невозможно! Всю зиму я не ходила на концерты и сторицей возмещаю это теперь.

Вчера был семидесятипятилетний юбилей Артура Владимировича Фонвизина. Чествовали. Народу было очень много. Он сиял. Я вышла и сказала: «Я хочу от души поблагодарить вас за то, что если в нас, в тех, кого вы писали, и был талант, то вы любили в нас именно это; и умели передать лучшее в нас, вдохновенно и очаровательно, в своих акварелях. Но главное, благодарю вас за то, что вы добрый, чистый сердцем человек, — ведь душа человека всегда отражается в его искусстве!» Мне аплодировали, по-моему, больше всего за краткость. На рояле играли Андрей Волконский и Мария Юдина, замечательная старая пианистка. Наталья Осиповна выглядела прежней, не постарела. Нас с ней из зависти к нашей дружбе поссорила Женька Стрелкова. Жаль...

Я оставила под конец острое блюдо: свою встречу с Сашей Казембеком. Но прежде запишу все, что о нем знаю.

Сашу Казембека, красивого шестнадцатилетнего мальчика с серыми глазами, я знала в 1920 году в Пятигорске, когда белые заняли Минеральные Воды. Саша приехал из Петрограда, где учился в пажеском корпусе. Помню его отца, сухонького полковника или генерала. Очень импозантного, какого-то кавалергардского или лейб-гусарского полка Его Величества. Много лет спустя старый Казембек разводил розы на юге Франции в своем небольшом поместье.

Саша производил впечатление блестящего, умного юноши с благородной душой; он пользовался уважением товарищей и очень выделялся из всех. Я тайно и горячо влюбилась в него, это была моя первая и самая робкая любовь, мы никогда не то что не поцеловались, но даже не говорили о любви. Когда белые стали отступать, Саша уехал в Ростов, а потом эмигрировал с отцом и сестрой за границу. Он писал мне длинные интересные письма, возмущаясь разложением белых войск, спекуляцией, безыдейностью «кругов», к которым он по рождению принадлежал, но в ту пору он был категорически против «большевиков»...

Прошло много лет, но я не забыла Сашу. И вот когда в Париже Гаргулов в 1930 году смертельно ранил президента Думерга (в то время я была в Париже с Цаплиным), я прочитала в газетах сообщение, что Александр Казембек, глава Союза «младороссов», первый кинулся к одру умирающего президента, узнав, что его ранил русский, и предложил свою кровь для переливания. Во всех газетах фотографии его были напечатаны, и я узнала в них Сашу, ибо представить себе, что он и есть «вождь» каких-то младороссов, я не могла. Я написала ему: «Саша, если это вы, я хочу повидать вас, я — Таня Лещенко из Пятигорска. Не могу пригласить вас к себе, давайте встретимся в кафе на бульваре Сен-Мишель или Монпарнасе такого-то числа в таком-то часу». Худшего места я не могла и выбрать: всегда толчея, и кафе «Куполь» какое-то пышно-вульгарное. Вышло так, что помимо моей воли я задержалась и очень опоздала. Но Саша ждал меня. Я не узнала его — так он изменился. Мне до сих пор кажется, что это был не он, а подставное лицо!.. У Саши были другие глаза, и он почему-то был в котелке и чуть ли не в смокинге (свидание наше происходило среди бела дня). Он был сух, говорил быстро и отрывисто, и когда я сказала ему от души: «Боже мой, как я была влюблена в вас тогда в Пятигорске!» — он промолчал и весь был какой-то «чужой». Я сказала: «Как вы можете быть с младороссами, да еще их «главой»? Ведь это фашисты какие-то! Ведь вы же русский человек!» Он нахмурился и сказал: «Не только русский, но я за Советы, но при царе! Младороссы вовсе не фашисты. Мы стоим за свободную Россию, но объяснять вам не стоит... Расскажите о себе».

Я сказала, что была женой Бена, жила в Нью-Йорке, но возненавидела Америку, не вынесла ее вульгарности, торгашества,

глухого бескультурья. Уехала и никогда туда не вернусь. Живу с Цаплиным, он советский скульптор, и мы скоро возвращаемся в СССР, ибо я нигде больше на свете жить не могу, как только на родине. Он сказал: «Вот как! Но ведь Америка как будто очень интересная страна. Может, вы в ней чего-то не разобрали, жили среди неинтеллигентных американцев?» Тут я обрушилась на Америку... Саша был напряжен, все озирался, будто кого-то боялся.

Как я вижу сейчас, тогдашний разговор наш был очень знаменательным, хотя и кратким,— я торопилась кормить маленькую Алenuшку, она была для меня превыше и милее всех «Саш» на свете. Мы расстались дружески, но не обещав ни встретиться снова, ни написать друг другу. Не знаю, вспоминал ли он меня когда-нибудь с тех пор, но я порой вспоминала пятигорского Сашу, милого, юного, благородной души...

Прошло четверть века. И вдруг года два назад читаю его письмо в «Правде» — отказ от эмиграции, младоросшества, полное признание «нас» и полное отрицание США, где он, оказывается, жил последние годы, удрал от гитлеровцев. И оказывается, Василий знал его в Нью-Йорке. И оказывается (Вася так сказал мне), Саша работал во время войны нашим разведчиком в США и «имеет большие заслуги перед Родиной»!!! Знаю одно: все это было логичным и искренним завершением его взглядов. Увижу ли я его когда? Может, встречу на улице и не узнаю! Если б он помнил меня и хотел видеть — он бы разыскал!

Жизнь моя с Васей так заполнена, что я и не вспоминала больше о Саше, но он возникал, ибо стал почти «притчей во языцех» в Москве. То я слышала, что он получил уже квартиру и работает — где бы вы думали? — в Патриархате! То появилась его статья о США в «Литературной газете», и на нее язвительно отвечал Эренбург. То вдруг Роллеры сказали Васе, что он соблазнил какую-то молоденькую девчонку, дочь теперешней жены Льва Любимова (того самого, который написал мемуары в «Новом мире»). И на ней женился.

И вдруг мы познакомились с Полторацким, который состоит при патриархе Алексее и в которого сейчас влюблена Наташа Столярова и потому притащила к нам, сказав мне: «Люблю испорченный сыр!» Полторацкий начинен интереснейшими историями, знает всех и вся, умен, хитер, но «душа-человек». Он стал рассказывать Васе в числе прочих и о Казембеке, о котором он высокого мнения. «Когда-то я знала Сашу Казембека в Пятигорске», — сказала я так, вскользь, и думала, что Полторацкий это не услышит. Не тут-то было! Через два дня он снова пришел и вдруг среди разговора сказал: «Александр Львович очень вас помнит. У него лицо просветлело, когда я сказал ему о вас. От вашего желания зависит увидеть его. Он очень-очень вас помнит!» И при этом так многозначительно и лукаво посмотрел на меня, что я покраснела — честное слово — и опустила глаза, сказав: «Это будет зависеть от моего повелителя — Василия Васильевича». «Отчего же, от-

чего же, — ответил мой муж, — мы как-нибудь позовем его, сейчас мы очень заняты». Словом, ускользнул, как он изумительно умеет делать! И правильно! Но опять не тут-то было! Вновь позвонил Полторацкий и просил нас обоих прийти на просмотр фильма о патриархе — будут крутить его специально для нас в просмотровом зале — фильм очень интересный... Конечно, я сразу же поняла, что к чему!

В просмотровой комнате, когда я пришла, все уже собрались (Василий пришел раньше меня). Я сразу узнала Сашу. Он бровью не повел, а у меня невольно что-то застряло в горле! Ведь подумать только — через какие препоны и превратности судьбы мы оба прошли за эти долгие годы и вот встретились! (Он, кажется, сидел у немцев в концлагере во время войны, потом бежал в США...) На этот раз он был похож на прежнего, пятигорского Сашу: красив и глаза почти те же, и что бы ни говорили — у него вид бесспорно значительного человека.

Вася говорит, что Казембек «немного авантюрист» и, конечно, Вася прав. Он держится как «главный», по крайней мере вчера это было так. Мне очень хотелось бы узнать, что у него внутри под этой личиной властности, блестящего умения владеть собой (уверена — при любых обстоятельствах) и «публичного одиночества». Но уверена также, что он не уронит себя ни до какой низости, подлости, бесчестья. Мне хочется думать, что благородство души он сохранил. Встреча с ним взволновала меня, и так живо многое вспомнилось...

Сегодня первый концерт первого тура. Постараюсь подробно записывать.

Я кончила переводить «Трильби», но править буду еще много раз.

12 апреля

Первый день третьего тура был неинтересен — бледно играла француженка Надя Гедда-Нова и прелестно, но «мало» играла болгарка, похожая на маленькую девочку, с обручем на черных волосиках и в газовом платье, — восемнадцатилетняя Моллова.

Второй день третьего тура был событием. Играл двадцатитрехлетний американец, высокий, худенький, с милым задумчивым лицом и копной русых волос — Ван Клиберн. Помимо обязательных двух номеров, он играл Третий концерт Рахманинова — блистательно. Рондо Кабалеvского он сделал изумительной пьесой. Вероятно, сам Кабалеvский не узнал ее. Концерт Чайковского он исполнил со всей русской широтой, размахом, силой, глубиной, бесконечно свободно! Так от ЧИСТОГО СЕРДЦА! Когда он кончил — с полминуты стояла тишина, а потом зал встал как один человек, и грянула овация. И небывалая вещь: всё жюри тоже

встало и присоединилось к аудитории — хлопали, пожимали ему руки, а бельгийская королева высунулась из ложи, и он подошел к ней; она его при всех обняла и поздравила. Ей восемьдесят два года! Но она бойкая старушка. Когда Клиберн играл, я думала: вот так хотела б я, чтобы играл Ванюша. Музыка звучала именно такая, какой хотелось каждому. Будто все про себя чувствовали: вот-вот, ты делаешь именно то, что нужно, и вот тут рояль поет, как **ВСЮ ЖИЗНЬ НАМ ХОТЕЛОСЬ!** А у Виктора Белого, у этого сухого, вылощенного человека, лицо сияло добротой и радостью. После Вана Клиберна Миансаров, игравший премило, **НЕ ПРОЗВУЧАЛ!**..

Сегодня двое наших: Штаркман и Власенко, особенно последний, — играли хорошо, но выдохлись и к финалу совершенно погасли. Их блистательно затмил японец Мацуура — это явление, тончайший артист с невероятной техникой, рояль поет новым звучанием. Он — тонкий, высокий, и жесты у него, когда он кончает пассаж, как на японских гравюрах. Великолепный пианист. Меня спросили, кто лучше: Клиберн или Мацуура? Я сказала: «Клиберн играет как Бог, японец играет как Дух».

Мацууре очень хлопали и орали, но это была не вчерашняя овация Клиберну, далеко нет. Наши пианисты, все, вместе взятые, ниже Клиберна и Мацууры. Завтра играют американец Полляк и китаец Лю Шикунь. Говорят, что китаец — чудо... Какое испытываешь счастье, когда играют такие пианисты, как Клиберн и Мацуура!

Рядом со мной в ложе сидел представитель «Стейнвея» — лучшей фирмы роялей в мире, довольно развязный немец. Он слышал всех великих пианистов на свете и говорит, что выше всех котируется итальянец Микеланджело, а потом наш Рихтер. Японец ему не понравился. По-моему, в нем говорит немецкий расизм! Но китаец очень всем понравился. Он маленький, худенький мальчик, но какое мощное, певучее звучание рояля, вдумчивость интерпретации, и полнейшее владение собой, и творческая приподнятость!

Была на просмотре фильма «Идиот» Ивана Пырьева. По-моему, грубейшая безвкусица, нудно, медленно, плохо. А все хвалили. Какое падение вкуса! «Идиот под шорох твоих ресниц!» — сказала я. «Мыльный Мышкин!» — сказала Лилечка. Юлия Борисова — хорошенькая женщина с приклеенными ресницами, но абсолютно **НЕ Настасья Филипповна!** Вообще — безвкусно.

14 апреля

Вечером иду на заключительный концерт. Василий был на объявлении премий.

Первая — Ван Клиберн.

Две вторых — Лю Шикунь и Власенко.

Третья — Наум Штаркман (макарона за роялем).

Четвертая — Миансаров (лучше Штаркмана во много раз!)

Пятая — Моллова, болгарочка.

Шестая — Надя Гедда-Нова (Франция, но по рождению она русская).

Седьмая — Мацуура (несправедливо, он — третья!).

Восьмая — Поллак (США, говорят, чудный пианист, но, когда играл, у него была температура под сорок градусов).

Васик говорит, что, когда объявили, зал грохнул овацию Ван Клиберну (его называют «Ванюша!»), и еще овацию устроили японцу Мацууре, хотя он получил седьмую. Это несправедливо, он в тысячу раз лучше Штаркмана. Но тот, говорят, изумительно играл на втором туре (я не была), а японец загнал «Исламея» Балакирева так, что потом, за кулисами, грохнулся в обморок. На раздаче премий сэр Артур Блисс — английский дирижер и композитор — сказал: «За всю свою жизнь я не слышал конкурса на таком высоком уровне, где почти все из участников были подлинно большими пианистами».

Вечером

Шостакович сказал умную, краткую речь, поздравил и пожелал, чтобы подобные соревнования устраивали чаще. Потом стали раздавать премии. Выдавал Кабалевский.

О скрипачах писать не стоит. Климов — первая премия; красив, молод, тон скрипки хорош, но талант средний.

В правительственной ложе вчера: Хрущев, Микоян, Ворошилов. Молодцы наши, первую премию дали вполне справедливо, вне всяких предрассудков.

Ван Клиберн напомнил мне молодого Рахманинова, которого мы с Юрой впервые слушали в театре Злобина, когда нам было по одиннадцать лет. Какое великое счастье — слушать гения! Да, амплитуда моя широкого размера: Воркута и сегодняшний Большой зал Консерватории. После всего, что было, слушать вместе с Василием Васильевичем такого Вана Клиберна! Чудо!

Поездка в Ленинград. Лето (июнь), 1958 год

Первый день

Решено — я еду одна. Вася остается дома. Еду в головном вагоне, сразу за паровозом. В вагоне — пожилой человек, вид старого морского волка, с увлечением рассказывает мне о Ленинграде... «Рабочий класс и морячки отстояли наш город. Сам я был в морской пехоте. Нас перебрасывали на самолетах в разные места вокруг Ленинграда. Был я в Ораниенбауме, на Пулковской, в Кронштадте. Дважды тяжело ранен. Да что говорить: каждый ленинградец бился изо всех сил — кто как мог — за свой город. Нет на свете его прекраснее!»

На вокзале встретили меня Ира с Борисом и повезли к себе домой на своем маленьком новом сером «Москвиче». Меня сразу околдовали чары Ленинграда. Иначе сказать не умею.

В пять часов вечера были с Ирой у Анны Васильевны Филипченко — сестры Васи — в маленькой комнатухе за кухней: бедная обстановка, и вдруг сверкнет старинный дивный фарфоровый чайник, лубочный подносик, пузатый шкафчик Буля. Ася красива, седые волосы обрамляют прекрасное лицо мадонны. Недаром, когда она училась в университете в Риме, итальянские студенты выстраивались перед аудиторией и кричали ей: «Да здравствует русская мадонна!» В ней трогательное обаяние. Трагическая судьба: в 1937 году был арестован и расстрелян ее муж, профессор Филипченко (так же, как и ее отец, известный народоволец Василий Иванович Сухомлин, сидевший в царское время в Петропавловской крепости, сосланный на каторгу на Кару, отдавший жизнь за «дело народа»...). В 1943 году погиб на фронте единственный сын Степан, за которым была замужем Маруся — дочь академика медицины Тушинского. Маруся стала женой профессора Баранова, знаменитого эндокринолога, члена-корреспондента Академии медицинских наук. От Степана у нее сын Алеша. Я видела его — красивый девятнадцатилетний мальчик. Ася обожает внука. Недавно она с ужасом сказала Марусе: «Куда вы смотрите?! Он же не читал «Ифигению!»»

Ася надеялась, что муж вернется из ссылки, когда начали в 1954 году возвращаться реабилитированные. Но на бумаге о реабилитации, которую ей выдали, стояло: «Реабилитирован посмертно». Она приняла огромную дозу снотворного, чтобы заснуть навеки. Но Леля С., ее подруга, почуяла неладное и поехала к ней; дверь взломали, Асю спасли. Это было в декабре 1956 года. Помню, тогда Василий прибежал ко мне с письмом Лели. Он рыдал. Я люблю Асю с горячей нежностью, и она, строжайшая со всеми, тоже меня любит. Когда-то с мужем она жила в великолепной квартире, окруженная красивыми вещами, — от этого осталось совсем немного, она все либо продала, либо раздарила. Сказала мне: «Меня тяготит иметь что-либо». И подарила мне дивный гобеленовый поднос двадцатых годов прошлого века — ручная вышивка, турок на коне, прекрасный по цветовой гамме — и старинную икону бабушки Колбасиной, той самой, что дружна была с Иваном Сергеевичем Тургеневым. «Богоматерь с младенцем» — у нее скорбное лицо, младенец веселый. «Матка Бозка Ченстоховска».

Увы, вещи не могут говорить. Уверена, что у подноса удивительная судьба. Чьи нежные руки вышивали его? Кому он принадлежал когда-то?

Леля показала мне фотографии Аси в молодости: антично-прекрасное лицо. Она абсолютно близкий мне по духу человек. Это по той же линии, что моя бабушка и Верочка. Лучше человека, чем Верочка, я не знала. Мне так хотелось сходить на могилу к ним, но без Иры мне тяжело идти, а она не хочет, — ей слишком

грустно. А я чувствую, что обязана пойти. Не может быть, чтобы «тени прошлого» были лишь отвлеченным понятием. И недаром люди верят, что бессмертие дается достойнейшим.

Мне хотелось бы жить с Васей и Асей на берегу моря, в Крыму, в тишине...

Вечером поздно мы ушли от Аси. Ира села в трамвай, а я пошла пешком. Призрачные сумерки, пусто на улицах, почему-то множество кошек, тишина... И вдруг я поняла, что сейчас глубокая ночь! И что в каждом нормальном городе было бы темно! А в Ленинграде — это зыбкое, потустороннее и называется «белые ночи»...

Второй день

Встала ни свет ни заря. Спать невысказанно. Хочется бродить по улицам, по набережным, мостам, каналам. Каждый шаг в этом городе — наслаждение. Погода пасмурная, холодно, а город красив, как сплошной праздник. Весь день бродила по Эрмитажу. Два американца с переводчицей. Они специально примчались из Нью-Йорка, чтобы посмотреть две картины швейцарского художника шестнадцатого — семнадцатого веков... В зале № 9 на втором этаже. Забыла его имя! Что-то вроде Савэрей... Чуть не тыкались в картины носами. Я строго указала на это их переводчице. Она сконфуженно пояснила, что они приехали именно для того, чтобы посмотреть Савэрея. Но сколько бесценных картин — Тициан, Рафаэль, Рембрандт — мы продали в двадцатых годах за границу. Непростительно. В Эрмитаже кружится голова от множества дивных картин, люстр, мебели, статуй...

Вечером Боря катал нас по набережным, мимо Кикиных палат к Смольному, к Охтинскому мосту, который строил бабушкин поклонник (он всю жизнь любил бабушку) — архитектор Апышков; мост подвесной, довольно угрюмый, — потом на Каменноостровский; я сидела тихо, как мышь, и упивалась.

Третий день

Весь день гоняли с Ирой по городу и лавкам. Купила Ирка материи на юбку. Ирка сияет. Звонила Лиде Рутенберг, она завопила от радости, завтра — четвертый день — у нее. Вечером — Ася, Леля и я были в гостях у Барановых. У Маруси фигура девушки, высокий лоб, милое лицо. Но, по-моему, она не умеет обращаться с мужчинами... Василий Гаврилович Баранов — умница, тонкий человек, ультрапетербуржец. Он сказал прекрасные слова о Васе: «Василий Васильевич — человек высшего качества. Таких почти нет...» И процитировал из Надсона, которого любит только за эти строки:

...Тебя я узнал... Ты в минувшие годы
Так долго, так гордо страдал!

Как колокол правды, добра и свободы
С чужбины твой голос звучал.
Он совесть будил, он звал на работу,
Он звал нас сплотиться тесней,—
И был ненавистен насилью и гнету
Язык твоих смелых речей...

Уговорил меня исследоваться насчет щитовидки. Согласилась. Хотя убеждена, что она в порядке.

Четвертый день

Утром в больнице Эрисмана, куда надо будет ходить еще два утра. Об этом писать не буду — противно. Ненавижу больницы, их запах, белые халаты и все, что с ними, с больницами, связано.

У Лидии Абрамовны Рутенберг

Она стала грузной, хотя лицо по-прежнему светится умом и прежний «интеллектуальный шарм». Она полна Дудниковым (замечательный актер!), как и двадцать лет назад. Вот удивительный, вечно незавершенный роман! Едет на три месяца в Михайловское, будет жить в Пушкинском заповеднике. Уговаривала меня приехать, и, по-моему, я поеду к ней дня на три. Надо поклониться Пушкину. В тюрьме, когда все кругом было как бред, нелепый, страшный, я читала его стихи, и золотая их гармония приводила меня в равновесие. Он спас меня. Это не слова, не «литературщина», а факт.

Вечером Боря повез нас всех в Пушкино (бывшее Царское Село). Необычайно красиво, но и ужасно. Немцы начисто разрушили Екатерининский дворец, парк, галерею Камерона — все! И все разграбили. Парк и галерею Камерона уже восстановили, но дворец снаружи восстановлен лишь внешне, а внутри все разбито... Гряды незабудок, цветущая жимолость, пруды, каналы, дева над урной, нимфы, бюсты древних мудрецов... Все это еще прекраснее, чем я ожидала. Столетние липы, которые воочию видел Пушкин...

Пятый день

Утром пешком по Ленинградской стороне. Как красив Ленинград, просторен, благодороден, строг!

Вечером Боря повез Асю, Иру, меня в Териоки (Зеленогорск) — ехали по берегу моря, вдали на горизонте — Кронштадт, купол его собора, море свинцовое, холодное, тихий прибор...

Шоферша такси, молоденькая девушка, сказала мне вдруг: «Какая вы нежная, и лицо молодое, а голова седая...» Я очень удивилась, чего это она. И, глядя на Иру, которая на что-то рассерди-

лась, поняла, что мне ужасно не идет быть сердитой. Никогда больше не буду. Ира, по-моему, сердится крайне редко!

Днем ездили с Асей на Острова. С Асей мы сидели на Стрелке. Я рассказала ей про Юру, как его зарубили белые под Пятигорском, захватив весь отряд «Боевой молодежи». Я сказала: «Много лет я не могла об этом говорить. А вот теперь могу произнести эти слова»... Она сказала: «Да, произнести эти слова...» Она понимает, что за ними стоит... Она сама так...

Прелестные куртины парка: голубые грядки незабудок, розовые — маргариток, клумбы пестрых тюльпанов, шпалеры роз, пионов, флоксов, левкоев. Я люблю запах флоксов: он напоминает мне детство и клумбы в Нижних Муллах (или Верхних?), в имении графа Шувалова под Пермью, где служил агрономом мой отец. Мы жили в огромном барском доме. Перед домом расстилалась зеленая лужайка. При въезде в имение от деревянных ворот с колоннами и надписью «Добро пожаловать» шла к дому березовая аллея. Лужайка перед домом переходила в глухой, вековой парк, он спускался к реке. У белой пристани стояли три белых лодки, в которых мы ездили на пикники в бор. По другую сторону дома широкая терраса выходила на цветник с клумбами и оранжевыми песочными дорожками. Цветник окаймляли шпалеры малины, красной и черной смородины, крыжовника. Дальше вокруг всего цветника стояли густые развесистые липы. Мы с Юрой удирали от гувернантки, запоем играли с деревенскими ребятишками, дрались, мирились, играли в казаки-разбойники и на медяки, которые я таскала из письменного стола папы, покупали себе и приятелям гостинцы в деревенской лавке, куда посылали ребятишек: затейливые пряники — конь, рыба, русалка, ядовито-алые леденцы, сладкие стручки, черные, как вакса, и на полкопейки семечек. Все это делилось строго поровну. Коноводом был Юра. Мы все уважали его за храбрость: один раз он сорвал себе лодочной цепью весь ноготь с большого пальца руки и не пикнул! А еще он мог кататься на качелях выше всех и не боялся.

Юра был кудрявый, белокурый, с темно-карими глазами. А я была темноволосяя с серыми глазами. Мы были не похожи, что редко бывает с близнецами. А маленькая Ирка была как куколка, кроткая, розовая. Мама выписывала ей платица, шапочки, пальтишки из Парижа. Зимой в оранжереях выводили спаржу, артишоки, салат. Бабушка присылала из Кисловодска ящики винограда, пересыпанного опилками. Она и Верочка месяцами гостили у нас, а также подруга мамы Аничка Нацвалова. В большом кабинете папы стояли шкафы до потолка со старинными книгами, и я потихоньку читала их — что попало! Мы ездили в Пермь на лошадях в колясках или на санях по Сибирскому тракту. Зимой в лесу иногда ночью выли волки, и лошади неслись как бешеные. Осенью по тракту шли каторжники в кандалах. По обеим сторонам дороги стояли крестьянки с пирогами и разной снедью и подавали им, а нам папа давал серебряные гривенники, и мы совали им в руки. Они шли в це-

пях медленно-медленно, покрикивали конвойные, сзади ехали больные и женщины с детьми на унылых скрипящих подводах... И небо над ними простиралось бескрайнее, пасмурное. Звякали кандалы, глухо отзывался мерный гул шагов, и мне казалось, что ряды каторжан нескончаемы... И, может быть, среди них шел в ссылку Вася Сухомлин. Он бежал с царской каторги за границу в 1907—1908 году...

В Пушкинский дом я понесла книги Алексея Михайловича Ремизова «В розовом блеске» и еще. Говорили о приезде Наташи Резниковой из Парижа для передачи архива А. М. Пушкинскому дому с ученым секретарем Вельгинским. Он познакомил меня с заведующим библиотекой Анатолием Николаевичем Степановым, который повел меня в библиотеку и показал мне ее.

Книжные шкафы Блока с его книгами и шкаф, где «прислонился голый мальчик на одном крыле» и собственноручные его пометки на полях книг... И личная библиотека Лермонтова. И огромные папки, штук десять, где собраны того времени отклики всего мира на смерть Льва Толстого, и библиотеки Достоевского, Гоголя, Салтыкова-Щедрина... Потом я пошла наверх: комнаты Лермонтова, Маяковского, Гоголя, Блока.

Ехала автобусом обратно к Ирке на Васильевский остров, не знала, на какой остановке выходить. Сидевшая напротив меня пожилая женщина с простым усталым лицом подробно объяснила мне. Спросила, не ленинградка ли я. Я сказала: «Нет, о чем жалею, ибо город прекрасен». «Ваша правда,— ответила она,— но дорого это нам досталось. Я всю жизнь здесь прожила, наборщицей работала, никуда в войну не уезжала. Прямое попадание в наш дом. Сразу восемь человек...— Слезы медленной непрерывной струей поползли по ее щекам.— Ну, прощайте. Будьте счастливы. Дай вам бог счастья!» Она улыбнулась мне — слезы все лились, а лицо ее оставалось спокойным — и вышла на остановке. Она не всхлипывала, не повышала голоса, спокойно говорила, а слезы так и лились неудержимо...

Вечером опять у Барановых, где познакомилась с Лидочкой Щуко (женой органиста И. Брауде, о котором слышала в течение долгих лет) и с ее сестрой Татьяной Николаевной Черносвитовой — хирургом. Лидочка — подруга моих подружек: Маляши, Алисы. Очень обаятельна, улыбка хороша. Но было как-то невесело. Василий Гаврилович держался сухо и равнодушно.

Седьмой день

Утром рано звонила Васе. Он велел возвращаться. Я заорала в трубку «ура!» от радости, что он не хочет, чтобы я здесь задерживалась. Потом Боря повез Ирку и меня сначала в Петергоф, а потом в Ораниенбаум. Моросил мельчайший дождик, и как сквозь ситечко туманно сиял великолепный Ленинград.

Когда перед белым с золотыми куполами петергофским двор-

цом (восстановленным снаружи) передо мной открылась перспектива фонтанов с золотым Самсоном (подлинник — статую «Большого Самсона» — украли немцы, он исчез, где он — неизвестно; это — копия, но великолепная), и канал, и дальше море, и на нем белый парус, — у меня вдруг закипели слезы и хлынули из глаз — о том, что люди могут убивать красоту; о тех, кому не увидеть этой красоты; от невыносимой жалости к детям, к деревьям, к бедной земле; от гнева и любви.

Мгновенно, будто озаренное ослепительной молнией, все стало волшебным, нежным, сияющим — о, великолепие этого летящего кружева воды, золотых сверкающих статуй — плеск, шум, журчанье, брызги, каскады! Гранитные ступени, израненные войной, парк вновь тенистый и пленительный, где от снарядов погибло столько вековых деревьев, а ленинградцы привезли новые, посадили, взлелеяли... Я заглянула в окно дворца: зияющая пуста, щепень, груды кирпича, оголенные стропила — опустошение... Восстанавливают, но можно ли восстановить то блистательное великолепие, что жило здесь до войны?!

Потом в тенистом запущенном парке Ораниенбаума — Китайский дворец, не оскверненный войной, чарующий, прелестный, поистине «таинственный приют любви» этой — что бы ни говорили — Великой Екатерины, которую недаром любил такой орел, как Потемкин! Нет, куда Версалью до Китайского дворца, пусть он и меньше размерами. Где в мире есть еще такие стены, плафоны, люстры и тускло-зеленоватые, обрамленные золотом зеркала?! И полы! А главное, как любовно и бережно их хранят вот эти молодые искусствоведы, старые простые уборщицы, сторожа, садовники... «Мы все сняли, отправили, все сохранили, а потом своими руками после войны одели, убрали, развесили. Пусть такая красота навечно живет людям на радость!» — так сказала мне пожилая сторожиха, прожившая в Ораниенбауме всю свою жизнь.

Один из посетителей все приставал к экскурсоводу: «Прошу, объясните причину дворца». И кто-то из группы экскурсантов строго ответил: «Ну надо же было «им» где-то жить!» Мы все хохотали от души.

Восьмой день

Утром от Зимнего дворца пошла по набережной мимо Адмиралтейства к памятнику Петру и мосту Шмидта и дальше, а потом свернула на Мойку и дошла до Невского. Лил дождь, я промокла до нитки, туфли хлюпали (пришлось купить новые), но оторваться от этой красоты не могла... Какой-то очарованный город. Удивительно цельный по стилю. Пропитанный романтикой, трагизмом; кровью и потом рабочего люда; воплощенными в камне замыслами великих строителей. Город, сам по себе ни на что не похожий, как и ленинградцы — особое племя русских. Прежних ленинградцев немного осталось. Во время блокады погибло столько

людей. К концу войны осталось всего шестьсот тысяч человек! Но новые люди за послевоенные годы стали тоже «ленинградцами». Город покорило своим благородством и строгостью огромное большинство из «пришлых». Они стали патриотами Ленинграда, и это бросается в глаза. Это встречаешь на каждом шагу. Я знаю: «достоинее всего жить в Ленинграде». И после него Москва кажется шумным селом во время ярмарки. Все, кроме Кремля. Москва мне дом родной, моя деревня, а Ленинград — моя столица.

Ира сделала вкуснейший лимонный пирог, и вечером пришли в гости Ася с Лелей. Во время разговора Леля вдруг сказала: «Постойте, Таня, вы были давным-давно в Одессе? Проездом?» Оказалось, она видела меня там, когда мы с Бенем в августе 1923 года уезжали в Константинополь. «Вы были совсем девочкой, Таня, и уезжали с куклой, русской матрешкой, помните? Вы были какая-то особенная, мы долго вспоминали вас... Вот ведь как бывает! Мир мал...» Я рада, что мне довелось сказать ей, каким хорошим человеком был Бен, ибо в ту пору он ей не понравился.

Завтра вечером еду к Васе, домой.

Девятый день

Была насчет глаз у милой Натальи Николаевны Бойко-Русаковой. Она подарила мне статуэтку Ломоносовского завода. Полечила глаза, прописала капли и очки. От нее я помчалась на свидание с Ирккой, но, оказывается, она прождала меня полтора часа у памятника Пушкину в Михайловском саду, а я, торчала напротив «Европейской». Встретила Курта Зандерлинга. Он говорит: «Новосибирск... Вы пели с гитарой...» Не изменился почти.

Потом купила подарки Ирке, Васе, Аленке и поехала обратно на такси. Пожилая румяная шоферша. Я говорю: «Везите по красивым местам». Она обернулась ко мне и говорит: «У нас все красивое. Нынче утром выехала я, смотрю кругом и думаю: до чего же замечательный наш город! Как украсили его цветами, как убрали, почистили! А на днях кончила я к полуночи работу и опять не могу — белые ночи! Прогуляла, как две зари встретилась, а тут мосты развели, поплыли корабли — дух захватило — красота такая! Всю войну я на «скорой помощи» работала. На Путиловском заводе как-то собрала раненых, увожу, а тут снарядом в столб — монтера насмерть, а мне обе ноги покалечило. Спасибо старушке докторше, вечная ей память! Гипса не было, она мне лучинками ноги-то привязала. Ничего, срослись, только как рукой по голени проведешь — так шишки чувствуются, да одна нога похудее другой будет. Страшно в блокаду было — не описать! Вот отсюда по ним «Аврора» била. А они с воздухом, да зенитками с фронта. Почитай у самой Нарвской заставы немцы стояли. Землю грызли мы от голода. Но не до горя было...» И тут у нее закапали слезы. Она довезла меня до Семнадцатой линии. «Меня Марья Осиповна

зовут. Не уходите, немного погодите, хорошо с вами: вы наш город понимаете. Да он и любого пронзит своей красотой»... Сердечно простилась я с ней. Позвонила Асе, Леле, расцеловала Иру с Борисом, поблагодарила их за доставленный мне праздник. И поехала домой.

28 августа

Второй раз мы были у Екатерины Павловны Пешковой, старого товарища моего Васи. Недавно праздновали ее восьмидесятилетие в Институте Горького. Она удивительно моложава, все помнит и рассказывает увлекательно и живо. Худенькая, бодрая, с умными, пронзительными глазами.

Мы были у нее с Владимиром Сосинским и его сыном Алешей, которых Екатерина Павловна очень хотела повидать. Она рассказывала о том, как был создан Политический Красный Крест, председателем которой она была в течение без малого двадцати лет: «Мы сами повесили вывеску и стали существовать на добровольные пожертвования. Раньше, в царское время, Политический Красный Крест был нелегальным, а в 1917 году стал легальным обществом помощи освобожденным политическим заключенным. В Ленинграде во главе стояла Вера Николаевна Фигнер, а в Москве — я. Потом Красный Крест устроил Первый санаторий в Ливадии для политкаторжан. А когда снова стали арестовывать социалистов, уже при Чека,— мы сами, никому ничего не говоря, заняли дом на Кузнецком. Собирали книги и развозили их по тюрьмам, передавали заключенным посылки и получали справки от Чека для их родных. Обменивали польских политических заключенных на наших русских. У нас сначала были пропуска для посещения тюрем, а потом срок пропусков окончился. Собрали мы своих, совещаемся и вот выдвинули нас троих: присяжного поверенного Муравьева, адвоката Михаила Львовича Винавера и меня,— идти к Дзержинскому. Я долго не соглашалась, но уговорили. В назначенный день и час Муравьев, как дипломат, не явился, а Винавер мне говорит: «Без вас я не пойду!» Пошли. У меня ноги к паркету прилипали! В приемной не просидели ни минуты, вышел Дзержинский и говорит: «Идем ко мне». Я села в кресло, а он не за стол сел, а напротив меня, тоже в кресло. «Что вы там затеяли — наших врагов защищать?!» — спрашивает. Я говорю: «Нет, мы хотим помогать вам исправлять ваши ошибки, когда вы невинных арестовываете. Вообще я не понимаю, как могут люди арестовывать своих товарищей, с которыми вчера вместе работали?» А он ответил: «Вчера мы боролись вместе с ними против царского режима, а теперь они против нас, и мы должны себя обезопасить».

Словом, он ни за что не соглашался на наши просьбы, а я тогда сказала: «Честно предупреждаю: если так, тогда мы нелегальный Политический Крест все-таки откроем и тайно будем работать, вам же хуже будет». Он только засмеялся, и мы ушли. Я вспыхи-

вая в ту пору была. А назавтра нам пропуска принесли, и мы стали зарегистрированным советским учреждением.

Перестали мы существовать уже при Ежове. Когда еще при Дзержинском и Ягоде спала волна арестов, наша деятельность свелась к передаче посылок заключенным. А при Ежове, когда начались массовые аресты, нам вдруг перестали выдавать пропуска в тюрьмы. Я пошла к нему. Он принял меня любезно, но сказал, что ничего не может сделать: «Вы слишком часто обращаетесь к нам, и нам некогда давать вам справки». А я ответила: «Наши просьбы растут пропорционально вашей деятельности». Он был со мною очень мил и даже рассказывал о себе. (Вася говорит, что Ежов был нижегородец и знал лично Алексея Максимовича)... Екатерина Павловна продолжала: «Я спросила: «Что же, мне придется закрыть Красный Крест?» Он ответил: «Вот-вот, это хорошая мысль. Вам пора отдохнуть». Спорить не приходилось. Мы сдали архив (два грузовика) в Центральный государственный архив при НКВД. Мы почти все работали бесплатно, кроме канцелярских служащих, да и то они меньше всех советских служащих получали... С Надеждой Константиновной Крупской я не встречалась: наши дороги шли в разных направлениях, а про Каплан слышала разные легенды. Будто она живет где-то в доме, окруженном садом, под охраной. Ленин будто бы не согласился на ее смертную казнь». (Это неправда. Она была расстреляна через четыре дня после покушения.)

Сосинский сказал ей про Екатерину Дмитриевну Кускову — жену профессора Прокоповича — экономиста. Кускова была известная публицистка. У нее была своя газета, либеральная с марксистским уклоном. Теперь она ярая контра, живет в Женеве, ей девяносто с чем-то лет. Когда в 1921 году был страшный голод, Ленин разрешил ей и еще другим людям открыть Комитет помощи голодающим. Они получали грузы с продовольствием из-за границы. Потом Кускову с другими выслали. Ленин ее иначе не называл, как «мадам Кускова». Сначала они поселились в Праге. Прокопович писал ядовитую критику по поводу советской экономики. Потом переехали в Женеву. Он умер, а она до сих пор продолжает ругать Советский Союз.

5 сентября

В воскресенье едем в Ялту, в Дом творчества писателей. У меня гнетущее настроение, чего-то мне уже с месяц все не то и не так. При Васе стараюсь не показывать.

Сосинский привез мне из Женевы шикарное черное пальто стили «жена министра». За все, что они привозят или присылают, Вася щедро им платит.

За столом у Екатерины Павловны Пешковой сидела дама, немолодая, с красивыми глазами. Мы, спустя час, вдруг взгляделись друг в друга и обе закричали: «Это были вы!..»

На Воркуте в наш барак «артисток» на пересылке вечером пришла женщина. Приткнуться ей было негде, и я, пожалев ее, предложила ей лечь на мои нары поспать ночь перед этапом. Я забыла ее имя начисто, но долго вспоминала эту ярко-интересную женщину с трагической судьбой.

В 1935 году Ирину Гогуа арестовали (как и всех работавших в секретариате Авеля Енукидзе), дали три года высылки в Уфу, потом дали пять лет лагеря, а перед освобождением вlepили «групповую статью» в числе одиннадцати человек и дали десять лет. Дальше пишу со слов Ирины Гогуа.

«Из числа этих десяти (я была одиннадцатая) я была немного знакома с двумя женщинами, остальных не знала совсем. Пятерых расстреляли, четверем дали по десять лет. Нас судили закрытым судом в Уфе в 1940 году. Политическую окраску нашей «группе» придали два человека: один армянин и худенькая, кособокая, немолодая женщина по фамилии Козлова. Когда ей предоставили последнее слово, она встала и твердо сказала: «Пока бьется пульс, пока живет мое сердце, я не перестану говорить, что заветы Ленина извращаются, что мы отошли от его партийной линии. Я старая большевичка, и жизнь свою отдала его Делу, которое попрано сейчас». Армянин — не помню фамилии — сказал почти то же и теми же словами. Их и троих их друзей расстреляли...

Из суда нас отвезли в тюрьму. У меня была страшная цинга, и мне, по распоряжению доктора, разрешили мыть коридоры. Часовой в тот день был некто Иванов. Чудесный парень, добрый, честный человек. Я во время прогулки в тот день сорвала цветок иванчая и оставила пайку от обеда (кусок черного хлеба — тюремная норма). Я шепнула часовому, что хочу на секунду в камеру смертницы — он молча отвернулся, я помыла коридор, смотрю, он дверь ее отпер — я метнулась в свою камеру за пайкой и цветком и вошла к ней. Мы обнялись... Назавтра их всех пятерых расстреляли.

Сталин ненавидел Енукидзе. И, по-моему, вот почему: была вечеринка 6 ноября у Ворошилова. Среди гостей были: Енукидзе, Аллилуева, Сталин и другие. Сталин что-то грубо сказал Аллилуевой за столом. Она побледнела и сразу после ужина молча ушла. А он уехал за город с какой-то бабой. Ночью Ворошилов позвонил Енукидзе: «Авель, пойдем сейчас к Наде (Аллилуевой), мне что-то тяжело, в нехорошем настроении она ушла!» Но Енукидзе уверил его, что это пустяки. А под утро она застрелилась. Если Сталин и любил кого-то в жизни — так это ее. Он никогда никому ничего не прощал. Не простил и Енукидзе, что тот не пошел к ней, мол, Енукидзе ее мог бы уговорить не придавать значения грубости Сталина и его изменам. (В ту пору на «это» передовые люди смотрели легко. Это считалось в норме поведения — переспать с кем попало, не придавая этому значения.) И Сталин часто проделывал такие измены при жизни Аллилуевой. После нее он жил со Шпиллер, артисткой Большого театра, и с какой-то родственницей Кагано-

вича и еще с какой-то киноартисткой: многих называют», — сказала мне Ирина Гогуа. Она умная, но у нее неприятно высокомерные манеры. Рассказывает очень интересно. С дочерью у нее нет никакого контакта, о чем она сама горько сожалеет. Она вздорная, чего я так не люблю в людях, а главное — не умеет любить — а это недостаток духовный, очень серьезный недостаток...

Дочь после встречи с ней, прожив с Ириной Гогуа несколько недель, сказала ей: «Ты мне не нравишься, мама», — и навсегда ушла от нее к своей подруге, дочери директрисы школы 172-й (где учились обе Светланы — Сталина и Молотова), по фамилии Гроза. Та была отвратительным солдафоном в юбке и майором НКВД — по слухам. А дочь ее, кажется, стала врачом, как и дочь Ирины Гогуа. Фамилия этой Ирининой дочери Сопкова — что-то в этом роде.

Рассказ Василия Васильевича Сухомлина

«Ехали мы сразу же после революции из Франции, Англии, Швейцарии в Россию, впервые легально, на пароходе. Летом 1917 года. Много было революционеров. Из Лондона ехала большая партия политических эмигрантов и деловых людей. Из Абердина в Швецию и дальше в Петроград. Нас сопровождали два английских миноносца: перед этим немецкие подводные лодки потопили пароход. Лишь один из нас, человек лет сорока, в военной форме, невысокий офицер с незначительным, серым лицом, ходил по палубе с надетым спасательным поясом!

Ехали: Ольга Елисеевна с девочками, я с женой Ниной.

Чернов в ту пору был министром у Керенского, и этот офицер узнал об этом и стал к нам подходить, познакомился и уже не отставал. Выяснилось, что он едет из Италии в Петроград с докладом в военное министерство о злоупотреблениях с закупками. Он, в числе русской комиссии, был послан в Италию. По специальности инженер, из Риги. Был мобилизован на войну. Много говорил о своей жене, какая она замечательная, красавица, необыкновенный человек, он оставил ее в Италии... Просил помочь ему с новым министром.

С нами ехал также некий Цивин, молодой человек из Швейцарии.

Ехал также из Лондона и русский купчик, в поддевке, в сапогах, миллионер. «Меня папаша послал из Томска в Лондон пароход покупать».

А в России прошла уже первая революция! (О Цивине — отдельная история.)

Приехали мы в Петроград, и я потерял этого офицера из виду.

В 1918 году я поехал осенью за границу с Н. Н. Русановым. В 1919 году в Швеции был Международный социалистический конгресс. Я был делегатом. В Берне в великолепном кафе в один из вечеров сижу, вдруг подходит этот самый офицер! Но уже в штат-

ском. И радостно мне сообщает, что, когда в России началась гражданская война, он через все фронты перебрался обратно за границу. Ведь жена-то осталась в Италии! А он, по-видимому, ее страстно любил. А сейчас он переехал в Берн, куда ждет на днях жену из Рима. Он уже снял комнату. Через несколько дней идем мы к нему в гости. Встречает нас молодая женщина, незаметная мышка, никакая... Суетилась, был пирог, а он сиял. Скучная, он тоже скучный...

Мы изерна уехали.

В Берне жил один наш знакомый, по фамилии Щупак. Он тогда что-то писал, а жена его была знаменитый знаток санскритского языка. Рассказывал нам после Щупак: «Вошел ваш офицер с женой в кафе, к ним подошел еще человек, у них завязался спор. Потом офицер с женой встали и вышли, идут мимо окна, и вдруг я вижу — офицер выхватил пистолет и выстрелил прямо в жену!»

В газетах на другой день — сенсация! Был суд. На суде выяснилось, что она во время его отсутствия сошлась с кем-то в Риме. Приехала к нему в Берн, а вслед за ней примчался любовник из Рима — красавец и тоже русский. Что они оба в ней нашли? Этот офицер за убийство получил шесть лет... А в это время в России бушевала гражданская война...

Про Цивина. Он лечился от туберкулеза в Давосе, был сыном очень богатого еврейского купца из Смоленска, сам — социал-революционер. Я жил в Женеве, очень дружил с Борисом Давыдовичем Камковым¹. Потом в России он исчез, погиб в ссылке, очевидно. Цивин жил в нашем отеле, очень шикарном. Мы вместе ехали в Россию, но он по приезде как-то сразу исчез. У него была непонятная связь с одной аристократкой — австрийкой из Вены. Вдруг Цивин через полгода или больше объявился большевиком!

Несколько лет спустя в Италии я встретился с его настоящей женой, русской, очень красивой женщиной... Она мне рассказала, что после гражданской войны (Цивин стал комиссаром Красной Армии) он умер в России в больнице от туберкулеза. Сама она через Бессарабию перебралась в Италию, где постоянно жил ее брат. А Цивин был шпионом, то ли австрийским, то ли еще чьим-то... Так мне сказал брат его жены Давид Гольдштейн — крупный коммерсант, представитель бывшей русской фирмы «Проводник» в Италии. А последнее время у него было большое дело в Париже...»

Виню себя за то, что не всегда записываю интереснейшие рассказы Васи. Он знал множество людей, игравших подчас важную роль в судьбах государств...

Вот еще один из его рассказов:

«Когда я был в Париже в 1918 году, вдруг звонок: является молодой человек восточного вида, говорит: «Я — Го, приехал к вам,

¹ Б. Д. Камков был расстрелян в 1938 году, о чем Василий Васильевич узнал лишь в 1961 году от Берты Александровны Бабиной — близкого друга Камкова. Бывшая эсерка, Берта Александровна отсидела двадцать лет на Колыме...

мы корейцы, делегаты корейского национального правительства, хотим добиться независимости Кореи». Он был вдвоем с товарищем. Го — офицер русской армии, но корейский патриот. Он хотел, чтобы Вильсон, Клемансо и Ллойд-Джордж признали Корею. Они оба были делегированы из Кореи. Шли пешком и ехали через Россию, а там гражданская война! Добрались до Мурманска, оттуда пароходом до Франции. Они пришли ко мне, чтобы я им помог. К ним присоединился Ким Нью Си из США, а потом прибыл из Китая человек, который говорил только по-китайски,— они его считали пророком. И он был главой движения за национальную независимость.

Я стал «секретарем Корейской дипломатической делегации независимой Кореи». Составлял им по-французски докладные записки, досье и прочее. И меморандум. Вот почему я у них в почете, и они теперь в Москве присылают мне свои журналы и приглашают на приемы посольства Северной Кореи»,— закончил Василий Васильевич.

Назавтра мы поехали в Крым.

Ялта, 8 сентября 1958 года

Мы ехали на такси зигзагами по горам. Но мне гораздо больше понравилось сразу за Симферополем — невысокие горы, голые рыже-серые, а над ними будто проносятся осязаемые тысячелетия... Проехали мимо раскопок Неаполя Скифского. Необозримые киммерийские просторы. Все выше, выше, перевалили и стали головокружительно спускаться к Гурзуфу. Он показался игрушечным и «дешевым», зато великолепие моря! Дух захватывающей дорогой мы мчались в Ялту. Неопишуемая красота лесистых гор, обрывов, склонов. Пинии и кипарисы стоят как люди, печальные и строгие. Какие-то бессмертные. Дом творчества писателей высоко на склоне горы; у нас две комнаты на углу и балкон угловой, большущий, а вид с него — ни в сказке сказать, ни пером описать.

Вечер спустился молниеносно, и после ужина мы в темноте пошли искать гимназию, где учился пятьдесят лет назад Вася. Нашли. Она за чугунными воротами, внушительный подъезд и огромными буквами странное название «Магарач» — Научный институт виноделия. На улицах люди, веселые, много их. Масса огней. Улицы то вверх то вниз, за густыми деревьями не видно домов, и люди по-южному приветливые. На вокзале в Симферополе познакомились с Либединскими и Каверинными. Мне особенно у Каверина нравится «Два капитана» и «Доктор Власенкова». Каверин человек хороший, это явно чувствуется в его книгах. Его жена — Лидия Николаевна — изящна и мила.

Вася спит, устал, ангел мой, которому я всем обязана,— вот он мне подарил теперь Ялту. Мне вспомнилась Гренада, как мы ночью с Л. Ф. туда приехали... Я не могу заснуть, мне хочется стоять

на балконе и глядеть на море. На горе сияет звездочками свет в домах и уличные фонари. И воздух упоительно пахнет какой-то смолистой прелестью. Воистину бальзам!

Я все время обрадованная благодаря Василию.

9 сентября

Бродили по городу вместе, потом я одна, потом снова вместе после чая. Взобрались на самую вершину горы, у нашего санатория, туда, где строят Храм Воздуха (?), искали дачу Елпатьевского — писателя-народовольца, друга Чехова и друга Сухомлиных, лазали по кручам, спускались по обрывам и прочее. Вся изумил меня прыткостью, недаром он был альпинистом. Узенькие кривые улицы. Татар выселили всех до единого после войны, от них остались домики с плоскими крышами и подвесные виноградники, беседки с крышей из виноградных лоз, со свисающими вниз кистями винограда. Видели высокую каменную стену, а на воротах странный герб, видимо, очень древний... Были на базаре и порадовались обилию фруктов. Жаль, что мускатный виноград еще не поспел. Наелись инжиру; на набережной, в сторону моря, — упоение, в сторону от него — поток людей, в большинстве некрасивых, разодетых в «модное» (отсутствие вкуса!) и страшные лавки со страшными подарками, страшные рекламы на балконах. Вообще почти все, что новое, — безвкусное, а почти все, что старое, — прелестно. Угнетает множество мчащихся по улицам машин, автобусов, грузовиков. Но за городом строят автостраду. С Васенькой гулять весело, он взволнован приездом сюда — через пятьдесят лет! — и рассказал мне массу интереснейших историй. Мне хочется найти что-нибудь киммерийское, и я хожу, глядя себе под ноги: а вдруг каменный топорик неандертальца или скифская серьга?! А еще лучше браслет бы...

Что я когда-то была гречанкой — это факт. Я чувствую это где-то в костях. А Василий говорит, что потом была я птицей, потом кошкой и француженкой, а вот скифкой — нет. Пожалуй, ни в каких воплощениях я в Крыму не была, — он мне совершенно нов. Но мне почему-то больше всего нравятся киммерийцы из всех, кто жил здесь. А что жили тысячелетия тому назад уже, и всякие, — то просто осязаемо! Этим дышит здесь каждая пядь земли. Напротив, через море, — Турция. Васик говорит, что когда царь каждый год приезжал в Ливадию на яхте «Полярная звезда», то из Турции на смешном и старом, как старая калоша, корабле приплывал турецкий посланец от султана — приветствовать соседа. И приплывали с фруктами турецкие фелюги, а турки все носили красные фески. Много было на набережной греческих кофеен. Ездили на извозчиках. И гимназисты тайком бегали играть на бильярде. А Чехов сидел ежеутренне на набережной, у табачной лавочки Си-нани.

13 сентября

Неожиданная встреча с кинорежиссером Андриевским: когда-то он с Гайдаром приезжал на несколько дней в Абрамцево, я не знала, кто они. Как-то я в полном одиночестве пела в столовой, обернулась — смотрю, они оба стоят и слушают. На другой день Гайдар мне сказал: «Вот вы пели — и помогли мне книжку закончить!» Андриевский сказал мне сегодня: «Я до сих пор помню, как вы пели». У него милая жена. А та книжка Гайдара называлась «Судьба барабанщика» или «Голубая чашка»?

Приехали Катала со своей Люсей. Мы сидели вечером с ними у них на балконе. Мне жаль его — он безногий. Ходит на протезах, с трудом. А сам такой плечистый, сильный...

Захарченко, развязный молодчик, рассказывал сегодня о Брюссельской выставке. Пылко, театрально и хоть интересно, но жаль, что он явно преувеличивает. Семушкин выглядит неприветливым. Юркий Лев Никулин приехал в день приезда Катала и все время норовит быть с ними, по-моему, он глубоко скверный человек. У Каверина — выразительное лицо еврея-интеллигента. Он тонкий и умный. Мы с ним часто говорим. Я себя с ним чувствую приятно.

Натерла ногу, хожу босиком. Интересный человек В. Сафронов, автор «Земли в цвету». У него красивая жена, к сожалению, крашенная блондинка, что ее дурнит. И какая-то внутренне шалая.

18 сентября

Небо посерело, моросит мелкий дождик. Странно: с тех пор как я перевожу книги, я сама разучилась писать. Перечитала последнюю запись просто с удивлением. Во всем этом настолько нет атмосферы солнечной красивой Ялты, настолько нет тех, о ком я мельком упоминаю!

Сегодня мне захотелось поскорей отсюда уехать. Я почему-то жду землетрясения. И все время под пленительностью Ялты ощущаю те бесконечные войны, кровь, муки, которые приняла эта дивная земля Крыма, созданная, казалось бы, лишь для счастья бытия... Взять хотя бы немецкую оккупацию. Сколько людей погибло здесь, сколько разрушено домов и вырублено деревьев. А после — выселение татар, а ведь не все же были предателями! И многие из них умерли в изгнании от тоски по родному жаркому Крыму... Ужасно это вечное насилие над людьми!

Я с Люсей Катала ходила смотреть армянскую церковь, которую миллионер Гукасов в 1914 году выстроил в память умершей в Ялте от туберкулеза своей молоденькой дочери.

Широкая крутая лестница с двух сторон обсажена высокими печальными кипарисами. Ведет к великолепному храму в древне-армянском стиле. Под церковью усыпальница, задуманная как семейный склеп. Но похоронена в нем лишь эта младшая дочь Гукасова, а семья эмигрировала в 1917 году во Францию, где на

деньги Гукасова издавалась антисоветская газета «Возрождение». Церковь заперта. Снаружи она прекрасна. Ее строили два армянских архитектора. Сейчас она медленно разрушается. Непрочен серый местный песчаник, а мы не очень умеем хранить наши памятники... И как, наверное, мать тосковала по могиле дочери!..

20 сентября

Вчера я пешком ходила в Никитский ботанический сад дорогой по-над морем. Погода была прекрасная, только сильный и холодный ветер, шторм, волны довольно высокие с белыми гребнями. За Массандрой меня догнала молодая женщина, мы заговорили и пошли вместе. «Я всю жизнь в Ялте прожила. Была девчонкой, когда немцы пришли. Я все до мелочи помню. Вот тут скоро будет обрыв над морем, где фашисты расстреляли две тысячи евреев — всех в один день. Поставили у обрыва и пулеметом... они вниз падали, прямо в море... Вся земля здесь кровью была пропитана...»

Мы подошли к обелиску: «18 декабря 1941 года немецкие фашисты расстреляли на этом месте две тысячи мирных жителей Ялты». И прекрасный день померк. На дивную дорогу легла тень, угрюмая, душная...

Незаметно вошла я в очарованный сад, тенистый, теплый, спросила у кого-то, далеко ли еще идти, и мне ответили: «Да вы уже в ботаническом саду». Мне по душе особенно пришелся кедр атласский; сизо-зеленые плакучие мохнатые ветви печально свешиваются вниз...

Но над всем сегодня мрачная память о фашизме... Не могу отделаться от тоски, так жаль погибших...

На пятый день

Сегодня Лев Никулин подошел снова к нам (в нем есть что-то неуловимо отвратительное, словно он урод). На самом деле это весьма элегантный, маленького роста старик с розовым лицом и красивыми седыми волосами. Мне он физически неприятен — злой старикашка. Сидел с Катала и нами. Я прямо в лоб его спросила, знал ли он Миру Бутберг. Он сказал, что да, знал, с 1920 года и недавно в Лондоне обедал и провел весь вечер с ней. На днях получил от нее письмо.

Она — урожденная Закревская, дочь обер-прокурора Закревского, из семьи тех, «пушкинских», Закревских. Вышла замуж за Бенкендорфа, племянника посла. Вторым мужем был барон Бутберг. В 1921—1922 (?) году тайно перешла нашу границу в Финляндии или Эстонии. Была женой Горького. Когда он заболел в 1936 году, ее вызвали, она провела здесь семнадцать дней подле него и уехала сразу после похорон. Потом была женой Герберта Уэллса. «Теперь она похожа на Пиковую Даму — старая, грузная (любит выпить!), — а была красавицей...» — сказал этот старый

циник. Я уверена, что он хочет быть русским Сомерсетом Моэмом, он знаком с ним, и они в переписке. Интересная судьба у этой «Майры»... По словам Никулина, роман ее с Брюсом Локхартом происходил в 1918 году. Два или три раза она сидела в Чека. В 1920 году Корней Иванович Чуковский привел ее в редакцию «Мировой литературы» и представил ее Горькому в качестве переводчицы. Во время последнего свидания Никулина с Мирой она рассказывала ему, как она два раза встретила с Распутиным. Первый раз в царской ставке в Могилеве (она сама была сестрой милосердия в царском поезде). Царевич Алексей был с отцом, у него пошла кровь носом, остановить ее было невозможно, кровь ручьем лилась в таз через две стеклянные трубочки, вставленные в ноздри. Вызвали Распутина; он положил руку на переносицу царевича, что-то пошептал, и кровь вскоре остановилась. Царь поцеловал Распутину руку. Никулин говорил об этом с каким-то знаменитым профессором, кажется с Бехтеревым, тот сказал, что знахарки в деревне «заговаривали кровь» путем психологического воздействия. Второй раз Мира Бутберг видела Распутина в гостях у графини Палей. Распутин был пьян и непристойно вел себя с дамами. Все это было пятьдесят лет назад. Бесконечно далекая история!

25 сентября

Анастасия Андриевская рассказывала мне про актрису Валентину Караваеву. Судьба ее примечательна.

Дочь работницы, она родилась в Нижнем Волочке. Мать ходила часто в кино, брала ее с собой. Валя рано научилась читать. В школе влюбилась в Маяковского, любовь к нему стала единственной любовью ее жизни. (Она как-то сказала Андриевской, что в будущем перевоплощении встретится с ним и что он убил себя именно оттого, что не знал ее,— ведь они были предназначены друг другу!) Когда он умер, она была совсем девочкой. К восемнадцати годам она решила стать актрисой. Хороша она была необыкновенно. Из Нижнего Волочка она написала Тарханову, который возглавлял тогда театральную школу при МХАТе. Написала, что, если ее не допустят к экзаменам и затем не примут в театральную школу, она покончит жизнь самоубийством. Ей ответили, чтобы она приезжала. Экзамен она выдержала блестяще. Ее приняли. Вскоре Райзман пригласил ее на роль Машеньки в одноименном кинофильме по пьесе Афиногенова. Играла она великолепно. Поступила в театр Моссовета и блистательно сыграла у Юрия Александровича Завадского Нину Заречную в «Чайке». Через несколько месяцев она ехала в автомобиле рядом с молодой водителем, та загляделась на актрису «Машеньку», и машина врезалась в трамвай. Тяжело раненую, с лицом, изрезанным стеклом, Караваеву доставили к Склифосовскому. Она выздоровела, но лицо ее было изуродовано глубоким шрамом. Она стала пить, думала о самоубийстве; Зоя Федорова, чтобы «развлечь» ее, стала таскать в иност-

ранные посольства на вечера и приемы. Однажды Караваева познакомилась с каким-то из советников или атташе английского посольства. В тот вечер она твердо решила, придя домой, покончить с жизнью. Англичанин, видимо, почувствовал, что с нею происходит. Он сказал ей: «Я никуда не отпущу вас сегодня», — и остался у нее. Назавтра он сделал ей предложение. Она согласилась. Вышла за него замуж и уехала в Англию. Через несколько лет, стосковавшись по Родине, написала книгу «У них нет завтра» и вымолила разрешение вернуться. Однажды в Москве она сказала Андриевской: «Как-то раз я проснулась утром — муж смотрел на меня. Во взгляде его я прочитала жалость — ведь у меня шрамы, — я не смогла перенести этого...»

Она приехала обратно в Россию. Ее приняли в Театр киноактера. Она не играет в фильмах, но ее часто занимают на озвучивании иностранных картин. У нее есть любовники. Но она ссорится с ними. Меняет их. Пишет стихи где попало: на папиросных коробках, на обрывках бумажек и бросает. Талантлива во всем, к чему бы ни прикоснулась. Очень религиозна. Взбалмошна. Вспыльчива. Глубоко несчастна.

28 сентября

Вчера была голубая ночь. От луны небо и море были бледно-голубыми, голубели горы, синели звезды. Спать было жаль... После ужина мы часто смотрим фильмы. Но впервые видели настоящее киноискусство — итальянский фильм «Машинист» режиссера Пьеро Джерми с ним самим в заглавной роли. Фильм дублировали, за мать озвучивала В. Караваева — прелестно. Повествование идет от лица мальчика. Его великолепно играет итальянский малыш. Мне вспомнилось мое стихотворение:

Я мчусь на экспрессе жестком, мгновенном,
Мне жаль не себя, но других под откосом...

Уж не помню, как было дальше.

На Воркуте я писала стихи, ибо всегда молчала. Мчится поезд как символ человеческой жизни — жизнь машиниста, хорошего человека, но вспыльчивого, любящего выпить, изменившего жене, — словом, живого человека, а не схемы «положительного героя». Фильм сделан так гуманно, просто с отменным чувством меры; глубоко трогает.

30 сентября

Дивная осень. Приплыл прехорошенький белоснежный югославский пароходик. Ночью ушел, залитый огнями, как дорогая игрушка на темном тихом море.

Смотрели эйзенштейновского «Ивана Грозного», первую и вто-

рую серии. Великолепное зрелище. Фильм-опера. Музыка Прокофьева чудесна. Черкасов властный, непреклонный, сумасшедший Грозный. Но страшно, тяжело... Какая азиатская жестокость, русская... Дубово-хитрые бояре, злобный пес Малюта, женственный красавец отрок Федор Басманов... Кадры — один прекраснее другого. Ну и художник же был Эйзенштейн! Сцены в соборе — это как древняя икона. А пляска опричников с Федькой Басмановым в личине рыжей девки, его нежно-порочная улыбка! Гениально. У Эйзенштейна и лицо было гения: крутой лоб, зоркие глаза. Помню вечер у Веры Петровны Марецкой в честь Лилиан Хеллман. Я была приглашена в качестве бродячей певицы. Завадский, Плятт, Абдулов, прелестная Верочка Марецкая, зловекая Дороти Кин и страшная ее раба и телохранительница — домработница Елена Ивановна, вся как из времен Ивана Грозного... Я пела и имела успех. И Эйзенштейну — циничному, умнейшему — больше всех понравился романс «Как тени темные в ночи...», спетый мною по-французски. Абдулов — милейший человек и талантливый актер. Помню, как однажды вечером мы сидели летом в одном ресторанчике в саду, и он рассказывал, как он боялся летать на самолетах, но полетел, и в самолете заплакал от страха. Рассказывал так комично, что мы хохотали до слез... Тогда же погибла и Ната Вачнадзе, в молодости изумительная красавица, актриса кино. Помню ее сестру, последнюю жену Бориса Пильняка. Сам Пильняк — рыжий, некрасивый, неистово любил женщин. Это он познакомил меня с Пудовкиным, ставшим впоследствии хорошим моим другом. Про Пильняка в Москве говорили, что у него «бешенство папки». Как-то раз в 1930 году, когда я из Нью-Йорка приезжала в Москву, он пригласил меня к себе на дачу вместе с Л. Ф. На даче, где-то за Белорусским вокзалом, было красиво: масса книг, уют, огромный дог Васька и милая молчаливая жена Ольга... Я тоже молчала, а он рассказывал Фишеру, как недавно кутил на даче правительственной. «Утром просыпаюсь, бац! — выстрелы. Гляжу, под окном Сталин — воробьев бьет. Штук десять перестрелял. Я ему говорю: «Зачем? Жалко ведь!» — а он только криво ухмыляется. Жестокий человек!»

В Париже году в тридцать первом Пильняк приходил в мастерскую Цаплина с Мариной Цветаевой. Марина Ивановна очень мне понравилась, она была вся пепельная какая-то, с милыми серыми глазами, просила видаться, но я вскоре уехала на Майорку. Больше я ее никогда не видела. Но стихи ее я давно знала и любила те, где про Манон Леско, Казанову...

Когда Тихон Чурилин сказал мне в тридцать девятом — сороковом, что видел в Москве, в трамвае, Марину Цветаеву и глазам не поверил! — я решила, что ему, верно, почудилось. А ведь она тогда действительно вернулась и в начале войны повесилась в Елабуге. Как жаль ее!

Когда мы с Цаплиным вернулись из-за границы в тридцать пятом году, я позвонила Пильняку. Он обрадованно пригласил нас к себе на дачу. Познакомил с новой прелестной, очень молоденькой

женой. У них тогда недавно родился мальчик, помню, такой крепенький розовый малыш. К ужину приехал к Пильняку Антонов-Овсеенко с женой Соней. Вообще, мне все не понравилось в этом доме. А молоденькая жена все куталась в платок, юная такая... В 1937 году Пильняка расстреляли, тогда же Киршона, Бабеля и многих еще... Сережу Третьякова... Мне не нравились книги Пильняка, кроме одной, где про русскую, что вышла замуж за японца. Но сам он был талантливейший писатель и рассказчик. Немногие встречи с ним ярко остались у меня в памяти. Ужасно жаль его!

Никак не могу привыкнуть к Крыму. Неправдоподобный, он и горы меня давят. И жаль, что не песок у моря, а камни. И что к земле пришвартован лишь странным эфемерным Сивашем. Хочу на твердую землю и на просторы русские. И в Москву. Но мы еще заедем в Киев. Завтра облазаю обстоятельно Ялту... Жаль только, что всё — то вверх, то вниз. Но зато деревья мне в радость, и каких только здесь нет! Я их люблю с глубокой нежностью, со счастьем, что я среди них, под ними, рядом. Как я тосковала по ним в голой, рыжей, бескрайней тундре!.. Она у меня осталась в памяти такой, какой я ее осенью впервые тогда увидела...

Ночь с 4 на 5 сентября

Посидели на прощание с милыми Либединскими, Каверинными и Катала. Потом подошли В. Сафонов — автор «Земли в цвету», фантаст Немцов, Тихон Захарыч Семушкин... С Каверинным и Либединскими, наверное, еще увидимся в Москве. И с Каталами. Она очень мила, эта черненькая, тоненькая, умненькая Люся. Но сам Катала, хоть я и уважаю его очень — он безногий калека (полиомиелит в детстве), такой сильный духом, жизнерадостный, веселый. Но его юмор часто меня корбит грубоватостью. Он очень умен, образован, интересен. Будучи советником при французском посольстве в Эстонии, он написал книгу, разоблачающую французскую дипломатию; стал коммунистом, поселился в Москве, развелся с женой (русской) и женился на Люсе, хорошенькой, доброй, которую, по-видимому, любит страстно. И есть за что. Она трогательно мила с ним, тактично гордится им, влюблена в него. У них в Москве большая красивая квартира. Ох, та же, где жил Луи Фишер, а потом Элизабет Иган. Они любят приглашать к себе и угостить изысканно-вкусно и вполне по-французски. Но с ним всегда мне как-то не по себе. Я его стесняюсь...

Зашли попрощаться с милыми Орловыми и Анной Ивановной, у которой дивное кольцо: огромный рубин, осыпанный бриллиантами. Если б это был сапфир — я бы сразу купила его. У меня от «Трильби» деньги. Шли обратно красивой улицей Кирова, той, где когда-то была мужская гимназия, где учился мой Вася, а теперь «Магарач». Море было бурное, но днем сияло солнце. Нам хорошо

жилося в этом доме Литфонда. Но после обелиска мне здесь тяжело... Людской ужас и горе оставляют по себе невидимые частицы в воздухе...

Завтра едем в Киев.

Киев. Осень 1958 года

Первый день — сама бродила. Второй — Софийский собор. Днепр. Третий — Владимирский собор. Потом чудесная Андреевская церковь Растрелли. Четвертый — Кирилловская церковь двенадцатого века, восстанавливалась в девятнадцатом веке. Позднее в ней появились фрески Врубеля. Сейчас внутри стоят сплошь леса; церковь реставрируют. Она стоит в большом парке при доме умалишенных. По парку бродят «тихие»: шизофреники, склеротики. Деревья стоят золотыми букетами, сыплется осенняя золотая листва; нас отвезли туда Горчаковы с какой-то Лидией Яковлевной, она одержима Киевом и древней Киевской Русью. В церковь не пускают из-за реставрации, но Лидия Яковлевна уговорила старуху сторожиху Мотю Захаровну, и та огромным ключом отперла дверь. Ни души, пыль, паутина... «Начали реставрировать в 1947 году, после войны, и еле-еле ворочаются», — сказала старуха. Но мы полезли наверх по внутренней крутой деревянной лестнице. Мощные замечательные фрески двенадцатого века местами очищены и несколько великолепных росписей Врубеля. Сама церковь, прелестная снаружи, строгая и простая, строилась с 1140 по 1179 год. Заложена по повелению княгини Марии Мстиславовны. (Мстислав — сын Владимира Мономаха, был киевским князем после смерти отца.) Затем переделывалась. Приведена в первоначальный вид повелением Александра II в 1880 году.

Потом с Лидией Яковлевной помчались за подвеской двенадцатого века («Я на днях подарил ее...») — сказал нам тот, к кому помчались), потом в Киево-Печерскую лавру. День был серый, но теплый, погода гармонировала с печальным зрелищем бедной запущенной Лавры, с руинами Успенского собора, от которого уцелела только древняя часть... Пошли в «Пещеры», но вниз я не полезла. Чем-то жутким, глухим пахнуло на меня из темной лампадной щели подземелья. В притворе сидят богомолки. Ходят старые монахи в черном, в клобуках. Вокруг церкви Рождения Св. Богородицы могилы, некоторые с трогательными надписями, восемнадцатого и девятнадцатого веков. Например:

Ты скоро отцвела, наш милый вешний цвет!
Твой век был век минутной розы.
Молись за нас! Господь воззвал тебя в свой свет,
А нам оставил слезы...

Имени нет, рядом с могилой князя С. Д. Кудашева. Может быть, это юная княжна Кудашева?

10 октября

Раиса Абрамова, мать Вадима Горчакова, проводила меня к Лидии Яковлевне Ливитиной, а та повела меня к Цецилии Игнатьевне Крыжановской, вдове знаменитого киевского врача. У Лидии Яковлевны (хорошенькой блондинки с красивыми близорукими глазами) две большие комнаты с чудесной старинной мебелью из карельской березы, старым фарфором, старыми портретами и изразцовой печью в углу. Все отменного вкуса. Угостив меня вкуснейшим яблочным пирогом, подарив мне кувшин и три лошадки-свистульки — украинская майолика, Лидия Яковлевна схватила меня под руку и помчала к Крыжановской, на ходу рассказывая массу интересного про Киев, коллекционеров, ученых, докторов и старинные клады.

Дверь невзрачного домика на Подоле нам открыла немолодая, очень красивая женщина в скромном черном платье, заколотом у ворота великолепной камеей, с запонками на рукавах: гранаты, осыпанные жемчугом, и с кольцами на руках — одно из них камей восемнадцатого века, усыпанная бриллиантами. Цецилия Игнатьевна, крещеная еврейка, воспитывалась в семье киевского священника. По убогому коридору, через убогую переднюю мы вошли в большую комнату — изысканнейшую, нарядную гостиную в стиле середины прошлого века, завешанную картинами: Кустодиев, Бенуа, Коровин, Нестеров, Добужинский, Жуковский... миниатюрами дивной работы в рамках, изукрашенных алмазами. В гостиную, заставленную мебелью красного дерева времен Екатерины II и Павла I, с такими коврами на полу, с такой иконой в ризе, шитой бисером, украинской работы начала девятнадцатого века, с такими двумя большими индусскими миниатюрами семнадцатого столетия, с таким фарфором на столах и бюро и со старыми книгами, что я остолбенела.

Вторая комната — столовая — столь же очаровательна. Что ни вещь — то драгоценность и красота, право. Очень многое из фарфора, миниатюр, картин и книг она продала в Эрмитаж в Ленинград. Кое-что теперь находится в Историческом музее в Москве и Русском музее в Киеве. Я спросила, откуда у нее дивное строгое зеркало в раме красного дерева с чуть бронзой. Она рассказала мне (и думаю, большинство этих вещей от него) о Павле Платоновиче Потоцком, русском Потоцком, не графе. Он женат на внучке декабриста Давыдова, ей по наследству перешло имение Каменка, то самое, где бывал Пушкин.

К началу революции Потоцкий был начальником артиллерийской службы Петербурга, генерал-адъютантом. Он вышел в отставку в 1917 году и переехал с женой в Киев, куда перевез не только свою библиотеку в восемьдесят тысяч томов, но и замечательную коллекцию оружия, мундиров и прочего лейб-гвардии Измайловского полка с начала его основания. (Крыжановская показала мне книгу издания 1828 года с иллюстрациями об истории этого полка, акваре-

ли А. Орловского и реестр восемнадцатого века с собственноручной подписью Анны Иоанновны: «Учредить полк».)

За исключением малой доли, все это Потоцкий передал в дар городу Киеву. За это ему отвели две комнаты в Лавре и сделали хранителем собственной коллекции (при Лавре же). В 1937 году восьмидесятитрехлетнего старика и его жену арестовали. Он умер в тюрьме, она в ссылке, их сын исчез. Один из букинистов, знакомый Крыжановской, рассказал ей, что как-то его и еще двух-трех букинистов пригласили в НКВД, повели в подвал, где лежали горы книг, и велели отобрать половину — для продажи. Это были книги из библиотеки Потоцкого. У него были редчайшие инкунабулы и все, что когда-либо вышло в печати по истории Киева. Часть его библиотеки сейчас находится в Историческом музее Киева, там же кое-что из его коллекции, остальное разошлось по рукам...

Потом по просьбе Лидии Яковлевны Крыжановской показала мне колье: аметисты в золоте, еще ожерелье — гранаты, осыпанные жемчугом, и кольцо: золотое, осыпанное горкой алмазов, головка откручивается, внутри гнездо для... яда! Восемнадцатый век! Чудной красоты перстень.

Я устала от массы красивых старинных вещей и попрощалась. Она любезно просила зайти с Василием Васильевичем, обещала показать ему книги по Киеву.

А вечером, в «поисках перстня», мы с Лидией Яковлевной были на чердаке у старика Сологуба (тесная комната, заваленная хламом и ценными вещами: старые иконы вперемешку с вырезанными из журналов портретами кинозвезд), потом в подвале у какой-то еврейки-старьевщицы, а потом у некоего Яновского, выжившего из ума старика, который знал всех крупнейших коллекционеров. Гоняли впустую, перстня у них нет. Завтра с утра в фонд Русского музея — смотреть иконы.

Суббота, 11 октября

Нет, в Русский музей мы с Васей не пошли, а попали в Керамическую мастерскую во Владимировском заповеднике. Нина Ивановна Федорова, заведующая мастерской, показала нам чудесных лошадей работы Железняка. Самоучка, гончар из народа, он — великолепный художник. Кумганы, тарелки, бараны, вазы, кувшины — прелесть. Все от фольклорных истоков. Мы получили огромное удовольствие и ушли с подставкой для лампы, подаренной мне Ниной Ивановной, — синяя глазурь переливается темно-зеленым. Мне обещали еще красный кувшин и синего в белых яблоках коня работы Железняка.

Потом мотались с Лидией Яковлевной в «поисках перстня», а к вечеру нас поволокли на машине — правил Николай Григорьевич — за город в гости к академику (химик) Алексею Ильичу Бродскому. Очаровательная дача, в саду — розы, яблони, виноград, вид на Днепр и заднепровские поля... Милая старуха, мать его

жены, Анна Яковлевна, угощала нас сидром своего изготовления, крепким вкусным чаем. Вера Савельевна — приятная «жена академика», и сам Бродский — чем-то похож на Пикассо, культурнейший умник. Очень у них было приятно.

Я устала, ибо сегодня с восьми утра бродила по Киеву. Удивительно красивый город! Улицы как тенистые аллеи. Дома с балконами, увитыми виноградом. Парки, сады на каждом шагу. Погода дивная, тепло; и тихо кружат в воздухе, ссыпаясь на землю, золотые листья. А деревья стоят как золотые букеты.

Боже мой, какой красоты город этот Киев! Мы живем у добрейшего Евгения Васильевича Сухомлина и его жены Кати. Он — брат Василия. Катя хоть и не молодая, но красавица».

12 октября

С утра пошла в Русский музей. Смотрела старые иконы и фарфор. Замечательная икона «Борис и Глеб» одиннадцатого — двенадцатого веков. Несравненно прекраснее, чем четырнадцатого — пятнадцатого века (кроме Рублева, конечно). Великолепный Симеон Ушаков и дивная расшитая плащаница четырнадцатого века. Прекрасный фарфор. Чайный сервиз Юсуповского завода с меткой «Архангельское». Впервые видела фарфор завода И. Гулина (метка — «И. Г.»). Потом хранитель музея Лидия Андреевна показала мне Богоматерь «Оранта» Врубеля и кое-что из фонда.

Оттуда — к Давиду Лазаревичу Сегалову, к которому повела меня неутомимая Лидия Яковлевна. Он коллекционер, доктор, самый знаменитый детский врач в Киеве, приятный старик, знал Гри-Гри (Григория Васильевича Гринштейна). Я рассказала ему, как Григорий Васильевич дарил мне картины: А. Бенуа «Версаль» (дивный голубой Бенуа!), Антропов — портрет Петра I, Крымов, Сомов, Судейкин — «Богоматерь», Врубель — рисунок «Ангел», вернее, голова ангела, «Букет» — большой — Чехонина и др. Стены моей комнаты были увешаны картинами, больше всего я любила голубого Бенуа и букет Чехонина. Однажды я прогнала Гришку, сказала, что больше никогда не пущу на порог. Через день прихожу домой, смотрю — голубого Бенуа нет. Домраба говорит, что приходил Григорий Васильевич и унес! Я содрала со стены все картины, кликнула на подмогу Женьку Стрелкову, взяла такси и отволокла к Гришке — его не было дома, — свалили у дверей его комнаты. Позднее он приполз и умолял взять обратно хотя бы «Богоматерь» Судейкина. Я взяла и после продала ее с голоду Людмиле Александровне Кузьминой, у которой она и висит торжественно по сейчас. Мне жаль букет Чехонина — это был изумительный большой букет, но не в цвете, а черным по белому; где-то он теперь... Жалы!..

У Сегалова в основном — «Мир искусства». Замечательная Серебрякова — «Портрет дочери». Прелестнейший «Пейзаж» Павла

Кузнецова, много Головина, Коровина, есть Малевич, Сомов, Бенуа... Чудесный портрет князя Голицына Рокотова. Масса картин. Хорошие у нас были все же художники. Великолепный Бакст. Словом, большая коллекция.

Оттуда — в Выдубецкий монастырь, куда поехала за мной, как жужжащая муха, Раиса Абрамовна. Невыносимы женщины, не умеющие молчать! С какой-то минуты я перестала обращать на нее внимание и повеселела. День был чудесный, деревья в золоте, легкий теплый воздух, Днепр и дали... Но грустное зрелище — монастырь, церкви, все в запустении, полуразрушено, каменные плиты могил в позорном состоянии... Сохранились два-три надгробных памятника, на одном из них надпись:

Во след орлов парил он с грозными громами,
Лев именем и Львом в кровавых был битвах.
Душевной доблестью сроднялся он с сердцами.
Здесь прах его, а жизнь осталася в делах.

«Генерал от артиллерии князь Лев Михайлович Яшвиль. 1772—1836 годы».

Отправив говорливую Раису домой, я пошла в Лавру. В Нижнем парке у святого источника сидели кучками богомолки, занятые душеспасительными беседами. Тенистые высокие дубы, и с горы такой вид на Днепр и далеко за ним!.. Я попала ко всеобщей в церковь, что на Пещерах. Церковь была полным-полна народу. Я накупила образков — маленькие, по два рубля. На клиросе хорошо пели монахи. Церковь уютная, с великолепным, резным по дереву, иконостасом, думаю, восемнадцатого века. Стемнело, когда я вышла оттуда и поехала домой. Чудесный город, мне так легко в нем дышится! Народ грубоватый, интеллигентных лиц мало, но все, слава Богу, сытые, одетые. Ритм жизни спокойный, медлительный, с ленцой. Улицы тенистые, высокие деревья — бульвары и парки всюду. Молодежь красивая, веселая, в воздухе самодовольство, сытость, мещанский дух. Но сам город великолепен!

13 октября

К старику Сологубу отправились с Лидией Яковлевной. Пришлось долго ждать в странной его комнате старьевщика. На шкафу стояли три иконы, внук снял их для нас — очень хороши: Владимирская Божья Матерь (не позднее восемнадцатого века), Лик Христа в посеребренной латунной ризе (семнадцатый — восемнадцатый век) и стариннейший, черниговского письма еще, «Лик Христа» (по-моему, шестнадцатый — семнадцатый век). Прекрасна Богородица с младенцем — золото с зеленым, немного темно-розового, в хорошей сохранности... В углу за шкафом сорок иконок с большим распятием посередине — сплав меди, старообрядческие.

Кстати, «Лик Христа» с двуперстием, — значит, тоже от старореров. Иконки чудные, триптих, одна иконка, по словам старика Сологуба, «масонская», распятия различной красоты и ценности.

Наконец явился сам старик Сологуб: розовый, низенький, с длинными черными усами с проседью, живой и хитроватый. Блестящие черные, как круглые бусины, глаза. Сторговались: я взяла Богоматерь и Христа в ризе за триста рублей — все, что со мной было. За все сорок старообрядческих иконок он хочет тысячу рублей, и я бы ему их дала, но денег с собой больше нет... Старик уступит. Надо занять денег. Попробую. Или заплачу ему из Москвы.

Потом Горчаковы возили нас в лес — какой легкий воздух на Киевщине!

Себе не прощу,
Если упущу!..

Надо же истратить деньги, полученные за «Трильби»!

14 октября

Погода дивная — синяя с золотом. Небо и осенняя листва. Бродила по Киеву, потом с Лидией Яковлевной ходила на выставку керамики, стекла и фарфора заводов Украины. Есть прекрасные экземпляры. Оттуда — в церковь Покровскую. Оказывается, сегодня день Покрова Божьей Матери — много народу, а внутри церковь в лесах (на предмет реставрации), увита хвойными ветками. На белых стенах висят белые с голубым наивные новые иконы, но среди них есть и древние. Жена священника (он бывший научный работник, профессор богословия, рукоположен в священники после войны), то есть «матушка», стояла у огромных корзин с хлебом и раздавала бедным старушкам и старичкам булочки и пирожки; атмосфера была умилительная. Много красоты в наших обрядах религиозных, атеизму на этот факт нечем возразить.

Оттуда пошли к старику Сологубу. Он сидел за столом в прибранной, свежeweмытой комнате и читал огромную книжицу с заставками. Я купила у него: «масонскую» икону, еще иконку резную на кипарисовом дереве, медную с голубой эмалью, еще четырехсторонний складень и древнее-древнее, из меди литое, старообрядческое распятие. А кроме того, прелестного маленького бронзового с позолотой Амура.

Старик особенный, с огромным шармом. На прощанье он приложился к ручке! От него — домой, укладывала вещи, книги. Лидия Яковлевна подарила мне старое БАРЫЛЬЦЕ — керамика Украины — бочонок с ручкой, прелесть! Завтра вечером едем домой. Васенька предпочитает не бегать, а сидеть с Женей Сухомлиным, но я набегалась влады!

16 октября

Уехали из Киева в дождливый холодный вечер, провожаемые Вилли Барским, Вадимом Горчаковым, Евгением Васильевичем и мамой Горчакова с вазой и цветами. Вещей мелких набралось множество, но все уложили. Ехали вдвоем до Москвы в роскошном четырехместном купе. На вокзале нас встретили Алена, Женя Шмидт и Алеша Эйснер, который жил у нас, пока мы отсутствовали. Квартира в идеальном порядке. Ни одна книга не пропала. Не успела войти в дверь, как звонок из Гослита по поводу «Трильби». А потом Лиля Брик (кстати, Лена Ильзен приехала с Воркуты!), Лилечка — о том, что они переехали и у нее новый номер телефона. Звонили подруги... У Кости Богатырева родился сын, Костя прибежал к нам. Читал наизусть Пастернака, которого обожает, а Пастернак Косте на Воркуту (ведь Косте тогда дали двадцать пять лет ссылки!..) посылал книги и писал ему — Косте было тогда лет девятнадцать-двадцать. Он вернулся в Москву как раз в тот день, что я была у Лилечки. Нас познакомили, и мы с Костей очень подружились. Он переводит Рильке, любит и понимает музыку. Отец его — знаменитый славист-профессор. Мы превесело посидели вчетвером. Лена Ильзен привезла с собой три, как она говорит, «фольклорных» стиха из Воркуты:

Его удел — не лагерная зона,
Не подсудимого скамья.
В высоком зале Пантеона,
Раскрашенный под фараона,
И чтимый всеми, как икона,
В мундире царского шитья,
Лежит убийца миллионов,
И только бог — ему судья!

Тиран душой, сапожник родом,
Себе воздвигнул пьедестал.
И стал народ — врагом народа,
А он один — народом стал.

Он был немножечко капризным
И, чтоб прослыть вождем скорей,
Он кровью затопил отчизну —
Мильоны расстрелял людей.
Зато был знатоком марксизма,
А это ведь куда важней!

Замечательно!

22 октября

Несколько дней тому назад умер прекрасный поэт Николай Александрович Заболоцкий. Я видела его у Тихоновых, когда он в сорок шестом году вернулся с женой из ссылки, тихий, скромный человек, похожий на младшего бухгалтера, на почтового чиновника, но никак не на поэта. Он писал замечательные стихи. Перевел «Слово о полку Игореве». Переводил Шота Руставели, Важа Пшавела. Первая его книга стихов «Столбцы» была у Тихона Чурилина, он мне читал стихи Заболоцкого и восторгался.

Умер еще художник Роберт Рафаилович Фальк. Бедный, непризнанный, вечно грустный, хороший художник.

Сегодня поехала к Лилечке Брик. Квартира — новая — прелесть, но я затосковала по той большой столовой в Старопесковском. Зато здесь под окнами — Москва-река. Все красиво и уютно, как всегда вокруг Лили и при хозяйственном умении «мастера на все руки» Василия Абгаровича. Дом новый, большой, стоит за гостиницей «Украина».

Лилечка постарела, парикмахер приходил красить волосы, но одета прелестно и чудные глаза хороши по-старому. С головы до ног — женщина, ни капли «дамского», ни капли «бабского». Умная, добрая, деликатнейшая, веселая (безбоязненная?). Сказала, что я помолодела и похорошела. Подарила мне книжечку «Письма Маяковского к Л. Брик». Поила меня грогом. Вкуснейше накормила.

От нее я поехала к Марусе Тихоновой, которая понарасказала мне массу интересного. Николай прилетит из Ташкента послезавтра. Мы были одни в красивой ее комнате среди Будд, статуэток из Китая, Сиамы, Цейлона, с острова Бали и т. д. Маруся то заносилась под облака, то опускалась на землю. Я очень ее люблю, но далеко не всегда. Последние годы она вдруг стала иногда «антисемитствовать», что мне отвратительно. А Иосифа Виссарионовича чтит вроде как великомученика, считая, что всех изничтожил один Берия, а тому (Сталину) и невдомек было (!!!).

Рассказала мне Мария Константиновна про Алексея Николаевича Толстого и Людмилу Ильиничну:

«У матери Натальи Крандиевской был многолетний роман со знаменитым ленинградским адвокатом Волькенштейном, и потому все очень удивились, когда в восемнадцатом или девятнадцатом году Волькенштейн женился не на ней, а на ее дочери Тусе, то есть Наталье Васильевне Крандиевской, на которой потом женился Алексей Николаевич Толстой. (Кстати, он не имел прав на титул графа, так как был незаконнорожденным сыном графа Н. Толстого, и хотя тот усыновил его, но титул мог ему перейти лишь в случае высочайшего рескрипта.) Наталья Васильевна, то есть Туся, по словам Маруси, была женщина крайне властная, красивая, умная, но слишком в себе уверенная, на свою беду... У нее была «глухая душа», а глаза как у куклы, ярко-голубые. Очень была она красива и барыня с головы до ног. Жили они с Алексеем Николаевичем в Царском

Селе на широкую ногу, и масса была вокруг них шаромыжников-приживалов. В доме стоял барададым, и Толстой зверскипил. У Наталии Васильевны был сын от Волькенштейна — Фефа, Федор, и дети от Толстого: Никита и Дмитрий. Никита женился на дочери Лозинского, и у него сейчас шестеро детей — он славный человек, а Фефу и Митю Наталья Васильевна забаловала до одури. К 1935 году между Толстым и ею были нелады. Наталья Васильевна с детьми стала больше жить на квартире в Ленинграде, а Толстой оставался один на даче в Царском. Она писала талантливые стихи.

Был в Ленинграде писатель Барышев, он бросил свою молоденькую жену Людмилу, женился на другой, в 1937 году его сослали, и в ссылке он умер. Милочка осталась почти беспризорной, все ее жалели и устроили в библиотеку при ДOME писателей. Она была бедна, чуть не голодала. Алексею Николаевичу понадобилось привести в порядок свою библиотеку, ему рекомендовали Милочку. Она относилась к нему чуть ли не с благоговением, он был гораздо ее старше. Вечерами он любил сидеть в парке, и, бывало, говорил ей: «Идем в парк», — и там они сидели молча. Она страшно зябла, у нее было плохонькое пальтишко, а время было к осени. Однажды он, сидя на скамье в парке, заметил, что она дрожит, велел надеть теплое пальто, она робко заметила, что такового нет. Тогда на другой день, взяв с собой своего секретаря, он повез Милочку в Пассаж и купил ей пальто. Фефа, который жил в Царском, доложил об этом факте матери. И назавтра, вернувшись из Ленинграда, прошел в комнату Милочки и сказал ей: «Мама велела вам немедленно убираться вон! Чтоб духу вашего здесь не было!» Затем прошел в кабинет Толстого и заявил: «Мама приказала вам выгнать эту шлюху немедленно!» Алексей Николаевич замер и потускнел. Фефу он и раньше не любил за наглость. Толстой поднялся к Милочке в комнату, та, горько плача, укладывала свой единственный чемоданчик. Он сказал ей: «Простите, что вам нанесли незаслуженное оскорбление. Прошу вас об одном: останьтесь до утра». Утром ей принесли письмо от него с предложением руки и сердца. Он писал: «Подумайте, я буду ждать». Она помчалась в Ленинград и все рассказала своей подруге художнице Але Вагиновой, «а та все рассказала мне», — сказала Маруся. Аля посоветовала соглашаться. Милочка плакала, боялась и не смела верить такому счастью. Но Толстой приехал к ней и повел ее в загс. Он возненавидел за оскорбление Наталью Васильевну лютой ненавистью и никогда ей не простил. Маруся говорит: «Тут он почувствовал себя в первый и последний раз в своей жизни графом». Ему нестерпимо было, что она могла заподозрить его в сожительстве с бедной робкой Милочкой, заподозрить гнусность, которая ему самому и в голову не приходила! Его женитьба на Людмиле Ильиничне ошеломила всех, — с Натальей Васильевной он больше не увиделся, но детей, особенно Никиту, любил по-прежнему очень. У него от первой жены (Наталья Васильевна была вторая) была дочь Марианна, которую Наталья Васильевна терпеть не могла и держала в черном теле. А Людмила Ильинична ее обласкала всячески. Тол-

стой завещал, умирая, все наследство Людмиле Ильиничне, и та ни гроша не отдала Наталье Васильевне. После его смерти в газетах было напечатано: «Правительство назначило Н. В. Крандиевской тысячу рублей в месяц пенсии». А Людмила Ильинична получила около трех миллионов. Но, например, Марианне она помогала постоянно, а также вдове Барышева. Милочка глуповата, в общем, «никакая», но деловая. Вдовой была не очень долго, потом жила с режиссером Калатозовым, но он от нее ушел. Потом еще с кем-то. Рассказала мне Маруся Тихонова. И вот теперь Людмила Ильинична Толстая живет с этим высоким молодчиком, с которым приезжала в Ялту, где я с ней и познакомилась. Он, кажется, ее шофер.

Я помню А. Н. Толстого очень ясно. Он страшно нравился мне, я чувствовала, что могла бы в него влюбиться. Мы не были знакомы. Но молодым он жил на Поварской, в доме 26, где и мы жили в ту пору. И я помню его молодого, веселого, а я была девчонка лет девяти. Потом мы, много лет спустя, встречались в Доме писателей, а за полгода до его смерти я столкнулась с ним на лестнице в Комитете по делам искусств. Он был сильно похудевший, но лицо интересное, значительнее, чем когда-либо...

Наталья Васильевна Крандиевская была известной поэтессой. А родная сестра Вольфганштейна была народоволкой и сидела в Шлиссельбурге. Алексей Николаевич Толстой был недолго страстно влюблен в Тимошу, как раз в ту пору, когда за ней ухаживал Ягода. Надежда... «Тимоша» — жена Макса, сына Алексея Максимовича Горького, сама дочь московского священника. Маруся говорит: «Не очень умна, но такая была свежая, веселая поповна». Говорят, Алексей Максимович Горький был «снохач», но кто его знает... Он все завещал «Тимоше» и внукам. Но Екатерину Павловну всегда почитал больше всех. Ему очень импонировали «дамы-аристократки». Конечно, и Мария Федоровна Андреева и Мира Бутберг были красивы, особенно Андреева. Про Тимошу говорят, что она была любовницей Ежова, того, Николая Ивановича, наркома НКВД... Да врут! Я никогда этому не поверю!

22 октября

Вечером, в полночь, звонили Васе из Парижа о том, что Пастернак получил Нобелевскую премию. Сразу же я позвонила Марусе Тихоновой в Переделкино, та дала знать на дачу, где живет Борис Леонидович, а Шуру послала к Корнею Ивановичу Чуковскому — старик пошел сказать Пастернаку о Нобелевской премии. Я очень рада за Пастернака! А Маруся буркнула в телефон: «Это скандал, плохо ему будет!» По-моему, скандал только оттого, что у нас не стали печатать «Доктора Живаго» (неизвестно почему), а Пастернак взял да и отдал рукопись итальянцам. Те напечатали, и роман сразу же перевели французы и англичане. Сама я не читала, но говорят, что есть блестящие страницы. Я очень люблю его «Охранную грамоту» и многие его стихи. Конечно, он большущий поэт,

своеобразный, глубокий. Вася сразу же дал в «Либерасьон» его биографию, которую нарочно закончил так: «Напрасно кое-кто старается использовать некоторые фразы его романа для антисоветской пропаганды. Пастернак был и остается патриотом», — что абсолютно правильно. Когда Вадим Андреев позапрошлым летом был у него в гостях, Пастернак сказал: «Я бы не хотел жить нигде на свете, кроме как у нас. Ведь у нас никогда не скучно, у нас не соскучишься» Вот уж что правда, то правда!.. Да, у нас не соскучишься...

26 октября

Вокруг пастернаковской Нобелевской премии, к моему с Васей изумлению, разразилась именно свистопляска. Как это глупо, скверно, а главное — нелепо! Заславский, о котором в девятнадцатом году Ленин сказал: «Эти разбойники пера, вроде Заславского и К⁰...», — написал отвратительную статью в «Правде» и назвал Пастернака иудой, сорняком... Под этой злобной белибердой стоит подпись Заславского, но все знают, что он сам Иуда! В «Литературной газете», которую все давно называют «Литературка», три страницы посвящены ругани. Пастернака всячески поносят, причем делают из него именно тем самым великомученика и героя. Что он замечательный поэт — знало, в сущности, не так много людей у нас в СССР. Теперь о нем узнали все. А главное, передовица в «Литературке» и статья Заславского написаны в таком вульгарнейшем пасквильном стиле, что от них становится тошно любому мало-мальски мыслящему человеку как у нас, так и за границей. Как будто нарочно кто-то сделал это, чтобы унижить и опозорить наш же СССР и отвратить от него всех зарубежных друзей! Идиотство!

Бедный поэт! Бедные поэты всех времен! А главное, как эти Кочетовы, Заславские и К⁰ не понимают, что есть суд истории и что лет через пятьдесят их будут презирать во много раз больше, чем сейчас мы презираем Фаддеев Булгариных!

Мы с Васей позвали Костю Богатырева. Вася сказал ему, что считает, что лучшее, что мог бы сделать Пастернак, — это послать телеграмму Нобелевскому комитету с просьбой передать его премию во Всемирный комитет защиты мира. Но Костя сказал, что Пастернак всегда поступает, как сам считает нужным. Он однажды сказал Косте по поводу своих переводов Шекспира: «Я должен сам решить, мерзавец я или нет перед самим собой».

Говорят, он послал Нобелевскому комитету такую телеграмму: «Удивлен, благодарю, горжусь, смущен. Пастернак». Я только боюсь, не дай Бог, он заболит после этого отвратительного воя шакалов... или, если наши выпустят его за границу получать премию, «они» не пустят его обратно... Этот лицемер Федин ездил разговаривать к Пастернаку и, уехав ни с чем, с досадой сказал: «Он продолжает юродствовать!»

28 октября

Позвонил Костя и сказал, что Пастернак по собственному почину поступил именно так, как советовал Василий. У меня отлегло от сердца! Правильно он сделал! А утром в «Литературке» сообщение о том, что на заседании под председательством Н. Тихонова (Он ярый сталинец! Дорогой ценой достались ему чины и блага житейские! Значит, он завидовал поэтическому таланту Пастернака!) Бориса Пастернака исключили из Союза писателей, сделав это, опять же, с пошлейшей, глупейшей по существу декларацией. Однако подписей под ней не перечислили, напечатав всего лишь: «Принято единогласно». Из другого же сообщения видно, что ни Паустовского, ни Шолохова, ни Федина, Всеволода Иванова, Форша, Каверина и других «крупнейших» на этом собрании не было. (Нет, Шолохов хоть и не был, но прислал из Вешенской злобную телеграмму против Пастернака.)

Я питаю непоколебимое уважение к Хрущеву, но те, кому вверено наше искусство в целом,— это ставленники Сталина, они яро держатся за бифштексы, дачи и прочая и ценой любой подлости готовы бороться за них. Они бездарны, они только чиновники, и потому любой талантливый человек для них «опасный враг». А может, кое-кто из них сознательно дискредитирует все, что делается при Хрущеве, чтобы нарочно показать, что вот, мол, «при Сталине»...

Просто стыдно читать «писательскую» ругань по поводу Пастернака, и невольно напрашивается вопрос: отчего они молчали до сих пор, зная уже два года назад, что Пастернак отдал свою рукопись итальянцам! Но ведь он сначала дал своего «Доктора Живаго» в журнал «Новый мир», значит, не писал он свой роман как анти-советский, а то чего бы он его туда давал? Вот такие люди предадут и продадут все на свете, у них морального хребта нет ни на грош! Такие Кочетовы, А. Сафроновы и им подобные — а ведь их ругань зиждется только на зависти к Нобелевской премии!

Меня приняли сегодня в группком Гослитиздата, чему я очень рада!

29 октября

Нет, только руками разводишь! Невольно напрашивается мысль, что кто-то нарочно, НАРОЧНО льет воду на мельницу врагов нашего Советского Союза, дискредитируя политику СССР в отношении искусства.

Рассказывали, как Пастернаку предложили прийти на заседание правления Союза писателей. Он пришел, ждал два часа перед закрытыми дверьми, а они совещались. Ушел, оставив записку: «Я не могу считать позором честь, оказанную мне, а деньги отдаю Всемирному комитету защиты мира. Пастернак». И ушел.

Он ждал два часа, а писатели спорили.

В саду, на даче Пастернака, в Переделкино, могила сына Зинаиды Николаевны, жены Бориса Леонидовича, бывшей жены пианиста Нейгауза. Она жила памятью о сыне и лелеяла его могилу. После того как теперь Пастернака исключили из Союза писателей, он не имеет права на эту дачу — все дачи принадлежат Литфонду (четырнадцать писателей уже подали заявление на эту дачу!). Страшно, нелепо... Какая злая сила — **ЗАВИСТЬ**.

30 октября

Свистопляска продолжается. Сегодня в газетах мерзейшая речь Семичастного (кто он, в первый раз слышу эту фамилию), где он сравнивает... (нет, повторять не буду его пошлости насчет Пастернака!); главное, что «надо выслать Пастернака за границу, нам Советское правительство не откажет отправить его туда, куда его тянет!»

Уверена, что Пастернак не отправится в изгнание! Ибо знаю, читая его стихи, что любит он нашу Родину, нашу землю; любовью к ней, к людям ее дышит все его творчество. Это самое злое, самое жестокое, что могли бы с ним сделать, и он этого не вынесет, он покончит с жизнью, если его «вышлют». Как не вынесла бы я... Конечно, он с радостью бы поехал за премией, поездил бы, посмотрел, зная, что вернется домой, на Родину. Вместо того чтобы поздравлять его, его позорят!

Но уехать навсегда, добровольно порвать со всем НАШИМ — он не сможет и не сделает этого. Да, с точки зрения «умников», умеющих плавать в море житейском, он — юродивый. Он чистый сердцем человек, он из тех, кого в народе зовут «блаженными», а мы зовем п о э т а м и. Я плачу... обо всех поэтах! О тех, кто одарен от природы особым видением мира! Люди, берегите их! Это они — творцы всех родов Искусства — создают самое драгоценное из того, что дано создавать человекам, — КУЛЬТУРУ.

Они не дипломаты, они не умеют «делать деньги», многого не понимают в «ИСТОРИЧЕСКИХ СДВИГАХ», в «КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ», но ПРАВДА на их стороне! И культуру народа делают они, а не правители!

31 октября

Грустно, как на похоронах! Поздно ночью вернулись от Катала, где были и Энджесы. За обедом разразился яростный спор: Энджес, корреспондент «Юманите», орал, что Пастернак — негодный человек и пусть убирается к дьяволу! Побледнел и вообще чуть не в истерике вопил. Но Вася такое ему сказал — мудрое, веское, что тот осекся. Против Энджеса были Катала, Люся и я. Как изредка со мной бывает, когда я взволнована до глубины души, я вдруг сказала САМОЕ УМНОЕ, что успокоило всех. Повторять не буду, скучно. Бедный поэт! Как легко и необдуманно разгораятся в людях

злые страсти! Но сегодня мы с Васей почувствовали, как мы действительно душа в душу ЗАОДНО живем и мыслим...

1 ноября

Потрясающий день!

С утра, прочитав «Литературку» с гнусным решением Московской секции писателей предать Пастернака анафеме и изгнанию, лишит советского подданства и навеки проклясть, я впала в тоску, места себе не находила, чувствуя, что судьба Пастернака висит на волоске! Он ни за что не согласится уехать, ни в какие заграницы, никогда ни за что с Родиной не расстанется! Так я его понимала... Хотя даже Лена и Ляля спорили и говорили, что он с удовольствием уедет. Они не поняли его! Один Костя тоже понимал, как я, что Пастернак чувствует...

Явилась сидерообразная Женька Гремяцкая с болотными глазами. Долго сядела, болтала о том о сем и наконец не выдержала: «Что ты думаешь обо всей этой истории?» Я спокойно сказала: «Уверена, что Пастернак не антисоветский человек, ибо знаю его стихи, хотя «Доктора Живаго» не читала. Знаю, что он не политик и, с точки зрения обывателя, по существу «человек не от мира сего». Уверена, что никогда добровольно не согласится на высылку за границу. Но мне одно интересно: кому понадобилось делать такую рекламу и Дудинцеву и Пастернаку? В деле с Пастернаком есть что-то непонятное, нелогичное, помимо всего прочего...»

Женька немножко прикусила язык, хотя до этого полностью расписывалась под «решением» «Литературки». Пусть пишет свои доносы... Я ее насквозь вижу. Наконец она ушла. Тоска была такая, что я никуда носу не высунула, так и просидела весь день дома. Часов в семь вечера включила радио и вдруг слышу: письмо Бориса Пастернака товарищу Хрущеву, в ЦК партии и еще куда-то. Я слушала, а слезы градом...

«Глубокоуважаемый Никита Сергеевич, обращаюсь лично к Вам и к партии... разлука с Родиной для меня равносильна смерти! Всем своим творчеством я с ней связан. Я буду еще полезен Родине!» Я заревела навзрыд, по-бабьи, в голос — давно я так не плакала. Он еще мудрее и лучше, чем я думала. Нестерпимая жалость к нему и ко всем МОИМ ЛЮДЯМ...

Я не помню его письма наизусть, завтра запишу, в газетах будет, но оно человечно, просто, весь он в этом коротком письме! Конечно, тут же позвонила Лене, та говорит: «Да, да, я слушаю его!» Я стала дальше слушать: «Сообщение ТАСС о том, что Пастернаку никаких препятствий в поездке за получением премии правительство чинить не будет»...

Как Вася оказался прав, что всю эту травлю заварили сами писатели, а вовсе не Хрущев и правительство! И я тоже это знала.

Пришли жена Энджеса — Филиппа, застала меня в слезах, и я ей прямо сказала, что уверена, что все это дело рук «сталинцев»,

чтобы говорили, что вот, при Усатом было так, а при Хрущеве хуже гораздо. Любоед, мол, Пастернака не трогал и прочее. Нарочно, нарочно они все это устроили, чтобы очернить Хрущева, который хороший человек. Я так от всей души считаю, уверена в этом! И Филиппа, женщина умная, вдруг задумалась и медленно сказала: «Это, возможно, все так, как вы считаете».

О, как я хотела бы знать, кто виноват во всем этом! Зачинщики, сталинские подхалимы и прихлебатели. В доме Тихоновых фотографии Сталина понатыканы! Нет, все называют Суркова. И Борис Слуцкий тоже был всецело с «Литературкой», против Пастернака. О нем уже написали, назвав Иудой.

4 ноября

Слава Богу, после письма Пастернака все прекратилось. В газетах ни слова больше, даже мерзкая «Литературка» молчит. Все! Но, слава Богу — это не Коля Тихонов затеял, а сволочь Сурков.

15 декабря

Был съезд писателей. Л. Соболев в докладе лягнул Пастернака. Арагон прислал большое письмо с отповедью нашим за непристойное их поведение. Но им плевать. Вчера была у нас с Лялей Маевской Валерия Герасимова, писательница. Она говорит, что яростнее всех на том «историческом» заседании вел себя этот презренный лицемер, сибарит, в глубине своей антисоветский человек, бездарный литератор, беспринципный критик — Корнелий Зелинский. Я ведь его так хорошо знаю! Он орал, что Пастернак Иуда, предатель, а главное, что Пастернак — это война, то есть Пастернак — подстрекатель войны. Вот до чего договорился! А сам ведь, захлебываясь от восторга, помню, читал мне Сологуба стихи, Пастернака «обожал».

Валя Герасимова рассказала о приеме в Кремле, который был позавчера. К писателям пришел Хрущев, он говорил разумно и спокойно, — те, кто уже хотели устроить «секир башка» своим противникам и точили ножи, — попричихли. Речь Хрущева — добрая и умная — выбила у них почву под ногами.

А я ночью написала Хрущеву письмо и сегодня опустила в почтовый ящик конверт с простым адресом: Москва, Кремль, Никите Сергеевичу Хрущеву. Послала без подписи, ибо имя неважно, а теперь жалею немного — как будто я побоялась подписаться. Надеюсь только, что он письмо мое получит к Новому Году.

«Глубокоуважаемый и дорогой Никита Сергеевич!

Вот уже несколько лет, как живет во мне горячее желание от всей моей души поблагодарить Вас и сказать, как правильно Вы сделали, объявив людям правду; вернули к жизни несчастных, обездоленных, в огромном большинстве своем истинных патриотов и честных тружеников. А память тех, кому не суждено было вернуться,

восстановили незапятнанной, а главное, вернули Доброе Имя их обездоленным детям.

Низкий поклон Вам, спасибо Вам наше широкое, русское! Всем нам легче дышится, мы перестали бояться друг друга и собственной тени... Благодарю Вас и товарища Микояна, и всех, кто с Вами.

Никто не знает, что я Вам пишу, но я сама знаю, что миллионы людей присоединили бы свои слова благодарности к моим.

Дорогой наш Никита Сергеевич! Пусть грядущий год принесет Вам и нашей земле добро и счастье. Примите спасибо сердечное,
Татьяна Л».

28 декабря

К пяти часам приехала к нам Лиля Юрьевна с Василием Абгарычем и пришли Энджесы. Лилия была вся в черном, а лицо прежнее, хотя морщины, но прежние глаза, а главное, это все то же ее лицо, тогда как у Эльзы (Триоле) совсем стало другое лицо, чем было прежде. Лицо Лили стало даже лучше: добрее, мягче, исчезла «трагичность», а у Эльзы «потемнело», такое всегда озабоченное, а было светлое, женственное. Дивные Эльзины бирюзовые глаза теперь кажутся темными... Говорили о книге Арагона «Страстная неделя» — Лилия принесла нам ее прочитать. Вася выписал, но мы еще не получили. Французские критики хвалят во весь голос, даже буржуазные. Сейчас Арагон пишет поэму «Эльза», он не перестает влюбленно любить свою жену.

Лилия предложила вместе встречать Новый год, и я была рада! Но как мы с Васиком доберемся домой, и потом, как же Алена? Я ей обещала, и мне так хочется, чтобы она встретила Новый год вместе с Игорем, в которого влюблена. Он, Игорь Ермолович, инженер, двадцати восьми лет. Мне он очень по душе, какой-то свой человек; хотя бы они поженились. Они КРАСИВО выглядят вместе, оба высокие, он тоже в очках, застенчивый, слегка заикается и умница.

Ванюшечка пишет веселые письма и, по-видимому, полюбил свое «Высокогорье». Он в геологической экспедиции на Северном Кавказе. Пишет: «Я стал сильный и некрасивый»...

ПРО НАДЕЖДУ ПЛЕВИЦКУЮ

Была такая певица Надежда Плевическая, отчества не помню. Пела она русские песни и славилась своим исполнением да еще серыми русскими глазами.

Моя мать хорошо знала эту замечательную исполнительницу русских народных песен, имевшую огромный успех начиная с 1910 года и далее.

Была она статная, невысокая, красивая по-русски: простое, широкоскулое лицо и прекрасные серые глаза. Я сама видела ее, с ней познакомилась у Ирины Храбровой и слушала ее пение в Нью-Йорке в 1925—1928 годах. Она приезжала туда из Парижа. Пела она пре-

расно, задушевно, страстно. «Замело тебя снегом, Россия»...» — и невольно слезы просились к глазам. В тот вечер она много пела. До сих пор ее помню. У нас в СССР ее все давно забыли, она эмигрировала в 1919—1920 годах. Но у меня много нот с ее фотографиями на обложках. И вот что рассказал мне дальше о ней Василий Васильевич.

После исчезновения генерала Кутепова, о котором в 1927—1928 годах в течение нескольких месяцев шумели газеты всего мира (кроме советских) и имя которого до сих пор окутано непроницаемой тайной, генерал Миллер был выбран в Париже председателем Всеобщего воинского союза. Учреждение это помещалось на втором этаже трехэтажного дома в Париже, неподалеку от улицы Дарю. В числе «главарей» союза был и некий немолодой генерал по фамилии Скоблин. У него была своя машина, и он работал шофером. Женой его была Надежда Плевицкая. Она была старше его, выступала с концертами редко, но часто бывала на эмигрантских вечерах, балах и прочая — эту в прошлом простую крестьянку принимали теперь в самой «великосветской» русской эмигрантской среде, где она пользовалась большой популярностью. Она отличалась умом, тактом и отменной воспитанностью, а кроме того, у нее был божий дар очаровывать людей.

Однажды в 1936—1937 годах генерал Миллер зашел в канцелярию союза и оставил на столе конверт, на котором было написано: «Вскрыть, если я не вернусь сюда к такому-то часу». Собрались офицеры, члены правления, подождали, он не вернулся, вскрыли конверт. Там стояло:

«Генерал Скоблин сообщил мне, что два представителя немецкого Генерального штаба прибыли в Париж для переговоров со мной. Я отправился на свидание с ними. Миллер».

Послали за генералом Скоблиным. Тот явился, охотно отвечал на вопросы, время шло, Скоблин полез в карман за папиросами, их не оказалось, и со словами: «Я сейчас вернусь, куплю внизу папиросы», — он вышел за дверь. Сообразив, что отпускать его не следовало бы, за ним кинулись почти мгновенно вниз по лестнице — но его не было. Он как сквозь землю провалился! Ни его, ни генерала Миллера никогда не нашли... Они испарились, не оставив и следа. Очевидно, очень немногие в этом мире знают тайну их исчезновения, а догадок своих ни о них, ни о Кутепове я писать не нахожу нужным.

Дали знать французской полиции. Те отправились к Плевицкой. Она спокойно заявила, что ничего не знает о делах своего мужа, так как ими особенно и не интересовалась, уверена, что недоразумение разъяснится и оба генерала на днях вернутся домой. Ее оставили в покое. Но время шло, а о генералах ни слуху ни духу. Тогда у нее сделали обыск, и французской полиции показалась подозрительной старинная библия, лежавшая у изголовья ее кровати. Библию взяли на обследование и нашли записанный где-то на полях шифр — наколотые иголкой точки. Плевицкую арестовали и присудили к тюремному заключению на десять лет (Вася сказал название, да я за-

была! — знаменитая женская тюрьма). Она умерла в тюрьме во время войны, когда немцы были в Париже. Она никогда ни о чем не рассказала.

Гестапо в 1942 или 1943 году вдруг сделало обыск во Всеобщем воинском союзе. Немцы обнаружили в стене прямой провод, который вел в квартиру на третьем этаже, где жил П. Третьяков — сын основателя Третьяковской галереи. Немцы арестовали Третьякова как советского шпиона, и он умер или был ими убит в концентрационном лагере под Парижем перед самым концом войны.

Неисповедимы пути судьбы.

Мир праху их...

11 декабря 1959 года

Не писала страшно давно, что весьма неразумно, ибо очень много интересного, и, право, можно было бы просто писать факты: «Летопись нашего времени». Успокаиваю себя, что, вероятно, кто-нибудь тоже пишет дневник.

Сегодня были у милейшей Екатерины Павловны Пешковой, ибо накануне Васе звонила Мария Игнатьевна Бутберг. Она хотела повидать Васика, его не было дома, с ней говорила я, и, зная, что она сейчас в Москве, когда она назвала себя, я сказала: «Здравствуйте, Мария Игнатьевна», — как будто давно с ней знакома. Потом позвонила Екатерина Павловна (Пешкова) и пригласила нас к себе с тем, что у нее будет и Мария Игнатьевна. Я шла в гости к Екатерине Павловне с огромным любопытством, которое давно испытывала к Муре, или Майре, или Мире — как звали ее разные люди на разных отрезках времени. Конечно, она женщина необыкновенной судьбы...

Мы пришли задолго до нее, и Екатерина Павловна мне о ней порассказала. «Это была единственная любовь Алексея Максимыча, которую я полностью одобряла, так как мне самой она очень нравилась. Она была умной, интересной и очаровательной женщиной. О ней много темных слухов ходило, не знаю, верить ли им. Я к ней очень хорошо всегда относилась и отношусь. У нее было много писем к ней Алексея Максимовича, но все ее бумаги и книги погибли в Эстонии, когда туда вошли фашисты — они все сожгли, Мура с детьми была тогда в Англии. Ей об этом сообщила прачка — эстонка, жившая в ее эстонском поместье. Мура блестяще знает не только английский, но французский, итальянский и русский языки, конечно. Теперь она переводит в Лондоне книги советских писателей на английский язык».

Пришла Мария Игнатьевна — высокая, полная, пожилая женщина, с большим круглым молоджавым лицом (а ей около семидесяти), с широко расставленными, до сих пор красивыми, живыми умными карими глазами, седая, маленькие руки, породистые и тонкие. Как такой женщине и надлежит, — простая и спокойная в обращении (чуть скользнет глазами, но все увидит), очень сдержанная,

УМНАЯ — это чувствуется прежде всего — и с большим шармом, хотя она не делает ни малейшего усилия к тому, чтобы пленять. Низкий голос, курит. Говорят, сильно пьет. Но пальму первенства я отдаю старенькой Екатерине Павловне (восемьдесят три года!!!) — она душевно нравится мне, да и объективно она несравненно качественнее даже во внешности, манере держаться, атмосфере, которую излучает. Мура все же очень «внешняя» и «умная», а Екатерина Павловна очень «внутренняя» и мудрая.

А вчера мы были у жены Михозлса, знаменитого еврейского актера, убитого в январе 1948 года неизвестно кем и почему. Затем через год его посмертно объявили «врагом народа» (или нет, кажется, не через год, а больше — в 1951 году, вместе с врачами, но я тогда была на Воркуте и могу спутать...). На днях ему поставили памятник в саду крематория. Анастасия Павловна, урожденная графиня Потоцкая, русская, вчера сказала: «Я особо остро чувствую антисемитизм и ненавижу его», — на что я от всего сердца сказала, что я тоже антисемитизм ненавижу, как и все гнусное, злое и фашистское. Бедный Михозлс, гениальный король Лир, реабилитирован, конечно, после смерти Сталина.

На днях была у нас Ирина Гогуа, но Екатерина Павловна в тысячу раз лучше нее! Ирина ужасно чванная!

Был вечер памяти Яхонтова. Лиля Юрьевна Брик заставила меня сесть с собою рядом, была необыкновенно нежна ко мне — красивая и хрупкая, как лепесток, а ведь старая, да, теперь уже старая. Ирина Гогуа высокомерна по-мещански. В ней типично «наш красный бо-монд». Нет в ней настоящей «элиты».

Анастасия Павловна Михозлс — биолог и работает по исследованию лучевой болезни. Милая. Умная. Но сильно пьет...

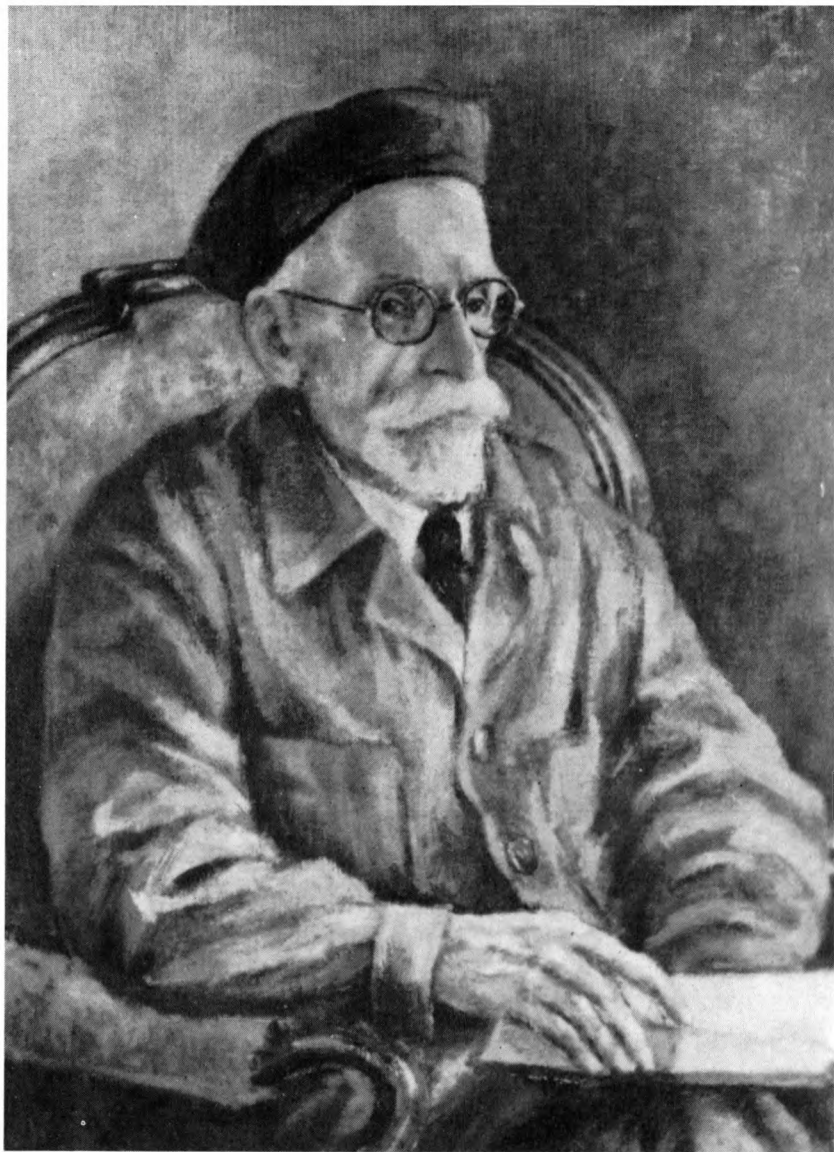
Устала писать из-за руки. Я ведь сломала за эти два года и левую и правую. Но это неинтересно.

Я все про ссылку читаю Васе, а он говорит: «Пиши! Пиши — это надо для истории».

В 1952 году, в самом конце мая, стояли очень теплые дни в Заполярье. Я была уже в Сивой Маске, на 180 километров южнее Воркуты. Наш ОЛП — лагерь «Совхоз «Горняк» — находился на расстоянии девяти километров от станции Сивая Маска, на берегу реки Усы. Местность холмистая, покрытая реденьким лесом, низкие тоненькие березы и ели. Летом густые высокие травы с яркими, прелестными цветами без запаха. Много морошки, брусники и клюквы. В лагерьном совхозе были парники, где в идеальном порядке выращивали помидоры, лук, укроп... и садовые цветы для вольных и начальства на Воркуте. Было большое молочное хозяйство с коровниками, более удобными и чистыми, чем наши бараки, где доярки — заключенные, в белоснежных халатах, румяные рослые девки — ухаживали за коровами. И были поля, где сажали картошку, которая осенью давала обильный урожай, так же как и капуста. Ее сажали в землю рас-



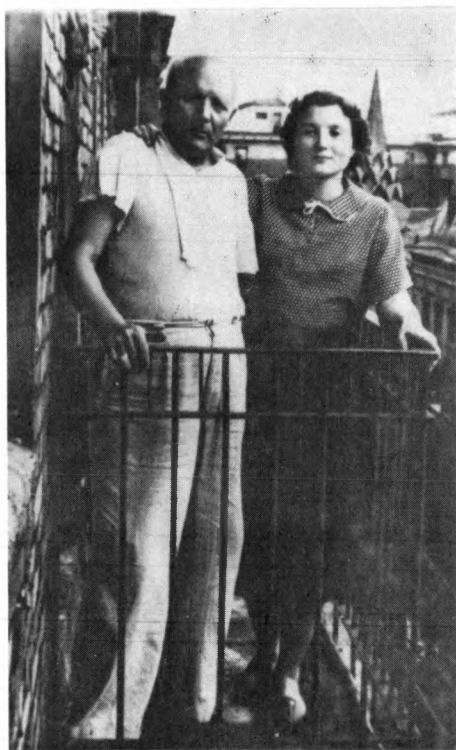
Мой портрет работы А. В. Фонвизина. Москва, 1946 г.



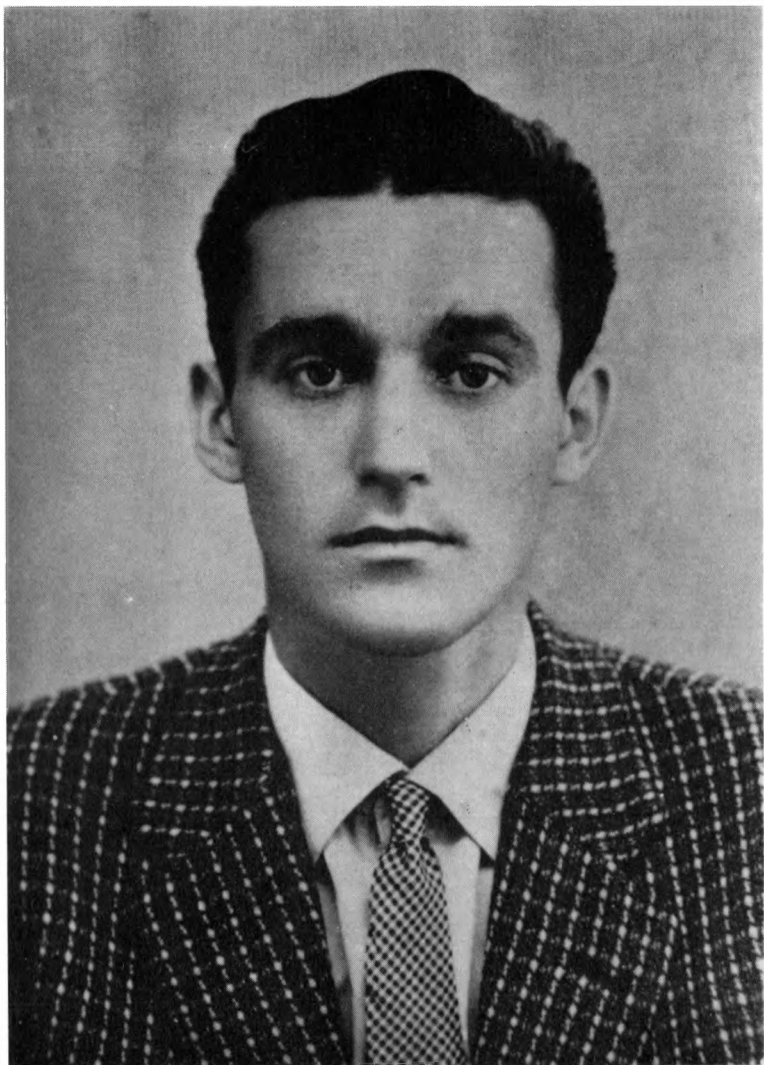
Иван Васильевич Лещенко. Город Орджоникидзе, 1950 г. Художник Федотова.



*Д. Ф. Цаплин в своей мастерской.
1965 г.*



*Д. Ф. Цаплин с дочерью Аленой. Москва,
1956 г.*



Мой сын, Иван Лещенко. Орджоникидзе, 1958 г.



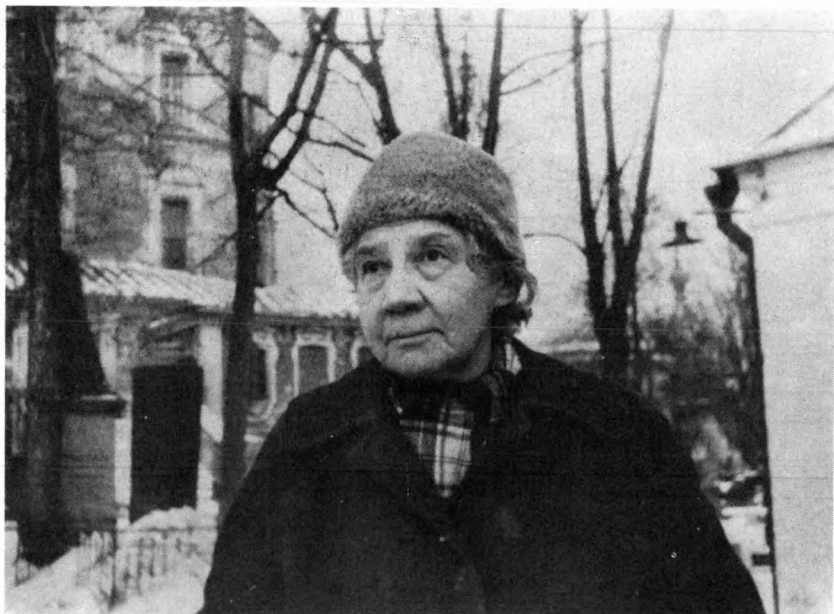
После освобождения из лагеря, у мамы в Орджоникидзе. 1954 г.



Мой портрет Алисы Порет. 1960 г.



Мой подарок Эрмитажу — гитара работы И. А. Багова. 1966 г.



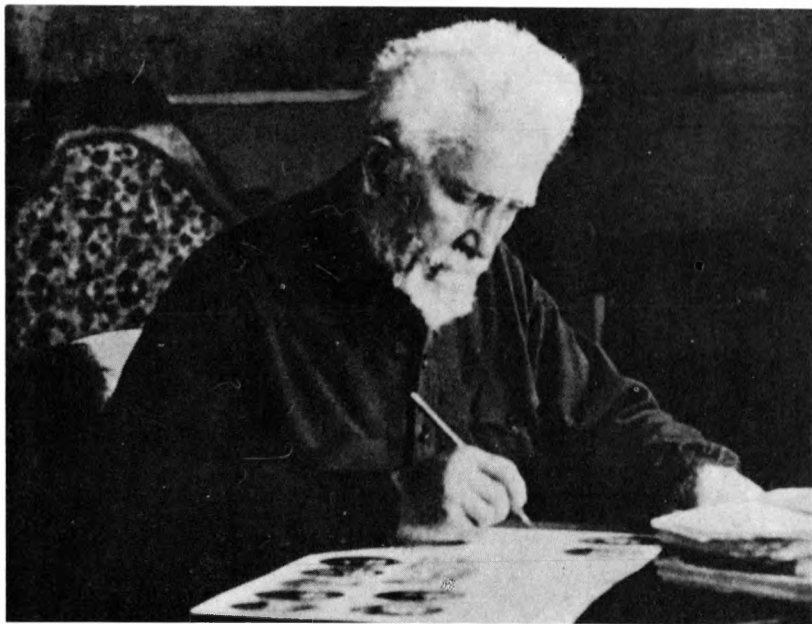
Евгения Александровна Ольхина. Москва, 1966 г.



*Нина Николаевна Грин.
Старый Крым, 1968 г.*



*Васи́дий Васи́льевич Сухо́млин. Париж,
1953 г.*



Народоволец Васи́лий Ива́нович Сухо́млин. Ленинград, 1929 г.



*Чита, 90-е годы XIX века. Ссылные революционеры.
Крайний слева — Вася Сухомлин.*



*Анна Марковна Сухомлина с сыном
Василием. СПб, 1867 г.*



*Сестра В.В. Сухомлина, Анна Васильевна
Филиппченко. Киев, 20-е гг.*



Жорж Сименон подарил мне свою фотографию с надписью: «Татьяне, у которой все таланты, включая талант дружбы. Любящий Жорж Сименон». Лозанна, 1979 г.



Василий Васильевич Сухомлин. Париж, 1935 г.



Мы с Василием Васильевичем в гостях у Тихоновых в Переделкине в 1963 г.



Париж, 29 ноября 1967 г. Я здороваюсь с Луи Арагоном. Крайний слева — Даниил Гранин.



После концерта в музее А. С. Пушкина. 3 ноября 1988 г.



С Юрием Анагольевичем Лосевым. 5 марта 1979 г.



Вот так я живу. Зима 1988 г.

садой, из горшочков, которые мы заготавливали зимой из торфа. И редиску, и зеленый лук. Скороспелка капуста созревала к концу августа — огромные вкусные кочаны, а редиска шла все лето, как и лук. Ведал всем этим чудесный человек — агроном Павлов, сосланный, конечно... Талантливейший агроном. Из хлебного кваса и лука мы делали тюрю — какой вкусной она казалась!

Женька Шмидт, бывшая московская танцовщица, а в «Горняке» возчица, свиарка, кочегар при бане и пекарне и так далее и тому подобное, приносила нам с Леной Ильзен за пазухой с десяток картошек, и мы варили их и прибавляли в тюрю. Надо сказать, что Женька, в прошлом избалованная, элегантная, капризная, в лагере показала себя настоящим человеком, молодчиной, работягой, хорошим товарищем. Один из ее любовников, англичанин! Роджер Берфорд, когда-то сказал о ней: «Никогда не встречал такую неинтеллектуальную женщину».

Мы с ней познакомились на Кировской пересылке, откуда нас отправили в самом начале нашего срока на Воркуту. Она тогда была худющая, но в голом виде все равно красива, как танагрская статуэтка, пребывала в жестоком отчаянии и поговаривала о самоубийстве. Я утешала, успокаивала ее, потом ее отправили из Воркуты на Сейду, а меня оставили работать в Воркутинском театре. Встретились мы снова лишь весной 1952 года уже в «Горняке». В ту пору, к концу мая, мне удалось раздобыть «дивную» работу. Дело было так. Все работы на «Горняке» — на молочной ферме, растениеводстве, парниках, погрузке бревен и прочая — были мне не под силу. Проработав с день, я валилась с ног, поднималась температура, меня волокли в стационар, где я отлеживалась с месяц-полтора, потом снова работала день — и снова заболела. А ведь нам давали зачеты! В театре я получала день за день. А в «Горняке» я не могла, была не в силах хоть полнормы за день выработать. Это приводило меня в отчаянье. И вот как-то раз одна ленинградка, Надежда Васильевна Соловьева, сказала мне: «Смотрю я на вас, Татьяна Ивановна: коли так будет продолжаться, скоро вы на ноги протянете. Самая легкая тут из работ — это ассенизатором: чистить наши уборные; зимой вам не справиться с ломом, льдины выкалывать, но ведь сейчас лето на носу — метла да лопата. Зачеты хорошие. Работа спокойная. Обход два раза в день. Придете — отмоетесь, и будем в домино сражаться. Уговорите Наташу уступить вам эту работу. Она баба сильная, ей хоть бревна таскать. А вам — ассенизатором в самый раз».

Наташа — рябая, была из блатных. Улучив минуту, я сказала ей: «Свяжу тебе кофту задаром, только шерсть твоя. Да пятьдесят рублей дам тебе, все, что у меня есть, — уступи мне уборные чистить и договорись сама с майором». Она охотно согласилась. Майор, начальник бытовой части, — старик, пьяница, довольно добродушный циник, пожалев меня, зачислил меня ассенизатором, а Наташу возчицей. В первый день, облачившись в черный халат, вооружившись метлой и лопатой, с ведром песка, я отправилась на обход «своих»

объектов. Меня провожали хохотом, презрительными насмешками, блатные, встречая меня, улюлюкали, кое-кто из «58-х» всплакнул жалеючи. И к насмешкам и к жалости я отнеслась с полнейшим равнодушием. Счастье ликовало в моем сердце: ведь теперь мне пойдут зачеты! А ради них я готова была делать что угодно, лишь бы было под силу. Равнодушие, внутреннее спокойствие — самые «победительные» силы, о них разбиваются и ненависть, и презрение, и внезапная ярость. На то, что «артистка Татьяна Ивановна стала чистить уборные», через два-три дня перестали обращать внимание, и свою работу летом 1952 года я вспоминаю как легкую, а потому независимую из всех работ (включая Воркутинский театр), которые мне пришлось делать за весь свой срок в лагере.

«Обход» я делала четыре-пять раз в день, сыпала обильно песок и лила дезинфекцию; в моем хозяйстве царил небывалый доселе порядок, и по лагерю ходило крылатое словцо какой-то из блатных, что, мол, и в этом деле культура человека сказывается. Валька Сергеева, воровка-рецидивистка, рослая баба, которая то рожала детей и говорила бабьим голосом, то становилась «коблом» (лесбиянкой) и ругалась зычным басом, раньше орала при виде меня: «Вон привидение в гондоне наше... подбирает», — теперь уважительно здоровалась со мной: «Доброго здоровья, Татьяна Ивановна!» На что я всегда вежливо отвечала: «Здравствуйте, Сергеева». Днем мы бились «в козла» с Надеждой Васильевной, которая была заведующей баней и потому время от времени могла урвать часок свободного времени, и с нашей дневальной Марусей, здоровенной колхозницей, получившей срок за изготовление самогона. На всех других Маруся орала, придиралась, распорядилась, всячески прижимала, но ко мне относилась решительно с уважением, ибо с некоторых пор смертельно боялась Женьки Шмидт. Случилось следующее. Маруся вздумала чистить печь по ночам, из печи валил смрад и пылица от шлака, грохотал совок, ударяясь о ведро... Все так уставали за день, что спали мертвым сном, а я не могла... Женькины нары были как раз возле печи. В ту ночь, как только Маруся стала лениво чистить печь, Женька сказала ей: «Перестань! Днем сделаешь». Маруся огрызнулась и продолжала грохотать. «Перестань, говорю!» — грозно повторила Женька. Та даже не обернулась и со злости хлопнула совок в печь с особой силой. Я подняла голову с подушки как раз в ту минуту, когда Женька, изогнувшись пантерой, одним прыжком кинулась с нар на спину Маруси, схватила ее за загривок и повалила на пол. Та захрипела, Женька встала, улеглась на свои нары и блаженно уснула, а Маруся бесшумно уползла на кухню... Все это произошло мгновенно и в полной тишине! С тех пор Маруся никогда больше не притрагивалась к печке ночью, а чистила и засыпала уголь днем, когда в бараке почти никого не было и можно было проветривать сразу же. Вот что значит условный рефлекс! Детей надо иногда шлепать, чтобы, став взрослыми, они не вредили другим и себе самим. Глубокомысленное отступление!

Но возвращаюсь к самому началу, ибо хотела написать о том, что произошло в ночь на 31 мая 1952 года на «Горняке».

Полярный день уже начался, и солнце медленно кружило невысоко над горизонтом круглые сутки. Налево за рекой, казалось, совсем недалеко, рукой подать, тянулась снеговая цепь Заполярного Урала. Горы сияли белизной, иногда лиловели, потом делались розовыми, голубыми, помню, в тот теплый вечер они были какими-то светло-фиолетовыми с темными подпалинами. Дул легкий южный ветер. Вокруг низины, в которой расположился «Горняк», теснились пологие бурые холмы, на которых сероватыми ляпами белел прошлогодний снег. Поселок вольных за лагерем широко раскинулся по низине. Река Уса тронулась вот уже несколько дней, черным узким рукавом огибая наш лагерь.

Мы с Женей вышли из барака, нам встретились женщины, пришедшие из детдома, — «мамки» — и сказали, что лед идет по реке сверху с самого Ледовитого океана. «Слышите издали гул — это лед идет...»

И вот на наших глазах часа за два Уса расширилась, затопила берега, огромные глыбы льда сплошняком медленно ползли мимо нашего лагеря, скрываясь вдаль. Глыбы делались все огромнее, и скоро это были уже горы льда, и эти горы стали лезть на нас. Широкое поле за Усой превратилось в белое поле льдин, которые с грохотом, с урчаньем медленно громоздились одна на другую. И вдруг перестали плыть вниз по реке. Они остановились! А сзади на них наползали все новые ледовые глыбы. Вода стала подступать к баракам. По лагерю верхом — вода заходила под живот лошади — пронесся начальник лагеря. Он кричал во всю глотку: «Все на крыши!» Женщины стали лихорадочно связывать вещи в узлы, я бросилась будить Женьку, которая, наработавшись за день, успела уснуть. Она перелезла на верхние нары и категорически отказалась лезть на крышу. «Успею. Сейчас спать хочу. К черту ледоход». Я махнула рукой, решив, что и в самом деле в последнюю минуту разбудю ее и она через чердак вместе со всеми я пробралась на покатую крышу и села у трубы, чтобы в случае чего уцепиться за нее. Мне было невыносимо страшно, но жадный интерес к невиданному грандиозному зрелищу перехлестывал страх. Все натащили узлы, чемоданы, сундуки, одна я сидела налегке. Портниха Елизавета Михайловна, пыхтя под тяжестью своих узлов, кинула мне в ноги маленький сверток: «Вы чего ж свое-то не собрали, мне пришлось еще и ваше укладывать, слава Богу немного, да ведь нельзя ж так все кидать! Все-таки имущество». Я поблагодарила ее, конечно, это было хорошо с ее стороны, но странно, именно с тех пор она мне окончательно разонравилась.

Люди усеяли крыши бараков. Никто не плакал, не ломал руки в отчаянии, все молчали, время от времени кто-то тихо молился. Вода прибывала... «Помогите!» — слышались отчаянные крики из поселка. Там дома стояли в воде уже по окна. Люди, коровы, козы были на крышах. Начальство скакало взад и вперед верхом на лошадях,

которые где вплавь, где вскок кидались в сторону от льдин, а те уже напирала на дома, на дорогу. Крики о помощи, отчаянные, надрывные, слышались все чаще. Появились откуда-то лодки. Застучал моторный катер. Вокруг нас колыхалось белое море льда, и где река Уса — разобрать было уже нельзя. Только одно место — небольшая площадка у пожарной команды — оставалось еще не залитым, возвышаясь маленьким островком над ледовым морем. Солнце тихо сияло, небо было голубое и прозрачное, и так хотелось жить... Я смотрела на забор, как вода поднимается все выше и выше, и рассчитывала, когда надо будет нырнуть в барак и хоть силой выволочь из барака проклятую Женьку! Отчаяние оцепенило всех. И вдруг на пожарной каланче появились люди в погонах. «Вон вон, сам Фадеев приехал! Не оставили нас в беде! Начальство-то нас не бросило!» — заголосила какая-то баба, а мы все как замороженные смотрели, ожидая спасения, туда, где стояло, махая руками, это «начальство»... А вокруг от грохота льда и криков о помощи нарастал какой-то непрерывный стон...

Вдруг пролетел самолет, и где-то вдали раздался оглушительный взрыв, и еще один, и третий, огромной силы, будто воздух взорвался! О чудо! Белая масса дрогнула, сдвинулась, поползла еле-еле, стала двигаться все быстрее и быстрее, и вот устремилась в одном направлении. Медленно, осторожно горы льда, корежась, ломаясь, с глухим скрежетом сначала будто собрались вместе, а потом на наших глазах поплыли к югу...

Я смотрела на забор. Не дойдя сантиметра до загаданной мной черты, вода понизилась, вот еще ниже... Помертвевшие фигуры на крышах оживились. Боже, что поднялось! Люди орал: «Ура, Фадеев, спасибо, братцы, спасибо!» Где-то за поворотом реки с самолета бомбой взорвали лед, затор разорвался, расцепился, и ледоход двинулся вниз по реке к Печоре. Нас спасли.

Через час в барак уже можно было войти, но пол и стены были еще мокрыми. Женька мирно дрыхла на верхних нарах. Я разбудила ее, затопили печь на кухне, все стали варить чай, делиться впечатлениями, передавать друг другу разные слухи. Как потом оказалось, никто не погиб, не успел погибнуть. Самолет прилетел вовремя. Вечером мы дали концерт в честь Фадеева с начальством. Генералы сидели в первом ряду и хватались за животики от хохота, так лихо играла я зубную врачиху в скетче «Одну минуточку!». Я весь тот день была на седьмом небе, — господи, может, и в самом деле я доживу, несмотря ни на что, и увижу детей и Москву. Душа ликовала от благодарности за то, что пощадила нас всех судьба в ту страшную ночь. Но как красива была та ночь! И если б я могла описать, как огромная, с дом, льдина застыла на берегу и таяла все лето, да так и не растаяла к осени, когда ее снова запорошило снегом. И как в то мое последнее заполярное лето меня послали окапывать забор, который в 1952 году выстроили вокруг нашего ОЛПА на смену прежнему — из колючей проволоки в два ряда. И как эта двойная колючая изгородь нам теперь вспоминалась: ведь за нее можно было смотреть

и видеть то, что было НА ВОЛЕ, а теперь забор высокий, глухой, ни щелочки!..Новешенький!

В тот день, как самую кроткую, тихую, безответную и наверняка не рискнувшую бы на побег, меня послали окапывать забор с «вольной» стороны. За забором широко тянулся песок, по нему надо было пройтись граблями и сделать из песка вал у забора — на случай, если кто вздумает «уйти в побег», чтобы сразу можно было увидеть следы. Но из лагеря все равно никто не вздумал бы убежать... Если и бежали, то с работы на вольной зоне, или с сенокоса, или с заготовки дров. Работа моя была бессмысленной, но приятной. Я не торопясь возила грабли по песку и лопатой подбрасывала песок к забору.

На забор села трясогузка. Она что-то чирикнула. Я сказала: «Это ты мне что-то говоришь, да?» Она снова чирикнула. Я сказала: «Если так, то чирикни еще, а потом улетай!» Она громко и долго прочиркала, кивнула мне головкой и улетела.

Я почувствовала, что трясогузка чирикала мне даром. В раздумье продолжала я возиться с песком. День был прелестный, стоял август месяц 1953 год. За проселочной дорогой, которая вилась совсем близко, разбросаны были домики вольных, за ними поблескивала тихая Уса, а дальше тянулись поля вперемежку с реденькими лесами. На горизонте Заполярный Урал розовато сиял под неярким солнцем. Народу было мало, все на работе. Изредка по дороге, не обращая на меня ни малейшего внимания, пробегали мальчишки, испуская тарзаньи вопли. С тех пор как привозили сюда фильм о Тарзане, все мальчишки поселка научились выкликать, как он.

В тот день я наработала очень мало, а пора было уже возвращаться в зону. Я прошла через вахту, отметилась и побрела по дорожке к нашему барaku. В зоне вдоль забора росли в высокой траве ромашки, и вдруг прямо передо мной возникла диковинная, огромная пятиголовая ромашница. Я сорвала ее и почувствовала, что и она и трясогузка предвещают нечто совершенно неожиданное. В баракe я рассказала Лене и Женьке, те покачали головами, подивились на ромашку (Женя до сих пор ее помнит!) и решили, что да, — со мной обязательно что-то произойдет. Трясогузка напорочила: через два-три дня прошел слух, что всех инвалидов куда-то увезут. А я незадолго до того получила инвалидность по состоянию сердца. И в конце сентября, несмотря на то, что мне оставалось всего полгода до окончания срока, меня увезли на этап: нас, женщин-инвалидов с Сивой Маски и со всех концов Заполярья отправили в Астрахань, за шесть тысяч километров! Мы ехали более двух месяцев. Первая остановка была на Кировской пересылке. Когда шесть лет назад меня везли через Киров на Воркуту, на этой пересылке в бараках было черным-черно от клопов, спать было невыносимо, они падали с потолка лавиной и грызли нас как волки. А теперь, к моему удивлению и радости, нигде не было ни единого клопика, царили идеальная чистота и порядок. К нашему этапу присоединили еще женщин из других северных лагерей и повезли дальше. В поездке я простудилась, и, когда мы приехали в Казань, температура у меня

поднялась до 40°. В Казань свезли женщин-инвалидок со всех концов страны: из Тайшета и Брянска, из Архангельска и Колымы...

Нас было так много, что нар не хватало, мы спали вповалку на полу, на своих узлах. Древняя Казанская тюрьма производила страшное, хаотическое впечатление. Стены толщенные, на мутных окнах старинные чугунные решетки, конвойные злые, доктора безжалостные. Меня положили на койку в крошечной камере для больных, где уже лежало несколько женщин. От уколов пенициллина температура у меня на третий-четвертый день резко упала, и полудохлую, слабую, как муха, меня отправили дальше вместе с этапом. Мы ехали в вагоне «ЗАК» (для заключенных), и в купе, где располагалось по восемь человек, нас было восемнадцать! Мы задыхались, а конвойные не желали открывать окна... Как мы зависели от их доброй воли! Хороший конвой, злой конвой... В следующем вагоне окна были открыты, люди могли уходить в уборную по надобности, им давали чай три-четыре раза в день. У нас все было наоборот...

В дивный осенний день мы прибыли в Саратов. Во дворе тюрьмы-пересылки росли высокие тополя, золотые листья, шурша, падали на землю, было тепло, а когда нас увозили с Сивой Маски, шел снег... Я шаталась от слабости и снова горела в жару. Меня тут же положили в «стационар», в пустую чистую камеру, с чистой постелью и теплым одеялом. Я распахнула форточку — теплый воздух, свежий райский воздух... Меня выкупали в настоящей ванне. Добродушная пожилая санитарка-«малосрочница» накормила меня досыта «больничным питанием» — о, каким вкусным борщом, и котлетами, и компотом! Каким блаженством было улечься в чистую постель, в чистой рубашке, мочь протянуть ноги, расправить тело!

На другой день меня повели к доктору. Седая строгая женщина с добрыми глазами долго выстукивала и слушала мои гудящие легкие, мне сделали какие-то анализы и начали вкалывать глюкозу, витамины и лекарства. Через три дня я отдохнула и набралась сил. До сих пор вспоминаю с глубокой благодарностью эту остановку в пути. И вот последний переезд — до Астрахани. Была жара, в вагоне было так душно, что некоторые из нас теряли сознание; окна открыли, но воздуху не хватало — нас было слишком много в каждом купе. Чужие, впервые встретившиеся женщины-заключенные тащили мои узелочки и самое меня. Усадили в грузовик и в бараке, уже в Астрахани, уложили на свои собственные мягкие большие узлы, добывали мне чай, совали куски хлеба... До Астрахани я добралась еле живая. Не помню имен этих женщин... Потом нас разместили по разным баракам; лагерь был большой — около двух тысяч человек — инвалидов, но лица помню... Пожилая учительница из Чернигова, больная почками, укладывала меня спать в ту ночь; молодая женщина из Крыма (туберкулез) сунула мне краюху хлеба; задорная боевая девка из Ростова, больная астмой, тащила мой узелок и меня... И еще кто-то, и еще... Дай им Бог здоровья и счастья!

Я помню, как поздно вечером, в открытом грузовике, мы ехали с вокзала через всю Астрахань; сияла луна, небо было по-южному

высоким и темным, звезды яркими, и в голубом лунном свете стены Астраханского кремля времен Ивана Грозного показались мне сказочно-прекрасными. Мы были, наконец, в Астрахани, в сущности, неподалеку от мамы и Ванюшечки, на юге. В зоне лагеря росли деревья, был сад. Сад! И, несмотря на конец октября, стояла чуть ли не жаркая погода. Ни за что нельзя было умирать, ведь оставалось пять месяцев до свободы! Не умереть! Это я твердо решила и знала: сон, еда, свежий воздух и отдых — вот все, что мне нужно. Я поправлюсь! Через день я написала маме, что прошу ежемесячных посылок с сахаром и маслом, написала Алене и стала лечить самое себя. Меня повели к доктору. Молоденькая, очаровательно-хорошенькая женщина с синими глазами, с чуть голубоватым лицом (после я узнала, что у нее «синюха»), осмотрела меня, и по ее глазам я поняла, что ей жаль меня и что она хороший, настоящий человек. Я попросила ее не класть меня в больницу, а выписать мне только больничное питание и уколы глюкозы с витаминами. «А я уж сама поправлюсь, вот увидите. Мне бы только отдышаться!» Несмотря на то что температура у меня не падала еще долго (38,5—37,8 град. еще месяца полтора), прелестная докторша согласилась. И вот я стала часами сидеть на воздухе, есть изо всех сил все, что попало, и спать... спать... Но по ночам я так кашляла, что в бараке на меня косились: «Чохоточная. Заразная». Но я отвечала им на все расспросы: «Плеврит», — и меня оставили в покое. Мне становилось все лучше, о счастье! У меня было двустороннее крупозное воспаление легких...

11 января 1960 года

У меня бурное настоящее вперевивку с воспоминаниями о прошлом. Кстати, воркутинское прошлое вспоминаю, лишь когда пишу о нем, время от времени, вроде как бы для «истории нашего времени». Вот было б интересно, если действительно в будущем когда-нибудь мои отрывочные и косноязычно написанные «мемуары» прочитали бы люди...

Снова приехал к нам д'Астье, похожий на «Трех мушкетеров». Блестящий рассказчик, но, по-моему, второстепенный писатель. Васику приходится возиться с ним, а мне на голову свалилась Васькина племянница, Оля Андреева-Карлайл, дочь той Оли и Вадима Андреева, в котором под внешней оболочкой утонченного интеллигента живет сноб и немного хам. Явный хамила живет и в его сыне Саше. У этой Оли, по мужу Карлайл, по-моему, в отца характер, но посмотрим. Пристала, чтобы я ее познакомила с Шолоховым. Я нажала на подруг, раздобыла телефон его секретаря — словом, завтра в результате моих усилий у нее свидание с Шолоховым. Пристала, чтобы я ее познакомила с молодыми художниками. С помощью милейшей Лидии Максимовны Бродской я повела ее к Эрику Булатову: молодой, красивый, с тонким задумчивым строгим лицом и, по-моему, настоящий художник, талантливый. Интересная живопись, акварель, рисунок. Пишет он маслом медленно — год работает над полотном. Для заработка делает иллюстрации к детским

книжкам. А «свое» никогда не выставляет. О нем почти никто не слышал... Завтра знакомлю Олю с Игорем Рублевым, а он поведет нас к скульптору Эрнсту Неизвестному, о котором много говорят. Посмотрим.

Она некрасива, но шармом в мать, а глаза красивые, серые. Невысокая, тоненькая. Художница она, по-моему, из снобизма, а не по призванию. Привезла свои рисунки. Я их еще не видела.

Завтракали с д'Астье, которого я непочтительно называю просто Эмманюэль. Он привез мне самые дорогие духи — «Диора» и книгу Сименона «Президент». Я хочу ее перевести, ибо Сименона давно следует перевести, его у нас никто не знает, хотя я о нем уже много раз говорила в издательствах.

У Алисы Порет был бал по случаю того, что Буся — ее муж композитор Борис Майзель — получил «заслуженного». Были Рива с Сашей, какой-то физик Лазарев, Руфа и Юра Николаевы, жена художника Гончарова и Слава Ростропович. Славный человек и великолепный виолончелист. Я сделала «ошибку», но, как оказалось, очень удачно: с восторгом отозвалась как о замечательной певице о Галине Вишневской. Алиса сделала страшные глаза, и все замолчали. А Ростропович просиял и говорит: «Мне чрезвычайно приятно это слышать, так как она моя жена!» Я всегда путаю, кто чей муж, особенно когда у людей разные фамилии.

Жена Гончарова — Галина — очень хороша! Высокая, стройная, с дивной фигурой и красивым лицом. Руфа Николаевна пускала ей шпильки, та, наконец, не выдержала. «Вы — ядовитая», — сказала она ей с хохотком. Алиса воскликнула: «Что вы! Руфа — овца». А Галина протянула: «Овца, но ядовитая. Ядовитая овца». На этом интересном месте пришлось уйти, ибо Васька показал на часы, что, мол, пора. И я тут же стала прощаться. У Алисы, как всегда, прелестно в комнатах, вкусная еда, за столом царило веселье, все орали, и была масса интересных разговоров. Алиса талантливая!

12 января

Была с Олей Карлайл, урожденной Андреевой, у скульптора Эрнста Неизвестного. Интересные, но, по-моему, эклектичные небольшие скульптуры, о чем я, конечно, умолчала, но сам он интересный человек. Умный, напористый, лицо мрачное, насупленные брови, хорошеет, когда улыбается. Конечно, скульптуры Цаплина несравненно интереснее, но я довольна, что мы у него побывали. Послала через него сердечный привет Белле Ахмадулиной. Она читала свои стихи у Коли Атарова — талантлива и прелестна. Ей двадцать два года, она рыжая, с прозрачной кожей, какая бывает у рыжих женщин; ушки как перламутровые раковины; глаза темные, чуть раскосые, и роскошные, именно роскошные белые плечи. Давно я не видела такой обаятельной женщины — в ней что-то милое и нежное. Талантливые стихи со своим звучанием, хотя явное влияние Ахматовой. Но что ж, та поэт, дай Боже... Мне хочется познако-

мать эту Олю с Беллой, хочется похвастать, какие у нас бывают женщины-поэтессы. Оля неприятно по-американски самоуверенна, нервна до дрожи, терпеть не могу этого нервического дрожжента в людях! Настойчива. Не люблю такого рода «ВОЛЕВОЕ НАЧАЛО» в женщинах. Она неглупая, культурная, но не артист, а фармацевт, по определению Бориса Пронина. Рисунки этой Оли Карлайл НЕ талантливый — перегруженные и претенциозные. Отнюдь не абстракция, а не поймешь что, хотя, по-видимому, это цветы и вазы. Мне надоело с ней возиться, но я дотерплю ради моего обожаемого Васика. Насколько он и Ася, его сестра, выше по человеческой ответственности всех этих родственников!

ПРО ВОРКУТУ

Стояло лето 1950 года. 26 июня была пурга, снег лежал почерневший, но упорно не желал таять. В тундре было мокро, хлюпала вода, а солнце сияло скупо, чаще стояли серые ветренные дни. С лагеря около завода нас перевели на «Пегеэс» — это был огромный ОЛП с большой мужской зоной, отделенной от нашей высоким забором. «Комендантом» лагеря был пожилой костлявый высокий татарин Махмед, многократный убийца. Он ходил повсюду с дубинкой, его все боялись, он был «беспредельщина». Заходил он часто и в наш барак, где дневальной была немолодая женщина из блатных. Сама она часами лежала на нарах, ничего не делая, у нее были помощницы, «шестерки», молодые воровки, они ходили за едой, мыли пол, убрали наш барак за пайки хлеба, которого много оставалось у нас, «артистов». Блатные, жившие в других бараках, нас не трогали, мы были «в законе» благодаря тому, что взяли к себе в дневальные «старшую» блатную. Но к нам часто заходили знаменитые воровки: Сильва, красивая, с тонким интеллигентным лицом, и Коломбина, высокая как жердь, немолодая женщина, которая в ту пору была «коблом», хотя и одевалась по-прежнему в юбку. После их всех увезли в дальний этап, на Курилы. Махмед жил в лагерях последние семнадцать лет, он выбирал себе жену из очередного «прибытия». Помню, зашла я в соседний барак и вижу нары, завешенные белыми занавесками с подзором, ручным кружевом. Молоденькая девочка, украинка, с ангельским личиком, молча сидела на нарах, печально уронив руки: «Это Махмедова жена. Ведь как ему отказать? Убьет. Девчонка невинная была, жаль ее, однако притерпится. Опять же, сыта...» — сказали мне.

Наш барак был просторный, светлый, с кроватями, не нарами. Мы — «артисты», работавшие в театре, были в привилегированном положении в сравнении с другими. Нам давали грузовик, когда перевозили в другой лагерь, и барак наш был всегда самый лучший из всех, и питание было неплохое. Ведь мы увеселяли, развлекали «вольных» и все начальство. «Жемчужина Заполярья» — так называли наш театр, а театр славился на все Заполярье. За лагерем «Пегеэс» простиралась тундра, и Заполярный Урал проходил белой

цепью как раз за нами. До города и театра было километров восемь. Каждый день мы делали пешком шестнадцать километров туда и обратно, но иногда нам давали грузовик — в те дни, когда из-за дождей тундра делалась совсем непроходимой и дорога сливалась с нею — сплошная мокрая грязь. Солнце кружило над горизонтом круглые сутки, и я почти не спала. То было мое первое, горчайшее лето в заключении. Непрестанная безысходная тоска по детям и по воле рвала сердце, тяжело давила плечи... Я все больше окаменевала, оледеневала. Как-то раз я вышла из барака в уборную — это было под вечер, и я в тот день могла не ходить на работу. Мне повстречалась молоденькая девушка. Она долгим взглядом посмотрела на меня и затем сказала: «У вас удивительно прекрасное лицо. Я вас давно заметила. Но отчего вы всегда такая печальная?» Ее вопрос изумил меня. «Как отчего? Но ведь я в заключении, мне еще семь долгих-долгих лет надо пробыть в неволе. Я ненавижу снег, холод, я ненавижу эту тундру — все здесь мне ненавистно, уродливо!..» Она воскликнула: «Слушайте! Но ведь здесь так красиво! Я счастлива, что меня сюда отправили. Меня зовут Лида, я из Москвы, художница. Я всю жизнь мечтала Север писать, ведь здесь же плоско до горизонта, понимаете?! И потом, какие цветы! Какие цветы в проталинах! Я вам принесу. Я вам буду каждый день букеты приносить. Я работаю в тундре, хожу без конвоя, нас, таких, как я, пять человек. Нет ничего прекраснее тундры! Я считаю, что мне страшно повезло, что меня сюда отправили!» — «А какой у вас срок?» — спросила я. «Три месяца». — «Вот потому вы так и воспринимаете. А был бы у вас долгий срок, ох, все вам было бы ужасно!» Она схватила мою руку, прижалась к ней щекой и быстро ушла.

На другой день она пришла в наш барак с маленьким букетиком: лиловые колокольчики и на тонких стебельках белые пушки, как комочки душистого снега, — действительно, прелестный букет.

Стало теплее, снег исчез, ползучие кусты встали, выпрямились, тундра вся зацвела, трава росла чуть ли не на глазах! Лида приносила мне большие, удивительные букеты. И мне было тепло в ее присутствии. Мы мало разговаривали, я ведь никому там ничего о себе никогда не рассказывала... Милая девушка! К осени она исчезла вместе с солнцем. Но я поняла, что на все можно смотреть из разных углов и тогда видишь по-другому. И мне от этого стало легче. Пожалуй, это чрезвычайно помогло мне, я душою цеплялась за это в минуты невыносимого отчаяния, когда, казалось, легче умереть, чем жить дальше, прожить еще день! Вдруг передо мной возникало лицо Лиды, и слышались ее слова: «Нет!..» И снова чудилось, что есть, есть это видение по-другому, с другой стороны, из другого угла. И что тогда жалкая обездоленная тундра — прекрасна! И жить делалось легче. Можно было все вытерпеть и жить дальше.

Махмеда потом убили. Но украинка еще до этого повесилась. Она была всегда так тиха, что и смерть ее прошла как-то бесшумно. А я в ту ночь вышла в умывалку, безжалостное желтое солнце равнодушно катило по бледному небу, я глядела в окно и не видела тундры

из-за пелены душных, ничего не облегчающих слез. Не за себя в ту ночь, а за всех, за ту несчастную с ангельским личиком, и несть им числа... Боже, как много их было!

Нас, нескольких из наиболее хилых, повели на рентген в каторжанский мужской ОЛП, далеко на берег реки Воркуты. Был солнечный теплый день, тундра цвела, кочки поросли высокой густой травой, среди которой поблескивали там и сям оконца воды. Разных птиц было видимо-невидимо. Особенно милы были кулики, с важным видом они так серьезно долбили длинными носиками болотистую землю и, запрокидывая головки, что-то глотали. Комаров почти не было, слишком мы были далеко на Севере. Но самое интересное — и летом я видела это несколько раз, а зимой часто — было, когда вдруг по тундре мчались нарты, запряженные оленями — четверкой, цугом по двое, и, стоя на нартах, ненец что-то кричал, размахивая палкой. Нарты ныряли с кочки на кочку, прорезая траву, как по волнам, перескакивали через озерки и вихрем исчезали из глаз. Удивительное зрелище. От него тундра делалась вдруг живой, веселила.

Шли мы лениво, останавливались отдыхать. Обратного мы должны были вернуться лишь к вечеру, и конвойные нас не торопили. Не помню ни одного злого конвойного из тех, кто водил нас на работы. Это были добродушные, даже вежливые молодые солдатики. Только один был страшный — начальник конвоя, молодой, но о нем потом. В одном месте у поворота черной реки Воркуты на берегу росли невысокие деревья! И кусты. Место это прозвали «Швейцария». Мы перешли мостик-кладку на другой берег и наконец добрались до места назначения. В тот день сюда повезли и попривели еще много заключенных, и мужчин и женщин, делали проверку на туберкулез. Поэтому на ОЛПе было оживленно, в стационаре толпился народ, все разговаривали друг с другом, знакомились, даже флиртовали. О, эти лагерные романы! Я никогда не могла понять, как они возможны в тех условиях. Когда все, кому не лень, видели это, комментировали и прочее. Публичная связь. Я не говорю о любви, которая подчас вспыхивала там в людях. Это-то было понятно. Хоть в любви найти поддержку, утешение. Но любовь редко посещала заключенных, а чаще всего это бывала чисто физическая связь. «Природа требует, гражданин начальник», — ухмыляясь, говорили блатные, когда их заставляли на месте «преступления», ибо половая связь между заключенными мужчинами и женщинами преследовалась законом. Конечно, чаще всего начальники на это смотрели сквозь пальцы и уж совсем не обращали внимания на лесбос и педерастию. Это было в порядке вещей, этого не могло не быть.

Доктор, интеллигентный пожилой человек, после осмотра сказал мне, что ТБЦ у меня нет. Кто-то предложил мне и еще одной женщине «пойти посмотреть на сумасшедших каторжан». Их содержали в большом бараке, стоявшем поодаль, на самом берегу реки Воркуты. На окнах были чугунные решетки, двери на запоре. Провожатый долго стучал. Наконец нам открыл толстый румяный пожилой каторжанин в белом халате. Как у всех каторжан, у него на спине и

внизу на штанах был пришит лоскут с номером. Он исполнял обязанности медицинского брата, и с ним жил санитар, тоже румяный, толстый, пожилой. Они были похожи, как два близнеца. «Муж и жена», — шепнул мне провожатый. Мы вошли в их «кабину» — чистую, теплую, почти уютную...

«Хотите сумасшедших каторжан посмотреть? Ладно. Только через глазок. А к ним нельзя. Разорвут», — сказал старший из них. Он взял огромную связку больших тяжелых ключей, отпер еще дверь, и мы очутились в длинном коридоре, в который выходили двери с засовами и замками. «Глазки» были довольно большие, и в один из них я заглянула: одно из самых тяжелых впечатлений за весь мой срок... Камеры были довольно просторные, но темные, из-за чугунных решеток на окнах свет еле проникал сюда. Воздух спертый, затхлый. В полумраке я разглядела фигуры людей, они бродили по камере, завывали, кто-то крикнул и бросился к глазку, но глазок быстро захлопнул этот сытый розовый медицинский брат. Я настояла на том, чтобы меня выпустили, а другая женщина захотела на всех посмотреть. «Они — вечники. Есть такие, что молчат. Большинство — буйные. Мы всегда тут жизнью рискуем. Да им, что чистить у них, что нет, — все равно как звери. Разве это люди!» — сказал, жалуюсь, санитар. Я была рада уйти, но как кошмар меня долго преследовало воспоминание о сумасшедших каторжанах. Несчастные... несчастные... Может быть, вот среди таких сидел Радек, которому «сохранили жизнь» на бухаринском процессе в 1936 году.

Рассказ санитарки

про одно преступление до войны 1941 года

Санитарка была в той самой шайке грабителей. Ей дали тоже восемь, как и мне...

В Москве незадолго до войны 1941 года в одном доме была квартира, где жил очень высокого положения человек. С семьей: молодая жена со старухой матерью да с маленькой трехлетней дочкой Наташей. Была у них еще белая собачка шпиц, звали почему-то ее Челкаш. Квартира эта была, что называется, за семью замками, сильно охранялась, да внизу в подъезде всегда дежурила лифтерша и на смену ей другая заступала. Обе были проверенные, в доме жили испокон века. В квартиру ту впускали по пропуску даже родственников, но редко кто бывал там, а домработниц вовсе не держали. Хозяйка с ее мамашей сами управлялись. Вход в эту квартиру на седьмом этаже был сначала в одну дверь, потом в другую, и уже третья — в самое квартиру. И все три двери на хитрых замках. Мамаша с дочкой гуляла все больше в садике при доме. Муж с утра на службу уезжал, а она иногда отлучалась и дочку с бабушкой оставляла. Жили тихо, спокойно, вдруг однажды пропала собачка. А в квартире была. Бабушка клялась, что в столовой шпица оставила, а сама с внучкой на кухню отлучилась. Вернулись в комнату, а собачки и след

простыл! Искали, искали, даже в уголовный розыск заявили. Приехали оттуда и все обыскали, стены выстукивали, с ног сбились, ничего не нашли. Погоревали и решили, что бабушка недоглядела, а лифтерша мимо глаз пропустила, верно, Челкаш на улицу выбежал, ведь иначе не объяснить! И вот через месяц погуляла молодая хозяйка с девочкой, как всегда, в садике утром, а потом решила в магазин сходить. Бабушка девочку в столовой посадила завтракать, сама в кухню пошла, вернулась — нет девочки! Пропала! Ужас! Сами понимаете, что было. Всех на ноги поставили, всю Москву, не то что квартиру эту или дом, обыскали. Нет Наташи! Мать чуть с ума не сошла, а бабушка заболела с горя и все свое твердит: «Все три двери на замке были, а девочку я за столом оставила». Зимой это было, окна заклеены, фортки высоко. Мать тосковала сильно, сначала из дома не выходила, а потом стала сидеть иногда в сквере, на скамейке, — походит, посидит, посидит маленько, снова ходит. И вот раз бежит к ней мальчишка лет десяти, сунул ей в руку записку и прочь. Она читает: «Если вы хотите видеть дочку, то через три дня приходите сюда и принесите столько-то денег. Никому ничего не говорите! Это наше первое предупреждение».

Мать кинулась искать мальчишку, его, конечно, нет, она — домой. И не выдержала — все рассказала мужу. Собрала деньги, устроили в сквере засаду. Пришли через три дня, в назначенный час, ждали, ждали, ни с чем домой вернулись...

Через месяц звонок в квартиру, она дверь открыла, смотрит, две девочки из квартиры соседней ей в руки записку суют: «Нам бабушка во дворе дала, велела вам передать». Побежали вниз эту бабушку искать, а та как сквозь землю провалилась. В записке было снова предложение принести в некое место сумму вдвое больше прежней и снова предлагали никому об этом не говорить, «а не то вы вашу девочку не увидите. Это наше второе предупреждение».

Мать так разволновалась, что хоть и не собиралась на этот раз что-либо рассказывать, муж все равно заметил ее смятение и заставил во всем ему признаться. Поставили на ноги всех и вся, но явились в назначенный день и час в условленное место — никого не нашли...

Но мать на этот раз затаила в душе надежду, что последует третье — последнее — предупреждение, иначе зачем было писать: это наше первое, а затем второе предупреждение?! Поэтому она взяла себя в руки, смирилась и стала ждать...

Действительно, надежда ее осуществилась. Как-то летом в почтовом ящике она нашла адресованное ей письмо, без марки, без почтового штампа. Видимо, его просто сунули в ящик. Это было третье и, как указывалось в записке, последнее предупреждение. Ей предлагали собрать все ее драгоценности и крупную сумму денег, обещая, что в случае если она никому ни слова не скажет, то ей дадут знать, где и когда она «прижмет к сердцу свою Наташу». Так и было написано.

Никому ни слова не сказала она. Все приготовила. Через не-

сколько дней, когда дома никого, кроме нее, не было, в почтовый ящикбрякнулось письмо, где ей сообщали, что через час-два она должна выйти из поезда на одной из подмосковных станций, пойти по направлению к лесу по тропинке; на опушке леса ее встретит человек, которому она передаст ценности и деньги, он проводит ее к девочке. В случае предательства она будет убита. Она поехала, человек в лесу взял то, что она ему принесла, спокойно пересчитал деньги и приказал идти за ним на некотором расстоянии. Они вышли из леса к песчаному откосу, где бегал, играя, какой-то малыш. С криком бросилась к нему женщина: это была Наташа! А нашли потом эту шайку очень сложным и запутанным путем. Я половину забыла.

Помню только, что на Курском вокзале поймали воришку, в кармане его при обыске нашли разные фотографии, в том числе фотографию матери этой маленькой девочки...

Истопник дома, где жила Наташа, был участником этого дела. Там что-то было с отопительной системой связано: украли сначала собачку — под полом шли трубы, — чтобы проверить, пройдет ли девочка, подслушивали все, что в квартире происходило, все разговоры и т. д.

Дальше уже не санитаркин рассказ, а мой. Наташа теперь работает врачом. Она ничего не помнит, что с ней произошло. Они тогда же, как она вернулась, из этого дома переехали на другую квартиру. Ей никогда ничего не рассказывали. Она ничего не знает о том, что когда-то с ней было. Впрочем, может, и помнит, как о каком-то смутном сне...

1960 год

Алексей Семенович Сванидзе был брат первой жены Сталина, которая умерла от туберкулеза еще в Баку. От нее у Сталина был сын Яков, который попал в плен к немцам в 1943 году, потом попал к нашим, в наш лагерь, где и был расстрелян, — такие ходят слухи. А сын от второй жены, Нади Аллилуевой — Василий — живет в Москве. Страшный Дон Жуан, пьяница, скверный человек. Теперь он в Китае, где «мутит воду», по выражению шофера такси, который мне сказал обо всем этом, — кто его знает, может, и правда?

А вот что рассказал... забыла кто.

Буду Сванидзе — сын сестры первой жены Сталина, Екатерины Сванидзе. Сталин любил племянника. Буду поехал с поручением в Венгрию как будто в 1936—1938 годах. Там он страстно влюбился в одну венгерку. Та поставила ему условие, что станет его женой, если они уедут в Бразилию, куда он с ней и уехал; и хотя потом его звали в Советский Союз, он, зная об арестах, не вернулся. Буду написал книгу о Сталине, очень тепло его рисуя. Предисловие к книге написал Беседовский, рекомендуя не очень-то верить племяннику, любившему дядюшку. Буду разбогател на этой книге и как будто благополучно здравствует в Бразилии со своей венгеркой и по сию пору.

23 сентября

Приехал д'Астье. Он пишет книгу о Сталине. Мы, русские люди, в общем, ничего не знаем о жизни этого кровавого человека. Д'Астье собрал о нем много сведений... Самыми близкими к Сталину людьми были: вторая его жена Надежда Аллилуева и няня, которую, говорят, звали Анна Андреевна. Она воспитала его дочь Светлану — той было семь лет, когда застрелилась ее мать Надежда Аллилуева. А говорят, что Сталин ее сам убил. Я эту Светлану помню милой, простой рыжей девочкой четырнадцати-пятнадцати лет. Аленка училась первые классы в той же 172-й школе, где и Светлана Сталина, Светлана Молотова и две внучки Горького: Дарья и Марфа Пешковы. Светлана Аллилуева выглядела очень славной девочкой. Это было году в 1939—1940-м. Светлана Молотова была младше Светланы Сталиной, и за ней тоже всегда ходил телохранитель: молодой, быстрый, высокий человек с приятным лицом. Света Молотова приезжала в школу в автомобиле, выходила из машины, а за ней выскакивал молодой человек и шел по пятам до дверей класса. Не знаю, может, и на уроках сидел... Она была небольшого роста, довольно изящная девочка, но какая-то кривляка. Помню ее мать — Жемчужную, которую потом вскоре неизвестно за что и куда сослали... Она часто приходила за дочерью в школу, все мы, мамы, ждали дочерей в большой передней... У Жемчужной красивые серые глаза. Она ведала «ТЭЖЭ» — духами. Бедная... А Молотов спокойно (?) дал арестовать и сослать жену, мать своей дочери! Любят ли кого-нибудь на свете эти политики, государственные деятели?..

После смерти Надежды Аллилуевой Сталин вскоре сошелся с женой одного военного, красивой блондинкой, которая работала в Кремле, жил с ней около двух-трех лет, а после ее сослали.

Д'Астье спросил при мне сегодня Екатерину Павловну Пешкову, правда ли, что у Сталина был роман с некоей «Розой Кагановича, племянницей Кагановича, наркома путей сообщения». Екатерина Павловна сказала, что все это чушь и выдумка и что у Кагановича даже и племянницы такой не было. Я про эту племянницу Кагановича тоже слышала, но какие-то туманные слухи. Дочь Кагановича благополучно живет с мужем на улице Горького, а сам Каганович на пенсии. «Железный нарком» — так его звали. Жестокий, по слухам, был человек. И вот жив-здоров...

А те, лучшие люди, — погибли...

12 апреля 1961 года

Невероятно, но факт! По радио: космический корабль с человеком на борту пролетел над Южной Америкой! Дальше сообщение: пролетел над Африкой! Дальше: дана команда на приземление! И вот: ЮРИЙ ГАГАРИН приземлился! Первый КОСМОНАВТ!

У него чудесная улыбка, молодое милое лицо на фотографиях.

14 апреля.

Вся Москва, вся страна, весь мир встречает Юрия Гагарина. И мне кажется, что он похож на Юру, моего брата, безвестного героя-мальчика.

Сосредоточенный, серьезный, он вышел из самолета, прошел на трибуну и рапортовал Хрущеву. Тот раскрыл объятия и зарыдал, припав к Гагарину. А потом, сияя улыбкой, Юрий Алексеевич бросился к своей семье. Старик отец заплакал. Мы смотрели телевизор у соседей.

5 мая

В этом году дивная весна — теплая и сухая. Но каждый день события: то американцы напали на Кубу, то в Алжире восстали против де Голля фашиствующие французские генералы, то заваруха в Лаосе.

Мне давно, много лет назад, казалось, что 1961 год будет очень тяжелым... я как-то побаивалась его.

Вчера у меня было свидание в Доме писателей с моей редакторшей по книге Боноски, с Ириной Павловной Архангельской. Подхожу — у входа теснится масса народу, спрашиваю: отчего? «Гагарин!» Я так решительно прошла через цепь милиционеров, так уверенно вошла в переполненный людьми холл, что меня никто не остановил, просто никому в голову не пришло меня останавливать. Сразу увидела знакомых: милейшего Ивана Игнатьевича Халтурина, Леву Копелева, Фиру — жену Переца Маркиша. И вдруг сверху по лестнице, в окружении Федина, Твардовского и прочих маститых, спускается небольшого роста очень юный летчик с лицом Гагарина, хорошо мне знакомого по фотографиям в газетах. Я сама не успела опомниться, как уже стояла перед ним и крепко пожимала ему руку. У меня вырвались слова: «Вы такой прелестный! Мы все так вас любим, милый Юрий Алексеевич!» Мы долго трясли друг другу руку, он очень зорко взглянул на меня, а потом засиял улыбкой. Он какой-то очень живой и веселый, симпатяга! Обаятельнейший!

«Долина в огне» Филиппа Боноски, которую я перевела с английского, — нудная, ужасающе написанная, в смысле стиля, книга, но сюжет нам «созвучен». Гослитиздат заказал ее мне, и я не сочла возможным отказаться, хотя с отвращением ее читала. Редактором назначили некую Наталью Михайловну Ветошкину, кобылообразную красотку — хапугу, которая молниеносно заявила, что мне или необходим соавтор, или «платите от себя редактору по сто рублей с листа!». На свою беду она присовокупила: «Дали тут одной переводчице работу, та тоже, как вы, вернулась из ссылки, и работу ей дали из м и л о с т и». Я не нашлась, что ей ответить, но пошла к Емельянникову, взяла у него и от художников оба экземпляра моего перевода под тем предлогом, что я перевод еще раз посмотрю и «отработаю», унесла домой и решила, что эту сволочь Ветошкину я в

жизни никогда больше не увижу. Через две недели я собралась с духом и написала заявление директору с просьбой назначить мне другого редактора вместо Ветошкиной, с которой я категорически отказываюсь работать. Ветошкина, узнав об этом, не осталась в долгу и всюду стала жужжать, что она сама отказалась редактировать перевод, так как перевод ужасающий. Что ей еще оставалось?! Вместо нее мне дали двух редакторш: Архангельскую и Мурик. Обе неглупые. Я соглашаюсь почти на все правки, ибо переспорить их нет сил и они портят мой перевод. Гослитиздат мне до сих пор не заплатил ни единой копейки. А книга пренудная, и эта дубина Ф. Боноски — помесь символиста с натуралистом. Вообще современную американскую литературу лично я читать не в силах. Это либо скучища, либо порнографища и кровища. Хемингуэй, по-моему, давно исписался (как Гоголь; было же это с Гоголем и с Успенским), мне лично противно читать последние вещи Хемингуэя, у него вечная «поза рожи» (по Лескову), при торричеллиевой пустоте американских личностей, им описываемых.

Цаплин шмякнул себе на ногу огромный камень и разможил два пальца. Бедняга! Но это человек, который не ощущает физической боли, как никогда, например, не ощущает жару или холод. Бывало, спросишь его: «Ну как, холодно сегодня на улице?», а он ответит: «А не знаю, не заметил». И так всегда. Повезла к нему докторшу мою — А. Н. Транквилитати. Она сказала, что ничего страшного, палец заживет. Цаплин — уникам, это бесспорно.

Аленка очень похорошела и поэлегантнела. Но романа или хотя бы флирта нет. За этот год она стала веселее, так как работает в клубе туристов. А вот если ее выгонят с работы (она вечно опаздывает, у нее нет чувства времени...) — не знаю, что и будет!

Ванюшечка в экспедициях, пишет редко, скучновато...

У мамы котенок, которого ей привез в подарок Ваня; котенок очень заполнил ее жизнь. Бедная мама, я как-то очень люблю ее сейчас...

Васик здоров и весел. Ему будет семьдесят шесть лет 9 Мая, и, хотя он молчит, я чувствую, что цифра огорчает его. И совершенно напрасно, ибо не в цифре дело, а чувствует он себя хорошо! Только уставать стал...

1 августа

Переделкино.

Галина Осиповна Серебрякова, отсидевшая двадцать лет (черно-волоса и вульгарна), жена расстрелянного в 1937 году Григория Сокольниковца, наркома финансов, рассказывает о Сталине:

— Муж познакомил меня со Сталиным, когда тот был еще наркомом по национальностям. Мы были как-то в Большом театре, в правительственной ложе, и вдруг вошел человек. Гарри сказал: «Пойдем, я познакомлю тебя с Иосифом». Я помню: Сталин был маленького роста, худой, с черно-желтым лицом, изрытым оспой, с

острыми, тяжелыми желтыми глазами. Я с удивлением увидела, что он меньше меня ростом. Все как-то засуетились при виде его. От него исходила какая-то недобрая сила. Я вся похолодела, когда он вскользь посмотрел на меня и отвернулся. Он вообще с презрением относился к женщинам. А Надя Аллилуева была обаятельная, скромнейшая женщина, она никогда не пользовалась его именем. Я знала ее еще с 1920 года и очень любила. Последний раз я видела ее за неделю до смерти: она ужасно была худая и задерганная, вечно болела женскими болезнями, так как делала аборт, к которым он ее принуждал, — он ведь терпеть не мог детей, к тому же болел триппером. Гарри был на том ужине, после которого Аллилуева застрелилась. Сталин по-хамски при всех обошелся с ней, это было у Ворошилова. Теперь говорят, что он сам ее застрелил, но тогда мы все знали, что это самоубийство... Он страшно рыдал на ее похоронах и часто ездил на Новодевичье кладбище, а маленькая копия с ее памятника всегда стояла у него на письменном столе, и на стене висели ее фотографии... Но он сам актер был великолепнейший: Сокольников за две недели до своего ареста был приглашен к нему, и Сталин все спрашивал, как наша дача, не надо ли чего... Гарри вернулся и мне говорит: «Иосиф провозгласил тост за меня. Выпьем, говорит, за старого большевика, нашего дорогого товарища Сокольникова!» А через 15 дней Гарри арестовали в кабинете у Сталина.

У нас была любимая собака, овчарка Булька. Булька стал выть за шесть дней до ареста Гарри, выл день и ночь, мы забеспокоились, позвали ветеринара, — нет, пес здоров! И вдруг Гарри не вернулся... Уехал на доклад к Сталину и больше никогда уже не возвращался... А Енукидзе он убил за то, что тот был «свидетелем», слишком много знал. Потом взяли и меня, а Булька сдох с тоски...

22 августа

Сегодня мы гуляли вместе с Тамарой Владимировной Ивановой, женой Всеволода Иванова, писателя, который написал «Бронепоезд». Он миляга, в нем что-то детское и уютное, и морда как у доброго пса-дворняги. А Тамара — седая красавица с голубыми волосами, она мне напоминает чем-то мою мать. Мы с ней друг друга знаем давно, но знакомы недавно. Я уважаю ее за то, что у нее хорошие дети, прелестные внуки и красивый, уютный дом, где большая семья вместе садится за огромный стол. Это ведь редкость по нынешним временам.

Тамара Владимировна рассказывала мне о Борисе Леонидовиче Пастернаке, с которым ее, Всеволода и сына их Кому связывала многолетняя дружба. Семья Ивановых была, пожалуй, единственная, которая вся целиком не отступилась от Пастернака, когда его предали анафеме за Нобелевскую премию...

— Я знала его жен: Евгению, и Зинаиду Николаевну, и третью — Ивинскую. Все три, конечно, не стоили его; лучшая из них Зинаида.

С Ивинской он меня познакомил как раз в те, «нобелевские», дни. Ольга Всеволодовна Ивинская не всегда придерживалась правды. Иной раз могла и фантазировать. Она — привлекательная блондинка с кошачьими повадками. Он во время болезни не хотел ее видеть и не велел пускать к нему, и Зинаида Николаевна и брат спрашивали его, хочет ли он ее видеть, позвать ли ее. Но он не хотел. И так ее и не повидал. А потом она кричала, что «эти звери меня не пустили к нему, а он просил, звал меня». Но это ложь, Татьяна Ивановна, — Борис Леонидович сам не пожелал видеть ее после того, как заболел.

Он выдумывал себе людей, в его воображении они были совсем не такими, какими были в действительности. Зинаида Николаевна показывала мне его письма к ней: ничего более сильного, вдохновенного и прекрасного я во всей мировой литературе не знаю. Он возвел ее на такой пьедестал и видел в ней такую красавицу и внутри и снаружи! Его письма к Зинаиде Николаевне — это свидетельства огромной любви, пылкого поклонения. А ведь Зинаида Николаевна очень «обывательская» женщина... Первая жена его — Евгения Владимировна — сразу же после его смерти подала в суд, требуя доли в наследстве, а ведь вечно делала вид, что она «неземное существо». И, наконец, Ивинская... Мне она показалась «бандершей» какой-то, ведь она дочерью чуть ли не торговала...

Он был абсолютный бессребреник, не от мира сего. ПОЭТ...

7 сентября

Были у Ивановых: мы, Ираклэй (так я его прозываю, терпеть его не могу), художница Валентина Ходасевич и, главное, Капица Петр Леонидович и Анна Алексеевна, его жена. Симпатичная!

Тамара Владимировна все больше мне нравится. Умная, холодная, красивая, думаю, что умеет быть настоящим другом, а главное, что нет в ней «бабского» (хотя этого я еще не знаю...). Хозяйка она великолепная, и дом у них удивительно уютный.

Капица похож на старого художника (такими бывают иные великие ученые. На артиста был похож и мой двоюродный дядюшка Владимир Андреевич Стеклов, математик. Он был вице-президентом Академии наук, красавец, высокий старик, и пел замечательно). У Капицы седые пряди волос небрежно падают на лоб; румяный, с ярко-голубыми глазами, очень пристальными, зоркими. Одет в старый, мешковатый, просторный костюм, а когда надел пальто и широкую шляпу — и вовсе стал похож на какого-то художника, только не русского, а английского. Он невысокого роста, но производит впечатление высокого человека. В черноволосой Анне Алексеевне отсутствие элегантности, но есть обаяние и милая простота. Хотя мы с ней и поспорили насчет французской выставки, которую она очень ругала, но она мне понравилась.

Неприятно мне было присутствие Ираклия Андроникова, которого я не люблю за вечную позу. Вот человек, в котором нет искрен-

ности. Все через житейский «ум». Он лишен настоящей артистичности, но «на безрыбье и рак рыба»...

Разговоры были очень интересные. Хочу записать два рассказа. Всеволод Вячеславович говорил о процессе Бухарина, Рыкова, Ягоды и иже с ними.

«Я сидел в Малом Октябрьском зале, где их судили, как раз наискосок от хоров, закрытых хоров наверху, в конце зала. Помню, вышел Ягода и сказал: «Мои показания и признания вы вырвали у меня под пыткой». А тут сразу же, хлоп, назначили перерыв на полчаса, а когда снова начался суд, Ягода вышел и сказал: «Я говорил в состоянии истерики и беру свои слова обратно». А когда уже процесс кончился и Ягоде дали «последнее слово», он встал и сказал: «Я обращаюсь лично к товарищу Сталину с просьбой помиловать меня. Я был верным учеником Дзержинского, я создал трудовые колонии (и т. д. и т. д.). Я прошу товарища Сталина сохранить мне жизнь!»

Я поднял глаза, — продолжал Всеволод, — туда, к хорам, занавеска чуть раздвинулась, и вижу — вдруг вспыхнула спичка и на мгновение озарила трубку... Там Сталин сидел. Всех расстреляли.

Капица рассказал:

«Вот самый страшный анекдот (Капица, как и мой Василий Васильевич, очевидно, употребил слово «анекдот» во французском его смысле), который я за всю мою жизнь слышал. Потерял Сталин трубку, зовет Лаврентия Берия: «Украла у меня трубку! Или!» Через день он сам нашел трубку, она за стол у него завалилась, а Лаврентий уже сто человек посадил. Зовет Сталин Берия и говорит: «Я трубку нашел, ты их освободи». А Лаврентий отвечает: «Не могу. Все сто сознались, что трубку они украли. Я их и расстрелял».

Но дело-то в том, что Сталин накануне своей смерти сам об этом рассказывал Юдину, нашему послу в Китае, — тот был у него, это один из последних людей, кто видел Сталина в живых. Сталин сам ему этот анекдот рассказал, а Юдин рассказал Топчиеву. А Топчиев — мне»...

29 октября

Значит, есть правда на земле! В Мавзолее, рядом с Лениным, Сталина не оставят — таково решение XXII съезда КПСС. А несчастным, невинно загубленным его жертвам поставят памятник.

XXII съезд был, по-моему, одним из самых интересных съездов. Для огромного большинства нашего населения правда о Сталине не явилась неожиданностью; по всем городам России пронеслась смертоносная «ежовщина» в 1937 году, но, конечно, в полной мере сталинские злодеяния еще не раскрыты для общего обозрения. Конечно, он был шизофреник и страдал манией преследования, которую постоянно подогревала эта шайка бандитов во главе с Берия. Страшное существо. Я помню, как мой отец еще в 1935 году, когда мы с Цаплиным вернулись в Россию, сказал мне как-то шепотом:

том, озираясь по сторонам: «На троне сидит провокатор. Сталин — провокатор, изменник революции, и Ленин никогда не доверял ему». И вот сейчас, через столько лет я могу написать это! Не озираясь, не шептаться, не дрожать за каждое не то что написанное, но произнесенное слово! Боже, слава тебе, что я дожидая до такого времени — оно, как Чудо, за которое все мы в первую очередь благодарим Никиту Хрущева. Многие ему лета, да живет он долгие годы! Человечный человек, нормальный человек, веселый, даже озорной, умный, энергии необычайной — молодчина! Он ужасно русский... Все я какие-то не те слова пишу, мне хочется «потрясательные» слова найти, ибо XXII съезд потряс меня!

И вообще, такие у меня дела были, что я вся перетрясена. Сначала о Ванюше, потом о Лике Шастиной.

Ваня вернулась в Москву с тем, чтобы остаться. Но все пугали, что его не пропишут. Мы с ним так этого боялись, что всё не шли за пропиской. И вот наконец собрались с духом, пошли в 109-е наше отделение милиции. Нас принял спокойный лысоватый человек в очках, с приятным интеллигентным лицом — начальник паспортного стола. Я рассказала ему о себе, о том, что Ваня родился и жил в Москве и перестал быть москвичом насильственно... И вот вчера, то есть на другой же день после этого разговора, Ванюшу прописали! Сегодня Бог был бы для меня в образе доброго начальника милиции. Я ему так пожала руку, так сказала «спасибо», что, думаю, он понял, как я ему благодарна. Ваня живет у Аленки, они ладят, хоть и ссорятся; Цаплин уехал в Саратов, у Аленки живет еще Влада. Так что в квартире на Горького царит веселье, там трое молодых. У Вани невыносимо провинциально-южный акцент, жестикуляция восточного человека, а наружность молодого итальянского герцога эпохи Возрождения. Аномалия. Он мне сказал, когда мы вышли из милиции: «Теперь я отосплюсь дня три-четыре и только тогда начну искать работу». Хорошо, если б он нашел работу по душе, для себя интересную! А то он какой-то вялый, все ему скучновато, но иногда мне кажется, что он чем-то болен: либо болит сердце, либо легкие. Условились, что он хоть и прописан у нас, но жить не будет, так как тесно, а будет снимать себе комнату.

Лике Шастиной, которую я устроила в Институт хирургии имени Вишневского, вчера утром, 1 ноября 1961 года, делали операцию на сердце! Что я пережила за эти полтора месяца ее пребывания в этой клинике и особенно вчера, — не поддается описанию. Как будто на мне все время лежал черный чугунный утюг.

«Операция прошла благополучно» — так мне сказали вчера, а сегодня я иду к ней, погляжу одним глазком. Как я боюсь всяких клиник, докторов и даже больных, о, Господи, Господи!

2 ноября

Была в больнице. Говорила с профессором Смеловским Сергеем Ивановичем, который делал ей операцию. Я ему сказала: «Благо-

дарю вас от имени всех реабилитированных». Он рассмеялся. У него суровое, некрасивое лицо, но от улыбки оно сразу похорошело. Говорит: «Пока не надо еще радоваться, пусть дня три пройдет. Сейчас состояние тяжелое, она пищит, стонет, нагрузка на сердце большая, только бы левый желудочек выдержал...» К ней меня не пустили, да я и не очень рвалась... А милейший главврач Владимир Николаевич Жуков, когда перед операцией разрешил мне ее пови-
дать, сказал: «Только вы ни слова ей про операцию! А то ведь они что нам устраивают! То — отек легкого, то еще чего-нибудь... Безобразие! Так что вы ни слова». Я и сидела у этой бездомной бедной бедняги Лики, позевывала от волнения и болтала разную чушь... Через день утром ей сделали операцию, которая длилась два с половиной часа. К ней меня пустили через три дня. У нее было желтоватое лицо, она часто прикладывалась к трубочке с кислородом, у изголовья кровати висел какой-то аппаратик, подающий кислород. Она полулежала, полусидела на подушках. Я ходила к ней подряд дней пять. Она все время на всех жаловалась, устремив на меня укоризненный взор. «Для того чтобы иметь здесь уход, надо быть толстосумом», — заявила Лика. Я тихо ответила, что лично я ни одному человеку, начиная с Вишневого, не сделала ни подарка, ни даже цветочка не преподнесла, — и дала Лике 25 рублей (250 по-старому) на ночную дежурную, которая ни на минуту не отходила от нее по ночам. Меня очень удивило, что и через десять дней после операции Лика не высказала ни малейшей благодарности своему профессору Смеловскому, а ведь он вернул ее к жизни!

За это время, да и после операции, Лика показалась мне не очень умной, — но все равно мне было ее мучительно жаль, особенно когда мне вспоминалась судьба ее матери... Лику, кончившую театральную школу и поступившую в театр, немцы в 1942 году увезли из Орла, где она жила с матерью, в Берлин. Перед войной она вышла замуж, хотя ей было всего восемнадцать лет, но мужа-офицера взяли на фронт, и от него не было ни слуху ни духу. Мать бросилась за Ликой в Германию, разыскала ее в Берлине, и они стали жить вместе в так называемом рабочем лагере. Лика ездила с бригадой актеров, мать работала, жилось им неплохо. Лика сошлась с каким-то немцем, и у нее родился сынишка. Возможно, связь была мимолетной.

Когда наши вошли в Берлин, Лика встретилась случайно со своим мужем-офицером. Он усыновил ребенка, стали жить вчетвером: мать, муж, Лика и мальчик, которому в ту пору был всего годик или меньше. Муж был армянин, добрый человек, служил в советской комендатуре в Берлине. В 1945 году мать Лики арестовали. Лика, обожавшая свою мать, стала терзать мужа: «Хлопчи за маму! Ты не хочешь помочь!» После очередной такой сцены он случайно застрелился. Лику арестовали по обвинению в убийстве мужа, затем переквалифицировали на статью 58 1-1. В тюрьме ей через неделю-две принесли окровавленную одежду матери; та, узнав, что и дочь арестована, бросилась в пролет лестницы, покончила с собой...

Лица после этого какое-то время пробыла в тюремной больнице для душевнобольных, а затем, получив десять лет ссылки, прямо из Берлина прибыла на Воркуту с другими осужденными... Там мы с ней и познакомились. Я знаю ее историю с ее слов и со слов тех, кто знал ее мать в тюрьме, — двух-трех из тех женщин я встретила в Астрахани... История Лици МНЕ НЕ ЯСНА... Но она несчастная... Я никогда ни о чем ее не спрашивала. Она чего-то не договаривает, в чем-то лжет, я чувствую. Но когда я впервые увидела ее, ничего о ней не зная, передо мной была молчаливая, немолодая женщина с остановившимся взглядом... Я с удивлением узнала, что ей всего двадцать шесть — двадцать семь лет...

После, в Астрахани, она привязалась ко мне, как бедный, больной, угрюмый котенок... Она часто говорила мне о своей бедной матери, постоянно видела мать во сне... Мне так хочется хоть немного счастья бедной маленькой Лице! Я очень ее полюбила.

20 ноября

У Пьера Куртада, который написал «Красную площадь», разговор за обедом, конечно, касался XXII съезда. Говорили главным образом о Сталине. По словам Куртада, на днях один «весьма сведущий» товарищ рассказывал ему, что был такой момент, когда Сталин решил арестовать Берия. Будто бы он приехал в Грузию и стал спрашивать, где такой-то и где еще такой-то. А ему отвечают: «Арестован. Расстрелян. Сослан». У Сталина изредка бывали минуты просветления, вот такая минута наступила. Он пришел в ужас, вознегодовал и велел арестовать Берия. Но тот сумел отвертеться, уцелел. Я не верю этому. Еще Куртад говорил, будто Сталин сказал как-то раз: «История меня оправдает, как оправдала Ивана Грозного или Петра Великого». Кстати, вчера у нас был Роман Тимофеевич Пересветов. Он пишет про эпоху Грозного, искал материалы о дьяке Висковатом, но во всех архивах документы о казнях в царствование Грозного оказались строжайше засекреченными, и их никому не выдают — по приказу... Сталина!! И сей приказ еще не отменен... Почему Сталин так СЕБЯ засекречивал?

Завтра начинаю заново чинить все зубы у доктора Шапиро Якова Ефимовича, у которого лечила зубы сто лет назад, вернее, в 1938—1939 годах. Сегодня он осмотрел мой рот, спросил, отчего так плохо у меня с зубами, и, узнав, что я потеряла их «один за другим»... в ссылке, расчувствовался. Сказал, что лечил Сталина в 1933—1936 годах.

«...В ту пору он еще не был душевнобольным. Он заболел позже... Меня к нему возили на дачу. Сталин был очень гостеприимен и не отпускал меня без завтрака. И Жданова я лечил. Ездил я к Жданову вместе с начальником кремлевской поликлиники, так сказать, под его контролем. И вот однажды после лечения одного зуба у Жданова раздуло все лицо, температура поднялась — около 38, все забегали, я струхнул. Но на другой же день Жданов выздоровел. А через

месяц этого начальника кремлевской поликлиники арестовали, и вот тогда я очень испугался. Много недель ждал я по ночам, что за мной придут, и не спал до рассвета... А потом, когда посадили врачей-евреев, старика Эттингера, профессора Вовси... я опять очень боялся...»

Мой Василий Васильевич хотел написать Хрущеву, но решил, что тот все знает. Вот начало его письма:

«Возможно, Вы знаете все подробности этого дела и то, о чем я Вам напишу, не явится для Вас новостью. Но считаю нужным сообщить Вам следующее. В конце 1936 или начале 1937 года я имел разговор с Леоном Блюмом, в ту пору он был вице-президентом совета министров Франции. Леон Блюм сказал мне, что французская разведка получила от чехословацкой разведки документы, добытые какими-то путями в Германии; из документов этих явствовало, что Тухачевский был связан с германским генштабом».

(Немцы сфабриковали эти документы, и их у немцев купил Сталин за один миллион фальшивых рублей. Фальшивка за фальшивку. И лучших наших военных, не задумываясь, расстреляли по приказу Сталина.)

А нам с Василием Васильевичем старик Смирнов из ГОЭЛРО, сподвижник академика Кржижановского, рассказывал однажды о том, что Енукидзе в 1934—1935 (?) годах ездил с тайным поручением Сталина к Гитлеру. С каким поручением?! Вскоре после возвращения Енукидзе был уничтожен, а архив его весь целиком пропал неизвестно куда и как...

Буду лечить зубы у Шапиро — и теперь припоминаю, ведь адрес его и телефон мне дала Доротея Кин. Не помню, записала ли я в дневнике, но ведь в 1959 году я встретила в Переделкине Елену Ивановну, домработницу Доротеи, теперь она домработница Леонида Ленча. И вот Елена Ивановна мне сказала, что она была арестована «по навету этих проклятых Адамсов. Это страшные люди. Ох, сколько я пережила!» А ведь Доротея мне сказала в 1956 году, что Елена Ивановна сошла с ума и ее пришлось отправить в сумасшедший дом! Беднягу Елену Ивановну упекли в ссылку на всякий случай, очевидно, она знала, КТО Артур Адамс, за это ее и посадили. «Я ведь знаю, что вы ни в чем не виноваты, а тоже немало горя хлебнули», — сказала мне еще Елена Ивановна. Мне было противно ее расспрашивать, я поскорей ушла. От нее и Доротеи всегда веяло чем-то темным, непонятным, мрачным, подозрительным, а Артур вызывал во мне прямо-таки физическое отвращение. Не пойму, зачем я им была нужна, почему они искали меня, звали к себе. Бывали периоды, когда Доротея мне ежедневно звонила по телефону, словно жить без меня не могла. Не пойму, зачем я была им нужна. Страшные люди. И страшная была у Доротеи жизнь: она месяцами никого не видела, нигде не бывала, вечно болела и лечилась. Артур проваливался в тартарары на многие годы. Около Доротеи оставалась Елена Ивановна да рыжий сеттер Зевчик, которого Доротея обожала. Мне всегда было ее жаль за некрасивость,

одиночество, болезненность. Я считала Артура инженером авиации, потом, когда он исчез в начале 1937 года, я думала, что его посадили. И потому особенно ее жалела. Помню, как Артур вернулся, вернее, когда я его увидела впервые после многих лет в 1947 году. Меня пригласила на обед Доротея, он повел меня в свой кабинет и, указав на великолепную золотую саблю, висевшую на стене (а прежде ее на стене не было), сказал: «Вы знаете, чьей была эта сабля?! Я вам покажу». Он снял ее и дал мне в руки. На сабле наверху было написано — уже не помню, в каких выражениях, — что сабля эта дарится в благодарность за подвиги генералу П Р И М А К О В У.

— Вы что-нибудь знаете о нем? — спросил Артур.

— Нет, — отвечала я. Но я знала, что он был расстрелян в 1937 году как изменник и что он был мужем Лили Юрьевны, которая, по словам Ритки Райт, его безумно любила...

— Вот, — сказал Артур. — Прежде это была его сабля, а вот теперь висит у меня... — Он приветливо улыбался и тянулся ко мне; я поспешила уйти из кабинета, недоумевая, зачем, собственно, он показал мне эту саблю и чего от меня хочет...

Я смутно чувствовала, что ему хочется, чтобы я рассказала об этом Лиле Юрьевне — он знал о нашей с ней дружбе, — и решила, что никогда ни слова ей не скажу, ведь это могло только лишний раз причинить ей боль. Да, это могло лишний раз причинить ей боль, тем более что... Но тут мне припоминаются отрывочные фразы Лили однажды, когда мы с ней, году в 1946-м, поехали на могилу Осипа Максимовича и возвращались пешком из Новодевичьего... Но Бог с ней! Я догадываюсь теперь о многом (про многих), но никогда никому не говорю.

Жизнь Лили была трагичной, несмотря на весь внешний блеск. Она была счастлива, пожалуй, лишь в ранней молодости, когда я ее не знала. Если вынуть Лилу из ореола, который ее окружает (и есть люди, вокруг которых самопроизвольно создается, рождается «материально настроенная» женщина, делающая добро (Лили многим помогала и помогает) не от сердца, не от жалости или сочувствия, а от разума (что тоже хорошо!). Но ореол вокруг нее родился не только от любви к ней Маяковского. Ее обаяние и талантливость, умение выбирать людей, вкус к ним, жадный интерес к жизни и, конечно, горячая любовь к Осипу Максимовичу, к Маяковскому, к Примакову, хотя бы вот теперь к Майе Плисецкой и Родiku Щедрину — нет, нет, Лиля умеет любить, — все это создает ореол вокруг нее. Она бывает пленительной.

В своих воспоминаниях «Так и было» О. Литовский пишет, что Осип Максимович Брик в начале революции имел какое-то отношение к Чека. Книгу эту мне подарила Ася — сестра моего Василия Васильевича, в 1958 году. Я с изумлением, с ужасом прочитала об Осипе Максимовиче... Никогда в жизни мне в голову это не приходило. Но теперь многое стало для меня «на месте». Как мне повезло, что все эти умные люди считали меня глуповатой!

3 января 1962 года

1962 год начался! Слава Богу, перевалило! Меня почему-то страшил 1961 год, который оказался-таки весьма благополучным. Ну что ж, посмотрим, каков будет 1962-й, который выглядит сейчас из-за своей двойки круглым и спокойным.

Есть цифры спокойные, например, 2, 5, 6, 8, и жестокие, вернее, мрачные — например, 9 и 3, и даже легкомысленно-веселые, например 5, и даже приятная семерка.

В конце 1961 года слушала в Зале Гнесиных Святослава Рихтера, который сыграл на «бис» семь дивных вещей: Шуберта, Шопена, Дебюсси... Были втроем: я, Алена и Ваня и насладились досьята.

21 января

Вчера были у Ирины Гогуа. Она рассказала, что ее мать и мать французского писателя Виктора Сержа — родные сестры. Мать Виктора выдали шестнадцатилетней замуж за богатого петербургского чиновника Фролова, сухого, пожилого человека, типа Каренина. У нее родилась дочь — Верочка Фролова. Сама она заболела туберкулезом и поехала лечиться в Давос, где встретила с неким Кибальчиком. Ирина Гогуа не знает, был ли он родственником тому Кибальчичу — народовольцу, и, по ее словам, он, этот давосский Кибальчич, — чистойшей воды авантюрист и бродяга. Мать Виктора влюбилась в него и уже больше не вернулась в Петербург к Фролову. У нее начали рождаться дети, в том числе и Виктор Серж.

А первая ее дочь — Верочка Фролова — воспитывалась у бабушки, была странной девушкой... Сейчас она в Магадане на Колыме доживает свои дни в сумасшедшем доме после ссылки.

А мы с Василием читаем мемуары этого Виктора Сержа, которые вышли из печати в Париже в 1951 году.

25 января

Мои именины... Вечером пришли Юля Кагарлицкий, Лев Исакович Брагинский — муж Ирины Гогуа, Дина Матвеевна Милютина с Романом Тимофеевичем Пересветовым и Игорь Ермолович с Аленкой. Конечно, был мой Ванюшечка. Он работает по руте в ЦНИГРИ — институте Академии наук.

Игорь мне по сердцу, хотя он немного хвастунишка, но умный и милый. Аленка влюблена в него, а он, по-моему, в нее нет.

Я пела. Приятный был вечер, легкий. Дай Боже, еще праздновать много лет вот так вместе с Васиком и чтобы дети рядом!..

Ночью

Наташа Резникова, кузина Васи́ка, еще в прошлом году прислала открытку с миниатюрой пятнадцатого века — изумительная миниатюра. Глядя на нее, мне пришла мысль: а вдруг легенда о том, что Бог выгнал из рая Адама и Еву, означает, что люди на земле появились из космоса, с какой-то другой планеты? Древние сказки Библии имеют начало в тумане веков... И ангелы, эти люди с крыльями, откуда и почему их выдумали? А сказка о ковре-самолете ведь была задолго до появления аэроплана, задолго до воздушного шара... Мечта человечества ЛЕТАТЬ, может быть, это не мечта, а воспоминание? И люди снова будут летать, как они умеют теперь плавать?

1 февраля

Васик ходит в архив. По просьбе Союза писателей в архиве ему выдают «сведения о Сухомлине В. В.» царской полиции. Ему было девятнадцать-двадцать лет, а он был уже эсером, и за ним ходили филеры. Васику интересно сейчас читать малейшие сведения, — все записано: куда ходил, с кем виделся. Сначала, в прошлом году, ему отказались выдать папку с делом о нем самом (теперь же в архиве новый директор), а ведь эта часть архива, то есть бумаги и дела Третьего отделения города Москвы, потому и есть сейчас в архиве, что их для истории спас в начале революции отец Василия — Василий Иванович Сухомлин — известный народоволец, погибший в тюрьме в 1937 году. Уже старик, он был... мне рассказывали — чудесный, красивый человек... Неизвестно, расстреляли его в «Большом Доме» в Ленинграде или он умер сам... Теперь он посмертно реабилитирован, так же как и муж Анны Васильевны — профессор Филипченко... Наташа Столярова мне говорила, что более красивой пары в жизни не видела, чем Ася и ее муж... (Наша Ася, то есть сестра моего Василия, — Анна Васильевна Филипченко.) Красавцы люди — лучшие люди России, истребленные Сталиным с его присными. Нет, куда там Шекспир!..

А мне уже несколько последних лет ясно, что люди — песчинки, однодневки, мотыльки... Что знаем мы о тех, кто жил в прошлом, о лучших из них, о героях, о святых?.. Ничего. Старый альбом, неизвестно чей, с неизвестно чьими фотографиями, которые ничего тебе не говорят... Кому все это нужно? А люди неизменно губят друг друга... Стали ли они нравственно лучше, чем были, скажем, в Древней Греции или Египте? Пожалуй, стали хуже и совсем не умнее. Вот я пишу мои дневники, и иной раз меня преследует мысль, что когда-нибудь кто-нибудь прочитает их и сможет чуть-чуть представить себе эпоху, в которую я жила. Но над головой всех нас, сейчас живущих на милой Земле, занесены атомные бомбы, и все мы знаем, что эти бомбочки могут уничтожить всё. Останется пыль... Может быть, такое уже произошло с Луной, на которой

теперь нет жизни... Все пустяки... Но как же быть с теми, кто страдает, гибнет за других, отдает жизнь высоким идеалам и разбивается вдребезги?! Все пустяки, впустую?! Пока люди не поймут, что жить — само по себе уже счастье...

Ничего я не знаю и даже то, что думаю, не умею выразить. Может быть, рядом с нами идет какая-то другая жизнь, других существ, и только глаза наши так устроены, что мы не можем их видеть? А может быть, есть галактики — полное отражение нашей галактики? И все — как отражение в зеркалах... Я часто думаю обо всем этом, и от этого я еще больше люблю и жалею людей, и еще больше люблю милую бедную Землю, и еще сильнее боготворю жизнь!

По вечерам Васик читает мне вслух Сименона по-французски, а я чиню или шью, мы сидим в нашей преутойной кухне. Вчера приехала Аленька похвастать новыми туфельками, пила чай, сидела и слушала, ничего по-французски не понимая. Тихо сидела, молча. Долго, весь вечер. А уходя сказала: «Как уютно, как хорошо у вас!» Я купила ей красивую мохнатую шубку из нейлона. Ванечка работает в ЦНИГРИ (добыча золота), доволен, худющий, но когда я заикнулась о докторе, он категорически отказался, заявил, что со мной ни к кому не пойдет! Они с Аленой очень дружны сейчас, но он не любит Алену. Она его гораздо больше любит, чем он ее. Настоящей привязанности друг к другу у них нет. О, как я желаю им этого!..

30 мая

Третье лето мы в Переделкине, в Доме творчества.

Сегодня день смерти Бориса Леонидовича Пастернака. Два года назад схоронили его в дивный весенний день. Народу было много тогда, около двух тысяч.

Сегодня мы с Васиком утром ходили на его могилу, шел дождь; кроме Зельмы Федоровны и Светланы, да еще Жени — первой жены, да Жени — сына Пастернака, никого не было. К четырем часам дня ко мне приехали Лена с Лялей и Лизочкой, и я ходила с ними на могилу опять — там был народ и какие-то с фотоаппаратами, не тихо как-то. Чужие ему люди.

А вечером — поскольку Асмус сказал, что Зинаида Николаевна будет рада, если мы придем, — мы пошли к ней, в его дом. Я боялась, что я (не Васик, за него никогда и в голову бы не пришло бояться) буду сочтена не к месту, не по чину... Но Зинаида Николаевна так сердечно встретила нас, пригласила к столу, грузная, в прошлом, видно, очень красивая, очень своеобразная какая-то и вот уж по-настоящему гранд-дама, что так редко в наше время. За столом сидело нас человек двадцать: Мария Вениаминовна Юдина, Вильмонты, Елена Ефимовна Тагер с мужем, Кома и Таня Ивановы, Андрей Синявский — рыжий, с бородой, добродушный на вид, и его молоденькая жена, остальных не знаю. Когда мы шли

туда, я сказала Васику: «Подумать только, что вот это (то, что мы идем в дом к Пастернаку в годовщину его смерти!) есть акт гражданского мужества...» И, словно в добавление к моим словам, Зинаида Николаевна за столом сказала: «Я благодарю всех, что вы пришли, ибо посещение нашего дома опасно». А я не выдержала и сказала: «От имени всех присутствующих благодарю вас за честь быть в вашем доме, благодарю вас за то, что вы позволили нам прийти. Мы считаем за честь быть сегодня здесь». И все сказали «Правильно!», одобрительно загудели и заулыбались. А кроме Жени, старшего сына, его жены Алены и маленького их сынишки Пети, прелестного малыша, похожего на своего деда, то есть Бориса Леонидовича, был еще сын Бориса Леонидовича от Зинаиды Николаевны — Лёня, красавец, стремительная походка, гордая посадка головы, благородный облик. Он физик и музыкант, ему двадцать пять лет.

Зинаида Николаевна подарила мне книгу Бориса Леонидовича, вышедшую в прошлом году в Гослитиздате. Она повела меня в свою комнату, вернее, террасу, куда в окно заглядывает белая сирень. Мы сели с ней на тахту. Я сказала ей, что была в ссылке. Она сказала: «О, как Борис Леонидович жалел этих людей, он никогда не верил в их виновность и всегда вслух об этом говорил. Он ничего, он никого не боялся. Раньше у нас была дача рядом с Корнеем Ивановичем, а потом, когда в 1936 году умер писатель Малышко, мы попросились в его дачу, так как она была меньше и с открытой полянкой, не задавленная соснами и елями. И вот к нам сюда приехал в 1937 году тип с бумагой, чтобы Борис Леонидович в числе прочих тоже подписался под смертным приговором «врагам народа». А Борис Леонидович закричал этому типу, что он этих людей не знал и не понимает, в чем они виноваты, и подписи своей не даст! И выгнал его. А к тому времени в Переделкино уже тридцать пять человек из писателей и редакторов были арестованы. А я беременная была Леней. Я в ногах у Бориса Леонидовича валялась, молила его: «Подпиши, ведь все наши головы полетят!» А он сказал: «Нет, ни любовь, ни преданность к вам не заставят меня пойти против совести, и ребенок не мой будет, если он во имя моей лжи уцелеет! Пусть не будет у меня ребенка (а он очень от меня ребенка хотел...)!» И лег спать, и я смотрю, он спит с таким спокойным, блаженным лицом, почти с улыбкой, и я поняла, как он прав. И никогда больше не пыталась переубедить его. Да, он один из всех писателей не боялся правду написать, и когда итальянцы его книгу «Доктор Живаго» напечатали, я ужаснулась, а он рад был. Он сказал: «Пусть я погибну, но ведь книга останется в веках...»

Я спросила Зинаиду Николаевну: «Правда, что Сталин ему позвонил по телефону?» Зинаида Николаевна сказала: «Да, я ведь была при этом и все хорошо помню. Когда Борис Леонидович сказал в трубку: «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович», — я поняла, кто звонит. Я слышала ответы Бориса Леонидовича, но, ко-

нечно, не слышала, что ему говорил Сталин. Борис Леонидович разговаривал так спокойно и просто, как разговаривал бы со мной или с кем-то из знакомых. Он сказал: «Да, Мандельштам очень хороший поэт, разве можно так делать! Я должен с вами не только об отдельных людях поговорить, но и о главном — о Жизни и Смерти». Тот что-то ответил, а Борис Леонидович сказал: «Вы обязательно должны со мной повидаться, я должен с вами очень серьезно поговорить».

Зинаида Николаевна продолжала: «После этого его не тронули. Когда он Нобелевскую премию получил, его вызвали в ЦК, и Поликарпов кричал на него — Борис Леонидович повернулся к нему спиной и вышел, тот за ним секретаря вдогонку послал, и секретарь уговорил Бориса Леонидовича вернуться. А Пастернак сказал Поликарпову: «Я написал свою книгу «Доктор Живаго» во имя того, чтобы страшные времена арестов, казней и ссылок не могли вернуться! Чем вы мне гарантируете, что они не вернуться, эти времена? Я рад, что написал свою книгу!»

4 июня

Вчера вернулась из Владимира и Суздаля, куда возил меня Всеволод Иванов с Миколой Бажаном. Ездила еще Таня Дубинская, дочь Тамары Владимировны Ивановой. Об этом дальше, а сейчас запишу то, что мне рассказала сегодня утром Лиля Юрьевна:

«Моя двоюродная сестра Регина воспитывала детей Сталина еще при жизни Надежды Аллилуевой. Потом она дважды сидела в сумасшедшем доме. Регина, она была фребеличкой¹, а Надежда Аллилуева очень боялась за детей, что они вырастут избалованными. Их воспитывали строго. Регина как-то сказала маленькому Васе, ему было тогда лет шесть... он умер сейчас... «Вот если будешь себя хорошо вести, Лиля Юрьевна тебя покатает». И я покатила его и Регину на машине, которая в ту пору была у Володи (Маяковского). Регина никогда ни о чем не рассказывала про семью Сталина. Сталин сам убил Аллилуеву, я знала ее, она была красивая и хорошая женщина, очень его любила. Сталин перевел к себе из Цека стенографистку, такую блондинку, забыла ее фамилию, и Аллилуева очень ее ревновала. Дальше-то мне (то есть Лиле Юрьевне) рассказывала на днях Софья Семеновна Виноградская — ее посадили в 1947 году... Виноградская была очень близка в ту пору к окружению Сталина. Так вот, был вечер или именины у Ворошилова. Аллилуева покрасила ногти, сделала прическу и пошла со Сталиным. Там были гости — Енукидзе, Орджоникидзе и т. д. Ставили пластинки, а сталинской любимой пластинки не оказалось. Он сказал: «Надя, сбегай принеси». Она пошла, принесла. Еще какую-то

¹ Фребель — немецкий ученый, специалист по воспитанию маленьких детей.

ему захотелось послушать, он опять послал уже за грудой пластинок бедную Аллилуеву; а когда она пришла, он что-то грубо сказал ей про ее ногти и прическу. Она заплакала, вышла в переднюю, Ворошилов бросился ее утешать, но она ушла домой. Ворошилов вернулся в комнату и сказал: «Нехорошо, Иосиф, вот теперь Надя обиделась и ушла». Но Сталин только с досадой отмахнулся. Утром домработница, которая должна была будить в восемь часов его и Аллилуеву (они спали в отдельных комнатах), постучалась к Аллилуевой и, не услышав ответа, открыла дверь. На полу, вся в крови, лежала Надежда Аллилуева. Домработница страшно перепугалась, бросилась к коменданту, тот к Енукидзе, и все вместе они постучались к Сталину, но его не было. Они поехали к нему на дачу. Было уже десять часов утра. Он спал. Его разбудили и сказали, что с Надей несчастье. Приехали в Кремль, он при виде мертвой Аллилуевой сказал: «Зачем, зачем Надя пулю в себя пустила?!» Помолчал и сказал: «Жаль, так не хочется предавать ее кремации...» А в ту пору крематорий недавно выстроили. Но прежде чем сжечь мертвого, обычно делали вскрытие и т. д.

Енукидзе сказал на эти слова Сталина: «А мы Надю так похороним». И Аллилуеву так похоронили. Безо всякого следствия... Вот тогда-то, после сообщения в газетах о ее смерти «от гнойного аппендицита», Пастернак и написал письмо Сталину с выражением сочувствия и т. д. И письмо его было опубликовано в «Литературной газете». Сталин, конечно, никогда Пастернаку этого не забыл...

Во время травли Пастернака по поводу Нобелевской премии, в самый тяжкий момент, я, знавшая его с пятнадцати лет, — и было время, когда он ежедневно бывал у нас с Володей, он просто влюблен был в Маяковского, — написала ему записочку: «Дорогой Боря, целую, обнимаю Вас. Лиля». И передала ему через Тамару Владимировну. Он тут же позвонил мне и сказал, как счастлив, как рад от меня это услышать. А мы с ним давно уже не виделись и не разговаривали... Я с ним целовалась когда-то... Мы ставили самовар и страшно целовались... Но это один раз было... Ну вот. Некоторое время спустя, после записки моей к нему, он позвонил: «Лиля, можете вы одолжить мне денег? Я сижу без гроша. Отдам через год. Не говорите никому». Я спросила: «Сколько?» Он сказал: «Пять тысяч». Я послала ему деньги. Через месяц-полтора он позвонил и сказал: «Можно я завтра приду в девять часов утра, отдам деньги?» Я сказала: «В девять утра я еще сплю». И он прислал их днем. Он был человек тщеславный. Он жаждал славы. Да, Сталин звонил ему раз и спросил о Мандельштаме. Пастернак ответил: «Ну что мы будем говорить об отдельных личностях, о деталях, я хочу говорить с вами обо всем в целом!» Тогда Сталин сказал: «Вы плохой товарищ!» — и повесил трубку. Так рассказывали тогда. Но когда Пастернак умер и я узнала об этом — мы были с Васей (Катаняном) в Париже в это время, — я плакала, как давным-давно уже не плакала...»

30 июня

Переделкино

Я пела в Большой гостиной наверху — всласть! Спела тридцать вещей, пела для Васи́ка, для себя и Господа Бога, давая себе полную волю. Пела, как выразился Асмус, «предельно артистично». Compliments, восторги, которые совершенно ни к чему мне, ибо как хрупко, как мимолетно искусство петь! Если это не запечатлено, не записано на пленку... Отзвучало, и нет его...

Были с В. у Зинаиды Николаевны Пастернак насчет вопроса о ее пенсии. О, как надо, чтобы у нее была пенсия! Она сказала, что обращалась к Поликарпову в Цека, но тот отказал, конечно, этот-то сталинский прихвостень, погубивший Пастернака, отказал! Теперь З. Н. написала под диктовку Эренбурга письмо Хрущеву, Эренбург сам тут же его подписал; это письмо вручили Чуковскому, и Старый Лис обещал отнести письмо к Тихоновым, чтобы Николай подписал,— но не отнес! Я узнавала у Маруси, что Чуковский не являлся и никто от него не звонил.

Среди писателей «порядочными» назвать можно только считанных людей — так их мало... Полная беспринципность, вранье, ничего за душой, продажные. Но, конечно, это все никак не относится к Корнею Ивановичу, который, в сущности, порядочный и обаятельнейший человек.

О поездке во Владимир и Суздаль с Всеволодом Вячеславовичем и Николаем Платоновичем и бедной Таней Дубинской (Ивановой), у которой после смерти мужа в глазах застыла печаль,— как в Суздале сияло солнце и мы поехали в Кидекшу, а на другой день под проливным дождем шагали по широкому полю к белевшей вдаль церкви у разлившейся Нерли, и она, белая, дивная, стояла, как стояла много веков назад... И лился Мир и Тишина, как дождь, промоливший нас буквально насквозь... Это была чудесная поездка, после которой в память о ней Всеволод Вячеславович подарил мне прелестный лубок с песней о красавице Танюше. Нам всем вместе было дружно, весело, хорошо, мы окунулись в древнюю Русь, милосердную, глубоко миролюбивую, задумчивую и ласковую,— такой своей стороной она предстала нам.

Я от души благодарна Всеволоду Вячеславовичу за то, что он пригласил меня поехать,— что за обаятельный человек! В нем детское простодушие, он умен по-русски, а это особый ум!

6 июля

Александр Моисеевич Марьямов, славный умник, похожий на большого добродушного зверя (у него великолепная, красивая жена Елена Владимировна), сказал, что Чуковский отдал письмо о пенсии Зинаиде Николаевне Пастернак — Твардовскому, а тот будто бы лично отдаст Хрущеву.

Неужели из поэта Николай Семенович превратился в сухого чиновника?.. Эх, променять талант на чечевичную похлебку! Его ранние стихи я особенно ценю.

Зинаида Николаевна сказала: «Борис Леонидович, наверное, был бы еще жив, если б не Поликарпов». Да, это Поликарпов, чтоб на весь мир опозорить правительство Хрущева, устроил весь тогдашний гнусный скандал. Я его никогда не видела, но это говорили. И Сурков такой же, он всегда Пастернаку завидовал.

Приехал д'Астье, был у нас, мы повезли его к Всеволоду Вячеславовичу Иванову. Д'Астье на костылях, он зимой упал, сломал ногу и, не заметив, прошел еще полкилометра по снегу на лыжах.

Всеволод прелестный человек, он мне все милей, чем больше я его знаю. Разговор был чрезвычайно интересный: об искусстве, о русском характере, о писателях французских и русских, и закончился Сталиным. Вот что рассказал Всеволод Вячеславович Иванов, попросив д'Астье ни в коем случае не опубликовывать:

— Я много раз видел Сталина и даже гостил у него однажды дня три-четыре, в 1923 году это было. Он выглядел очень обыкновенным грузинским революционером: невысокий, в белой косоворотке, черных штанах, заправленных в сапоги. Меня вот что тогда поразило: я ему рассказывал об ужасах гражданской войны в Сибири, где я воевал в Красной Армии и даже пережил расстрел... Я ведь из рабочей семьи, был наборщиком в типографии... Так вот: я ему страшные вещи рассказываю, а он хохочет; весело хохотал, это меня тогда потрясло. Мы с ним пошли купаться в Москве-реке. Он глубоко не заходил, все у берега держался; не знаю, умел ли он плавать.

А потом как-то пригласили нас, четверых молодых писателей: Николая Никитина, что живет в Ленинграде, Пильняка, Бабеля и меня на дачу Льва Каменева. За столом сидели все члены правительства во главе со Сталиным,— я ему нравился в ту пору, я стал уже знаменитым писателем, он посадил меня рядом с собой. Я прочитал свой рассказ «Дитё»; он поставил рядом со мной бутылку коньяка, к концу рассказа полбутылки я выпил. Рассказ понравился; когда литературная часть кончилась, Сталин сказал: «Теперь будем музыку слушать»,— кроме нас были приглашены еще пианист и скрипач Шор и Бли...— не помню фамилии. Нам предложили слушать Лунную сонату Бетховена в саду. Музыка лилась к нам в сад из открытых окон, я стоял, прислонясь спиной к березе, вдруг я услышал, как тихо прошуршала подъехавшая машина, и почувствовал внезапную тяжесть в обоих карманах: Сталин положил в них по бутылке коньяку и шепнул мне на ухо: «Музыка хорошая, но было бы еще лучше, если б это был грузинский Бетховен...»

В 1934 году я видел его у Максима Горького, тогда последний раз с ним разговаривал и он был похож на себя прежнего, а вот позднее у него стало неподвижное лицо, как у монумента... И от него стало делаться страшно... Мой друг художник Кончаловский, который хотел писать портрет Сталина (но ведь Сталин никогда

никому не позировал, и Кончаловского просто посадили как-то в театре в ложу рядом с ложей Сталина, чтобы он того разглядел и, так сказать, запечатлел), — так Кончаловский мне потом сказал: «Не приходилось мне ТИГРОВ рисовать!» — и портрет Сталина писать не стал.

Д'Астье спросил: «А чем объяснить, что Михозлса, перед тем как убили, Сталин вызвал к себе в Кремль, чтобы тот ему читал из «Короля Лира»?» На это Кома, умнейший сын Всеволода Вячеславовича, ответил за отца:

— Думаю, что Сталин, безусловно, был садист; например, доктору Виноградову накануне ареста он послал цветы... Сталин любил играть с человеком, как кошка с мышкой, ему это доставляло наслаждение...

(Я вспомнила рассказ Галины Осиповны Серебряковой о том, как Сталин пил за здоровье ее мужа Сокольников за неделю до того, как Сокольников арестовали... Кто знает, может, он и на допросы ездил, и при расстрелах присутствовал — Богом, который волен и в жизни и в смерти человека, себя чувствовал.)

Всеволод Вячеславович и мой Василий Васильевич сказали, что, конечно, Сталин был-таки могучий государственный деятель. Мужчины странный народ, даже лучшие из них! Да к черту это, если из-за этой могучести гибнут миллионы людей!

Когда мы с Василием Васильевичем вернулись к себе в Дом творчества, Андрей Вознесенский читал стихи в гостиной, интересные стихи, но он не Пушкин, нет, увы, он не Пушкин... А потом похожий на рыжего павиана Ал. Кривицкий попросил меня спеть для Андрея и других. Я согласилась, Андрей так очаровательно просил! Пела хорошо, но немного, ибо устала.

Сейчас дивная теплая ночь, Василий тихо похрапывает; на окне бутылка с водой, в которой душистый розовый пион, красивый-красивый. Мир и тишина.

Всеволод подарил нам свою книгу «Похождение факира». Д'Астье спросил Всеволода: «Правда ли, что Сталин был очень образованным и культурным человеком?» — на что Всеволод ответил: «Он много читал, но помню, когда РАПП закрыли, он созвал всех крупнейших писателей и сказал в целом пять речей. Все пять показали нам, не только мне одному, чрезвычайно неинтересными, мелкими, провинциальными, — а ведь он говорил перед цветом нашей литературы! Мы в ту пору привыкли слушать выступления Луначарского, Каменева — вот те были воистину культурными, интересно было их слушать, а этого — нет! Мелко, тривиально было все, что он тогда сказал!»

7 июля

Личность Сталина окружена тайной, мы так мало, почти ничего не знали о нем при его жизни, многих свидетелей своей жизни он предавал казни, а теперь, за давностью лет, их осталось считанное

число. Кто сравнивает его с Александром Македонским, кто с Наполеоном, кто с Чингисханом, а кто с Калигулой, Павлом I и Гитлером! Я собираю все, что слышу о нем, да и то не всегда записываю, к сожалению, и ничего не рассказываю д'Астье, который пишет о нем книгу. Чудак! Француз! Нет уж, ему о Сталине не хочу рассказывать, ибо мне стыдно за нас...

Грузин-старичок Павел Евсеевич Ингороква, прочитавший древние знаки нот в грузинских песнопениях, рассказал мне сегодня под секретом в саду переделкинском:

— Сталин изничтожил огромное количество грузинских интеллигентов, но нас, целую группу, он спас. Это произошло во время войны; нас сочли националистами, и в Чека, или, вернее, в МВД, завели дело, вот-вот всех заберут. В ту пору секретарем в ЦК был у нас некий Чариашвили (я, возможно, не расслышала фамилию, а переспрашивать не хотела) — человек просвещенный и хороший, что было тогда редкостью; он решил разобраться в этом нашем «деле» и сам поехал к Сталину заступиться за нас, так как понял, что это дело наше за волосы притянуто. Он ждал, вернее, выжидал, когда Сталин будет в хорошем настроении, а тот вообще очень его уважал, и вот Чариашвили явился к нему, рассказал все, и Сталин приказал Берии нас не трогать....

Сталин был великий государственный деятель, но не грузин, нет, по характеру не грузин, а Берия — мерзавец и авантюрист. Отец Сталина южный осетин, сапожник.

Аркадий Белинков, арестованный в 1942 году, сидевший в страшном аду в Суханове, приговоренный к расстрелу, который заменили спецлагерем после того, как семьдесят два дня Аркадий просидел в смертной камере, — он затем пробыл в спецлагере тринадцать лет, — автор книги «Юрий Тынянов», рассказал мне сейчас такое:

«В прошлом году лежал я в Кремлевской больнице рядом с писателем Голубовым Сергеем Николаевичем. Он умер, но незадолго до смерти рассказал мне, что когда в 1946 (?) году вышла его книга «Багратион», то он зашел как-то в «Правду», там ему сказали, что ему звонили, фамилии не оставили, просили позвонить по такому-то номеру телефона. Голубов положил записку с номером телефона в карман и забыл о ней; через две недели опять зашел в «Правду», ему говорят, что сегодня опять звонили, оставили тот же номер телефона, просили позвонить. Голубов — дома у него телефона не было — часа через два позвонил из автомата, назвал себя, ему говорят: «А, Голубов! Сейчас». Он ждет, и вот голос с грузинским акцентом говорит в телефон: «С вами, товарищ Голубов, говорит Сталин. Я вашу книгу о Багратионе прочитал, понравилась она очень, но есть в ней шестнадцать неправильностей, я сейчас их перечислю», — и стал Голубову вычитывать, а у автомата уже очередь, стучат в стекло, торопят. На четвертом пункте Голубов дрожащим голосом говорит: «Иосиф Виссарионович, меня сейчас из кабины выгоняют!» Сталин спрашивает: «Почему, что такое?» Тот объясняет, что очередь его торопит у автомата. Сталин: «Почему

звоните из автомата?» Голубов: «А у меня ведь дома телефона нет», — и положил трубку. Домой пошел, мысленно прощаясь с женой Анастасией Владимировной, ноги у Голубова подкашивались... Не успел прийти домой, как звонок, он думает: «Ну все...» Открыл дверь, а там человек с телефонным аппаратом под мышкой. Установили телефон, а через полчаса звонок — Сталин ему остальные двенадцать пунктов выложил. Голубов получил Сталинскую премию за своего «Багратиона».

Илья Сельвинский написал стихотворение «Россия», в котором была строчка: «Грачей, разумных, как крестьян», возмущившая Калинина. Вызвали Сельвинского в Политбюро, председательствовал Маленков, стали Илью прорабатывать, с грязью смешали, и казалось, что все уже кончено с ним, как с поэтом, — вдруг вошел Сталин, остановился в дверях, сделал свой привычный жест с трубкой и спросил Сельвинского: «А вы ведь из Крыма, кажется?» Тот отвечает: «Да, из Крыма». Сталин помолчал, затем произнес загадочную фразу: «Вот море там хорошее, хорошее море», — и ушел. Все так и застыли. И дело с этим стихотворением тоже застыло, никто ничего не понял, но Сельвинского не тронули, очевидно, на всякий случай... О, Гоголь, где ты?!

Еще было с Папавой по поводу одного фильма, забыл название. Того тоже хотели было прикончить. Разговаривают Сталин с Берия, Сталин говорит: «А что, Лаврентий, ведь Папава из этой деревни?» Берия отвечает: «Нет, это из тех Папава, что из той деревни». Сталин поднялся, пошел прочь, вдруг остановился и говорит: «Нет, Папава из тех Папава, что из этой деревни», — с тем и ушел. Фильм на экран не выпустили, но Папаву ввели в состав президиума Кинокомитета, тоже на всякий случай...»

Аркадий Белинков очень умен, у него милая жена, но, к сожалению, у него большое сердце. Я его очень люблю и Наташу тоже.

16 июля

Я хочу быть «беспристрастным летописцем», поэтому записываю все — и за и против о таинственном человеке, которого знал весь мир, — о Сталине, которого я считаю **УБИЙЦЕЙ, ПОДЛЕЦОМ, ТРУСОМ**.

У Маруси Тихоновой до сих пор в спальне висит ее любимая фотография Сталина. Я ее спросила о нем, вот что она сказала:

«Он был маленького роста, совсем маленького... Человек огромного ума, кругозора и таланта. Он очень много из того, что делалось (Берия, конечно, был из шпионов! английских!), **НЕ ЗНАЛ**. Он любил Аллилуеву и был ей верен. Она умерла, наверно, от гнойного аппендицита, ей поздно сделали операцию в Кремлевке (больница). Он был страшно одинок, после ее смерти и Горького близких людей у него, у бедняги, не было...»

Светлану он любил, а ей подсовывали всяких развратников и пьяниц. Одного сына убили немцы, а второй, Василий, был неудач-

ный... Роза Каганович вообще не существовала. Сталин сделал из России сильную державу. У меня есть доказательства, что Берия был связан с Англией... У Сталина было энциклопедическое образование, но в искусстве он ничего не смыслил. Вокруг него сделали искусственный барьер, и его именем Берия творил, что хотел, ибо МГБ забирало постепенно такую силу, что с этим учреждением уже никто бороться не мог... А Сталин был великий человек».

Вера Васильевна Буданцева, жена сосланного в 1938 году и погибшего в лагере через год Сергея Буданцева, писателя, сказала мне: «Сергей состоял в Баку при Коломийцеве и очень многое знал о Баратове, который играл с большевиками и с Англией. Сергей знал и о многих других, игравших с англичанами, в том числе и о Сталине с Берия, за это его и уничтожили, конечно... А Надя Аллилуева, как тогда говорили, очень ссорилась со Сталиным, возразила ему, хорошая была женщина... И вот во время сильной ссоры Сталин ударил ее, да так сильно, что от того она и умерла... Мне это близкий ей человек рассказывал.

А писатель Фадеев застрелился, оставив письмо, запечатанное печатью, адресованное в ЦК. Никто не знает, что было в том письме... Он был всецело предан Сталину и верил в него! Он застрелился, ибо не мог вынести того, что узнал про Сталина, ведь он любил его искренно...»

Конгресс мира прошел и всех разочаровал. От Хрущева ждали слов, что Советский Союз прекращает испытания атомной бомбы, а он сказал трехчасовую речь... но вовсе не о том... Очень страшно думать об этих атомах. Мы вступили в новую эру, но не осознали этого, а наши правители и полководцы играют, как дети, смертоноснейшими бомбами...

7 августа

Лета мы так и не увидели, так и не согрелось: дожди, холод, всего несколько дней и было теплых за эти три месяца!

Василий Васильевич пишет свои мемуары, но вместо того чтобы писать о том, чего никто не знает, кроме него, и о тех годах, о которых не писали и которые забыты, он пишет о немецкой оккупации во Франции, а об этом сами французы десятки книг написали... Но пусть делает то, что ему интересно; конечно, я молчу, люблюсь на него, он бывает красив по-особенному, как орел, как старый лев,— глаза сверкнут, зорко поглядят ясные, синие глаза из-под косматых бровей, а вообще он похож на медведя и немного на черепаху... Недаром Саша Тышлер сказал, что Василий Васильевич удивительно пластичный и что уж если делать портрет, то он предпочел бы писать не меня, а Василия.

Мы бываем у Зинаиды Николаевны Пастернак, ей дали ссуду, но пока, увы, не пенсию... Зинаида Николаевна читает нам свои воспоминания, написанные лаконично, сухо, но они чрезвычайно интересны. «Лара» из «Доктора Живаго», очевидно, вовсе не Ольга

Всеволодовна Ивинская, а именно Зинаида Николаевна, но вернее всего, Борис Леонидович обобщил этих двух женщин в один образ Лары. Зинаида Николаевна, в прошлом очень красивая женщина итальянского типа (недаром дед ее был итальянец), сейчас грузная, пожилая дама с тяжелым лицом без следов прежней красоты, но улыбка удивительно красит ее. Она очень земная, по-хорошему, в доме удивительно красиво, уютно по-крупному и не по-«интимному». Она скупое смеется, но уж если рассмеется — то так искренне, с юмором. Мне она очень нравится и чем-то напоминает мою мать.

В ее воспоминаниях так живо встает образ Бориса Леонидовича — пленительный по его душевной красоте...

18 сентября

Лили, не переставая, дожди, холод, а сегодня вдруг наступило теплое солнечное бабье лето, и мы решили остаться до 1 октября.

Сергей Сергеевич Смирнов, тот, который писал про Брестскую крепость, милейший, упросил меня записать на его магнитофон мой репертуар. За два приема записала двадцать пять песен! Из них две моих собственных: «Такая река» (река Воркута) и еще, которую я вчера ночью написала:

Забытый богом барак,
Стертые женские лица...
И вдруг, прорезая мрак,
Песня взлетела птицей!
И вот тишина — тишина.
Каждый звук берегут, не роняют.
А она словно одна
На высокой горе рыдает.
Оттуда далеко видно...
О любимые, бедные люди!
За что вашу жизнь так жестоко сгубили
Неправые, злые судьи?!
Но слова совсем не о том:
Про любовь, про ласковый дом.
Голос угас. Спустился мрак.
Свой приговор вынес барак:
«Освободите нары!
Осторожней несите гитару!
Татьяна Ивановна, вы — в законе.
Вас никто никогда здесь не тронет».

Я пела, забыв обо всем, очень хорошо (слушали: Василий, Сергей Сергеевич, и Аленка, и Цецилия Михайловна Кривицкая в восторге). Смешно и грустно: никто меня не записал на пластинку, когда мне так изумительно аккомпанировали гитарным дуэтом

Диттель и Челноков и когда голос мой действительно, по выражению Александра Михайловича Давыдова, звучал, «как скрипка Страдивариуса»...

ПРО ЕНУКИДЗЕ

Авель Сафронович любил природу, был блестящий рассказчик, глубоко чувствовал стихи, но терпеть не мог Маяковского. У него в 1933 году было кровоизлияние в глаз, он ездил лечиться в Берлин; он был вспыльчив, но безгранично добр и скромн. Енукидзе написал брошюру «История революционного движения в Закавказье», где весьма объективно осветил роль партийных группировок и признавал, что основной силой движения были меньшевики. (В «Правде», второе полугодие, за 1934 год был целый подвал Мехлиса, который ругал Енукидзе за брошюру, потому что Енукидзе, мол, умалил роль Сталина и Кедровели. Статья появилась по заказу Берия.)

Авель любил женщин, но по робости не женился, был эстет до мозга костей, этот в прошлом железнодорожник-машинист,— он окончил среднее железнодорожное училище в Тбилиси, ездил с моим отцом Калистратом на одном паровозе. Обожал, боготворил Ленина; звезд с неба не хватал, но Ленин ценил в нем безграничную преданность партии и выдвигал его. Енукидзе был секретарем Президиума ЦИК СССР с начала его организации. В 1935 году его на пленуме ЦК исключили из партии, но милостиво назначили уполномоченным ЦИК по Управлению Северокавказскими курортами (Минеральные Воды): через месяц-два — управляющим транспортом в Харькове, где его и арестовали в конце 1937 года. Расстреляли одним постановлением от 24 декабря 1937 года Енукидзе, Карахана, Орехалашвили, Мятлева и троих еще — всего семь человек — якобы за контрреволюционную деятельность! Кедровели был большевик и погиб еще до революции, а насчет дневников Енукидзе, которые, я сама это знаю, были, — то где они, что с ними?.. Никто ничего не знает... Дневники исчезли...

9 декабря

Мы вернулись из Переделкина в конце октября. Время мчится стремительно и полновесно.

Сейчас ушла Н. Д. Ипполитова, много рассказывала про кровавые времена царства страшного Сталина. На допросах в НКВД следователи говорили всякое, только бы подследственный подписал, что, дескать, виноват, — если уговоры не действовали, то били их до полусмерти, и мужчин и женщин...

Молодой армянин, коммунист, красавец тридцати пяти лет Амагуни, которого уговаривали признать, что он шпион, отказался и два раза пытался повеситься. Чтобы он был не один, к нему в каме-

ру посадили Острогорского, который уцелел и недавно сам рассказал Надежде Давыдовне Ипполитовой все это.

Она продолжала: «Наконец Аматыни уговорили: «Так надо во имя партии, НАДО, чтобы вы признали, что вы шпион, вы должны солгать во имя высшего блага партии». Он сдался, наконец, и подписал. Тогда следователь набросился на него: «А, сукин сын, так ты шпион!» И Аматыни расстреляли... Возможно, таков был метод добиваться признания и от Бухарина, Пятакова, Зиновьева и других...

Повесть Солженицына великолепно написана, первое произведение — хоть немного! — о нас. Его «День Ивана Денисовича», как лакмусовая бумажка, — кому эта повесть не нравится, сразу ясно, что за человек!

Но я помню, как Лиля, когда я уже вернулась из ссылки, как-то раз сказала мне: «Если когда-нибудь вам предложат «там» работать — ни за что не соглашайтесь! НИ ЗА ЧТО!» Я удивленно ответила: «Ну конечно!..»

Но про Льва Никулина, что он стукач, — меня предупредила Лиля... И Лиля оплатила и устроила мне зубы после лагеря, дала денег и платье. Но мягкости и нежности в Лиле не было, я не видела этого в ней, даже когда восхищалась... чем я в ней восхищалась? Не будь у Лили ореола возлюбленной великого поэта, то что бы у нее осталось? Трезвый ум, подельчивость деньгами (в Лиле нет скупости), обаяние, гостеприимство (она любит принять гостей и умеет это сделать!), талантливость — пишет хорошо, скульптура — бюст Маяковского и бюст Осипа Максимовича сделаны отлично — и т. д. С моей точки зрения, все это ценные качества... Но что в ней, безусловно, было, крепко было и есть, — это преданность поэтическому таланту Маяковского и любовь к этому ПОЭТУ; преданность и любовь к ЧЕЛОВЕКУ Осипу Максимовичу.

Влюблялась Лиля часто — красивая, рыжая, наверно, сильно бушевали в ней «страсти-мордасти», из-за Пудовкина даже чуть не отравилась всерьез, очень любила Примакова, но хозяином ее сердца был Осип Максимович.

Кстати, с Алисой и Борисом Мейзель тоже познакомила меня Лиля... и спасла меня, Лиля. добрая!

Лиля... На концерте французов в ноябре я ее видела... С Переделкина, с лета, мы не виделись, но она звонит мне по телефону. По-моему, она несчастна. А может быть, это мне так кажется. Удивительна судьба этих двух сестер Каган: одна — муза великого русского поэта, другая — замечательного французского поэта. А как оба эти выдающиеся люди любили каждую из них! Арагон свою любовь к Эльзе сделал делом своей жизни. Он — прекрасный поэт. Он скверно поступил по отношению к Камю, распоряжается Французской компартией, считает себя вправе приказывать из Парижа редакции «Нового мира», ЧТО надо или не надо печатать... И вместе с тем делает огромное дело, конечно, для советской литературы,

вообще для СССР. И, конечно, он прекрасный поэт! Но я уверена, что он подражает Данте и Петрарке,— ему хочется быть, как они, и он воспеваает Эльзу... Арагон и Эльза счастливы друг с другом.

Андрей Вознесенский был у нас в тот вечер, когда приехавший из Ленинграда Михаил Александрович Минин пришел со своей гитарой и с Руфой. Миша Минин виртуозно играл на гитаре, я чуть-чуть попела, но зато так, что Андрей после моей «той» песни растрогался. Через день он пришел и подарил мне свою только что вышедшую книжечку стихов с милой надписью. Славный он!

А накануне, в Лужниках, был вечер поэзии, выступали двадцать восемь поэтов, в том числе и Андрей, который имел самый большой успех, зрителей было двенадцать тысяч!

Андрей умчался в Париж. Он влюблен в Таню Самойлову, ту, что «Летят журавли»... Он просил меня передать ей его стихи, но дозвониться к ней невозможно. Бедняжка. Бедные Таня Самойлова и Лика.

Какой ужас — нечистая совесть! Благодарю Господа Бога, что НЕ предавала, не стучала, не крала... и т. д. Слава Богу, нет!

Вчера, 12 декабря 1962 года, были у нас Саша Казембек с молодой женой по имени Сильва. Эк угораздило ее родителей! Она миленькая, пухленькая, славная. Саша, вернее, Александр Львович, совсем не похож на прежнего пятигорского красавца мальчика с дивными серыми глазами: теперь один глаз больной, Саша лысоват, толстоват, у него нервный тик, говорит быстро, отрывисто и словно все ему как-то не по себе... Но очень было мне приятно повидать его, так живо вспомнился Пятигорск и Юра, Юра... Саша создал во Франции партию младороссов.

А Ванечка, мой милый сын!.. Недели три тому назад я с ужасом увидела, что у него с волосами что-то неладно, что-то плохо! Что весь он побледневший, похудевший. Вызвали сразу же доктора Самсонова, который, осмотрев Ванюшу, велел немедленно лечь в больницу на исследование, сказал про постоянную интоксикацию от миндалин и пр. После этого Ваня исчез на неделю (он снял себе комнату у Павелецкого вокзала), а потом позвонил мне и сказал: «Я от бабушки потому ушел, что она выдумала меня лечить, прошу, имей в виду! Мне мое здоровье самому дорого, и я сам буду лечиться». Наконец Ваня появился. Голова его была усеяна крупными белыми голыми плешинами... Я с ужасом подумала о каких-то лучах радиоактивных, атомных, черт их знает каких... Умолила пойти к профессору Розентулу, которому потом сама позвонила. Профессор сказал, что это результат сильного нервного потрясения... Вылечить может только одно лекарство — амифурин, но его у нас очень мало выделывают. Ваня мне приказал не раздобывать этого лекарства: «Я сам!» Он веселый. Пусть он будет лысым, только пусть не лучи! Мне как пуля в сердце, когда на Ванином затылке я различила круглый белый пятак, который уже стал теперь втрое больше... Бедный мой мальчик! Только бы бабушка не узнала...

От Сякина — редактора из «Молодой гвардии» — было письмо, оно начиналось так: «Лед тронулся! Надеюсь, будет возможность напечатать Ваши стихи — книжечку» и т. д. Милый, спасибо ему, даже если это не сбудется...

От Нины Петровны ни слова, ни звука. Я уверена, что мои стихи к ней не дошли. Я их послала Н. П. Хрущевой.

О Хрущеве разные люди в разное время:

Шофер такси: «Видать, Никита Сергеевич хороший человек, старается, хлопочет, чтоб людям лучше жилось. Кабы эта «холодная война» кончилась; мы бы все легче вздохнули, дела с душой взялись бы делать. Но вообще жить с ним спокойно, он мужик основательный».

Дворничиха: «Мне что нравится: он нашу сестру, женщин, уважает. Сам в Америку поехал и жену повез, даже дочь прихватил. Понимает, что и нам интересно мир повидать, чтобы потом свое еще шибче любить и чего у них хорошего есть понабраться. Мне вот холодильник надо купить маленький, а они у нас все большие. И чтобы шкаф в стене, а то шкафы-то наши много места занимают. Никита Сергеевич — человек уважительный!»

Студент: «Мне нравится, что он всюду попевает, энергия — как у молодого. Ведь это надо! И дела просмотреть, и речь сказать, и принять кого надо, и съездить куда-то!»

Кондукторша троллейбуса: «При Никите люди обходительнее стали, скандалов меньше. Раньше чуть сдачу на копейку обсчитаешь — шум, ор, чуть ли не сразу милиционера требуют, а теперь вежливо так: «Простите, вы ошиблись...» Даже приятно».

Пожилая женщина в метро (медсестра из Боткинской больницы): «Он, Никита Сергеевич-то, умеет с народом разговаривать — с простым людом и с иностранными державами, вроде как мы. Нам ведь всякий пациент попадается, надо подход иметь. Он народа не боится, сам его ищет, не так, как другие — запирались за стенами, видно, совесть заедала».

Старик академик: «Мне нравится его образный язык, народное чувство юмора. Он практик с умом государственного масштаба».

Колхозник: «Никита — русская душа! Человек степенный, нет в нем зазнайства этого. Нам все понятно, когда он с нами говорит, и понятно, что он делает. Только с кукурузой надоед и со скотом маху дал... Но гордость в нем за Родину и за дела наши мы в нем сердцем чуем...»

Рабочий: «Нет, при Сталине каждый год цены снижали, а теперь что?! И много лишнего он болтает... Только что сажать, конечно, меньше стали, это что говорить!»

Милиционер (молод, но ужасно хочет казаться пожилым, строго): «При Никите Сергеевиче понял народ, что пьянство — наш враг! Теперь постепенно начинают осуждать, когда кто пьяный валяется, а ведь раньше пьяный как бы на потеху, все лишь хохочут! Тоже хулиганство снизилось, не очень-то разгуляешься, когда физиономию твою сфотографируют и всем на вид в витрине выставят».

Стыдиться начали. А он, Никита Сергеевич, пример показывает, главное, на виду живет, не прячется — потому и знаем, что он в своей жизни человек аккуратный, правильный».

Молодой геолог: «Я один раз в Крыму гуляю как-то, вдруг говорят: «Хрущев!» Смотрю, действительно он, ну как на фотографии! Толпа его окружила, разговаривают, он как захохочет! Мне смех его понравился, замечательно смеется!»

14 декабря

Рассказывает Анатолий Борисович Бережанский

«18 октября 1936 года на Воркуте мы, заключенные, более трехсот человек, объявили голодовку, которую кончили сто двенадцать человек в феврале 1937 года. Часть людей постепенно отходила, я сам выдержал только 67 дней. Всех нас с рудника отправили в Сыр-Ягу. С нами голодал и сын Троцкого — Сергей, но его отправили в Красноярск, там он работал теплотехником на заводе, его обвинили в умышленном отравлении газом рабочих и расстреляли. Он ни в чем не был виноват...

Кашкетин (кажется, это его не настоящая фамилия, а псевдоним) начал работать еще комсомольцем в Чека в Харькове и стал близким человеком к Ежову. А тот работал простым канцеляристом в отделе ЦК партии. Когда Ежов стал наркомом НКВД, Кашкетина назначили особоуполномоченным от Ежова на Воркуте и Ухте. Это были такие особоуполномоченные по выявлению в лагерях троцкистов, так как считалось, что Ягода упрятал туда троцкистов с пятилетними сроками. Вот и надо было их выявлять и уничтожать. Например, по Колыме был особоуполномоченным некто Гаранин и т. д. Кашкетину все и вся подчинялись, он был начальником над всеми начальниками и приехал со своими людьми. Вызвали человека на допрос. Кашкетин говорил своим: «А ну, подлечите его!» — и человека забивали до смерти... На одной Воркуте при Кашкетине расстреляли около тысячи (точно — 967 человек!). Последний расстрел был массовым, вывели в тундру — и из пулеметов... Потом, говорят, и самого Кашкетина расстреляли, только кто это видел?!

Нас всего сто или больше сидели в палатке, валялись «на полу» — просто на мерзлой земле, шлаком посыпанной, в ужасном состоянии, люди умирали кругом, с нами были и блатные. Ждем расстрела, так как числились «за Кашкетиным»... И вдруг является к нам комиссия: начальник третьей части Никитин, прокурор (забыл фамилию), врач Горелик и некий Чучелов. «Почему не работаете?!» Мы хором: «Числимся за Кашкетиным». — «Какой там Кашкетин? Этого бандита расстреляли. Давайте на работу!» Люди еле вставали, кто мог, Горелик их осматривал и говорил: «В шахту!»

Около года просидели мы в той палатке, откуда вызывали только на расстрел... Кашкетин составлял список на расстрел и ездил ут-

верждать списки в Москву, Сталин своей рукой писал на этих списках: «Согласен».

Секретарь Чичерина — Пергамент, когда еще его везли на этап, ухитрился с еще тремя людьми послать жалобу Сталину, и Сталин написал на этой жалобе: «Привлечь жалобщиков к ответственности».

Кашкетин сказал Пергаменту: «Тебя я не буду расстреливать — после суда все равно расстреляют» — и потом предложил ему ампулу с ядом. А Пергамент сказал: «Нет, я вам помогать не стану!» Отказался. Били его... Но он выжил. И сейчас Пергамент жив, в Москве, только очень больной старик... Я его видел, он мне это сам рассказал.

На Воркуте в 1937—1938 годах по утрам в бараках вывешивали списки за подписью начальника Воркутлага Тарханова. Текст гласил, что в ночь с такого-то на такое-то число расстреляны за контрреволюцию и бандитизм такие-то... ЧАСТО...

Начальник Ухто-Печерских лагерей был Яков Мороз, бывший начальник НКВД в Баку. Он как-то поспорил с одним старым большевиком-рабочим и расстрелял его просто так, ни за что. Родные того рабочего дали знать Серго Орджоникидзе. Мороза судили, приговорили к расстрелу, но заменили десятью годами, а потом приказали организовать Ухто-Печерские лагеря, за что дали ему орден Ленина, а в конце 1938 года расстреляли «за произвол».

Когда умирал человек в больнице, то его закапывали, но на ногу привязывали бирку: фамилия, статья, срок. А расстрелянных — просто так...

У «паханов» (старшие блатные) были свои «малыши». Загнали как-то «малыши»-работяги блатных в барак за то, что те собирали «калым» с посылок, вернее, все себе забирали. Барак облили керосином и подожгли. Охрана испугалась, молчит. Блатные выбили окна и кричат охране: «Что же вы смотрите, как фашисты губят советскую молодежь?!»

Блатной кричит:

— Начальник, муха бодается!

— А ты ее отгони!

— Я ее гоню, а она все лезет, забодала совсем!

— Что за безобразия! Окурок в баланде (суп).

— А ты что хочешь, чтобы тебе туда пачку папирос положили?!

Сидим в тюрьме в Воркуте. Приходит начальник тюрьмы с пятилетним ребенком на руках и показывает в глазок: «Смотри, вот фашисты сидят!»

Фамилии: Борщ, Кныш, Скрипка, Нос, Подтирайко и т. д.

...На расстрел шли и «крестики» — евангелисты, баптисты, их приговаривали за отказ от работы. На суде они ни на один вопрос не отвечали. В камере со всеми заключенными разговаривали, смерти не боялись. Защитник им, бывало, предлагал подать кассацию — они ни за что. На рассвете стучат: «Выходите!» Он попросается со всеми, на колени станет, помолится и спокойно идет. А блатные орали, дрались, когда их на расстрел вели... Один блатной Квитков все, бывало, орет: «Я смертник! Давайте мне сахар, масло, макароны!» Его хорошо кормили. Пел песни, перестукивался, никого не боялся и почему зря ругал Советскую власть. Пришли брать его на расстрел: «Квитков, тебя в УРЧ вызывают, на освобождение!» Он не выходит, дерется, несколько человек набросились, связали, увезли...

Мы сидели четверо в Воркутинской тюрьме (это уже позже), статью нам вклеили 58-8 — террор! Мы знаем: на расстрел ведут в тундру, там за холмом... Часа в два ночи приходят два вохровца (военная охрана), вызывают всех четверых: «Без вещей!» Ясно, что нас ведут расстреливать... Идем по направлению к тундре, мимо домов. Вдруг велют заходить в дом — это третий, или особый, отдел МВД, темно... В коридоре приказ: «Сидите ждите!» Ждем часа два-три, бегают мимо охранники с револьверами, занялся рассвет. «Идемте!» Мы встали. Конец... «Берите тряпки. Будете полы мыть!» Ну, мы обрадовались!..

Побеги всякие бывали, но очень редко...

1

Небольшой лагерь неподалеку от Усть-Усы. В пекарне работал некий Раппопорт, молодой человек, и с ним пожилой один, боевой такой, бывший военный. Я знал отца этого Раппопорта, который сидел в другом лагере. Так вот, у этих двух в пекарне всегда был лишний хлеб, и когда ненцы на своих нартах приезжали, они давали им этот хлеб. Через одного ненца-оленевода они устроили «зачачки» с хлебом и продуктами в тундре до самого Нарьян-Мара, куда приходили за лесом иностранные корабли. Раппопорт с товарищем, когда ненцы появились у лагеря, ухитрились как-то, выскочили и на нарты... Домчали их олени до первой «зачачки», а там их ждал тот оленевод со свежей четверкой оленей, а на следующей «зачачке» еще и другой ненец их уже поджидал... Они добрались до Нарьян-Мара, а там и на английский корабль. Не поймали их. А ненцы ушли в тундру, как дым испарились!..

Бывший офицер МВД, заключенный с малым сроком, был секретарем начальника лагеря. Он сделал себе нужные документы и с пропуском поехал в Усть-Цильму, оттуда улетел на самолете. Прислал телеграмму: «Ищите ветра в поле!» Никогда его не нашли, а телеграфистку ту чуть не посадили, но она сказала: «Такой прилично одетый, я думала, шутка к именинам!»

А вот еще случай я помню: в 1951 году в Речлаг, что был на восьмой шахте, прошел через вахту майор с портфелем, остановить его не посмели. Через час, когда развод на вахте сменился, майор прошел обратно под руку с прекрасно одетой дамой, своей женой по документам, — и они прямо к самолету — майор этот летчиком был. Ее долго потом найти не могли, но потом все-таки нашли... Добавили к десяти годам еще два года, но хотя все знали, что увез ее муж-летчик, однако она молчала, как немая, и его не смогли судить... (Это Зина Поваляева, которую я знала в лагере на Сивой Маске.)

Я ведал механическими мастерскими на восьмой шахте. Нарядчик приводит бывшего летчика. Я спрашиваю: «Кто? Что?» И вот что он мне рассказал (эх, фамилию его не вспомню!).

Он преподавал в одной из московских летных школ. Жена у него была молоденькая, замечательно красивая. Русская. И он сам русский. Пошел он как-то с ней в Большой театр, во второй ряд партера. В антракте к ней подошел офицер МГБ и попросил пройти за кулисы. Летчик разволновался, но она вскоре пришла смущенная и сказала, что завтра вечером ее вызывает не на Лубянку, а в какой-то особняк сам Берия. Что-то надо на машинке напечатать. Наутро, придя на работу, летчик получил приказ о назначении в Тифлис. Нужно было немедленно выехать. Он уехал, чувствуя что-то неладное, но приказ есть приказ. А от жены нет и нет писем. Он бросил работу, вернулся в Москву, а жены-то дома нет! Мать ему сказала, что жена с того вечера больше домой и не приходила! Летчик кинулся к своему начальнику и рассказал тому о бериевском особняке. И вдруг ему новое назначение: лететь на иранскую границу, и как только он туда прилетел, его арестовали и прямым путем доставили на Воркуту. Срок дали ему двадцать пять лет за «попытку бежать за границу». Вскоре меня (то есть А. Б. Бережанского) перевели с восьмой шахты; что с этим летчиком дальше было, не знаю. Интересное лицо. Лет ему было тридцать пять — тридцать семь...»

Это рассказал Анатолий Борисович Бережанский. А я вспомнила, как весной 1950 года Лола была еще жива и мы с ней вместе шли в паре; мы возвращались на обеденный перерыв из театра в зону. Прошли через вахту, стоит у нашей дорожки человек и кричит: «Берия — сволочь! Он с моей женой захотел жить, а мне за это

двадцать пять лет сроку дал. Я летчик! Я на фронте дрался! Сволочь Берия!» Он кричал во весь голос — нам, нам! А мы шли, не поднимая глаз, окаменевшие от ужаса, что т а к о е слышим. И когда пришли в барак, то и там между собой боялись говорить. Человека того мы больше никогда не видели... Конечно, это был тот самый летчик... Жив ли он?! Не расстреляли ли его в том же году? Несчастный!.. И она!..

Рассказывает Ирина Калистратовна Гогуа

«Везли нас в Кочмас — страшный совхоз за шестьдесят километров от Воркуты — по реке Печоре на шнягах (плоскодонки). Река — темная, туман стоял, рядом со мной Сара Кравец. Она пела: «Купите гвоздики... или фиалки...» Стелился по реке голос, а конвойный приговаривал: «И все вы контрреволюция! И ты тоже контрреволюция! Не может быть!.. Не может быть!..»

А когда нас вывели на берег, он заорал: «Шире шаг!» А потом шепчет нам: «Голубушка, да подтянись!»...

В Кочмасае я пробыла два месяца, потом нас, четырех человек, вызвали на этап к Кашкетину, на Ухту... Остальные нам ничего не говорили, только подсовывали кто яблоко, кто кусок хлеба, все понимали, что нас увозят на смерть...

С 28 октября 1938 года по февраль 1939-го мы сидели в центральной тюрьме в Ухте. Я, да Мария Михайловна Иоффе, да Муся Яцек, да Муся Магид — и всего нас семь человек. Прямо на полу; отобрали все, вплоть до гребенок; мы, несчастные, немые, так там и валялись. На допросе при Кашкетине (он был довольно молодой, худой, с острыми рыжими глазами на тонком интеллигентном лице, глаза прятались под круглыми очками, но иногда он снимал очки и по-совинскому зловеще глядел на нас — Кашкетин умел быть изысканно-вежливым, чуть ли не нежным, и вдруг ругался неприлично, грязно, яростно, как самый грубый извозчик) — так вот, при нем состоял на допросах некий Макс Заправа, колоссального роста, с маленькой головкой, низким лбом, с рожей Малюты Скуратова, страшный человек — он забивал до смерти... Не могу... Тяжело вспоминать... Ведь меня на допросы к Кашкетину водили, при нем за Ухтой была тюрьма «Ухтырка», в ней всех, кто сидел, расстреляли, а эту «Ухтырку» потом с землей сровняли, словно ее и не было... А на Воркуте, на Втором кирпичном, была такая тюрьма... там девятьсот шестьдесят семь человек расстреляли... И вот давно нас на допрос не вызывали. По ночам слышно было, как подъезжала машина, в соседних камерах звенели засовы, кого-то выводили, машина отъезжала, потом глухо где-то раздавалась пулеметная очередь... Мы понимали. И ждали конца... И вдруг ночью пришли за Марией Михайловной Иоффе... Увели. Потом вдруг за Мусей Яцек! И через час еще за Мусей Магид... И вдруг днем голоса, а перед этим несколько дней в тюрьме стояла непривычная грозная тишина, слышим голоса... вдруг дверь камеры

распахнулась, и вошли какие-то военные, рослые дяди, здоровые, великолепные, и остолбенели при виде нас, страшных женщин, давно не чесанных, не мытых...

— Почему на полу валяются? — заорал один. И тут я не выдержала, откуда силы взялись! Все, что на душе накопилось, я высказала, терять было нечего, хотелось только, чтобы поскорей все кончилось, пусть хоть сейчас меня пристрелит!

— А потому, что мы в социалистическом государстве! — крикнула я и пошла, и пошла... По-моему, я никогда в жизни так не говорила. Они слушали и молчали.

— Немедленно кровати внести! В баню! Накормить!

И нас помыли, накормили, и спали мы уже потом на кроватях...

Кашкетина тогда расстреляли, а Марию Михайловну Иоффе и Мусю Яцек и Мусю Магид, оказывается, повезли в Москву и допрашивали их... о Кашкетине! Потом они были в лагерях на Воркуте. Марию Михайловну Иоффе я видела недавно, она в Москве...

Валя Фрейберг — молоденькая латышка из города Шемаха, и потому мы звали ее шемаханская царевна. Она была маленькая, невзрачная, но писала хорошие стихи... Ей было пятнадцать лет, когда она, комсомолка, написала Сталину письмо:

«Вы отклонились от ленинских заветов. Вы не смеете быть генсексом. Если Вы не изменитесь, Вас все равно уберут. А могут даже и убить».

Валю допрашивал сам Берия, допытываясь, кто ей все это внушил, она упорно говорила: «Я сама». Ей дали срок три года, но спецлага — за «террористические настроения».

Потом, когда была — сразу после войны — амнистия, хитрая амнистия, ибо освобождали по 58-й тех, у кого срок был менее пяти лет, а за весь мой срок на сотни тысяч человек — я ведь всего семнадцать лет просидела — я только одну малосрочницу по 58-й и знала, эту самую Валю Фрейберг; ее освободили, и она, кажется, уехала в Латвию».

*Про Иду Самойловну, вторую — вернее, третью, —
жену Виктора Михайловича Чернова
(рассказ Василия Васильевича)*

«В Париже жил эстонский скрипач Сермус с женой-эстонкой Идой Самойловной, скуластой блондинкой, некрасивой барыней, но с великолепной фигурой и весьма элегантною. Супруги были большевиками и бывали в кругах Луначарского. Летом 1917 года я с Ниной (первая жена Васи́ка), с моей теткой Ольгой Елисеевной (жена В. М. Чернова), тремя ее девочками ехали через Париж и Лондон в Россию. Чернов был уже министром Временного правительства в Петрограде. Ольга Елисеевна по глупости и доброте пригласила

эту «Идку», как ее прозвали девочки, и в Париже они вместе бегали по магазинам.

Вместе с нами Ида отправилась в Лондон, где в это время был ее муж Сервус. В Лондоне мы прожили месяц в ожидании своей очереди на пароход, ведь вся русская революционная эмиграция возвращалась, наконец, на Родину... Часто виделись с Чичериным и Литвиновым. Ида однажды в слезах вернулась от мужа к нам: Сервус сошелся с рыжей красоткой ирландкой, и Идка решила плыть с нами в Петроград.

Мы ехали через Швецию, Норвегию, Финляндию. Ольга Елисеевна ее содержала. Эстонка поселилась на одной квартире с Черновыми. Виктор Михайлович, как министр, жил во дворце великого князя Дмитрия Павловича, на Галерной улице. Во дворце было комнат тридцать. Этот особняк реквизировали эсеры, там помещалась и редакция газеты «Дело народа». Мы с Ниной ночевали там ночи две-три, у нас было две спальни со смежной ванной комнатой. У Виктора Михайловича был автомобиль, шофер, он предавался радостям жизни... Не любил я его... Ольга Елисеевна с девочками поехала на несколько дней к старой няне, по фамилии Никифорова, в Тверскую губернию. Няня жила с ними еще в Италии. За эти несколько дней Виктор снюхался с Идой, причем соединила их именно эта ванная комната. То ли он в ней застал голую Иду... Словом, в то время как стране нужна была твердая рука, светлая голова именно эсера, так как наша партия в это время была несравненно популярнее большевистской, и от Чернова ждали ума и решений,— Виктор Михайлович разнежился, забарствовал, у него голова закружилась, а тут еще и Идка. Программа эсеров была хорошая, умная, из нее потом большевики многое взяли! — но лидера не оказалось: Чернов не был государственным деятелем — он был таким министром, каких описывал Мопассан. Чувственность всегда была в нем сильна... Экзамена он не выдержал. Первая его жена, Анастасия Николаевна Слётова, была прекрасным человеком. Брат ее был моим близким другом.

Чернов был довольно полнотелым, блондин, чуть-чуть косил, его даже иногда называли «косоглазым» — и в его характере это тоже было... «Косил» или хитрил, но государственного, широкого, глубокого ума в нем не было.

(К сожалению, я записала со слов Васи далеко не все.)

18 декабря

В Большом зале Консерватории сегодня вечером впервые исполнялась Тринадцатая симфония Шостаковича на слова Евтушенко:

1. «Бабий Яр».
2. «Юмор».
3. «В магазине» (Женщины России).

Мы с Вас. Вас., конечно, были. Я поздравляла всех, как с праздником. Эта симфония — событие. Гениальная музыка. Одно только:

надо бы после «Бабьего Яра» поставить «В магазине» («Женщины России»), а за этим уже «Юмор» и дальше. Дмитрий Дм. и Женя Евтушенко стояли на сцене бледные, а к их ногам лавиной низвергались аплодисменты. Достать билеты на этот концерт было трудно, люди стояли у консерватории — старые и молодые, — всякие! — и молили: «Нет ли лишнего билетика?» В первом отделении играли симфонию «Юпитер» Моцарта, но я не захотела ее слушать, ибо слушала в прошлом году в исполнении Венского оркестра под управлением Караяна, что было великолепно. Мне хотелось только 13-ю симфонию Шостаковича. Он поднял на огромную высоту слова Евтушенко. Солисту (не помню его фамилии), конечно, петь это было не по плечу, но оркестр и хор звучали превосходно. Несмотря на то что симфония идет без перерыва, после величественного «Бабьего Яра» невольно грянули аплодисменты. И отхлынули, как волна, когда Кондрашин поднял палочку и заиграл «Юмор» — русскую, скоморошью пляску, «частушки». Прелестная, лиричная, за сердце берущая «В магазине» — неудачное название, лучше бы так и назвать — «Женщины России». «Страхи» — замечательно по силе и мастерству композиции. И чудная, простая, светлая, поэтичная «Карьера»:

...Я делаю себе карьеру
Тем, что не делаю ее...

И после слов — отголосок в музыке, простой и дивной, как пенье птиц, полевые цветы. Чистая душа поэта. Я полюбила милого Евтуше! И горячо и благодарно люблю гениального Шостаковича. 13-я симфония написана в классических традициях и доступна пониманию каждого.

И это после вчерашнего разгрома художников, бедных, робких наших абстракционистов. За что их? Стоит ли? Чем они могут быть опасны нашему советскому строю? Мне это непонятно. Зато понятно, что те бездарные подхалимы-художники, которые пробивались тем, что на все лады изо всех своих маленьких сил малевали портреты Усатого Людоеда, обрушились теперь на них, чуя в них талант и страшась за собственные бифштексы. Я пока что не видела ни одного настоящего абстракциониста, но под эту рубрику занесли и Фалька — беднягу! И милого Штернберга, и талантливых молодых Андропова, и уже не помню фамилии, но именно тех из молодых художников, у которых свой почерк, свое, пусть и робкое, слово в искусстве. Но, по рассказам, вчерашняя встреча у Никиты Сергеевича ознаменовалась, главным образом, вовсе не разносом абстракционистов, а словесной дракой между Ильей Григорьевичем Эренбургом и Галиной Осиповной Серебряковой (да, да, той самой, которая так хотела выдать свою хорошенькую Таню за моего Ванюшу и, слава Богу, начисто загубила начавшуюся приязнь этих юнцов тем, что многозначительно сказала мне: «Татьяна Ивановна, у меня очень много денег»... В тот же миг все было кончено. Я сразу же рассказала об этом Ване, после чего он Таню больше не

захотел видеть). Говорят, она сказала, что он-де был «любимцем Сталина»... На что Эренбург ответил, что, если б это было так, его давно бы не было в живых, так как Сталин посадил, расстрелял, сгубил почти всех своих близких друзей.

Из художников ругали за всех одного Эрнста Неизвестного, своеобразно и, бесспорно, одаренного скульптора. Шелепин из гособезопасности будто бы спросил: «А где вы бронзу брали?!» Намек на то, что Эрнст где-то ее незаконно тяпнул. Завтра Эрнст, может быть, сам к нам придет за своей шапкой, ибо грянули морозы, а шапка-ушанка его еще с весны у меня валяется. Тогда он расскажет подробнее. В книге отзывов на выставке я, подписавшись полной своей фамилией Лещенко-Сухомлина, написала с неделю тому назад — уже после того, как Серов или Иогансон в «Правде» выругали Фалька и Штернберга, — о своем восхищении их творчеством:

«Прелестные по цвету, великолепные по мастерству полотна Р. Фалька. Сильные, своеобразные скульптуры Эрнста Неизвестного. Великолепные старые мастера: Коненков, Штернберг, Тышлер, Лобас. Радует талантливая молодежь: Шаховской (скульптура), Коровин Ю. Л. (живопись), Сельвинская (декорации к пьесе К. Симонова «Четвертый»), Горшина (живопись), Биргер, Вейсберг... Безупречный по вкусу и обаянию отдел декоративного искусства... Дайте художникам возможность сказать свое слово, и мы сможем гордиться нашим советским искусством. Берегите художников!»

Говорят, В. Серов водил Никиту Сергеевича под локоток и нашептывал ему всякие гнусности про неугодных ему — Серову — художников. Выскивал «крамолу». Но хуже всего по гнусности было письмо Кацмана в «Правде» — это просто донос! Художники всегда ели друг друга, как пауки в банке... А вот молодых поэтов, писателей не слопать, ибо они держатся дружно вместе. И Женя Евтушенко сказал вчера у Никиты Сергеевича, что на Кубе и художники-абстракционисты умирают за революцию в числе прочих.

Интересное время! И до какой степени я дочь «своего века»!

После симфонии ко мне подошел Сидрер:

— Меня перед вами оклеветали те, кто на вас доносил, желая спрятаться за моей спиной! Я этого не делал! Я хочу объясниться с вами, выслушайте!

— Я вас поняла, понимаете?! — ответила я. — Мне с вами не о чем говорить! Я вам запрещаю со мной здороваться! Не подходите ко мне!

Я знаю, ему страшно хочется узнать, кто мне сказал о нем, что он доносчик. А он мне сам сказал недели за две до моего ареста, что с пятнадцати лет работал в Чека! А потом уже в лагере, когда я все вспоминала, и все, что казалось непонятным и зыбким, становилось на место, прояснялось, я поняла его роль. Его наостренные уши и молчаливость, когда у меня бывали гости, даже новые его и пальто и кепку, сшитые по образцу штатской формы энкаведистов или уже эмгбистов, как их называли; даже роаяль, который ему

привезли в Новосибирске от НКВД будто бы за песню! И как за месяц до моего ареста он стал появляться у меня без звонка, без спроса и утром и вечером. И как обо всем и обо всех расспрашивал, а как-то раз сказал мне вдруг, странно на меня глядя: «Вы хоть и умная, а вы ведь очень глупая, Татьяна Ивановна!»

Да, я и была глупая. Мне он казался таким Чарли Чаплином в жизни, одиноким, неудачником — маленький, некрасивый, жалкий... Только и тогда он изредка удивлял меня... наглостью! Какая-то неожиданная была в нем наглость! Вот почему он и сегодня подошел ко мне, когда я не ответила на его поклон.

Маяковского после его смерти стали снова издавать по приказу Сталина.

Лиля мне сама рассказывала, как написала Сталину о том, что поэт революции Маяковский забыт, не печатается уже четыре года! А Примаков?! Я помню, как мы с ней ездили на кладбище к урне Осипа Максимовича и как она рассказывала мне об одной женщине... о себе она рассказывала, да, да, чуёт мое сердце... О себе и Примакове она рассказывала...

Оля и Вадим Андреевы на рассвете улетят обратно в Женеву. Она пишет воспоминания о жизни на острове Олероне во время немецкой оккупации. Есть в ней что-то мелочное и «недоброватое». И она не любит, ох как не любит красивых женщин! Например, отзыв о Белле Ахмадулиной: «Да, прелесть! Она читает стихи, словно отдается! Но у нее мелкие черты лица...»

Правда, эти «мелкие черты лица» стали уже нарицательными в семье Андреевых, но за тонкой иронической Олиной усмешкой угадываются острые зубки... Как все заграничные дамы, она очень скупа. С удовольствием готова поверить во все отрицательное в нашей жизни, в ней есть брезгливость и непростота. Но мила, изящна! У Вадима — большое желтое лицо, нервический нрав, но он искренно тоскует о России, о русском, ему хочется умереть на Родине... Ох как плохо он выглядит. Думаю, что он очень болен... Однако приятно было повидаться с ними. У Оли семейное прозвище Кошка, и оно удивительно ее характеризует, хотя и нет в ней кошачьей томной мягкости. Но она несравненно привлекательней своей дочери — Ольги Карлайл. Оля-малютка, как я ее прозвала, типичная американка, сексуально озабоченная, вплоть до жестов и интонаций. Но сейчас она живет с мужем-американцем (из хорошей семьи и, по-видимому, весьма состоятельным) во Франции в полное свое удовольствие, и действительно ей можно позавидовать: катается по белу свету! Андрюша Вознесенский сказал, что у нее есть любовник — Клод Бурде. Ну, что ж, он весьма умен и мил, главный редактор «Обсерватёр» в Париже.

22 декабря 1962 года

Мерзкая речь Ильичева, напечатанная сегодня в «Правде». Удар по искусству, в зубы — всему, что есть у нас талантливого, моло-

дого. Этот сталинский прихвостень приказал им не быть, прикрываясь трескучими, насквозь лживыми фразами о том, что к коммунизму-де надо идти в сопровождении Кочетовых, Кацманов и прочих погромщиков.

Оказывается, 19 человек самых больших из наших мастеров искусства уже протестовали, да еще 7 депутатов. В их числе Тихонов и Эренбург, но их письма даже и не зачитали на приеме у Хрущева...

Спустилось черное душное облако. Мы с Василием чуть ли не заболели от печали. Страшно... Очень грустно. Однако думаю, что как юного Маяковского не смогли слопать те, кто в старое время поносил его (а Пушкина?! а Глинку?!), так и Андрея Вознесенского и Евтушенко слопать не удастся! Пишу о них, но в их лице обо всем, что являет собой настоящее искусство.

После того как Василий в среду передал в «Либерасьон» статью о симфонии Шостаковича — она начиналась так: «После литературного события прошлого месяца (подразумеваемая повесть Солженицына) — огромное музыкальное событие — 13-я симфония Шостаковича на слова Евтушенко...», к нам был странный телефонный звонок. Женский голос сказал: «Звонит бухгалтерия газеты «Правда». Какой газете вы сейчас звонили?» Я ответила: «Газете «Либерасьон» во Францию».

Статья в «Либер.» еще не напечатана, и думаю, ее вообще не напечатают. Но... напечатали! Вот. Наш телефон как-то странно щелкает: тук-тук-тук — я сегодня обратила внимание на это. В «Правде» день за днем ругают абстракционистов. Все, что я видела из абстракционистской живописи у нас, — это не талантливо. Но под «абстракционистами», оказывается, подразумевают и таких реалистов, как Фальк, Штернберг, Эрнст Неизвестный, Тышлер, Павел Кузнецов, Удальцова и... Шостакович? Андрей Вознесенский?..

Теплая шапка Эрнста до сих пор у меня. Я ему вчера позвонила, тревожась за него. Ответил бодрым голосом. Пока не сажают...

4 января 1963 года

Статью Василия в «Либер.» о 13-й симфонии напечатали, однако всю ее перекорезили, включая и последнюю строку «Бабьего Яра».

В редакции «Либер.» сидит теперь некто Бордаж, член Французской коммунистической партии, поэтому часто Васины статьи за этот последний год вообще не печатали: Бордаж его за что-то не жалует. Например, его статью о замечательной повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» в «Либерасьон» вообще не поместил, и Васик отправил ее в журнал Клода Бурде «Франс Обсерватёр». Французские коммунисты — ярые сталинцы, за исключением Арагона и Эльзы Триоле. Они за последние месяцы очень «похрущевели».

Вслед за Ильичевым хлынул поток ругани по поводу всех нова-

торов-художников и в кино, и в литературе, уж не говоря о живописи... Решетников пишет о 9 (!) абстракционистах... всего-то их 9 человек! А от статьи Лактионова разит ладаном пополам с пропущенным конопляным маслом, и смысл ее сводится к одному: «Разгромить Союз художников за то, что они посмели не выбрать меня в Правление!» Но сам он уверяет, что он никогда такой статьи не писал. И я ему верю!

Грибачев разразился страшными виршами о дубах, которым надлежит охранять молодые побеги подлеска. Все они ненавидят за границу за то, что ни одного из всей ихней компании «Кочетов — Грибачев — Софронов — Лактионов» — ни один иностранный критик, будь то коммунист или некоммунист, — не принимает всерьез и не считает человеком от искусства. Вот за это кочетовисты и ополчились на «буржуазный растленный Запад и его развращающее влияние». Но я-то по поводу абстракционистов поняла, в чем собака зарыта: нельзя допустить, чтобы молодежь мыслила вне канонов, помимо канонов, ибо это может привести к полнейшей переоценке ценностей.

Вообще все это всерьез и надолго. Это очень грустно... Очень!..

Я написала Беллочке Ахмадулиной свои стихи, люблю ее. Послала ей их к Новому году, по-моему, она их получила. Но трое из тех, кому я послала поздравительные карточки, не получили их...

У меня был стихотворный запой: я написала штук семь стихотворений за неделю — меня кошмарило стихами, лучше сказать, они пелись во мне, особенно ночью, в постели. К утру я их часто забывала, но иногда успевала записать.

3 февраля

Вчера, после концерта в Лужниках, приехал к нам Андрюша Вознесенский — он привез моему Ванечке египетское лекарство от Оли Андреевой (мамы) и еще мне дивные духи и папку рисунков Гуттузо. Два дня подряд у него были выступления с другими поэтами в Лужниках. Андрей — худенький, и, как написала в стихах, ему посвященных, Беллочка, он — как «автопробег», а по-моему, как «бегущий по волнам». Вместе с тем он взрослый, умный и прелестный душевной тонкостью, глубоким чувством справедливости. Я за это и ценю его! Мы почти захлебывались от новостей и рассказов друг другу. В Париже он имел бурный успех, его рвали на части. Оля-малютка вторично прилетела из Женевы в Париж, а он на десять дней слетал в Италию и читал стихи по городам. Потом вернулся в Париж и выступал в «Олимпии», где была такая толпа, что у театра дежурила полиция. Андрюша мне рассказал:

«Я закончил первое отделение, думаю, надо им что-то новое, «парижское» прочитать, заперся в уборной, у меня была в голове одна строчка: «Оля, здравствуйте, Оля, Оленька» — вот я и написал стихи и прочитал их во втором отделении, я обо всех Олях написал. Грянула овация, там было много русских эмигрантов. Была Оля

Андреева-Карлайл, и мою переводчицу тоже звали Оля, а на другой день мне звонила еще Оля — полуфранцуженка-полурусская, и еще Оля... Я очень устал... и тут на меня обрушились неприятности... Стихи Грибачева обо мне: «Нет, мальчики!», а я написал: «Да, мальчики» — и читал в субботу и сегодня. В Лужниках было полным-полно, и приняли эти стихи замечательно. Я сейчас хочу уехать на месяц, чтобы все улеглось... Мне некогда было есть в Париже, а в Италии на еду не хватало денег, я ведь все на самолете из города в город и останавливался в лучших гостиницах. Поэтому я только ужинал. Похудел страшно. Но Боже, как было чудесно! Особенно Пикассо! Он вышел ко мне в красной, как кумач, рубашке, а его жена была в зеленом!»

Я спросила, правда ли, что у него «бешеный роман» (как сказала мне Аня Генкина) с Майей Луговской? Андрей ответил: «Нет, но Майя спасла мне жизнь. На похоронах Пастернака я решил, что не могу дальше жить... Он любил мои стихи... Он умер... Нет мне пути... Я очень его любил... И не знаю, может быть, я и сделал бы с собой что, но Майя увела меня после похорон, всю ночь бродила со мной по Москве, говорила о чем попало... отвела меня от тех мыслей... спасла меня. Я ей жизнью обязан».

Он сидел у нас долго, но рвался куда-то еще идти, а тут приехали Куртады, и начался очень интересный серьезный разговор. Пьер сказал, что французские коммунисты не потерпят возвращения ждановских времен. Понимает ли Хрущев, что вся левая интеллигенция всего мира отвернется от СССР, если искусство снова задавят, тем более что даже китайцы, которые сейчас кричат, что истинные коммунисты — это именно они! — в Пекине открыли сейчас выставку абстракционистов. Пьер сказал: «Я одобряю внешнюю политику Хрущева, конечно, я всегда буду поддерживать СССР, но я, как коммунист, протестую против отвратительного шовинизма, национализма, выразившихся в речи Ильичева, в статьях Серова, Лактионова. Я написал письмо в «Правду», а копию послал Морису Торезу. И еще — безобразный антисемитизм! Ведь это правда, что в СССР страшный антисемитизм наверху и его поощряют в народе! Нет, ждановских времен мы, французские коммунисты, не потерпим больше! И итальянские коммунисты, да и все! Мне Пикассо сам сказал: «Мне грустно, что вот я умру, не дождавшись, что в СССР будет моя настоящая выставка! Меня несколько раз приглашали туда, но я — это мои картины. Я не виноват, что их покупают американцы! Если б я бросил через плечо скомканную бумажку, они подхватили бы и ее тоже и заплатили бы за нее бешеные деньги!» Пьер продолжал: «Пикассо почти все свои деньги отдает коммунистической партии. Вот вы, Андре, видели, как он живет: очень скромно, ему самому ничего не нужно, да, он живет в Валорисе, в большом доме, но тратит-то мало... Он колоссальные деньги отдает партии! Он настоящий по духу своему коммунист! А тут пишут, что он служит своим «растленным искусством» буржуазии! В цирке Олег Попов, клоун, стал на четвереньки и начал ногой что-то чертить на

песке, приговаривая: «Это в стиле Пикассо!» Можно это терпеть?! Нет, я сказал об этом, когда был конгресс нашей французской партии, и сказал с одобрения Мориса Тореза!

Теперешней политикой в искусстве — я включаю сюда и литературу, и кино, и театр — Советское правительство отвращает от себя все левые элементы за границей. О, вовсе не только интеллигенцию, но и рабочий класс, ибо там именно такие, как Серов, Грибачев, — это буржуазное искусство! Как Хрущев этого не понимает?! Вот 12 февраля будет снова прием, и он сказал, что будет громить «левых художников» снова! Его в ГДР Ульбрихт — узкий, неумный человек — подтолкнул сказать об абстракционистах!»

Андрей сказал Куртаду: «Прием отложен, будет позднее. Я увижусь с Хрущевым. Я все ему скажу, я знаю, что вы правы, я сам в этом убежден. Но также я уверен, что месяца через два-три мы восторжествуем, ибо нельзя поток повернуть вспять».

Я знаю, что это опять вылазки сталинистов, как было и с Пастернаком, а раньше с беднягой Дудинцевым. Они кричат: «Мы не знали о лагерях! Мы верили Сталину, а вот такие, как Эренбург, ЗНАЛИ И МОЛЧАЛИ. Дави его!»

Охмурили Хрущева!

Встретив Варю Тихонову, на ее вопрос, почему я перестала бывать у Тихоновых, я сказала: «Противно! Николай может и должен заступиться за молодых художников и поэтов!» Бедная девочка сказала: «Но в его положении...» Я возразила: «Именно в его положении! Он же Председатель Ленинских премий!»

Все эти старые дубы (дубины!) яростно завидуют молодым, талантливым, а к ним примыкают бездарные нестарые Кочетовы и прочие — тоже из зависти к Андрею, Белле, Евтуше, который сейчас профершпилелся из-за своей записки Хрущеву (на новогоднем приеме в Кремле). «Мы любим Вас, Никита Сергеевич! Галя и Женя». Евтушенко просил передать записку Хрущеву, к которому из-за толпы народа не мог пробраться, записка пошла по рукам, кое-кто ее прочитал, и Евтуше строго осудили за «подхалимство» и, главное, за то, что к «Бабьему Яру» он приписал еще четверостишие (а Шостакович отказался включить новые слова в свою 13-ю, сказав, что то, что написано, он не может менять, как перчатки!). Но я считаю, что Евтуше написал записку, от всего сердца любя Никиту Сергеевича, — в Евтуше много детского, поэтому он бестактно пускает это по рукам, при народе, и, главное, в такое время! Только бы не начали снова сажать...

Я прочитала Андрею свои стихи о нем, потом о Белле. Он просиял, сказал, что чудесные стихи.

А Лиля не любит Беллу! Она сказала мне: «Ваша Белла — ничто! Я перестаю верить, что у вас первоклассный вкус! Как она может вам нравиться?!» И у Лили потемнело лицо.

Милая моя Белла! Мы встретились в ЦДЛ после вечера в честь художника Пиросманишвили, умершего вскоре после революции в нищете... У него наивные и трогательные картины. Белла читала

стихи, была удивительно красива. Она сказала мне: «Я получила ваши стихи. Я вас нежно люблю!» Мы обнялись. От нее пахло вином, она была какая-то измученная. У меня болит о ней душа...

В субботу в Лужниках она читала отрывок из своей поэмы о Грузии и Пастернаке. Прекрасные стихи, и читает она замечательно... берущий за душу хрипловатый голос, артистична.

Месяца два назад, когда Ванечка случайно повернулся ко мне спиной, я почувствовала, словно пуля пронзила мне сердце, — ужас! — большая белая плешь на затылке... Ну, что говорить, что рассказывать, нету слов, где их взять для такого, когда волосы просто снимаются горстями с головы, их все меньше, уже правый бок весь слез... Не буду писать о том, как вызвала профессора, как умолила еще к одному пойти, как умоляла лечиться, как виду не показывала, а Лена и Анастасия Павловна Михозлс сказали: «Это бывает при лучевой болезни!» Наконец Ваня сделал все нужные анализы, доктор сказал, что это — дистрофия нервов кожи головы — словом, все на нервной почве. Бедный мой мальчик, о, какой он сейчас трогательный — худенький, бледный, лысый. Пусть! Но пусть будет здоров! Пусть живет долго, пусть станет счастливым!

В 5—6 лет он пережил войну, в 9 — у него арестовывают мать, в 14 — у него на глазах умирает любимый дедушка... Вот оно и сказалось... Но он часто бывает веселым, пишет смешные стихи, и девчонки в него влюбляются, а он ото всех убегает... Негодовал на меня, что я выписала египетское лекарство, но сегодня обрадовался при виде этого «Мелодинина» и сказал, что будет лечиться, милый мой мальчик! Только бы бабушка не узнала! Она заболеть может от горя.

У Алены, слава Богу, какие-то романы, правда — нелепые, но все же она несравненно счастливее, чем была года два назад, хотя все еще нигде не работает, но поет в хоре и любит это очень. Я столько раз пробовала говорить о необходимости работать, но она каждый раз начинает то вопить, то рыдать, и мои слова настолько ни к чему и бесполезны, что я перестала об этом твердить.

5 февраля

Были у меня мои дети, и мы вместе гуляли, покупали икру — послать в Париж в подарок. От Сюзанны, самой любимой до меня из жен Васи́ка, было милое письмо, она мне нравится, я знаю, что мы очень подружились бы, я посылаю ей разные русские штучки, а она послала мне шелковый платок, специально для меня сделанный, на котором написано: «Для Татьяны!» Но я его НЕ получила! Ужасно жаль! Она послала второй, и я его получила, но он не так красив, как, наверное, был первый...

15 февраля

Я говорила с Хрущевым!

Воркута — и это! Да, дистанция огромного размера... Барак,

полутьма, замученная Татьяна среди других множеств, за заледеневшими оконцами воеет пурга, лютая стужа... И сияющий огнями прием в честь короля Лаоса, столы ломаются от яств, и за центральным столом, рядом с королем, — Никита Сергеевич, Микоян, Брежнев, послы, разнаряженные дамы и очаровательные лаосские женщины — экзотика вперемешку с западной роскошью и русскими важными маршалами и прочими лицами. Я очутилась напротив Никиты Сергеевича, мы встретились глазами, и я сказала: «Я пью за ваше здоровье, Никита Сергеевич, я вас люблю, и мы все так вам благодарны, если б вы знали!» Он улыбнулся, мы чокнулись, он заговорил с кем-то, а потом снова обернулся ко мне, мы снова чокнулись, и я спросила: «А где Нина Петровна?» Он ответил: «Король приехал без жены. Нина Петровна на партийном собрании, а я здесь. Разделение труда, так сказать!» Улыбнулся мне, и я, сияя в душе и чувствуя, что я сказала ему то, что давно хотела сказать, ретировалась за спины других. Он выглядел хорошо, бодрый, спокойный, дружелюбный, простой.

Василий познакомил меня с Фурцевой — элегантная, с приятным русским лицом, стройная, красивые ноги. Она молодец, ведь из простых работниц, а умеет себя держать, проста и приятна. Да, нелегко быть у нас министром культуры! Потом мы с Васиком долго разговаривали с лаосскими студентками, они учатся русскому языку, медицине и другим наукам в Университете дружбы и в МГУ.

19 февраля

Я лишена чувства субординации. Благоговение за всю мою жизнь вызвал во мне один только Маяковский, с которым я познакомилась в 1925 году в Нью-Йорке. Или, может быть, это было в 1926 году? Странички воспоминаний о нем я дала Лиле Юрьевне как раз перед моим арестом в 1947 году. Маяковский был для меня «небожителем».

Мы познакомились в Нью-Йорке на его вечере. Он пригласил меня в гости, а я сказала: «Только обязательно с мужем!» И он, улыбаясь, произнес: «Ну, конечно, тащите и мужа!» Он жил на углу 5-й авеню и 11-й улицы в доме, где когда-то жил Марк Твен. Это был интереснейший вечер, я позднее обязательно опишу его. Я так живо помню Маяковского, молодого, красивого и удивительно любезного, даже нежного к той девчонке, которой я тогда была! Он понимал мое глубокое чувство благоговения, восторга перед ним... И когда мы случайно столкнулись с ним позднее в Москве в 1926 году, когда я приехала повидать своих, летом, около Политехнического, он узнал меня и настойчиво просил прийти... Мы шли вместе с Лёлей Петровой, и для меня чудом было, что он меня узнал... Я не пошла из-за застенчивости, считая, что недостойна и что он «просто так» приглашал, а ведь на самом деле каждому человеку, даже ВЕЛИКОМУ, нужны добрые высокие чувства к нему другого человека...

У меня роман с воробьями! Я всегда любила птиц и чувствовала их моими родственниками. Зима нынешняя — суровая, правда, сейчас потеплело. И я стала сыпать им на подоконник пшено и хлебные крошки. Серенькие малютки весело клюют мое угощение и, честное слово, узнают меня на улице! Стоит мне появиться, как раздаётся громкий щебет! Я помню трясогузку на Сивой Маске, которая предрекла мне крутую перемену моей участи!.. Возможно, птицы чувствуют мою симпатию к ним и на нее реагируют.

25 февраля

Петя Вегин, смуглый цыганенок, стал лиловым от худобы... У него нет денег, он голодает. Я предложила денег, он ни за что. Условились, что в случае чего придет и возьмет. Дал мне на прочтение свою поэму «Антенна». Берущие за сердце стихи и такие современные! Талантлив!

12 марта

Было совещание в Кремле по вопросам искусства, итог дан Хрущевым в его заключительной речи. Комментарии излишни. Рассказывают, что Андрею не дали ничего сказать. Я позвонила ему. Отец его ответил, что Андрей уехал.

Будьте довольны жизнью своей,
Тише воды, ниже травы...

10 апреля

Мне вспомнился Альфред Пур. Как парадокс теперешней моей жизни...

Этот американец XX века выглядел как итальянские герцоги на старинных портретах эпохи Возрождения. Строгое, прекрасное лицо, гордая, благородная осанка. Как он танцевал! Альфред двигался четко в ритме, с ним я погружалась в танец. В общем, он был царственной породы. Внешне. Казалось, он такой же и внутри. Мы плыли с ним на пароходе «Мадам Дюбарри» из Парижа в Нью-Йорк. Был декабрь, но океан был мирный и изо дня в день гладкий как зеркало. Стояли чудесные золотые дни, от Гольфстрима веяло теплом, как бывает ранней осенью. Вечерами мы до поздней ночи засиживались на палубе: он рассказывал мне об Испании, где провёл полгода, а я ему о России. Мы много танцевали. И к концу плавания сделались друзьями, с обменом адресов в Нью-Йорке. В один из вечеров — лунный, тихий вечер над океаном, когда вся жизнь казалась сплошь мирной и радостной, — он сказал мне: «Вы похожи на жену моего брата, на Джанет». Я ничего не спросила. И только много месяцев спустя он рассказал мне о ней. Так началась наша странная дружба. Тихо, плавно, все нарастая, и закрутилось-закрутилось...

Отец Альфреда был профессор астрономии, оригинал и миллионер. Они принадлежали к «четырёхстам», к сливкам аристократии Нового Света. Альфред втайне гордился этим, хоть и подсмеивался

над «старыми традициями». Он был снобом, т. е. в сущности провинциалом, ибо чувствовал себя как рыба в воде только в своей среде. Но благодаря своей светскости всегда и повсюду бывал импозантен и изысканно любезен с любым человеком, однако «на расстоянии». А с теми, кого он считал «своими людьми», он был веселый и открытый — и по-королевски прост в обращении.

Он был архитектором. Его контора помещалась в трехэтажной башне, которая увенчивала знаменитый небоскреб Никер-бокербилдинг на 42-й улице. Альфред был талантливым архитектором и художником-графиком. Он был образован, культурен, с лучшими англо-американскими традициями джентльмена. Мать будила его поцелуем в 7 часов утра (как бы поздно он ни лег спать накануне). Он честно и упорно работал. И скучал. В этой великолепной оболочке — какая безнадежно-унылая душа. Что-то мертвое, убитое было в нем...

Пуры жили в собственном прекрасном особняке на углу Мэдисон-авеню и 63-й улицы. «Апартаменты» Альфреда были наверху, а на самой крыше под застекленным потолком был разбит зимний сад с фонтаном и рыбками. Я бывала у него в гостях — он бывал у нас. У Альфреда было все, чего мог бы желать светский молодой человек: яхта, белоснежная парусная, с капитаном и командой из 7 человек. Эта яхта неоднократно выигрывала состязания на каких-то экстра-светских гонках. Великолепное поместье на одном из островов Лонг-Айленда. Пони — он играл в поло. Автомобили. Деньги. Спортсменом он был отменным, чемпион по теннису, яхтсмен, пловец. Но Альфред был скучный и печальный. Он любил Джанет, жену своего старшего брата.

Он был влюблен в мое сходство с ней. Он рассказывал мне о прелестной, нежной, веселой Джанет. Он много бывал в «высшем свете», и у него были друзья. Но только со мной (так он говорил, и я верила ему) ему бывало хорошо и радостно. Мы плавали по Гудзону на парходиках-«мухах». Совершали загородные прогулки, бродили по лесам, оставив автомобиль в укромном месте у дороги. Ходили на выставки. В театры. Бывали у негров в Гарлеме и в еврейском «гетто» на 2-й авеню. Там ночью пиликал «румынский» оркестр, пели какие-то русские певицы из «белых» и подавали жаренные на углях коротенькие, черные, необычайно вкусные сосиски.

И мы танцевали, перепробовав дансинги от гарлемских, где среди негров мы бывали единственной белой парой, до закрытых роскошных клубов, куда Альфред имел доступ. Он иногда приезжал ко мне в Провинстаун, где я проводила лето, и бродил со мной по дюнам. Я словно наполняла его жизнью. Он оживал и разгорался на моих глазах, с тем чтобы потухнуть снова, когда мы прощались. Я стала необходимой ему. Зимами в Нью-Йорке он приезжал за мной после спектакля в «Нью-Плейрайт» — театр, где я играла. На сцене шли коммунистические пьесы, которые наши директора — они же драматурги — ставили на деньги миллионера Отто Кана.

Альфред появлялся — в черном смокинге, с цветами для меня —

воплощение мужской элегантности. Все наши актрисы млели и завидовали. «Боже, какой любовник!» Если б они знали, как по-дружески, а не иначе, целовал меня при встрече и расставании этот человек... Ибо я была похожа на Джанет, которую он любил.

Он рассказал мне о ней: «Я и мой старший брат дружили с Джанет Шепперд. Я любил ее и думал, что она любит меня. Я заканчивал Гарвардский университет. И все откладывал объяснение, решив, что мы поженимся, когда я получу диплом архитектора. А сейчас был Новый год. Как всегда, мы встречали его в тесном кругу семьи. И вот отец мой объявил, что поздравляет нас с семейной радостью: мой старший брат женится. На Джанет. Я грохнулся в обморок. Меня привели в чувство. Я сказал, что от шампанского у меня голова вдруг закружилась... На свадьбе я был шафером. Я сильно заболел после Нового года. Семья и сама Джанет не заподозрили правды... Теперь она замужем. У них двое детей. Изредка я бываю у них. Она несчастна с ним. Он грубый и холодный. Я мертвый, Татьяна. Никто не знает, что я мертвец, кроме вас. Никто, кроме вас, не знает, что я люблю Джанет и умираю от горя... Вы похожи на нее, Татьяна. Не оставляйте меня...»

Я уехала на лето в Провинстаун. Сняла домик на сваях у воды — залив был синий, весело было смотреть с балкона на белые паруса, на закаты, на рыб, которые, играя, выпрыгивали из воды. Часто приходил Честер Пфейффер, сын известного художника, высокий блондин с красивым задумчивым лицом. Ему было 19 лет. Он приносил мне странные морские звезды, высохших морских коньков, ягоды с дюн и букетики полевых цветов. Честер мог не произнести ни слова за весь вечер. Он не отрываясь глядел на меня, и иной раз мне бывало от этого и сладко и тревожно... Я бродила по дюнам и подолгу сидела на пустынном берегу океана — здесь он был свинцово-серый, беспредельный, вольный. От его запаха делалось радостно на сердце! Бен писал чуть ли не ежедневно, мне было так хорошо от его преданной любви, и я ничуть не ревновала его ни к Эллен Коен, ни к Руфь Бонзел, ведь меня он любил несравненно сильнее, чем своих любовниц!

И вдруг в августе, в один прекрасный день, перед моим белым домиком остановилась великолепная машина, и из нее вышел Альфред. Он приехал повидать меня и уговорил пойти с ним на традиционный в Провинстауне бал-маскарад. Здесь, в этом городке, жило много художников и писателей.

Мы с Альфредом пошли на маскарад. Он оделся пиратом. Завязал голову красным платком, золотая серьга в ухе, ятаган за поясом, и намалевал себе черные усы. А я оделась в розовый, шитый золотом и серебром шелковый турецкий костюм, что Бен купил мне в Константинополе. Сначала мне было страшно весело: народу было множество, из Бостона приехал знаменитый джаз-оркестр. Потом началась процессия масок по сцене мимо стола, где сидело жюри. За лучший костюм присуждалась первая премия: букет белых камелий и огромная коробка конфет. Я шла в паре с Альфредом...

Кончилась процессия, и сразу же начались танцы, а судьи стали совещаться. И вдруг к Альфреду подбежала какая-то прехорошенькая полуголая мерзкая брюнетка, увитая зеленым плющом, и пират умчался в вальсе с вакханкой... Я онемела от обиды. И тут же ушла... Я брела по темной улочке, позади меня гремела музыка... Залив лежал темный, хмурый, безмолвный... У меня дома была бутылка коньяку, с размаху я выпила ее и свалилась на кровать... Заснула я мертвецким сном.

Поутру расстроенный, удивленный Альфред сказал мне, что проискал меня всю ночь на балу, и к домику прибежал, стучался, и по берегу бегал... И что мне за костюм присудили Первую премию. Недаром Яхонтов говорил, что я — Настасья Филипповна из «Идиота».

Вскоре я получила от Альфреда письмо: «Я в Бостоне, где завтра будут делать операцию моему брату. У него обнаружили опухоль в мозгу. Ему сделали переливание крови — взяли мою кровь. Джанет здесь».

Через несколько дней я зашла в цветочный магазин, где обычно покупала цветы. Купила свои любимые маленькие чайные розы. В углу магазина стоял роскошный венок. Как-то больно сжалось сердце. Я ушла. И вернулась. «Кому этот венок?» — спросила я продавщицу. «Не знаю, — сказала она, — вот поглядите адрес». На венке стояло имя брата Альфреда.

Дома меня ждала телеграмма от Альфреда: «Завтра похороны. Джанет опасно больна».

Через неделю он вернулся и приехал ко мне. Он сказал, что Джанет выздоравливает. Но Альфред выглядел другим человеком: он стал обыкновеннее, он хлопотал о каких-то делах, он стал веселый, и я знала, что, когда пройдет положенное время, он женится на Джанет. Мы виделись все реже. Летом я уехала в Провинстаун. И осенью получила от него письмо: «Вчера была наша свадьба. Джанет и я очень счастливы. Я рассказывал ей о Вас. Заочно она очень любит Вас, Татьяна. А я хочу сказать Вам, каким счастьем была для меня Ваша дружба, какой прекрасной она была! Вы останетесь любимейшим воспоминанием моей жизни».

Вскоре после этого я плыла в Россию.

15 апреля

Пишу сугубо материальные слова, с беспощадной трезвостью все вижу и понимаю в себе, но как сильно все то воздушное, неизъяснимое, очевидно, вечное. По существу то, силой чего продолжается жизнь в нашей таинственной Вселенной.

Бывает ли гипноз на расстоянии? Через множество улиц, и домов, и людей, наперекор им? А может быть, и на расстоянии многих тысяч километров, минуя страны?! А может, это я сама только ощущаю, ОДНА я?

Все это растает как дым... Нет, нет... я не одна была в этом, о, нет!.. Нечего себе очки втирать!..

Лидия Обухова рассказывает со слов 85-летнего грузинского писателя Давида Сократовича Сулиашвили:

«Не любил я его, грубый он был, всегда грубый был Сосо Джугашвили, я его мальчишкой знал, вместе в семинарии учились, после его стали Кобой звать, а еще после — Сталин. Отец его был сапожником в Гори, артист своего дела, великолепные чувяки и сапожки шил, звали его в богатые дома, неплохо он получал за свою обувь и пил, да так зверски, что совсем спился, и тогда мать Сосо выгнала мужа из дому, а ведь она грузинка! Выгнать мужа из дому! Но железная была женщина, обожала сына и, чтобы дать ему хоть какое-то образование, стала ходить на поденную работу: то белье постирает кому, то уберет, то в огороде или в саду подработает. Бедно они жили. Вымолила она, чтобы Сосо в духовную семинарию приняли, он единственный был среди нас в семинарии не из семьи духовного звания. Сын бродяги, пропойцы-сапожника. Тропари он пел замечательно, и, бывало, пели трио, он — альт, ах, как пел хорошо! Книжки запоем читал, всю библиотеку семинарскую перечитал, а потом букинисту одному 50 копеек в месяц платил, чтобы тот ему разрешал по три часа, перед прилавком, стоя, читать, Не любил я его, грубый он был человек, но... Как рывкнет на кого угрюмо, негромко — так сразу тот испуганно подчинится!. Никого в жизни он не любил, ни двух своих жен, ни детей. Одного только человека в жизни любил — страстно, ревниво — Ленина. Ненавидел всех, кого Ленин приближал. Крупскую ненавидел, Троцкого... Мальчишкой был злой, как волчонок, по-тихому злой. Отца, очевидно, любил, тот раз в месяц появлялся во дворе семинарии, пьяный, оборванный, и начинал выкликать: «Где мой сын, мой единственный сын, мой Сосо?!» Мальчишки смеялись... Помню, Сталин однажды обошел всех нас с шапкой по кругу, видно, отцу напиться надо было в тот день. За год до окончания выгнали Сосо из семинарии, книжки какие-то недозволенные у него нашли. Он не жалел, он нас всех подбивал уйти из семинарии, все бросить. Потом он в Тбилиси жил и работал при лаборатории в Тбилисской обсерватории за гроши. Жил в каморке, где был всего-то один стул, спал на кошке на полу, всюду книги стояли стопками. Познакомился с Алешей Сванидзе, это была не очень богатая семья, но с достатком, и в доме еще три хорошеньких барышни, сестры Алеши. Был в Тбилиси магазин женских мод, держала его мадам-француженка, кажется, сестры Сванидзе у нее работали, а потом мадам уехала, и сестры купили ее дело, стали сами и хозяйками, и мастерицами. Алеша Сванидзе был славный, очень образованный и, что называется, «передовой человек».

Сосо стал за Кето, средней сестрой Алеши, ухаживать. Но ни он ее не любил, ни она его не любила, я знаю! Почему Кето вышла замуж за этого оборванца, сына сапожника?! Но свадьбу сыграли по всем правилам, а потом пришлось им уехать в Баку. Тут Коба с головой ушел в какие-то революционные дела, редко жену видел, исчезал из дома... Родился сын — Яков, Яша... Кето, по правде

сказать, с голодухи умерла... Повезли ее хоронить в Тбилиси. Помню, когда уже почти все ушли, а она еще в открытом гробу лежала, Сталин повалился на гроб, долго так лежал... А ведь не любил он ее, я знаю! Грубый был человек... Сына Яшу взяли родственники жены, хиленький был малыш...

Я Ленина тоже не любил — резкий он был, отрывистый, не добрый, нет, и Крупская тоже такая... Мне что?! Я старый, я правду говорю. Я вскоре совсем от них всех отошел, прожил тихо свою жизнь в Грузии, незаметно, тихо... Когда Ленин умер, все к нему прямо с заседания поехали в Горки, помню, Зиновьев, Каменев... Сталин вошел в комнату, бросился к телу Ленина, голову его охватил, грудью прильнул. Он его любил, это правда, я знаю...»

«Буденный подрался с Енукидзе из-за дамы какой-то и выбил ему глаз. Доктор Михаил Григорьевич, которого вызвали, глаз ему вправил — на ниточке висел глаз-то! А после Енукидзе в Германию ездил лечиться...»

«Михаил Григорьевич рассказывал, что у Аллилуевой в гробу все горло было обмотано толстым слоем ваты. На именинах у Ворошилова она Сталину высказалась напрямик насчет колхозов, он рассвирепел. А ночью он ее и удушил, по всей видимости...»

«Берия был абсолютная сволочь, циник, проходимец. Интересно, что ведь ни единый человек не помянул его добрым словом... Темный был человек... И развратник!.. Ловил девчонок молоденьких на улицах и к себе затаскивал. Ему в этом старуха какая-то помогала...»

Приезжал Лева Черток, о нем мне рассказывал раньше Васик, который к нему относится вроде как к сыну. Лева — доктор-психиатр и гипнотизер в Париже. Лева привез нам подарочки. В нем есть наглость и что-то от Остапа Бендера. Мне Васик сам давно рассказывал, что Лева чрезвычайно нравится дамам, в чем я имела возможность убедиться: здесь за ним по пятам ходила его толстая пожилая кузина, мрачная и некрасивая бегемотиха. Но вот он уехал, и я вижу, сколько в нем чего-то невеселого, нахального, неприятного, несмотря на весь его шарм и знания. Он приезжал делегатом от французских докторов по поводу Международного конгресса психиатров, который должен состояться у нас в СССР в 1956 году. Лева сказал, что во многих отраслях медицины мы отстали, хотя бы от той же Франции, на 60 лет... Психиатрия у нас вообще по-серьезному до сих пор не в счет... На днях будут громить телепатию... Что еще?! Многие уже начали бояться. Страх — это ужасная вещь! Страх парализует все творческие силы народа, но я помню, как мой следователь, капитан Пантелеев, сказал мне на одном из допросов: «Страх! Мы всех вас этим в кулаке держим!»

И, крепко сжав кулак, поднес оный к моему носу... Но я его вспоминаю почти благодушно по сравнению с полковником Полян-

ским, этой злобной рыжей рысью... Он был садист и эротоман в полном смысле этого слова...

Страх начался опять. И наши молодые поэты Евтуше и Андрей, по-видимому, струхнули... А ведь они вполне понимали, что им не грозит ни ссылка, ни даже арест, ничего по-настоящему страшного не грозит! Особенно Евтуше! Не выступи он на пленуме писателей, всего лишь промолчи он,— он, пожалуй, обеспечил бы себе право на настоящую славу. Пишу это всерьез, после многих разговоров со многими... Пронесся слух, что Евтуше покончил с собой... Алена позавчера видела его вечером в ресторане ВТО, он сидел за соседним столиком, вполне элегантный и спокойный.

Мне говорили, что Хрущев на днях позвонил ему, возможно, встревоженный этими слухами о самоубийстве, и сказал: «Работайте спокойно, не волнуйтесь...» или что-то в этом роде, и вчера Евтуше отбыл на юг. Андрей тоже уехал к солнышку.

Паустовский, Виктор Некрасов, Юрий Казаков — те промолчали. Эти-то настоящие, слава Богу...

Куртады уезжают, он не вынес событий последних месяцев, этот француз, член ЦК Французской компартии... Пришел прощаться, сказал: «С любовью к СССР, к советским коммунистам у меня покончено» Мы молча хлопали глазами. Бедный Васик очень удручен. Его потрясло то, что делают с искусством. У Куртада были такие печальные глаза.

14 мая

Сегодня, в 7 часов утра, в Париже, после сделанной ему накануне вечером операции, умер Пьер Куртад!.. Бедная Николь. Она сильно его любила. Как мне жаль его!

20 мая

Было так грустно, что не могла писать. Ужасно жаль Пьера... Он решил не делать операции в Москве, а сделать ее в Париже. Он был более ЖИВЫМ, чем большинство людей. Бедная Николь...

И умер Миша Булатов, писатель, муж прелестной Ирочки Доливо.

А весна изумительная, теплая, дивная весна, такая, какой она бывала в моих мечтах на Воркуте, где не было весны...

Сегодня я провожала в числе других тринадцати человек Лилю и Василия Агбаровича в Париж. Я подержалась за вагон, загадывая про себя: «Хочу с Васиком ехать в Париж в этом году, хочу с ним в Париж!» Нелепо, что это невозможно. Хуже, чем нелепо. Но не буду старухой с золотой рыбкой.

Всюду ругают злобно и глупо беднягу Евтуше, Андрея перестали ругать. На гребне волны всплыли наверх все бездарности сталинских времен наперечет.

У меня была стычка со Слуцким. Я заступилась за Евтуше,

и Слуцкий, выругавшись, удрал. Оказывается, он трус, страшный трус этот неплохой поэт, бывший военный разведчик, ибо я сказала, что очерки Евтушенко, напечатанные во Франции,— блестящие, сказала это Слуцкому в поликлинике Литфонда, и нас МОГЛИ УСЛЫШАТЬ, а он так этого испугался, что бежал как заяц... Он ругал Пастернака, этот сукин сын!

Лиля, узнав об этом, заявила мне, что Слуцкий прав, а сегодня на вокзале сказала: «Неужели вас ничему не научило?» На что я ответила: «Как хорошо!» Она удивленно переспросила: «Хорошо, что не научило?» Я сказала: «Да, меня ничто не научило врать и не научит врать и говорить не то, что я думаю, я непосредственно все воспринимаю. А тонкостей подводных не знаю». Лиля не нашлась, что на это ответить. Вся жизнь она-то понимала, куда ветер дует. Нет, по-моему, лучше мое — «непосредственное». Они уехали роскошно, на два месяца в Париж, а если захочется, то и на дольше, конечно. Но пусть будет хорошая погода и им будет хорошо. Лиля все равно мой близкий друг.

Некролог в «Либерасьон» и в «Обсерватёр» абсолютно верен. Да, именно таким был Куртад. Некоторые французские коммунисты одобряли все сталинские преступления, чтобы делать себе карьеры. А Куртад был честным.

Американцы показали себя в Бирмингаме! В них во многих живет фашизм. Что делается с человечеством в этом XX веке?! Судя хотя бы по фильмам, которые показывали сейчас на фестивале в Каннах! Один другого страшнее: убийства, насилия, ужасы, гадость... Ну и XX век!

Месяца два тому назад я написала письмо Солженицыну, прочитав его талантливейший «Один день Ивана Денисовича». Он ответил мне интересным и довольно длинным письмом. Я ему в письме послала несколько моих стихотворений, и он очень похвалил их. Но Ваня, мой сын, правильно сказал, что стихи мои «старомодные» и искупают это только их искренность и простота. Солженицын мне написал: «Вы яркий человек, судя по Вашему письму».

30 мая

Ездили в Переделкино на могилу Бориса Леонидовича Пастернака, потом зашли к Зинаиде Николаевне, она похудела, и это ей очень идет, приветливо встретила нас. Леня похож на мать и на Бориса Леонидовича. Он возмужал, красивый, юный, но уже и взрослый. Был и Стасик Нейгауз, были Вильмонты, Мария Вениаминовна Юдина, и еще «свои» Ливановы, и еще другие, были и Ираклий Андроников со своей Вивой, о которой еще Шкловский сказал, что она не «скучная», а «душная», и Линнет (Лина Ивановна) Прокофьева (законная жена С. С. Прокофьева, а где милая Мира, его вторая жена?). Лина — манерная и сноб, хотъ и «сидела», ей ведь

дали двадцать лет, вместе с собой она, говорят, посадила еще человек семь, совершенно ни в чем не виновных! За столом былолюдно и как-то ТЕПЛО, несмотря на этих «чужих». На кладбище тоже были люди, какие-то милые старушки, читавшие его стихи шепотом, и юные мальчишки, наверное, поэты... Тишина и мир...

Утром проездом у нас были Ася (Анна Васильевна, сестра Васика) с Лелей. Проводили их и пошли на выставку Сапунова — впервые за 50 лет! — в Союз писателей, где я познакомилась с Павлом Кузнецовым. Этому прекрасному художнику 80 лет, но он розов и молодежав, у него милая, детская улыбка... Мы взяли с собой на выставку художницу Лидию Максимовну Бродскую. А потом мы с Васей вдвоем поехали на кладбище в Переделкино, к Пастернакам.

С 1-го июня мы снова будем там, в Переделкине, а погода холодная... Устала я чего-то.

Написала два стихотворения: «Этап» и «Воркутские сны».

Загубленные поэты... Вспоминаю последние годы жизни Андрея Белого и как Борис Пильняк, темно-рыжий интереснейший Борис Пильняк тащил меня к Андрею Белому: «Я поведу вас к гению!», — но я из благоговения не посмела поехать. Я была девчонкой, приехавшей из Нью-Йорка в глухую и блистательную Россию. (О, какие постановки были в театре! Мейерхольд! «Петр I», «Николай I и декабристы», «Дни Турбиных», артист Певцов в «Тартюфе» у Вивьена в Ленинграде, «Рычи, Китай», «Блоха»...) Это был 1928 год. Со мной все носились как с писаной торбой. Пильняк был бешено влюблен в меня, впрочем, он влюблялся во всех... Да... мы так и не съездили к Андрею Белому... Вспоминаю дорогого Тихона Васильевича Чурилина и его стихи ко мне и письма, но это было уже в 1938 году.

Вот что пишет Марина Ивановна Цветаева в своей работе о Наталье Гончаровой о Чурилине:

«В первый раз я о Наталье Гончаровой, живой, услышала от Тихона Чурилина, поэта. Гениального поэта. Ведь даны были лучшие стихи о войне, так мало распространенные и не оцененные. Не знают и сейчас. Колыбельная. Бульвары. Вокзал и особенно мною любимые «О кольце» — не все помню, но что помню — свято:

Как в одной из стычек под Непаевой
Был убит германский офицер...

А я больше всего любила его стихи, посвященные Брониславе Иосифовне: «О камне в кольце ее...»

Цветаева пишет:

«Был Чурилин родом из Лебедяни, и помещала я его в своем восприятии между лебедой и лебедями, в широкой степи.

Гончарова иллюстрировала его книгу «Весна после смерти» в два цвета, в два не-цвета, белый и черный... Попытаемся понять,

что сделала Гончарова по отношению книги Чурилина. Явила ее вторично, но на своем языке, стало быть, первично.

Стихи Чурилина глазами Гончаровой...»

А сама Марина Ивановна?.. Да, загубленные наши поэты. Загубленные художники... Загубленный Цаплин... Тихон мне посвятил замечательные стихи, я их очень берегу, но никому их не читаю. Только В. В.

Марина Ивановна была влюблена в моего Василия Васильевича, но он — нет. Он любил в ту пору Сюзанну.

...А вот стихи Тихона Чурилина о Велимире Хлебникове, с которым Тихон и Бронислава Иосифовна очень дружили, очень любили Хлебникова:

ПЕСНЬ О ВЕЛИМИРЕ

Был человек в черном сюртуке,
в сером пиджаке — и вовсе без рубашки,
Был человек, а у него в руке
пели зензивирь, тарарахали букашки.
Был человек. Пред земного шара.
Жил человек на правах пожара.
Строил дворцы из досок судьбы.
Косу Сатурна наостро отбил.
Умывался пальцем и каплей воды.
Лил билионы распевов, распесен,
а помер в бане и помер не тесно.

Писал

не чернилом, а золотописьмом.

Тесал

не камни, а корни слов.

Любил

Вер,

Марий,

Кать.

Юго — плыл,

Наверно

не ариец —

азиец,

знать.

Был человек в мире Велимир.
В схиме Предземшар с правом всепожара.
И над ним смеялись Осип Эмильич,
Николай Степаныч и прочая шмара.
И только Мария и море — сине
любили его, как жнея и пустыня.

Марию — Марию Синеккову — художницу, сестру Оксаны Асеевой, жены Н. Асеева, — я видела в 38-м году у Тихона Васильевича. Мы познакомились. Она поразила меня красотой и безмятежностью лица. В ту пору ей было пятьдесят лет, но выглядела она совсем молодой. По-моему, главное в лице — это его выражение.

Ее любил Хлебников. Сам Тихон Васильевич был интереснейший поэт. Бюст его гениально сделал Цаплин.

31 мая

Завтра с утра — в Переделкино, а погода жуткая, холодно, пасмурно. На душе тоска. Тоска. Отчего? От всего...

Паустовский Константин Георгиевич, старенький, выступал в какой-то небольшой библиотеке. Сказал, что Евтушенко и Вознесенский — самые талантливые из наших молодых поэтов. Назвал их и Юрия Казакова, Бондарева, Бакланова и четвертого, не помню кого, «надеждой нашей литературы». И там же рассказал всем историю о том, как Марина Цветаева говорила, что даже если ее и не похоронят при дороге в Тарусе, то пусть хоть камень в память ее там положат. И вот какой-то киевский студент раздобыл большой камень, добился разрешения и поставил его. На нем, кажется, кроме имени Марины Цветаевой и года рождения и смерти, были две строчки из ее стихотворения. Поставил в чудесном месте, на берегу Оки в Тарусе. Вскоре приехал из Москвы какой-то скульптор, к сожалению, Паустовский не назвал его фамилии, и поднял скандал: «Всякой белоэмигрантке камень ставить!» Пошел к секретарю райкома, тот испугался, велел камень снять. Говорят, камень этот лежит теперь на дне Оки. Утопили камень, но не смогут утопить память о замечательной русской поэтессе Марине Цветаевой...

3 июня

Сегодня утром умер Назым Хикмет... О, грустно...

4 июня

Еще при Бубнове, который в ту пору этим ведал, были от нас проданы американцам: «Св. Георгий Победоносец» Рафаэля, «Венера с зеркалом» Тициана, «Капуцин» Рембрандта, «Ночное кафе» Ван Гога и еще две-три картины. Проданы были за бесценок. Музей западной живописи, где были лучшие в мире многочисленные картины Гогена, Ван Гога, Пикассо, Матисса и других художников, был закрыт перед войной, в 1941 году, по приказу Сталина, которого уговорил Ворошилов, а того уговорил — настойчиво и неотступно уговаривал — подонок художник Александр Герасимов. Мотивировка приказа Сталина была такая: «Коли нет у французов музея русской живописи, ни к чему и нам держать у себя Музей западной живописи»...

5 июня

Мы пошли к Ивановым. Всеволод Вячеславович — бодрый, румяный, вполне здоровый, был очень приветлив, Тамара Владимировна была так красива, что, сидя напротив нее за столом, я глаз не могла оторвать от ее молодого, розового лица в рамке голубовато-

седых волос. Они абсолютные наши единомышленники в вопросах искусства и прочего. Петя и Антон и маленькая Настя — красивые, хорошие дети. Было весело, душевно, уютно. Они пошли нас провожать, потом мы с Всеволодом и Тамарой долго сидели с Аксельродами на террасе нашего Дома творчества и расстались, уговорившись часто видеться... Художник Аксельрод пишет темперой мой портрет.

Назавтра Всеволод заболел. Его увезли в Кремлевку. Я прибежала к ним. Тамара, здороваясь со мной, заплакала — и я поняла, что он очень страшно болен... Вчерашняя красавица сегодня была старой, разбитой горем женщиной... В тот вечер, когда мы были у них и все вместе сидели за столом, я чувствовала, как они любят друг друга и как между ними хорошо, крепко, чего не чувствовалось прошлым летом... Он очень болен, и она знает чем... О, горе...

26 июня

Погода холодная, дожди, один только раз было по-летнему тепло.

Летали в космос Быковский и первая женщина — Валя Терешкова, изящная, с приятным, смелым лицом... Опять восхваления в газетах, встреча, пресс-конференция. Но полеты в космос УЖЕ перестали быть сенсацией.

Всеволод в больнице. Тамара каждый день с ним, а по ночам с ним Кома и Миша...

Господи, если б можно было помочь!

25 июля

Очевидно, помочь нечем... Всеволод Иванович Иванов, по-моему, никому не сделал зла. Жена Миши Иванова (сына Бабеля) — Люся — сказала мне, что он очень мучается. Говорить о том, как жаль мне его, я не буду. Бедная Тамара... Сегодня ночью я непрерывно думаю о нем с любовью, с глубоким сочувствием... Может быть, душа его меня слышит... Мне казалось, что он особенно хорошо относится ко мне и к Васе. Спасибо ему за Владимир и Суздаль! Я рада, что еще весной я написала об этом стихи, там есть такие строки в конце:

Остались чьи-то сказки,
молитвы и мечты.
На стенах птицы, маски
и древние цветы.
Скользят тысячелетья,
О, времени ладья!
И мне легко на свете
под лепетом дождя.

Прошел кинофестиваль. Несмотря на флюс, завязав щеку, я посмотрела все лучшие фильмы, из которых наилучший «Восемь с половиной». Феллини получил, к великому удивлению наших подонков и чинуш, первую премию. Жюри ведь международное! Говорят, Жан Марэ и еще кто-то из них пригрозили выйти из состава жюри, если Феллини не дадут первой премии. Фильм о творческих поисках художника-режиссера, АРТИСТА (в отличие от ФАРМАЦЕВТА) великолепен. Какие-то последние точки над «и» поставлены: настоящее искусство бывает только на полном серьезе (серьезность, от которой мы отвыкли!), на глубоком серьезе. ВСЕРЬЕЗ!

Какое счастье, что оно есть на свете!

Сегодня с утра думала о Солженицыне и даже написала ему письмо, которое начиналось так: «Ау, ау! Откликнитесь!» И вдруг вечером телефонный звонок. Он сам позвонил нам. Послезавтра утром мы едем в город, и он придет с женой к нам к десяти часам. У нас живет Миша Буткевич, который захлебнулся от счастья, узнав, что и он познакомится с Александром Исаевичем. Вот книга Солженицына и те два его рассказа — всерьез!

Я пела на днях для цыганочки Верочки Ильинской, пела шепотом всерьез «Очи черные». Только так и петь, и стихи писать, и даже вести себя, даже слова говорить — все всерьез! Бесконечно надоела вся наша ерунда, вся несерьезность нашего псевдоискусства... Фильм Феллини (я с ним самим познакомилась), особенно эпизод с Сарагиной и мальчишками, — это высокое, светлое искусство! Феллини прост и умен, у него хорошее, широкое лицо.

Посмотрим, какой Солженицын и какая жена его — Солженицына, и как мы им. Ужасно рада!

А мой Василий Васильевич — он всегда во всем настоящий, хоть и веселый часто и легкий, но весь ВСЕРЬЕЗ!..

28 июля

Солженицын гораздо моложе, чем я думала. Он темно-русый, с серыми глазами, высокий, статный, румяный. У него открытое, хорошее лицо, глубокий шрам на лбу, над правой бровью, он веселый, полон жизни и энергии. Самое яркое в нем — ум. Он очень умный — в каждом слове, в манере слушать, он как-то глубоко слушает. Хорошая, чистосердечная улыбка. Жена его — с милым лицом, провинциальна, но непринужденно проста и приятна. Все мое внимание было сосредоточено на нем. Я старалась, чтобы и она была включена в этот круг внимания, и потому я была немного скованной, стеснялась ее, но не его — с ним как-то сразу контакт был. «Свой» он человек для нас с Васей.

Он и В. В. погрузились в разговор, Солженицын сказал, что давно задумал написать о 1917 годе, о революции, вот уже двадцать лет думает над этим, собирает материал и просит В. В. помочь ему воспоминаниями о тех днях. Сказал, что хотел бы прийти на целый вечер, специально для такого разговора. Он очень понравился В. В., и, конечно, Васик рад ему рассказать, что он видел и знает, а для Солженицына мой Вас. Вас.— это редкая и удачайшая находка. Вас. Вас. не только правдивейший человек, но и память у него удивительно точная, а главное, он объективен и беспристрастен.

Я рассказала Солженицыну о Полянском, о допросах ночных в Лефортове... О моем переследствии... Он слушает так, словно впитывает каждое слово. Уговорились повидаться осенью. Он не хочет переезжать в Москву, здесь ему хуже работается, он отказывает в интервью как советским, так и иностранным корреспондентам, любит уезжать куда-нибудь в «полное одиночество» вместе с Наталией Алексеевной. Из школы он ушел, ибо директор почти заболел от звонков в школу и из ЦК, и из французского посольства... А Наталия Алексеевна преподает, она кандидат наук, но каких, я так и не удосужилась спросить...

На положение в искусстве он смотрит оптимистично: «Время не то, вспять его теперь не повернешь». Сказал, что Виктора Некрасова не исключили из партии, ибо Некрасов, когда его вызвали в партбюро, взял, да и не пришел, не явился, а уехал куда-то далеко!

А вечером мы шли уже в Переделкино к Нилиным. Навстречу шел молодой человек, он очень смотрел на нас и поздоровался, а я сказала, улыбаясь: «Здравствуйте, хотя мы, кажется, не знакомы!» Он сказал: «Я сейчас был у Сельвинского, и ему понравились мои стихи». Тогда я сказала: «И мы любим поэтов. Хотите нас подождать в саду? Мы через час вернемся и с удовольствием послушаем ваши стихи». Он остался нас ждать. Мы вернулись, накормили его ужином, и он читал нам. Он не пишет стихи, а держит их в голове — все. (Если не врет!) Но стихи интересные, свой голос. Детство — ленинградская блокада... Приедет к нам опять и привезет пачку стихов. Я обещала отдать их перепечатать. По-моему, он очень беден, бедняга. Познакомила его с А. Кривицким, чтобы тот помог.

Лиля вернулась из Парижа. С 1 августа они будут в Переделкине. Здесь сейчас живет Надежда Алексеевна Коган, которая была последней возлюбленной Блока, и у нее от него сын. Ей 75 лет, но она прелестна. Воздушная какая-то. Старость должна быть мягкой и доброй — тогда она даже иногда прекрасна... Вот как моя Бабушка, как она была удивительно красива порой... А уж добра была!..

Тот поэт принес записанные им стихи, и на глаз они хуже, чем на слух... Ведь вот штука какая! Одно на слух, другое на глаз... Нилин талантлив и умен, но отнесся к нему, как грубый придира, когда слушал его стихи. Нилин вообще может иногда становиться грубым, а вот его жена Матильда Юфит — милая, чуткая женщина.

Такая лень писать! Но... надо!

Приехала неделю тому назад Лиля с Вас. Абг. из Парижа, душистая, презлегантная, грим тоньше и потому лучше. Сразу же напустилась на меня: «Вот вы сказали: не буду притворяться! Если вы хотите ехать в Париж, надо уметь помалкивать и притворяться надо! Если вы, конечно, хотите поехать!» Но на другой же день, да и сейчас, она очень ласкова со мной, а мне как-то ее жаль... Нет, в ней много ерунды... А ведь она считается «умнейшей женщиной». Но я люблю Лилю! Порой очень ее люблю, а она — меня.

Вот в Солженицыне, в Феллини и ежедневно в моем Василии Васильевиче — другое, настоящее, «всерьез». Здесь всякие писатели — и в них ерунда, просто слой за слоем, как шелуха, особенно в женщинах. Такие есть «куриные мозги», что диву даешься, — чем же это они пишут?! Лучше других здесь Катя Ротова — драматург, ее псевдоним Борисова, она какая-то настоящая, даже если талант ее маленький.

В Ленинграде был «симпозиум» (идиотски звучит!) наших писателей с иностранными. К нам сегодня, вернее, к Василию Васильевичу, приезжала его старая приятельница Натали Саррот, или Наталья Ильинична Черняк, одна из группы «нового романа» во Франции. Милая. Интересная писательница. Но сугубо интеллектуальные люди и искусство их — не для меня. Она рассказывала, как за ней изо всех сил ухаживали Анисимов и Корнелий Зелинский, бешено старались эти два подхалима, из которых один оплевал Пастернака, а второй — Евтушенко, лицемеры! Больше других ей понравились речи Твардовского, Эренбурга и итальянца Пьявоне. Вообще же она влюблена в Россию, и ей многое здесь не только дорого, но и понятно, хотя семья ее выехала из России еще в начале нашего века. Василий Васильевич хорошо знал ее дядю — Черняка, революционера, которого судили когда-то в Стокгольме и который таинственно умер на пароходе, когда ехал из Швеции в Антверпен. Его убили, конечно, но так никто и не узнал — кто...

Наталья Ильинична вспоминала об этом и про Азефа (или Азиева, как Вас. Вас. его называет и как правильно), и мне было страшно интересно слушать Васеньку и ее. Они близкие друзья.

Написала сегодня письмо Солженицыну — вспоминаю его с любовью, с глубоким уважением.

Приезжал Андрей Вознесенский к Лиле, а тут случайно вышла на подъезд и я. Мы радостно бросились друг к другу. Пошли к ней вместе. Он читал стихи, из них «Сигулда» мне больше других понравилась и еще вступление к поэме о Ленине. Но многие его стихи слишком «интеллектуальны», что ли. И мне почудилось в нем грызущее честолюбие и жажда славы, то есть ерунда. Нет, он не Пушкин. И ленинградский поэт Соснора, о котором мало кто знает, не менее талантлив, чем он. А Белла талантливее его. Андрюша — веселый, выглядит великолепно, возмужал — очень

разваливается, садясь на стул. Какой-то винтик во мне к нему раскрутился.

Эренбург был у Хрущева, разговаривал больше часа и заступался за искусство, в том числе за Евтуше и за Андрея.

Китайцы грозятся. Де Голь упрям, как дуб. Доктор Уард в Лондоне не вынес бесчестья судебного приговора и отравился. В Скопье было страшное землетрясение...

Великолепный очерк в «Правде» от 11—12 августа о космонавтах и про одного из инженеров — конструктора ракет. Без волнения нельзя читать, а написано так просто.

Бедный, бедный Всеволод Вячеславович... Нет слов выразить, как его жаль... И бедная Тамара... Он очень мучается, говорят. О, бедный...

В Переделкине ранним утром и в сумерки звонят колокола старой церквушки, что на горе, дивно плывут по воздуху звуки... Церковка розовая, с синим куполом, с сияющим золотым крестом, хороша, как цветок, — издали, на горе, вся в зелени... Пониже, на склоне, кладбище, где под тремя соснами могила Бориса Леонидовича, неподалеку могила Ольги Максимовны Зив, она была добра ко мне еще в прошлом году, и у нее были красивые серые глаза. Милая... Еще пониже речушка, вся густо в деревьях, а дальше, ближе к яму — поле, и я его люблю больше всего. Мы с Вас. Вас. часто там гуляем.

От Ванечки писем нет, и хоть он предупреждал, а я жду... Аленка, слава Богу, поехала к бабушке в Орджоникидзе.

В Париж мы, безусловно, не поедем. Италия, Греция... Какое счастье просто поехать, просто взять билет и поехать во Флоренцию, в Рим, в Афины, на остров Родос... А мы этого счастья лишены. Почему?! Ну ПОЧЕМУ?! Поехать! С Васиком ехать в Италию!

15 августа

Сегодня рано утром умер Всеволод Вячеславович Иванов...

29 августа

На похоронах Всеволода Вячеславовича Асмус сказал в своем прощальном слове, что главным во Всеволоде была его доброта, нравственная сила и неподкупная чистота. Ираклий Андроников и еще многие надулись... О них таких слов не скажут... Мы часто ходим к Тамаре Владимировне, она держится мужественно, но сильно постарела...

Элизбар Ананиашвили возил нас на Бородинское поле. Солнце красным шаром плавно спускалось вниз за горизонт. Стояла глубокая тишина, с Шевардинского редута простор на все четыре стороны, далекие поля и леса, русская ширь...

Красиво было неопишимо и печально... Мне так печально на Бородинском поле... Не уходит отсюда печаль.

В деревушке Бородино пригорок, где стоял Кутузов, и там памятник, воздвигнутый в 1912 году, — обелиск, и орел распростер крылья, смотрит вдаль, на Бородинское поле, а там вдали французский памятник, поменьше: обелиск, и орел распростер крылья, смотрит в сторону русского орла... И лаконичная надпись по-французски: «Мертвым Великой армии. 1812».

Туда мы ехали дивной дорогой по старой Можайке, леса еще зеленые, не тронутые осенью, тепло и ясно. Оттуда возвращались в сумерки по Минскому шоссе. Мы с Васиком, как всегда, сидели рядом. Я так рада, что он поехал посмотреть Бородино. Как мне с ним хорошо!

Быстро стемнело. Фары встречных машин слепили нас. А Бородинское поле осталось позади. Оно как бы в другом мире, такое оно особенное, совсем особенное... Да, что-то незримое остается там, где много выстрадано, точнее, там, где происходили взрывы человеческих страстей, дум и чувств.

Позавчера, по горячей просьбе Игоря Ивановича Васильева — журналист, секретарь комитета по Ленинским премиям, — я пела (накануне я привезла гитару). Было человек шесть всего, не считая Василия. Пела всерьез. Спела песен двадцать, среди прочих две моих (и музыка, и слова): «Забытый богом барак» и «У каждого — в этом мире». Мне было в радость петь.

2 сентября

Иван Игнатович Халтурин рассказал: «Был у меня приятель Васька Голицын, из тех самых князей, и имел он несчастье жениться тоже на княжне — на Трубецкой. Был он рубаха-парень, любил выпить. Однажды надолго исчез. Встречаю его на улице, на Мясницкой, теперь она Кировской называется. Он идет, хромает. Я говорю: «Ты куда исчез? Ты чего хромаешь?» А он отвечает: «А я на Лубянке долго сидел... А хромаю оттого, что у меня нога перебита». Я говорю: «Как так перебита?» А он, озираясь вокруг, шепчет мне: «Они хотели, чтобы я покушался на Сталина. Будто бы я хотел совершить покушение! А я не подписал, как меня ни били. Надоел им, они меня и выпустили». Это было в 1938 году...

7 сентября

Сейчас кончила читать (в рукописи) книгу «Передай дальше» Анны Борисовны Никольской, худенькой, словно вечно чем-то встревоженной, старушки, на которую я два переделкинских лета подряд не обращала никакого внимания. У нее астма, и я знала, что она где-то когда-то отбывала заключение. И вот как-то теперешним летом, узнав, что она больна, я зашла к ней и предложила выпить для нее из Франции лекарство, которое, по ее словам, очень помогает от астмы. Она назвала лекарство и прибавила: «Не хочу умирать, пока книгу свою не увижу напечатанной». Так я узнала, что

она написала книгу, что отзывы уже дали Паустовский и Тихонов и что должен еще дать отзыв «всемогущий» Ираклий Андроников. Я попросила дать и мне рукопись для прочтения, не очень уверенная в таланте автора. Книга оказалась замечательным документом, хроникой жизни одного лагеря и его самодеятельного театра, создателем которого была она. Написано несравненно более талантливо, чем романы и повести множества наших «признанных».

Нужно, чтобы ее книга была напечатана! Неужели эта эпоха жизни нашего народа, пережитая многими миллионами людей, будет НЕ обнародована?! Может ли быть такое?! Но на нашей памяти и не такое было зачеркнуто, словно его и не было, словно того и не было... Бедная, бедная Анна Борисовна — сколько было ей подобных! Ее книга — замечательная, талантливая, нужная!

Завтра Женя Ольхина, Кира Волконская и я едем в Ярославль, Ростов Великий и Борисоглебск. Дивная осень. А я словно не рада, хотя так давно мечтала об этой поездке, словно не хочу... Какое-то тяжелое, страшное предчувствие... Не хочется Васика оставлять...

11 сентября

В субботу вечером, то есть три дня тому назад, а кажется, будто тысячу лет прошло, мы поехали по древним русским городам. Ярославль очаровал нас, Ростов показался сказкой, а Борисоглебск и церковь на Ишме — окончательно поразили, прикончили... Какое чудо эти древние соборы и в них изумительные фрески, написанные, конечно, великими художниками: Гурий Костромич, Сила Никитин, братья Карповы, поп Тимофей... Спасо-Преображенский монастырь и церковь святого Ильи в Ярославле, Кремль в Ростове Великом реставрированы частично, но очень многие уникальные монастыри и церкви заброшены, полуразрушены и гибнут. Горько и стыдно. Стыдно всем нам, русским людям, независимо от того, партийные мы или нет. Ведь это созданная руками наших предков красота, которую мы должны бы хранить и беречь и которой мы вправе гордиться. А если говорить с материалистической позиции — это наша валюта, ибо если Италия почти целиком живет и окупает себя туризмом, то и к нам со всех концов света приезжали бы дивиться на живопись и архитектуру русскую.

Ростовский Кремль на берегу озера Неро — диво дивное... Озеро так пространно, что дальний его берег теряется в дымке, — оно кажется морем...

Ярославский монастырь XVIII века прекрасен, как театральная декорация Гонзаго — руины... На полуразрушенных соборных куполах проросли березки и клены, лишь светлые стены с причудливыми башнями и павильонами уцелели, нависли над озером. Рядом стоит чудесная церковь XVI века «Спас на песках», но войти нельзя, в ней помещается какой-то склад.

Борисоглебский монастырь основан в 1363 году отшельниками Павлом и Борисом. Это мощная крепость, стены высотой в десять

метров, окружностью более километра, ширина такая, что помещались на стенах четыре тысячи воинов... Там в крошечной келье жил местный святой — отшельник Иринарх. Он приковал себя цепью к стене и просидел так, закованный, тридцать лет. Когда его спрашивали, зачем он так сделал, он отвечал: «Ибо народ мой в цепях»... Сила его личности была так внушительна, что когда он вышел с увещанием к Сапеге, напавшему со своими полками на Борисоглебский монастырь, то Сапега отступил, не дав сражения, не тронул и не разрушив ничего. Строил монастырь Григорий Борисов. В стенах монастыря скоро откроется скромный музей из добровольных пожертвований местных жителей и колхозников: прялки, старинные монеты, археологические находки, керамика XIV—XVII веков, лукошки, лапти. Меня особенно тронуло: большой берестяной короб с привязанным к нему домотканым полотенцем с веселой красной каймой и вязаным кружевом по краям. Этот короб на полотенце вешал себе на шею крестьянин, когда выходил сеять хлеб. Он бросал в землю зерна с молитвой об урожае... и день этот считался праздничным.

По стенам монастыря нас водил пожилой, бедно одетый, в обтрепанном костюме, московский художник Николай Сергеевич Фомичев. В числе других девяти художников «любителей старины» он пожертвовал и свои картины в музей при Борисоглебском монастыре. Ни он, ни Мария Николаевна Карасева, «хранительница монастыря», не получают зарплат и субсидий, работают на «общественных началах», хранят, ибо любят.

Древние иконы Борисоглебского монастыря сдали в 30-е годы на слом в столярную мастерскую — всего 400 икон, среди них, может быть, и иконы Андрея Рублева, из них стали сколачивать ящики под консервные банки...

Вокруг монастыря бескрайние просторы — поля, на горизонте темной полосой лес, на полях стога — пейзаж XV века, почему-то это особенно так кажется в серенький осенний день... Над воротами сохранились только две фрески; да и то вторую не видать — забита досками, там склад гороха...

Старик Николай Семенович Урусовский, хранитель деревянной церкви XVII века на речушке Ишме, сказал нам восторженно, тыча пальцем в намертво пригнанные бревна: «Теперь за деньги делают вещи, работают, а раньше ЗА СОВЕСТЬ делали... Разве за деньги сделаешь так, как за совесть-то свою!..» Интересный, умный старик, влюбленный в свою деревянную церковь, показал нам оконца галереи, которые наглухо закрывались ставнями-щитами, потолок, выложенный деревянными плитами, как паркет, — он кажется выпукловогнутым, а на самом деле он плоский; иконы изумительной работы: на одной — Богородица, на другой — Св. Иоанн Богослов является архимандриту Абрамиевского монастыря (Ростов Великий) и вручает ему жезл. Резной портал, резной иконостас — строгий, изящнейший... Церковь маленькая, необыкновенно уютная, благостная, воистину преисполненная какой-то святости...

Но Ростов Великий на берегу озера Неро! Дали неоглядные и голубые, золотые, серебристые купола, куполочки... Мы познакомились с главным реставратором Владимиром Сергеевичем Баниге, который водил нас смотреть фрески в церквах: «Спас на Сениях», «Св. Иоанна Богослова» и «Воскресение». Показал нам «голосники» — отверстия в стенах и в полу для резонанса. В «Спасе на Песках» росписи братьев Карповых и попа Тимофея. Справа от входа во всю стену фреска «Страшный суд», посредине ангел с весами, одесную праведники, а ошую грешники: иностранцы-изуверы в кружевных белых воротниках и высоких шляпах, и «неверные», то есть магометане — мусульмане в белых чалмах, но в боярских кафтанах. Внизу кривляются, кувыркаются черти и чертенята, ящеры, змеи, драконы и сидит Вельзевул, почему-то с нагим отроком на коленях. Гм... Надписи: клевета, зависть, лихоимство, гнев и убийство, блуд и любодействие, гордость и прочие грехи, а по другую сторону: милосердие, благочестие, смирение, кротость... Забытые теперь слова — их больше не говорят. Детали фресок: «Страсти» — изображены в виде колес с крылышками. Дивно написаны облака, цветы, но лучше всего птицы и звери — белые, грациозные, порой причудливые, например верблюды с изогнутыми лебедиными шеями, львы с кошачьими мордами, овцы, изящные, как лани... Завтра напишу про Ярославль. Но про Ростов Великий можно рассказывать без конца. Фрески, где множество бытовых подробностей, картины жизни, мировосприятие, мироощущение, космогония, идеология тех веков... А какое чувство цвета, какая изысканность! В XVII веке в Ростовском кремле жил митрополит Иона Сысоевич, по-видимому, вельможа из вельмож, в саду росли яблоки — румяные, огромные, и розовый шиповник «для духу». Он выстроил себе Красные палаты, которые сообщались с церквами висячей крытой галереей. В палатах у него были теплые проточные уборные... Церкви кремля, стены и башни сообщались между собой подвесными переходами, галереями, можно было весь кремль обойти, не спускаясь на землю. Баниге, или, как его в Ростове называют, Банига, сказал: «Надо вернуть ансамблю его прежний вид и превратить его в историко-архитектурный заповедник мирового значения». А сам Банига — бывший ссыльный, великолепный старик, сильный, крепкий. Он архитектор.

Следовало бы также оставить в прежнем виде весь центр заолустного городишки с его гостиним двором, торговыми рядами и еще многими древними прелестными церквами... Окупилось бы не только все и повсюду, осуществить бы реставрацию... И взялся бы за это дело, засучив рукава, по-серьезному, а не так: то отпустят средства, то нет. Одно можно сказать: Советская власть в 1963 году сделала для Ростовского кремля больше, чем царское правительство, ибо, по словам местных старожилов, кремль был заброшен и приходил в ветхость к 1916 году... Потом его здорово разрушили в борьбе с религией, а смерч 1953 года, длившийся всего три минуты, добил его: сорвал купола, разметал кое-какие постройки, обрушил частич-

но стены... Смерч — это редчайшее явление в России, подобное «торнадо» в Америке. Бабушка Карпычева, у которой мы жили в комнатухе с узорчатыми решетками на окнах, так рассказывала нам: «Вот, милые вы мои, война-то стороной нас обошла, ни бомбы, ни немца мы не видели и жили-то неплохо, мы ведь издавна огородники, сама я с той стороны Неро-озера, а в Ростове-то лет уж двадцать живу. Так-то в ясный погожий день вдруг летит на нас столб крученный, с небес до земли вертится, налетело, шарахнуло, народ остолбенел, а он узкой полосой вдоль по улице, да через кремль, да в озеро — огненным столбом озарился и в озере канул, только воды-то забулькали... Ох, страсти Господни! Лошадь с телегой подняло в воздух, обзечь шваркнуло, крыши летят, камни, деревья с корнями, людей подымет да как вертанет — и насмерть... Народу-то сколько полегло: детишки малые, мужики молодые да бабы, много жертв было... Да молчком про то, покрыли... Ведь за грехи за наши Господь знамение послал: мол, вы меня забыли, а я вон как! У нас воинские части в городе стояли, а что солдаты да пушки с таким-то явлением сделать могут?! Никакая сила его не возьмет! Налетел да сгинул, только его и видели... Стали мы убитых и раненых собирать, на улице камни разворачивать, а под ними лошади, деревья большущие... В кремле страсть сколько всего порушило... Великий плач да стон стоял по городу...»

Спутницы мои подчас невыносимо мешали мне восторженными рацеями (Кира Волконская) или «научным подходом» (Женя Ольхина) — мне хотелось только молча смотреть. С Кирой мы раза два даже погрызлись, но Женя начинала мрачно бормотать: «Только не уступайте! Только не уступайте!» И я хохотала до слез, так это было комично, а Кирка быстро остывала. Она вздорная до удивительности, но незлобива и шармантна. Женя Ольхина — единственный положительный герой в нашем трио: умная, милая, выносливая, неутомимо шагала с нами, и когда мы валились от усталости, шагала дальше одна. Симпатичная бабушка ставила нам самовар, молниеносно закипавший, он уютно фырчал и причмокивал на столе, и мы пили душистый крепкий чай, который идеален, конечно, только тогда, когда постоит в чайнике на самоварной конфорке... В комнатухе было тепло — бабка топила печь, в углу, под образами, теплилась лампадка. Мы в девять часов вечера засыпали на высоких старых кроватях, пахло коровником, осенними прелыми листьями тополей, от озера веяло рыбной сыростью, а на рассвете печально кричали чайки...

Но как счастлива я была снова увидеть Васю! Я так торопилась вернуться!

Джирквелов из Союза журналистов сказал Василию, что Союз НЕ будет поддерживать ходатайство о нашей совместной поездке в Париж. Это значит ОТКАЗ... В Париж мы не поедем, и Василий, которому 78 лет, никогда больше не увидит ни своих друзей и родных, ни города, в котором прожил почти полвека и где столько сделал на пользу нашего Советского Союза... А такие циники, как

Владимир Иванович Орлов, ездят куда и когда хотят. Он со своей Люсей, которая, конечно, и лучше и порядочнее его, живет в квартире, заставленной мебелью красного дерева, огромными севрскими вазами, сундуками и прочей суетой сует. Обстановка роскошно-мещанская, а он коммунист. У него толстое лицо и пухлые руки с коротенькими пальцами. Он блестящий рассказчик и знаток Ватикана. Циник. Был редактором «Советской культуры», и Пьер Куртад сказал про него: «Это убийца культуры!» А ему можно за границу, а нам нельзя. Ужасно! Логика, причины отказа нет. Васенька очень опечалился, но молчит, чтобы не огорчать меня... Жаль и себя, и всю нашу страну.

14 сентября

Переделкино. Здесь живет вздохмаченный молодой поэт из Ярославля Щеглов. Он рассказал мне: «В Ярославле в 1935 году решили взорвать церковь Ильи-пророка, вы ее видели, ту, где такие изумительные фрески. А мой отец был художник, любитель старины. Он послал об этом телеграмму в правительство — Калинин в Москву, а сам залез на колокольню Ильи и там сидел четверо суток, пока не пришел ответ с приказом сохранить церковь. Местные власти медлили, не решаясь все же взорвать собор с человеком. Мой отец досидел до победного результата. Он спас Ильинский собор от уничтожения».

11 октября

Вася в больнице. Он сказал, что первый раз в жизни попал в больницу. Утром пошел в поликлинику на электрокардиограмму, и вдруг мне позвонила Анна Наумовна и веселым голосом сказала, что ему надо лечь в больницу. Я помчалась в поликлинику Литфонда. «Скорая помощь» уже ждала. При виде меня Вася успокоился, повеселел, а я держалась так, будто ничего не произошло... Поехали в 52-ю городскую больницу, его уложили подле окна. В палате, где лежит Вася, больных семь человек, считая его... Я уже второй раз сегодня бегала к Васеньке, но у самой ноет сердце от тоски и так... Подымаюсь к нему на пятый этаж, а в лифте не могу, боюсь. Горе, тоска!..

Нет, ничего страшного нет с ним. Пускай, пускай отдохнет... Я спросила его еще в поликлинике Литфонда, когда его увидела: «Ты хочешь ехать в больницу? А то я тебя домой повезу!» Он поморщился и сказал: «Пускай уж, как они хотят!» Не жалуется, не бледный, даже веселый... Ничего, ничего, все будет хорошо! Он снова будет дома со мной. Счастье, жизнь моя...

Вчера, еще вечером, дома он лег и сказал мне вдруг тихо: «У меня тоска на сердце»... И я подошла, приласкала его и говорю: «Ну почему, почему?» Он говорит: «А вдруг меня уложат?!» Я говорю: «Оттого, что ты завтра пойдешь на электрокардиограмму? Ну и что ж, если надо — полежишь, помнишь, как в Переделкине?» А ут-

ром он один, один пошел в поликлинику, но вернулся с лестницы и сказал: «Я ключи забыл». А я еще думала, что ему трудно... А я с ним не пошла, обед надо было готовить. Ох, надо было с ним пойти...

23 ноября, суббота

Василий Васильевич умер в восьмом часу утра 20 ноября.

Накануне вечером мы разговаривали. Он крепко-крепко пожимал время от времени мою руку. Около семи часов вечера он сказал мне: «Иди домой, ты устала, иди домой!» А днем сказал: «Ты меня отсюда выцарапаешь?» А я сказала: «Разве ты не чувствуешь, как я тебя все выцарапываю понемножку, только колесо очень медленно вертится». Это он днем сказал, глядя на меня...

С утра 19-го мне было мучительно тревожно на сердце, почему-то мучительно тревожно... Хотя докторша Валентина Сергеевна после обхода сказала мне: «Ему не хуже. И давление неплохое. Угрожающего я ничего не вижу».

Аленушка принесла сливки, как обычно, к часу дня, но он не захотел, чтобы она зашла к нему... И ей я сказала, как мне тревожно.

А к вечеру я немного успокоилась, он уже не спал, поел, сказал: «Принеси мне завтра тушеной морковки». И мы говорили о чем-то, и он «погнался» меня домой. Как всегда, мы нежно простились. Долго-долго посмотрели друг другу в глаза. «Какие прекрасные у тебя глаза!» — сказала я ему. Он, улыбаясь, махнул рукой. Поцеловал мне на прощанье руку...

Ночью я проснулась, как от толчка, хотела встать, идти к нему. Смотрю: на улице темно, набираю на ощупь телефон. Голос говорит: три часа четыре минуты — так рано! Я поняла, что вставать еще нельзя, и лежала долго, не засыпая, в каком-то забытьи — так Вася произносил это слово! Забытьи... Мы с Васей едем в Париж, ночь, темное купе, мы вместе, и такая радость ехать. Вместе... И я чувствовала, что на расстоянии он мысленно отвечает мне — мы общаемся... Я заснула. Наутро встала, собрала все, пошла к нему.

Было позднее, чем обычно, около девяти часов. И в раздевалке сухорукий человек, давно меня знавший, посмотрел на меня так строго и говорит: «Вы куда идете?» Я говорю: «В 113-ю палату...» — «К кому?» — спросил он. Я назвала фамилию, и я все поняла, но еще не поверила, не поверила! «Нет, подождите! Не говорите ничего! Не надо!»

А он помолчал и сказал: «Вы сядьте, посидите здесь». И я сидела, сидела... А потом позвонила Алене и Ване, чтобы они сразу пришли. Потом я поднялась вверх. Докторша Рита Рафаиловна, сестра Надя и санитарка тетя Марина, а потом милый Станислав Игнатьевич Белецкий сказали мне, что он заснул и умер во сне. Ему поставили термометр, а когда через десять минут подошли... Он не мучился, не страдал. Станислав Игнатьевич Белецкий сказал мне: «Он умер, как праведник...»

Мы похоронили Василия Васильевича вчера в Переделкине. Ваня выбрал место совсем близко от Бориса Леонидовича Пастернака. Красиво, шумят три сосны, а дальше сейчас изумрудное поле... В гробу он лежал величавый, помолодевший, удивительно, удивительно красивый...

У гроба его я сказала: «Друг мой милый, дорогой дружок мой. Спасибо тебе за любовь, за счастье, за воскрешение мое...» Счастье быть с ним незаслуженно выпало мне на долю, и всем во мне, каждой кровинкой, я любила его, великолепного Василия Васильевича. Душа моя, друг дорогой... Нет, не прощай, нет! До свиданья!

Мне хотелось к Асе. И ей хотелось увидеть меня. И в среду я еду к ней.

27 ноября

Приезжала Ирочка, моя милая сестра, добрая душа, чтобы быть со мной.

20 декабря

Алена все время около меня. И Ваня. И Верочка Медведева со Светланой — черной кошкой. Игорь и Юра Тисов.

Как же жить дальше, когда нет Васи? Надо ли? Да. Надо, пока не настанет мой час. Мы будем вместе! Помню, я как-то ночью сказала ему, что миллионы лет назад мы с ним вместе жили в пещере, и я была его женой, и что через миллионы лет мы опять встретимся. «Только ты меня узнай! Обещай, что тогда ты меня узнаешь!» Он обещал. Мы встретимся.

БЕЗ ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

1 января 1964 года

Вчера, в ночь Нового года, Аленушка со Светланой, Верочка Медведева и Женя Ольхина были со мной. Алена устроила все так красиво, Игорь притащил елочку...

Спасибо девочкам — я целый день возилась, жарила им гуся, что-то стирала — и легче было...

Вася, друг мой, скучно мне без тебя... Места себе не найду — все СКУЧНО. Света нет!..

6 января

Утром повестка на два пакета из Швейцарии — позвонила, — они сами доставили. Это — пряники «Ледеряэ», знаменитые медовые пряники швейцарцев для меня и Натальи Николаевны Русановой от Марии Моллар-Русановой. Милая Мария Ивановна!

Звонила Кондратовичу в «Новый мир». Он: «Надо начинать

работать над рукописью Василия Васильевича, напечатаем примерно в мае». Сказал, что многое зависит от Марьямова. Пришли ко мне Элисбар и Лена Ильзен. Были также Алена, Светочка, Ваня.

Доктор Пешковский рассказывал, что сидел сначала в Братске, потом в Караганде; рассказал много интересного. Сказал, что у меня был спазм сердца. Оно очень болело.

Часов в шесть пришла Галина Викторовна Федорова — Васенька хорошо знал ее отца...

Вчера пела пластинка — Эдит Пиаф — «Гимн любви» — гениальная певица, голос брал за горло, сердце разрывалось...

Вечером была одна — впервые за много дней — и как-то не черно, не мрачно, словно мой Васик ходит около меня, словно любит, думает обо мне. Словно он совсем рядом.

8 января

Позвонила из «Нового мира» Лидия Ивановна Лернер — будет работать над рукописью Василия Васильевича. Это радостная новость.

Вася не возражал против сокращений, но категорически был против искажения, малейшего искажения его мысли.

Пришла милая Галина Викторовна Федорова. Скоро едет в Париж. Когда Васик был болен, она приходила в больницу, приносила манную крупу и геркулес...

9 января

Была Лена Елкина. Потом Ванечка пришел с работы. Потом Аленка, Светлана и Юра Тисов... Едет к Ире, к матери. Он теперь военный инженер — мой племянник — сын Ирочки. Я с ним послала пакет с пряниками Наталье Николаевне от Марии Моллар-Русановой.

А вечером пришел уполномоченный милиции, рассказывал страшное об убийце, который ходит по квартирам, грабит, будто высокий и худой, с длинным носом, восточного вида... Очень страшно. Предупреждал никому двери не открывать, если кто незнакомый постучит. Ужас! Он убивает мальчиков... Уполномоченный, строгий пожилой человек, дождался Вани и впился в него глазами. Ушел успокоенный. Ванюша был вчера особенно красив!

Разбираю «Либерасьон» за 1963 год. Пока что я получаю и «Монд» и «Экспресс», не говоря о «Либерасьон». Значит, д'Астье слово свое сдержал.

На Ваню рассказ милиционера произвел тяжелое впечатление — какое-то особенно тяжелое... А милиционер просто ел его глазами. У Вани, слава Богу, вид не восточный.

10 января

Звонила Галя Федорова: насчет пенсии может посоветовать некий юрист Абрамский, полковник в отставке. Но мне он ни к чему.

Ваня вдруг сказал с ужасом, глядя на меня: «Но ведь он был нормальный — и вот внезапно стал убивать людей! Ни с того ни с сего сошел с ума и стал убивать!»

Мне стало невыносимо страшно.

Надо, чтобы Светлана, Черная Кошка, ночевала у нас.

11 января

Не выхожу на улицу: боюсь потом войти в пустую квартиру... И сижу дома. А на улице тепло и сухо. Хочется на воздух. Но боюсь.

СТРАХ. Страх опять мучает меня по всякому поводу.

Светланочка сегодня ночует у меня, и я выплусь.

Но Васик рядом. Остаются какие-то радиации от очень хороших, очень умных людей...

12 января

Получила утром из Парижа письмо от Сюзанны: «Василий был моей страстной любовью, единственной любовью моей жизни». Обедала у Катала. Они часто зовут меня в гости.

Вечером: Аленушка, Света, Игорь, Ваня.

Вырезки из «Либерасьон», как раньше для Васи, для себя — все самое интересное за год... Мне легче, когда вокруг люди, которые знали Васю.

13 января

По радио передали, что убийцу поймали: 26-летний артист из Свердловской музкомедии! Ужас, я боялась спать, Армянин, по фамилии Ионесян.

Утром пришла Верочка Медведева, мне с ней, как со своей породой, легче, чем с кем бы то ни было. Я разбирала старые советские газеты с отметками Васи... Почему мы никогда не говорили с ним о смерти? Оба избегали говорить о ней, обходили молчанием... Не могу привыкнуть к тому, что он не жив. На фотографии, где он маленький с матерью, — такой чудесный малыш, глубоко спокойное личико — и так похож на того, которого я знала: старого, мудрого, величаво покойного... Поговорить бы, что вот, мол, когда... я... или ты... Он со мной — от него идет радиация, охраняя меня, любя меня, со мной общаясь. Его душа.

Вечером: Ваня, Алена, Света, Игорь, Верочка.

14 января

Аленка ночевала у меня, и я выпалась впервые за неделю. Женя Ольхина и я поехали в Донской монастырь к искусствоведке из Ярославля. Она живет в келейке, в бывшем доме настоятеля — постройке XVIII века. Монастыря давно нет, на кладбище с о в с е х памятников сбиты кресты. Заброшенное, явно никому не нужное, оно производит угнетающее впечатление. Для нас трех открыли Музей архитектуры, запертый в этот день. В нем собрано с два десятка надгробных памятников. Это бывшая усыпальница князей Голицыных. Тех, кому посвящены пышные, великолепные изваяния и витиеватые надписи, подчас трогательные, — никто теперь уже не помнит, хотя прошло всего с полвека... О, как особенно у нас в стране, где так расточительно ничего не берегут, верно латинское изречение «Sic transit gloria mundi»¹... Тогда в больнице я увидела, ощутила неумолимый, неудержимый, все уносящий поток — река времен... Хочется в роддом — повидать новорожденных.

15 января

С Верочкой пошли в Третьяковку. Смотрели иконы. Великолепен архангел XIV века и Рублев. Все остальное, конечно, красиво... Но как мы хвастаем! Уж как мы хвастаем!.. А в это время в Италии — Джотто, Беноццо Гоццолли, Леонардо да Винчи, Фра Анжелико, Боттичелли... Эх...

Вечером — Алена. Звонила Мария Федоровна Гус, добрая душа — насчет денег. Предлагает в долг. И Банниковы — тоже. Это люди редкие, ибо никто другой из моих близких друзей (а эти как раз далекие) о том, на какие деньги я сейчас живу, не спрашивают. Сегодня тоска о Васе такая; что сил нет!..

16 января

Как уютно эти преступления на плечах у всех! Убивать детей! Ионесян, безусловно, НЕНОРМАЛЬНЫЙ, но ясно, что его признают нормальным, чтобы расстрелять. Ужас!

17 января

Была Женя Ольхина. Симпатыга. Светлана ночует. С Ваней — так себе. Он ворчит, что готовлю густые супы и наливаю ему не горячий чай; ворчит всерьез и злобно. Когда у него злые трагические глаза — я боюсь его...

Приходила Ляля Маевская. Говорит, что Лена Ильзен стала невыносимо безапельсионной (Васик говорил, что у Лены очень холодные глаза...). Но я Лену очень люблю. Но Васик однажды сказал: «Я ни у кого не видел таких холодных глаз».

¹ Так проходит мирская слава (лат.).

18 января

Были Сосинские. Они неприятные. Снобы! Володя написал за меня прошение в Литфонд о деньгах. А мне противно и хочется пойти и порвать это прошение, хотя денег осталось 20 рублей. Ваня НЕ участвует в расходах на жизнь... По-моему, с пенсией в конце месяца должно же выясниться!

Были милые Роллеры. Вадим — астрофизик. Света. Аленушка. Верочка. Ваня пришел очень поздно.

19 января

Были Виктор Григорьевич Финк и Кирилл Хенкин. Я не звала — сами приехали. Коля Атаров прислал великолепную мою характеристику в Союз писателей, и Финк, прочитав ее, тут же написал еще лучше. Подали в Литфонд, чтобы мне стать членом Литфонда.

Еду к Кире Волконской с ночевкой.

20 января

У Киры были Женя Ольхина, Леля Голенищева-Кутузова, Алиса Порет и Лена Васильева. Слушали пластинку: Андрей Волконский играет на клавесинах Баха. Изумительно!

Днем была в Союзе. Потом у инспектора — переводить на мое имя счет за квартиру... Надо что-то делать, делать... Так легче.

Алена была и помогала. Позвонил Николай Васильевич Банников и сказал: «На семейном совете решено предложить вам картошки — у нас полный подвал. Вы не обиделись?» Я ответила: «Вот это спасибо! Чудесно, я от души благодарю, привезите, но немного, а то некуда...» Миляги! Чудные правильные люди.

Звонила Лиля. Она всей душой ко мне. И Маруся Тихонова. В Союзе я встретила Беллу Ахмадулину с Андрюшей Вознесенским. Они бросились ко мне.

21 января

Ваня на днях вдруг снова сказал мне: «Ты понимаешь, этот Ионесян все был да был нормальным — и вдруг сошел с ума, неизвестно почему! И стал убивать!.. Неизвестно, почему в один миг стал ненормальным!» И у Вани в глазах был такой ужас, что мне самой стало жутко!

Был художник Вилли Барский из Киева. Отдала ему портрет Василия Васильевича, «Президента всея Руси» — какой-то купчина попивает шампанское!.. Вилли обещал переделать. На его картине Васины плечи сливаются с креслом. Кресло и плечи одного цвета, не различишь.

22 января

Взяла в Литфонде обратно свое заявление, написанное за меня Володькой Сосинским. Не хочу просить у них денег, как нищая! И рада, что взяла! Ни слуху ни духу о пенсии...

Света ночует. Сегодня таяло, а завтра, по радио объявили, снова 20 градусов мороза.

23 января

Была в Союзе. Вика¹ — не помню фамилии — важная блондинка — не приняла бумаги мои. Господи, да черт с ними всеми! Ведь Вилли Левик мне сам предложил вступить в Союз писателей!

Галина Викторовна Федоровна, лицо которой сразу располагает к себе, завтракала со мной и Светкой.

Ася прислала мне стихотворения — книжечку Евтуше, стихи есть прекрасные. Нет, Евтуше наш поэт номер ПЕРВЫЙ! Но, увы, куда ему до Тютчева, Фета...

24 января

На кой черт мне надо становиться членом Союза писателей или Литфонда? Только, чтобы меня наверняка похоронили рядом с Василием Васильевичем.

25 января

Именины, грустный день!.. Были Ирина Гогуа, Женя Шмидт и все девочки, Ваня и астрофизик Вадим, неприятный молодой фанатик, который обиделся, что девочки не обращают на него внимания, и быстро ушел. Слава Богу, остались «свои».

Та Татьяна, которая была, тоже умерла вместе с Василием Васильевичем...

30 января

За мной приехала Женя Гремяцкая, а я взяла с собой еще Светку, и мы все поехали к Марии Евгеньевне Гремяцкой. Михаил Антонович умер месяца полтора тому назад. Чудесный человек, большой ученый. Старенькая, худенькая М. Е., все такая же взбалмученная, на ходулях, в ней никогда не было гармонии, мира. Как много было света, гармонии, мира в Василии Васильевиче! Была Инка Крыжевская, красивая, а Женя вся гнилушка, но у меня симпатия к ней, а порой отвращение. Зашли мы к Инне — у нее полугодовалая дочь — Оля, ну что за прелесть! Прямо на душе светлее стало от этой малютки!

¹ Виктория Швейцер.

31 января

Была в Литфонде. Мэри мне подарила банку варенья. Все противно... Алена ездила меня провожать туда и обратно, так как гололед. Тоска! Гололед, а мне бы бродить, бродить... Все слышу его голос накануне: «Ты меня отсюда выцарапаешь?!» — с тоской, с надеждой!.. И та ночь, когда я проснулась, как от выстрела, — хочу бежать в больницу — всего три часа ночи — а так хочу к нему, чувствую, что и он обо мне, — осознаю, осязаю связь между нами и засыпаю, мирно, тихо... А наутро, когда я пришла... Но он строго сказал мне как-то в больнице: «Не причитай надо мной!»

С Женей Москалевым, товарищем Вани по институту Цветмета в Орджоникидзе, произошло следующее: он ехал утром с товарищем на мотоцикле и сшиб человека. Женя соскочил, бросился, оттащил на тротуар сбитого человека — тот уже был мертв! — схватился за голову и, крикнув, что поедет за «скорой помощью», уехал, но НЕ за «скорой помощью»!.. Он разобрал мотоцикл на части и молчал, но через месяц милиция все равно его нашла. Сейчас он сидит в тюрьме по обвинению в убийстве, так как он не бросился за помощью и скрыл все... И оказалось, что убил он своего любимого профессора. Женя был аспирантом при кафедре геологии в институте в Орджоникидзе. Жаль его ужасно. Он способный, хороший парень, а струсил. Но его, слава Богу, оправдают, ведь он совершенно нечаянно...

1 февраля

Светка, Алена и я были у Роллеров, далеко, у Химок, на новой квартире — очень премило! Они из Парижа, такие простые и славные. В прошлом году мы с Васей обедали у них в первый день Нового года. Они были в Соппротивлении. У Николая Николаевича красивейший орден. Они друзья Васи.

Приехала или завтра приедет Шара — венгерка-коммунистка, сосланная когда-то в Воркуту. Прямым путем из Будапешта. В лагере мы с ней и познакомились. Она подруга Ляли Маевской и Лены Ильзен. Она умная и очень культурная. Одинока и несчастна. Но снова в своей Венгрии и в большом почете. Ведает отделом иностранной литературы в Главном издательстве.

2 февраля

Обедала у Катала. Спасибо им — они молча мне сочувствуют.

В мае они едут во Францию.

Жан Жанович ходит на протезах — у него в юности был, наверное, полиомиелит. Он элегантен, помпезен, тонкий, умный че-

ловец, но с некоторыми подчас бывает груб. Со мной изысканно и сердечно любезен. Он слегка похож лицом на портрет Франциска I работы Клуэ, — большой гасконский нос и ниточкой рот. А Люся все больше, с годами, становится похожей на француженку. Они очень теплы и внимательны ко мне.

3 февраля

Сима Маркиш и я поехали к Жене Ольхиной, которую завтра кладут в больницу. Она отдала мне свой небольшой архив, чтобы я присоединила его к нашему архивному фонду Сухомлиных. Главное — альбом с фотографиями. Ведь они родные Юсуповых. И стихи великой княжны Ольги.

Вечером Алена со Светкой привели ко мне и к Ване молодого человека из хора — Алешу, который прокрутил нам свой любительский фильм.

Звонила Владимиру Михайловичу Померанцеву насчет Васиных мемуаров для издательства «Советский писатель». Владимир Михайлович прекрасный человек, он с глубоким уважением относился к Васе. Он пишет великолепные рассказы и статьи.

4 февраля

Вечером я со Светой — боюсь упасть и переломать еще какие-то кости — у Марьямовых. Александр Моисеевич сказал, что сам готовит рукопись Вас. Вас., — просил посоветовать редактора по французским делам; я назвала Катала.

У них уют. Елена Владимировна красивая, и от нее исходит тепло.

Трачу скупоскупоскую последнюю десятку.

Пишу нарочно ежедневно — нанизываю какие-то мелкие дела друг за другом — пусть каждая минута будет занята! Так легче.

5 февраля

Завтрак у писателей с Галиной Федоровой и Еленой Сергеевной Романовой — она милая женщина; но я — белая ворона в этом Доме литераторов. Многие из них такие помпезные, так из кожи и лезут — и даже Евтуше!

6 февраля

Света возила меня к Жене Ольхиной — та болеет, но я сказала ей, что лучше не ложиться в больницу...

Надо было делать Васе кардиограмму **Н А Д О М У**.

Вечером пришли Банниковы и Элисбар. Денег осталось пять рублей.

7 февраля

Звонила насчет пенсии. Сказали, что пока ничего нет, и на мой вопрос, скоро ли? — уклончиво ответили: «Не знаем... Сообщим...»
Я БЕЛАЯ ВОРОНА.

В Красном Кресте и в Комитете защиты мира ОБЕ дамы больны. Поэтому задержка с пенсией.

Это было в 1930 году: мы гуляли по Москве, по Красной площади — я и отец Вани — Луи Фишер — он сказал мне: «Вот вы всей душой русская и с ними, а они знают вас не хотят и вас отсюда «выживают»... Да...

Алена гуляла меня часа полтора — спасибо ей!

Вечером пришла Верочка.

Ваня дал мне 10 рублей.

8 февраля

Пришла Лена Марьямова — приятно смотреть на нее! Как румяное яблоко — пышная, холеная, здоровая, сильная. Рыжая и румяная.

Вечером пришла замученная работой, мужем и друзьями Лена Ильзен, сверкая прелестным лицом и остроумием. А еще позднее пришли Алиса Порет и Лена Васильева. Алиса талантливая выдумщица. Она очень ко мне добра.

Литфонд постановил выплатить мне крупную сумму по бюллетеню.

Кира кому-то продала для меня Васины башмаки, с деньгами у меня обошлось.

Меня страшно беспокоит, что Света — Черная Кошка беременна, а Игорь как сквозь землю провалился. Он должен мне 15 рублей. Исчез!

9 февраля

Аленушка и я поехали в Переделкино — пушистый белый покров лежит на могиле так покойно, так мирно...

Заехали на четверть часа к Магдалине Ивановне Сизовой на обратном пути в Дом творчества. Она написала интереснейшие воспоминания о своей юности, об Андрее Белом, близким другом которого был ее старший брат; о Рудольфе Штейнере, основоположнике антропософии. Она тоже была членом этого странного мистического общества. В Доме творчества новые кресла — и вообще все стало как-то современнее. А во мне все печаль и печаль...

Потом обедали у Катала. Была еще Ирина, невеста художника Фужерона. Люся продала мне свои теплые черные сапожки из замши, но они мне малы. Удивительно изящные они, из той, прошлой моей жизни... Потому я их и купила. «На память».

14 февраля

Кира Волконская вчера привезла деньги за мои новые туфли. Ее Андрей влюбился в киргизку, похожую на стрекозу. Кира боится, что пойдут монголята... косоглазые бэбэшки...

А у Андрея уже есть сын от эстонки! Кира говорит, что плакала от Андрея года три назад — так он бывал груб и непонятен. А теперь они друзья. Ваня груб и непонятен... Будем ли мы друзьями? У него грипп. И волосы снова больны...

Андрей талантлив, пишет додекафонии.

Самое главное. Звонил Марьямов: редакция согласна отдать Катала просмотреть, и; кажется, со мной подпишут договор. Аркадий Белянков, близкий друг мой, умнейший красивый человек, сказал мне, что тогда это — гарантия, что они будут печатать. Все зовет меня пожить с ним и Наташей на даче. Звонил писатель Гус — просит непременно дать ему рукопись Васи. Я сказала, что у меня ее нет. Не дала.

15 февраля

Говорила с Владимиром Михайловичем Померанцевым. В понедельник передам ему рукопись Василия для «Советского писателя». Вот ему я вполне доверяю!

17 февраля

Пишу о вчерашнем длинном дне. С Верочкой мы поехали к Каталам. Очень ветрено, холодно и скользко на улице. У них было уютно. Верочка была прехорошенькая, как всегда, впрочем. Она мне родная. Вчера ей снился Василий Васильевич — будто он молодой, лет сорока пяти, будто и я в комнате. Только незримо, и Васик говорит Верочке, что надо любить! И что любовь — это добро... Верочка говорит, что так ясно и ярко его видела...

От Катала поехали прямо домой, а часам к девяти Света и я пошли к Марьямовым.

У Светланки все, слава Богу, в ПОРЯДКЕ. А Игорь таки позвонил сегодня Алене.

18 февраля

Пришла Женя Ольхина: плохо выглядит, сильно постарела, бедная! Я поправила ее «Стефансона» для журнала «Вокруг света», чтобы напечатали. Умная она. Свой человек.

Вечером пришли Банниковы — Нина Сергеевна притащила еду, он пришел позднее. Великолепный рассказчик. Их милейшее ко мне отношение я очень ценю!

19 февраля

Приехала Клара Страда из Италии. Более счастливая, чем была. Ждет второго ребенка. Милая. Русская. Но глупенькая...

Я получила от Красного Креста 49 рублей. Очевидно, это будет ежемесячно. С голоду не помру, теперь смогу заниматься только переводом Васиного «Детства» с французского на русский язык и свое писать, а не переводить. С содроганием вспоминаю Ирину Павловну Архангельскую, редакторшу по «Долине в огне»,— она поправками весьма искалечила мой перевод, она холодная, и Васик гневался на нее!

20 февраля

Печальный день...

Три месяца, как нет Васи...

Позвонила Наташа Столярова, только что из больницы — подозревали опухоль... Но, слава Богу, ничего не было. А я-то считала, что она просто глаз не кажет и что она «чужая»... Я рада, что она позвонила! Что она здорова! Она сказала мне: «Говори всем, что у меня был аборт». Мы стали очень редко видеться.

21 февраля

Звонил старик Николай Николаевич Померанцев — реставратор, тот, что когда-то спас Оружейную палату для потомства и с 1918 по 1931 год был ее хранителем. Потом сидел в лагере. Потом выпустили. Умнейший и симпатяга.

Была у глазного доктора. Нет, со зрением, с глазами все благополучно, просто глаза болят от слез.

Вечером пришла Луиза Кокоева. Она прямо-таки красотка. Но Ваня к ней равнодушен. Луиза говорит, что Женя Москалев все еще сидит в тюрьме, суд скоро и что его, конечно, оправдают. А я думала, что уже.

Ваня стал ко всему равнодушен...

22 февраля

Отнесла машинистке, старенькой, полуслепенькой Варваре Николаевне — ее нашла мне Лена,— запись Васи о вечеринке в честь Рафы Левитина в квартире Цаплина; его, Рафу, привела Наташа Столярова. Рафа долго сидел в тяжелейшем лагере.

В тот вечер Вася первый раз пришел ко мне — я пела. Пела для него «Русские девушки» и «В знакомой улице». И «Неаполь», и еще... и он сверкнул на меня глазами...

Позвонили из Красного Креста, Нина Александровна Владимировна, что ежемесячно будет мне от них пособие. Значит, будет еще и пенсия. Материально мне будет нетрудно. Все мне от Васи.

Вечером я и Светик у Киры Волконской.

23 февраля

Дивный морозный день, а солнце смотрит по-весеннему. Ездили со Светой на кладбище.

Звонил Марьямов, говорил, что Майский вернул рукопись Василия Васильевича с самым лестным отзывом. Поскорей бы напечатали!

Вечером у Катала некий профессор Сапрунов Федор Федорович с женой Натальей... человек необыкновенной судьбы (русский, родившийся во Франции) и умный коммунист. Биохимик. Рассказ его «Митька-флейта».

Я сказала, что чую, что во всем мире (не только у нас) будет Возрождение Религии. И что, пожалуй, только в этом наше спасение. Единственное. Ибо мы страшно пали в нравственном отношении, и мы все виновны в сталинских преступлениях. Но понимают это очень немногие.

24 февраля

Приходила Клара Страда, с упоением ела жареную картошку с солеными огурцами и рассказывала мне о Пизе, о Венеции...

Позвонили из Комитета защиты мира — Катя Белякова, — вынесли решение о выделении мне пенсии 100 рублей в месяц. Я боюсь верить! Ежемесячно! Это мне от Васика. Все мне от него.

Вечером пришли Лена Ильзен, чудесная Берта Александровна Бабина и Агнесса Дейч. Интереснейшие разговоры! Стихи читали и прочая. Лена бывает очень красива. Блестяще остроумная, она всегда вносит с собой равновесие.

Асе я пишу каждый день — я обожаю ее! Она — сестра Васи.

25 февраля

Звонил этот страшный человек из Литфонда. На памятник Василию Васильевичу отпущено 300 рублей. Как бред все.

Была у Станислава Игнатьевича Беляцкого, соседа Васи по кровати в больнице, милого и умного инженера с красивой женой. Милые люди и прелестный ребяченьш-внук. Пошла к ним, ибо хотела побыть рядом, — он один из последних, кто был с Васей...

Вечером была Луиза Кокаева, а днем Наташа Брюханенко водила меня гулять. День изумительный. Бродили по задворкам. Снег еще скользкий, и воздух щиплет щеки. Но весна... Наташа мне рассказывала о Маяковском — они были очень близкими. Лиличка приезжала, она часто звонит мне...

26 февраля

Что делается в мире, я не знаю, я перестала читать газеты, мне неинтересно. И хотя все наши умники уверяют, что, конечно, убийцы Кеннеди будут разоблачены, я уверена, что правду скроют, а убили

бедного молодого блестящего президента те, кому это было выгодно. В первую очередь это было выгодно чете Джонсонов. У нее и у леди Бёрд — гнусная физиономия. Бедная Джеки!

27 февраля

Приехал Борька Тисов: Ирочка и все они в порядке. Он в Москве по делам. Славный он. Милая сестра моя, добрая, нежная душа...

Вечером приехала милейшая Магдалина Ивановна Сизова, писательница, очень неглупая женщина. Но неприятно, даже страшновато, когда старые дамы начинают рассказывать, что в них влюблены мужчины. Мне жутко было глядеть на старое лицо Магдалины Ивановны, когда она с довольной улыбкой рассказывала о своих флиртах в 75 лет! С этими новостями она вернулась из Дома творчества. Убогий круг наших писателей! Нет, в старости, если я сама и буду влюбляться, то тайно. Очень тайно!

28 февраля

Была Женя Меркулова-Шмидт-Тарновская. Никогда ни в чем ни малейшего кривлянья. Веселая. Мужественная. Подружка моя.

Звонил Вл. Померанцев, чтобы я сама в понедельник отнесла некоему Туркину в издательство «Советский писатель» рукопись Василия Васильевича.

Звонила Маруся Тихонова, звала приехать погостить в Переделкино. Условились, что после кладбища я со Светой зайду к ним. В их деревянной даче простота и уют. Антитеза мещанства, слава же Господи...

Алена сердится на меня, говорит, что я ее обидела. А я не помню ЧЕМ. Ваня препротивный. Но стал лучше. Боже, скучно мне без Васи.

29 февраля

Вчера были: Агнесса, потом Нина Банникова, красотка Мариночка-арфистка с Сашей Левичем, Верочка, Светка, Ваня... Я перечисляю их, ибо их присутствие мне помогает.

Василий Васильевич жил не узкими интересами собственной или лишь отечественной жизни: всю жизнь он прожил, меньше всего думая о себе. Он жил интересами всей нашей планеты. Это не слова, а констатация факта. Он получал ворох газет и журналов, французских и русских, и умел прочитать в них главное и любил поделиться со мной. Он звонил в Париж ежевечерне, но реже этот последний год из-за противного сталиниста-догматика Бордажа, который все больше распоряжался в «Либерасьон» и клевал с помощью «Юманите» беднягу д'Астье. Вася даже предполагал, что, возможно, «Либэ» прекратит свое существование.

Сажусь на какой-нибудь автобус и еду — в никуда...

У нас большая разница в ителлигентности между мужчинами и женщинами. Сажу в автобусе, смотрю на лица: у женщин лица одухотворенные, более или менее благообразные, приличные, а мужчины, как пещерные жители, неандертальцы, у них лица грубые; выражение хамства, усталости, изношенности и злобы. И печать пьянства на всей внешности.

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу.
И каждый ищет отчий дом
И верную подругу.

А я иду — за мной беда —
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда — с откоса.

Это стихотворение Анны Ахматовой мне прочитала Лена Ильзен. Очень нравится оно мне.

1 марта

Мне снилось: я взбираюсь на крутую обледеневшую гору, с трудом, срываюсь, скольжу, но иду...

Совсем было сорвалась, но нет, вот я уже перевалила гребень... Кругом снега...

Двое: мужчина и пожилая женщина, мужчина почти Вася, но не Вася, женщина незнакомая. Я говорю: «Что же вы мне руку не протянули? Самое трудное теперь позади...»

Были в Переделкине на кладбище. Пошли к Тихоновым. Маруся теплая, милая. Обедали: Ванечка Гаглов, Книповичиха, Гидаши. Николай замечательно рассказывал про фильм об Индии — орал, жестикулировал. Гидаш — темный венгерец, жена — противная, бестиеобразная. На закате ушли. Снова были у Васи на могиле, красота и тишина неопишуемые. Вечером разбирали со Светой записи Васи́ка. Почерк! Трудно разобрать! Но как значительно и интересно всё, что он пишет!

12 марта

Лилечка больна, лежит, а Василий Абгарыч сегодня выступал в Союзе писателей, о чем мне позвонил Роман Тимофеевич Пересветов. Он сказал, что Катанян страшно рассмешил всех, рассказывая о том, как некоторые пишут мемуары о Маяковском. Например, Кассиль и особенно Корнелий Зелинский, который, оказывается, здорово врет. Катанян публично высек его, к общей радости.

Я позвонила рассказать Лиле — она чувствует себя уже лучше. Я — старая, старая...

13 марта

Николай Семенович Тихонов — председатель Комитета защиты мира — стал чиновником, у него даже осанка появилась. Скучно!

Сто лет не была у Тихоновых. Сегодня пошла с Верочкой за рукописью Васи — Маруся звонила, что они читают и в восторге, и я думала, что Николай скажет: «Я поговорю с издательством «Советский писатель», чтобы они напечатали!» Но Боже мой, конечно, не тут-то было! Я тоже ни слова не сказала. Николай Семенович — человек, задавленный делами и в силу своей собственной природы и обстоятельств живущий в непробиваемой броне р а в н о д у ш и я... Или привык, чтобы его просили?!

Маруся, милая, старый друг мой, очень добрая!

16 марта

Какое-то чувство, будто где-то далеко случилось нечто, меня касающееся, важное. Это не тяжелое, но тревожное предчувствие. Что это? Просто нервозность?

Васенька, защита моя от всего, мне с тобой было как за каменной стеной!

В среду надо ехать, заказывать на Новодевичьем кладбище могильную плиту... Тяжко!

17 марта

Страшный скандал с Наташей Столяровой в ЦДЛ. Мы в ресторане за одним столом. Она, Лена Ильзен, Галина Викторовна Федорова и я. Наташа Столярова, как полководец, резкая, отрывистая, невозмутимая. И я — взъерошенная, злобная и жалкая. Я орала на нее за все, за все и сказала ей под конец, что Васик сказал о ней, что «Наташу время от времени надо ставить на место». Придя домой, я устыдилась, что орала на нее п р и в с е х, и бросилась к телефону — позвонила ей: «Наташа, пожалуйста, не сердись!» Она буркнула: «Хорошо». Потом вдруг мне позвонила та Валентина Гавриловна сообщить, что я буду получать 50 рублей. И 50 от Красного Креста. Спасибо! Вопрос о деньгах почему-то меня вообще не очень заботил. Спокойно жить будет с пенсией этой.

18 марта

Ездили с Ваней — спасибо ему, что он поехал со мной, — заказывать надгробие. Заходили на могилу к Наде Аллилуевой — печальное, красивое лицо у нее на памятнике, и на снегу у подножия цоколя букетик полузавядших фиалок... Холодище!

И вдруг опять звонила Валентина Гавриловна: просит к часу дня быть завтра у них. Я сказала: «Хорошо». Зачем? Для чего я понадобилась там? Об этом ли было то мое тревожное предчувствие?

Вчера Лена вечером пришла, ругнула меня за мой скандал Наташе, но была теплая и милая. И Женька Шмидтиха была, я ее люблю.

А я выла в голос о Васике, и Светка выла со мной...

22 марта

У ЛИЛИ БРИК

Лиля позвала меня: она лежала, когда я пришла, — одетая «элеганс», выглядела хорошо, никогда не скажешь о ней «старуха». В их квартире повсюду красиво — даже в уборной висит дивный индийский поднос! Только, пожалуй, слишком много вещей... Василий Абгарыч вошел в славу с тех пор, как недели две назад публично высмеял Корнелия Зелинского.

Лиля дала мне читать арагоновский «Неоконченный роман» в стихах, и я радуюсь, ибо есть страницы замечательные и вся книга — это гимн любви. Он прав: только любовь и нежность в счет на этой земле, все остальное — труха, чушь, тлен... Страшно, что столько страшного — детям беззащитным, ни в чем не повинным. Только любовь и нежность в счет — остальное все: дунул — и нету!.. Но и зло остается, и страшное...

Помню Бородинское поле — горестный закат прошлого года. Но помню и церковь Покрова на Нерли: благодатную милость, извечную прелесть, любовь, доброту этого зеленого луга, тихих вод и теплого летнего дождя... Васик, ты рядом, и я ношу тебя в душе и несусь с собой все дальше...

24 марта

Была у Лены Ильзен, она рассказывала о молодом, 23-летнем поэте Бродском, которого только что сослали на пять лет, как «тунеядца»... Но он же поэт! Значит, он уже не тунеядец! Бедные поэты!.. У Бродского прекрасные стихи.

Читала, как Вася описывал наш первый вечер: он у меня в гостях на улице Горького в цаплинской квартире. Называет Лену «камея», «умница». А меня — красавицей и что я чудесно пою.

Ванюша вот уже несколько дней как переехал в снятую им комнату. Он платит за нее 40 рублей в месяц.

26 марта

Обедала у Лили Брик, потом переводила ей статью с английского об Осипе Максимовиче, присланную ей Ромой Якобсоном.

Лиля рассказала, как познакомилась в 1916 году с Распутиным: «Была ранняя весна, я поехала с одной знакомой снимать дачу в Царское Село. Мы сели не вместе, так как в вагоне было много народа. Напротив меня сидел человек с бородой, в роскошной бобровой шапке и с палкой с золотым набалдашником, а сам — простой мужик. Ну, как извозчик! Но с удивительно красивыми синими глазами, необыкновенно красивыми глазами. Он очень поглядывал на

меня, и, когда поезд подошел к Царскому, моя знакомая с ним поздоровалась, и он заговорил с ней, потом, указывая на меня, сказал: «Так приведите ее, обязательно пусть приходит!» И мне сказал: «Запишите мой телефон», а я ответила: «Я так запомню». То был Распутин. Вернувшись домой, я рассказала Осипу Максимовичу и прибавила, что обязательно пойду — ведь так интересно! Но он сказал: «В помойке тоже интересно рыться? Конечно, неизвестно — всякое найдешь! Но к Распутину ходить никак не следует! — грязь и срам!» И я не пошла».

27 марта

Лена Ильзен повезла меня на «Никитинские субботники». Моложавая, но до странности старомодная старушка Никитина говорила о Новикове-Прибое, о Луначарском и об Елизаре Мальцеве — интересно, с юмором и добротой — в странной комнате, где стены сплошь увешаны портретами в с я к и х писателей, их посмертными масками — портреты прикрывают стенды, на которых стоят архивы и рукописи — 21 тысяча! Редчайшие издания. А сегодня у нее вечер памяти Елизаветы Кузминой-Караваевой, матери Марии... Народу уйма. Ко мне она подчеркнуто внимательна. Вася хорошо знал мать Марию и написал о ней.

28 марта

Мне было так тяжело на душе сегодня, так тосковала я о Васике. Вышла на улицу, и опять будто все это сон — и вот он живой стоит передо мной, он жив! А когда это изредка на меня накатывает, мне делается страшно, что я сойду с ума, — я словно чувствую, что что-то у меня в голове перекашивается... Слезы душили меня, голова вся болела... Я вернулась, и по радио сказали про Оксфордскую историю музыки: десять томов с пластинками получены в Ленинской библиотеке. По радио исполнили эпитафию древнегреческую, тысячелетней давности. Слова такие: «Будьте счастливы, пока живете, ибо жизнь коротка, надо быть счастливым, пока вы живы». И дивно пел голос... Слово Вася послал мне весть!..

31 марта

Слякоть, грязь, мокрый снег. На улице промозгло, я езжу на каких попало автобусах в... никуда.

Нет ничего печальнее индустриального пейзажа, особенно в предместьях Москвы 1964 года...

Удивительное уродство!

1 апреля

Не помню, что было сегодня... Да! Захлопнув дверь, я забыла взять ключи, пришлось взламывать. Вместе с молоденькой соседкой сверху, Эллой, мы тихо пыхтали у двери, чуть не сломали нож, но наконец дверь поддалась.

Это уже третий раз я взламываю собственную дверь — забываю ключи. Кроме тоски по Васе, ничего во мне нет...

2 апреля

Девять лет тому назад, в 1954 году, в этот день я вышла из лагеря в Астрахани на свободу. Я плакала от волнения и радости, и те, кто провожал меня до проходной, — Лика Шастина, Бэбка Кисель-Загорянская, Нина Николаевна Грин, плакали тоже...

Хочется написать о том, как я получила реабилитацию. Пишу спустя долгое время. В ту пору я никак не могла прийти в себя от событий 1956—1957 годов и даже заболела под конец снова воспалением легких... Меня сбilo с ног неожиданное, небывалое счастье — встреча с Василием Васильевичем, как раз вскоре после моей реабилитации, — и выход в свет моего перевода «Женщины в белом», — и наша свадьба!.. Было от чего свалиться. Но от счастья не умирают. Я тогда скоро поправилась...

Но как все это было... Еще в астраханском лагере инвалидов меня дважды — в конце 1953-го и начале 1954 года — вызывали к оперуполномоченному нашего лагеря. Я была еще очень дохлая после своего крупозного воспаления. Следователь был молодой, он явно жалел меня. Он предложил мне писать прошение о реабилитации, вернее, о пересмотре дела, — тогда слово «реабилитация» еще не было в ходу. Но я так жаждала освобождения — 2 апреля 1954 года кончался мой срок! — что я боялась задержки какой бы то ни было. Я написала гораздо позднее, хотя и не очень-то верила в благополучный исход, до такой степени я всех их боялась! У него было хорошее лицо, у этого молодого следователя... Только потом я поняла, что он «на серебряном блюдечке протягивал мне тогда золотое яблочко», то есть возможность сразу вернуться домой в Москву.

Но я поехала сначала к маме. Там, в Орджоникидзе, я провела целые полтора года за переводом «Женщины в белом». В этом я отчасти чувала свою реабилитацию. Разве роман этот не рассказывал о Чуде Воскрешения!

А в Москву я попала в 1956 году, не имея права там жить. Остановилась у Инны Крыжевской. Весной 1956 года написала в Прокуратуру СССР, наконец, заявление о пересмотре дела. Взяв Алену, я в мае пошла к Надежде Воынской, так как именно она оболгала меня, и я решила, что заставлю ее написать, что ее показания — ложь! На счастье, мы случайно на улице встретили недавно вернувшегося из лагеря с Воркуты великолепного человека Арсения

Башкирова, и, узнав, куда и зачем я иду, он вызвался меня сопровождать, благородный, смелый Арсик! Ведь я совершенно не знала, как она меня примет. Мы постучали. Дверь нам открыл кто-то из квартирантов — это была коммунальная квартира. Алену я оставила на лестнице, боясь скандала, а мы с Арсиком прямо вошли в комнату к Надежде. Она сидела в кресле и побледнела как бумага при виде меня. Ее больной муж сидел в углу, я его впервые тогда увидела. «Надежда, напиши сейчас же, что ты тогда на следствии сказала ложь! Ты знаешь, что ты лгала тогда. Сейчас же напиши. Я отнесу это в Прокуратуру, и с меня снимут обвинение. Пиши!» Надежда молчала, и вдруг муж ее твердо и повелительно сказал: «Напиши сейчас же! Ты ведь знаешь, как это было!» На столе перед креслом Надежды как раз лежала бумага — она взяла ручку и написала:

«В Главную Прокуратуру СССР

Н. А. Волынская, проживающая
в Москве, Яковлевский пер.,
д. 9, кв. 29

ЗАЯВЛЕНИЕ

Довожу до Вашего сведения, что показания, данные мной на гр-ку Лещенко-Пеппер Т. И. в октябре — ноябре 1947 года, были даны под давлением со стороны следственных властей. (Фамилии следователя не помню.) Политических разговоров с ней мы не вели, и антисоветских от нее разговоров не слыхала.

Н. Волынская

15 мая 1965 г.»

Я схватила этот драгоценный листок, и мы молча ушли. Больше я никогда Надежду не видела.

Мы сразу пошли на почту, я купила конверт, и мы все трое отнесли заявление в Прокуратуру. Мы обнялись и расцеловались с Аленушкой, а потом и с Арсиком. Не помню, что было дальше в тот день. Но на другой день Арсик в полдень зашел за мной, и мы решили кутнуть. По дороге встретился нам ресторан «Аврора» (теперь «Будапешт»). Швейцар принял наши захудалые пальтишки, и мы вошли в огромный полутемный зал. Сели за столик и, когда официант подал нам меню, подсчитали наши средства. Гм... Оказалось, что вместе у нас рубля три с мелочью. Но порция яичницы стоила полтора рубля. Заказали и взяли бутылку лимонада. Но на душе у нас были «ананасы в шампанском»! И тут случилось неожиданное: неподалеку сидел какой-то военный. Полковник. Он подошел к нам и сказал: «Вы не будете против, если я к вам присоединюсь? А?» Он был сильно подшофё. Мы не возражали. Он сел за наш столик и заказал три порции трепангов и бутылку вина. Почему трепангов? Кажется, когда он спросил, что мне понравилось бы из еды, я, увидев в меню непонятное название, сказала, что не прочь попробовать. Принесли нечто ужасающее, но голодный Арсений бодро съел их, а полковник даже похваливал. Вино всех развеселило, хлеба

было полным-полно, глазунья каждая была из двух яиц! Полковник рассказал, что брал Берлин, что я похожа на девушку, которую он любил когда-то; что на войне был тяжело ранен. А в Берлине было трудно. «Но,— сказал он,— я ударился в собаку!» Я не поняла, и он объяснил, что он начал собирать голодных собак в разрушенном Берлине, у него их было штук десять разных, и он их кормил, и людей тоже кормил, а потом жена приехала и разогнала его роскошный гарем и собак. Славный человек! Но я категорически с ним навеки распрощалась, и мы с Арсением улетпетнули от веселого полковника.

Я ведь свое заявление отнесла в Прокуратуру и ждала, так ждала...

Тот, кто получил реабилитацию, поймет меня, а другим все равно не понять, что мы пережили...

А вот Вася все понимал! Он сразу понял все...

3 апреля

Ли́ка пишет: «Я каждый день благословляю Вас...» Она про операцию. И я очень-очень рада, что она теперь жива-здорова и влюблена снова как кошка в очередного молодчика. Дай ей Бог счастья! Я устроила ее операцию в клинике А. А. Вишневого.

Читаю Арагона. Он величайший поэт нашего времени. Но как человек, несмотря на тонкое, красивое лицо, по-видимому, честолюбивый. И у Эльзы вот уже сколько лет нахмуренное, озабоченное лицо!

Какая музыка его стихи!

Мне страшно писать о том, ЧТО я чувствую. Какие-то вещи не говорят... Да и нет слов для их выражения. Наверное, это чувство умалчивания свойственно всем людям — потому мы почти ничего о многом не знаем и об этом не умеем сказать.

Счастье мне дано было познать недолго, но это было счастье!
Мое письмо Лиле:

«Лилечка, дорогая, возвращая Вам эту счастливую и добрую книгу, отрываю ее от души своей. Как прав Арагон — величайший поэт нашего времени.

Может быть, в молодости и вправду нет счастливой любви? Но в старости бывает чудо счастливой любви. Мне дано было его познать. Недолго!.. Многое в поэме Арагона звучит мне как ответ — было мне в ответ. Мне хочется сказать что-то страшно умное и возвышенное, но я косноязычная, я все меньше умею говорить... Любить такого человека, как Василий Васильевич, было счастьем. Благодарю Вас, Лилечка, за то, что Вы дали мне прочитать эту книгу. И я не умею найти слов, чтобы поблагодарить Арагона... и Эльзу!»

6 апреля

В субботу мы с Женькой Ольхиной поехали в старообрядческую церковь у Рогожской заставы ко всенощной. Иконы там получше, чем в Третьяковке. Кучка старушек, несколько стариков, унылое, гнусавое пенье в унисон. Мы ушли, за нами вышел единственный там бывший молодой человек. Разговорились: он поет в хоровой капелле, знает все церкви, где и как поют. Лучше всего в Елоховском соборе и на Ордынке. На мой вопрос, верующий ли он, он быстро сказал: «Да, да, а потом, ведь это все очень интересно! На Ордынке пели на той неделе «Всенощную» Рахманинова — прекрасно!»

Мы с Женей Ольхиной помчались в Елоховский собор. Меня приняли за иностранку, и проводили нас на клирос с п р а в а. Я очутилась возле перилец, на виду у всех, и все на виду у меня. Собор сиял огнями, тихо колыхалось пламя свечей. Служило множество священников, дьяконов. На хорах наверху (по обе стороны по хору) поют хорошо, но можно бы лучше!

Потрясающе было, когда священник вышел на амвон и, обратясь к толпе, как бы дирижируя рукой, стал петь: «Кресту твоему поклоняемся, владыко...» Вместе с ним пели и оба хора, и молящиеся, пел весь собор! Потом был крестный ход — вереница священнослужителей, и на подушке несли митру патриарха. В это время в нескольких шагах от меня на клирос протиснулась женщина с ребенком на руках — он визжал, захлебываясь плачем, я видела его затылок, ребенок был годовалый, судя по росту. Крестный ход обошел кругом церковь, и из алтаря вышел патриарх в сияющих одеждах. Когда он обернулся в нашу сторону, меня поразило его зоркий, ясный, умный взгляд. Женя потом сказала, что выражение у него и у Василия схожее. Женщина положила ребенка к ногам патриарха, ребенок схотал головой, завыл, обернулся ко мне, и я увидела страшное взрослое, с оскаленным зияющим ртом его лицо!. Чудовище! Контраст между ним и высокоинтеллигентным, интеллектуальным, просветленным, прекрасным лицом старика патриарха! Все вместе с блистательным собором, благолепием, дивным пением, жадной Чуда — было словно из дали веков... Словно XIII век! Женя Ольхина говорит, что это и называется «бесноватый». А патриарх при виде его отпрянул, но сразу же опомнился и широким жестом перекрестил «ребенка» — и тот умолк! Женщина упала в ноги патриарху, но ее по обе стороны взяли под руки и увели с амвона. Потрясающе!

8 апреля

Вчера были с Верочкой у ее приятеля художника Левы Нусберга. Живет в Измайлове, у черта на куличках, крошечная комната, чистота — ни пылинки. По стенам — прелестнейшие картины и с потолка и по стенам — странные, очень красивые Левины конструкции. Войдя, я воскликнула: «Да ведь это мне снилось!» И действительно, нечто подобное его картинам я видела во сне. Вот, к примеру, его

живопись: город, а над ним, в небесах, странные конструкции удивительной красоты по цвету и линиям: розовые, бледно-зеленые — они служат людям и жилыми помещениями, и аэродромами, телецентрами и гаражами. Или: берег, вода, на берегу огромное (для масштаба изображены крошечные фигурки людей) кристаллообразное здание — оно может вращаться, оно прозрачное, и прозрачно-воздушное, и удивительно красивое по цвету!

Такое изящество, такое мастерство и фантастика! Талантище! Я говорю: «Да вы гений!» А он: «Ну, конечно». Вполне серьезно оба — и он, и Верочка Медведева, — на это откликнулись. На столе у него фотография: худое, умное и печальное лицо, сказал, что это его друг — Жаклина, француженка. Мы слушали пластинки, которые ему посылает Жаклина из Парижа: начиная с VI века — грегорианские песнопения, песни труверов и трубадуров... Все вместе, с самим Левой, очень красивым 25-летним «юношей» в этой бедной, строгой комнате было прекрасно.

Я вышла в коридор позвонить Сосинским, с которыми мне хочется его познакомить, ибо у них все издания Скира о художниках, и наткнулась на пожилую женщину с суровым, замкнутым лицом. По-моему, она подслушивала под дверью Левиной комнаты: Верочка говорит, что у Левы большие неприятности — его уже вызывали и поучали... Он преподает рисование в одной школе и очень беден, так как весь заработок тратит на холст и краски, материалы для картин и конструкций. Они все, так сказать, на пользу человечеству, а не а б с т р а к ц и и. Он дружит с физиками и кибернетиками, и все его «здания» осуществимы и строго рассчитаны. Но у нас нельзя быть оригинальным! Считается преступлением! А он, Лева Нусберг, которого у нас почти никто не знает, — огромный талант!

11 апреля

У Киры. Пришел и профессор Николай Константинович Матвеев, преподает английский язык в университете. Он живет с матерью и вечно ворчит на молодежь. Брюзга пятидесяти с чем-то лет, но умный, культурный. Неприятный тип. Приглядывается ко мне чуточку. И в нем что-то сальное.

Кирочка-душечка, у нее всегда изящно и вкусно. Были еще Хрипуновы и Женя Ольхина.

12 апреля

Дивный день. Солнце. Поехали с Верочкой на кладбище, повезли цветы — мне хотелось бы всю могилу усыпать розами... Ручьи, потоки, тепло... Нет, связь с Васей не прервана, нет! Вечером у Агнессы Дейч-Юнеман интереснейшее общество: пять умнейших женщин и Берта Ал. Бабина. Все просидевшие на Колыме от 25 до 17 лет с 1937 года, а то и раньше...

Евгения Семеновна Аксенова-Гинзбург, мать писателя Василия Аксенова, читала нам свою рукопись, вторую часть своих мемуаров про лагерь на Колыме. Талантливо написано, бесконечно печально, страшно, но и живо, ярко. Читала и я свои стихи этим прекрасным женщинам. Очень хвалили меня.

Сегодня была у меня Матильда Осиповна Юфит — жена П. Ф. Нилина. Она все такая же, как тридцать лет назад. Толстая, некрасивая, но умное и доброе лицо, очень славная. Говорила всякое хорошее про Василия Васильевича.

14 апреля

Евгения Семеновна Гинзбург — подруга по ссылке Берты Александровны Бабиной — эсерки (знавшей Васю и особенно профессора Александра Филипченко, мужа Аси) — и Агнессы Дейтч, австрийки, и еще «Мышка» — Слободская. Все они были в лагерях на Колыме. Евгения Семеновна талантливо описала их жизнь. Мемуары ее лежат в «Новом мире», будут ли они напечатаны? У нас самое талантливое лежит под спудом! Неслыханно! Мы не читаем самого интересного, мы не имеем права читать и видеть того, что пишут в других странах. Нас все время держат за горло! Почему это так? Бездарные тупые чиновники правят нами.

Хрущев, конечно, в тысячу раз лучше Сталина — бандюги и негодяя, но и Хрущев безнаказанно творит нелепости.

16 апреля

Перевожу «Детство», написанное Васиком, и плачу, плачу о судьбах русских замечательных людей... Всегда так было. Отец Васи — Василий Иванович Сухомлин — блестящий, красивый, в двадцать пять лет осужден на смертную казнь, которую заменили пятнадцатю годами каторги в 1887 году по делу Германа Лопатина...

А в 1938 году он был расстрелян, как и все старые революционеры... Народоволец, жизнь свою отдавший за дело народа, на благо народа! Он был расстрелян во времена Сталина.

И прелестная мать Васи — всего три месяца, как они поженились, когда мужа взяли! Анна Марковна Сухомлина поехала за мужем на каторгу, молоденькая, с двухгодовалым Васей... А сам Герман Лопатин — человек, так богато одаренный, казалось бы, созданный для счастья, двадцать лет отсидел в казематах Шлиссельбургской крепости... И сколько их было, бескорыстно героических, сидевших по тюрьмам в царское время, — и как расправились потом с ними сталинцы!

Васик! Я не потеряла связи с ним. Порой так ясно я чувствую его незримое присутствие, и когда-нибудь будут открыты радиоволны... не умею высказать мысли по этому поводу.

18 апреля

К счастью, китайцев мы все-таки не посылаем к черту, и, конечно, Хрущев сделал гениальный ход, когда заявил, что ссориться с ними не будет. Ему исполнилось семьдесят лет, и дай Бог, чтобы праздновали и его восьмидесятилетие! Страна вздохнула, отдохнула, отдышалась при нем, несмотря на все трудности, оставшиеся ему в наследство от мрачного разбойника — Сталина. Бедному Хрущеву приходится расхлебывать сталинское варево из страшных преступлений.

19 апреля

Обед у Катала, а потом концерт Баха: в консерватории на клавиринах — Андрей Волконский, камерный оркестр и певица. Познакомила Кира меня с киргизкой: Гюльсара — молодая женщина лет тридцати, худенькая, некрасивая, типично киргизо-монгольское лицо, но узкие черные глаза загораются ласковым пламенем — говорящие глаза, когда она со мной поздоровалась... Глаза прекрасного человека.

Андрей играл много на «бис». Народу было полным-полно, его любят.

Кира говорит, что он впервые без памяти влюблен в киргизку.

Арсик и Ваня вчера посадили на могиле Васи́ка белую сирень, дуб и вишенку. Арсений Башкиров тоже с Воркуты, работал там в шахтах. Прелестный человек!

23 апреля

Я шла задворками покупать в художественном салоне рамку для дивной акварели «Театр» Рауля Дюффи, которую еще прошлым летом привез нам в подарок от Веркоров бедняга Дагрон. Навстречу вышла невысокая молодая женщина с большими «ланьими» глазами, закивала мне, я сначала ее не узнала. «Галя?» — спросила я. То была Галя Евтушенко. Худое, резко очерченное лицо с большими зелено-серыми глазами. «Женя в Братске. Его все время мордой об стол, а он по-прежнему фанатик. Я ему говорила, что Павлов сволочь, а он все не верил — теперь поверит. Женю позвали на вечер к космонавтам, но только он начал читать — поднялся шум. Кто-то бросился к Гагарину: «Заступитесь! Вас послушают!» А Гагарин напыжился и отвечает: «Я — коммунист!» За Женю кто бы сейчас ни «заступился» — все равно не поможет... Его печатают по капельке время от времени, нарочно выбирают самые плохие стихи, чтобы видимость была! В Братске его любят. Он поехал туда новые свои стихи читать. Но еще ничего... Андрюше хуже было...» Я говорю: «Андрей — гибкий, оправится!» Она возражает: «Нет, когда он там шел, они улюлюкали!..»

Я послала Жене Евтуше самый сердечный привет и сказала:

«Берегите его, Галя. Будьте с ним легкой и нежной! Приходите ко мне, если захочется или надежда чего будет,— я сердечно рада буду».

И я обрадовалась встрече с ней. Я хотела бы, чтобы поэты знали, как горячо я их люблю.

А вечером пошла к Марьямовым — они «чета» по Арагону, и за это мне особенно милы. Супружеская чета.

Александр Моисеевич рассказал, как Твардовский боролся за Солженицына насчет Ленинской премии. Мерзкий Павлов даже решился громогласно заявить (заведомо зная, что это ложь!), что Солженицын сидел по уголовному делу! Но Твардовский принес официальную справку о Солженицыне. Пустили слухи, что Солженицын юдофоб на основании персонажа по имени Цезарь Маркович из его же книги. Все это нарочно... Все проголосовали, что премию НИКОМУ не присуждать. Но Тихонов сказал: «Надо переголосовать!» — и присудили Гончару. Наши исписавшиеся импотенты — писатели — ликуют: победа бездарностей на всех фронтах искусства. А где-то на задворках задыхаются таланты. Марьямов читал мне великолепные новые стихи Андрея Вознесенского — особенно про охоту на зайца... Это он о самом себе... Одна Белла благополучна пока что. Маруся мне сказала: «Таня, они не писатели, они писатели».

24 апреля

Сегодня я было собралась на вернисаж Саши Тышлера в ЦДЛ, но подумала про сегодняшние похороны Сергея Васильевича Герасимова — он был хороший художник и порядочный человек, что теперь редкость среди «жрецов искусства», и потому не пошла. Но Сашу Тышлера мне очень хочется повидать. Вот кого я всегда любила. Он прекрасный художник и человек.

Лилечка опять прихварывает.

Я езжу на автобусах и все больше нахожу в этом удовольствие.

Словно еду куда-то вдаль. А Васенька всегда рядом — он любит ездить со мной.

25 апреля

Пошла на «Гамлета» (фильм Козинцева), взяв с собой Киру. Фильм о бренности жизни... и земного существования. Хороший фильм.

26 апреля

Были на могиле. Женя Ольхина, Светлана и я, потом к нам примкнула Кирка Волконская. Деревца, по-моему, принялись. Встретила на кладбище Ирочку Ивинскую: Ольга Всеволодовна пишет в тюрьме стихи, посылает дочери их размножать.

28 апреля

Сегодня подписала договор с «Новым миром» на Васиных «Гитлеровцев в Париже».

Светка и Алена уехали со своим хором выступать в Оренбурге.

30 апреля

Пришла в 9 часов утра Наташа Брюханенко — первая жена Ильи Зильберштейна — принесла дрожжи: хочу испечь кулич, ведь в воскресенье Пасха. Вчера красила яйца лоскутками — красные, синие, зеленые — все три цвета вышли удивительно красивого оттенка. Наташа Брюханенко все такая же царь-девица, что в молодости. Она рассказывала мне о Маяковском:

«Лиля с Осей ездили по границам, а Володю травили все, кому не лень. Никто из писателей, поэтов, критиков не пришел на его выставку... Татьяна Яковлева вышла замуж за богача в Париже. Он (Володя) переболел тогда гриппом, вообще был в тяжелой депрессии. В то утро он позвонил Веронике Полонской (она была замужем за Яншиным — актером) и сказал: «Сейчас я за вами заеду поговорить». Заехал и привез ее к себе. Он сказал ей: «Выходите за меня замуж!» Она ответила: «Нет!» Он воскликнул: «Ну, тогда я застрелюсь». Она заявила: «Ну и пожалуйста!» Он выхватил револьвер, новый, заряженный лишь одной пулей, и выстрелил себе в сердце. Соседи услышали выстрел и одновременно страшный женский крик — Вероника как безумная выбежала из дома. Ее нашли только к вечеру у ее матери — актрисы Пашенной.

В тот же день из-за границы приехали оповещенные Лиля и Ося. Лиля все говорила: «Как вы допустили?!» Плакала, но тут же, это я помню, сказала: «Если б это случилось с Осей — я бы не перенесла, не стала бы жить...» Лиля любила, но не любила «так» Маяковского. Она всю жизнь любила Осю, с ранних лет. Она огорчала Володю всякими своими капризами, увлечениями, но она понимала его творчество и удивительно была чутка и умна с ним. Да, он очень влюбился в Татьяну Яковлеву, ведь стихи его к ней чудесные, и если б Татьяна ответила ему взаимностью и была бы у них «благополучная» любовная связь, возможно, его любовь к Лиле отодвинулась бы на задний план, а так он, конечно, больше всех любил Лилю...»

2 мая

Вечером у меня старик, знаток икон, Николай Николаевич Померанцев, Кира Волконская, Женя Ольхина, Леля Голенищева-Кутузова.

Пошли в церковь к заутрене, но там шум и гам — молодежь пришла посмотреть на «зрелище» — никакого уважения и благоговейности к Празднику, к службе... Свист, крики, хохот.

Было как-то гнусно и грустно смотреть на их бесчинства. Потом

пили у меня чай. Старик Померанцев интереснейше рассказывал, как он спасал Кремль и соборы.

3 мая

Чай у Берты Бабиной: Анна Семеновна Муралова, Зора Борисовна Гандлевская (она и ее муж — анархисты — были друзьями П. Кропоткина), Мира Варшавская и Марина Фигнер, близкая подруга Евдокии Федоровны Никитиной («Никитские субботники»). Все они были в лагерях на Колыме...

А когда Гинзбург-Аксенова читала вторую часть своих колымских мемуаров, то мы были у Агнессы Дейтч-Юнеман: Зора Гандлевская (муж ее — Андреев — один из организаторов Ивановской стачки, сидел в Орловском центре до 1917 года, а она сидела двадцать лет на Колыме, с 1937 по 1956 год), Вильгельмина («Мышка») Словуцкая, член Коминтерна, судетская немка из Силезии, тоже двадцать лет прожила в ссылке на Колыме, Люся Джапаридзе, дочь одного из 26 бакинских комиссаров, тоже отсидела двадцать лет на Колыме, и еще две женщины — забыла их фамилии. Все очень интересные! Умные, отличные женщины.

11 мая

В четыре пойду прощаться с Катала, которые едут в Париж, счастливицы! Мне печально. Неужели они не вернуться? Но пусть...

Пошлю Сюзанне в Париж вятскую бабу с ведрами — красотища!

13 мая

Была у Екатерины Павловны Пешковой — накануне она позвонила: «Я очень Василия Васильевича все время сегодня вспоминаю. Приходите!» Я пришла. Екатерина Павловна хрупкая стала, но прежние память, ум и обаяние. Я спросила про Веру Николаевну Фигнер. Оказывается, она умерла в 1942 году в Москве. О ней будто бы очень заботился Емельян Ярославский. Вера Николаевна жила с одной одинокой женщиной, Марией Андреевной, та за ней ухаживала. Но Вера Николаевна уже не была с а м о й собой... Об этой замечательной женщине, которую хорошо знали отец Василий и сам Василий, я много читала. И у Васи в его «Детстве» она так живо описана...

Екатерина Павловна, ее двоюродная сестра Ольга Алексеевна и я пили чай за столом, покрытым, наверное, еще той самой скатертью, что была при Горьком... Все в этой комнате дышит прошлым. И все как-то бедно, старо, потрескалось, поскрипывает... И так все в этих старушках и в окружающей их атмосфере глубоко человечно, без малейшей фальши... Мне хорошо было с ней, и В. В. будто был рядом...

Вчера Лена Ильзен читала мне мораль, п о у ч а л а... Почему мне никогда в голову не приходит поучать моих подруг? Сколько в Лене самоуверенности! Нет, вчерашние ее рацеи по поводу моей отповеди Наташе Столяровой были неумны и ненужны. У Наташи действительно появился генеральский тон!

А сегодня я получила книгу Томаса Бьюконена «Кто убил Кеннеди?» и позвонила Лене, предложила ей переводить. Но она ввиду занятости отказалась. А мне хочется делать только Васины мемуары, хотя я и знаю, что эта книга была бы сенсационным успехом.

Завтра еду с Женей Ольхиной в Загорск, в Лавру.

15 мая

Поехали с Женей Ольхиной в Загорск, в бывшую Троице-Сергиеву лавру. Женя — гостя протоиерея Остапова Алексея Даниловича, молодого тучного красавца с волнообразной бородой. Нас поместили в патриаршей гостинице — большая прекрасная комната со сводчатым потолком и решетчатым окном, кормят даром! Старинное все!

Женя выстояла на ногах всю всенощную по монастырскому уставу, то есть три часа стояла как вкопанная на одном месте! Ужас! Пели так себе. Нам прислуживает старик-монах с бородой чуть ли не до пят.

В субботу монах отец Марк по повелению отца протоиерея показал нам собрание икон при Духовной академии — невероятное по количеству, смесь драгоценного с безвкусицей. Икон было так много, и они были так тесно расставлены, и повсюду душный запах ладана. Я затосковала по Васе, по его мемуарам, по его могиле! Через день я бросилась в Москву и сегодня побывала на кладбище — там зелено и тихо. На могиле лежал красный тюльпан — это, оказывается, вчера Верочка приезжала и положила.

21 мая

Читаю письма отца Васи — Василия Ивановича Сухомлина и его матери — Анны Марковны, и порой не могу удержаться от слез! Боже, что это за чудеснейшие люди, чистой души, благородства! Ася вся в них, она у меня осталась одна — да, моя семья похожа на семью Сухомлиных... Бабушка моя, и Верочка, и Юра — были людьми «той» породы — породы Сухомлиных. Отец мой был прелестный человек, но ему далеко до Василия Ивановича... Отца моего звали Иван Васильевич. Он был из семьи казаков из станицы Усть-Медведицкая, на границе Кубани и Дона. Отец мой кончил реальное училище в Камышине — на Волге, а потом Тимирязевскую сельскохозяйственную академию с медалью. Стал агрономом. Получил дворянство. Писал книги по агрономии.

Мы с Кирой Волконской были у Жени Ольхиной. У нее очень уютно, и она хоть и не очень умелая, зато сердечная хозяйка и старается накормить чем-нибудь вкусеньким. У нее «по-европейски» и масса интересных книг. Иногда она очень интересно рассказывает.

Призналась только мне одной (Кирка мылась в ванной), что была нашей контрразведчицей в Нью-Йорке, когда работала у Стефенсона (полярный путешественник). Рассказала, между прочим, и такое: «Сразу после революции я, мать и сестра поселились в Крыму в имении наших близких родственников Юсуповых. Назначен был комиссаром имения «Дюльбер» и других царских имений моряк Задорожный Филипп Федорович — он сторожил там великую княгиню Ксению Александровну (мать Ирины Юсуповой, жены Феликса, который убил Распутина). Там был и ее отец, Александр Михайлович, и вдовствующая императрица Мария Федоровна, и бывший верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич... Когда стали наступать белые, то в Севастополе большевики решили ликвидировать всех разом членов царской семьи. Но не тут-то было! Комиссар Задорожный сказал: «Они мне поручены Лениным, и я их никому не отдам!» Выставил на стену пулемет, и когда подъехала машина с матросней, то он шофера убил наповал, ну, те и вернулись несолоно хлебавши в Севастополь. Ирина Юсупова была писаная красавица, и Задорожный был безумно в нее влюблен. Хаджи Бей стал бомбардировать Ялту, комиссар Задорожный со всеми простился и исчез. Его прятала у себя Мария Федоровна. После белых пришли немцы, явился поздороваться немецкий генерал, но великий князь Николай Николаевич не принял его, сказав, что от немцев он свободы не примет. Немцы ушли. Пришли с Врангелем деникинцы. Тогда за членами царской семьи приплыл английский крейсер «Герцог Мальборо» — на нем и уехал Николай Николаевич с родными в Константинополь и дальше, во Францию. А Мария Федоровна отплыла в Данию к своей родне, а Ольхины уплыли с Юсуповыми».

Женька дала мне переписать интереснейшие стихи великой княжны Ольги или Марии, которые переправили тайно после убийства царской семьи из Свердловска в Дюльбер, в Крым. Великая княжна — молодая девушка — написала их как молитву накануне гибели... Женька рассказала: «А мы на крейсере или пароходе «Граффден» поплыли в Новороссийск... Был с нами и друг Феликса Юсупова скульптор Лев Дерюжинский. Он замазал юсуповского Рембрандта и еще несколько картин замазал, их свернули в трубочку, запрятали в трость и так вывезли. После Феликс Юсупов продал Рембрандта за несколько миллионов американскому миллионеру Вейденеру. Но после у него с Вейденером был какой-то конфликт и судебный процесс... Тот ему миллион недоплатил...»

1 июня

Наталья Николаевна Бойко-Русанова сказала... Но не запишу. Она прелестная женщина, хоть ей и много лет. Она так хорошо помнит разные «исторические» факты, но я даже теперь боюсь их записывать... Говорит, кстати, что Распутин обладал целебной силой и действительно спасал от смерти наследника — «заговаривал кровь»... В Распутине жила какая-то особая «энергия».

14 июня

Жду в следующее воскресенье из Парижа Ольгу Елисеевну, тетку Василия Васильевича, с Наташей Резниковой. Волнуюсь. Вася любил особенно Ольгу Елисеевну Колбасину-Чернову. Она дочь друга Ивана Сергеевича Тургенева — Елисея Колбасина.

20 июня

От Парижа до Москвы три часа лететь.

21 июня

Сейчас еду встречать Ольгу Елисеевну Чернову (урожденную Колбасину) с Наташей Резниковой, ее дочерью, на Шереметьевский аэродром, — вместе с Сосинским.

В 1921 году, после нескольких месяцев пребывания в Чека при Дзержинском, отсидев в тюрьме вместе с Олей и Наташей, Ольга Елисеевна с дочерьми по ходатайству Горького и по личному распоряжению Ленина была выслана за границу, куда уже успел бежать Виктор Михайлович Чернов, председатель партии эсеров — муж Ольги Елисеевны.

Впервые Ольга Елисеевна будет на Родине после стольких лет... А Васи нет...

22 июня

Приехали... Ольгу Елисеевну от самолета вели мы под руки — она очень старенькая, ей 81 год, хотя по паспорту «из кокетства» — 77. На вид ей тоже вполне 81 год... Или больше!

Наташа Резникова очень некрасивая, у нее неприятное пытливо-подозревающее выражение лица. Привезла мне прелестное платьице. Была со мной мила и любезна. Сегодня мы с Наташей ездили в Переделкино на могилу Васи. Из своего сада из Франции они привезли дивные розы, и я сказала, что, конечно, их надо на могилу Васи... И Наташа положила их ему... Ася прозвала Наташу щучкой. Гм...

Потом зашли к Зинаиде Николаевне Пастернак. Шли полем, по меже, пахнет жито. Жара! Шли босиком. Наташа позеленела

от зависти, увидев мои безупречные ступни. У нее мозоли! Напрасно я разулась!

Вернулись ко мне домой. Я старалась, чтобы Наташе было со мной хорошо и удобно, ибо Вася ее любил. Но она вся взвинченная, нервическая...

23 июня

Беденькая Ольга Елисеевна заболела после поездки к Сосинским и в Коломенское...

Я не написала Асе, что О. Е. заболела, пишу Асе в веселом духе... Ольга Елисеевна сказала, что привезла для нашего архива письма к ней Марины Цветаевой, и полезла в свою сумку, а Наташа сказала: «Я вынула их и оставила дома в Кашане, мама». Здорово?!

24 июня

Если Оля Андреева (жена Вадима) заслуживает свое прозвище «кошка», то Наташа — вполне хорек, хотя Ася прозвала ее шукой.

Сегодня она сказала, что только меня считает истинной женой Васи. Я и без нее это знаю... Но она яростно ненавидит Сюзанну, яростно ругает Леву Чертока, об Оле-малютке говорит, что та «деляга с дальним прицелом»... Вообще Наташа — презлющая и вся на взводе, так и готова вцепиться!.. И полный контраст ей — Ольга Елисеевна. Чарующее впечатление. Такие глаза добрые! Маленькая птичка! В ней тоже есть изящество, и ручки ее похожи на Васины, только в нем было несравненно больше обаяния... Я полюбила ее, и она на это всей душой откликнулась. С Наташей же у меня меньше контакта, чем даже с Адей — Ариадной Сосинской, — в которой есть сдержанность, кротость... Все они меня терпеть не могут. Почему?

В Наташе Резниковой еще и удивительная самоуверенность. Например, она сказала сегодня, нацепив бусы зелено-синие и надев пестрое платье, что хочет выглядеть нарочно более безвкусной и «не элганс» в Москве, чтобы не отличаться от москвичек! Она никак не эlegantна и очень некрасива, будь то в Москве или в Париже. В ней чувствуется женская неудовлетворенность. «Кажется, у ее мужа есть другая семья», — так сказал однажды Вася. Мне противно, когда она в который раз говорит, что О. Е. слишком много ест (если это и так, то об этом следовало бы умолчать из любви к матери!) или когда она вся заходится от ужаса при мысли, что вдруг придется везти мать обратно в Париж... Противно, когда она говорит, что «вот, все говорят, Наташа мрачная, сердится, а никто пальцем не шевельнет, чтобы...». И так далее. Может быть, у нее климакс? Какая-то бешеная шука. У нее крупные, выступающие вперед передние зубы... А вот письма она пишет хорошо, умно подчас! Не всегда!..

Ольга Елисеевна из семьи Сухомлиных, но дочери ее — о, нет!

А уж Ася над всеми ними высится, как Мадонна, ну, куда им всем! Даже и Ольге Елисеевне до Аси, нет, не дотянуться!..

Я кончила переводить с французского «Детство» Васи. По-моему, **ОЧЕНЬ!** Читала страницы Марьямову и его жене Лене. Понравилось **ч р е з в ы ч а й н о**. Надо дальше работать. Но я сейчас целыми днями сижу подле Ольги Елисеевны. Ах, какая же душечка! Миленькая моя! Завтра Сосинские хотят перевезти ее к себе из «Метрополя», а разрешения оставить ее здесь, в Москве, у них пока нет. Конечно, все мы очень волнуемся.

27 июня

Послала Светланке — Черной Кошке — 25 рублей, абсолютно шалопутная девчонка. Поехала, по-моему, без денег в Крым...

28 июня

Мы: Володя Сосинский, Наташа и я — умыкнули Ольгу Елисеевну из «Метрополя» в Измайлово, к Сосинским. У меня нежность к ней! И она чувствует это. Я знаю, что очень пришлось ей по душе. Наташа поехала в Ленинград, чтобы повидать Асю.

30 июня

Ася написала мне про Наташу, что та произвела на нее отталкивающее впечатление. Обо мне Наташа отозвалась пренебрежительно.

А Ольга Елисеевна так интересно рассказывает!

3 июля

Светлана вернулась из Крыма черная, как негритоска. Алена с Цаплиным плывут по Волге, но идут дожди. Аленка была удивительно мила последнее время. И уговорила отца плыть по Волге — оба страшно довольны, судя по Алениной открытке.

4 июля

Пришел Ваня с девушкой — премилая, умненькая, преподает химию в институте в Кемерове, звать Светланой. Она явно сильно влюблена в него, а он в нее — **НЕ ПОНЯТЬ...** Хотя бы! Я душевно рада была, что он пришел вместе с девушкой! Оставил мне свой адрес.

6 июля

Скучно мне без Василия Васильевича! Одиноко! Страшно порой! Милая моя Ася. Я написала ей, что, по-моему, все чушь, кроме люб-

ви. Единственное, что в счет на этой земле, в этом огромном, никому не понятном мире,— это любовь. И Ася тоже так считает.

Вот он со мной сейчас. Поваяло покоем, тихостью на меня.

У меня болит сердце оттого, что Марьямов занят своей книгой о Довженко и потому до сих пор не приготовил Васиных «Гитлеровцев в Париже» для напечатания в «Новом мире». Сегодня я перевела кусок о религиозной вере, рассуждение, которое Вася приписывает своему отцу, но это его собственные мысли, возможно, тождественные с мыслями его отца. Он говорил их мне прошлым летом. Еще года не прошло...

8 июля

Кира Волконская, моя подружка, бывает трогательно мила. Царя в голове нет (как и у меня, наверное), но душа добрая, и женственная она, юная, несмотря на свои 53 года. У Андрея Волконского роман с киргизкой в разгаре. Хорошо.

9 июля

Ездил к Марьямовым в Малеевку. Саша Галич (автор пьесы «Вас вызывает Таймыр») пел в мою честь свои песни. Великолепно! Сильнее и Окуджавы, и Новеллы Матвеевой — несравненно умнее, острее. В Малеевке блаженство. У пруда даже в нынешнюю жару прохладно. Марьямовы милы очень. Саша Галич — красивый, высокий, похож на гусара из какого-то блестящего полка. Поет чудесно! И милая у него жена, которую он зовет Нюша. У нее синие-синие глаза.

10 июля

Приехала из Женевы жена Н. А. Русанова Мария Моллар, швейцарка. Старушка. Хочет пригласить меня в Швейцарию.

Была у Ольги Елисеевны. После обеда она легла спать и, проснувшись, сказала: «Мне снился Вася. Он сказал: «Как хорошо, что ты, наконец, приехала!» Я ему говорю: «Мне так Таня понравилась!» А он отвечает: «Я счастлив, что она тебе понравилась!» И так живо я его видела». Душенька она!

14 июля

Ездил к Кире Волконской в Суханово, бывшее до революции имение «светлейших князей Волконских». Но над Сухановом с его великолепным парком с прудами лежит что-то трагическое, печальное. Столовая помещается в бывшей церкви, над княжеским склепом. Комментарии излишни. Последний отпрыск сей ветви Волконских, надежда семьи, юный князь, приехавший на каникулы из пажеского корпуса в свое имение, разбился на лошади в конце прош-

лого столетия. Для него-то и выстроили склеп, а теперь там столовая! Над его могилой!.. Не поеду туда больше. Какая мерзкая профанация! И с террасы виднеется в долине внизу тюрьма Суханово — для смертников, а это бывший монастырь...

15 июля

Приехали Катала — они плыли на пароходе вместе с Морисом Торезом, и он умер внезапно.

Люся привезла мне дивные сандалии, золото-бело-перламутровые, и синюю нейлоновую авоську с золотыми полосками. Париж! А себе — разные платица. Много рассказывали о своем интереснейшем путешествии: плыли в Стокгольм, Копенгаген и Париж, обратно — Марсель, Неаполь, Афины, Константинополь, Одесса, Москва. Они видели Сюзанну — вторую Васину жену. Люся сказала: «На этот раз мы видели много народу, много красивых, элегантных женщин, но Сюзанна произвела на нас особенно сильное впечатление: красивая, страшно шикарная и очень женственная. Она сама пришла к нам за вашим подарочком». А Катала сказал, дерзко глядя на меня: «Василий умел выбирать своих женщин!»

16 июля

Была у Марьямовых в Малеевке. Саша Галич опять пел, у него наряду с трагически-политическими песнями есть и остроумнейшие. «Физики», например, — мы просто валялись от хохота... Он очень талантливо. Пел опять для меня — как он всем объявил. Жарища несусветная, и желтые листья уже лежат на дорогах. Галич красивый, высокий. Прелесть! Мы сразу подружились. У него славная жена Нюша.

Завтра поеду в Переделкино — звонили Тамара Владимировна Иванова и Лиля Брик. Лиля с Василием Абгарычем живут сейчас рядом с Тamarой. Мне милее их всех внук Тамары — Антон, ему 14 лет, очень славный. Он было очень ко мне привязался, но мать его, Таня Дубинская-Иванова, быстро, ни с того ни с сего постаралась пресечь это! Она некрасива, будучи красивой: золотые волосы, хорошие глаза, хорошая фигура, а все вместе — не то! Правда, у нее трагичная судьба: три года назад умер ее молодой, любимый ею муж, отец Антона, от странной, редчайшей болезни почек. Теперь на Антоне сосредоточена вся привязанность Тани, и бедный мальчик ежеминутно является центром внимания всей семьи. Неудивительно, что он отчаянный разбойник!

18 июля

В понедельник приедет из Ленинграда Ася для свидания с Ольгой Елисеевой.

Была в Переделкине: в ногах у Васи на могиле расцвел красивый розовый цветок.

К Лиле приезжал первый советник французского посольства Лабуз с женой. Они очень приглашали меня к себе, но я отклонила их предложение, ибо они из посольства, хотя все французы мне по сердцу...

Вечером к Лиле приезжал Боффа, умный итальянец, и пришли Орловы с врачом Анной Наумовной. Владимира Ив. Орлова похвалили в «Известиях» за книгу о чьем-то творчестве, но на днях, к удовольствию всех писателей, его сильно побили в Переделкине какие-то пьяные парни. Устроили ему «темную». Почему?

19 июля

Обед у Катала. Я была с Верочкой, ибо у Катала живет сейчас некая семнадцатилетняя девочка Сильвия. Верочка подружилась с ней и даже сразу повела ее в Кремлевский театр на «Демона» с Чабукиани. Маленькая парижанка в восторге.

Уехала домой, в Ленинград, старенькая Наталья Николаевна Бойко-Русанова. Она мне родной человек. Она сказала, что у Мопассана есть такие строки: «Любовь — это самое главное».

Да.

Она великолепный глазной врач.

Завтра приедет моя обожаемая Ася.

От злойки Наташи Резниковой есть письмо с громогласными мне комплиментами! Зачем эта фальшь?! Я всегда чувствую вранье, когда люди врут. Всегда.

20 июля

С утра чищу, мою... Алена и мои два оруженосца — Светлана и Верочка — поедут вместе со мной встречать Асю. Верочка весь день помогала мне.

21 июля

Ася ночевала у меня, ни за что не захотела лечь в комнате, легла на кухне. Выглядит хорошо, трогательно застенчивая, умная, особенная. Она — как персонаж из античной трагедии, и по сравнению с ней все остальные женщины ужасно обычны, включая и Анну Андреевну Ахматову... Куда даже ей до Аси!

Проводила Асю к Ольге Елисеевне — тяжело встретиться снова после сорока лет разлуки...

Ольга Елисеевна перебирала фотографии: вот Чернов, вот жена Савинкова, вот Авксентьевы... Я ничего не знаю об истории эсеров, кроме того, что у нас в России их всячески поносили, позорили и изничтожали все последние сорок лет, после того, как Фанни Каплан покушалась на Ленина. Василий Васильевич говорил мне, что Фанни была с анархистами. Ее расстреляли еще при Ленине, об этом

есть в записках Б. Локхарта «Британский агент», но все годы ходила легенда, будто Ленин велел НЕ казнить ее, говорили, будто она работает библиотекаршей при Бутырской тюрьме... Васенька сказал, что она принадлежала к партии анархистов-коммунистов и много лет сидела в царских лагерях. Никогда не была эсеркой.

27 июля

От Аси письмо: она очень заболела, вернувшись в Гатчину. Бедная! Она была потрясена при встрече старостью и немощью Ольги Елисеевны... Ася написала мне, что считает, что люди, когда теряют полноценность, должны кончать жизнь самоубийством и что Марк Аврелий тоже так считал... Для Аси античность всю жизнь была реальной действительностью.

29 июля

Я бываю у Сосинских и сижу с О. Е. У нее добрые, умные глаза.

2 августа

Аленочка уехала к бабушке в Орджоникидзе. У меня ночует Светлана, которую я очень люблю, да и она меня. Она как черная кошка. Я так и зову ее. Это я выдала ее замуж за Володю Дьяченко. Ваня глаз не жает. Последний раз, когда был, сказал, что собирается уехать на Чукотку. Он худой, бледный... У него становится все более неподвижное лицо. Он сказал мне, что никого не любит. Я хотела рассказать ему про его отца, он оборвал меня, сказав: «МНЕ НЕИНТЕРЕСНО! Я уйду, если ты начнешь говорить о нем», — и не стал слушать, зевнул и замер... Мне опять от него страшно!

4 августа

Завтра еду к Пушкину в село Михайловское, в Псков и Новгород с Кирой Волконской. Там сейчас Лидочка Рутенберг. Радуюсь.

По радио лягаем китайцев, а те нас.

Аркадий Иванович Альтовский был у меня сегодня. Ему 85 лет, но он прекрасно выглядит. Объявил, что хотел бы жениться на мне!

Сказала милому Аркадию Ивановичу, что никогда в жизни ни за кого больше не выйду... А у него грустное стало лицо, хотя, конечно, он ни на что и не надеялся, бедный. Сказал мне, что сильно в меня влюблен и что я «женщина до мозга костей». Гм... Старое выражение. Он рассказывает мне интереснейшие факты об эсерах. Он прекрасно знал Азефа, Чернова... Помнит Столыпина, высоко ценит его ум, но как революционер терпеть его не может.

5 августа

Псков и пушкинские горы. Михайловское.

Тригорское и снова Псков

Рано утром в Пскове мы с Кирой Волконской сели в автобус и под проливным дождем помчались в Пушкинские горы, где сейчас живет моя подружка по Новосибирску — Лидия Абрамовна Рутенберг. Было тепло и туманно от дождя, места великолепные, просторные. Пскова мы не видели — осмотр его отложили на потом. Во мне все горело: скорей к Пушкину! Благодаря Лидии Абрамовне мы сразу же получили комнату в гостинице у подножия Святогорского монастыря, где похоронен Пушкин. Немцы многое тут взорвали, но местные жители все восстановили... По удивительно красивой лестнице мы взобрались наверх — к могиле Пушкина... Тихо-тихо шуршат капли дождя, высокие деревья теснятся вокруг могилы и старой церкви, а внизу, на поляне, среди моря душистых флоксов — бюст Пушкина на пьедестале — его как раз выкрасили черной краской, словно бы ваксой — ужас! И по обеим сторонам огромные клумбы с флоксами, стоят в центре высокие скрижали — на них по четверостишию:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа...

И это производит (несмотря ни на ваксу, ни на что) потрясающее впечатление! Народ идет и идет сюда со всех концов России... Идут поклониться П О Э Т У.

Машины отовсюду. Люди самые разнокалиберные. И много молодежи с рюкзаками за плечами, в видавших виды штанах и ковбойках. Много девушек.

Отыскивать дом, где живет Лидочка Рутенберг, нам помогал мальчишка-цыганенок Саша Иванович. Он учится в третьем классе и с восторгом согласился пообедать с нами. Вид у него голодного галчонка, но денег он ни за что брать не хотел. Зато всласть и вдоволь поел. Прелесть что за цыганенок!

8 августа

Вчера, в дивный солнечный день, мы пошли пешком — я стояла, чтобы только пешком, а не на автобусе, через лес — гидом был цыганенок Саша — в Михайловское. Вошли в парк воистину как в некое волшебное царство... Красота неопишная. Знали эти дворяне-помещики, где имения устраивать, где дома ставить! Все чудесно: и дом, и пруды, и речка Сороть среди зеленых широких полей... Потом пошли в Тригорское пешком, но нам предложили поехать в их машине некие Суходольские из Ленинграда. В Тригорском как-то все весело, радостно и тоже удивительно красиво. В Петровское не попали из-за размытой дороги. Суходольские предложили отвезти нас обратно в Псков — мы согласились, заехали за вещами

и попрощались с Лидочкой — и вот мы опять в Пскове, где получили комнату в гостинице «Октябрьская». Я ошалела от впечатлений.

Печерский монастырь

Утром отправились на рынок. Рынок — прелесть! Псковские старушки по грациозности и скромности напоминают мне японок. Затем с Киркой на автобусе отправились в Псковско-Печерский монастырь. Он — словно на дне колодца волшебный китайский сад! Театрально! Экзотика: рококо XVIII века за древними великими стенами. Перезвон колоколов: пять человек. Монах в черной рясе и камилавке обеими руками дергает сразу по две веревки и сам весь дергается в такт. Рядом молодой парень «в штатском» — красивый, румяный, — улыбаясь, перебирает пальцами сразу по четыре веревки. Пожилой человек с испытанным лицом, закрыв глаза от упоения, дергает по одной... Они стояли наверху в постройке, что напротив звонницы с колоколами, и веревки летали над нашими головами. А внизу, среди двора, стояли еще двое звонарей: маленький монах продел ногу в канат и подпрыгивал: басисто гудел колокол. Рядом с ним какой-то простолудин обеими руками висел на канате и дергал его, раскачивая рельсу, которая грохотала по огромному колоколу, и тот отзывался на предельно низком звуке. Все пятеро как бы составляли оркестр — и колокольный звон необычайно красив: радостный, праздничный, безудержно веселый... и могучий!

10 августа

Вечером спим в каюте эстонского парохода «Лермонтов».

Величественный суровый Псков! Главный реставратор — наш знакомый Всеволод Петрович Смирнов. Добродушный бородач, хороший художник. Одержимый человек — вот на таких держится наша Русь! У него приятная жена Наташа и сын Митя.

Интересный музей, где в запаснике есть даже два Шагала! Директор музея — Иван Николаевич Ларионов, тоже из подвижников (это все люди типа Николая Николаевича Померанцева).

Настоятель (или наместник) Печерского монастыря — отец Алипий — стремительный черный красавец, художник и реставратор, в прошлом офицер Красной Армии. Кира страстно хотела полезть в знаменитые пещеры, но туда не пускают, а подойти к отцу Алипию она не решилась, хотя он во все глаза глядел на нас.

Седого юношу-монаха с прекрасными синими глазами, который так ясно и приветливо смотрел на меня, зовут Пимен. Он звонарь. Пошли с Кирой пешком в Святогорский монастырь над рекой Великой. Стража зовут Пимен Ильич. Он открыл нам тяжелые двери собора, где пусто и пыльно...

11 августа

Плывем по реке Великой, через Псковское и Чудское озеро и реку Эмма-Эйги в Тарту, бывший Дерпт. И еще его называли Юрьев.

С вечера мы в Пскове с разрешения капитана уже залезли в каюту. Еле брезжил рассвет, когда мы отчалили и поплыли по реке Великой, мимо Псковского городища, мимо величественного Святогорского монастыря. Пароходик наш погрузился в туман. То там то сям возникали изумрудно-зеленые острова, пароход медленно плыл, пробираясь среди песчаных отмелей. Народу на пароходике полным-полно. Старшего матроса, ладного эстонца, зовут Томас. Мы подплывали к большим островам, где белели старые церкви и ютились домики, а навстречу нашему пароходнику выплывали баркасы с пассажирами, груженные корзинами с яблоками и мешками с луком, и пересаживались с баркасов к нам. В гости в деревню Колпино Колейского сельсовета звал меня Осип Тимофеевич Сенюшкин (Печерский район). Он — «выездной», то есть правит таким баркасом — пожилой, ясное лицо, мягкий голос, ярко-синие глаза. Русская речь у него плавная, ладная, ласковая. Чудесно! Настойчиво звал приехать погостить у него!

Чудское — бескрайнее озеро, и на закате дивным прозрачным вечером мы вплыли в реку Эмма-Эйги — словно в зеленый рай, — по обеим сторонам луга с «не по-нашему» выглядящими стогами сена, аккуратные домики с «ненашими» крышами и особо элегантные моторные лодки — Европа!

Приплыли в ТАРТУ.

Кира была в чудесном настроении и заливалась хохотом все время, чем смущала порой окружающих нас мужчин...

Тарту премилый городок, и на каждом шагу уютные маленькие кафе и ресторанчики. Томас звонил в переполненную гостиницу «Парк», но надменная заведующая сочла, что мы годимся лишь для общежития при гостинице, где мы и переночевали, а на другой день перебрались в роскошную комнату в захудалой привокзальной гостинице «Астория». Но все в Тарту респектабельно. Я с места в карьер выучила несколько любезных эстонских слов и ими орудуя, чем сразу обезоруживаю довольно-таки неприветливых эстонцев. Чувствуется, что мы, русские, немало им насолили. Университетские здания — у подножия великолепного парка, по которому можно бродить часами, так он хорош! Много молодежи и красивых мужчин — контраст с нашими мужчинами, которые так некрасивы и неэлегантны! А эстонцы по-настоящему мужчины и ведут себя соответственно — по-рыцарски вежливо и «заинтересованно» с женщинами. Пьяница инженер Оскар, сидя в кафе напротив нас, вдруг заговорил со мной по-французски и начал читать мне стихи Верлена! «Вот мое сердце, которое бьется для вас!» Мне так живо вспомнились мои подруги-эстонки в лагере в Астрахани. Эрна Райо-

нен умерла — она была блестящая умница, интересный человек!
И Хэйди Рэбонэ, которую мне так хотелось бы найти!

Не хочется обратно в Москву!

14 августа

Вернулась, кажется, не на радость. Пришел Ваня, худющий и злощий. Сказал, что завтра переедет ко мне, ибо ему нечем платить хозяйке за комнату. Он не работает.

Пришла и Алена, вернувшись от бабушки. Сказала мне, разозлившись на что-то, что я Ваню в детстве «подбросила» бабушке. «Потянула бы ты нашу ляжку!» — сказала мне Алена... А я молчала и вспоминала Воркуту, и «баланы», и «общие работы», и как я была ассенизатором...

Я не хочу жить вместе с Ваней!

16 августа

От Вани, блестящего, сияющего умом и добротой маленького мальчика, обожаемого мной сына Ванюшечки-душечки,— что осталось? И если да, то как пробудить это к жизни из-под спуда грубого бессердечия?! Сталин со своими опричниками погубил еще и души наших детей...

19 августа

Ольга Елисеевна рассказывала мне про Марину Ивановну Цветаеву, с которой была очень дружна. Это она вызволила Марину в Париж и помогала ей, чем могла.

Я люблю ее: она маленькая, незащитная, и у нее добрые, чистые глаза... Она не сердитая старушка, не злитесь, как иногда Лилечка, не беснуется в гневе, как Женька Стрелкова... Ну, ладно, молчу...

27 августа

А Ваня живет у меня, и пока что мне с ним легко. Оказывается, он убедил себя в том, что человек, не знающий отца, заранее обречен стать неудачником в жизни... Мне бесконечно жаль его... Кто ему это внушил?! Он ушел с работы. Сказал мне, что работу легко найти. И что он ищет.

30 августа

Просматриваю Васины вырезки из газет — материал для его статей в «Либерасьон». Как радовался он каждому нашему успеху, каждому сообщению, в котором видно было, как культурно выросла страна, что учатся трудиться русские люди, что у нас успехи в науке,— он любил это, ценил это, этому он отдал всю свою жизнь,

действительно служению человекам... во имя их блага, во имя их счастья...

Была на кладбище. Посадила астры, цветы выросли...

ТОСКА...

Лиля Брик, у которой я вчера была, то хорошо живет, то болеет... Но когда людей очень давно знаешь, то очень привязан к ним...

2 сентября

В музеях Европы то и дело кражи: то украдут Рембрандта, то Ван Гога. И в древних соборах кражи... Неужто крадут для гориллоподобных миллиардеров из Далласа? Весьма похоже на то...

17 сентября

Петя Вегин выступал на вечере поэтов в Центральном Доме Советской Армии (это мой Екатерининский институт, где девочкой я училась). Он позвонил мне, рассказал, что Женя Евтуше специально приезжал из Гагр и читал два отрывка из своих поэм «Братская ГЭС» и «Ярмарка», которую цензура не допустила к напечатанию, а он уже правил гранки для «Юности» (№ 12 за 1964 г. и № 1 за 1965 г.). Рассказывал Петя, что читал Женя великолепно и был очень красивый, загорелый, а на смуглом лице голубые глаза, читал сильно (все это со слов Пети, которого я люблю за его искреннее восхищение перед более талантливыми Женей Евтуше и Андреем Вознесенским). Жене Евтуше устроили овацию. Он снова уехал в Гагры, где вместе с Галей пробудет до конца месяца. Последним выступал Булат Окуджава — читал из своего цикла «Франсуа Вийон» и пел под гитару. Тоже овации.

У Андрея Вознесенского вышла книга стихов. Он, может быть, бывал у нас только потому, что ему хотелось, чтобы Василий Васильевич писал о нем в «Либерасьон». Теперь этого нет, и Андрей «смылся». Нет, надо гнать от себя такие гнусные мысли! Андрюша бескорыстно нас просто любил!. Я уверена в этом.

18 сентября

В моей жизни было Чудо: Василий Васильевич. Значит, у меня жизнь счастливая. Моя жизнь была счастливая... Как страшно писать «БЫЛА»...

20 сентября

Отец Ирины Гогоу — Калистрат и ее мать — урожденная Кольберг, по ее рассказам, часто спорили о Сталине. Мать говорила, что объясняет его гипнотизм или власть над людьми, которую он, безусловно, имел, его вероломством. Вероломство (коварство) было главным рычагом его характера. А отец Ирины считал, что он, Ста-

лин, хоть и негодяй, но талантливый. Оба они знали Кобу еще в ранней молодости. Тот рассказ старика грузина про Сталина, будто бы встретившего Ленина в Белоострове,— абсолютное вранье. Сталина на этой встрече не было. Мне это говорила очевидица, сама встречавшая Ленина в 1917 году, когда он приехал в знаменитом запломбированном вагоне. Она подруга Берты Александровны Бабинной, эсерки, старого друга моего В. В. Ирина умная, но высокомерная — «наш красный бо-монд»!

22 сентября

Я это поняла еще в прошлом году, еще до того, как мы расстались: ничто на свете НЕ ВАЖНО, все равно все безвозвратно уходит... Люди в утешение себе выдумывают какие-то вещи, а НИЧЕГО НЕ ОСТАЕТСЯ... И только любовь, только счастье — от любви ли, от красоты ли, от доброты ли — только это НУЖНО!

Я кончила переводить «Детство», но я недовольна, у Васи это в тысячу раз лучше. Но что осталось? От его дивной, кристально чистой души, от благородства, мудрости, доброты, глубочайшего бескорыстия во всем?! Бесконечен поток жизни и смерти... А мы, люди, пыль, песчинки, снова вливаемся душой (а где она? что она?) в этот бесконечный, бессмертный поток...

26 сентября

Ольга Елисеевна — трогательная, старенькая. Она чувствует, с какой нежностью я к ней отношусь... Ведь она знала Васю маленьким! Ведь она очень любила Васю... Она угасает... Иной раз она мне интереснейше рассказывает, и я стараюсь записать. Она знала близко людей, имена которых для нас легендарны: Веру Фигнер, Гершуни (сказала, что он был талантливей всех), Лихтенштадта, Азефа, Вандервельде... Марину Цветаеву... Ремизова... Бунина... Набокова...

29 сентября

3 октября приедут Оля и Вадим Андреевы. Только бы НИЧЕГО не привозили мне. Так не хочется ничего от них! И вообще вещей... Надоели мне вещи! Просто как-то ни к чему. Подарила с великой радостью Аленке на завтра к ее именинам свое черное платье, в котором была с Васей в последний раз на новогоднем обеде во французском посольстве, и дивный шерстяной белый шарф с цветной каймой работы «слепых девушек Израиля» из Тель-Авива, который привезла мне Маруся Тимченко — сестра Нины, первой жены Васи-ка... Аленке страшно идут и платье и шарф, и я от души рада.

Ваня пока что стал работать грузчиком. Мы живем ладно, то есть в ладу.

30 сентября

Ваня ко всему вялый, равнодушный, ничем не интересуется, кроме (в какой-то мере) футбола... Он НЕ ПОМНИТ — он может с полным безразличием отнестись к интереснейшему рассказу и назавтра же забыть этот рассказ целиком и полностью.

Ольге Елисеевне плохо... Милая, маленькая, старенькая...

Мне не хочется ехать к матери, но надо!.. Не хочется мне ехать к ней! Хочется быть дома! У себя!

2 октября

Мы тогда в среду обедали у Катала, а в пятницу Василия Васильевича уволокли в больницу... Я тогда за обедом тревожилась, что он пьет вино и ест острое... Ему в больнице сделали переливание крови, а этого н е л ь з я было делать! Но доктора и Баранов говорили, что так надо!.. Мне было страшно — я сидела в коридоре, а в него лили эту чужую кровь некоего Рокова... Рок... А в то утро Васечка так хорошо выглядел! Мне хотелось им сказать: оставьте его в покое — он сам выздоровеет! А у него ничего плохого и не было, когда его уложили в больницу. Просто легкое нездоровье после непривычно тяжелого обеда. И дома он отлежался бы... Господи, но что... что...

Приехали Оля и Вадим и с ними Саша — Андреевы.

Ольга Елисеевна угасает...

3 октября

Вчера, 2 октября, у меня был из Ростова Константин Иванович Прийма, он заведует научным кабинетом творчества М. А. Шолохова. В мае будет выставка творчества Шолохова по случаю его юбилея. Его направил ко мне Катала, ибо Василий Васильевич был первый переводчик на французский язык «Тихого Дона». У Приймы хитрые, но в то же время добродушные глаза, вид настоящего донского казака, на левой руке отрублены пальцы. Сказал, что на войне был ранен в голову (и, очевидно, в руку?), подробно расспрашивал о Васе, просил фотографию его... Вася первые два тома переводил с Сюзанной, на книгах его и ее фамилии. Прийма меня просил ей тоже написать, что я сегодня же сделаю. Он замечательный рассказчик. Я спросила его, как Шолохов относился к Сталину. Он сказал, что Сталин заискивал перед Горьким, Алексеем Толстым и Шолоховым, но отношение Шолохова к Сталину определяется тем, что в «Тихом Доне», там, где речь идет о гражданской войне, ни разу не упомянуто имя Сталина... В «Тихом Доне» Сталина нет, как, впрочем, и в остальных романах и рассказах Шолохова, за исключением трех упоминаний о нем в «Они сражались за Родину». Но вот что, по словам Приймы, произошло в Ростове-на-Дону в 1937 году. Начальник НКВД был в ту пору Гречуха (или Гречихин? Я забываю,

путаю фамилии!). Арестовали одного инженера-коммуниста, который за «гражданку» имел орден Красного Знамени, по фамилии Погорелов. Повели на расстрел, подняли ружья стрелять, а Погорелов в последний раз рот раскрыл и крикнул: «Да здравствует коммунизм!» Раздалась команда: «Отставить!» И главный сказал: «Коли он такое перед смертью кричит, может, он все-таки наш человек? Веди его наверх!» (Сказал ли это сам Гречуха, не знаю.) Привели Погорелова в кабинет начальника. Сидят трое, предлагают закурить, чуть ли не по плечу хлопают... Говорит Гречуха Погорелову: «Ну вот что. Товарищам Сталину и Ежову стало известно, что на Дону есть контрреволюционная организация, во главе ее — атаман. Мы знаем кто, но поймать с поличным все никак не можем, не удастся. Ты, Погорелов, чтобы доказать, что ты настоящий советский человек, должен его разоблачить! Этого атамана надо ликвидировать. Он в Лондон ездил и продал Черчиллю Северный Кавказ и донские земли. Понимаешь?!» «Ничего не понимаю», — отвечает Погорелов. Он чуть не брякнулся в обморок от ошеломления!.. Ошалел!.. Но собрался с духом и говорит: «За Родину я готов с кем угодно сражаться! Кто он?» — «Это Ш о л о х о в! Он в Лондон с Тухачевским ездил! Того уже разоблачили как врага народа, а этого все никак не изловить. Вот тебе шифр, оружие, поезжай в Вешенскую и старайся!» (Прийма гораздо интереснее все это рассказывал, чем я пишу.)

Послал Погорелов тайным образом через старого друга своего, секретаря парткома Лукьянова (или Лукова? — забыла!), спрятанную в папиросе записку Шолохову, с которым был знаком, что надо встретиться там-то и там-то ночью, за городом... «Смертельно важно» — так стояло в записке. Шолохов и Луков в машине поехали, встретились с Погореловым, тот все им рассказал, Шолохов сказал: «Немедленно надо прямо к Сталину ехать!» А в Вешенской уже к тому дню многих поарестовали и в расход пустили. Они все трое по отдельности кружным путем добрались до Москвы, а жена Лукова, которой дали знать, послала в это время из Хопра жене Шолохова телеграмму: «Миша здоров, рыбачит». И в Ростове-на-Дону НКВД не беспокоится: пусть рыбку в Хопре удит Шолохов, а как вернется, мы его!.. Приехали трое в Москву, Погорелов с Луковым остались у друзей, а Шолохов один пошел к Спасским воротам, он у Сталина бывал, его в лицо знали. Попросился немедленно на прием. Комендант позвонил Сталину, и тот сразу же Шолохова принял. Шолохов рассказал ему про все... Созвали Политбюро, и Сталин велел, чтобы кроме Шолохова еще и Погорелов и Луков присутствовали. Доложили на Политбюро — Ежов заерзал... Споры поднялись, долго... Наконец Сталин сказал: «Посмотрите в голубые глаза нашего русского писателя Михаила Шолохова — эти глаза не лгут, они говорят правду — я им верю. А тебе (обернувшись к Ежову) не верю! Посмотрите в глаза воина Погорелова, этого русского Ивана... Я впервые эти глаза вижу, но я вижу правду в этих глазах. Я им верю. А тебе НЕ ВЕРЮ! (К Ежову) Иди! Не мешай нам

работать! А ты, Шолохов, поезжай на Дон, пиши книги, ничего не бойся! И вы оба поезжайте! Работайте, ничего не бойтесь». И тогда же вскорости Ежова расстреляли».

Вот что рассказал мне Прийма. Чудеса! Но, по-моему, это все правда.

Порой люди рассказывают мне невероятные вещи, уверенные, что я буду молчать. Я и молчу.

На этом-то деле и погорел окончательно Ежов. Его, говорят, расстреляли, как и Гречиху этого...

Еще Прийма преинтересно рассказывал про мать и отца Шолохова. Ее звали Анастасия Даниловна, и она замечательно пела. Отец и мать любили петь вдвоем, обожали друг друга, и тут была целая история, как ее законный муж — бородач-казак, есаул конвоя его величества, требовал ее к себе от Сашки Шолохова, от полюбовника ейного, к которому она убежала! С дружками своими казаками из станицы Еланской бородач приезжал отбивать жену у Сашки. Но не отбил и ни с чем уехал. А когда родился сынок Миша, бородач кричал, что дитё его, законный его сын, и требовал отдать ему мальчика! Мише было лет семь, когда на скачках в честь приезда на Дон Николая II бородач, получив, как наилучший наездник, серебряную шашку от государя, к концу празднества упал с коня, который ступил ногой в сурочью ямку, и отдал Богу душу... Тогда только повенчались, наконец, родители Шолохова. Мать так и осталась безграмотной до конца жизни. Она кормила кур во дворе, когда станицу с самолета стали бомбить немцы, и погибла от немецкой пули... Отец Михаила Александровича помер от перепоя — погулял на свадьбе сына. Гуляли три дня. На четвертый с утра отец сильно опохмелился и к вечеру скончался.

Михаил Александрович Шолохов очень скромный, умнейший, простейший человек, по отзыву Приимы. У Сталина с ним был долгий разговор по поводу четвертого тома «Тихого Дона» — Сталину так хотелось быть в этом томе! Но Шолохов устоял.

После войны Сталин вызвал к себе Шолохова, уговаривая: «Надо о войне писать! Садись, пиши, создам условия!» Но Шолохов сказал: «Я пишу медленно. Быстро писать не умею. Вон Толстой спустя пятьдесят лет о войне с Наполеоном написал. Пусть хотя бы десять лет пройдет. Через десять лет стану писать. Отойти надо...»

А когда на Дону в 1932 году страшным образом внедряли коллективизацию, Шолохов дважды писал Сталину. Первое короткое письмо было, а второе чуть ли не на двадцати страницах. И Сталин прислал комиссию «разобраться». В общем, помогло шолоховское письмо не очень...

Итак, этот добродушный Прийма подробно расспрашивал меня вчера о Василии Васильевиче, и, когда я замаялась, уклонилась от его вопроса, от какой партии Вас. Вас. был в 17-м году выбран

в Учредительное собрание, он немного насторожился, поledenел! Сей добродушный Прийма позвонил мне потом и сказал, что его начальство, по фамилии Сутягин, приказало ему снестись непосредственно с Сюзанной Кампо, соавтором по переводу, и посему: «Дайте мне ее адрес!» (Узнав, что Вас. Вас. был эсером, Прийма и Сутягин хотели бы сделать первым переводчиком Шолохова не Сухомлина, а француженку и беспартийную Сюзанну Кампо — так я уверенно думаю...) Слово «эсер» пока что произносить не положено. Их предали анафеме и постарались уничтожить всех до единого... Я сказала, что дам адрес Сюзанны, но не сегодня. Он спросил, знает ли она русский язык, и очень удивился, когда я сказала, что не знает. Случайно в долгом, нудном разговоре с ним я проговорила, что сегодня встречаю Вадима Андреева. Прийма весь всполошился: ему необходимо с Вадимом познакомиться.

4 октября

Ольга Елисеевна сказала мне, когда я пришла к Сосинским сегодня: «Все приехали, и так грустно, потому что я умираю... Вон у окна умершие лежат, надо задернуть занавеску!» Я сказала: «Нет, они не лежат, не надо их бояться, они вас любят. Все вас любят. Они совсем не лежат, они л е т а ю т!» И она сказала: «Правда летают?» И очень успокоилась, — то, что они летают, ее успокоило!

Сегодня я сказала Ване, что если бы ему хотелось переменить профессию и учиться на какую-нибудь другую специальность, то я готова на то, чтобы мы жили вдвоем на мою пенсию, или если он хочет писать кандидатскую диссертацию, то пусть вопрос о зарплате его не останавливает. Глядя на меня холодными глазами, он сказал: «Не делай из себя наивную девочку и не приставай ко мне! Ясно?! Вот и все!» Я ничего не поняла... Что мне должно быть ясно?.. Но поняла, что спрашивать ни о чем нельзя. Поменьше разговаривать вообще, чтобы не нарываться на такое...

Но холодно и скучно жить с подобными ему. Мы какие-то совсем разные, из другого теста я сделана, чем мои дети... А как я хотела их иметь! Как безумно их любила! Они «отпочковались». Но ведь во множестве других семей это не так. Но это так во всех семьях, где отец, или мать, или оба родителя были арестованы. Дети бессознательно винят их в своем тяжелом детстве... Будто горе причинили им родители, а вовсе не отец народов — Сталин!

6 октября

Ольга Елисеевна очень больна, очень слаба... Проснувшись к вечеру, глядя в упор на меня совершенно ясными глазами, но отчаянным взором, она с силой промолвила: «Безвозвратно!» — подчер-

кивая каждый слог... Еще она сказала: «Я расскажу Васе, какая вы, как вы ко мне... Я расскажу Васе...» Лучше этих слов она не могла бы ничего сказать, о, милая!

7 октября

Сегодня у Ольги Елисеевны ее дочь Ольга Андреева-старшая, «кошка».

Странно, не успели мы увидеться, еще в такси, по дороге из Шереметьевского аэродрома в гостиницу «Пекин», она стала горячо оправдывать свою сестру-близнеца Наташу (в чем? — я так и не поняла, ибо Оля недоговаривает). Говорит, что О. Е. была к Наташе несправедлива... Нет, Ольга Елисеевна гораздо лучше своих дочерей, тут уж и говорить-то не о чем. Ольга Елисеевна в тысячу раз лучше, интереснее, умнее и обаятельнее их. Никогда она мне ничего плохого о них не рассказывала!

8 октября

Плохо!.. Была минута, когда О. Е. закричала, кинулась, но боль быстро утихает...

9 октября

В час дня умерла Ольга Елисеевна — она вчера спала и сегодня утром спала...

Я у Сосинских.

11 октября

Хоронили в крематории Ольгу Елисеевну. Я сказала, что пусть урну опустят в могилу к Васе... А я рядом с ним буду лежать — рядом...

Я у Сосинских, потом и Андреевы, Меликовы и Женя Ольхина, которая поехала ко мне ночевать. Ведь Ольга Елисеевна нигде не прописана... И похоронят урну только потому, что я разрешила захоронить урну в могилу Васи.

13 октября

Андрей Волконский пишет додекафоническую музыку. Это атональная музыка, комбинация из двенадцати нот хроматической гаммы без перехода к доминанту. Ее начал писать Андрей Шонберг, венец. Его ученики: Алдан Берг — опера «Вочек» или «Воцек» и Антон Веберн — «Пьеро-лунатик» в 1912 году. «Воцека» я слушала у Андрея в грамзаписи. Очень трагическая, душераздирающая музыка. Красиво. По радио слышала одну додекафонию: поразительно красивая потусторонняя музыка.

16 октября

Сняли с поста премьера нашей страны Никиту Сергеевича Хрущева. Пока что без объяснения причин и как-то невежливо. «Народ безмолвствует» — прямо по Пушкину. Все притихли. Ни слова ни в автобусах, ни в магазинах, ни на улицах. Словно ничего не произошло. Притихли. Научились молчать за сорок-то лет! Возглавляют правительство Косыгин и Брежнев. Косыгина я видела на приеме однажды: хмурое, сумрачное лицо, у его жены — такое же. Пусть будет к лучшему! Но Хрущева мне жаль: он был человекен, хоть и занесся, хоть и зарвался к концу... Как их всех разлагает власть! Но никогда я ему не забуду, как он разоблачил Сталина. Кто знает, была бы реабилитация у многомиллионных, невинно сосланных, если б не Хрущев! Он вернул ни в чем не виноватым людям и их детям — Доброе Имя! Сталинисты и китайцы ликуют, что Хрущева сняли.

22 октября

Были у меня Оля с Вадимом Андреевы, Марьямов, Женя Ольхина и неожиданно явился Игорь Ермолаев, которому я искренне обрадовалась. Он с марта исчез. Сказал теперь, что отправил в космос наших трех космонавтов и что Боря Егоров милейший и культурнейший из трех. Игорь загорел в Казахстане, я впервые поняла, что он ракетчик.

Вечер прошел «на высоком уровне», но Вадим скис оттого, что Марьямов вернул ему его рукопись, сказав, что «не пойдет» в «Новом мире». Я почувствовала, что оба Андреевы, еще накануне такие милые со мной, вдруг озлились и на меня из-за этого! Ну и люди! Я-то при чем? А вот то, что Васю про «гитлеровцев» напечатали, а Вадима печатать не будут. Их и обозлило.

23 октября

В «Правде» передовица: один абзац явно про Хрущева, что он начал создавать и свой собственный культ личности... Говорят, что у него инсульт. Говорят, что Аджубей с Радой в Вологде — он назначен редактором местной газеты.

28 октября

Андрей Вознесенский неожиданно прислал мне книгу своих стихов «Антимиры» с такой надписью: «Милая Татьяна Ивановна, я Вас очень люблю, мне очень хочется, чтобы у Вас была моя книга. Дай Вам Бог всего лучшего!» Мне было приятно. Но кроме «Охоты на зайца» (замечательно!), и «Сирень похожа на Париж» (как правильно!), и, может быть, «Возвращения в Сигулду» — все «словотворчество», и только.

С утра пришли Вадим и Оля. Вадим вдруг предложил денег, он дал мне взаймы 30 рублей, по-видимому, обрадовавшись, что я не отказалась. Скупец! Жаль, что я согласилась взять. О собственном Васином куске земли на острове Олероне ни Оля, ни Вадим — ни гугу. Я тоже, конечно, молчу. Оля пробовала что-то говорить «остроумное» про Асю, ведь Оля с Вадимом ездила в Ленинград и была у Аси в Гатчине, но я молниеносно пресекла это и перевела разговор на другие темы. Нет уж, к Асе она не смеет прикасаться! Ася настолько выше их! От них веет злой провинциальностью. Они «мелкие».

31 октября

«Милая кошечка» Оля показала под конец коготки, да не кошачьи, а рысьи. Мы — Лидия Максимовна Бродская, Наташа Столярова и я — поехали провожать их в Шереметьево. Сели за столик пить кофе. Оля, обращаясь к Лидии Максимовне, которая Асю и в глаза не видела, стала рассказывать ей про Асю, с хохотком и поглядывая на меня: «Ася человек очень страстный, она ревнива, она очень резка, она...» Подтекст был противно-злостный, я на полнейшем спокойствии перебила ее, глядя только на Лидию Максимовну, сказала: «Ася, то есть Анна Васильевна, — персонаж из античной трагедии. Она такая, что, например, если про Анну Андреевну Ахматову говорят, что она королева, то я скажу, что Анне Андреевне далеко до Аси... Ася в тысячу раз более королева! Ася замечательная, благороднейшая и умнейшая женщина...» Тут подоспел Вадим, услышал разговор и потащил Олю на самолет. До отлета оставалось больше часа, но они волокли в Женеву восемь больших банок черной икры и боялись, что их не пропустят. Мы, провожавшие, потолкались немного на ветру, попосылали им поцелуи и отвалили восвояси. По дороге я сказала Наташе Столяровой: «Наташа, не сердись на меня! Перестань сердиться! Все чушь, кроме очень немногих вещей...» Наташа хмуро кивнула. Но она больше не сердится. Бог с ней. Но видеться мы с ней перестали.

Андреевы вполне буржуи, в Вадиме больше и русского, и артиста, а Оля типичная французо-американская мещанка, из тех, кто признаком ума считает умение разорвать словесно ближнего на кусочки, да поострее и позлее! Нехорошо! Я бы всей душой хорошо относилась к женщине, которая полюбила мою мать, ходила за ней, — а ведь Оля царापала и меня!

1 ноября

Сегодня, в необычайно прекрасный день, я с утра поехала к Васе в Переделкино, долго сидела у могилы, полола траву, приводила в порядок дорожку... Кругом стояла тишина и такая красота, что и душа просветлела и помягчела... На солнце было по-сентябрьски тепло, озимые на поле ярко-зеленые, все прозрачные, и далеко

видно... Церквушка умилительно розовела на голубом небесном фоне. Чудесно! О, Родина-мать!

Потом я была у Тамары Ивановой и у Кавериных. Конечно, разговоры о Хрущеве. Тамара вдруг стала сталинисткой! Я поражена! Тамара с компанией: Сурковы, Шкловские, Бажаны, Андрониковы — едет в Италию и во Францию. Я хотела бы поехать, но не с такой компанией, а вдвоем бы, втроем бы, со своими, не с торжественными, умничающими снобами. В моем представлении Сурков — Иуда, Шкловский — надменный интеллеktуал-скорпион, Иракий Андроников — стукач, Вива — душная, чванливая... Бажаны — единственно милые. Но Италия — с остальными!.. Нет, не надо!

3 октября

Живем дальше. Пока резких перемен нет. Тихо. Посмотрим. Китаезы и сталинисты ликуют.

Бедняга Хрущев, я уверена, искренне и горячо хотел, чтобы все в СССР было хорошо и ладно, а главное, он реабилитировал нас, и еще главное: пекая о мире.

Об Аркадии Ивановиче Альтовском уже начали легенды ходить! А дело было так. В позапрошлом, 1962 году приехала из Парижа старая близкая знакомая Василия Васильевича — Вера Павловна Альтовская с дочкой Наташей Снай, в которую когда-то страстно влюблен был Алеша Сеземан. Им было лет по семнадцати, когда их отодрали друг от друга, и Алешу мать отвезла в СССР. И вот теперь, в 1962 году, впервые Наташа с матерью приехали в СССР. По-моему, к нам домой они явились прямо с аэродрома. Наташа за прошлое время уже успела развестись со своим киношником-мужем Лотом, братом того Анри Лота, который нашел в Тассили, в Сахаре, знаменитые наскальные рисунки. Мать и дочь сидели у нас и непрерывно вспоминали общих друзей. Вася сиял от радости. Ведь веру Павловну он знал с юности, — отец ее был доктор Розанов в Ялте, друг Чехова. На его даче и поселилась тогда с детьми мать В. В., уехав с Карийской каторги, где еще не окончил срок заключения отец В. В.

«А что-нибудь вы слышали об Аркадии, вашем муже?» — спросил В. В. «Нет. Ничего. С тех пор как вернулся тогда на Родину мой Аркадий Иваныч, так с 20-х годов как в воду канул. Сорок лет прошло. Умер, наверное... Ведь он эсер... Разве через столько лет что-нибудь узнаешь! — грустно сказала Вера Павловна. — Тяжело мне пришлось во Франции: дети маленькие были, а я во что бы то ни стало хотела дать им наилучшее образование! И стала я сиделкой при умирающих — за это хорошо платили. Нанимали меня богатейшие русские евреи, эмигранты еще царского времени, вот, например, дольше всего я сидела с отцом Стависского, помните знаменитое убийство его сына, миллионера? Хорошая была семья, ко мне прекрасно относились! Теперь Наташа сама крупный инженер, а сын — известный ученый, физик... У него своя вилла в Севре...»

Я решительно вступила в разговор: «Знаете, в наше время людей, давно исчезнувших, находят! Кое-кто ведь в лагеря попадал надолго... Я всех бывших заключенных, кого знаю, спрашивать буду: не слыхал ли фамилию Альтовский... У меня есть друзья с Воркуты, с Колымы...»

«Хорошо! Хорошо! А вдруг судьба — и он жив!» — воскликнули обе женщины.

И стала я спрашивать, Вера Павловна с Наташей пробыли недолго, их повсюду сопровождал Алеша Сеземан, которого я вообще видела крайне редко. Он был ближайшим другом Наташи Столяровой и тоже сидел в 1937—1938 годах. Из лагеря был отправлен на фронт в штрафном батальоне. Смелчак он был! Его освободили. Он работал как переводчик: французский язык был ему родным, как русский. Алеша был необыкновенно красив, в отличие от своего некрасивого младшего брата Дмитрия. На Алешу на улицах глазели, успех у женщин был бешеный. Он знакомил меня со всеми своими женами, я им и счет потеряла! Он ухитрялся с каждой из них (или не с каждой?) расходиться мирно, у него были дети, не помню сколько... Своеобычный, влюбляющийся от всей души с первого взгляда, бескорыстный — он был богема в лучшем смысле этого милого моему сердцу слова в ту пору. На нашей свадьбе с В. В. свидетелями были Алеша Сеземан и Наташа Столярова. Нас троих связывала дружба, но порой мы годами не виделись. Связывали нас и французский язык, и воспоминания о Париже, хотя мы не были еще знакомы там...

Берта Александровна Бабина сидела в лагерях на Колыме, но сын ее, Игорь Бабин, физик, сидел на Ухте,— его потом вытребовал к себе Туполев. Конечно, я вскоре спросила и Берту Александровну, ставшую мне близким другом.

«Альтовский?! Конечно, знаю! Он был на Ухте. Игорь с ним знаком. Альтовский ведь закончил знаменитый Политехнический институт в Париже. Инженер-электрик. Его последние годы назначили в Ухте директором электростанции».

Я дала знать Алеше, а дальше было так.

Мы проводили лето 1962 года в Переделкине, в Доме творчества писателей. Днем В. В. лег отдохнуть. Я сидела внизу на террасе. Гляжу, идет к Дому творчества красивый старик, спрашивает: «Где тут найти Сухомлина?» — «Пойдемте, я отведу вас!» — говорю я, уже догадываясь, кто передо мной. «Я Альтовский. Из Киева приехал. За мной туда Сеземан приезжал».

Мы вошли в наш номер... Как обрадовались друг другу Альтовский и Василий Васильевич! И как радовалась я, глядя на них! Аркадий Иваныч отсидел в лагере на Ухте все сорок лет, строил Заполярье... Бодрый, красивый брюнет, с сильной проседью, умный, прекрасная память... Он стал часто навещать нас. Дали знать семье во Франции, и Вера Павловна вскоре приехала снова с Наташей и с младшей внучкой. В живых после сталинских репрессий остались из эсеров очень немногие, наперечет...

После смерти В. В. им всем очень хотелось, чтобы я согласилась выйти замуж за Аркадия Ивановича. Я ездила к нему в гости раза два в месяц — он любил готовить обеды для меня и делал это отлично. Но замуж за него или за кого бы то ни было после В. В. я не пошла бы ни за какие блага в мире. Занять место Василия Васильевича в моей жизни не мог никто. Так я и сказала Аркадию Ивановичу. Мой отказ не нарушил нашей дружбы. Сын Аркадия Ивановича, известный французский физик, присылал отцу несколько раз приглашение приехать к нему, но Аркадий Иванович не пожелал покинуть Родину.

8 ноября

От Вани мне снова жутко, но, слава Богу, я вспомнила! Ведь его отец, Луи Фишер, один из известнейших в мире журналистов, по словам Василия Васильевича, был блестящий человек, великолепный журналист и писатель. Его книга о Ганди очень интересна. Его книги «Сталин и Гитлер» я не читала. Луи Фишер отличался тяжелым характером. Ваня лучше отца, но, ох, похож, похож! Луи однажды сказал мне: «Вы единственная женщина, к которой я приблизительно чувствовал то, что принято называть любовью...» Он оставлял свою бедную жену Маркушу (которая была старше его лет на 10—15), уезжал на два-три года, пока она носила, рожала и затем выкармливала его двух сыновей... И не посылал ей денег. Как не платил алименты и за Ваню. Правда, месяцев пять платил, затем его выслали из Москвы навсегда... Он ни о ком на свете не заботился. Он сказал мне, что только однажды в жизни плакал, когда хоронили эту бедную молоденькую девушку-коммунистку. Винсент О'Шин описал все это в своей замечательной книге «Личная история». Луи жил интеллектом, никак не сердцем. Интересный внешне, он очень нравился женщинам, но сам он оставался холоден к ним. Эгоист, грубый человек, неартистичный. Во мне его пленял именно артистизм, и он искренне считал меня красавицей, что ему льстило. Интересно, какой он стал? Он ведь приезжал сюда в 1956 году! Я знаю, он хотел увидеть меня и Ванюшу.

Марьямов сказал, что говорил с Твардовским и Кондратовичем: «Гитлеровцы» Васика пойдут во втором-третьем номере «Нового мира»... Это было главное для Васика. Это главное теперь для меня.

12 ноября

Самая интересная из моих автобусных прогулок — «Шереметьево», международный аэропорт. Дрожа, что заметят, что я сюда езжу, и вдруг что-то (ЧТО?!) заподозрят, словом, поистине «ликуя и содрогаясь», я пью кофе с мясным пирожком за голубым столиком и во все глаза смотрю... В это время через громкоговоритель на весь зал объявляют то самолет из Хартума, то самолет в Дели...

(Здание аэропорта недавно выстроили — оно огромное, все из стекла и алюминия — красиво!) Названия близкие, такие, как Прага или Вена, на меня уже не производят впечатления, зато далекие!.. Нет слов выразить, как сладко замирает сердце при словах: «Продолжается посадка в Калькутту! В Гавану! В Найроби!» Что касается Парижа и Рима — тут во мне уже душераздирающая боль... Пассажиры (не наши) случаются прехорошенькие, презлегантные. Пассажиров я не разглядываю, скользну глазами и все — стесняюсь! Лучше всех очаровательные иностранные дети, изящные, одетые как куколки. Проществовал японец. Лицо цвета слоновой кости, надменный, с застывшей полуулыбкой, за ним семенит крайне некрасивая супруга в больших темных очках. Прокovskyля толстая старая индуска в пестром сари и тусклом свитере. Скользнула мимо, словно танцуя, высокая роскошная блондинка, в светлых мехах, с непокрытой головой... За окнами падает мокрый снег...

Интереснее всего на свете вокзалы, аэропорты и пристани. У меня в голове тема: мы с Женькой Ольхиной рыщем в поисках похищенной для злодея, иностранного миллионера, дивной старой иконы, приписываемой Андрею Рублеву (иначе нам не поручили бы оную разыскивать! и не дали бы визы в Рим, Париж...). Мысленно я добралась почти до Флоренции, оттуда следы злодея ведут дальше, куда — еще не решила. Вокруг навороты и завертуты. Мысленно я уже написала три больших романа, довольно наивно-нелепых.

Говорят, Никита Сергеевич жив, здоров, пенсия большая, а Аджубей будто редактором газеты где-то в Караганде либо в Вологде.

15 ноября

Я должна поскорей ехать к матери. Но как оставить неустроенного Ваню?! Он ушел из грузчиков, ищет работу геолога, но найти не может... Трудно ему. И мне.

16 ноября

Вчера обедала у Катала. Жан Жанович сыпал остротами, лягал советскую власть, русский народ и коммунистов, покраснев от выпитого вина и возбуждения. Была эта молоденькая русская блондинка, на которой недавно женился сын Фужерона, художника. Она жаждет поскорее рвануть в Париж, ее волосы в локонах... Она хохотала от острот Катала.

Я была в редакции «Нового мира», говорила с Кондратовичем, и, когда он сказал, что Васю напечатают не раньше мая, я почувствовала, что у меня задрожало лицо и вдруг градом хлынули слезы... Я подавила их, взяла себя за шиворот... И молча ушла.

17 ноября

Год тому назад в этот день у него в больнице был Катала. Он чувствовал моральное превосходство моего Василия Васильевича и чтит его... Он глубоко уважал Васю и любил его! Катала и милая его Люся мои близкие друзья. Я их очень люблю.

20 ноября

Год прошел... Пришло ко мне вечером много народу. Мне хочется всех перечислить: Марьямовы, Тихоновы, Ирина Гогуа и Лева Брагинский, Володька Сосинский (Адя заболела), Наташа Столярова, Лена Ильзен, Лиля Брик с Василием Абгаровичем, Арсений Башкиров, Игорь Ермолович, Светлана Зверева, Верочка Медведева, Берта Александровна Бабина, Хильда Ангарова, Евгения Ал. Стрелкова, Женька Шмидт, Маляша Лебединская, Кира Волконская, оба Роллеры, Алиса Порет, оба Катала. Я сознательно не хотела духа уныния, и уныния не было — Васик не хотел бы... В суете и мелких заботах прошли эти дни, и это, конечно, вековая народная мудрость — делать поминание, поминки: в суете и на людях — легче!

Лилечка принесла торт. Подруги принесли цветы. Светлана испекла пирожки, на которые дала денег Аленушка. Ваня помогал, привозил табуретки от Аленки и прочая. Я истратила уйму денег и почистила досконально свой дом впервые за год. Утром мы с Кириой и Верочкой М. съездили к Васе на могилу.

22 ноября

Пришло письмо из Парижа от скульптора Осипа Цадкина на имя Васи. Они были близкими друзьями. Я ответила ему, сообщила, что Вася умер, послала ему четыре фото и каталог выставки «Русская деревянная скульптура» и написала: «Как было бы замечательно, если бы Вы сделали надгробный памятник Василию Васильевичу». Да, это было бы замечательно! Я написала, что если б на самом деле это случилось, то было бы равносильно чуду: Париж далеко, у меня нет денег. Но письмо от сердца. А он ведь «артист настоящий».

23 ноября

Что же будет с нашим искусством?

Забегала вечером к Марьямовым: у них сидел и пил водку Юрий Осипович Домбровский, который написал «Хранитель древностей». У него измученное немолодое лицо человека, хлебнувшего много горя... Его три раза приговаривали к смертной казни за его книги! И первая его повесть так и канула в вечность в стенах НКВД. Вторая уцелела каким-то образом, а третью, то есть «Хранителя», он восстановил по памяти.

24 ноября

Хрущев был хороший человек, но ему страшно мешала его некультурность... Но он совершил великое дело, сказав о преступлениях Сталина и сталинистов...

Статья в «Экспресс» (запродался французский «Экспресс» американцам!) намекает, что теперь у нас во главе двое: Шелепин 46 лет и Семичастный (помоложе). Оба они КГБ или Чека... У Шелепина интеллигентное лицо на фотографии. Семичастного я не видела, но он навеки приобрел печальную известность, назвав Пастернака свиньей, когда Борис Леонидович получил Нобелевскую премию... Комментарии излишни. Пока что «Литературка» стала неожиданно интересной газетой. «Правда» почти ежедневно печатает о реабилитированных, а по радио, слава Богу, передают современную музыку и джаз!

26 ноября

Читала «Детство» Васи в моем переводе с французского Ирине Гогуа и Берте Александровне Бабиной. Была и Наташа Столярова. Она была проста, мила, и мне с ней снова, как в прошлом, было легко, но видимся мы крайне редко. Интереснейшие разговоры и воспоминания: этим трем женщинам есть что и кого вспоминать...

«Детство» уместилось в 70 страниц, но их удельный вес велик! Слушали все с большим интересом. Какой противовес: «Детство» В. В.— и «Слова» Сартра, его воспоминания о своем детстве — чешет левой ногой за правым ухом! Печатают в «Новом мире» Сартра...

Это было еще до революции. Сталин был в Батуми, когда там провалилась подпольная типография. В ее провале обвинили Сталина. Из Тбилиси в Батум были посланы два революционера: Владимир Гдэбидзе и отец Ирины — Калистрат Гогуа, чтобы разобраться в этом деле. Они сочли, что Сосо не так уж виноват, скорее виновен косвенно... Но Батумская организация сказала: «Вы как хотите, но уберите его от нас!» А Сосо возразил: «А как я уеду, когда у меня денег нет!» Тогда Гдэбидзе вынул свои последние три рубля и воскликнул: «Бери, Коба!» И Калистрата Гогуа и Гдэбидзе в 1926 году посадили, но в 1931 году им разрешили жить под Москвой. А после изничтожили по приказу Сталина, который ненавидел и боялся всех, кто знал его в молодости. Гм...

Одна женщина, грузинка (эх, не запомнила фамилию!), умирая в лагере на Колыме, кричала: «Сталин — страшный человек, вы даже и не подозреваете, какой он страшный человек!» (намекая на его связь с царской охранкой). Вот почему нет доступа к архивам.

Василию Васильевичу даже материалов его собственного процесса не хотели выдать, ему пришлось для этого выпрашивать рекомендацию от Союза писателей.

Человек по фамилии Медведь, погибая на Колыме, сказал Шатуновской, что его помощник Задорожный получил лично от Сталина указание уничтожить Кирова...

29 ноября

У Катала превкусный обед — по обычаю французов в 8—9 часов вечера. Были разные иностранные корреспонденты: Понкальди с женой («Унита»), Ульман с женой и сын Вячеслава Иванова, поэта, о котором мне говорил Васик. Он будто бы теперь корреспондент «Монд» вместо Мишеля Татю, которого, наконец, выпустили вместе с Лидой, русской его женой, ее восьмилетним сыном и их крошкой дочерью. Сначала мальчика у Лиды отняли... Словом, был долгий и жестокий скандал — она чуть с ума не сошла... Какой-то из журналистов спросил меня при всех: «Как вы теперь смотрите на свой арест и лагерь?» Я сказала: «Землетрясение!» И зажала рот. Все замолчали.

1 декабря

Надо ехать к маме, а у меня грипп... И как я оставлю Ваню? Ведь он не работает до сих пор... Мне так жаль его, так болит за него сердце. И так болит ОТ НЕГО сердце! От его насвистывания, от ведра, которое выношу я, а не он, от уборки за Ваней — он ни в чем мне не помогает. Я от него устала. Очень...

2 декабря

Час от часу не легче! Сейчас Ваня, когда я ему принесла из ресторана вкуснейший пирог с мясом, сказал, бледный как полотно: «Неужели трудно понять?! Да, я мимоза, я нежный, как ты мне сказала. Врач сказала, что мне нужно полное спокойствие, пока у меня не пройдет НЕРВНЫЙ МИОЗИТ, можешь у нее спросить!»

Я растерялась... Что такое «нервный миозит»? Но, конечно, он болен, я сама вижу... Я сказала: «Ванюша, я скоро уеду, я оставлю тебе денег. Ты отдохнешь один».

4 декабря

Неожиданно от Васика подарочки: посылка из Франции, которую он заказал,— прелестная шубка, теплые сапожки и еще кое-что. Отдел печати послал письмо в таможду, и мне выдали все без пошлины. Васины подарочки! Он успел еще раз мне их сделать!

5 декабря

Кашляю как пустая бочка.

Накануне смерти Вася с ужасом воскликнул, когда я поперхнулась: «Почему ты кашляешь?!» И взял с меня слово, что я не буду больше курить. И я бросила тогда курить навсегда. Я Васе обещала. И я ни за что, как ни трудно мне, своего слова не нарушу.

8 декабря

Когда я сказала Ване: «Ну, не надо сердиться! Ведь так грустно молчать целыми днями! Ванюшечка, не надо! Это так печально», — он сказал тихо: «Уж чего печальнее...» И вышел из комнаты.

18 декабря

Сегодня Володя Сосинский, Оля Карлайл и я отвезли урну с прахом Ольги Елисеевны и захоронили в могиле Васи, у него в ногах. Ольга Елисеевна и Вася были очень дружны и близки. Вася...

На днях я уеду к маме.

22 декабря

Я у мамы в Орджоникидзе. Она хорошо выглядит, лучше и моложе, чем три года назад. Ее большие две комнаты убраны чисто, в них тепло и уютно. Я наняла уже давно одну украинку для уборки. Я во всем ей послушна. Мне хочется, чтобы ей было хорошо от меня. Она никак не старуха, у нее такая величественная осанка, и до сих пор она со вкусом одевается! Не дай мне господи не старости лет стать:

1. Никого не любящей (мама очень мало кого любит. Пожалуй, охладела и к Ване).

2. Скуповатой (мама восклицает: «Как ты много ешь!»).

3. Ворчливой (мама много ворчит).

Я всегда считала, что украшение старости — доброта! Мама искренне мне обрадовалась, хотя я почувствовала, что ей не хотелось бы, чтобы кто-то жил с ней постоянно. В этом я ее прекрасно понимаю. Я ее очень люблю и глубоко уважаю.

25 декабря

Маме я, конечно, ничего о состоянии Вани не сказала. Я звонила ему сегодня от соседей, рядом стояла Луиза. Ваня отвечал отрывисто, но сказал, что начал работать в ВИЭМС, около Сокола. У меня всегда веселее на душе, когда я хоть издали слышу его голос.

27 декабря

Городок в хорошую погоду — прелестный. Окна маминых двух комнат глядят на снежную цепь с Казбеком. Прозрачный дивный воздух, горы виднеются так ясно, что каждая ложбинка, каждая извилина видна. Красотища! Хожу гулять. Были с мамой в Русском театре и в кино. Повидали друзей. Новый год будем встречать у Шебуниных. Мама такая красивая и веселая была в театре! Она играет мне Шопена и Листа, и шикарный вальс Мошковского, который так томно и нарядно звучит, напоминая мне «тот» Кисловодск!

В 1912—1913—1914 годах мы из Москвы уезжали летом в усадьбу отца в Пятигорске, и часто Юра и я, маленькие, гостили у Бабушки в Кисловодске. У нее был большущий сад и в саду скала, где так интересно было следить за ящерицами и всякими жуками с муравьями, лежа на животе на горячих камнях. Мы с Юрой жили душа в душу, хотя порой и самозабвенно дрались, но больше для спорта, чем по злости. Конечно, мы никогда друг на друга не жаловались. Уходили драться на поляну в саду, не орали, не плакали. Юра был умнее и серьезнее меня, и я считала его за старшего. Мама много играла на рояле, она была законченная пианистка, и мы с Юрой любили музыку, могли плакать или радоваться от нее. Мама этому как бы не придавала значения или не замечала... Она пела с нами вместе детские песенки и даже дуэты. И, конечно, с шести лет нас учили играть на рояле. У мамы и у нас с Юрой был абсолютный слух. Но больше всего мы любили, когда папа пел нам украинские песни и играл на гитаре! Папа играл и на скрипке.

Кисловодск и Пятигорск в ту пору были нарядными курортами. Иногда Бабушка возила нас в парк на музыку — там в белой большой раковине играл под вечер оркестр, дирижировал В. Сафронов. Красивую форму носили военные: голубые гусары или киевские гусары в малиновых штанах; в черкесках с серебряными газырями офицеры конвоя его величества! А дамы были в огромных шляпах с перьями или цветами, а в руках маленькие кружевные зонтики. В нарзанной галерее по бокам стояли небольшие лавочки, где торговали бриллиантами, или чувяками, или восточными сладостями... За прилавком стоял хозяин и нюхал розу, поднося ее к носу. Они — персы или еще кто — так и стояли, держа в руках розу... Нам покупали чувяки — башмачки из мягкого красного или зеленого или белого шевро (мягкая кожа).

28 декабря

Я рассказала Наталье Матвеевне Вольфсон о нервном состоянии Вани. Она психиатр. Наши отцы были друзьями. Она очень умный, знающий врач. Она едет в Москву в конце января делать доклад о том, что при душевных болезнях состав крови изменяется и можно по анализу крови определить, здоров человек или болен. Гениально! Мы едем вместе.

29 декабря

Мать и дочь Шебунины — обе прекрасные пианистки. Мать, Любовь Викторовна, в прошлом красавица, очевидно, из дворян, муж погиб в 1937 году. Она прошла через страшную полосу нужды и голода, но главное она сумела сделать: воспитала дочь хорошим трудолюбивым человеком. Татьяна Федоровна — лучшая преподавательница музыки в городе. Живут они изящно и «столично». У них однокомнатная квартира, красиво обставленная, едят они превкусно — Татьяна любит готовить. Получают из Москвы кипы газет и журналов. К моей маме относятся чудесно, Татьяна Федоровна по вторникам приносит маме мясо и продукты с базара. Хорошие женщины, я им так благодарна!

На могиле моего отца растут высокие травы, стоит вокруг чугунная ограда, я повесила доску с его именем, старая надпись стерлась... Прелестный, легкий, добрый был мой отец. Мама вечно сердилась на него. Он ее явно раздражал. Они не были счастливы...

31 декабря

Встречать Новый год нас с мамой позвали к себе Любовь Викторовна и Татьяна Федоровна Шебунины. Л. В. еще до сих пор очень красива и женственна. Дочь ее, Татьяна Федоровна, прекрасная пианистка, учительница Григория Романовича Гинзбурга, менее привлекательна. У них очень изящно, стол изысканный... Они такие же одинокие, как и мы... Я благодарна им за приглашение.

Кто бы мог подумать, что за строгой надменностью Любви Викторовны скрывается глубокое горе: муж ее, видный инженер, в годы культа личности, в 1937 году, был арестован и расстрелян... Она осталась с маленькой дочерью, терпела страшную нужду, но вывела Татьяну Федоровну, что называется, в люди: Татьяна Федоровна сейчас лучшая преподавательница музыки в Орджоникидзе. Мать и дочь живут, что называется, душа в душу.

11 февраля 1965 года

Тоска, хоть криком кричи! Вернули из издательства «Советский писатель» рукопись Васи «Гитлеровцы в Париже» с гнусным сопроводительным письмом — отказом некоего Родченко — и с рецензией писателя Лаптева. А прошлым летом «Новый мир» готов был печатать Васю...

Мысли густой кашей переваливаются в моем слабом мозгу... Я бездарная. Я не сумела выцарапать Васю из больницы, я не сумела добиться, чтобы его напечатали, я не сумела «перевоспитать»

Ваню и хоть немного ослабить «бабушкино чудовищное баловство», по выражению Натальи Матвеевны Вольфсон.

Мы с ней ехали в Москву вместе. Она должна читать свой доклад на Всесоюзной конференции психиатров.

Приехав, я поселилась не у себя, а у Аленушки, а потом неделю провела у Женьки Стрелковой — «соседки». Ох, как было мучительно! Ваня по телефону не говорил, а рычал! Наталья Матвеевна пошла к Ване и часа три говорила с ним. Я стояла под окнами на улице, чтобы не мешать им. Мела метель, я мерзла, но ушла лишь тогда, когда увидела, что они через двор идут к метро. Ваня провожал ее. Она позвонила мне позднее и сказала: «Ваня, конечно, человек с большими нервами, слабый, но способный и умный. Чудовищное баловство бабушки сделало из него холодного эгоиста. Относитесь к нему вполне спокойно и строго. Никакого сюсюканья! Живите у себя дома. Он сам от вас переедет — наймет комнату. И начнет работать. Он должен жить самостоятельно. Его сломал ваш арест и все, что пришлось из-за этого пережить. Ведь дети очень любили вас, вы были для них идеалом, эталоном красоты — и вдруг вы арестованы, как преступница сосланы, значит, «что-то», в «чем-то» вы виноваты! Ему нанесли страшную рану, он в ту пору ведь маленький был мальчик! Аленушка ваша тоже пережила трагедию в связи с вашим арестом — вы ведь этого не знаете! Сталин и его шайка сломали судьбы и характеры детей ваших! Лично я не знаю ни одной семьи, где у тех, кто уцелел и вернулся из заключения и реабилитирован, сложились бы снова нормальные отношения с их детьми. Это национальная трагедия...»

Надо бы написать о проблеме, связанной с судьбой детей репрессированных, об этой особой трагедии, особом страшном преступлении Сталина и его приспешников.

После моего ареста и отправки в лагерь на Воркуту в 1948 году дочь моя Аленушка осталась в Москве со своим отцом, скульптором Дмитрием Цаплиным, сын остался с моими родителями И. В. и Е. Н. Лещенко в г. Орджоникидзе. Дочь училась в школе № 163, из которой ее не исключили благодаря доброте тогдашней директорши школы — не помню, как звали эту молодую, красивую женщину. Сына из московской школы перевели в школу г. Орджоникидзе. Его отцом был Луи Фишер, американский журналист, высланный из СССР в 1937 году за свою книгу об СССР, где была обширная хвалебная глава, посвященная Беталу Калмыкову (Чечено-Ингушская область, г. Нальчик), уничтоженному Сталиным в 1938—1939 годах и к моменту выхода книги уже арестованному. Жена и двое сыновей Луи Фишера, остававшиеся в Москве, были выпущены из СССР в США благодаря личному вмешательству Элеоноры Рузвельт, жены президента США. Она сама просила по телефону об этом Сталина. Позднее, во время войны, появилась в США книга Луи Фишера «Сталин и Гитлер». Комментарии излишни. Я скрыла от сына, ото всех друзей и знакомых имя его отца, Луи Фишера. Уже из лагеря просила разрешения МГБ усыновить моим родителям

моего сына, дабы он — мой сын — не поплатился в будущем за своих настоящих родителей — меня, сидящую в лагере на Воркуте, и высланного из СССР «врага народа», американского писателя Луи Фишера. Моим родителям удалось усыновить моего сына. Благодаря своим блестящим способностям Иван окончил Горный институт в Орджоникидзе и стал геологом, защитил кандидатскую диссертацию и работает геологоразведчиком при Академии наук СССР. Он никогда не знал своего отца.

Аленушка, чье настоящее имя Вера (Дмитриевна Цаплина), по окончании Тимирязевки работала библиографом при библиотеке Министерства сельского хозяйства. На ее юность и на Ванино детство тяжелейшим грузом горя, позора и невысказанной путаницы лжи и обмана легла моя судьба... Вот чем объясняется резкая перемена их характеров. А какие это были чудесные, сильные, здоровые, радостные дети!

Я поехала домой, прихватив для храбрости Аннушку, жену Ефима, старшего брата Дмитрия Федоровича Цаплина, которая приехала погостить. Кстати, сам Цаплин эти дни относился ко мне как ангел... Я сказала Цаплину: «В сущности, Ваня характером в отца. Скажем прямо: Луи Фишер был груб. По сравнению с ним, с этим блестящим американским журналистом, вы — простой русский крестьянин — чуть не аристократ!» Цаплин приосанился. Но это и вправду так. Мы в чем-то очень с ним близкие...

Аннушка Цаплина — простая, тихая, старая женщина — воплощение святой кротости, прекрасное иконописное лицо, поет тихонько молитвы и «заговаривает» огонь и воду. Русь святая. Была красавицей в молодости.

Ваня встретил нас угрюмым молчанием. Долго стоял, глядя в окно на кухне, спиной ко мне... Я позвала его чай пить, он отказался и заявил мне: «Я перееду: мне предложили квартиру до первого октября либо до Нового года». Я сказала, что дам на квартиру деньги, и дала сотнягу. И на другой день Ваня уехал. Мы простились по-доброму. Я позвала его обедать в воскресенье. Но он не пришел... Со временем, надеюсь, наши отношения станут вполне добрыми.

БЕЗ НЕГО — не буду лицемерить — мне несравненно легче. Приятно жить одной. Но что дальше? Ах, кто знает!.. Васенька, любовь моя, цвет жизни моей! Скучно мне без тебя... В «Новом мире» его «Гитлеровцы в Париже», слава Богу, выйдут в этом году. Это уже точно.

6 марта 1965 года

Сейчас позвонил и рассказал Володя Сосинский: Борис Александрович Скоморовский в Женеве, спустя недели три после смерти жены своей Розы Григорьевны, вчера покончил жизнь самоубийством: днем, на глазах у всех, он бросился с главного моста в Женевское озеро... Ему было 85 лет, он был эсер. Да, он не мог жить

дальше без нее. Они прожили вместе 50 лет. Он был близким другом Василия Васильевича. Роза Григорьевна была младше Бориса Александровича лет на пятнадцать. Мир праху их... Вспоминаю их обоих с глубоким уважением и скорбью...

Он правильно поступил... Стоик!

А передо мной еще долгое будущее — так я предчувствую.

Долгий период моей жизни завершен. Не хочу и не смею ничего зачеркивать из прошлого. Судьба моя складывалась помимо меня. Сама я ведь никого не искала и ничего не добивалась. Все совершалось как-то само собой. Но в «минуты роковые» люди спасали меня своей добротой, порой единым словом или взглядом. Душа моя преисполнена великой благодарностью...

После смерти Василия Васильевича мне казалось, что жизнь моя кончилась. Но через некоторое время наступила новая эпоха, и я вновь стала вести дневник...

Но это уже — другая книга.

Счастье — жить!

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вера и надежда на лучшее... Предисловие В. Матусевича .</i>	3
Долгое будущее. Роман-воспоминание	5

Татьяна Ивановна Лещенко-Сухомина

ДОЛГОЕ БУДУЩЕЕ

Редактор *В. А. Матусевич*

Художественный редактор *А. С. Томилин*

Технический редактор *Е. Л. Воронько*

Корректор *Э. С. Корчагина*

ИБ № 8052

Сдано в набор 04.09.90. Подписано к печати 19.02.91. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офс. № 2. Гарнитура «Таймс». Офсетная печать. Усл. печ. л. 33,0+2 вкл. Уч.-изд. л. 37,86. Тираж 100 000 экз. Заказ № 627. Цена 5 р. 10 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Государственного комитета СССР по печати, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.